



ЮНОСТЬ

**избранное**

1955 — 1965

**избранное**







**ЮНОСТЬ**

**избранное**

**X**

**1955**

**1965**

**МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1965**

*Предисловие*

**Бориса ПОЛЕВОГО**

*Общая редакция*

**С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО**

*Составители:*

**И. Г. ВИНОКУРОВ  
Н. М. ЗЛОТНИКОВ  
М. Л. ОЗЕРОВА**

*Оформление*

**Ю. ЦИШЕВСКОГО**

# Несколько слов об этой книге



нижка, которую вы сейчас держите в руках, товарищ читатель, не просто сборник повестей или стихов, каких у нас издается во множестве. Это своеобразный отчет авторов, объединенных вокруг журнала «Юность» за десять лет дружной деятельности под крышей журнала.

Десять лет — много это или мало? Не так уж много. Десятилетние граждане Советского Союза бегают еще в третий класс и только что повязали пионерские галстуки. Но в минувшее десятилетие советские люди открыли дорогу в космос, ухитрились полюбоваться таинственным затылком Луны, можно сказать, наладили одиночные и групповые полеты вокруг Земли, и даже, подобно Икару, созданному фантазией древних, Человек пролетел над всей страной без двигателя, в свободном парении. Нет, десять лет в космическом веке — это много, очень много, и отчитываться за них нелегко. «Юность» гордится тем, что ее страницы были дверью, через которую шагнули в большую литературу сотни молодых писателей, поэтов, публицистов, и что некоторые из них уже обрели теперь свой творческий голос, нашли и утвердили свою манеру, свое видение, стали известными читателям.

«Юность» — это журнал, в котором молодые люди пишут о молодых людях и для молодых людей. Этот принцип, как основной, определил один из основателей и первый главный

редактор журнала, писатель Валентин Катаев. Разумеется, это пожелание всегда сочеталось со стремлением знакомить читателя со всем лучшим, что появляется в литературе, печатать хорошие произведения писателей старших поколений и наших советских классиков, посвященные всему многообразию жизни советского общества.

На этой же основе создавался и этот сборник. Сборник лишь в малой степени отражает творчество наших авторов за десять лет: в нем нет романов и повестей (а их опубликовано в журнале около ста пятидесяти), нет большого количества рассказов, стихов, публицистических статей и очерков. Этот сборник — наше «Избранное». Составители стремились подобрать в него самое интересное и характерное, чем был богат журнал в области прозы и поэзии и что может составить хотя бы небольшую частицу того творческого рапорта журнала, с которым мы идем навстречу нашему всенародному празднику — 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Как удалось нам справиться со своей задачей — судить вам. Но если этот сборник даст вам почувствовать здоровый пульс нашей страны, введет вас в атмосферу мыслей, чувств, стремлений молодых советских людей, если через него вы ощутите богатство, многогранность и своеобразие талантов современной литературной молодежи, — это будет лучшей наградой авторам и составителям.

Нет более бесполезного занятия, чем переписывание содержания книги. Она в ваших руках.

Читайте и судите ее.

*В. Катаев*



**рассказы**



Рисунок  
И. Влиоха.

**Дикой**



1

Рязани едят грибы с глазами.  
Их едят, а они глядят.

2

Я вспомнил эту дразнилку, когда садился в экспресс. «Рязанские мужики телка огурцом режут» — вот еще одна дразнилка. Но все-таки мы были не последними: над вятскими и псковскими смеялись больше.

Итак, я вошел в вагон, похожий на самолет своими мягкими авиационными креслами. Я был весь в поту. Это становилось уже неприличным — пот капал с бро-

вей, лицо мое горело, воротник рубашки намок. Дурацкая моя соломенная шляпа резала лоб, и, видно, все эти причины — пот, и боль от дурацкой этой шляпы, и тяжелый чемодан, и рюкзак с подарками — все эти причины погасили волнение, которое, как я предполагал, должно было меня охватить при посадке в рязанский поезд.

Наконец, я уселся, положил на колени шляпу, откинул спинку кресла и вспомнил дразнилку. «В Рязани едят грибы с глазами,— бормотал я.— Их едят, а они...»

«Грибы с глазами»,— подумал я, и тут вот меня охватило невероятное волнение, от которого что-то сдвинулось внутри, и появилась боль, и слезы смешались с потом.

Поезд тронулся, и по вагону пошел гулять летний ретивый ветерок, напоминающий о райском житье, о том, как босоногим мальчиком, вороватым и пронырливым, я вбегал под сень рязанских прохладных рощ. Что я знал тогда о мире?

В 1920 году мы, делегаты 6-й армии, ехали с Перекопа в Харьков на Всеукраинскую партийную конференцию. Нас было двенадцать человек в теплушке, и во всех остальных вагонах ехали такие же, как мы, обовшивевшие люди. Были тут красноармейцы, командиры, комиссары; все на «ты», прямо из окопов. На «вы» мы звали только Марию Степановну Катину из политотдела дивизии, единственную среди нас женщину. Она была молода и образованна, и в ту пору у меня с ней складывались чуть ли не романтические отношения.

В двадцать первом году она умерла в Бахмаче от сыпного тифа.

Поезд шел медленно по заметенной снегом, разоренной земле. Сгущались сумерки, и не было видно в них ни одного огонька — пустыня, а потом серый рассвет и дикий, гиблый ветер в полях, и только наш громяющий состав с жаркими печками и шматами сала в тряпках, со сладкой картошкой, с горластыми ораторами и спокойными теоретиками,— только наш поезд своим медленным движением утверждал жизнь в этой пустыне.

Вместо того, чтобы отсыпаться после окопов, мы спорили. В самом деле, ведь за безжизненными этими полями виделись нам голубые города. Что касается меня, то для меня над голубыми прозрачными куполами в бездонном моем весеннем небе висели механические стрекозы, похожие на нынешние вертолеты, а сверху в теснинах улиц были видны волны праздничной манифестации.

На остановках перебегали из теплушки в теплушку, возникали летучие митинги, создавались временные комитеты, инициативные группы, выносились резолюции.

Мучили нас вши, они отвлекали от высоких мыслей и яростных теоретических схваток.

Ночью как-то я сидел возле печки и чесался. Утомленные мои товарищи спали; не просыпаясь, храпели, раздирая себе бока. В накаленном красном сиянии, излучаемом печкой, видел я нежный пучок волос на затылке Марии Степановны, и ее тонкую руку, и изгиб ее бедра. Она тоже почесывалась.

В ту ночь я сделал замечательное открытие. В железном боку печки была дыра с пятак величиной. Там создавалась сильная тяга внутрь, в печь. Случайно я приблизил к отверстию ворот гимнастерки и вдруг заметил, что вошки из всех складок, подхваченные этой тягой, полетели в огонь, с треском, одна за другой, там погибая. Я чуть было не подскочил от радости. Ведь прежде никакие мероприятия не помогали — вши оставались и очень быстро плодились, доставляя нам страдания неслыханные. А тут я за десять минут обеззаразил все свое имущество. Счастье, да и только.

Потом я разбудил всех своих товарищей. Товарищи сгрудились вокруг печки и принялись уничтожать паразитических насекомых с тем же успехом, с каким они уничтожали контрреволюционную нечисть на всех фронтах гражданской войны.

— Ну, Пашка, ты герой,— говорили они.

Одна лишь Мария Степановна конфузилась и не желала воспользоваться моим открытием.

— Что вы, Павел, меня ничто не беспокоит. Товарищи, оставьте меня в покое,— говорила она.

— Мария Степановна, дорогой товарищ, вы же не спите из-за проклятых насекомых,— сказал Иван Куныев, кавалерийский делегат.

— Да, я не сплю. Я думаю о завтрашней полемике с блоком Голявкина,— возразила она.

Однако глухой ночью, когда все уже счастливо и свободно сопели на нарах, Мария Степановна пробралась к печурке. Я открыл глаза и увидел, что сидит она в одном белье и подставляет под тягу свою гимнастерку, чутко прислушиваясь к звукам, которые могли бы донестись сквозь грохот колес.

Нары подо мной скрипнули, она вся встрепенулась и повернула ко мне свое чистое лицо с плачущими глазами. Я готов был провалиться сквозь нары, сквозь пол прямо на шпалы, но все-таки глядел на нее во все свои дурацкие буркалы, так она была хороша. В этот момент она была никакая не Мария Степановна, политический строгий товарищ, а нежная девушка Маша. Я, простой пастух, которого революция оторвала от идиотизма сельской жизни и бросила в напряженную борьбу, я тогда понял, как страшен ей, дочке директора гимназии, наш военный быт и какое у нее сильное мужество и верность идее. Она закусила губы и отвернулась от меня.

С этой ночи романические наши отношения были приостановлены, она стала суха со мной и строга и не называла более Павлом, а звала Збайковым, товарищем Збайковым. Позднее, в 30-е годы (я был в то время председателем исполкома большого города и жил с семьей в шикарной квартире, имел персональный «форд»), в те времена я часто вспоминал покойницу, когда кто-нибудь из семьи заводил полюбившуюся всем пластинку «Каховка»: «...и девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет», «Под солнцем горячим, под ночью слепую немало пришлось нам пройти...».

Да, тогда, в 30-е, что-то сжималось у меня внутри от этой песни, а сейчас даже плакать хочется, когда начинаю мурлыкать ее под нос. Мои дороги по всем фронтам гражданской и частые перемещения периода реконструкции, потом этапы до Воркуты, и ссылка в Красноярском крае, и нынешняя моя спокойная

жизнь персонального пенсионера в экспериментальном черемушкинском доме... Все чаще я стал сейчас предаваться воспоминаниям, и эта моя поездка не что иное, как воспоминание. Ведь я не был на родной Рязанщине более сорока лет.

### 3

В Рязань экспресс прибыл к вечеру. Люди, идущие по переходным мосткам над путями, были еще освещены солнцем, а перрон и встречающие находились уже в вечерних сумерках. Меня никто здесь не встречал. Опять начались мои мытарства с чемоданом и рюкзаком. Привычки мои не позволяли обратиться за помощью к носильщикам. Не люблю я этого дела. Даже в бытность большим человеком я все время норовил сам ухватить свои чемоданы, вызывая этим удивление подчиненных.

— Поможем, папаша?— обратился ко мне носильщик, сам уже далеко не первой молодости. Я бодро улыбнулся, но на самом-то деле было мне тяжело. Силы уже не те.

С грехом пополам дотащил я вещи до камеры хранения, потом уточнил расписание — поезд на Ряжск отправлялся завтра в полдень. Налегке я отправился в город и долго плутал по каким-то безлюдным, перекопанным для прокладки теплофикационных труб улицам. Улиц этих я не узнавал, и тихая, чуть ли не секретная их жизнь была мне чужда.

Неожиданно я вышел на широкий, ярко освещенный проспект, по которому катили троллейбусы и такси и где стояли высокие дома. Двигаясь вдоль этого, совсем уж мне незнакомого проспекта, я дошел до какой-то большой гостиницы. Конечно, у входа висело солидное, золотом по черному, стационарное объявление: «Свободных мест нет». Пришлось мне воспользоваться документом — персональной книжкой старого большевика. Администраторша полистала мой документ, выглянула в окошечко и сказала:

— Прошу, гражданин, обождать: у меня вон люди «из ящиков» еще не устроены.

В креслах сидели четверо «из ящиков», мужчины в серых костюмах.

Так или иначе, но койку в двухместном номере я получил и был очень доволен, потому что не рассчитывал на такой успех.

В коридоре подвыпивший человек остановил меня:

— Папаша, зуб болит. Где врача найти?

— Не знаю, дорогой,— сказал я.

— Сам-то русский или из ГДР?— спросил он.

— Русский,— сказал я,— рязанский уроженец.

— Да-а,— протянул он задумчиво,— а зуб-то болит. Придется в милицию обратиться.

Мы разошлись.

Ничто в этой гостинице не напоминало мне той милой моей Рязани, где когда-то, «на заре туманной юности», изучил я основы политграмоты и получил военную подготовку. Гостиница была как гостиница, а в окна с улицы глядели безликие и безучастные неоновые вывески.

За ужином в ресторане я развеселился. Поразило меня меню. В разделе холодных закусок значились почти подряд такие блюда: салат из морской капусты, морской гребешок, салат «Дары моря». Континентальный этот город, видно, имел некую таинственную связь с Тихим океаном.

Утром я вышел на балкон и посмотрел вниз, на проспект. По тротуарам торопливо сновали домохозяйки со связками длинных и странных, явно морских рыб.

Я поймал себя на том, что хихикаю, как столичный турист, над провинциальными чудачествами незнакомого города. Еще раз я окинул взглядом ровную линию пятиэтажных домов и тут заметил в их ряду старую, облупленную часовенку, в которой ныне помещалось, кажется, городское бюро справок.

Мимо этой часовенки бежали мы, щелкая затворами, мимо нее и мимо лабазов, мимо колониальной лавки Скворцова и К°, мимо кинематографа «Эльдорадо» бежало нас двадцать человек. В тот день мы вооружились по тревоге после сообщения о том, что нашего человека, Ваньку Комарова, арестовал на митинге проэсеровски настроенный полк.



Я помню застывшую на бесснежном морозе грязь, тучи пыли, поднятой ледяным ветром, огромную площадь перед нами, вымощенную булыжником, и в конце площади плотную толпу серых шинелей — эсеровский полк.

«Тут тебе и конец придет, Павлушка», — думал я на бегу.

Обошлось. Переорали, перематерили мы эсеровских агитаторов.

#### 4

Утренний поезд на Рязк был составлен из старых зеленых вагонов с узкими окнами. В вагонах было почти пусто — в моем сидели лишь три крестьянки в плюшевых черных жакетах. Они оживленно переговаривались. Впервые за все время своего путешествия я услышал подлинно рязанский глубинный напев их речи.

— Надьсь я йду, хляжу, а в тележке, у яво трааваа, — рассказывала про какой-то случай одна из них.

Это «х» или «г» было легким, мягким и теплым, словно летящий пух, словно чуть шершавое поглаживание матушкиных рук.

Я вспомнил покойницу, как растерялась она, маленькая старушка в нарядной своей паневе, на вокзале того города, где я верховодил в тридцатые, как отказывалась сесть в мой «форд»: «Я в ету тяжезку не сяду», — как вечером в нашей большой квартире изрекла она мне конфиденциально: «Высоко ты забрался, Павлушка, а с высоты-то больней падать».

К концу войны сестра написала мне в лагерь, что матери у нас больше нет, что в 42-м году, в голодуху и осеннюю темень, пошла она во двор, в уборную, сломала ногу и на другой день скончалась. А до конца войны ограничен я был в переписке.

Рязкий поезд двигался медленно, не то, что вчерашний экспресс; медленно мы выбирались из Рязани, проезжая мимо кварталов новой застройки, чахлых сонных слобод, мимо разрушенных колоколен и индустриальных объектов, пересекли реку и въехали

в необъятные поля, ровно освещенные жарким спокойным солнцем. Индустрия, словно платком, на прощание взмахнула нам огромным языком пламени, полыхавшим в голубом небе над высокой черной трубой. Это бесхозяйственно жгли газ.

А потом пошла тишина и маленькие станции, названия которых звучали для меня, как музыка: Старожилово, Верда, Скопин... Все это было тихой музыкой: станционные красные домики за березами, зевающий начальник станции, босой мальчишка, звон колокола, по которому отправлялся поезд, и скрип дощатого низкого перрона...

## 5

В Ряжске в те дни был сборный пункт дезертиров. Набралось их здесь несколько тысяч. Это была разнузданная орда морально опустившихся, бешено орущих людей, а конвой наш был малочислен, слаб. Трудно сказать, почему они не перебили тогда нас, конвоиров. Должно быть, просто невозможно им было организовать даже для такого нехитрого дела: каждый орал свое, каждый был сам за себя, никто не хотел никого слушать, но каждый боялся пули сам для себя, по отдельности. Объединились они только в своей ненависти к комиссару, приехавшему с инспекцией из Москвы.

Мы вывели их за город, в поле и кое-как организовали в огромное, гудящее, как взбешенный улей, каре.

Здесь была сколочена шаткая трибунка для высокого московского комиссара.

Он подъехал в большой черной машине, сверкавшей на солнце своими медными частями. Он был весь в коже, в очках и, что очень удивило нас, абсолютно без оружия. И спутники его тоже не были вооружены.

Он поднялся на опасно качающуюся трибунку, положил руки на перила и обратил к дезертирскому безременному воинству свое узкое бледное лицо.

Что тут началось! Заревело все поле, задрожало от дикой злобы.

— Долой!— орали дезертиры.

— Приезжают командовать нами, гады!

— Сам бы вшей покормил в окопах!

— Уходи, пока цел!

— Эх, винта нет, снял бы пенсю проклятую!

— Братцы, чего ж мы смотрим в его паскудные окуляры?!

— Пошли, ребята!

Мы уже подняли винтовки для первого залпа в воздух, как вдруг над полем прокатился, как медленный гром, голос комиссара:

— Что это за люди?

Рукой он показывал на нас, конвоиров.

— Я спрашиваю, что это за люди с оружием?— снова прошел над нами голос, похожий на звук, что тянется за нынешними реактивными самолетами.

Дезертирство от неожиданности затихло, пораскрывало рты.

— Это конвой! — четко доложил один из его спутников.

— Приказываю снять конвой!

Он набрал полную грудь воздуха, очки его сверкнули, и он заревел еще более тяжелым, еще более гневным голосом, толчки которого словно отдавались у каждого в груди:

— Перед нами не белогвардейская сволочь, а революционные бойцы! Снять конвой!

В тишине, последовавшей за этим, над полем вдруг взлетела дезертирская шапка, и чей-то голос выкрикнул одиночное «ура».

— Товарищи революционные бойцы! — зарокотал комиссар.— Чаша весов истории клонится в нашу пользу. Деникинские банды разгромлены под Орлом!

«Ура» прокатилось по всему полю, и через пять минут каждая фраза комиссара вызывала уже восторженный рев и крики:

— Смерть буржуям!

— Даешь мировую революцию!

— Все на фронт!

— Ура!

И мы, конвоиры, о которых все уже забыли, что-то кричали, цепenea от юношеского восторга, глядя на маленькую фигурку комиссара с дрожащим над головой кулаком на фоне огромного, в полнеба, багрового заката, поднимающегося из-за горизонта, как пламя горящей Европы, как огонь американской, азиатской, австралийской, африканской революций.

Я вспомнил этот эпизод сразу же, как увидел большое дореволюционное еще здание Рязжского вокзала.

Рязжск и в те времена был крупной узловой станцией, таким он остался и сейчас. То и дело с обеих сторон его перрона появлялись дальние поезда, замыкая транзитных граждан в грохочущий коридор.

Здесь предстояла мне ночевка, потому что поезд на Ухолово отправлялся только на следующий день. Без особого труда я получил койку в «комнате отдыха» и отправился автобусом в город, который в пастушеской моей юности казался мне загадочной и шумной столицей, какой, скажем, сейчас мне представляется Париж.

Ранним вечером я прибыл в центр городка и стал свидетелем гуляния местной молодежи, среди которой тон задавали студенты-механизаторы. Столичный ширпотреб проник уже и сюда, и молодые люди мало отличались от тех, кого я вижу ежедневно из своего окна в Черемушках, но все же это была, конечно, уже не Рязань, это была глубинка, отдаленная периферия.

Я погулял немного, делая наблюдения.

Горожанам, должно быть, давно полюбилось слово «павильон». Точки общественного питания назывались здесь павильонами—павильон № 1, павильон № 2, павильон № 3.

А в самом центре возле скверика помещался любопытный магазинчик под вывеской «Игрушки, венки». Сейчас на дверях висел замок.

«Нарочно не придумаешь,— подумал я, глядя на эту вывеску.— Продавец, должно быть,— философ. Утром приходит, переставляет игрушки, зайчиков, ми-

шек, целлулоидных пупсов, стряхивает пыль с венков, уж, понятно, не лавровых, с гигантских роз и пионов, покрытых тонким слоем стеарина, а то и с железных венков. Ах, эти веночки мы знаем, элегантные, со звездочками, в былое время такие венки были в ходу для стальных людей, «сгоревших на работе». Станешь тут философом».

В последние годы я перенял у своей дочери и ее мужа манеру надо всем слегка посмеиваться. Дочка моя и ее муж, изъездившие чуть ли не весь мир, постоянно надо всем хихикают, беззлобно, но постоянно, как будто этот чуть-чуть даже утомительный для посторонних юмор чем-то облегчает им жизнь. Лично я с этой привычкой борюсь. Что это такое — был серьезным всю свою жизнь, а на старости лет все хи-хи да ха-ха!

Солнце еще освещало кафельные плитки бывшего особняка купцов Маркушиных, которых некогда мы с товарищами экспроприировали, когда вокруг сквера взревели мотоциклы механизаторов и бесшумно закружили велосипеды — молодежь стала разъезжаться. Я тоже покинул Ряжск и отправился на станцию, где ждала меня койка за 70 копеек.

Всю ночь под окном пыхтел и отчаянно, как кавказский осел, кричал какой-то паровозик, а на соседней койке молодой парень крутил под одеялом свой маленький полупроводниковый приемник, завывала эта шумовая музыка, этот проклятый джаз, от которого у меня дома, в Черемушках, раскалывается голова.

— Молодой человек,— тронул я за плечо соседа,— давайте уж так: или вы, или он,— и показал ему в окно на паровоз.

— Извини, батя,— сказал парень,— такая у меня привычка. Заснуть не могу без легкой музыки. Сейчас засну.

Еще секунд десять визжали заморские трубы, потом щелкнул выключатель, парень захрапел, дико взревел паровоз, и я заснул.

Утром в необозримой комнате отдыха шли уже только разговоры о покосе, мужички увязывали узлы, и я понял, что это мои попутчики до Ухолова.

Ухоловский поезд был еще тише, чем ряжский. Закрыв глаза, можно было бы представить, что двигаешься в телеге, если бы не близкое пыхтение паровоза.

Напротив меня на лавке сидели три мужичка, соседи мои по комнате отдыха. Люди это были примерно моего возраста, и что-то в их повадках, в жестах, в манере разговора подсказывало мне, что это уже ближние люди, может быть, даже из нашего села или из его окрестностей. Волновался я неслыханно, думая, как затеять с ними разговор. Казалось мне, что они, толкуя о своих делах, как-то со значением на меня поглядывают.

— Вот и прикидывай, мужички, где интересней,— говорил один из них, красноносый дядя в лихо сдвинутой набекрень кепке.— Родькин, стало быть, зовет сам-десять, а в лесничестве кладут сам-шесть.

Родькин! У меня закотилось сердце: это была фамилия из нашего села, мощный родственник нам, Збайковым, клан Родькиных.

— В лесничестве особ не размахнешься,— сказал сухощавый задумчивый человек.— Не размахнешься, говорю. Одни пни да кусты.

— О покосе разговариваете, товарищи?— осторожно спросил я.

— О нем,— охотно ответил третий, лукавый коротыш, самый почему-то мне знакомый из них. Двое других промолчали, и коротыш стушевался.

— Вот вы сказали: Родькины,— набрался смелости я,— извините уж, неволью подслушал. Это не Михаила ли Родькина сынок?

Коротыш заерзал на лавке и смолчал, а сухощавый, внимательно взглядевшись в меня, спросил:

— Михал Андрева Родькина имеете вы в виду, гражданин?

— Да-да, Михал Андрев!— вскричал я, мгновенно какими-то вспышками вспоминая фигуру могучего мужика Михаила Родькина, не раз стегавшего меня за набеги на его сад.

— Так этот Родькин, о котором мы гутарим, председатель наш, его внук,— строго сказал сухощавый.

— Так вы, может, из села Боровского, товарищи?! — опять вскричал я.

— Мы вот с ним из Боровского, а энтот товарищ из Канино.

— Так я ведь тоже из Боровского!

— Ага,— вежливо покивали мне мужички и, глядя в окно, принялись заряжать самокрутки. Молчание длилось долго. Я краснел и бледнел, как мальчишка, проклиная свою дурацкую шляпу, и очки, и галстук, все свое городское обличье, видимо, вызывающее у них недоверие.

— А вы чей же будете?— наконец спросил сухощавый, самый авторитетный из них.

— Я Збайковых,— чуть ли не умоляюще сказал я.

— Устина Збайкова, стало быть, сын?

— Нет, Устин-то Збайков в Тивердинских выселках жил, а мы из Энгельгардовского общества...

— Ага, «Знамя труда», стало быть,— объяснил сухощавый канинскому крепышу.

— Петра Збайкова покойного я сын,— сказал я.

И вдруг красноносый, молчавший до сих пор, хлопнул шапкой по колену.

— Да уж не Павла ли Петровича вижу я перед собой?— гаркнул он.

— Да! Да, я Павел Петрович Збайков.

— Павел Петрович! Ну, поди ж ты!— засмеялся красноносый.— А меня-то не признаешь? Я ведь Сивков Григорий.

Сивков Григорий... Сивков Григорий... Сивковых помню из Ермолаевского общества, а Григорий?

— А ведь вместе в церковноприходскую школу ходили, фулюганили вместе,— старчески залукавился сверстник мой Григорий.

Не знаю уж, узнал ли я его или просто убедил себя, что узнал, но мы тут же стали вспоминать наши мальчишеские шалости, как будто прошло не сорок с лишком лет, а каких-нибудь десять. Мы говорили о разорении грачиных гнезд, и о ловле карасей в барском культурном пруду, и о велосипеде податного инспектора; история и топография этих приключений

полностью у нас совпадали, и я понял, что Григорий Сивков действительно принадлежал к нашей шайке.

— Сивков!— воскликнул я, вдруг на самом деле вспомнив.— У тебя ведь брат был мой тезка.

— Точно,— подтвердил Григорий,— признали наконец, Павел Петрович.

— Жив тезка-то?

— Кто его знает, жив ай нет? В тридцатом годе, как принято было у нас твердое решение, так он по жизни пошел. Слух был, что в казахстанской земле у него ноне хозяйство.

— А меня-то припоминаешь, Пал Петров?— спросил худощавый.— Я Савостин Михаил с Тивердинских выселок.

— Как же, помню, как же.

— А ты-то в тюрьме сидел ай нет?— спросил Григорий.— Слух у нас был.

Невольно я усмехнулся и прикрыл глаза.

В июле 1937 года на бюро и повсюду сильно критиковали меня за притупление бдительности к врагам народа, и даже стоял вопрос об объявлении мне партийного выговора, но возможности ареста я представить тогда не мог.

Веселым и жарким днем они приехали за мною.

Был День Военно-Морского Флота, и над детским парком напротив здания НКВД висели морские сигнальные флаги. Что составляли они, какие слова? Я не знал.

Вот так я и «пошел по жизни», по тюрьмам, по лагерям, по ссылкам, вплоть до 1955 года, до восстановления справедливости.

Этот детский парк я видел иногда из зарешеченного окна следователя во время допросов. Детский тот парк разбит был по моему распоряжению, проект его я обсуждал с городским архитектором, с комсомольцами-пионервожатыми. Коники его и слоники часто мерещились мне в камере после допросов, когда я отдыхал от применения ко мне «методов активного следствия» изобретения наркома Ежова.

В ту пору был у нас первым секретарем обкома Аугуст Лепиньш, из латышских стрелков, дельный, работоспособный товарищ, хороший организатор. Как



раз перед арестом он очень сурово меня критиковал за притупление и даже, единственный в составе бюро, настаивал на исключении из партии. А ведь были мы с ним старые уже товарищи, вместе участвовали в коллективизации, проводили это самое «твердое решение» в жизнь, да и жены наши дружили. Принципиальным был этот Лепиньш, никого не щадил, включая себя самого.

Однажды в тюремном коридоре послышался какой-то шум, звуки ударов, лязг, и мы услышали голос Лепиньша.

— Коммунисты!— кричал он.— Говорит Аугуст Лепиньш! Я арестован! Приказываю всем держаться! Это чудовищная провокация! Товарищ Сталин...

Мимо нашей камеры проволокли его затихшее тело.

На следующем допросе мои лейтенанты, совсем осатаневшие мальчишки, криво улыбаясь, сказали:

— Привет тебе передавал Лепиньш. Признался, что вместе с тобой шпионил для Японии.

В это время активно уже работал тюремный телеграф, ложкой по трубам отопления. Все быстро им овладели, помог дореволюционный еще опыт некоторых товарищей. Однажды сверху кто-то простучал сообщение: «Лепиньш передает Збайкову. Он умирает, просит его простить. Просит не верить клевете. Прощай. Да здравствует партия!»

Так погиб мой товарищ Аугуст Лепиньш.

— Да,— улыбнулся я односельчанам,— сидел и я. Реабилитировали.

Покивали мы головами, закурили самосаду.

— Течение жизни,— глубокомысленно изрек канинский коротышка Трофим.

— Ну что ж, старички, надо бы выпить,— предложил я и вытащил десятку.

До Ухолова ходу нам было еще часа два, и на станции Еголдаево Трофим добежал до сельпо и вернулся с тремя пол-литрами и с кульком хамсы.

Поставлен был между лавками чемодан, Григорий вытащил сало, оказалось, что и стопарики граненые он как раз закупил в Рязске — словом, все было в ажуре.

Односельчане к выпивке были охочи, но и крепки, строги. Канинский же Трофим заулыбался, закричал: «Эх, час без горя» — и хватил. Он и захмелел прежде всех, а Григорий и Михаил Савостин вели со мной серьезный разговор, расспрашивали о Москве, как там с продуктами, делились видами на урожай, критиковали Родькина-внука, а также районное начальство. Однако воспоминания то и дело перебивали этот наш злободневный разговор.

— Эх, Пал Петров, как я помню твою матушку,— хмельным уже голосом говорил Григорий,— бывалоча встретит она меня, паренька, и критикует, критикует... А я тогда по девкам все шалил. Это уж после того было, Пал Петров, как ты у нас отвоевал и в другие места подался революцию ставить. Потом и меня мобилизовали, отняли у девок.

— Эх, спюю я сейчас тебе, Пал Петров!— воскликнул вдруг Трофим и тонким голосом сразу взял верха.— Во-о суббоотуу...

— Дед Трофим, дед Трофим!— попыталась урезонить его проходящая по вагону молодуха, но мы уже все пели, старые дурни:

Во субботу, во субботу,  
В день ненастный,  
Нельзя в поле,  
Нельзя в поле,  
Нельзя в поле работать...

И так мы доехали до Ухолова:

## 7

В Ухолове друзей моих прекрасных ждали две расчудесных подводы. Взгромоздился я на одну подводку с Григорием, другом моим замечательным, и мы прокатили по городу Ухолово, по прекрасному этому центру, где рельсы уже совсем кончаются и паровозу путь один — пятиться назад.

Был я в весьма приподнятом состоянии и не фиксировал внимания на разных мелочах, заметил лишь ря-

дом с новым зданием клуба старую колокольню, у подножия которой на площади устраивались, бывало, наши уездные ярмарки.

Я вспомнил ярмарку, на которой был впервые двенадцатилетним мальчиком. Ошеломило меня тогда скопление людей и лошадей, мелькание разгоряченных веселых лиц, погоня за воришками, цыган с медведем, городские сладости и, главное, карусель, сумасшедшее вращение которой надолго стало для меня символом праздничной, яркой жизни, отличной от будней нашего села.

Героями той ярмарки оказались наши боровские парни, три брата Бычковы, люди чудовищной физической силы. Начали они драку оглоблями и дрались долго, упорно и основательно, многих покалечили. Ухоловские городовые и мужики-добровольцы справиться с ними не могли. Не помогло вмешательство и самого станового. Бегая по площади со свистящими оглоблями над головами, гиганты Бычковы мешали ярмарке функционировать.

Кто-то из боровских догадался сбегать за их матушкой, которая в это время чай распивала у своей ухоловской кумы. Прибежала мать Бычковых, маленькая старушечка, вскинула сухонький кулачок и как крикнет Федору, старшему брату:

— Нишкни! Игрец тебя разбери!

И тут же братья положили оглобли и затряслись от страха.

— Сымай порты, супостаты! — закричала старушка. — Ложись!

Взяла она хворостину и начала хлестать братьев по голым мощным задкам, а братья горько плакали и просили прощения.

Очень ярко мне это запомнилось: шесть здоровенных прыщеватых ягодиц, маленькая старушка с хворостиной и гогочущая ярмарка вокруг.

— Помнишь, на ярмарке были здесь, Павлуша? — спросил Григорий, кивая на белую от солнца площадь. — Бычковых братьев помнишь?

И мы затряслись от смеха, а возница, зять Сивкова, недоуменно на нас обернулся. Ухолово проехали мы быстро, и открылись родные мои веси, ничуть не изме-

нившиеся за эти сорок с лишком лет, если не считать перетяжки высоковольтной линии да реактивных прочерков в необозримом небе.

Григорий все прыгивал с телеги, щупал овес, пшеницу, королеву полей. Однажды во время очередного его прыжка я почувствовал вдруг что-то такое давнее свое, такую тоску, что бывала у меня лишь в первые годы моей иной, не крестьянской деятельности, точнее говоря, почувствовал я тоску по земле, голос пращуров.

Спустя некоторое время то ли сердечная слабость, то ли похмельная усталость подействовали, размяк я и заснул, невзирая на ухабы нашей дороги, которая за сорок лет не улучшилась.

Спал я тяжело, изредка вздрагивая и представляя, какой у меня неприглядный вид в этот момент, как съехали очки и отвалилась челюсть, но сил взбодриться не было никаких, и я снова засыпал.

Проснулся я от голоса Григория, открыл глаза, сел и, словно в сновидении, увидел огромное наше село, растянувшее свои тихие дворы чуть ли не на пять километров, осокори над речкой Мостей и прихотливый ее извив, а при приближении опять же, как во сне, увидел я старуху в нашей боровской паневе, которая гнала гусей, и плеск гусей в искрящейся Мосте и, уже совсем-совсем как в глубоком сне, увидел я свой дом.

## 8

Дом этот крепко был поставлен дедом моим Василием Ивановичем Збайковым. Он был кирпичным, как большинство домов в нашем селе, где дерево ценилось дороже кирпича. Над входом дед Василий умудрился белым кирпичом выложить узорного петуха. Петух этот остался и ныне.

Ныне хозяином в доме был Севастьян Васильевич Збайков, младший брат моего отца, глубокий уже старик, лет под девяносто. Дом кишел его детьми, невестками, зятьями, внуками, правнуками. Одни жили

вместе с ним, другие прибежали со стороны. Готовилась праздничная гулянка в честь моего приезда. «Павлушка, Пал Петров, дядя Павел, дедушка Павел», — неслось ко мне со всех сторон.

В доме был некоторый достаток, о чем свидетельствовала железная крыша, швейная машинка, велосипеды у молодежи. Приусадебный участок являл собой чудо агротехники: лук, помидоры, огурцы, ягоды — все это было крупное, красивое, одно к одному. А через межу желтел пожухлыми лопухами огромный колхозный огород. Просто непонятно было, какая культура на нем произрастает.

— Почему это так, дед Севастьян?—спросил я своего дядю.

— Да видишь, Павлуша, какая печаль,— зашамкал старичок,— худое это поле. Надо было на ем овес с викой сажать, а с району Родькину-председателю дают наказ: сажай свеклу. Родькин им гуторит: не вырастет свекла, под овес-де хочу эти площадья,— а они ему: у нас план по свекле трещит, сажай или партийный билет на стол. Значить, произрастает одна лебеда, а они Родькину звонят: пропалывай свеклу, у нас план прополки трещит. Вишь, Павлуша, у них там все трещит, а у нас круговорот получается.

«Какая бесхозяйственность!—подумал я.— Головоотяпство! Съезжу я, пожалуй, в Рязск, в производственное управление».

И вот пошел я с того дня вникать в колхозные дела, портить жизнь Родькину, мужику толковому и крепкому, но несколько растерянному. С утра отправлялся я в полевые бригады, на фермы, беседовал с механизаторами, животноводами, полеводами, агрономом, лекции читал, ходил на собрания партийной группы колхоза, в общем, функционировал. За две недели привыкли ко мне в селе, хотя, может быть, кое-кто и посмеивался над неугомонным городским старичком.

«Как же так получается?—думал я.—У колхозников на своих участках чудеса агротехники, а на артельную работу выходят они лишь «за колы», «за птички», то есть за трудодни, по которым они почти что ничего не получают. А получают они мало, потому что рук не прикладывают, а рук не прикладывают, потому что ма-

ло получают. Действительно, получается круговорот. Порочный круг».

Собирался я по возвращении войти с докладной запиской в Центральный Комитет, но для этого надо было мне глубже вникнуть в колхозные дела, и я вникал.

А вечерами водили меня по избам, по родственникам, а родственников у нас, Збайковых, почитай, полсела. Тишковы, Родькины, Бычковы, Сивковы — все это наши родственники.

Много было выпито казенной и неказенной браги, квасу, настоек, съедено сала и грибков. Приходили старики, ровесники Севастьяна Васильевича, помнившие меня еще, когда я был «от горшка два вершка». Старики эти были жилистые, коричневые, в линиях чистых косоворотках, в картузах, прямой посадкой и манерами похожие на николаевских еще солдат.

В тихом вечернем свете древняя тетка Солонья, известная с незапамятных времен как первая певунья, дребезжащим голоском заводила песню.

— «На проклятый ах да на Кавказ», — рявкали в подхват старики, дети покорителей дикого горного массива.

Сверстников моих было мало. Сильно было повибито наше поколение, многих по войнам раскассировали, многие «по жизни пошли», а иные уже и нормальным, тихим путем переселились в мир иной.

Молодежь смотрела на нас со стен, сияя флотскими регалиями, боцманскими дудками и значками классных специалистов. По неведомым соображениям лишь на флот набирались парни из нашего села, где Мостю курица вброд переходит.

## 9

Однажды я возвращался с полевого стана и шел по безлюдному проселку, приближаясь к задам нашей части села, которая прежде именовалась Энгельгардовским обществом, а потом «Знамя труда» — по имени маленького колхоза, влившегося позднее в укруп-

ненный единый для всего села колхоз «Имени XVII партсъезда».

Солнце клонилось уже к закату, но улицы были еще пустынные, неподвижны были колодезные журавли, и лишь с Мости доносились крики гусей и ребят.

Было мне хорошо и привольно. К тому времени я давно уже расстался с галстуком и дурацкой своей шляпой, ходил в картузе Севастьяна Васильевича и в распахнутой на груди рубашке.

Надо сказать, что и речь моя сильно стала меняться, все чаще стал в ней появляться ухоловский распев, все чаще я стал употреблять слова «надысь», «вечёр», «летось».

Итак, тропинкой я прошел между огородами и вышел на улицу, когда услышал вдруг тихий голос:

— Здорово, Павел Петрович!

Я оглянулся, ища, откуда прозвучал этот голос, и увидел сидящего у изгороди на чурбаке старого человека.

— По всем ты ходишь, Пал Петров, а ко мне и не зайдешь,— с ухмылкой произнес этот человек.

Лик его был бугрист и неотчетлив, выделялись крупный нос и густейшие полуседые брови, из-под которых лишь изредка поблескивала капельная голубизна.

— А вы кто ж такой будете? Чей?—спросил я, подходя.

Был он мало опрятен, кое-где серая его туалетно-розовая рубаха была порвана, а кое-где зашита грубыми стежками, а в уголках его рта запеклась слюна. Словом, не ахти какой приятный человек сидел передо мной.

— Адрияна Тимохина ай не помнишь?—еще раз усмехнулся он, и на этот раз его усмешка оказалась не вызывающей, а какой-то жалкой, оборонительной.

По этой усмешке я его и вспомнил, но не по имени.

— Дикбй!—вскричал я, пораженный.

— Во-во, Дикбй... Меня и ноне так кличут.

Я сразу вспомнил того мальчика, которого мы прозвали «Дикбй». Мы с ним учились вместе в церковно-приходской школе. Это был странный мальчик, некрасивый и хилый, но не тем он был странен, а тем, что все время уединялся, все время сторонился нас, сор-

ванцов, чуждался и пугался, за что и получил кличку «Дикóй». Все он что-то строгал, чинил, мастерил, соединял какие-то колесики, пружинки. Большую часть времени он проводил в заброшенной, полуразвалившейся баньке. Смотрел он в землю.

Естественно, что был он козлом отпущения среди ребят.

Мало кто не дергал, не стучал его по голове, не щипал, не дразнил. Он все сносил и только еще больше замыкался.

Было нам лет по двенадцати, когда однажды, томясь от безделья, мы решили совершить налет на его баньку и узнать, чем он там занимается.

Давясь от смеха, мы поползли к ней огородами, окружили, распахнули дверь и увидели Дикóго. Он стоял лицом к нам с расширенными от ужаса глазами, а за спиной его в полосах света, проникающих в щели, крутились какие-то большие и малые колеса, ритмично хлопали какие-то дощечки, скрипели ременные передачи — словом, действовала какая-то хитрая машина, какой-то агрегат.

В мгновение ока мы разрушили эту конструкцию, дико хохоча, мы разорвали передачи, поломали колесики, поплясали на обломках и остановились, не зная, что делать дальше.

Дикóй лежал ничком на земляном полу и плакал. И тут впервые перехватило мне горло от жалости к человеку, от нежности к нему, к его уединенной жизни, от невыразимого желания немедленно, сейчас же восстановить справедливость, сделать этого мальчишку сильным и гордым.

— Дикóй, миленький, вставай! Ну давай мы вместе починим эту твою хреновину!— закричал я.

Он встал и вышел из баньки. Больше он туда не возвращался.

С того времени я взял его под свою опеку, не давал его обижать, не раз дрался из-за него, но он по-прежнему дичился, к себе не допускал.

В 1917 году в нашем селе стали появляться сначала эсеровские, а потом и социал-демократические агитаторы. Впервые мы услышали слова о равенстве, о справедливости и решили сколотить революцион-



ный отряд. Я звал Дикóго в этот отряд, но он лишь улыбался и отмалчивался.

Через несколько месяцев мы ушли из села усмирять мятеж белых в Рязани. Я весь горел тогда, я жаждал немедленной справедливости для всех, хотел немедленно сделать своих односельчан свободными и гордыми, с волнением я сжимал в руках винтовку, не зная, что покидаю свое село навсегда. Дикóго после этого я не видел, не слышал о нем да и не вспоминал.

И вот сейчас мы встретились. Я подсел к нему и предложил папиросу. Он не курил. Тогда в замешательстве пригласил я его в чайную выпить.

— Я не пью, Пал Петров,— сказал Дикóй.— Давай просто так покалякаем.

— Давай покалякаем,— сказал я, закуривая.— Ну, как ты живешь, Адриян?

— Живу—хлеб жую. Ты-то как?

— Да я что, как ты?

— Я все тут, в Боровском.

— Как же это так? — спросил я.— Небось, помотало и тебя по белу свету немало?

— Обошлось,— сказал он.— Не сдвинули меня.

— Не может быть! — воскликнул я.

— В армию по здоровью не брали,— спокойно сказал Дикóй,— а в тридцатом годе, когда с твердым решением пришли, так я им сам все добро отдал. И самовар, и граммофон, и зеркалу...

— Значит, у вас тоже были перегибы,— сказал я.— Допускалось искривление линии.

— Допускалось,— сказал Дикóй.

— Неужели ты все шестьдесят четыре года в Боровском просидел?

— В Ухолово езжу. В магазин.

Мы замолчали. Дикóй на меня не глядел, глядел по своему обыкновению в землю. Был он, видимо, смущен встречей со мной и ковырял землю чурбашкой. Потом вынул ножик, принялся чурбашку эту строгать.

«Так всю жизнь он и прострогал,— подумал я.— Ужас-то какой!»

Над нами в чистом необъятном небе двигались три сверкающие точки, таща за собой прямые белые

следы. Звено истребителей. Дикой посмотрел в небо.

— К дождю,— сказал он, кивая вслед самолетам.

— Что к дождю, Адриян?

— Примета у меня такая. Если след от аппарата линейный, твердый — к ведру, а ежели чуть расплывается — к дождю.

— Наблюдатель ты, Адриян,— сказал я.

— Ага,— вдруг твердо как-то и, может быть, даже с некоторым вызовом сказал он,— наблюдатель. Всю жизнь наблюдаю, и баста. Звали меня в начальники, ну нет, тигрой лютой я быть не могу.

Щепки полетели из-под его ножа в разные стороны.

«Со мной, что ли, он спорит? — подумал я.— Вряд ли. Должно быть, это старая его боль».

— Когда же тебя в начальники звали, Адриян?

— В тридцатом годе,— хмуро ответил он.

Чурбашка под его ножом превращалась в станок рубанка.

— В колхозе-то состоишь или единоличник?

— Состою. Пособляю им по плотницкой да по столлярной части.

— А семья, Адриян, у тебя есть? — осторожно спросил я.

— Один я,— сказал он.— Почитай два года уж как овдовел, а сынок в Донбассе мастером на шахте служит. Да ты о себе-то расскажи, Пал Петров, как ты-то? Робята есть у тебя, ай времени не было завести?

— Дочка,— сказал я.— И внуки уже есть. Мальчик и девочка.

— А чем она, твоя дочка, занимается? Бабы в городах ныне ученые. Может, физик она у тебя ай химик?

— Она артистка.

— Артистка?

— Танцорка она у меня.

— Небось, в Большом театре?

Настала моя очередь замяться.

— Да, нет, понимаешь, Адриян, специальность у нее оригинальная. Она танцует, но только на коньках, на льду, понимаешь...

— Фигурное катание, что ли?— спросил Дикой.

— Ну да,— обрадовался я,— вот это самое. И дочка и зять, вместе они, парное катание... Сначала чемпионами были, а теперь в ансамбле.

— Хорошо!— сказал Дикой.— В кино я видел. Фантазия! Ну, а ты-то сам как жизнь прожил?

— Я? Эх, Адриян, долго рассказывать.

— Слух у нас был, что ты в тюрьме сидел. Это, небось, в тридцать седьмом тебя упекли, когда партийную кадру брали?

— Да, Адриян, в тридцать седьмом. В общем, жизнь я прожил нелегкую, но другой не хочу.

Опять мы замолчали. Закат уже поднимался над ветлами и осокорями.

Скрипели колодезные журавли. Прошли раздутые, усталые от солнца коровы.

— Да-а,— протянул Дикой,— а я вот и в тюрьме не сидел...

Я тут вздрогнул, представив себя на минуту на его месте. Если бы я не ушел из села с винтовкой, если бы не валялся я в сыпняке, если бы не кричал я с трибун, не ездил бы в «форде», не сменил бы трех жен, если бы не лупили меня следователи в НКВД, если бы не замерзал я на лесоповале, если бы все свои шестьдесят четыре года сидел бы я вот вечерами и созерцал движение облаков, редких прохожих, домашнего скота!.. Если бы жизнь моя посвящена была не великой идее, а лишь такому вот созерцанию! Нет уж, увольте! Конечно, каждому свое, а мне—мсе, мне—моя жизнь, вся в огнях.

— Да что мы, Пал Петров, все на воле сидим,— сказал Дикой,— зайдем в избу.

И мы, одинаково с ним крякнув, разогнули затекшие спины. В избе его красный квадрат заката дрожал на грязной, запущенной стене. Прямо в горнице стояла бочка, откуда Дикой зачерпнул ковшом воды. Пахло мышами, пустотой, мерзостью запустения. Этого я и ждал.

Лишь стол удивил меня. Он был завален какими-то брошюрами, катушками проволоки, изоляторами, инструментом, на нем стоял огромный ящик, сколоченный из тонких досок, с какими-то прорезями, глаз-

ками и со шкалой радиоприемника. Это и был радиоприемник, как я понял.

— Кто это тебе радио смастерил?— спросил я.

— Да я сам собрал. Я этим делом, Пал Петров, очень увлекаюсь.

Дикой пошарил где-то рукой, щелкнул рычажок, ящик осветился изнутри и сразу загудел.

— Чего желаешь послушать, Москву ай Париж?

— Что же, он и Париж берет?

— Берет чисто, и Лондон берет, Би-би-си, а то один раз, знаешь, что я поймал? Страшно сказать, Гонолулу!

— Будет тебе, Адриян!

Он повел какой-то рычажок, и грязная, мрачная, может быть, даже страшная его изба наполнилась звуками современного мира. Я почувствовал какую-то удивительную мощь в этом уродливом приемнике.

«Все-таки огромный, должно быть, талант был у человека,— подумал я.— Ведь малограмотный мужик, а собрал такую штуку. Как жалко, что все это так пропало, без толку!»

Загрохотал черемушкинский наш проклятый джаз, и я попросил Дикого выключить приемник.

— Не угощаю тебя, Пал Петров,— сказал Дикой,— харчи у меня неприятные. Иной раз самому противно. Баба померла, жалко.

— Я тебе детали пришлю из Москвы, какие хочешь,— сказал я.

Он даже замычал от радости.

— Вот за это спасибо, Павлуша,— сказал он,— благодарствую.

Впервые он назвал меня Павлушей.

— Я тогда тебе напишу, какие лампы мне нужны и что еще. А то ведь все в обломках приходилось ковыряться.

— Скажи, Адриян,— спросил я его,— а тебе не страшно тут одному спать в этой избе?

Какая-то удивительная печаль охватила меня и жалость к этому человеку, боль за него. Вот он лежит один в темноте долгие ночи, и даже вспомнить ему нечего.

— Бывает страшно иногда, когда о кончине думаю,— легко сказал он, все еще, видимо, радуясь моему обещанию,— но это редко, Павлуша.

— В бога веруешь?— спросил я.

— В бога не в бога, а в высший дух верую. В тонкое вещество.

— Как же это так получается, Адрияша? Собираешь ты такие сложные аппараты, а веришь в разную чепуху.

— Так уж, верую,— уклончиво произнес он, встал и зажег свою маленькую, тусклую, засиженную мухами лампочку.

— Скажи, Адриан, вот жизнь наша уже на закате, доволен ты своей жизнью?

Он походил, потоптался, вздохнул. Я наблюдал за ним.

— У меня жизнь с интересом, Пал Петров!— сказал он вдруг дрожащим от волнения голосом.

— Радио, что ли?— спросил я.

— Да, радио и еще одна штука.

Руки даже у него тряслись: так он волновался.

— Что же это за штука?

— Пойдем,— сказал он решительно,— покажу. Тебе первому покажу.

Мы вышли из горницы, прошли через хлев, где стояла одинокая его скотина, старая дебелая коза, вышли во внутренний дворик, когда-то, должно быть, кишевший гусями и утками, а сейчас пустой, и остановились перед дверью сарая.

Дикой долго возился с ключами, снимая замки. Наконец он открыл двери. За ними было темно и только слышалось какое-то слабое ритмичное щелканье. Дикой пошарил рукой, включил свет. Он сперва ослепил меня, а потом я увидел...

Я увидел ту хитрую машину, которую когда-то мы разломали в банке. Конструкция была все та же в принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движении, вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-рычаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, и только слабо пощелкивала маленькая дощечка, маленькая дощечка, маленькая дощечка...

— Помнишь? — шепотом спросил Дикой.

— Помню,— тоже шепотом ответил я.

Дощечка щелкала, словно отстукивая годы нашей жизни во все ее пределы, а также за пределами, вперед и назад, и неизвестно уже, куда катили эти бесшумные колеса...

Мне стало не по себе.

— Забавная штука,— сказал я насмешливым голосом, чтобы взбодриться.— Для чего все-таки она? А, Дикой?

Я впервые назвал его Диким.

— Просто, Павлуша, для движения,— снова шепотом ответил он, не отрывая взгляда от колес.

— Когда же ты ее пустил?— опять же насмешливо спросил я.

— Когда пустил? Не знаю, не помню... Давно, очень давно. Вот видишь, не останавливается.

— Что же это: вечный двигатель, что ли?

Он повернулся ко мне, и глаза его безумно сверкнули уже не под электричеством, а под светом ранней луны.

— Кажись, да,— прошептал он с болезненной улыбкой.— А может быть, и нет. Так что... поглядим...

В Рязани едят грибы с глазами.

Их едят, а они глядят.



## Мансур- бунтующая целина



Интернат стоял над разлившейся по весне речкой Чкалдамой.

Река удивила нас внезапным голубым сверканием. Перед этим была только степь, только терпкий запах земли, только жидкий прошлогодний ковыль, только горечь полыни, только блеклое, засохшее оттого, что давно не было дождей, небо — и вдруг эта река, а над нею белый, приветливый, словно бы улыбающийся дом в степи!

Директор интерната Маканов уже ждал нас. С ходу, едва поздоровавшись, Маканов развернул перед нами величественную картину дел, совершенных во вверенном ему целинном интернате. Он засыпал нас цифрами, рассказывал о кукурузе, выращиваемой его питомцами, о птичнике и клубе умелых рук. Он делал это добросовестно, как на отчете.

А дети спали. Был «мертвый час». Мы уважали дела, творимые в интернате, но нам стало вдруг очень скучно... В сущности, нас интересовали дети.

Когда Маканов закончил свою сводку, мы пошли по хозяйствам. Черно, густо блестела на солнце вспаханная земля, и когда мы посмотрели на нее, то поняли, почему Маканов с таким упоением произносил цифры.

Три года назад здесь была такая же рыжая, горькая степь, как та, по которой мы ехали. Совсем юные люди, забывшиеся сейчас в «мертвом сне», пахали и засеивали эту землю... И сами они только начинались, как эта земля, как зеленые листочки тюльпанов, выглядывающие из ковыля, еще ждущие своего дня, еще не засверкавшие алым, горячим блеском.

— Хорошо бы все-таки увидеть детей,— робко заикнулись мы.

— Дети будут,— сказал Маканов.— Будут наши замечательные дети — сыновья и дочери чабанов и пастухов, идущих в наступление на целину.

Мы переглянулись. Чувствовалось, что Маканов читает передовицы газет с особым вниманием и легко запоминает их наизусть.

— В честь гостей дети дадут концерт. Такова уж традиция юных целинников.

Неожиданно к нам подошел высокий, чуть сутуловатый парень лет девятнадцати-двадцати, кивнул нам и обратился к Маканову по-казахски. Парень был явно русский — светловолосый, с чуть вытянутым лицом, с голубыми прозрачными глазами, ясно и устало смотревшими на Маканова.

Мне не раз приходилось слышать, как русские говорят по-казахски: они очень старались, и выговор у них был какой-то округлый, мягкий. А этот говорил по-казахски так же быстро, отрывисто, уверенно, как и Маканов. Я не понимал, о чем они говорят. Но одно и то же имя все время повторялось в разговоре...

— Мánсур,— говорил Маканов и покачивал головой.— Ай, Мánсур!

— Да, Мánсур! Мánсур,— подтвердил второй.

Вся торжественность и официальность разом слетели с Маканова. Чувствовалось, что он чем-то не на



шутку встревожен. А второй вежливо разделял озабоченность Маканова, но все время чуть улыбался, точно в глубине души не принимал происшедшее всерьез. Но вот Маканов спохватился, что гости позабыты, и повернулся к нам.

— У нас замечательные дети... Но есть и другие... Есть и такие...— Он так и не нашел подходящего слова. Он сурово нахмурил брови, словно показывая нам, что есть дети, которые не могут вызвать у человека ничего, кроме гнева...

— Николай! — позвал он белокурого.— Собери детей в красном уголке. Будет концерт... И чтоб Мánсур был...

— Мánсур? — Николай удивленно поднял брови.— Мánсур не пойдет.

— Как так не пойдет? — рассердился Маканов.— Ты приведешь его. И он будет играть на кобызе.

— Мánсур не пойдет,— упрямо повторил Николай.— И он не будет играть на кобызе. Уж я-то знаю Мánсура.

— Ты воспитатель или ты кто? — сказал Маканов.

— Я воспитатель, директор,— тихо ответил Николай.— Но Мánсур все-таки не придет...

Маканов снял с головы тубетейку и нервно сунул ее за кушак. Жест выражал недовольство. Бархатная черная тубетейка как бы тушила блеск его маленьких, необыкновенно острых и горячих глаз... А теперь они засверкали вовсю... Маканов сердился. Я, не зная причины, с удивлением смотрел на Маканова. И я видел морщины, резкие, графически четкие на его коричневом, ровно, крепко обожженном солнцем лице, морщины на лбу и переносье и лысеющую, совсем седую голову... Да, видно, нелегкой ценой дались ему эти гектары, и белые постройки, и птицеферма, и все, о чем он говорил вначале так скучно и торжественно. А теперь еще этот таинственный Мánсур...

— Ай, Мánсур! Какой нехороший, какой нехороший! — с горечью прошептал директор. Но тут же он вновь надел на себя тубетейку, и лицо его сделалось непроницаемо важным.

— Прошу дорогих гостей в красный уголок...

В красный уголок между тем стайками врывались де-

вочки в коричневых школьных платицах и синих шароварах. Увидев нас, они начинали смущаться и смущались долго и упорно, отводя в сторону жаркие раскосенькие свои глаза и бормоча что-то... Мальчишки были мельче, чем девчонки, но бойчее.

— Дети, к нам приехали гости из Москвы,— сказал Моканов.— По нашему обычаю, мы не можем отпустить гостей без угощения... А лучшим угощением будут ваши веселые песни.

— А не бесбармак! — буркнул какой-то мальчишка, настроенный явно скептически.

— Ай, какой нехороший!.. Ай, какой невоспитанный!..— сказал Моканов и развел руками.

И в этот момент в комнату вошел Николай. Он был один. Без Мансура. Моканов внимательно посмотрел на него и ничего не сказал...

— Ладно, споемте, дети, «Бульме»,— сказал он устало и взял домбру.

Я не знаю, что такое «Бульме». Но это слово задорно вырывалось из общего потока, и казалось оно необычайно заразительным, звонким, каким-то вкусным: может быть, это происходило оттого, что я не знал его смысла. Бульме, Бульме! Оно походило на стук весенних капель по крышам. А потом вышла очень полная и рослая девица, туго запеленатая в школьную форму, и невероятно тоненьким голосом, как бы вибрирующим на краю пропасти, вибрирующим, но не срывающимся, спела смущенно, но старательно песню о целине. Она подыгрывала себе на домбре, и Моканов, глядя на нее, оживал и делал что-то губами, видимо, неслышно ей подпевая.

А потом после концерта, взятые в железные, неотвратимые тиски местного гостеприимства, мы сидели на кошме на особом, «гостевом» месте и пили, обжигаясь, густой, подернутой молочной пленкой жира суп — сурпо — и терзали непривычными к этому делу пальцами баранью ногу, выданную персонально гостям.

Я сидел рядом с Николаем, напротив — еще несколько учителей, а у самовара, самого что ни на есть русского, лучистого самовара, восседал Моканов. И я всячески пытался подражать Николаю и тому, как лов-

ко он брал своими тонкими сильными пальцами щепотку лапши, как он ловко, даже изящно обрабатывал косточки, тому, как неторопливо и раздумчиво прихлебывал чай и, наконец, как бы подводя всему этому черту, поставил пиалу ребром, что означало конец чаепития.

Да, мне нравился Николай, нравилось удивительное сочетание русской непринужденности, даже чуть небрежности с азиатской мягкостью, спокойствием, терпимостью. Я ничего о нем не знал... Но он как-то неожиданно вписывался в эту обстановку, с кошмой, на которой, поджав под себя ноги, сидели люди, с тульским сияющим самоваром, с огромным общим блюдом, как бы символизирующим людское братство. Внезапно я тронул Николая за плечо и с восточной обходительностью сказал ему:

— Можно вам задать вопрос?

— Пожалуйста,— сказал Николай.

— А как Мánсур? — сказал я.— Как поживает таинственный Мánсур? И что вообще он собой представляет... Если, конечно, он не засекречен.

— О, Мánсур! — протянул Николай, и улыбка его вдруг стала почти нежной.— А вы бы хотели на него взглянуть?

— Мечтал бы! — воскликнул я.

— Это зависит от Маканова,— сказал Николай.

— Давайте бросимся перед Макановым на колени.

— Маканов этого не любит. Он любит, чтобы все по порядку...— И тут же Николай по-казахски что-то спросил у Маканова. И в вопросе опять прозвучало характерное, отрывистое «Мánсур» с ударением на первом слоге. Маканов колебался. Он был явно недоволен Мánсуром. Я был уверен, что он откажет. Но при всем его недовольстве Мánсуром были, видимо, в макановском сердце какие-то струны, которые мгновенно отзывались на это имя... И, подумав, Маканов произнес какую-то короткую фразу. Он разрешил, Маканов.

Мы шли к таинственному Мánсуру вдвоем с Николаем. Мы прошли длинным интернатским коридором, потом свернули в какой-то тупичок.

— Только учтите, вам к Мánсуру заходить не стоит.

— Так зачем же мы вообще пошли сюда? — сказал я.

— Вы не пожалеете... Погодите, не торопитесь.

Николай своим ключом открыл дверь и вошел в комнату, где и находился, должно быть, таинственный Мánсур. А я судорожно начал изыскивать возможности вести наблюдение за Мánсуром извне. Наконец одна из щелей показалась мне подходящей, и я, снедаемый любопытством, прильнул к ней... В конце концов Николай и взял меня для того, чтобы я посмотрел на Мánсура.

И я увидел, как Николай прохаживается по маленькой пустой комнатенке, а на полу, поджав под себя ноги (хотя рядом стояла кровать), сидит мальчик лет тринадцати. Прямые иссиня-черные волосы падали на лоб и как бы делили его лицо надвое. И отделенные друг от друга этой черной прядью мерцали большие, широко расставленные глаза, смотревшие на мир сумрачно и очень внимательно.

Какая-то скорбность была в его позе и в этих раскосых больших внимательных глазах.

— Ну, так что, — сказал Николай. Для меня он говорил по-русски. — Ты доволен случившимся?

— Да, — твердо сказал Мánсур. — Я доволен.

— Ты доволен тем, что чуть не свел директора в могилу, а меня заставил три ночи провести в седле. Ты, видно, очень доволен этим...

— Нет, этим я не доволен, — сказал Мánсур.

— Чем же ты доволен, Мánсур Амиров? — сказал Николай. — Скажи мне, не таись. Ведь еще недавно ты относился ко мне совсем не так плохо.

— Я и сейчас отношусь к вам неплохо. Я хорошо к вам отношусь, Николай-ака. И все-таки я доволен.

— Я не понимаю тебя, Мánсур.

Мánсур задумался. Я видел, как прямые и гордые его брови сошлись у переносья и лицо сделалось вдруг взрослым, суровым.

— Я повидал степь, Николай-ака. Да, я повидал степь. Я соскучился по ней. Я давно уже должен был ее увидеть.

— Разве тебе мало той степи, что за окном? — сказал Николай. — Разве это не степь?

Мальчик снова задумался. Потом он посмотрел на Николая и сказал с какой-то неожиданной усталостью:

— Это другая степь. Я хотел видеть степь своего отца. Я хотел видеть свою степь. Ту степь, что у Байгабула.

— Ну и как та степь? — спросил Николай. — Она изменилась?

— Да, она изменилась, — с тревогой сказал мальчик. — Там много людей, новых людей. Я их не знаю. Много машин. Машины — это хорошо... Но если их слишком много, лошади начинают бояться.

— Лошади привыкнут, — сказал Николай. — Машины никогда еще не обижали лошадей. Ты это знаешь, Мánсур.

— Знаю, — тихо, неуверенно сказал Мánсур. — Но лошади не знают этого...

— Пастухи объяснят им, — сказал Николай. — Это — уже дело пастухов. А твое дело учиться и играть на кобызе.

— Да, но у меня отняли кобызу, — сказал Мánсур.

— Отняли потому, что ты обидел нас. Ты обидел Маканова и меня.

— Ты не понимаешь, что такое степь, — с неожиданной горечью сказал Мánсур. — Ты русский, ты этого не понимаешь.

— Я понимаю это не хуже тебя, — твердо сказал Николай. — Степь мне мать и отец так же, как и тебе. Я вырос в степи. Но я же не убегаю в степь, не оставляю тебя одного. А ты оставил меня.

— А ты скучал? — робко и как-то настороженно спросил Мánсур.

Николай молчал.

Сильно задувал ветер, окна звенели, и мальчик напряженно, пристально, в упор смотрел на Николая и ждал, ждал ответа.

— Да, — сказал Николай. — Но не будем об этом.

И мальчик вдруг улыбнулся. Он улыбнулся счастливо и спокойно. Ему, видимо, было нелегко, этому мальчику. Слишком много противоречивых и достаточно сильных чувств билось в его сердце, билось, сталкивалось, не давало ему успокоиться и раскачивало его сердце из стороны в сторону, как маятник.

— Ты обещаешь мне, что этого не будет? Никогда не будет,— нахмурившись, сказал Николай.

— Никогда?— переспросил мальчик и задумался.— Я не знаю, что такое «никогда», никогда — это слишком долго...

Оба они замолчали, и я почему-то подумал, что и молча они понимали друг друга, хотя смотрели на некоторые вещи по-разному.

— Ладно,— сказал Николай.— Маканов разрешил мне дать тебе кобыз. Но не потому, что он простил тебя, а потому, что он боится, как бы ты не разучился играть. Он говорит, что ты стал слишком легкомысленным. Теперь для тебя и музыка — ничто.

Мáнсур вспыхнул.

— Я разучился? — сказал он.— Принеси мне кобыз, и я покажу вам всем, как я разучился.

Николай вышел из комнаты и запер дверь.

— А мне нельзя войти к нему? — прошептал я.

— При вас он не станет играть. Он никогда не играет при чужих.

Я хотел было объяснить Николаю, что я не чужой, но не успел. Николай уже шел за инструментом, шел мягко, босиком, и при свете синего ночника его фигура казалась причудливой, странной, будто это был всадник, только всадник без лошади. Но вот он появился снова, уже с инструментом в руке.

— Да, он никогда не играет при чужих,— шепотом повторил Николай.— Беда, беда с Мáнсуром... И на соревнование его не выставишь, Мáнсур — это целина... Невспаханная целина.

— Целину надо поднимать,— сказал я несколько назидательно.

— Поднимем. Поднимем. Только люди — это сложнее, чем земля.— Он улыбнулся ласково и грустно и тряхнул головой.— Да-а.— Должно быть, он подумал о Мáнсуре. Затем он посмотрел на меня и сказал:

— Вы выйдите из дому и подойдите к окну. А я открою окно... Сквозь дверь плохо слышно.

Я вышел на улицу, сел на солому около окна. Горько пахло кизяком. Овцы уныло, точно жалуюсь на кого-то, блеяли, и голоса у них были старческие... Но ни-

кто не слышал их жалоб, было тихо, очень тихо, тишина была слева, и справа, и всюду — она простиралась над землей на многие километры... И вдруг в тишину эту вошел чей-то легкий и освобожденный вздох... Не вздох усталости — вздох радости. Кто-то тихо, но звонко засмеялся. Я приподнялся и посмотрел в окно. Это смеялся Мánсур. Обеими руками он держал свой инструмент и смеялся. Его наказали — у него отняли кобыз, — а теперь над ним сжалились и вернули то, без чего он не мог жить. Он стукнул костяшками пальцев по деревянному корпусу, поудобнее уселся, словно прилаживаясь к кобызу, деловито пощупал струны. Лицо его вдруг озаботилось, повзрослело, точно все до того момента, как он взял инструмент, было суетой, несерьезностью, чем-то второстепенным, а дело-то будет только сейчас.

Он начал играть очень тихо, я даже не почувствовал, не увидел первого побега мелодии. Я увидел ее уже в росте, когда она поднималась, крепла, мужала на глазах.

А мальчик сидел на полу, полузакрыв блестящие, сумрачные глаза, и прислушивался к своим пальцам, тоненьким, с обкусанными ногтями, с темными обводинами на костяшках, и, верно, был ими недоволен.

Ему, видно, хотелось, чтобы они были чутче, его пальцы, чтобы они поняли самые горькие и самые радостные его мысли, спрятанные от людей.

Мánсур играл спокойно, меланхолично, импровизируя, иногда нарочно ломая мелодию, шаря на ощупь, в поисках какой-то новой, неизвестной ему еще интонации. Не было в позе его вдохновения. Просто сидел, чуть насупясь, о чем-то своем думая, и наигрывал, наигрывал...

О чем он играет? Я мог только догадываться. Мне казалось так: о степи, о рыжей, о далекой, о пахнущей сладкой горечью полыни, о смыкающейся с небом, о той, что ждет дождя... А может, и не об этом. Но в песне было что-то от степного весеннего ветра — теплого, обещающего перемены, идущего издалека, несущего иногда радость, иногда беду... Видно, хорошо слушал этот мальчик степь. Видно, пустынная ее душа была ему небезразлична.

И, слушая его, я вдруг вспомнил толстую и симпатичную девчонку, игравшую на домбре. Для нее это был урок. И выполнила она его добросовестно и бес-  
таланно, как ученица, никогда не забывающая сделать домашнее задание.

А здесь был мастер. Маленький степной мастер, срывающийся, бунтующий, в котором есть сила не-  
вспаханной, необузданной целины, нерастраченная и пока еще бесполезная, не отданная людям, замкнутая в нем самом.

Шуршала низкой травой степь, слушала Мánсура, узнавала его голос, но не могла ему подпевать, так как по природе своей была слишком молчалива.

Мánсур кончил, повесил на гвоздик кобыз и вопро-  
сительно посмотрел на Николая.

— А теперь спать,— сказал Николай.

— А ты меня запрешь? — с горечью сказал Мán-  
сур.

Николай не знал, что ответить. Видно, у него были соответствующие указания на этот счет.

— Я бы тебя не запирал, но мне очень трудно до-  
гонять тебя в степи,— сказал Николай.

— Я не убегу сегодня,— сказал Мánсур.— Пожа-  
луйста, не запирай меня, Николай-ака.

Николай встал, постоял в нерешительности и вы-  
шел, не заперев дверь...

Мальчик подошел к полураскрытой двери, высу-  
нулся вслед за Николаем, построил неизвестно кому, а  
вернее, самому себе гримасу и тоненьким голосом  
запел: «Бульме! Бульме! Бульме!»

Арест кончился. Он был на свободе. И с ним был  
кобыз. И Николай простил его. И на худой конец мо-  
жно было убежать еще раз.

А Николай уже шел ко мне. Он не стал спрашивать,  
какое впечатление произвела на меня игра Мánсура.

Он молчал. Здесь все было ясно...

— А что он все-таки натворил, Мánсур? — спро-  
сил я.

— Он вылез в окно,— сказал Николай.— Сел на  
макановского коня и ускакал в степь. На рассвете я ки-  
нулся за ним в погоню... Две ночи я гнался за ним. Бы-  
ло бездорожье, машины не шли. Только на коне мо-



жно было двигаться по степи. Маканов чуть не заболел. Он слал телеграммы в соседние казахские совхозы: нет ли мальчика? Мальчика нет, отвечали ему. Я доскакал до Байгабула. Там его родина. Там его родная степь.

— А родители? — спросил я.

— Родителей у него нет. Соседи-пастухи слышали, как кто-то скакал около юрт ночью и пел. Но они не знали, шайтан это или человек. Я гнался за ним и спал в седле. Я заставлял себя не спать, но это было очень трудно. Я нагнал его за Байгабулом.

— А чем он питался?

Николай улыбнулся.

— Песнями,— сказал он.— Пастух быстр, как конь, и неприхотлив, как верблюды. А Мánсур — сын пастуха.

— А может быть, не стоило гнаться за ним? — спросил я.— Он все равно вернулся бы.

Николай посмотрел на меня удивленно.

— Вернулся бы? Наверное. Он побывал в той степи, где родился, где умер его отец, и, конечно же, он вернулся бы домой... Но мы думали сердцем, а не умом. А тот, кто думает сердцем, не умеет ждать.

Помолчав, он добавил:

— А вы знаете, у степи ведь иногда портится настроение, и тогда степь не выпускает человека.

«Какие судьбы привели этого сына Волги или Оки в степь? — думал я.— Кто научил его казахскому языку, что сделало его учителем казахского интерната?»

Спрашивать было неудобно, но не спросить я не мог.

— Вы давно здесь, в Казахстане?

— Давно,— сказал он.

— А ваши родители?

— Их нет,— сказал он.— Меня воспитали пастухи. Но это долгая история, а вам уже пора.

Он замолчал. Так вот оно как, подумал я. Значит, у них с Мánсуром общая судьба... Казахи воспитали Николая, а Мánсура воспитывает русский. И они говорят на одном языке. На языке степи.

— А Мánсур — это целина,— повторил Николай любившееся ему сравнение.— Это бунтующая целина. Но урожай будет... Будет, не беспокойтесь.

Ветер усилился... Движок, дающий интернату электричество, выключили.

И последнее светившееся в ночи окно Мánсура погасло.

— Не убежит? — спросил я Николая.

— Не убежит, — сказал Николай. — Сегодня он не убежит. Обещал.

— А завтра?

— А завтра посмотрим... Не споткнитесь, здесь темно.

Я шел вслед за Николаем и думал об этих погасших окнах и о том, что будет завтра. Но не завтра — через несколько часов, а завтра — через месяцы, годы...

А «завтра» это спало. Спало «завтра», спали завтрашние люди целины... «И хорошо, — подумал я, — что среди них не только трактористы, чабаны и агрономы, но и музыкант, большой музыкант — маленький Мánсур, бунтующая и прекрасная человеческая целина».

И сколько раз Мánсур еще огорчит Николая, прежде чем будут первые всходы, сколько раз он заставит Маканова хвататься за сердце!

— Да, а где же Маканов? — сказал я. — Надо же зайти к нему.

— А вот он, Маканов, он нас ждет.

Ну и глаза у этого Николая... Может быть, у всех пастухов такие глаза. В темноте он увидел Маканова, сидящего, поджав ноги, на крыльце, слившегося с ночью...

«Неудобно, — подумал я. — Мы заставили его ждать. Надо извиниться». Мы подошли совсем близко, но Маканов не встал нам навстречу. «Обиделся, — подумал я. — Все-таки с этими восточными людьми не всегда просто».

Но Маканов не обиделся. Он спал. Он спал сидя, и бархатная тюбетейка сползла ему на ухо... Он спал, Маканов, и вовсе он не обиделся на нас. Просто с этими юными целинниками еще не так навоюешься.



## Педальная машина



Когда я вижу у какого-нибудь ребенка педальную машину, во мне рождается что-то теплое, волна воспоминаний подхватывает меня и несет назад, в детство, года на двадцать четыре вдаль от берега взрослых...

В детстве у каждого есть своя «педальная машина», своя мечта номер один. У одних это кукла с закрывающимися глазами, у других — заводная железная дорога, у третьих — моторная лодка, которую можно пускать в тазу, в корыте и, конечно, в теплой последождевой луже возле дома. А у меня это была педальная машина.

Но в детстве подобные мечты сбываются только при участии взрослых. Помню, как за несколько дней до моего пятилетия мама спросила, какой подарок я хочу на свой день рождения. Сердце у меня забилося

часто-часто, я почему-то покраснел и с трудом выдавил:

— Педальную машину...

— Ишь ты, чего захотел,— ласково сказала мама и погладила меня по голове.

— Купи!..— Я, наверное, при этом так посмотрел на маму, что она вдруг на мгновение сделалась серьезной, потом поцеловала меня и сказала:

— Ладно-ладно... Куплю. Иди погуляй.

— А когда мой день рождения? — не уходил я.

— Во вторник.

— А когда вторник?

— Вот будет завтра, потом послезавтра, потом после-послезавтра, а потом будет вторник.

Значит, после-после-послезавтра!..

Конечно, я всем во дворе сказал, что у меня будет педальная машина. В этот день Люська Четверикова разрешила мне попрыгать с ней и с другими девочками через веревочку и даже доверила покрутить «пять холодных и пять горячих». И я подумал, что Люська вовсе и не «воображала». А она потом спросила меня:

— Дашь покататься?

— Конечно! — радостно крикнул я.

Славка, которого мы все звали «жадиной-говядиной», подарил мне самую большую драгоценность — «чертов палец». И я подумал, что Славка вовсе и не «жадина».

А вечером ко мне подошел Витька, которого мы все боялись, потому что ему было уже восемь лет, протянул мне коробку с майскими жуками и сказал:

— Давай с тобой водиться.

— Давай,— неуверенно протянул я.

— Я за тебя заступаться буду,— сказал Витька.

Водиться с Витькой да еще знать, что он за тебя заступает!.. Это что-нибудь да значит! Я чуть даже не забыл про педальную машину.

Все дни до вторника я ждал. Наступало «завтра» — я ждал «послезавтра». Наступало «послезавтра» — я ждал «после-послезавтра». Наконец наступило «после-

после-послезавтра». В этот день мама и папа пришли с работы вместе и раньше, чем обычно. Папа, что-то пряча за спиной, прошел к столу, а мама, стоя в дверях, крикнула мне:

— А ну-ка, закрой глаза!

Я закрыл.

— Теперь открой!

Но я стоял с закрытыми глазами и, наоборот, все сильнее и сильнее зажмуривал их. Я, конечно, понимал, что за спиной у папы не может уместиться большая педальная машина, и все-таки надеялся на чудо. Но чудес не бывает. Поэтому, когда я открыл глаза, на столе стоял маленький улыбающийся поросенок. Он был в черном костюмчике, на голове у него была черная шляпа, в руках он держал смычок и скрипку.

Наверно, у меня был очень разочарованный вид, потому что папа сразу бросился к поросенку, сунул ему в спину ключик и стал с треском повертывать его, приговаривая:

— А как он у нас сейчас заиграет...

И действительно, поросенок вдруг задергался и быстро-быстро заводил смычком по скрипке. При этом черная шапочка стала подпрыгивать у него на голове.

Я смотрел на маму, которая все еще стояла в дверях и ждала только одного, ждала, когда же я обрадуюсь подарку, чтобы броситься ко мне и начать целовать меня, тискать и говорить мне много-много ласковых слов, таких слов, которые может говорить только мама, когда сыну исполняется пять лет. Я посмотрел на папу, который суетился возле поросенка и приговаривал то и дело:

— А какие у нас ботиночки! А на скрипочке даже струны есть!

Я посмотрел на глупого, улыбающегося поросенка, который прыгал на одном месте, играл на скрипке и ровным счетом ничего не понимал.

И я заплакал. И оттого, что поросенок улыбался, и оттого, что папа суетился возле поросенка, стараясь развеселить меня, и оттого, что мама хотела, чтобы я радовался, а не плакал, я заплакал еще сильнее.

— Ты же обещала...— говорил я сквозь слезы.

— Что я обещала? — недоумевала мама.

— Педальную машину... — И как только я произнес это вслух, с новой силой до моего пятилетнего сознания дошло, что у меня нет, нет, нет педальной машины.

— Ну, ерунда какая, — успокаивала меня мама, вытирая мне слезы своим платком. — Будет еще у тебя педальная машина.

— Когда? — не унимался я.

— Ну вот поедем как-нибудь с папой в город и купим. Только успокойся. Скоро гости придут, а ты плачешь.

— Он просто неблагодарный, невоспитанный ребенок, — сказал отец. — Воспитанный сын должен был радоваться любому подарку, должен был поцеловать папу и маму, а он плачет. Раз так — ничего не получишь!

И папа спрятал поросенка в коробку, а коробку положил в шкаф.

День рождения пятилетнего ребенка — это праздник для взрослых. Это благородный повод собраться, немного повеселиться за рюмкой вина, поговорить о чем-либо и, конечно, вкусно поесть. Гостей у нас было немного. Пришли они не все сразу. И каждый, кто приходил, дарил мне что-нибудь и брал у меня скучное, однообразное интервью, стараясь разговаривать со мной, как с равным.

— Ну, здравствуй, — говорил каждый гость, протягивая руку. — Это сколько же тебе лет исполнилось?

— Пять, — отвечал я каждому гостю.

— Э-э!.. Да ты уже совсем взрослый. Скоро в школу пойдешь, — ставил меня в известность каждый гость.

— Скоро, — угрюмо соглашался я с каждым гостем.

— А ведь я тебя еще вот таким помню, — говорил каждый гость и руками показывал, каким он меня помнит. — А ты меня помнишь?

— Нет, — говорил я каждому гостю.

Никто из них не принес педальной машины.

Зато пришедший позже всех дядя Сережа подарил мне черный блестящий большой пистолет! Он стрелял

деревянными палочками, на конце которых были специальные резиновые присоски. Ну что говорить? Пи-столет мог бы стать моей самой любимой игрушкой, если бы я так сильно не хотел педальную машину. Я рассматривал его, уже лежа в постели, и время от времени целился в сидящих за столом гостей. Но, конечно, я не нажимал на курок.

Разговоры, смех, звон посуды за столом долго не давали мне уснуть.

Утром, когда я проснулся, я сразу вспомнил, что у меня нет педальной машины. А может быть, все-таки мама и папа вчера нарочно говорили, что не купили машину, чтобы сегодня утром меня ждал сюрприз?.. Я пробежался глазами по углам и даже заглянул под кровать, но, кроме маминых домашних туфель и сухих стружек от матраца, ничего не увидел. Я приоткрыл дверь и выглянул в коридор — мы жили тогда в бараке, и у нас был длинный полутемный коридор, — но в коридоре рядом с нашей дверью, где мне хотелось увидеть педальную машину, сидел на горшке Славка — «жадина-говядина» — и серьезно рассматривал какой-то камешек.

Когда я вышел гулять, Люська Четверикова уже прыгала через веревку с другими девчонками возле сарая. Увидев меня, Люська крикнула девчонкам:

— Мне чура! — И подбежала ко мне: — Ну?.. Купили?

— Нет... Но скоро купят, — невесело ответил я.

— Жди больше! — как-то вредно сказала Люська. — Педальная машина, знаешь, какая дорогая?

— Какая? — не понимал я.

— Можно прыгалок купить целую тыщу!

Я тогда не понимал, что значит «дорогая», но слово «тыща» внушало мне какой-то неведомый страх, и педальная машина вдруг сделалась для меня маленькой, далекой, несбыточной...

«Воображала» Люська больше не принимала меня прыгать через веревочку и уж, конечно, не разрешала крутить не только «горячие», но и «холодные». Славка — «жадина-говядина» — забрал у меня свой «чертов палец». И я подумал, что Витька и подавно перестанет со мной водиться.

Я сам разыскал Витьку за домом возле шоссе, где он всегда ловил жуков. Он сидел в канаве и строгал перочинным ножом какую-то доску. На доске был нарисован простым карандашом кривой-кривой пистолет. Дуло было уже почти выстрогано.

— Хорошо? — гордо спросил у меня Витька, показывая доску.

— Возьми своих жуков, — сказал я, чуть не плача, и протянул коробку.

— Зачем? — удивился Витька.

— Не купили мне педальную машину.

— Ну и не надо. А жуков я тебе за так подарил. На день рождения.

— За та-ак?.. — протянул я растерянно.

— Ага, — сказал Витька просто. — А педальная машина — это для малышей. Вот пистолет — это да!.. — мечтательно добавил он.

— Какой пистолет?

— Какой?! Настоящий, железный, черный, который палочками стреляет, — восторженно заговорил Витька, потом с тоской посмотрел на доску, сложил перочинный ножик и вдруг предложил мне: — Давай вместе жуков ловить! Хочешь, научу?..

...Я долго не мог уснуть в этот вечер. Под подушкой в коробке уютно скреблись жуки, которых наловили мы с Витькой. И пусть папа скажет, что я неблагодарный, невоспитанный, что я не умею хранить подарки... Пусть! Но у меня под подушкой рядом с жуками лежал настоящий черный железный пистолет, и я знал, что я сделаю с этим пистолетом завтра. А педальная машина — это для малышей...







## Валя

*(Из приморской тетради)*

на была маленькая, худенькая, ей едва минуло восемнадцать. И попала она сюда не с эшелоном, не с шумной толпой своих сверстников, приехавших осваивать край. Ее не встречали ни музыкой, ни речами. Их было всего шесть девушек, окончивших фельдшерские курсы в Иванове и получивших назначение в Приморье. Приморье велико, и их разбросали по разным углам. Вале Щегловой досталось глухое таежное село, зажатое между горами Сихотэ-Алиня. Там мы и познакомились.

— Здесь все не так, все не как у нас...— говорила Валя, семеня рядом мелкими шажками и глядя на меня снизу вверх.— Вот видите, сидит пастух...

Действительно, под деревом, надвинув картуз на нос, дремал пастух. А на лугу мирно паслись коровы. Мы с Валею прошли по селу за околицу.

— Но, понимаете,— продолжала она, почему-то переходя на шепот,— он не просто пастух, он тигров для зоопарка заготавливает. Да, да. А с лесником Евдокимовым вы уже познакомились? Его тигров даже за границу посылают... Вы знаете, когда зимой ловят тигрят, им обязательно обматывают одеялом хвосты. Евдокимов раз так не сделал, и у тигренка к утру отмерз хвост. Тигренок оказался бракованный, его не приняли в зоопарк... А в сельпо здесь торгуют... Вы у учительницы живете, она вас свиной угощала? Вы думаете, это настоящая свинина? Это дикий кабан! А бывает даже и свежая медвежатина. Я маме не пишу, она еще испугается, подумает, меня и самое сожрут медведи.

— А как она тебя отпустила в такую глушь?

— А я ей не показала на карте, я ей сказала, это за Уралом. Она только четыре класса окончила.

— А тебе не боязно было забираться сюда одной?

— Нет, чего бояться? Тут же люди! Только жить здесь надо по-особенному... Вот как жить? И вообще как жить?..— говорила она, останавливаясь и разводя руками.— Как?

Прозвенел ее голосок, и мне показалось, где-то тоненько передразнило эхо: «А-ак?»

Впереди была высокая трава, почти по пояс, и за ней блестела речка. Пахло медом и такой свежестью, что с непривычки кружилась голова. Мы повернули обратно к селу и пошли пить чай к геологам.

— Вы знаете,— говорила Валя, перескакивая уже на другое,— здесь как странно все называется. Вон, видите, долина между тех двух гор—это Евдокимов Ключ. Там на самом деле никакого ключа и нет. Я лазила. Просто долина. Там Евдокимов когда-то давно срубил себе охотничий домик. Тогда еще этого села и не было. А там—Опанасюков Ключ. Опанасюк уже совсем старенький. Ему в районной больнице грыжу резали. Я ему уколы делаю... Здесь еще, знаете, сколько неназванных гор и долин, ужас! А вот эта девушка, что пошла от колодца...

Валя замолкла и прислушалась. Где-то там, где гора, покрытая тайгой, уже расцветенная осенью, упиралась

в небо, раздалось покашливание, словно за горою проснулся какой-то великан и прочищал глотку. И по другую сторону села, где тоже гора уперлась в небо, ответило такое же покашливание. «Внимание, внимание! Говорит радиоузел колхоза «Красный луч». Напоминаем: сегодня в помещении клуба в двадцать часов ноль-ноль состоится лекция-беседа «Многолетние травы и удои молока»...» — гроыхало над селом. И было забавно, что эти громовые голоса, доходившие до самого неба, неслись из маленького репродуктора, прикрепленного на шесте над зданием сельсовета.

— Это к нам не относится,— сказала Валя.— А вот эта девушка, так она зимой запросто бегаёт в лес, бьёт белок! А я даже до ружья боюсь дотронуться. С виду она, между прочим, такая курносенькая...

Валя была тоже курносенькая и совсем беленькая. О таких не говорят — блондинка; просто беленькая, с очень светлой, нежной кожей, которую не берет загар, с пушистыми золотистыми ресницами, такими же, ничуть не темнее, бровями и пепельными завитками волос. Она мне призналась, что перед отъездом сюда не удержалась и сделала перманент. И ещё она прибыла в тайгу на высоких каблуках. Она всегда их носила, чтобы казаться выше ростом; денег сменить обувь не было, так она и ходила в резиновых ботиках-сапожках, цепляясь каблуками за кочки и корни.

Река разлилась от дождей. Было топко... Но начну по порядку: расскажу, как я с нею познакомилась.

Мне были нужны геологи Миша и Борис, ленинградские студенты, только что вернувшиеся с маршрута. Уже несколько раз я отправлялась на конец села в их «штаб» — развалившуюся, вросшую в землю избу, где на соломенной крыше рос молоденький клен, озорно хлопая по воздуху своими ладошками. Но каждый раз я заставала в избе только Юрия Константиновича, их старшего товарища, который в клубах табачного дыма мрачно шагал из угла в угол, натываясь головой на балку. Произошла неувязка с маршрутами, не все геологи вернулись, и он был вынужден задержаться, а самолет ожидался со дня на день. Его мрачность

усугублялась еще тем, что весной он «имел неосторожность жениться», тоже на геологе, но только на гидрогеологе, и она проходила практику на Каспии.

— Они на медпункте,— ответил он мне лаконично, как и в предыдущие разы, когда я справилась о Мише и Борисе.

— Что они, больны, что ли? — удивилась я.

— Один из них, во всяком случае...

И я отправилась на медпункт, где и встретила Валю. Она была в белом халате, в марлевой повязке, вся очень ясная, светлая. И комнатка тоже была ясная, светлая, и солнечные зайчики дрожали на банках и склянках, выстроенных на полке. Деревянный топчан был покрыт клеенкой.

— Как в настоящей амбулатории,— заметила Валя.

А на этажерке в углу, на книгах, стоял пузатый докторский чемоданчик, подарок ее друзей в день окончания курсов.

— Это моя «скорая помощь». Здесь все наготове.— И она похлопала чемодан по желтым бокам.

От свежеструганного топчана, от полки, на которой застыли слезки смолы и по которой еще, казалось, бежали живые соки, должно было бы пахнуть лесом, если бы не вонючая мазь. Валя втирала ее в Мишину коленку. Миша был покрыт буйной растительностью. Можно было подумать, что из каждой поры у него лезло по крайней мере по десятку волос. Даже суставы пальцев были волосатые. И хотя он был тщательно побрит (и столь же тщательно порезан), Борис на его фоне со своей русой бородкой казался почти безволосым.

На медпункте мы пробыли недолго. Валя нам предложила удалиться. Пришла женщина с ребенком. Но все же она мне успела сообщить, что уже добилась: будут строиться большие сени для ожидающих приема. Я задержалась, разговаривая с ней, и, когда вышла, услышала, как Борис говорил Мише:

— Думаешь, так уж ей приятно возиться с твоей шершавой коленкой? О нее сыр можно натирать! Придумал бы, что ли, стенокардию какую-нибудь. По крайней мере название звучное и непонятно, как лечить.

...А вечером мы пили чай у геологов. Уже было известно, что завтра «ПО-2» подбросит Мишу и Бориса во Владивосток. Занятия давно начались. Миша был с первого курса, Борис — со второго. Мы сидели прямо на полу, на спальнях мешках, перед нами на вьючном ящике, покрытом листом белой бумаги, горели две свечи. Стол был завален чертежами. Угощались медом и сыром, тем самым, который Борис предлагал натереть о Мишину коленку. Мы его с трудом нарубили ножом с помощью камня. Макали сыр в мед и запивали парным молоком.

Миша был за хозяйку. Он повязался полотенцем, как фартуком, для пущей внушительности, а может быть, для того, чтобы не бросались в глаза латки на его сатиновых шароварах. (Латки он ставил сам, разорвав для этой цели майку и окуная куски в тушь. Его лозунгом было: «Как можно меньше вещей!» Но одной пары шаровар явно не хватило.) Мы обсуждали вопрос, пустят ли его еще на пассажирский самолет. Борис рассказывал, как в прошлом году он в таком же вот виде ввалился на работу к матери, которая преподает в Ленинградской консерватории, и она в ужасе только могла проговорить: «В баню, немедленно в баню!» И в ванну его не пустила.

Пили чай. Миша заваривал его с лимонником, накрошив в котелок веточки, вкусно пахнущие настоящим лимоном. Но когда чай разлили по кружкам, Валья неумолимо сказала:

— На обед вы ели консервированный борщ!

Миша огорчился и клялся, что два раза мыл котелок. Потом пришел лесник Евдокимов. Переступая через порог, он сложился вдвое, как охотничий нож, и так и не мог разогнуться. Даже сидя на чурбане, он доставал головой до потолка. Он был очень высокий и тощий, ходил в сапогах, в красном виганевом свитере, висевшем на нем, как на вешалке, в картузе с треснутым лаковым козырьком. Лицо у него было длинное, в глубоких продольных морщинах, и когда он говорил или смеялся, щеки у него ходили, как мехи гармоники. Подбородок, серый от щетины, срезан вкось, зубы прокурены, а глаза необыкновенной голубизны. Такие глаза бывают только у сибиряков, ка-

кие-то акварельно-голубые. Лесник поставил винтовку в угол и вынул из кармана флягу.

— Это нам с Юрием Константиновичем для согрева души. Детскому саду не положено. А вы, может быть, не употребляете? — обратился он ко мне, явно рассчитывая на отказ.— Тут некоторые залетные пытались сухой закон ввести!..— И он покосился на Валью. (Когда в сельпо иссякали запасы спиртного, а новая партия еще не прибывала, начиналось паломничество на медпункт. Но Валя «железно», по ее словам, отказывала.)

Юрий Константинович оживился, вылез из своего угла, где пускал из носа мохнатые кольца дыма. Выпив, лесник сразу завладел разговором. Медведи, барсуки, дикие кабаны, тигры! Вот он, Евдокимов, идет по лесу, видит: воронье кружит над кустами, галдит! Спустятся и взовьются! Он подкрадывается — так и есть: медведь пищу принимает, быка разделявает. А воронье учуяло мясо, тут как тут, стаяй слетелось. Бедняга только успевает лапами отгонять, так они ему надоели, так осточертели! Знай отмахивайся! И не заметил лесника... Или тигр чушку и семь поросят забил, подзаправился и пошел, а тут косолапый подоспел на готовенькое. Тигр вернулся, непорядок! Медведь наутек, понимает, чье мясо ел. Тигр за ним. Гонит, а броситься боится. Медведь здоровущий, тигр-то не очень охотно с таким связывается. Лапа такого медведя имеет вес! До вечера ломали кусты и деревья. Леснику надоело за ними следить, улегся спать в шалаше. Слышит сквозь сон: медведь пыхтит. Черт с ним, с медведем! Спит дальше. Утром проснулся. Так и есть: следы медведя, а за ним тигр. Видать, всю ночь гонял, а так и не напал!.. Это вовсе не были «охотничьи» рассказы, старик не бахвалился. Он просто рассказывал о жизни леса. Лес — его профессия!

Но, видно, эти лесные истории слушала только я. Юрий Константинович опять забрался в свой угол, дымит и явно далек сейчас отсюда. Борис лежит на животе, щиплет бородку и время от времени вставляет иронические замечания. Он все это уже знает. Миша делает вид, что слушает очень внимательно, но, кажется, занят только тем, что передвигается на своем

спальном мешке и старается сесть так, чтобы его тень на потолке касалась Валиного плеча и чтобы их головы соединялись. Валя вроде и не смотрит на Мишу, вроде и не смотрит на тень, но все замечает и каждый раз отодвигается.

Она чинно натянула платье до самых бот и, поставив локотки на колени, подперла щеки кулаками, щурится на огонек свечи. И думает о чем-то своем.

— Ну вот, здесь же нельзя жить так просто,— говорит она, воспользовавшись тем, что лесник замолчал, раскуривая трубку.— Нельзя же вот так просто,— продолжала Валя,— вставать, пить чай, делать уколы, ложиться спать. Опять вставать. Ведь человек для чего-то рождается! Должен же он сделать в жизни что-то такое...

— Чтобы сразу на пьедестал и памятник из бронзы,— промолвил Юрий Константинович из своего угла.

— И бюст на родине и по радио чтобы в день не меньше пяти раз передавали,— подхватил лесник.

— Это очень естественно,— ринулся в бой Миша,— что молодой человек мечтает не просто прожить жизнь, а что-то совершить. И нет здесь ничего смешного...

— А ты живи, жизнь покажет, чего ты стоишь,— сказал Евдокимов.— Человек ты или опенок, видно будет. Если человек, то и будешь поступать, как человеку положено, а опенок—опенком и останешься... Я вам притчу одну расскажу.

— Про медведя и тигра?— иронически улыбнувшись, спросил Борис.

— Нет, про вас самих... Меня на фронте осколком прихватило. И попал я в полевой госпиталь. А тут как раз прорыв—танки немецкие прорвались. Грохочет все, и не поймешь: у себя ты еще или уже к немцам попал. Ну, а в госпитале работа идет своим чередом. В школе разместились, в селе. В классе операции делают. В сумерках дело было. Санитарка лампу над столом держала и увидела в окно, что напротив школы, на пригорке, за деревьями, немецкий танк встал и дуло орудия прямо на окно наставил. Гусеницами крутит, а сам ни с места: заело у него, что ли. Она лампу другой санитарке сует. «Держи!—говорит.—Стой

так, окно загораживай. Я сейчас гранату под него...» Здоровенная была деваха, в три обхвата. Ну, и подползла, и еще с двумя легкоранеными, забросали. Так о ней потом всю неделю газеты писали и в профиль и в анфас снимали... Боевая была! Наша, сибирячка! А про ту, про другую, что лампу держала, забыли. А оно, может, и не меньше геройства надо было под расстрелом стоять! И не удрала, не закричала. Только лампа у нее в руках прыгала, а хирург ругался: даже лампу, мол, держать не может как следует...

— А ты к чему это, дед? — спросил Борис.

— А к тому, что вы замечаете только, что видно, что в глаза кидается. И вот ихний брат,— и он большим пальцем ткнул в меня,— тоже! Там и граната, и взрыв, и танк горит, и она кричала: «За Родину!» А может, и не кричала... Ну, а что расписывать, когда керосиновая лампа, да и то, небось, закоптелая и стекло битое?.. Вам так, чтобы сразу на памятник, как Юрий Константинович сказал. А оно-то, может, каждый день случается, замечать надо!.. Вот в пятьдесят четвертом году, помнишь, Юрий Константинович, когда ты здесь зазимовал с этим, ну, как его, рыжим таким, у него все присказка была «чтоб тебя»? Так мы и прозвали его «Чтобтебя»!

— Петров, Василий Иванович.

— Вот, вот! Ну, так сбились они тогда с пути, а тот слабый был, в чем душа держалась. И Юрий Константинович его на себе тащил. Пять дней без еды, без патронов по тайге волок...

— Ну, это норма поведения,— прервал его Юрий Константинович.

— Норма — это верно. Только по этой норме человек проверяется... Ну, а она что здесь будет делать? — И он показал на Валю.— Прыг-скок. И чего их только присылают? Ну что ей здесь делать?

— Как что? — обиделся за Валю Миша.— А кто будет осваивать эти края? Кто будет оказывать медицинскую помощь?

— «Осваивать», «оказывать»! — передразнил его лесник.— Да ты знаешь, как ее здесь оказывают? Прощлым летом человеку руку деревом раздавило. Фельдшер ему стакан водки, себе стакан водки — то-



пором отхватил! Ну, а ты что бы делала? Прыгала бы вокруг на козьих ножках, за шприцем бы послала?

Валя сидела, не меняя позы, подперев кулачками щеки, и щурилась на свечу.

— Если не было других наркотиков, водку пострадавшему можно было дать, а сам мог бы не принимать для храбрости. А топор надо было бы раскалить на костре: во-первых, дезинфекция, а во-вторых, для свертывания лучше, меньше была бы потеря крови.

— А ты что, может быть, тоже так сделала бы?

— Не знаю,— пожалала она плечами.— Я практику в хирургическом отделении проходила. Там другая обстановка. Но хирург объяснял: всякое может случиться, можно и финкой и ножом...— И сразу, без всякого перехода, сердито сказала старику: — Твой фельдшер, дед, между прочим, был просто пьяница. Он такую антисанитарию развел, он даже шприц под куриным нашеством в сенях держал...

И, встав, решительно трянула кудряшками.

— Ну, спасибочки вам, я пошла, мне еще укол Опасюку делать.

Миша тоже встал и делал позывные Борису, который их не замечал.

— Мы с Борей проводим,— сказал он и ткнул того ногой.

Надев пальто и застегиваясь на все пуговицы, Валя бросила старику:

— А тебе, дед, следовало бы носить эластичный чулок или бинтовать ногу: у тебя такие вены!..

— А тебе что до моих вен? — рассердился тот.— Ты чего за мной подглядываешь?

— Очень мне нужно за тобой подглядывать. Ты с сеткой по заводи ходил!

— Не с сеткой, а с бреднем. Учиться надо, каждая вещь свое название имеет.

— Ну и подумаешь, научусь...

...И еще один раз я встретила с Валею — на реке. Мы возвращались с Евдокимовым с его бархатной плантации. Когда-то он засеял десятка полтора гектаров семенами бархата, и теперь этот молодой лес уже плодоносил. Мы набрали мешок плодов — черных ягод, которые будут мочить в бочках, потом растирать,

чтобы вышелушить из мякоти семена. Плоды эти отвратительно пахнут, и, по словам Евдокимова, от этого запаха даже пчелы дохнут. Но он упрямо добывает семена, и уже где-то под Киевом тоже растет амурское пробковое дерево, кора которого очень ценится и идет на нужды производства.

Мы поднимались вверх по реке, отталкиваясь шестом. Поднимались у самого берега, где течение не так сносило, где вода была гладкая, зеркальная, а посередине, рассекая реку, несся бурный поток, и там волна, разбиваясь о волну, звенела каким-то тонким металлическим звоном. У берегов река была красно-розовая от листьев, плавающих в ней, от отсвета тайги, как от пламени гигантского костра... У нас осень золотая. И от этого золота веет холодом и грустью. А приморская осень — это праздник, это буйное пиршество красок! И клены — их здесь семь пород — тонколистные, похожие на тальник, они стоят пронзительно-розовые. Такую краску можно разве только в небе увидеть, когда закат, когда говорят: «Будет ветер». А круглолистные клены стоят коралловые, а лапчатые — такие, как наши, только с мелкой листвой — рубиновые или темные, как гранаты. И это в то время, когда ильмы с их удивительно гладкой корой, почти белой, натянутой на ствол без единой морщинки, еще молодозелены, а пихты зелены до черноты, а кедры голубовато-седые. И все это перепутано красными лопухами дикого винограда. И оранжевые ягоды лимонника свисают с веток.

И вдруг — такая знакомая березка, с ее дрожащими золотыми монетками...

Мы поднимались медленно, а мне хотелось еще медленнее. Мне хотелось, чтобы эта река никогда не кончалась. А по реке сверху к нам навстречу спускался плот.

— Бархат сплавляют, — сказал лесник.

Здесь, по всему течению реки, добывают пробковую кору бархата. Ее снимают с живого дерева осторожно, кленовыми палочками, чтобы не повредить луб. (Она потом опять отрастает.) Кору прессуют, вяжут тюки; эти тюки прикручивают проволокой к длинным шестам, а затем вяжут плот. Кора легкая, плот

делают многоэтажный, потом два деревянных руля прикрепляют спереди и сзади, и плот готов плыть вниз по реке, к железной дороге. Только это очень опасно — сплавлять плот по таежной реке. Здесь на каждом шагу путь преграждают огромные деревья, поваленные в воду буреломом или старостью. Здесь на каждом шагу заломы...

Плот приближался.

— Валя?! — удивилась я, увидя на плоту, кроме двух плотовщиков, которые стояли у рулей, женскую фигурку. Она сидела в платке, в драповом пальто, держа на коленях пузатый докторский чемоданчик. Собственно, по нему я ее и узнала. Лицо еще трудно было разглядеть.

— Должно быть, пасечница собралась разродиться, — сказал лесник.

Это действительно было так. С пасеки, которая была километрах в пятнадцати от села, прискакал паренек на лошади за Валею. А Валя никогда не садилась на лошадь, да и рекой быстрее было спуститься.

Она побежала к реке. Лодки все были в разгоне. А в это время мимо прогоняли плот, ее и забрали.

— Чего он не сворачивает, на залом прется? — проворчал дед.

И почти в этот же момент до нас донесся крик.

— Лево бей! Бей лево! Лево руля, черт!.. — несло по реке.

Не знаю, что там произошло, на плоту, так потом и не удалось выяснить. То ли тот парень, что стоял на руле сзади, задремал (командует передний), то ли лишнего хватил для «согрева души» — в сельпо доставили водку, — то ли был виноват бородач, что стоял спереди на руле и неверно и не вовремя скомандовал, — словом, плот, очень легкий и очень чувствительный к поворотам, на самой середине реки на наших глазах накренился и, задрав край, перевернулся, накрыв людей.

Я закричала, вскочив, и чуть не перевернула лодку. Дед выругался, швырнул шест на дно лодки и, схватив весло, стал выгребать на середину. А плот уже ударился о залом, и по реке неслись разлетевшиеся тюки коры. У противоположного берега мелькнули две голо-

вы — это были плотовщики. А Валя? Вали не было видно... И вдруг мы увидели ее — она неслась по самой середине, по самому хребту реки, головой вниз по течению, на спине, одной рукой вцепившись в ручку чемодана, прижимая его к груди, а другой подгребала, пытаюсь удержать равновесие. Дед греб ей наперерез, но не успел, и она пронеслась в каком-нибудь метре от нас. Я отчетливо увидела ее белое, бескровное лицо и глаза, почти черные от ужаса.

— Бросай чемодан! — кричал лесник. — Бросай к черту! Впереди коряга! Хватайся! — орал он, не переставая грести.

Мне показалось, она поняла, повернула голову, хотела, видно, поглядеть, где эта коряга, захлебнулась, стала судорожно и неумело хлопать рукой по воде, пошла под воду, опять появилась и неслась прямо на затонувшее дерево, разбросавшее по воде свои гигантские корни. Если она ударится — разобьется. Если проскочит, — мы можем ее не успеть догнать. Драповое пальто намокло и тянуло ее на дно.

— Бросай чемодан! Хватайся!.. — кричал дед.

Но она пронеслась, не успев и не сумев схватиться, и исчезла под водой. И опять появилась все с тем же чемоданчиком на груди. Теперь ее сносило вперед ногами, но уже не по самой середине, где мы не могли ее догнать, а чуть сбоку... И ее уже не сносило, это только казалось, это вода мчалась мимо. Она зацепилась платком за корень — и была спасена. Платок душил ее за горло, она пыталась его сорвать с головы и уходила под воду. Но тут мы подоспели... Все произошло в какие-нибудь несколько минут, и, к счастью, Валя не успела очень нахлебаться.

Она сидела на земле, теперь уже двумя руками вцепившись в ручку чемодана, и плакала. С ее драпового пальто ручьями стекала вода. На коленях белел халат. Один бот с туфлей уплыл, чулок разорвался, перманент торчал на голове крючочками, как вопросительные знаки. А дед ходил вокруг и ругался: видно, ему нужна была разрядка.

— Чертов детский сад навязался на голову! Им в куклы играть, а их в тайгу посылают! Ты что думала, тебе это по асфальту каблучками стучать? У самой

ума нет, так старших слушайся! Кому я кричал: «Бросай чемодан»? Что ты в него, как черт в ладанку, вцепилась? Что у тебя там, приданое?..

— Хм...— передернула Валя плечами и, на минуту перестав плакать, заикаясь, сказала: — Чего бы я, интересно знать, без него стоила?.. У меня здесь инструменты... все стерильное...— И, отщелкнув замок и заглянув внутрь чемодана, вскрикнула: — Ой, вода набралась!.. Тоже, стерильное! — передразнила она себя. Шмыгая носом и вздрагивая, она осторожно стала сливать воду, чтобы ничего не вывалилось.

А дед остановился перед ней и молча ее разглядывал, словно в первый раз увидел. У него была старческая дальноркость, он даже отступил шаг назад и чуть откинулся корпусом, чтобы лучше ее разглядеть.

И вдруг на его щеках задвигались гармошки, и он улыбнулся.

— Ну чего же мы тут прохлаждаемся? — сказала Валя, снова защелкнув чемоданчик и неуклюже поднимаясь в своем тяжелом, разбухшем пальто. — Что она, ждать меня, что ли, будет?..

А в это время над лесом зашумел мотор и низко, почти срезая макушки деревьев, пронесся «ПО-2». Мне даже показалось, что я разглядела Мишу и Бориса.

— Улетел! — вскрикнула Валя, выдавая себя. — У-ле-тел! — И снова заплакала.

— Прилетит, — сказал старик. — Дурак будет, если не прилетит... Они здесь каждое лето шуруют, тайга на угле стоит...— И прикрикнул на Валю: — А ну, скидай барахло! Простудиться, что ли, хочешь? Тоже мне...— Хотел, видно, сказать «детский сад», но осекся и протянул: — Та-ежница!

Он стащил через голову вместе с картузом свой красный вигоневый свитер и протянул его мне.

— Может, у вас какая лишняя юбка найдется? Хотя мода теперь куцая, больше одной не носят...

Пока я за кустами раздевала Валю и растирала ее полами своего плаща, на другом берегу, напротив нас, появились плотовщики. Они бежали по берегу. И через реку теперь неся чисто мужской разговор, словно нас с Валею не существовало. Слова тонули где-то в тайге, в ее розовой глубине, и возвращались трой-

ным эхом, и казалось, от них осыпались листья с деревьев. Дед дал себе волю. Когда на том берегу убедились, что с Валею все в порядке, бородач, наверно, тоже для разрядки ударил парня по физиономии, а тот, падая, подставил ему подножку, и оба катались, дубася друг друга и ударяясь головами о лапы и корни деревьев. Лесник перестал ругаться, спокойно вынул кiset, набил трубку и закурил.

— Вот так, еще наподдай! — подзадоривал он. — Ничего, целы будут, — успокоил он меня. — Только лучше обсохнут. Пентюх! Еще бороду отрастил...

Не знаю, сколько они там дубасили бы друг друга, но бородач скатился в воду, парень его вытащил, и они, не глядя на нас, побрели обратно по берегу вверх по течению. Неприятности их еще только ждали: кора бархата приносит артели большие доходы.

Мы погрузились в лодку. Валя устроилась на носу, на скамеечке. Подсунула под нее чемодан и, подобрав под себя босые ноги, закрыла их моей юбкой. Красный свитер лесника доходил ей ниже колен, рукава болтались, а длинный ворот она натянула на голову и выглядывала из него, как взлохмаченный зверек из дупла. Она немного отошла и только время от времени еще вздрагивала. На мешке мы разложили выжатые ее пальто и платье, чтобы ветер просушивал их. Дед никак не мог оттолкнуть лодку, запутавшуюся в корнях какой-то подводной коряги, и ему пришлось снимать сапоги и лезть в воду. Когда он прыгнул в лодку, его ногу свела судорога, и он, морщась, сел на дно и стал растирать свою бугристую, всю в лиловых узлах икру, но, покосившись на Валею, опустил штанину и уже тер поверх нее.

Валя послушала через рукав, бьются ли часы.

— Идут! Честное слово, идут! Как ни в чем не бывало! — радостно воскликнула она и, засучив рукав, посмотрела на часы. — Дед, нельзя ли ближе к середине, чтобы быстрее? Мы и так задержались.

— А тебе что, плавать понравилось?

— Лучше бы я уж на лошади поехала, — сказала она.

— Ты бы с нее на карачках сползла, тебе твой чемоданчик не понадобился бы.

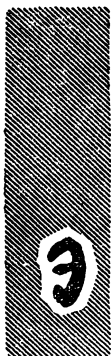
Он стоял на корме, очень длинный, очень тощий, в вылинявшей фуфайке, облежавшей его костлявую грудь и руки, и работал шестом.

— Придется учиться ездить верхом! — вздохнула Валя. — А все-таки я трусиха, — протянула она, помолчав. — Так испугалась, просто ужас! Опенок!.. — со своей милой непосредственностью сказала она, виновато улыбнувшись деду. — А еще мечтала сделать в жизни что-то такое, такое... — и она не находила слова, — настоящее...

Мы с лесником молча переглянулись. Он улыбнулся одними глазами, своими необыкновенной голубизны глазами, в которых красными и розовыми огоньками вспыхивала тайга.



## Четвертая неудача



то была тяжелая работа.

Пусть бы лучше какой-нибудь суглинок: его кое-как можно наклевать киркой и постепенно выбросить лопатой. В этой же проклятой лесной земле, густо перевитой толстыми, как плети, и твердыми, как проволока, еловыми корнями, мало проку от кирки, лома или обычной лопаты. Солдат по фамилии Турок часто выпрямлялся в яме, ставил лопату в угол, брался за топориче и поблескивающим затупленным лезвием рубил в твердой земле смолистые корни. Потом взятой из угла лопатой бросал через плечо землю с этими обрубками. Яма медленно углублялась. Комья покрупнее падали неподалеку от ольхового куста, а крошки, подхваченные ветром, вместе с пылью оседали на спину, пилотку, сыпались за воротник.



Солдат вскоре устал. Он расстегнул свой трофейный пояс с «гот мит унс» на алюминиевой пряжке, стянул за рукава шинель и бросил ее от окопа подальше, на мокрую, засыпанную землей траву. За полминуты передышки он успел посмотреть назад, на телефонистов, которые разместились с аппаратами на окраине этой травянистой лесной прогалины. Правда, интересовали Турка не телефонисты, а его командир — старший на батарее лейтенант Горковенко. Как раз было тихо, батарея молчала, и лейтенант сидел на широком пне около своей аистоногой буссоли и курил. Вдруг он взглянул на Турка. Их глаза встретились.

— Ну что, пехота? Замаялся? — сквозь табачный дым нарочито грубовато бросил лейтенант, но Турок заметил, что глаза у командира уже добрые, чуть насмешливые, а от прежней злости не осталось и следа.

На кличку «пехота» Турок давно перестал обижаться, может, потому, что привык, а может, и потому, что не чувствовал в ней ничего зазорного. Разве он был виноват, что его передали на эту батарею из стрелкового батальона, в котором он начинал фронтową службу, и потому в артиллерийской науке не очень-то, как говорят, кумекал? От лейтенантовой усмешки парню немного полегчало, он вздохнул, поплевал на ладони и с новой силой взялся за рукоять лопаты.

С самого утра этого слякотного дня обрушились на рядового Турка мелкие и большие неудачи. Началось с того, что на старой огневой позиции, откуда они на рассвете снялись, он забыл свой вещевой мешок с кое-каким солдатским скарбом. Правда, ценного там ничего не было, разве только новые байковые портянки, которые он берег для особого случая. Турок погоревал немного да, может, и забыл бы о той неудаче, если бы через какой-нибудь час его не постигла другая. Собираясь завтракать и уже доставая из-за обмотки свою погнутую ложку, он нечаянно перевернул котелок и вылил в траву весь суп. Пока бойцы смеялись над ним, Турок всухомятку сжевал свою пайку хлеба, невесело поглядывая в ту сторону, где батарейный повар мыл в ручье пустые термосы.

Третья же беда была куда хуже. Батарея вела огонь, лейтенант Горковенко почему-то очень резким

голосом подавал от буссоли команды. То и дело дергаясь, будто приседая на высоких резиновых колесах, ахали гаубицы: где-то за лесом наших атаковали немцы. Турок был зарядным: сидя в папоротнике возле орудия, вынимал из гильз парафиновые донца и, слушая команду, устанавливал заряд. «Заряд третий!» — кричал Горковенко, и Турок вынимал из широкой, словно кувшин, гильзы три мешочка пороха. «Заряд четвертый!» — вынимал четыре мешочка, «пятый» — пять. Гильзу сразу же надо было передать заряжающему.

Не ясно, что произошло дальше: то ли Турка оглушило выстрелом, то ли заикнулся лейтенант Горковенко, — но Турок, не разобрав номера заряда, схватил из ящика скользкую маслянистую гильзу и растерялся. Надо было, конечно, спросить, но командир казался неприступным и злым, кругом гремели выстрелы и тревожно суетились солдаты. Заряжающий уже протянул руки за очередной гильзой, и Турок быстро сбросил в траву четыре мешочка. Затем пальнуло орудие, парня обдало пороховым смрадом, ударило в левое ухо.

Он схватил новую гильзу, вырвал парафиновое донце, но Горковенко почему-то не подавал больше команд, и батарея притихла. Турок встревоженно оглянулся: старший на батарее, стоя с блокнотом в руках на коленях возле своего высокого пня, умолк и поглядывал на телефониста, который, видимо, не мог разобрать, что слышалось в трубке. Потом эту трубку у него вырвал Горковенко.

«Комбат говорит», — догадался Турок и сжался, присел в траве, почувствовал, что ошибся с зарядом и что-то натворил.

Так оно и было. Лейтенант быстро бросил телефонисту трубку, вскочил на ноги и, став на прогалине, как та долговязая буссоля — высокий и грозный, — закричал в сторону их орудия:

— Сержант Петраков, почему оторвался снаряд?! Доложить прицел!

— Сто двадцать четыре, — ответил сержант, заглянув в свою бумажку.

— Заряд?

— Турок, заряд?! — кажется, заподозрив его в чем-то, крикнул сержант, и Турок, почувствовав, как вдруг заняли его колени, неопределенно сказал:

— Так это... Четвертый, я думал.

— Четвертый!!! — даже побелел Горковенко. — Я тебе покажу четвертый! Вся батарея стреляет на третьем, а ему четвертый! — Быстрым шагом он направился к их орудию, но, не дойдя, остановился и закричал: — Прочь отсюда! Марш копать окоп! Живо! — И добавил тише, но еще более язвительно: — Пехота!

Так Турок оказался в этой недорытой яме и уныло копался тут уже с полдня. Давно батарея перестала стрелять, солдаты в расчетах маскировали гаубицы, ждали ужина, а он все не мог окончить этого окопа для снарядов. Ему было обидно, немного досадно на самого себя за такую ошибку. Ошибался он уже не один раз, батарейцы потому и посмеивались над ним, самым молодым и неприспособленным. Командиры часто использовали его на разных мелких работах. Он терпел, старался, не очень обижался и никогда ни с кем не ругался.

Заметно приближался вечер.

За кустарником в стороне врага стало совсем тихо — ни выстрела, ни взрыва, только справа, у соседей, часто рвались мины да в лесной дали приглушенно колотилось эхо.

Турок напряженно дышал и думал, что еще каких-нибудь два-три штыка — и, видно, будет довольно. Метр пятьдесят, как раз в его рост, а больше для траншеи под снаряды и не надо. Но когда он наступил на лопату, раздался чей-то голос. Турок выпрямился: издали показалось, что звал лейтенант Горковенко.

— ...Не слышишь, что ли? А ну вылазь!

Турок бросил лопату и взобрался на бруствер. На пне у буссоли сидел незнакомый капитан в фуражке с самодельным козырьком, возле него стоял Горковенко и нетерпеливо ждал. Турок одернул гимнастерку и подбежал к ним, вопросительно поглядывая на лейтенанта.

— А ну одевайся! Начальнику разведки, капитану, поможешь до КП добраться: он ранен.

Турок быстро вернулся к окопу, смахнул с шинели песок и тогда спохватился, что не знает, где тот КП.

— А куда это идти?

— Вот по линии. По красному проводу,— отозвался из узкой траншеи телефонист.— Прямо через лес к дороге, а там у полковых связистов спросишь.

— Зачем спрашивать? — сказал лейтенант и уже совсем по-дружески позвал: — Иди, Турок, сюда!

Надевая шинель, Турок подбежал к командиру и остановился рядом с долговязым Горковенко — невысокий, с помятыми погонами и расплюснутой на голове пилоткой. Лейтенант повернул его лицом к лесу и вытянул на уровне его плеча свою руку.

— Вон, видишь, между елей голая рябина. Это высота тридцать пять и пять. Она у немцев. А вон, в сторону от нее, торчит сухое дерево, возле него и КП.

Турок не очень уверенно кивнул: сухое дерево он действительно увидел, только это было далеко за лесом, видно, километрах в трех отсюда. Может, надо было бы расспросить подробнее, но лейтенант строго прикрикнул:

— И давай быстрее! Чтобы через час был обратно!

С пня устало поднялся капитан — молодой, плечистый, в распахнутом ватнике, под которым поблескивали пряжки: крупная — на животе от ремня и маленькая — на груди от портупей. Поднявшись, он оперся на рогатину, передернул губами и осторожно ступил на левую ногу.

И они не спеша направились к лесу. Офицер сильно хромал. Он быстро шагал правой и потом медленно, осторожно переносил вперед левую. Лицо его, худощавое, несколько нервозное, выражало досаду. Турку через какие-нибудь двадцать шагов пришлось остановиться под разлапистой елью и подождать, пока капитан приковыляет. Этого офицера Турок видел впервые и чувствовал, что надо о чем-то заговорить с ним, ибо молча идти неловко. И он спросил:

— Видно, здорово вас ранило?

— Да, ранило... — скупое отозвался капитан.

— Пулей или осколком?

— А ты что, доктор? — Капитан сквозь боль на лице неласково посмотрел на парня, и тот растерялся: зачем было болтать — известно же, начальник да еще раненый. Офицер же подошел к нему ближе и уже мягче сказал: — Пулей или осколком — все равно. Теперь на пару недель в медсанбат. Если только к немцам не попадем.

— А разве они близко? — удивился Турок.

— Близко. На стыке с сорок шестым прорвались.

— С сорок шестым? — Солдат даже приостановился. — Это там? — Он показал в ту сторону, куда им надо было идти.

— Ага, там.

Турок снова замедлил шаг, прислушался. Кругом попеременно с ольшаником, покачивая вершинами, стояли замшелые ели, под их обвисшими сучьями уже собрались сумерки. Было тихо, только лесной шум сверху то расплывался волнами, то утихал. Взрывы мин, что были слышны полчаса назад, теперь стихли, но где-то вдали раскатистым эхом прокатилась пулеметная очередь. Совсем близко прокаркала встревоженная ворона.

Парень, однако, отогнал тревогу и, потеряв охоту к разговору, молча пошел дальше. Лес был не очень густой, кустарники под елями уже оголила осень, во влажном воздухе стоял горьковато-смолистый запах хвои. Вскоре им попался вырубленный пнистый участок с высоким, до колен папоротником и поломанным малинником, в котором терялась тонкая нить провода. Чтобы не сбиться с направления, Турок то и дело проверял провод рукой. Провод щекотал ладонь, иногда на нем выступали оголенные проволочные узлы, они царапали руку. Турок порой выпускал провод и старался только следить за ним.

В двух местах на линии попались пустые катушки — брошенные на время связистами, они лежали в траве. На одной Турок разглядел фанерную бирку с фамилией «Трофимчук» и вспомнил рябого связиста, убитого под деревней Лычи. Стало неприятно: человека уже около месяца нет на свете, а на катушке все еще висит его бирка, будто и до сих пор ее хозяин — покойник Трофимчук.

Вскоре ели постепенно начали расступаться, стало светлее, вокруг все больше попадалось ольшаника. Капитан по-прежнему отставал, и Турок, как ни старался идти медленнее, все отрывался от него. Вокруг было глухо и безлюдно. Потом началась заболоть. Башмаки шуршали по опавшей ольховой намокшей листве. Капитану идти стало труднее, он еще осторожнее ставил свою раненую ногу и все медленнее ковылял за бойцом. Тем временем сумерки сгущались. Небо нависло на самые вершины деревьев, то и дело налетал холодный ветер, встревоженно шелестели кусты. Провод в траве проследить уже было трудно, и Турок взял его в руку.

— Солдат! — вдруг крикнул сзади капитан. — Стой! Турок оглянулся: капитан прихрамал к пню и, вытянув ногу, опустился на него. Парень подошел к офицеру, тот выставил облепленный мокрой листвой сапог и приказал:

— А ну, потяни! Только осторожно!

Турок приставил к ольшине винтовку и осторожно потянул мокрый сапог. Капитан вцепился руками в пень, уперся здоровой ногой в землю и сжал челюсти.

— Сильнее! Да не рви сразу!.. Прямее!..

Наконец Турок снял сапог; капитан, все еще не разжимая челюстей, посидел с минуту, а потом начал ту же обматывать портянкой ногу. Видно, в сапоге он уже идти не мог и делал это, чтобы облегчить страдания. Турок помогал обертывать портянку, но она была коротка и не держалась на ноге. Глядя на искаженное лицо офицера, парень проникался сочувствием к этому человеку и, закрепив на его забинтованной щиколотке портянку, сказал:

— А давайте еще и мои накрутим.

Капитан не отказался, и Турок расшнуровал свои ботинки. Вдвоем они закрутили раненую ногу. Ее надо было еще чем-то хорошенько перевязать, и капитан снял с ремня портупею. Из-под ватника на его груди блеснули три ордена. Потом капитан обвязал ногу ремнем и встал с пня.

— А вы ступайте на пятку. Так удобнее будет, — посоветовал Турок.

Офицер медленно заковылял по тропинке. Они шли так один за другим. Турок все время поглядывал на спутника, который нес под мышкой свой снятый сапог и шел по-прежнему очень медленно. В лесу вечерело, стало как-то неуютно, глухо, хотелось быстрее выбраться куда-нибудь в поле из этих кустарников, и парень прибавлял шаг. Вокруг нигде никого не было, и это безлюдье начинало угнетать. В голову лезли разные недобрые мысли, и, чтобы отрешиться от них, Турок начал думать про огневую позицию, где теперь было тихо и спокойно, хлопцы, видно, поужинали уже, только вот он весь день ничего не ел. Скорее бы дойти до КП, вернуться назад... Турок уже привык к батарее и огневую позицию считал родным домом.

Так думал Турок, поглядывая вдоль лесной тропинки в кустарнике, как откуда-то, кажется, над самой его головой, раздался какой-то гортанный крик:

— У-у-у-у-п!

Турок ужаснулся, даже присел и не успел опомниться, как крик повторился дважды:

— У-у-у-у-п! У-у-у-у-п!

Капитан также остановился, но только на какую-то долю секунды, затем снова похрамал стезжкой. Турок стоял и поглядывал то на кустарники, то на своего спутника.

— Мерзкая птица,— сказал офицер, подойдя ближе.— А ты что, испугался?

Турок не ответил и, оглядываясь по сторонам, пошел дальше. Хоть теперь парень и знал, что это не какая-нибудь нечистая сила, но в ожидании нового ужасного крика у него леденело внутри. Он прошел еще немного с винтовкой в руке и вдруг спохватился: на стезжке не видно провода. Не было уже и стезжки, они шли меж кустов лещины, редких молодых елочек, которые тусклыми силуэтами подозрительно чернели там и сям. Турок остановился, нагнулся, бросился в сторону, разгреб пальцами опавшую листву, потом подался в противоположную сторону. Капитан остановился, угрюмо посмотрел на своего провожатого и недобро сказал:

— Что, потерял?

Турок все метался туда-сюда, еще не теряя надежды найти провод, и все бубнил про себя: «Только что был. Вот же холера!»

Капитан постоял, послушал: повсюду было тихо и пусто, хоть бы один выстрел, какой-нибудь звук. Все исчезло, онемело, в кустах воцарилась темнота; с нависшего неба начал накрапывать мелкий дождь. Турок отошел далеко, все разгребая в сумерках лиственный покров, наколот о сук руку, но провода нигде не нашел. Боясь в этой дождливой темноте потерять еще и капитана, Турок вернулся к нему. Парень чувствовал себя виноватым и не знал, куда идти дальше.

— Ну так что ж? — нарочито спокойно сказал капитан. — Заночуем?

Турок услышал упрек в его голосе, но смолчал, и офицер тогда уже не сдержал своей злости.

— Балбес ты, а не солдат! Сказано же было: по проводу! Надо было держать его. Ну, а теперь что? — спросил капитан.

Турок не знал, что делать. Оставалось молчать. Он чувствовал себя одиноким тут, в лесу, ночью, рядом с этим сердитым человеком.

— Пошли сюда! — сказал наконец офицер и похромал куда-то в тьму меж кустов; за ним, вздохнув, поплелся Турок.

Капитан вел его долго и медленно, продираясь сквозь густые заросли. Оба они расходились в стороны, наклонялись, но все натыкались на сучья, царапали руки и лица. По кустам и опавшей листве моросил дождь; плечи, пилотка и рукава шинели все больше намокали. Мысленно Турок проклинал себя за растерянность, за детский страх перед какой-то там птицей и чувствовал себя виноватым. О батарее и лейтенанте Горковенко он просто боялся подумать: неизвестно, как было возвращаться туда после этой — четвертой — неудачи!

Вокруг все умолкло, почернело, скрылось, поглощенное непогожей ночью, и нигде не было никаких признаков человека. Капитан часто останавливался, слушал. Турок тоже останавливался за его спиной и внимательно вслушивался в ночь. Но слышалось только ровное покрапывание дождя, и больше ничего



нельзя было уловить. Турку стало казаться, что они давно уже миновали высоту с сухим деревом и нужным им КП и блуждают где-то в тылу полка, а может, даже возле штаба дивизии. Но его предположение теперь мало что значило, впереди шел капитан, он молча куда-то вел, и парень покорно плелся вслед за ним.

Так они перешли какой-то пригорок с березняком, в котором очень пахло прелой листвой и грибами. В одном месте попался под ноги какой-то гнилячок, облепленный зеленоватыми светлячками. Турок ткнул его башмаком, и светлячки, разлетевшись в траве, заблестели вокруг. Парень нагнулся за одним, как вдруг какой-то свет впереди пронизал темноту, вспыхнуло небо, стали видны вершины ольшин. Свет, дрожа, переместился на небосклон и вскоре внезапно погас. Стало еще темнее, и Турок догадался тогда, что это ракета. Капитан остановился, послушал и тихо пошел в прежнем направлении. Турок не знал, радоваться этой ракете или беспокоиться, хотя предчувствие близости людей придало немного бодрости.

Вскоре они неожиданно как-то вылезли из кустов на поле. Ветер мокрой стужей дохнул им в лица; оттого, что перестали шелестеть кустарники, стало тихо и пусто. Капитан с полминуты снова постоял и уже сделал несколько шагов, как вдруг остановился. Турок тоже стал, склонил набок голову и прислушался.

Впереди, в поле перед взлесьем, слышалась чья-то неразборчивая речь, лязгнуло железо, потом кто-то глухо, простуженно закашлял. Турок сначала даже обрадовался, но настороженная подозрительность капитана погасила его преждевременную радость. Чтобы лучше видеть в темноте, капитан присел под кустами. Турок положил ладонь на рукоятку затвора. Видно, там, в каких-нибудь ста метрах от них, были люди, но свои или немцы — нельзя было ни услышать, ни увидеть. И в такое вот время, когда Турок с капитаном, ничего не разобрав, хотели было двигаться дальше, кто-то заговорил в темноте.

Турок помертвел, услышав такое, а капитан вытащил из-под ватника пистолет. Уже совсем близко впереди зашаркали шаги, и из темноты коротко и ворчливо отозвался простуженный голос:

— Вирд гемахт...

Тут были немцы. Им обоим под кустами стало отчетливо слышно, как прямо на них шел человек. Он кашлянул, отхаркался, сплюнул и направился в сторону перелеска. Турок сжался, прислонился к плечу офицера и всеми силами заставлял себя сидеть тихо и ждать, что будут делать двое: капитан и немец. Капитан как-то вытянул шею, подобрал под себя руки, словно хищник перед прыжком, а немец тем временем подошел к перелеску — в десяти шагах от них — и, посапывая да шурша ветвями, начал ломать ольшаник.

«Удирать... удирать!..» — требовало все существо Турка, он даже решил, что самое страшное миновало, ведь немец не заметил их. Но капитан почему-то медлил, и парень замирал возле него, боясь пошевелиться, подать ему знак, что надо удирать. Наконец капитан повернулся и обдал его щеку теплым дыханием:

— Возьмем! Ты оглушишь прикладом!

Сначала Турок не понял, а потом из самой глубины его души поднялся протест — зачем? Так хотелось спастись, и такая представилась возможность — зачем рисковать, по своей воле лезть в пасть смерти? Но капитан, будто и не подозревая страха солдата, пригнулся и неслышно, на четвереньках двинулся вперед. И Турок, внутренне протестуя, тоже прижался к земле и последовал за офицером. Все в нем было парализовано волей капитана...

Турок машинально крался во мраке, где совсем рядом шуршал кустарник, хрустели ветки и посапывал таинственный и страшный враг.

Капитан наконец остановился, снова прижался к земле: чувствовалось, немец уже совсем рядом, даже видно было на фоне неба, как качалась вершина ольхи, которую он ломал. Капитан повернулся, приблизился к уху Турка и шепнул:

— Вскочишь — и глуши по голове. Я мигом...

Он помолчал, всмотревшись в темноту, немного выждал и затем твердой рукой толкнул в спину.

Турок, ничего не чувствуя, неловко вскочил. Видно, надо было пригнуться, но он плохо владел собой; вялыми, словно ватными ногами, он ступил раза два в

темноту, где шуршало дерево. В одно мгновение под кустами встрепенулась темная фигура, мелькнуло и застыло серое пятно лица — выпущенная из рук ольшина махнула верхушкой, а Турок, размахнувшись, изо всей силы огрел немца прикладом по голове.

Немец, кажется, отскочил, застонал, мягко свалился на землю, и в тот же момент капитан из темноты бросился к нему. Турок присел, ссутулился, но капитан сразу же шепнул ему:

— Давай сюда!

Присутствие капитана приободрило Турка, и он понял, что бездействовать сейчас нельзя, иначе они оба погибнут. И парень, пригнувшись, бросился к немцу, лежавшему на земле, на него уже навалился капитан. Турок быстро, как только мог, схватил немца за колени, те напряглись и раза два бессильно дернулись. Некоторое время парень держал их так, потом капитан сорвал у немца с головы пилотку, заткнул ему ею рот и строго приказал солдату:

— Обмотку, живо!

Турок одной рукой сорвал шнурок своей обмотки и быстро раскрутил ее. Капитан перевалил немца на живот, заломил на спине руки и, покряхтывая, связал их обмотками. Немец не сопротивлялся. Турку даже показалось, что тот мертв, но осторожные движения капитана заставляли думать, что надо быть начеку.

Кажется, все произошло неожиданно, удачно, быстро. И вот капитан выпрямился... Тогда Турок нащупал в траве винтовку и вдвоем с капитаном приподнял под мышки тяжелое неподвижное тело. Но капитан сразу же споткнулся: мешала раненая нога, — и он приказал солдату:

— А ну, тяни!

Турок обеими руками схватил немца и поволок его в темноту, туда, откуда они пришли. Немец не подавал никаких признаков жизни. В конце концов Турок не очень всматривался в немца, все его внимание теперь было направлено туда, в поле, где были немецкие позиции, но там молчали, и надо было спешить.

Капитан с трудом прохромал вперед, свернул в кустарник, раздвинул ветки, и Турок потащил в заросли немца. Шурша ветвями, капитан продирался дальше.

Им надо было как можно скорее удрать отсюда. Турок понимал это и старался быстрее тащить немца. Тащить было неудобно — мешали кусты. В грудь однажды больно ткнуло каким-то суком, и парень, простонав от боли, едва устоял на ногах.

Цепляясь за сучья и спотыкаясь, они карабкались в кустарниках, пока не выбрались на прогалину.

Капитан остановился и прислушался. Турок же сразу бросил немца на землю и сам опустился рядом. Лишь теперь солдат начал понимать, что они не только спасли себя, но и сделали что-то большее. Это приглушило страх, и робкая искорка радости загорелась в душе парня. Несколько минут он молчал, потом с затаенным облегчением спросил капитана:

— Жив ли он?

Капитан на этот раз ответил охотнее и как-то дружелюбнее:

— А куда он денется? Жив будет. Оглушил ты его чересчур.

Наклонившись над пленным, капитан расстегнул светлые пуговицы его шинели и засунул руку за пазуху.

— Жив...— еще раз удовлетворенно подтвердил он, вынимая у немца из карманов бумаги.— А ты что, никогда еще за «языком» не ходил?

— Где там мне! — смутился Турок.— Я же не разведчик.

— Ну вот и разведчиком побыл,— усмехнулся капитан.

Они помолчали, передохнули.

— Но куда же нам держать дальше? — забеспокоился капитан.

С темного неба моросил дождь, где-то в вершинах елей шумел ветер, вокруг по-ночному часто-часто шелестела листва. И капитан и Турок сильно промокли. Надо было идти дальше, к своим. Только куда? Они совсем сбились с направления и могли снова попасть к немцам.

— Не знаю, товарищ капитан,— честно признался Турок.

— Да...— заметил капитан.— Я тоже... А все же пойдём.

Они встали. Турок напрягся, вцепившись в одежду пленного, присел. Капитан помог взвалить немца ему на плечи. Немец перевешивался, сползал со спины, от него несло устоявшимся потом и дустом. Он был тяжел, и в глазах Турка от напряжения начали расплываться желтые круги. Но парень шел, шатаясь, с трудом сохраняя равновесие, чтобы не упасть. Правда, лес стал реже, не так мешал кустарник, но невидимые в темноте ели выставляли в стороны рогатые нижние сучья, словно штыки. Капитан шел рядом и как мог помогал Турку.

Неизвестно, сколько продолжался их путь. Турку казалось, что они зашли уже далеко, а лес все не кончался. Дважды парень падал, больно ударялся локтями о корни. За ними никто не гнался, нигде не слышно было выстрелов и не видно ни одного ракетного отблеска. Тем временем дождь перестал, сквозь вершины деревьев кое-где замигали редкие звезды, и из-за туч выплыла над лесом луна.

Турок шел за капитаном и ничего не видел. Капитан, опираясь на палку, неровно скакал как-то боком. Но вот он почему-то остановился, пошарил перед собой палкой, как слепой, нащупывая дорогу, свернул в сторону и предупредил солдата:

— Осторожнее! Иди сюда.

Турок повернул голову — впереди под бледным лунным светом стлалось еле заметное сизоватое курево тумана. Кусты тут отступили — видно, неподалеку внизу раскинулся широкий лесной овраг. Они пошли берегом. Показалось Турку, что шли они очень долго. Немец своей тяжестью пригибал его к земле и неудержимо сползал со спины.

Однажды Турок наскочил на куст можжевельника и упал, ударившись боком о что-то твердое. Немец распластался рядом, а в груди от боли у парня занялось дыхание.

Капитан вернулся назад, помог Турку сесть и сам сел рядом, протянув вперед раненую ногу. Некоторое время Турок стонал и корчился, не в силах превозмочь боль, но постепенно отдышался.

— Вот таков, брат, хлеб разведчика!.. — всерьез заметил капитан. — Понял?

Турок понял, конечно, но все молчал: очень болел бок. Капитан, вздохнув, также умолк. Объединенные одной заботой, они стали ближе друг другу. Потом капитан сказал:

— Две ночи к ним лазили — и напрасно. Шесть человек положили. Меня вот подстрелили. А тут неожиданно повезло. — Он немного помолчал и добавил с одобрением: — Но ты здорово оглушил его! Я, признаться, не думал.

Турку стало легче от такой похвалы, но он искренне признался:

— Я уж и не помню, как все произошло. С непривычки.

— Ничего, привыкнешь, — успокоил капитан. — Первый раз, известно. — Потом, надумав что-то, спросил: — Хочешь, я тебя в разведку возьму? А? Как думаешь?

— Ну что вы? — удивился Турок, вспомнив лейтенанта Горковенко и своих батарейцев, которые всегда подсмеивались над ним. К тому же снова его охватил пережитый страх... Но, подумав немного, Турок понял, что его переживания известны только ему, капитан же судил о нем по его поступкам. Уже через минуту предложение капитана не показалось ему странным.

А капитан, будто сразу забыв о своем предложении, всматривался в ночь.

— Проклятая темнота! Хоть бы из этого леса выбраться. Ты, видно, устал уже?

— Да нет, почему? — спохватился Турок и зашевелился, вставая, но только поднялся он на колени, как снова опустился на землю. Он совсем уже выбился из сил и, не отдохнув, вряд ли сможет удержать на себе немца. Капитан понял это, но промолчал. Рядом тихо, не шевелясь, лежал их «язык», а с другой стороны в лунном свете курился в овраге туман.

— Вот что... — подумав, сказал капитан. — Ты жди тут, а я пойду. Может, кого встречу. Должен же тут кто-нибудь быть!

Турок зашевелился, ему вдруг стало неловко за свою усталость, думалось, что не капитан, а он послан сюда, чтобы беспокоиться, как выйти к своим. Но сил у него уже не оставалось.

— Жди меня здесь, — сказал капитан, встал и заковылял в лес.

Турок насторожился, взял в руки винтовку. Капитан сразу исчез, словно растаял в сумерках, лишь какое-то непродолжительное время слышны были его шаги, потрескивали ветви да шелестели кусты. Потом все умолкло.

Турок ощутил свое одиночество и даже сжался от какого-то неопределенного страха. Притаившись, он старался не шевелиться, чтобы не нарушить тишины, а сам всматривался до боли в глазах и слушал. Вблизи было тихо, но где-то далеко в лесу слышны были загадочные звуки: что-то тихонько захлопало в ветвях, раза три пропищало, потом скрипнуло, будто какое-то сухое дерево или, может, коростель. Однажды в той стороне, за оврагом, захлопала крыльями потревоженная птица. Серпок луны сел на выгнутую ветвь ели и то прятался за разорванными тучами, то снова скромно блестел на небе. Насторожившись и уже забыв об усталости, парень притаился, притих, даже затаил дыхание и ждал.

И в этой настороженности леса вдруг всем телом встрепенулся немец.

Это было так неожиданно, что Турок вздрогнул и чуть не вскрикнул. Он отшатнулся, схватился за ложу винтовки, но немец лежал. Парень очень хотел, чтобы «язык» не пришел в сознание теперь, когда не было капитана...

Турок осторожно поднялся и неслышно подошел к немцу. Луна как раз вышла из-за туч и слегка осветила человека на земле, пуговицы на шинели, оторванный погон, серое, повернутое набок лицо с глубокими темными пятнами вместо глаз. Во рту все торчал кляп — его пилотка.

Нагнувшись, Турок заглянул в лицо немца. Тот вдруг снова шевельнулся, крутнул головой и замычал. Турок отскочил, инстинктивно направил на него винтовку, но немец, видно, вставать не собирался. Он лишь вертел головой, замычал снова, и Турок оробел от этого.

Видно, немца донимала боль, ибо если бы он хотел встать, то мог бы сделать это. Но он лишь перева-

лился на бок, скорчился и мычал, как показалось Турку, всматриваясь в него. Турок не знал, что ему делать, и, напряженно вслушиваясь в ночные шорохи, ждал капитана.

А немец тем временем начал как-то жалобно скулить. Будто щенок, мотал он головой, стараясь вытолкнуть изо рта кляп. Стоя в трех шагах от него, Турок с каждой минутой все больше тревожился. Он подумал, не вытащить ли у него кляп: чего доброго, еще задохнуться может. Везде было тихо, немец, казалось, совсем ослабел, к тому же руки у него были связаны. И Турок приблизился к нему и хотел вытащить изо рта пилотку.

В то же мгновение что-то ударило его по ногам. Турок не успел даже вскрикнуть, как оказался на земле, а немец, крутнувшись, чем-то тупым и тяжелым, видно, сапогом, стукнул его в висок. Из глаз Турка брызнули искры, и в сознании сверкнула коротенькая страшная мысль: пропал! Но он растерялся лишь на мгновение. Тут же вспыхнула злость, и парень вцепился в скользкую одежду немца, не давая ему вскочить на ноги. Затем он уперся башмаком в землю, изловчился и всем телом обрушился на немца, который бешено брыкался ногами. «Э, нет, злодюга!» — задыхаясь, простонал Турок и схватил его за плечи. Затем он напрягся еще и прижал немца к земле. Тот было рванулся, но подняться не смог и успокоился.

Так враг оказался под Турком. Но, еще не побежденный и опасный, он хрипло и зло дышал; а Турок, посапывая, со страхом ждал его новых попыток освободиться. Но немец, видно, выжидал, выбирая удобный для этого момент, и Турок вынужден был его держать. Долгое напряжение ослабляло, к тому же Турок чувствовал, что враг сильнее его. Хорошо, что капитан крепко связал ему руки,— развязать их немцу пока не удалось, но кто знает, что будет дальше...

Какое-то время они шумно дышали и чего-то ждали, внимательно прислушиваясь друг к другу. Луна скрылась за елью, стало совсем темно, пахло сырой, прелой землей, мхом, лесной гнилью. Турку было очень обидно, что немец так просто провел его. «Вот тебе и разведчик! — насмешливо подумал он о себе.—



Капитан отошел, а я чуть не упустил «языка»...» Парень начал напряженно думать, как быть дальше, чтобы не дать немцу уйти. И тогда его нога нащупала рядом винтовку. У Турка несколько прибавилось уверенности, но страх еще не прошел окончательно. Турок понял, что, не поборов своего страха, ему не победить немца.

Прошло еще некоторое время. Луна снова вынырнула из-за туч, но уже по другую сторону ели. У Турка от напряжения млели руки, и казалось, вот-вот он совсем ослабнет и упустит немца. Хорошо еще, что тот не рвался: видно, так же изнемог, а может, надумал что-то другое. И Турок тогда решил... Вдруг бросив пленного, он отскочил в сторону, схватил с земли винтовку и мгновенно лягнул затвором.

— Стой, гад! Ни с места!!!

Немец крутнулся, повел плечами, удивленно посмотрел на него и приподнялся. Турок чувствовал, что враг теперь исподлобья внимательно следит за ним, и не сводил с него глаз.

Так прошел час или больше, немец и Турок все вслушивались в лесную тишину и следили один за другим. Вдруг до слуха Турка донеслись свежие звуки, как будто голоса. Сначала они были далекие, еле слышимые и плыли оттуда, куда пошел капитан. Потом где-то в лесных дебрях мелькнуло и исчезло маленькое белое пятнышко от фонарика, вскоре послышался шелест ветвей, и наконец из кустов вылезли тусклые фигуры в шуршащих плащ-палатках.

Турок взял в одну руку винтовку и, вконец обессиленный, опустился на землю...

...На батарею Турок возвращался, когда уже начало светать.

Он брел по лесной стежке неуверенной походкой измученного человека. После дождливой ночи в лозняках стыли клубы тумана, ели отрясали в траву холодные прозрачные капли, из тумана проступали вершины деревьев. Мокрый и обессиленный, Турок не очень и радовался, когда тропа привела его к знакомой прогалине на взлесье. Четыре гаубицы с вытянутыми жерлами стволов спокойно стояли в тумане; открытый и за-

брошенный, чернел недокопанный ровик; у потухшего костра дремал телефонист; вдали торчала буссоль с наброшенным поверх футляром. Возле крайней гаубицы стоял часовой. Все это показалось Турку знакомым и неинтересным. Он вышел на прогалину, осмотрелся. Теперь он уже не боялся встречи с лейтенантом Горковенко, даже хотелось увидаться с ним, но тот, видно, спал. И Турок направился к своему, четвертому орудию.

Меж станин, на ветвях, в серых шинелях, подобрыв под себя ноги, спали хлопцы. Кто-то храпел, будто его душили, кто-то зашевелился и утих, натянув на голову шинель. Это были хваткие, умелые батарейцы, но, видно, ни один из них не пережил того, что пережил сегодня Турок. Усталый, он смутно оглядывал их, и в его душе теплилось обещание капитана взять его в разведку. Он еще не знал почему, но батарея уже не показалась ему желанной и родной, как всегда, когда он возвращался в нее после долгой отлучки.

Турок сел на охапку ветвей и прислонился спиной к огромному колесу гаубицы. Его наполняли пережитые и еще не улегшиеся чувства, они рвались, бушевали, боролись в его душе. Уже более отчетливо казалось парню, что в этой четвертой неудаче он нашел в себе такую силу, с которой легче стало жить.

Перевел с белорусского  
Михаил ГОРБАЧЕВ.




# 3. Воскресенская

## Поединок

*Из рассказов  
о Владимире Ильиче Ленине*

1.

### БЕССОННАЯ НОЧЬ



Ветер ворвался в Летний сад, сдернул снеговые шапки с мраморных фигур, продул боскеты из стриженных деревьев, взъерошил сугробы на аллеях и покати́л снежные кучбы через Фонтанку. Поперек Пантелеймоновской соорудил снежный барьер, раскачал фонарь, и узкий луч света, чиркая по церковной стене, вырвал из темноты буквы, начертанные древнеславянской вязью: «Сей храм воздвигнут в царствование Петра Великого...»

Зазвонил колокол. На колокольне церкви святого Пантелеймона отбивали часы.

Надежда Константиновна отняла от книги пальцы с зажатой в них булавкой.

— Восемь... девять... десять...— шепотом считает она.— Десять часов. Скоро должен вернуться Ильич.

И снова под быстрыми пальцами замелькали буквы. Кончик булавки на мгновение прилипает к строчке и, отрываясь с легким треском, перелетает к следующей букве. Внимательные глаза напряженно следят за булавкой. Получат товарищи эту книжку с нелепой яркой картинкой на обложке, посмотрят на свет страницы и по еле заметным наколотым точкам выпишут буквы. Буквы расположат по шифровальной таблице и прочтут ленинский наказ: изучить опыт борьбы прошлого, 1905 года, уметь уйти в подполье, готовиться к новым боям.

В дверь постучали. Надежда Константиновна приколотла булавку к блузке и погрузилась в «чтение».

— Войдите!

В дверь бочком вошла хозяйка и с елейной улыбочкой осведомилась, не угарно ли, не желает ли квартирантка чаю — самовар только что вскипел.

— Благодарствую,— отвечает Надежда Константиновна.— Я подожду мужа. Он пошел к приятелям сыграть в преферанс.

— Наверно, очень занимательная книжка,— любопытствует хозяйка и, поглядывая на яркую обложку, просит одолжить почитать.

Квартирантка с сожалением отказывает: завтра утром должна вернуть эту книжку знакомой даме и сама спешит ее закончить. Хозяйка вздыхает: «Жаль!»— ей скучно, и она не прочь поболтать, но квартирантка такая неразговорчивая... Маленькие глазки хозяйки вдруг загораются любопытством.

— До чего у вас фамилия завидная, Прасковья Евгеньевна! Я уж думала, вы и впрямь приходите дочкой Евгению Онегину. Но моя кузина подсчитала, что Онегину было бы сейчас далеко за сто, а вам ведь лет тридцать пять?.. Да и не дал бы, я думаю, Евгений Онегин своей дочери такое простонародное имя — Прасковья.

— Да, да, конечно,— соглашается Надежда Константиновна и с тревогой думает о том, что по такому паспорту долго не проживешь.

Угораздило же кого-то добыть ей паспорт на имя Прасковьи Евгеньевны Онегиной! И вот теперь эта дошная барыня проявляет опасное любопытство.

Хозяйка собирается еще что-то спросить, но, потеряв надежду втянуть квартирантку в разговор, так же бочком выползает бесшумно из комнаты.

Надежда Константиновна с облегчением вздыхает. Пальцы замелькали еще быстрее. Письмо закончено. Поднеся раскрытую книжку совсем близко к лицу, она придирчиво просматривает страницы, ощупывает пальцами. Такой тщательной проверке цензура подвергать книжку не будет, и Надежда Константиновна с удовлетворением прячет законченную работу в дорожную сумку.

Теперь надо разобрать и прочитать прибывшую почту. Глубокие карманы длинной суконной юбки набиты письмами. Письма она достает по одному, внимательно прочитывает каждое; отдельные куски заучивает наизусть для Ильича, заучивает, как в детстве, закрыв глаза, чуть шевеля губами.

Одно письмо вертит в руках, вглядываясь в мелкую вязь близорукими глазами. Дата в правом углу подчеркнута волнистой чертой. Это условный знак: письмо содержит тайнопись. «Придется опять гладить блузку»,— усмехается Надежда Константиновна и отправляется на кухню просить утюг.

Услужливая хозяйка сама накладывает в утюг древесные угли, зажигает пучок сухих лучинок и ставит утюг в печную отдушину.

— Вы слыхали,— говорит она злорадно,— в нашем доме жандармы только что забрали двух курсисток? Социалисточки. Подумать только, какой народ! Всех их, иродов, мятежников, на тот свет отправить надо, тогда нам, честным людям, спокойнее жить будет!

— Сомневаюсь,— сдерживая себя, говорит Надежда Константиновна и изо всех сил дует в отверстие утюга.

— Уверю вас, мадам, можете не сомневаться.

Надежда Константиновна забирает утюг, сквозь

круглые отверстия, которого светятся разгоревшиеся угли, наливает чашку чая из остывшего самовара и, пожелав хозяйке спокойной ночи, уходит к себе в комнату. Запирает дверь на крючок. Прежде всего надо уничтожить письма: жандармы могут припожаловать и сюда.

Бегло просматривает прочитанные письма, рвет их на мелкие кусочки и тщательно перетирает, уничтожая текст. Затем стелет на столе полотенце, поверх кладет письмо, расправляет его и легонько прижимает к листку горячий утюг. Еще и еще раз. И вот цифры еле заметными ржавыми точками проступают между строками.

«Какой же ключ к этому шифру? Дата подчеркнута волнистой чертой... Ах, конечно: «Горные вершины спят во тьме ночной».

Надежда Константиновна держит связь с многочисленными организациями, и ей надо многое помнить: десятки ключей к шифрам и рецептов тайнописи, многочисленные адреса явочных квартир, пароли, псевдонимы. И все это в голове,— бумажки могут подвести.

Товарищи пишут из Туруханской ссылки. В эти дни свирепого террора, когда в городе и в деревне лютуют карательные отряды, где найти защиту, кто может сказать, что делать? Меньшевики кричат: напрасно брались за оружие, еще не было в истории примера, чтобы восставшие рабы побеждали! Вот и московское вооруженное восстание потерпело поражение. Все потеряно, кричат они, а Ленин разрабатывает планы нового наступления.

Надежда Константиновна тщательно утюжит серенькую блузку, отделанную черной тесьмой, и думает над ответом.

Письмо получается очень большое. По внешнему виду оно пустяковое, домашнее, цензура на него не обратит внимания. Но между его строчками химическими чернилами надо написать о положении в партии. «Партия существует, погибнуть она не может. Никогда! Партия продолжает свою работу. Не падайте духом, товарищи! Не теряйте веры в победу».

Удар колокола болью отзывается в сердце. Сколько это может быть? Половина первого? Час? Половина

второго? Почему до сих пор нет Ильича? Сегодня у него жестокая схватка с меньшевиками. Обсуждается вопрос о работе в деревне, спорят о том, как привлечь мужика к революции, может ли рабочий класс повести за собой крестьянство.

Владимир Ильич все утро сегодня готовился к этой схватке. Разойтись они должны не позднее одиннадцати. Может, увязались за ним шпики, и он кружит сейчас по улицам, чтобы оторвать «хвост»?

Надежда Константиновна спускает за шнур висячую лампу, прикручивает фитиль и задувает огонь: хозяйка не должна знать, что она не спит, и Владимир Ильич не должен видеть с улицы, что в их комнате горит свет, что она волнуется.

Из черной пасти неба сыплет и сыплет снег, покрывает улицу белым пологом. С визгом пронесли мимо дома санки. Проскакал полицейский патруль.

Прислонившись к косяку окна и закрыв глаза, Надежда Константиновна вслушивается в звенящую тишину... Под самым окном по скрипучему снегу слышатся чьи-то быстрые шаги. Она не открывает глаз: это не он, не его шаги. Его шаги она узнает из тысячи.

«А ведь он ушел без теплого жилета», — вспоминает Надежда Константиновна и подходит к шкафу. Осторожно открывает дверцу, чтобы не скрипнула, и шарит в темноте руками. Нащупывает пушистую, мягкую шерсть, этот жилет она купила ему два года назад в Женеве. «Как это я просматрела? — досадует она на себя. — На улице так холодно».

Мысли все тревожнее, сердце беспокойнее.

Предутренняя тишина становится все напряженней. «Надо переключиться на что-нибудь другое, думать о радостном».

...Восемь лет назад она поехала с матерью в село Шушенское, к Владимиру Ильичу, отбывать вместе с ним и свою ссылку. Очень волновалась. Больше всего боялась первой минуты встречи. Везла ему в подарок керосиновую лампу под зеленым абажуром и страх как берегла, чтобы не разбить в дороге. Все шесть тысяч верст в руках везла.

В майский солнечный день преодолели последний этап пути. Сошла с повозки торжественная, с лампой

в руках. Во всех избах распахнулись окна, и во всех окнах — любопытные лица. Только в доме Зыряновых окна были закрыты. Всеведущие мальчишки сообщили, что Владимир Ильич ушел на охоту и будет к вечеру. Было немножко неловко и ужасно смешно: невеста приехала, а жениха дома нет. Напрашивались укоризненные и насмешливые слова. А виноват во всем был Енисей: разлился весенним морем и все медлил входить в речные берега. Вот они с мамой сидели и ждали конца половодья.

Вечером спрятались в комнате хозяев, узлы и корзины сдвинули в угол и накрыли рядом. Владимир Ильич взбежал на крыльцо, распахнул дверь и остановился, вглядываясь в загроможденный угол.

Надежда Константиновна с матерью наблюдали за ним в щель перегородки, а потом она не выдержала, вышла на цыпочках и закрыла ему глаза ладонями. Он осторожно взял ее за руки.

«Надюша!»

Все насмешливые и укоризненные слова были забыты...

Церковный колокол пробил пять. Пять часов утра. Неужели арестован?

...Вечером тогда собралась вся шушенская компания: ссыльные Оскар Энгберг и Проминский со своим многочисленным семейством. Владимир Ильич зажег лампу под зеленым абажуром и не мог на нее взглядеться.

Надежда Константиновна рассказывала о Питере. Все вместе пели песни. Потом она декламировала. Как хорошо в тот вечер звучали знакомые с детства стихи Мицкевича:

Ну, руку в руку! Шар земной  
Мы цепью обовьем живой!  
Направим к одному все мысли и желанья,  
Туда все души напряжем!  
Земля, содвинься с основанья!  
На новые пути тебя мы поведем...

«На новые пути тебя мы поведем...» Снова бьет колокол.

Ему вторит звон часов в столовой.

Надежда Константиновна в который уже раз мыс-



ленно обходит явочные квартиры и места ночевки, куда бы мог пойти Ильич. Отовсюду дали бы знать.

«Да нет же, нет! — отмахивается она от мрачных мыслей. — Напрасно беспокоюсь. Мало ли что могло задержать!.. Придет и подробнейшим образом будет «докладывать», как разбивал доводы Мартова и Дана, и с каким волнением при голосовании чуть ли не вслух считал поднятые руки, и как обрадовался, увидев, что его резолюция получила большинство».

Холодный рассвет заползает в комнату, окрашивает все в серый цвет. Заскрежетала лопата дворника по мерзлой панели. Послышались первые звонки конок. Квартира оживает. Слышно, как кухарка шлепает босыми ногами по крашеному полу и гремит самоваром. Хозяйка что-то сердито выговаривает домочадцам. По квартире разносятся утренние запахи: от лучинок, которыми разжигают самовар, туалетного мыла и пахнущего шоксладом французского фиксатуара.

Прошлась по комнате, невзначай глянула в зеркало и нахмурилась. За ночь осунулась и побледнела. «Так не годится», — упрекнула она себя и пошла умываться. От бессонной ночи ознобом сводит лопатки. Прижавшись к теплой печке, обдумывает, как поступить, чтобы избежать назойливых расспросов хозяйки.

«Ждать буду до девяти», — решает Надежда Константиновна и берет со стола чашку с остывшим чаем, покрывшимся легкой сизой дымкой. Холодный чай освежает. Затем, вырвав из тетради листок бумаги, пишет на четвертушке аккуратным, четким почерком: «Ушла к подруге, буду после двенадцати. Не скучай». Откалывает от блузки булавку, которой ночью шифровала письмо, и прикрепляет записку к тюлевой занавеске.

Это больше для любопытной хозяйки, чем для Ильича. Она уже понимает, что Ильич сюда больше не вернется.

В окно шлепается снежок и сползает по стеклу, оставляя голубоватую дорожку. Второй, третий... Кто-то бросает снежки меткой рукой.

— Это он, он! — шепчет Надежда Константиновна. — Это его снежки! — И, еле сдерживая стремительный шаг, идет открывать дверь в подъезде.

Пальцы липнут к толстому железному крюку — на улице сильный мороз, — и ей не сразу удастся открыть дверь. «Сейчас, сейчас!» — шепчет она, обжигая пальцы о железо. Наконец крюк отброшен, она распахивает дверь и не может скрыть разочарования и тревоги: на пороге стоит парнишка в куртке не по росту, в треухе. Влажные темные глаза сияют на покрасневшем от мороза лице. Это Ромка-«ястребок» из Народного дома, помощник дяди Ефима.

— Ты что, Роман? Случилось что-нибудь? — с тревогой спрашивает Надежда Константиновна.

— Вам письмо от Ефима Петровича, — чуть слышно говорит Ромка. — Да вы не беспокойтесь, — спешит он добавить, понимая мальчишеским сердцем волнение Надежды Константиновны. — Дядя Ефим велел сказать, что все в порядке. — И он еще шире улыбается.

Надежду Константиновну он знает, она работает в передвижном музее Народного дома, а Ромка там днюет и ночует, чтобы всегда быть под рукой у рабочего-дружинника Ефима Петровича.

— Спасибо, дружок, спасибо, — говорит Надежда Константиновна и приглашает пройти в комнату.

— Пожалуй, побегу, некогда мне, — говорит Ромка солидно.

— Одну минутку, я прочитаю.

Покрасневшими кончиками пальцев Надежда Константиновна отрывает кромку конверта, вытягивает небольшой листок.

«Уважаемая Прасковья Евгеньевна! Погода у нас прескверная. Пришлось покупать новые валенки, чтобы не отморозить ноги. Очень беспокоимся за ваше здоровье. Ждем вас сегодня к нам. Привезите с собой синюю с белым хрустальную вазу».

— Синюю с белым хрустальную вазу, — повторяет Надежда Константиновна, и лицо ее заливают краски радости.

— Я пошел, — напоминает о себе Ромка.

— Спасибо, милый друг, спасибо, — говорит Надежда Константиновна и трясет руку мальчику.

«Какое счастье: жив, не арестован и ждет меня на даче «Ваза» в Куоккала!»

Надежда Константиновна укладывает в дорожную сумку томик сочинений Свифта. В обложку книги заделана рукопись Владимира Ильича — заметки к предстоящему съезду. Сверху кладет вязаный жилет Владимира Ильича и его рабочую люстриновую куртку — он любит в ней работать.

«Вот и все наше имущество. Хорошо! Вещи приковывают человека к месту, не дают возможности чувствовать себя свободным».

## 2.

### ТИШИНА

Вот уже несколько минут директор департамента полиции, прижав к уху телефонную трубку, слушает гневный голос министра внутренних дел. Бледное лицо шефа полиции под седой шевелюрой розовеет, потом принимает земляничный цвет, покрывается малиновыми пятнами и, наконец, делается багровым. Он пытается что-то сказать, но не может уловить в потоке брани паузу, чтобы вставить свое слово в оправдание.

Перед столом директора департамента сидит адвокат Огородников, депутат Государственной думы, член правления кадетской партии.

Он удобно расположился в кресле и, вытянув по ковру ноги, обутые в щегольские венские штиблеты, с тонкой усмешкой слушает тяжелое дыхание шефа полиции.

На стене, позади директора полиции, висит портрет Николая II. Огородникову кажется, что царь лакированными сапогами опирается на лысину шефа полиции. «Символично, весьма символично», — отмечает про себя депутат.

— Будет исполнено, господин министр! Примем все меры! Честь имею кланяться! — выпаливает наконец шеф полиции и вешает трубку.

Вытирая платком лицо, он косится на Огородникова, не заметил ли тот, как его разносил министр.

— Прошу прощения. Дела, дела!.. Итак, я к вашим услугам.

— Влияние нашей партии вам известно,— продолжал прерванную мысль Огородников.— В Государственной думе у нас больше трети мест. Это одно уже говорит о том, что народ идет за нами — за партией народной свободы.

— Да, но вот рабочие, рабочие, милостивый государь? — язвит директор полиции.

Но и Огородников не остается в долгу.

— Видите ли,— говорит он,— между нами и рабочими встала социал-демократическая партия, вернее, та ее часть, которая возглавляется Лениным. Если бы не присяжный поверенный Ульянов-Ленин, вам бы тоже не пришлось сегодня иметь этот неприятный разговор по телефону.

«Вот собака, слышал, все слышал!» — подумал шеф, но сделал вид, что не понял укола.

— Так вот,— продолжает Огородников,— мы решили смести наконец эту преграду. Девятого мая, в день перенесения мощей святителя Николая от Мир в Бар-град, в доме графини Софьи Владимировны Паниной будет публичное собрание. Мы приглашаем рабочих. Выступят лучшие ораторы нашей партии. Мы постараемся обеспечить себе поддержку. На митинг придут настоящие социал-демократы. Их называют меньшевиками. Весьма интеллигентные люди, и с ними приятно иметь дело.

Огородников перечисляет ораторов, излагает содержание подготовленной резолюции. Смысл ее — одобрение политики кадетской партии, поддержка Государственной думы.

— Отлично задумано! — восклицает шеф.— Это будет нож в спину социал-демократии, и воткнут его сами рабочие. Ловко, господин Огородников.

— Я бы просил ваше превосходительство распорядиться, чтобы на митинг не присылали жандармов. Вокруг дома не должно быть полицейских и этих... — Огородников брезгливо сморщился, — филеров. Благопристойность митинга обеспечит правле-

ние нашей партии. Надо показать всему миру, что рабочие приняли резолюцию свободным изъявлением воли.

Шеф согласен.

В борьбе с социал-демократией все средства хороши, кадеты тоже.

Шеф полиции и член правления кадетской партии простились, довольные друг другом.

Адъютант отрапортовал, что прибыли начальник губернского жандармского управления генерал-майор Клыков и начальник охранного отделения полковник Герасимов.

— Просите!

Клыков и Герасимов вошли в кабинет. Шеф делает вид, что не замечает их прихода, роется в бумагах, затем произносит что-то невнятное — не то «садитесь», не то «стыдитесь», — и генерал и полковник, переглядываясь, решаются сесть.

— Генерал, доложите обстановку в столице на сегодняшний день! — приказывает шеф.

— По сведениям, представленным мне фабричной инспекцией, сегодня, первого мая, в Санкт-Петербурге бастует пятьсот с лишним промышленных заведений, сто двадцать тысяч рабочих не вышли на работу. В столице с утра было тихо, особых эксцессов и столкновений не произошло. Мои жандармы разгоняют скопища людей, конфискуют знамена и красные нагрудные банты.

Шеф вскипел, и его бледное лицо опять стало багровым.

— Было тихо! Было тихо! Я сам слушал эту тишину. Ни одного гудка. Такая тишина страшнее артиллерийской канонады, генерал. Вы забыли, наверно, прошлый год, когда молчание охватило почти всю Российскую империю и взорвалось революцией!

Нет, этого никто не забыл. Все помнили, как в прошлом, 1905 году по воле рабочих перестали дымить трубы фабрик и заводов, не горели фонари, не текла вода в трубах, не добывался уголь, не бегали конки, и паровозы недвижно стояли в депо.

— Полтора года мы ведем борьбу со смутой, чуть ли не вся страна объявлена на военном положении,

а сегодня в столице бастуют все промышленные заведения — все!..

Шеф полиции перешел на крик.

— Не все, ваше превосходительство,— попытался успокоить его генерал.— «Арсенал» не бастует, пивоваренный завод Дурдиева работает...

— Я был бы счастлив,— воскликнул шеф почти торжественно,— если бы сегодня бастовал «Арсенал»! Да! Было бы отлично, если бы бастовал пивоваренный завод Дурдиева. Да! — Он хлопал по столу то правым, то левым кулаком, раскачивался из стороны в сторону, и Клыкову и Герасимову показалось, что портрет царя теряет опору.— Мы выстроили бы с вами этих рабочих и — с места шагом ма-а-р-ш! — отправили бы в Сибирь. А сто двадцать тысяч рабочих вы тоже в Сибирь сошлете? А? Кто виноват в том, что сегодня все в столице бастуют?

— Преступное сообщество, именуемое социал-демократией, ваше превосходительство,— поспешно ответил начальник охраны.— Это они распространили в столице тысячи и тысячи листовок...

— А вы что же зеваете?

— Я полагал, что порядок в столице — дело жандармского управления и полиции.— И Герасимов скопил холодный зеленый глаз на генерала Клыкова.— Мы, как вам известно, всецело заняты выявлением боевых рабочих организаций, складов оружия.

— Главное зло — в тайных печатнях,— раздельно и веско сказал Клыков и, избегая взгляда зеленых студенистых глаз Герасимова, добавил: — К моему прискорбию, полковник Герасимов со своими людьми не может обнаружить эти печатни. Листовки подстрекают мастеровых на преступные дела, через листовки социал-демократы оповещают рабочих о своих планах. В тайных печатнях главное зло.

— Ну, не грызитесь, господа, не грызитесь. Не туда целитесь. Присяжный поверенный Ульянов имеет большую власть над душами рабочих — вот в чем корень зла! С боевыми организациями и террористами полковник отлично справляется. Но вот Ленин!.. Я давно подписал приказ о его аресте. Почему он не выпол-

няется? Полковник, доложите, какие вы имеете сведения.

— Ульянов почти ежедневно выступает на конспиративных совещаниях в Петербурге. Скрывается в Финляндии, куда мы не можем проникнуть. В прошлом месяце ездил на партийный съезд в Стокгольм. Каждый день печатает статьи в газетах.

Тут и шеф, который явно благоволил к Герасимову, надеясь на его тайных агентов и филеров больше, чем на неграмотных и тупых жандармов Клыкова, не без ехидства заметил:

— Полковник знает все об Ульянове, почему же вы, генерал, на основании его донесений не арестовываете Ульянова?

— Полковник Герасимов знает все об Ульянове. Он знает, где Ульянов был вчера, где находился два часа назад, а вот где находится в данное время или где будет ночевать сегодня, этого-то полковник и не знает.

Герасимов даже не повернул головы.

— Ульянов — весьма и весьма опытный конспиратор, ваше превосходительство, и тем не менее мои люди видят его почти ежедневно и тотчас докладывают в жандармское управление...

— А что толку в их докладах? — мрачно бросил Клыков.

— Запомните, господа, — произнес шеф с угрозой, — ваша честь, ваша карьера поставлены на карту. Пока существует социал-демократическая партия и Ленин на свободе, нам непозволительно спать спокойно. Я даю вам право арестовать его в любом месте.

— Но мы не можем задерживать разыскиваемых судом, — возразил Клыков, — мы должны только уведомить суд, где он проживает.

— Этот идиотский порядок, заведенный моим предшественником, я отменяю. Можете арестовать Ульянова без уведомления суда! Пора снять голову с революционного туловища.

Клыков и Герасимов поднялись.

— И, кстати, — добавил шеф более миролюбиво, — кадеты затеяли умное и полезное отечеству дело. Де-

вятого мая в доме графини Паниной собирается народный митинг. Вы, генерал, своих жандармов туда не посылайте, но будьте готовы на всякий случай. Вам, полковник, не мешало бы самому побывать там и поучиться, как вести борьбу с социал-демократами. В случае чего в кабинете графини есть телефон, свяжитесь с генералом. Действуйте!

Клыков и Герасимов откозыряли.

### 3.

## КАРПОВ

Наступил день девятого мая.

С утра моросил дождь, и лохматые тучи ползли над Питером, задевая шпиль Петропавловской крепости, Адмиралтейскую иглу, купол Исаакиевского собора. После полудня тучи, словно разодранные острыми шпильями, разошлись, оставив на голубом небе клочья серых облаков.

К вечеру питерская окраина за Обводным каналом преобразилась. По Лиговке, как по Невскому проспекту, ехали многочисленные экипажи с наряженными питерскими барынями и господами. Конки были тоже переполнены. По панели густо шли рабочие. Все спешили в Народный дом графини Паниной. Лиговские обыватели, сидя на скамеечках под чахлыми акациями, с любопытством провожали необычное шествие. К митингам и шествиям люди за последние полтора года привыкли, но вот чтобы господа и рабочие собирались вместе — такого видеть еще не приходилось.

— Господ и рабочих вместе созывают. Мирить их, что ли, собираются? — спрашивали обыватели.

Ромка проскользнул в Народный дом, как только открыли парадные двери, часа за два до начала митинга. Ему надо было занять позицию на подоконнике с левой стороны у сцены — так велел Ефим Петрович.



В доме шла подготовка к собранию: дворники и швейцар скатывали ковровые дорожки, на втором этаже в вестибюле раздвигали в стороны белые мраморные фигуры и кадки с огромными шуршащими пальмами, в зрительном зале на высоких стрельчатых окнах задерживали тяжелые портьеры, чтобы белая питерская ночь не смешивалась со светом огромной люстры. На сцене поставили в ряд столы, покрыли их зеленой плюшевой скатертью.

Митинг был назначен на девять часов, но уже к восьми люди шумной толпой вливались в зрительный зал через четырехстворчатые двери.

За кулисами, в актерской комнате, собрались деятели кадетской партии. Последней приехала графиня Панина. Когда она вошла, все встали. Софья Владимировна была хороша собой и одета нарочито скромно, под народную учительницу, но синяя шерсть на платье была дорогая, английская, кружево, небрежно выбивавшееся из-под воротника и рукавов, было брюссельское, ручной работы, и шилось платье у самой дорогой модистки — мадам Жаннет. Золотая цепочка несколько раз обвивала шею графини и тоненькой струйкой сбегала по груди за пояс.

— Я еле пробралась в собственный дом, — оживленно сказала Панина. — Все улицы заполнены народом. Чудесное зрелище! Народ тянется к нашей партии, господа.

— Влияние нашей партии растет, — отозвался Огородников.

— Кто будет председательствовать на собрании? — спросила графиня.

— Мы просим вас, Софья Владимировна. Вы член правления нашей партии, и этот дом — ваше детище. Вам и бразды правления в руки.

— Хорошо, — сказала Панина. — Будем начинать.

— Заметьте, господа, — сказал Огородников доверительным тоном, — в зале и вокруг дома ни одного жандарма. В выступлениях мы должны подчеркнуть это.

— Подготовлена ли резолюция? — осведомилась Панина.

— Так точно.

Руководители собрания торжественно двинулись на сцену.

Зал гудел. Народу набилось так много, что не только сесть, но и встать было негде.

Взоры всех собравшихся были устремлены на сцену. Люди называли фамилии, чины и звания выходивших на сцену. Барыни с любопытством рассматривали графиню-демократку, сплетничали и оценивали покрой ее платья.

А в это время в проходе, забитом людьми, началось какое-то движение. Группа рабочих-дружинников энергично прокладывала себе путь. Среди них был Владимир Ильич, в синей косоворотке и рыжеватом двубортном пиджаке, который был ему широковат. Надежда Константиновна заметила его и побледнела. Знакомый страх сжал сердце. Она бросила украдкой взгляд направо, налево. Нет, появление этой группы в зале не привлекло ничего внимания, все рассматривали господ, усаживавшихся за столом на сцене.

Но вот Надежда Константиновна поймала на себе взгляд Владимира Ильича и поняла многое: и чтобы не беспокоилась и то, что выступать он будет обязательно.

Стоя близко и чуть позади Владимира Ильича, Ефим Петрович отодвинул портьеру и заглянул: Ромка был на месте.

Графиня Панина с улыбкой выслушала аплодисменты, вынула из-за пояса часики, глянула на них и объявила народный митинг открытым. Она выразила надежду, что «свободный обмен мнениями поможет единению народа на пути к свободе, равенству и братству», и пригласила члена правления кадетской партии Водовозова занять свое место за ораторским столиком.

Водовозов разложил на столе мелко исписанные четвертушки бумаги, защебил на переносице пенсне и начал монотонно читать свою речь.

Графиня Панина всматривалась в зал: рабочих большинство, и среди них, как цветочные клумбы, питерские барыни в модных шляпках с цветами. Жан-дармов не видно. Очень мило со стороны генерала

Клыкова. Но во втором ряду она увидела шафранно-желтое лицо Герасимова. Полковник был в штатском. «Что ж, пусть послушает»,—подумала графиня.

Приметил Герасимова и Ефим Петрович.

Он отодвинул портьеру, тронул Ромку за плечо:

— Проберись-ка вниз. У кабинета Паниной Григорий с «Вестингауза». Знаешь его?

— Неужели ж нет? — прошептал Ромка.

— Скажи ему, только тихо, на ухо, что Ефим Петрович велел действовать. Пора действовать, понял?

Ромка сполз с подоконника и, как угорь, стал протискивать свое худое тело сквозь толпу.

— Слово имеет господин Бартеньев,— прозвучал мелодичный голос Паниной.

На сцену вышел маленький, юркий человек. Герасимов пристально взгляделся в него. «А-а,— вяло подумал он,— социал-демократ Федор Дан. Сменил сегодня свою фамилию. Не опасный!»

Герасимов смотрел на лица рабочих: на одних было написано равнодушие, на других усталость, на иных разочарование. Живую искру интереса он заприметил у очень немногих. «А в какую деятельную силу превращаются эти полуграмотные и усталые люди, когда ими управляет социал-демократическая партия! — думал Герасимов.— Оторвать бы от рабочих их возбуждающую и питающую социал-демократию, проникнуть в партию и вырвать ее сердце — Ленина. Но как это сделать? Хорошо бы внедрить в социал-демократическую партию агента, подобного Азефу». Азеф — один из руководителей партии эсеров, агент охраны. Герасимов купил его за тысячу рублей золотом в месяц. Дорого заплатил. Но зато партия эсеров-террористов сразу потеряла свое страшное значение. С Азефом встречается только Герасимов, и даже шеф полиции не знает его настоящего имени. Царь осведомлен. И все. Азеф ночами заседает со своими боевиками и разрабатывает тщательные планы террористических актов против особ царствующего дома и членов правительства; он отечески нежно благословляет молодых эсеров на совершение террористических актов, а

под утро встречается с Герасимовым и передает эти планы ему. Спустя неделю-две Азеф на заседании правления эсеровской партии горько скорбит о повешенных. Страшный человек! Чтобы не быть разоблаченным в своей партии, он иногда оказывается вдруг неосведомленным, и террористический акт совершается.

Герасимов сам боится этого агента: Азеф может предать и его, начальника охраны, может подослать к нему своих убийц. Герасимов с Азефом поэтому не ссорится и безропотно набавляет ему сотню-две золотых, когда тот настойчиво требует. Был бы такой агент в социал-демократической партии, Герасимов знал бы, где в данную минуту находится Ленин и что он будет делать в ближайшее время...

А Ленин стоял шагах в пятнадцати от Герасимова и, чуть наклонив голову набок, слушал речь оратора и делал заметки в тетради. Потом Владимир Ильич оторвал четвертушку бумаги, написал на ней несколько слов, свернул и передал впереди стоящему. Он зорко следил за тем, как записка переходила из рук в руки, и, когда она наконец попала на стол к Паниной, снова вернулся к своим записям. Он не чувствовал ни тесноты, ни ужасающей духоты, он только машинально расстегнул пуговку на вороте косоворотки. Владимир Ильич работал.

Один оратор сменял другого. Имена ораторов и смысл их речей эстафетой передавались из зала в переполненный вестибюль и вниз по лестнице на первый этаж.

Ромка поразился, какой галдеж стоял внизу. Говорило сразу несколько человек, и каждого окружала толпа слушателей, которые не скупились на вопросы и замечания.

Ромка не мог разыскать Григория в этой толчее, хотя тот был высокого роста, и приуныл уже, но Григорий сам тронул его за плечо.

— Ну что? — спросил он тихо и озабоченно.

— Дядя Ефим сказал: пора действовать.

— Поможешь, — прошептал Григорий и, протолкавшись к кабинету Паниной, растолковал Ромке, что надо делать.

Ромка нырнул за спину Григория, отпер дверь и прошмыгнул в кабинет. Вскоре за ним зашел и Григорий. Дверь заперли изнутри.

— Теперь забирайся ко мне на плечи да возьми кусачки.

На плечах Григория Ромка чувствовал себя, как на хорошем дереве.

Когда Ромка, все еще красный от волнения, снова протиснулся в залу, графиня приглашала послушать «уважаемого депутата Государственной думы, адвоката Огородникова».

Высокий и красивый Огородников поднялся из-за стола на сцене и не торопясь подошел к ораторскому столику. Он чуть вздернул рукава у запястий и стал рассматривать свои руки, поворачивая их то ладонью, то тыльной стороной. Дамы немедленно отметили, что руки у него тонкие и породистые, хотя фамилия — «фи!».

— Плохое у нас правительство, господа,— сказал он грустно и доверительно и замолчал, продолжая рассматривать свои руки.

Зал грохнул от рукоплесканий. «Браво!» — кричали рабочие. «Какая смелость!» — восторгались профессоры.

— Плохое правительство,— повторил Огородников.— Но Государственная дума сделает так, чтобы это правительство было лучше, мы заставим правительство считаться с желаниями народа. Наша партия уже начала переговоры с правительством. Правда, пока за чашкой чая, мы хотим сделать все полюбовно, без насилия. Без насилия, господа! Мы против насилия как сверху, так и снизу. Социал-демократы призывают к забастовкам, к стачкам. Кому это нужно? Рабочие должны поддержать нашу партию, и мы обещаем защищать интересы крестьян и рабочих и политические права всех граждан без различия. Мы должны быть вместе,— развел руками Огородников, словно желая обнять весь зал, все три тысячи человек.— Представьте себе, господа, что в эту залу ворвался лев, огромный, дикий. Неужели мы будем спорить, а не объединим усилия для борьбы с общим врагом? Разве уместно нам спорить? Не надо дразнить этого зверя заба-

стозками, революционными комитетами. На прошлой неделе рабочие послушались социал-демократов и бастовали. Чего они достигли?

Огородников, перегнувшись через ораторский столик и сладко жмуря глаза, воскликнул:

— Народ проснулся! Он, как сказочный богатырь, прикоснулся к чудодейственному напитку свободы, поднесенному ему лучшими людьми, и, выпив, почувствовал в себе силы великие. Верьте нашей партии, господа, она друг народа. Она друг свободы.

В зале хлопали, не жалея ладоней, дамы кричали «брависсимо!» и посылали оратору воздушные поцелуи.

Рабочие пожимали плечами: «Поди-ка разберись во всем этом».

...— Почему Панина не дает мне слова? Что это значит? — озабоченно спросил Владимир Ильич Ефима Петровича, и тот ринулся было вперед, но в это время Панина, заглянув к себе в книжечку, объявила:

— Наш следующий оратор — господин Карпов. — А потом, посмотрев на часики, добавила: — Мы просим оратора быть кратким. Скоро полночь, люди устали, и, по-моему, все ясно.

Она улыбнулась.

Раздались возгласы:

— Ничего не ясно! Напустили туману!

— Ну, наконец-то, — прошептал Владимир Ильич и стал пробираться вперед.

Все вытянули шеи, стараясь разглядеть нового оратора. До него выступали известные всей стране адвокаты, профессора, депутаты Государственной думы. А Карпов? Кто такой Карпов?

— От какой партии? С какого завода? — шумели в зале.

Владимир Ильич легко и быстро взбежал по ступенькам на сцену и, вежливо поклонившись графине, вышел вперед.

В разных концах зала ему захлопали и закричали «браво». Это были соратники Владимира Ильича, но их было не так много. Большинству он был не знаком. Надежда Константиновна взволнованно смотрела на Ильича.

Он подошел к ораторскому столику и, чуть опершись на него ладонями, произнес:

— Товарищи!

Надежда Константиновна поняла, что он очень волнуется.

На бледном лице горели глаза, ставшие из карих совсем темными, высокий лоб покрылся каплями пота.

Она понимала состояние Ильича. Ведь это была его первая открытая встреча с народом.

— Господа! — добавил он кратко.

На этом митинге сегодня впервые было произнесено пленительное слово «товарищ», и стало ясно, что разговор у Карпова будет с пролетариями, а не с господами.

Замер зал, насторожился.

— Мы слушали с вами ласковые речи кадетов...— начал Владимир Ильич.

Его прервал господин в сюртуке, с золотым пенсне на носу:

— Мы называемся теперь партией народной свободы.

— Подите вы! — вдруг рассердился Владимир Ильич и, выйдя из-за столика, подошел к краю сцены.— Вы партия мещанского обмана свободы. Пример господина Огородникова со львом хороший, и я его принимаю. Рабы, отданные на растерзание льву, объединяются для совместной борьбы. Отлично. Но как быть, если одни берутся за оружие, чтобы напасть на зверя, а другие, увидев на шее льва нагрудничек с надписью «конституция», кричат: «Мы против насилия, бросайте оружие!»? Вы верите в нагруднички?

Смех и громкие рукоплескания были ответом на его слова.

— Военно-полицейская диктатура празднует свои бешеные оргии, экзекуции и массовые истязания идут по всей России, а вы призываете к любовной сделке с царизмом, выступаете против насилий слева. В феврале перед выборами вы обещали изгнать и отдать под суд преступных членов правительства, вы обещали созвать настоящую думу. Вы забыли о ваших обещаниях?

Господин в золотом пенске подскочил на месте:

— А вы кто такой? Кто вы, скажите-ка?

— Я Карпов,— ответил Владимир Ильич и продолжал:— Может быть, многие из вас поверили, что кадеты — лучшие друзья народа и что они не собираются продать народную свободу царизму...

— От чьего имени вы говорите? — воскликнул Огородников.

— От имени рабочей партии. От имени пролетариата.

— Рабочие идут за нами, вы сегодня в этом убедились! — кричал Огородников.— Мы ведем парход свободы вперед.

Владимир Ильич быстро повернулся к нему:

— Вы парходные свистки, а рабочая партия в революции — это пар в котлах парходной машины. Будет пар в котлах — будут свистеть и свистки. Будет сила у революции — будут свистеть и кадеты.

Рабочие дружно аплодировали.

Огородников вскочил со стула и крикнул:

— Долой!..

— Господин Огородников утверждал здесь, что у кадетов не было соглашения с царем, а были лишь переговоры за чашкой чая,— продолжал оратор.

— Да, да, он так сказал,— подтвердили в зале.

— А с кем велись переговоры? — спросил Владимир Ильич притихший и насторожившийся зал.— С Треповым. С тем самым Треповым, который дал приказ войскам и полиции против рабочих холостых залпов не давать и патронов не жалеть...

— Позор! Позор! — зашумели в зале.

Огородников вскочил с места.

— Никакого соглашения не было, велись только переговоры.

— А что такое переговоры? — спросил его Карпов.— Вы адвокат, господин Огородников, и отлично знаете, что переговоры — это желание соглашения...

Возгласы одобрения раздались со всех концов зала.

— А что такое соглашение? — продолжал Карпов и сам ответил: — Соглашение — это конец переговоров.



Барин в пенсне вскочил с места, повернулся лицом к публике, заложил два пальца в рот и, согнувшись в три погибели, пронзительно свистнул, но как бы в ответ на его свист раздался шквал рукоплесканий. Рабочие, сложив ладони коробочкой, хлопали, будто стреляли из ружей.

Серебряный колокольчик в руках графини тщетно пытался восстановить тишину.

Герасимов давно уже всматривался в оратора. По одежде — рабочий, но голова, голова! Крупный, высокий лоб ученого — второго такого нет. В картотеке охраны есть несколько фотографий Ульянова-Ленина. По одному лбу можно найти этого человека. И потом глаза... А молниеносная быстрота в полемике... Неужели Ульянов так неосмотрителен, что явился сюда, на многотысячный митинг, и даже не надел парика? Вот теперь упустить его нельзя...

Герасимов поднялся со своего места и стал пробираться в проход, но там была настоящая пробка, устроенная рабочими-дружинниками.

— Господа, пропустите, господа, прошу вас, — настойчиво просил Герасимов.

— Помолчи ты, господин хороший, — досадливо отмахнулся Ефим Петрович, — не мешай слушать оратора.

В зале звучал уверенный голос Владимира Ильича Ленина. Ладный и подтянутый, несмотря на грубые сапоги и брюки с пузырями на коленях и потертый пиджак, он ходил взад и вперед по сцене и по душам разговаривал с тремя тысячами жадно слушающих его людей.

Тишина в зале то и дело взрывалась грохотом одобрительных аплодисментов, и по просьбе Карпова, которую он выражал легким поднятием руки, снова водворялась тишина.

— Здесь выступал господин Бартенев. — Владимир Ильич искал глазами маленькую фигурку Дана.

«Нет, этот Дан ядовитый», — подумал Герасимов, видя, с какой злобой и ненавистью смотрел тот на Карпова.

— Очевидно, господин Бартенев выступал от имени меньшевиков, а не всей социал-демократии. Он

призывал к поддержке кадетов, кадетской думы, уверял, что кадеты ищут опоры в народе. Последнее правильно. Но это одна сторона вопроса. А вот о том, что либеральная буржуазия смертельно боится революционной самостоятельности пролетариата,— об этом господин Бартенев умолчал. Почему? Потому что господа меньшевики сами не верят в силу и самостоятельность пролетариата и отводят ему роль скромного чернорабочего в буржуазно-демократической революции.

— Вы замахиваетесь на решения Четвертого Объединительного съезда! — закричал Дан и в бешенстве потряс над головой кулаками.

— Я признаю обязательность решений Объединительного съезда, но некоторые из этих решений ошибочны, потому что съезд по своему составу был меньшевистский, а ошибки надо исправлять,— заключил Владимир Ильич и вынул из кармана вчетверо сложенный лист бумаги.

Дружные аплодисменты заглушили крики Дана.

— Товарищи, прошу заслушать предлагаемую мною резолюцию,— деловито предложил Владимир Ильич.

Надежда Константиновна поняла, что мысль о том, чтобы предложить этому собранию резолюцию, пришла Владимиру Ильичу здесь, на собрании, и резолюцию эту он писал стоя, в окружении рабочих.

— Простите, господин Карпов, но у господина Огородникова тоже есть резолюция,— возразила председательствующая Панина.

— Это чересчур, господа,— нервно взывал Огородников.— Захватить трибуну и протаскивать большевистскую резолюцию. Прошу заслушать нашу резолюцию.

Но в зале шумели:

— Давай резолюцию Карпова! Карпов, читай!

— Будем слушать еще ораторов? — спросила Панина, едва добившись какого-то порядка в зале.

— Нет! — единым дыханием ответил зал.— Резолюцию Карпова!

Панина, Огородников и все члены президиума поняли, что они теряют управление этим собранием, что

власть в зале перешла в руки этого коренастого человека без титула и звания, одетого в рабочую одежду, с простонародной фамилией Карпов.

Панина опустилась на стул. Владимир Ильич приступил к чтению, и в зале водворилась тишина. Герасимов, потеряв самообладание, свирепо расталкивал окружающих его рабочих и с трудом выбрался из зала.

Вслед ему неслись слова, громко звучащие в притихшем зале:

— Собрание выражает уверенность, что пролетариат по-прежнему будет стоять во главе всех революционных элементов народа!

— Вот это по-нашему! — кричали рабочие. — А то кадеты распинались, будто они ворочают рабочим классом. Кишка тонка!

Владимир Ильич протянул Паниной зачитанную резолюцию:

— Покорнейше прошу проголосовать.

— Голосовать, голосовать! — потребовали рабочие.

— Будем голосовать резолюцию Карпова, — предложила Панина, чувствуя, что она ничего уже сделать не может. — Прошу поднять руки, кто согласен с резолюцией Карпова.

Зал оцетинился тысячами вскинутых рук.

Ромка встал на подоконнике во весь рост, откинул портьеру и высоко поднял свою худую руку. Он голосовал первый раз в жизни.

— Да здравствует победоносная революция! — чуть откинувшись корпусом назад, провозгласил Ленин, поклонился Паниной и исчез в окружении рабочих.

А в это время в кабинете Паниной начальник охраны Герасимов яростно крутил телефонную ручку.

— Станция! Станция! Барышня! Барышня! Почему никто не отвечает? Что за чертовщина! Барышня! — Герасимов крутил ручку, и взгляд его машинально скользил по телефонному проводу. — Дьявольщина! — прошипел Герасимов, увидев, что с карниза над дверью безжизненно спускаются два конца перерезанного провода.

Рабочий Григорий с «Вестингауза» со своим помощником Ромкой выполнили указание Ефима Петровича в точности.

Из зала на лестницы выплеснулась песня:

Отречемся от старого мира.  
Отряхнем его прах с наших ног.

Рабочий в кумачовой рубашке встал на стул, сдернул с себя праздничную рубашку и стал разрывать ее на аккуратные небольшие куски. Вскоре десятки маленьких знамен, поднятых на руках, затрепетали над головами.

Ромка вышел вместе со всеми на улицу и вместе со всеми пел «Отречемся от старого мира».

Толпа, как горячая лава, растекалась по питерским окраинам, будила жителей, будила самую весну.



## И д у щ и й в п е р е д и



Последнее время я все чаще вспоминаю крашеную пыльную полку, и бушлат, что клал под голову, и заваленное рюкзаками купе, и штабеля лыж, и жесткий вагон скорого поезда, увозившего нас на Кольский полуостров.

Еще я вспоминаю грязное вагонное стекло, за которым тянулись однообразные заснеженные поля, постепенно сменившиеся почерневшим заледенелым березняком и серым ельником.

Все это резко запечатлелось в памяти. Я даже могу припомнить, как вечером, припав к темному стеклу, я различал обугленные кусты, сугробы, узкую тропинку вдоль насыпи и думал: вот скоро мы будем одни в лесу. Холодные ночевки в снегу. Может, морозы? Метели? Или любознательные волки?

У нас был сложный маршрут. И какой-то каньон под двусмысленным названием «труба» ожидал нас. И еще что-то, о чем говорили ребята и чему я поддакивал с важным видом, хотя ничего не понимал.

Почему мне все так запомнилось? Возможно, я был тогда еще очень молодым (сейчас я это произношу с усмешкой), очень самоуверенным, романтиком и, наверно, счастливым.

В нашем поезде почти половину пассажиров составляли туристы. Понятно: первый день зимних каникул. Веселые были вагоны. В каждом втором купе сидели туристы в штурмовых брюках, спорили, вскрывали консервы, играли в «подкидного» или чаще всего пели походные песни. И, наверно, это сборище здоровых парней вызвало раздражение у востроносого человека с теплым шарфом вокруг шеи.

— Ерунда все! Туризм! Игрушки! Вас бы на картошку. Покопайте!

Я стоял около него и, разумеется, возмутился.

— Попробуйте пройти 25 километров по целине с рюкзаком в двадцать пять килограммов,— сказал я ему.

— Ерунда! Вас бы на картошку, покопайте.

— А вы никогда не ночевали при тридцатиградусном морозе в снегу? — бодро спросил я.

Но, очевидно, у обладателя шерстяного шарфа самые трагические воспоминания были связаны с картошкой.

— Ерунда,— отрезал он.— Покопайте картошку.

Я взорвался и начал пылко рассказывать об ужасах туризма.

— Как интересно!

Я обернулся. За мной стоял незнакомый парень в ковбойке. Лицо несколько удлинненное, некрасивое. Волосы жесткие, коротко подстриженные. Глаза маленькие, насмешливые. Очки в тонкой металлической оправе. Он очень серьезно меня рассматривал.

Мой «фонтан красноречия» стал иссякать. Дело в том, что я еще ни разу не был в серьезном походе. А сейчас я отправлялся в очень трудный поход, да к

тому же еще нелегально, ибо для участия в нем требовался большой стаж и опыт. Это был рискованный вариант. Не столько для меня, сколько для группы. Меня не имели права брать. За такие вещи туристов строго наказывают и дисквалифицируют. Правда, все наши туристы были разрядниками и в походы ходили не первый раз. Так что за мной бы следили. Но все равно, вряд ли меня бы взяли, если бы не вмешательство Лены... И мне почему-то казалось, что парень это знает. Естественно, я скоро увял. Я ожидал от него помощи. А он спросил:

— Воспоминания старого туриста, да?

К счастью, меня позвал начальник нашей группы, Алешка. Подошел и парень в ковбойке. К моему удивлению, наша группа (все студенты МГУ) знала его. Меня познакомили:

— Левка Меньшиков.

Я приготовился к обороне, но он меня не выдал, хотя, по-видимому, догадывался, что я собой представляю.

Выяснилось, что первую половину похода мы проведем вместе с группой Меньшикова. Она состояла всего из трех человек.

Позже ребята рассказали мне интересные истории про Левку. Он, например, предпочитал ходить с маленькой группой и не любил дилетантов в туризме. Вспомнили, в каких переделках ему пришлось побывать. После всего сказанного фигура Меньшикова в моих глазах выросла до необъятных размеров. Один наш парень, Валька, заметил: дескать, очень здорово, что Меньшиков пойдет с нами. А другой, Димка Поспелов, тут же вспомнил анекдот: в походе полведра каши идет всей группе, остальное — Меньшикову.

Так состоялось мое знакомство с Левкой.



На третий день пути, вечером, поезд остановился в Апатитах.

Мы покидали теплый вагон. Мы уже привыкли к нему. Он стал нашим домом. Там играло радио. И через час проводница должна была разносить чай.

Мы вышли в темноту вечера. На путях чернела пустая электричка. Морозный, густой туман пригасил фонари станции.

Куда мы приехали? Куда меня занесло? Мне, «старому, опытному туристу», стало не по себе. Я привык, приезжая в новый город, садиться в троллейбус, автобус, такси, ехать в гостиницу или к знакомым, где меня ждали обед и чистая рубашка. Может, сказать, что нездоров? Доеду до Мурманска и вернусь в Москву? Сейчас я был согласен сидеть дома, мыть посуду или пропускать мясо через мясорубку. Ну куда мне в такой поход? Ведь я же неопытный. Лучше быть живым домоседом, чем обмороженным туристом. Ведь все мне советовали оставаться в Москве.

Меньшиков вылез из вагона, вытащив последние два рюкзака.

— Что-то холодно, киты!

Потирает руки, смотрит на меня.

Я, конечно, принимаю независимый вид:

— Переживем.

Очевидно, самое главное — решиться. Дальше все просто. Через час мы находим школу и ночуем в физкультурном зале на матах. С нами ночуют группы из МВТУ. И хотя завтра первый день похода, мы не ложимся спать и устраиваем волейбольный матч МГУ — МВТУ.

И даже выигрываем. Чудеса!

Утром первый переход. Мы шли на северо-запад. Нас вели две узкие линии — лыжня, проложенная по озерам, вдоль островов, к далекому Беличьему леспромхозу. Высокие берега и горы, поросшие серой тайгой (словно подстриженные ежиком), посылали на нас ветер.

Поначалу мне казалось, что впереди идут очень медленно. Но через полчаса рюкзак становится подозрительно тяжелым, а через час ругаешь головную группу: «Чего мчат как угорелые?» И вот, когда не можешь больше идти, неожиданный привал. Две таблетки глюкозы, сухарь — и дальше. Теперь уже не любишь лесистыми берегами, а видишь только кусок лыжни и кончики лыж идущего перед тобой. Часто останавливаешься, рывком закидываешь рюкзак на



шею, стоишь согнувшись, опираясь на палку,— даешь отдых плечам.

Через час со мной, как всегда, случилось несчастье. Я сошел с лыжни, раздался треск... Весь день я шел на одной лыже. Другая нога с обломком лыжи постоянно проваливалась. Я считал шаги. На второй тысяче сбился. Ну, еще сто шагов — и все. Скажу, дальше не могу.

Ребята мне сочувствовали — и только. Я ругал и поход, и туристов, и Ленку, которая достала мне эти лыжи.

Меня обогнал Меньшиков (он специально шел замыкающим).

— Отличный вариант...

И прошел дальше. И потому, что он не стал ахать и сочувствовать, а отнесся к этому очень просто, я понял, что нет ничего трагического и, наверно, бывало хуже.

Наконец (мне казалось, прошла тысяча лет), я дошел до избы — нашей первой ночевки. Меня похвалили: «Молодец, дополз». Левка усмехнулся:

— Помнишь, Димка, прошлый поход? Рюкзаки у нас были огромные, и целина. Зинка шла и плакала. И у нас, глядя на нее, в горле щекотало. Дотащилась до избы, упала на порог и тут же заснула. Вот это молодец!

Я не знал, было ли так на самом деле, но встал и пошел помогать пилить дрова.

...Засыпая, я слышал, как за стеной по озеру метался, выл, свистел ветер. И тихо дребезжало разбитое стекло в окне, завешенное штурмовкой. Я лишь помню, что ночью я снова шел по лыжне до следующей ночевки и был очень разочарован тем, что, проснувшись, оказался на том же самом месте и что этот путь мне еще предстояло пройти.



Утром по привычке пошли умываться. Меньшиков отказался:

— Пусть мой классовый враг умывается, нам идти по морозу и ветру.

Но, увы, мы еще были цивилизованными, и полгруппы перешло в «классовые враги».

Лыжу мне сбили еще с вечера Коля и Меньшиков. Сверху приладили полбревна, снизу — консервную банку.

И опять — только кончики лыж идущего впереди. Сугробы замерзли, они словно высечены из белого камня. Палки на снегу скрипят, как старые двери. Берега низкие и далекие. Выпрямляешься, смотришь по сторонам — и кажется, все пространство разделено на две неравные части темной, мохнатой линией леса. Нижняя, меньшая часть очень белая — земля. Верхняя, тоже белая, но со значительными сероватыми оттенками, — небо.

Первая холодная ночевка. Мы с Леной дежурные. Роем в снегу яму для костра. Ленка разжигает костер, я рублю сухие сучья, что приносят мне ребята. Остальные пилят сушняк для костра, валят ели, рубят с них ветки, так называемый лапник. На лапник устанавливают палатки. Надо сказать, что сегодня мы впервые применили Колину пилу. Коля ее очень хвалил. Меньшиков, напротив, заметил: дескать, Коля любит таскать с собой металлолом — и напомнил нам трагическую судьбу некрасовского атамана Кудеяра, который срезал дуб ножом.

Первым делом пила сломалась. Кое-как ее починили. Потом Коля и Алешка взмокли, пока срезали ель. Пропилили ее чуть ли не насквозь. Стоит. Пробовали толкнуть. Закачалась. Мы были свидетелями, как дерево прыгнуло и упало... Нет, не на ребят. Но в самый последний момент Коля умудрился попасть под нее. Мы застыли в ужасе. Но он вылез целым.

Моя первая холодная ночевка прошла неудачно. Я лежал в коллективном мешке, надел на себя все теплое и поэтому замерз. Я почти не спал и разбудил Ленку на час раньше. Она меня осыпала градом проклятий. Меньшиков смеялся:

— всю жизнь буду рассказывать, какие у меня были сознательные дежурные.

На этот день у Меньшикова был свой план. Он предложил идти напрямик, через перевал. Еще в Апатитах он узнал, что несколько дней тому назад по

этому пути прошли два охотника. Если погода не испортится, вечером будем в «заповеднике» (теплая ночевка).

Алешка согласился. Вообще (об этом никто не говорил, но это все знали, в том числе и Алешка) начальником нашей группы стал Меньшиков.

Мы вышли рано. Сугробы были серыми, чуть фиолетовыми. Темнели заросшие лесом горы.

Ночью выпал снег. Меньшиков шел впереди. Он «нащупывал лыжню». Мы долго лезли вверх, пока достигли вершины перевала. Небо стало розовым, и белые лысины гор (здесь их называли тундрами) тоже порозовели. Мы спорили, что это: солнце или сияние? А розовый свет все лился. Казалось, весь Кольский был как на ладони. Огромная снежная страна. И все блестит розовым светом, и не поймешь, солнце это или сияние.

Темные ели, упрямо карабкающиеся к тундрам, посветлели и скоро стали ярко-зелеными. А сами тундры — желтыми, и крутые обрывы скал, на которых не задерживался снег, заблестели, засветились никогда мной не виданными красками.

Лыжня пошла круто вниз. Наша горнолыжная техника оказалась на грани фантастики. Сначала падали только девушки и Лозинский, причем Лозинский уже заранее выбирал место, где ему упасть. Потом «заразилась» вся группа.

Меньшиков злился:

— Если б эта группа шла со мной на Обручорр, я бы повесился на первой березе.

Но скоро упал и Меньшиков. Он упал основательно. Зарылся в сугроб под ель, и весь снег с дерева осыпался на него. Пришлось обрубить ветки, иначе не вытащили бы.

Вечером спустились прямо к «заповеднику». Так там называли несколько избышек, где жили сторожа. Позже туда пришла группа геологов. И пока мы отогревались у настоящей печки и спорили о пользе политекономии, Меньшиков и Алешка разрабатывали с начальником геологов план следующего дня.

Завтра предстоял тяжелый переход: мы должны были дойти до Беличьего. Геологи сказали, что за ни-

ми идет еще группа — студентов-энергетиков. Очевидно, всем не дойти до Беличьего. Следовало распределить избы. Договорились: мы доходим до Беличьего, а геологи заночуют в избе в конце озера, в устье Чуны.

Судя по всему, Меньшиков рассказал геологу о дальнейшем своем маршруте. Краем уха я уловил, как тот возмутился:

— Втроем на Обручорр? Ну, ребята, не советую.— И, уходя, он покачал головой: — Втроем на Обручорр? Самоубийство.



Переход к Беличьему сохранился в моей памяти как своеобразное «ледовое побоище» туристов с природой. Какие только гадости она нам не устраивала! И, пожалуй, во всех трех группах не нашлось ни одного человека, который не провалился бы в наледь. Вторая половина пути к Беличьему была усеяна «трупамии» туристов, счищающих лед с лыж или просто сидящих на рюкзаках в полном изнеможении.

Обычно мы каждый день проходили километров четырнадцать. От заповедника до Беличьего было тридцать. К тому же сначала нашей группе пришлось прокладывать лыжню.

К полудню нас обогнали геологи и энергетика. Кажется, все шло по плану. Но в мире еще существуют индивидуалисты. Они страшней, чем мороз или наледь. Коля, видите ли, не выдержал, что нас обгоняют геологи, пошел впереди них, дошел до устья Чуны и занял избу, предназначавшуюся для геологов.

Ребята, что вначале пробивали лыжню, выдохлись, к тому же мы решили не растягиваться и шли с такой скоростью, с какой могли идти наши девочки.

Коля почему-то решил, что мы дальше не пойдем, и сказал геологам, что наша группа устала, что наша группа слабее и пускай они нам уступят избу. Эта «инициатива» нам впоследствии дорого обошлась.

Мы дошли до устья Чуны и увидели, что на лыжне вода. Меньшиков, идущий впереди, остановился. Он произнес великолепную тираду:

— Киты, идти по лыжне, когда на ней вода, все равно что разворачиваться на водосливе. Обойдем.

Свернул резко вправо... и провалился в воду по шиколотку. Дальше все наши ведущие, как они ни хитрили, один за другим попали в наледь. Им ничего не оставалось делать, как снять лыжи и счищать ножом лед.

Получилось, что первым пошел я. В конце озера, перед самой «землей», видим группу энергетиков в полном составе. Сидят, чистят лыжи.

— Загораете?

— Загораем.

Впереди наледь. До «земли» всего несколько метров. Беру резко влево. Думаю, пронесет. И, конечно, приходится снимать лыжи и чистить.

Советуемся. До Беличьего не дойти. Но впереди должна быть еще одна изба. Надо ее занять первыми. Я и Вовка, из группы Меньшикова, так и не счистив лед, идем вперед.

Лес, лес и лес. Лыжня крутит. Деревья засыпаны снегом, стоят, как памятники. Лес полон туристов. Мы не разбираем, кто они: энергетика или геологи. Надо опередить их и занять избу. Быстро темнеет. Лыжи совершенно перестают скользить. Наверно, на каждой налепилось по сугробу. Обходим пару энергетиков. Сидят, высунув языки. Скоро и мы выдыхаемся. Садимся. Полная темнота. Ни звука. Сколько до избы, неясно. Где наши? Идут? Встали на холодную ночевку? Или, может быть... Ничего не известно. Плечи болят, словно их переломили. Лечь в снег — и ничего я не хочу, и ничего мне не надо, и никакие подъемные краны меня сейчас не подымут...

Скрип лыж. Знакомая фигура. В темноте блеснули очки. Меньшиков останавливается, поправляет крепления.

— Что ж вы? Топайте, топайте.

И мы знаем: надо встать, надо идти дальше.

Меньшиков где-то далеко впереди. И мы спокойны. Ведь первым придет Меньшиков. Он займет избу.

Через полчаса мы натыкаемся на трех человек. Два энергетика и Меньшиков. В темноте я не вижу их

лиц, но понимаю, в каком они состоянии. Меньшиков поид энергетиков чаем из термоса. Он тихо говорит нам:

— Ребята совсем сдали. Я вернусь обратно, посмотрю, что с нашими. Теперь ни о какой холодной ночевке не может быть и речи. Если не займете избу, идите прямо до Беличьего и организуйте ночлег.

Мы идем. Мы не видим даже лыжни. Как мы не сломали лыжи, никто не знает. Наконец доходим до избы, но ее заняли геологи. Вторая группа в избе никак не поместится. Вот во что нам обходится Колин индивидуализм! К нам присоединяются два «передовых» энергетика, и вчетвером мы добираемся до Беличьего. На энтузиазме? Нет! Одиннадцатое или двенадцатое дыхание.

Рабочие приводят нас в свое общежитие. Помогают нам принести воду. Хорошо, что печка горячая. Мы собираемся идти встречать наших.

И вдруг в общежитие вваливаются Меньшиков и двое геологов. У каждого по два рюкзака. Оказывается, геологи вышли навстречу нашей группе и сняли рюкзаки с девушек и с Лозинского.

Через полчаса приходят наши туристы. Опускаются у печки — и ни слова.

Через час начинаются рассказы. Лена говорит, что девушки сели и сказали: «Никуда мы не пойдём». И Алешка с Димкой тоже еле держались на ногах и ничего не могли поделаться. В это время к ним вернулся Меньшиков, напоил всех чаем, а потом подошли двое геологов.

Я думал, Меньшиков будет подсмеиваться над Лозинским. Нет, он просто устало говорит:

— Лозинскому не следовало в поход. Хороший дом отдыха, вот что ему надо.

Вовка и я, основываясь на железном принципе Меньшикова «себя не похвалишь, так сидишь как оплеванный», вспоминаем, как мы первыми пришли в Беличий.

Мне кажется, Левка немного смущен. Он вроде даже оправдывается:

— Мне пришлось ходить взад-вперед. А потом Лозинский уже не мог рюкзак тащить...



Последний совместный переход. Холодная ночевка. Поели. Спать рано. Сидим.

В ногах валяются пустые кружки. Мир стал очень маленьким. Он весь уместился в костре. И, кроме костра, больше ничего не существует. И неба, и деревьев, и гор не видно. Есть только несколько горящих поленьев. Остальное — мгла. Но в пламени костра я вижу и Беличий, и лыжню на озерах, и таинственную «трубу», и Москву, и девушку...

Проклятая романтика!

Умные люди, Меньшиков и Алешка, сцепились по теории Эйнштейна. Ну, куда мне до них! Я даже высшей математики не знаю. Девчата тихо поют песни. Я смотрю на костер догорающий. Полено обугливается, сереет, белеет, осыпается. Хворост изгибается, трещит. Мир стал очень маленьким. Он весь уместился в костре.

Где теперь ты по свету скитаешься  
С рюкзаком, по колено в грязи...

Вот я снова уехал от тебя. И снова ты меня не встретишь. Наверное, это не надо, правда?

Иль под солнцем безжалостным маешься  
Где-нибудь в Казахстанской степи...

Нет, совсем наоборот. У нас стоит холодная погода. Завтра мне опять складывать заледенелые палатки. Они уже не влезают в рюкзак. Интересно, получила ли ты мое письмо из Апатитов? Я писал, что тепло (а мороз был двадцать градусов) и нет ветра (ветер как раз бил в лицо). Ты, наверное, сейчас на вечере. И, как всегда, несколько человек приглашают тебя танцевать. Весело, правда?

Может, ночь коротаешь тревожную  
И не думаешь ты обо мне.

Итак, вторая холодная ночевка. Сегодня я рубил лапник. Паршивое занятие. Не греет. А я, сама знаешь, быстро мерзну. Коля с Алешкой пилили ели. И деревья, как всегда, послушно падали на Колю. И никто уже не волновался. Деловито спрашивали:

— Ну, как?

— Жив! — радостно отвечал Коля и вылезал из сугроба.

...Ты знаешь, костер — это не очень удобно. Спереди жарко, сзади холодно.

— Чья бахила горит?

Все вдруг оживленно начинают выяснять, чья же это бахила. Наконец Меньшиков выхватывает ее из огня. Так и знал, бахила-то моя. Задумался!

Димка Поспелов наелся и издевается над нашим завхозом Милой:

— Разве Мила—завхоз? Попросили продуктов, она сразу их дала. Вот в прошлом походе был завхоз! Начальник на коленях просил — ничего не получилось. При настоящем завхозе начальник — ничто!

Наш костер догорает. А на небе разгорается другой. Белые, зеленые, розоватые пятна тушат мерцание звезд. Вырисовываются вершины деревьев. Небо розовеет. Сияние.

— Киты, я вам не завидую. Поправьте лапник.

Меньшиков вечно чем-то недоволен. Мы смотрим сияние. Как-нибудь переспим.

И переспали. Мне-то вроде ничего, я в середине как-то устроился. А Валька, говорит, целую ночь стоял на голове. Мы с Ленкой скатились на него. Алешка наверху, в одиночестве, мерз и держался зубами за мешок, чтобы не свалиться на нас.

Утром прощальный выстрел Меньшикова, и мы разошлись.

Нашей группе здорово везло. И мы (конечно, весело и с приключениями) прошли «трубу», озеро Вайскис и в намеченный срок вышли к Мончегорску.

С Меньшиковым я встретился через неделю в Москве. Он рассказывал, как они катались на лыжах с вершины Обручорра. Лыжи, разумеется, сломали. По дороге они встретили несколько групп московских туристов. И вообще там было много интересного.

Больше я Меньшикова не видел.

И потом на Алтае я встретил энергетиков. Они были на Кольском. Они узнали, что я шел с МГУ.



— Мы видели ваших ребят. Троиخ. Одну ночевку вместе устраивали. Утром они ушли вперед. Там был один...

— Меньшиков?

— Вот, вот!

И потом на Кавказе я встретил геологов. Они были на Кольском. Нет, нашу группу они не видели. А троих из МГУ нагнали на Обручорре. Там был один, мощный такой парень...

— Меньшиков?

— Правильно.

И потом на Урале я встретил каких-то студентов из Куйбышева. И, конечно, похвастался, что тоже ходил в поход с МГУ.

— МГУ? Постой... Вроде никого не знаем. Хотя нет, однажды на Памире... Левкой звали...

— Не Меньшиков?

— Во, точно, Меньшиков.

Я давно не видел своих ребят. И вот спустя полгода я сижу у Вальки, в знакомом блоке на восемнадцатом этаже.

Сколько новостей!

И где ребята только не успели побывать! У меня не хватает пальцев, чтобы перечислить. По их словам, получалось так. Алешка говорит Вальке:

— Валька, а не пора ли нам в поход? Я соскучился что-то.

Валька сосредоточенно вспоминает:

— Постой, мы, кажется, только позавчера вернулись.

А сколько новых планов! Новгород, Кольский... А летом...

— Пospelов два месяца не выходил из библиотеки. Разработал блестящий поход на Памир. Он нам докладывал — мы умирали со смеху. «Здесь, — говорит Пospelов, — должен быть перевал. Три с половиной тысячи метров. Его открыла экспедиция в 1897 году. Но академик Северцев, прошедший здесь в 1928 году, этот перевал не обнаружил...» Понимаешь? И все в таком духе. Вот какой поход у нас будет! Пойдем?

Мимоходом мне сообщают, что Мила вышла замуж за Пospelова. Ленка кончает диплом, Валька написал какую-то потрясающую научную работу. Да, видели Колю...

— А как Лозинский?

— Лозинский? Он стал туристским боссом. Организует «двойки» в Карелию.

— Чудеса! — удивляюсь я. — Меньшиков говорил, что таким — дом отдыха... Да, кстати, где он?

— Кто он?

— Меньшиков.

— Меньшиков? Погиб. Летом... — Голос Алешки странно спокоен, но говорит он с трудом. — Тривиальная история. Меньшиков с Толей шли на байдарке. На метров двести впереди группы. За поворотом неожиданно водослив. Тривиальный водослив. Меньшиков, очевидно, решил предупредить группу. В группе было много новичков, вдруг от неожиданности кто-нибудь перевернется. А Меньшиков и Толя — лучшие пловцы. Стали разворачиваться. А на водосливе... сам понимаешь, гибель.

Все остальные лодки спокойно прошли каньон. Вышли на озеро. Байдарки нет. Догадались, но уже поздно. В каньон не войти. Берега там отвесные. Не влезть и не слезть. Меньшикова и Толю вытащили через два дня с помощью вертолета.

Лежали они на дне. Меньшиков держал Толю. Только был в ботинках с шипами (почему — я не понимаю) и, очевидно, стал тонуть. А Меньшиков, видимо, пытался его вытащить.

— Да, так слушай, второй перевал...

Я возвращаюсь поздно. Пешком. До Киевского. Я думаю, хорошо бы пойти с ребятами на Памир. Будет интересный поход. Найдем этот таинственный перевал. И, как всегда, впереди будет Меньшиков.

...Нет, Меньшикова не будет.

Внизу в тумане дождя расплываются огни Москвы. Летят листья, и ветер качает фонари, и машины обдают брызгами грязи, и одинокий регулировщик мерзнет в светлом мечущемся кругу под фонарем, и вот «Мосфильм», и последний троллейбус. И дождь усиливается.

...А Меньшиков погиб.

Ну, что я могу еще сказать? Все мы любим говорить высокие слова. Ох, как любим! Меньшиков никогда не произносил пышных фраз. Он ненавидел говорунов и краснобаев.

Ну я, горе-турист, еле ходил на лыжах, или Лозинский, совсем не приспособленный,— мы могли погибнуть. Но Меньшиков?

Сегодня мы старались мало говорить о нем. А в следующий раз — еще меньше. И так постепенно его забудут. Так только будут вспоминать: был, дескать, такой Меньшиков: полведра каши — на группу, полведра — для него.

Скажут, он погиб потому, что был индивидуалистом и слишком верил в свои силы.

Нет!

Меньшиков шел впереди. Он отвечал за всю группу.

Сколько кроется за скупым рассказом Алешки! Уж кто-кто, а Меньшиков понимал, что такое разворот на водосливе. Но сзади ребята, которые могут растеряться, которых надо предупредить. И он разворачивается.

Случалось, что и раньше назло всем законам природы Меньшиков благополучно разворачивался у водослива. Лучше подвергнуть риску себя, чем других. Но на этот раз...

Лодка перевернулась. Холодное, быстрое течение. К берегу... Обрывистая скала... Нет возможности зацепиться, выкарабкаться. Но Меньшиков не растерялся. Он понимает, что единственный шанс на спасение — плыть по течению. Экономить силы. Впереди озеро, пологие берега. Все будет в порядке... Толя начинает тонуть. Ботинки? А может, судорога? Меньшиков пытается его вытащить, поддержать. Оба погружаются. Но ведь это Меньшиков! Он-то понимает, что единственный шанс спастись — плыть одному. Он все понимает.

Он знает, что через две минуты здесь пройдут лодки. И его группа весело, с шутками проплывет над ним, а он, Меньшиков, будет лежать на дне водослива, тривиального водослива.

Толя погружается. Меньшиков знает, что чудес не бывает. Есть только один шанс. Но Меньшиков ныряет за Толей. Он пытается его вытащить.



Странное создание — человек! Вроде его вооружили передовой теорией, вроде он знает, что жизнь — борьба, что надо быть готовым к любым испытаниям...

Усталость? Трудно? Или просто я слабый человек? Но иногда бывает плохо. И даже очень.

И ложишься, и ничего я не хочу, и ничего мне не надо, и все — к чертовой матери!

Почему-то вспоминается переход в Беличий лес-промхоз. Крутит по лесу лыжня. Темные деревья, засыпанные снегом, стоят, как памятники. Лыжи не скользят.

Вспоминаю — ну и что?

Да, подошел парень в распахнутой штурмовке, с большим рюкзаком. В темноте блеснули очки. Он сказал: «Топайте, топайте».

Что еще? Да, вспомнил. Он нагнулся и поправил крепления. Это было давно. И я был тогда очень молодым. А этого человека уже нет в живых. Так, воспоминания, ничего особенного.

Но я медленно поднимаюсь. Я знаю, что надо вставать. Надо идти дальше.



## Дом с башенкой



Мальчик плохо различал лица, они были все одинаковы и внушали ему страх. Он примостился в углу вагона, у изголовья матери, которая в пуховом берете и пальто, застегнутом до горла, лежала на узлах. Кто-то в темноте сказал:

— Мы задохнемся здесь, как в душегубке. Она все время ходит под себя... В конце концов здесь дети...

Мальчик торопливо вынул варезку и принялся растирать лужу по полу вагона.

— Почему ты упрямисься? — спросил какой-то мужчина. — Твоя мама больна. Ее положат в больницу и вылечат. А в эшелоне она может умереть...

— Мы должны доехать, — с отчаянием сказал мальчик, — там нас встретит дед.

Но он понимал, что на следующей станции их обязательно высадят.

Мать что-то сказала и улыбнулась.

— Ты чего? — спросил мальчик.

Но мать не ответила, она смотрела мимо него и тихо напевала какой-то мотив.

— Ужасный голос, — вздохнули в темноте.

— Ничего не ужасный, — огрызнулся мальчик. — У вас самих ужасный...

Рассветало. Маленькие оконца товарного вагона посинели, и в них начали проскакивать верхушки телеграфных столбов. Мальчик не спал всю ночь, и теперь, когда голоса притихли, он взял обеими руками горячую руку матери и закрыл глаза. Он заснул сразу, и его мягко потряхивало и постукивало спиной о дощатую стенку вагона. Проснулся он тоже сразу, от чужого прикосновения к щеке.

Поезд стоял. Дверь вагона была открыта, и мальчик увидел, что четверо мужчин несут его мать на носилках через пути. Он прыгнул вниз, на гравий железнодорожной насыпи, и побежал следом.

Мужчины несли носилки, высоко подняв и положив на плечи, и мать безразлично покачивалась в такт их шагам.

Было раннее, холодное утро, обычный в этих степных местах мороз без снега, и мальчик несколько раз спотыкался о примерзшие к земле камни.

По перрону ходили люди, некоторые оборачивались, смотрели, а какой-то парень, лет на пять старше мальчика, спросил у него с любопытством:

— Умерла?

— Заболела, — ответил мальчик, — это моя мама.

Парень с испугом посмотрел на него и отошел.

Носилки внесли в дверь вокзала, и мальчик тоже хотел пройти туда, но медсестра в телогрейке, брошенной поверх халата, взяла его за плечо и спросила:

— Ты куда?

— Это ее сын, — сказал один из мужчин и добавил: — А вещи где ж? Эшелон уйдет, без вещей останетесь...

Мальчик побежал назад, к эшелону, но запутался и оказался на городской площади с противоположной

стороны вокзала. Он успел заметить очередь на автобус, старый одноэтажный дом с башенкой и старуху в шерстяных чулках и галошах, торгующую рыбой.

Потом он побежал назад, однако железнодорожные пути у перрона оказались пустыми, эшелон уже ушел. Мальчик еще не успел испугаться, как увидел свои вещи, сложенные на перроне. Все было цело, кроме кошелки с лепешками и сушеным урюком.

— Твои вещи? — спросила женщина в железнодорожной шинели.

— Мои, — ответил мальчик.

— А что в этом узле? — И ткнула ногой грязный, сплюснутый узел.

— Мамины фетровые боты, — сказал мальчик, — и два ватных одеяла... И коричневый отрез...

Женщина не стала проверять, взяла узел и чемодан, а мальчик взял другой узел и чемодан, и они пошли к вокзалу. Они внесли вещи в теплый зал, где на деревянных скамьях и прямо на полу сидело много людей.

— Я в медпункт, — сказал мальчик, — у меня мама заболела.

— Я твои вещи караулить не буду.

— Ну, еще немного, я заплачу.

— Дурень, — поморщилась женщина, — я ведь на работе.

Но мальчик уже выбежал на перрон. Он с трудом нашел двери медпункта. На клеенчатой скамье кто-то лежал, вытянувшись, и мальчик глотнул несколько раз тяжело и, подойдя, увидел руку с синими ногтями. Только тогда он заметил, что это незнакомый старик. Лицо его было накрыто носовым платком, и две женщины сидели рядом, сгорбившись. Одна, помоложе, плакала, а другая, постарше, молчала.

Мальчик быстро отступил назад.

— А где моя мама? — спросил он и огляделся.

Из боковой двери вышла медсестра в телогрейке.

— Мать твою в больницу отправили, — сказала она.

— В какую больницу? — спросил мальчик.

— У нас в городе одна больница... Сядешь на автобус, доедешь...

Тогда он вспомнил про площадь, и очередь, и дом с башенкой, и старуху в шерстяных чулках, торгующую рыбой. Он вновь побежал по другую сторону вокзала и увидел все это. Он стал в очередь за какой-то меховой курткой с меховыми пуговицами на хлястике. Но автобуса все не было, и он побежал через площадь, оказался на узкой улице, среди старых, деревянных домов, и здесь вспомнил, что не знает, где больница.

Улица была пуста, лишь у обмерзшей льдом водопроводной колонки две девочки играли с собакой.

— Где больница? — спросил он, но девочки посмотрели на него, рассмеялись и убежали в калитку, а собака подскочила к его пяткам и, оскалившись, залаяла. Мальчик поднял кусок льдышки и кинул в собаку. Она завизжала. Из калитки вышли женщина в ушанке и две девочки, незаметно строящие ему рожи. Женщина начала что-то кричать, мальчик так и не понял, почему и что она кричит.

— Где больница? — тихо спросил он.

Женщина перестала кричать.

— Ты идешь не в ту сторону, — сказала она, — перейди через площадь и садись на автобус.

Мальчик повернулся, пошел назад и опять увидел дом с башенкой, очередь и старуху, торгующую рыбой.

Он стал в очередь за шинелью с подколотым пустым рукавом, и автобус опять долго не появлялся. Тогда он спросил у шинели, где больница.

— Это далеко, — сказала шинель. — Видишь трубу? За трубой еще с километр. На автобусе надо ехать.

Но автобуса все не было, и мальчик пошел по направлению к трубе. Сразу же в начале улицы его обогнал автобус.

Мальчик шел очень долго и за это время успел привыкнуть к тому, что мать его в больнице, а он остался один среди незнакомых людей. Главное было теперь добраться до трубы и найти больницу. В дороге его еще несколько раз обгонял автобус. Вблизи труба оказалась громадной и ржавой, на кирпичном фундаменте. Мальчик постоял немного, отдышал, держась рукой в варежке за проволоку, идущую от тру-



бы к земле. Проволока была скользкая и холодная. Потом он пошел дальше, и какой-то прохожий показал ему больницу. Мальчик поднялся по ступенькам, вошел в коридор и наткнулся на женщину в марлевой косынке.

— Ты куда,— сказала женщина и растопырила руки,— ты куда в пальто?.. Ты чего?..

Мальчик нырнул у нее под руками, толкнул стеклянную дверь и сразу увидел мать. Она лежала на кровати посреди палаты.

— Вот,— сказал он,— вот, вот...

— Что «вот»? — спросила женщина.— Чего «вот»?

Но мальчик держался за ручку двери и повторял:

— Вот, ну вот же...

Мать была острижена наголо, и глаза ее, очень темные на желтом лице, смотрели на мальчика. Она была в сознании.

— Сын,— сказала она шепотом.

И тогда мальчик заплакал.

— Ну, тише,— сказала женщина в косынке,— давай сюда пальто и подойди к матери.

— Я тебя искал,— сказал мальчик, продолжая плакать.

— Мне уже легче,— сказала мать.— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо,— сказал мальчик.— А ты скоро выздоровеешь?

— Скоро,— сказала мать.— Поешь кашу. Сестра, дайте ему ложку.

— Это не положено,— сказала сестра.

— Возьми маленькую ложечку,— сказала мать,— и садись на табурет.

— Это не положено,— повторила сестра,— я вынуждена буду удалить мальчика.

— Кушай, кушай, сын,— сказала мать,— не бойся.

— Я повешу твоё пальто в коридоре,— сердито сказала сестра и вышла из палаты.

— Надо дать телеграмму деду,— сказал мальчик,— деньги у меня есть... А вещи я оставил на вокзале... Главное, чтоб ты выздоровела.

— Я выздоровею,— сказала мать.— Как ты поху-дел...

— Приедем, я поправлюсь,— сказал мальчик.—  
Война скоро кончится.

Появилась сестра.

— Мальчик, выйди из палаты. Сейчас начнется  
обход...

— Я дам телеграмму и вернусь,— сказал маль-  
чик,— я сразу вернусь к тебе.

— Наклонись,— сказала мать.

Мальчик наклонился, и она поцеловала его в щеку.  
Губы у нее были шершавые и горячие.

Он вышел на улицу, и автобус подошел очень быст-  
ро, остановка была прямо против больницы.

«Все в порядке,— подумал мальчик,— теперь луч-  
ше, чем полчаса назад, когда я шел и ничего не знал».

В автобусе было жарко, и мальчик снял варежки и  
расстегнул крючок воротника. Тогда стало холодно, и  
он снова застегнул крючок, а руки сунул в карманы.

Он сошел на площади, где по-прежнему стояла ста-  
руха, торгующая рыбой, и вдруг почувствовал голод,  
купил коричневую печеную рыбу и понюхал ее — она  
пахла чем-то незнакомым — и, идя через площадь к  
дому с башенкой, где была почта, силился вспомнить,  
как подошел к старухе, о чем говорил и сколько за-  
платил за рыбу.

Он потянул к себе тяжелые двери почты, и за ними  
была короткая лесенка винтом к другим дверям. А за  
теми дверьми комната, перегороденная деревянной  
стойкой.

Почтовые окошки заслоняли чужие спины; куда бы  
мальчик ни подходил, он всюду натыкался на спины.

— Ты чего? — спросил какой-то мужчина. — Чего  
ты здесь путаешься?

— Мне телеграмму дать,— сказал мальчик и,  
вспомнив, что никогда в жизни не давал телеграмм,  
добавил: — Вы мне напишите телеграмму.

— Подожди,— сказал мужчина,— сядь, не путайся  
под ногами.

Мальчик присел на стул и отщипнул кусочек рыбы.  
Под коричневой кожицей она была очень белая и не-  
соленая. Потом он посмотрел в окно и почувствовал  
беспокойство: начинало уже темнеть.

— Тетя,— сказал он женщине в платке,— напишите мне телеграмму.

— Какой нетерпеливый! — сказал мужчина.— Ну чего тебе? Какую телеграмму? — И взял телеграфный бланк.

— Мама заболела, лежит в больнице,— продиктовал мальчик,— дед, приезжай.

Мужчина и женщина посмотрели на мальчика.

— Ох, народ мучается,— вздохнула женщина,— ох, страдает народ...

Мальчик заплатил за телеграмму, спрятал квитанцию в варежку, и ему стало спокойней. Он вышел на площадь и побежал к подъехавшему автобусу. Посреди площади он вспомнил, что забыл рыбу на почте, но не стал возвращаться, побежал дальше.

Пока он бежал, что-то мокрое и холодное несколько раз прикасалось из темноты к его лицу, а когда автобус остановился у больницы, вдоль дороги были уже белые полосы и мимо фонарей летел снег.

Мальчик быстро поднялся по заснеженным ступенькам, пошел в знакомый коридор, а оттуда в слабо освещенную палату.

— Мама,— сказал он,— я дал телеграмму деду...

— Тише,— появилась откуда-то сердитая медсестра со шприцем в руках,— мать твоя спит, не видишь?..

Мать лежала на боку, рот ее был полуоткрыт, и мальчику вдруг показалось, что она не дышит.

— Она живая? — тихо спросил он сестру.

— Живая, живая,— ответила сестра,— ей спать надо... А тебя куда девать? Ночевать у тебя есть где?

— Я здесь посижу,— сказал мальчик.

— Здесь не положено,— сказала сестра.— Опять прямо в пальто в палату! — И взяла его за воротник пальто.

Тогда мальчик дернулся и вырвался, но сестра переложила шприц из правой руки в левую и снова, уже покрепче, взяла его за воротник.

— Я милиционера позову,— сказала она.

Потом кто-то взял мальчика за руку и повернул к себе.

И мальчик увидел халат весь в желтых пятнах, перед самыми глазами мальчика было пятно, похожее на

жука, а чуть левее, у костяных пуговиц, пятно, похожее на черепаху с длинной шеей.

— Это сын той, с эшелона,— сказала сестра халату.

— Ну-ка, расстегни пальто,— сказал халат и приложил ко лбу мальчика твердую ладонь, при этом жук дернулся, пополз, а черепаха зашевелила шеей.

Мальчик хотел вырваться, но сестра крепко держала его сзади.

— Ну-ка,— повторил халат и взял мальчика за кисть своей второй рукой. Вторая рука была мягкая, с коротко остриженными ногтями и темными волосиками на пальцах, и мальчик немного успокоился.

— Раздевайся,— сказал халат.

— Мне можно остаться? — спросил мальчик.

— Да... Мы вас вместе вылечим и поедете дальше.

— А разве я тоже больной? — спросил мальчик.

— Да, — нетерпеливо ответил халат: его звали в другую палату.— Сестра, положите его на эту койку.— Он показал на свободную койку в другом конце палаты и ушел...

— Пойдем,— позвала сестра и вышла в коридор.

Она привела его в каморку без окон и щелкнула выключателем, но в каморке по-прежнему было темно, видно, перегорела лампочка. Тогда сестра зажгла свечу, и при свете этой свечи мальчика почему-то стало знобить.

Он разделся, сбрасывая все на пол, а сестра, ворча, подбирала одежду и заталкивала ее в мешок. Потом он натянул штанину серых больничных кальсон и лег отдохнуть.

Сестра подняла его, натянула вторую штанину, надела рубаху и повела в палату, держа за плечи.

Ткнувшись о постель, мальчик прижался головой к подушке, но сестра снова растормошила его и дала половинку какой-то таблетки.

— Глотай,— сказала сестра,— набери слюны в рот и глотай.

Во рту у мальчика было сухо, и горькая таблетка растаяла по языку...

— Дайте пить,— сказал мальчик.— А кушать когда у вас дают?

— Вот ты зачем сюда пришел! — сердито сказала сестра. — Ужин уже кончился...

Она ушла в глубину палаты и принесла стакан холодного чая и несколько галет.

— Бери... Мать не ела...

Мальчик выпил чай, съел галеты и лег. Между ним и матерью было три койки, и, чтоб видеть мать, он должен был опираться на локти, потому что ее заслоняла голова то ли старика, то ли старухи, с острым носом и острым подбородком.

Мать лежала теперь навзничь, одеяло на ее груди часто приподнималось и опускалось.

Мальчик ненадолго заснул, и ему ничего не снилось, а когда проснулся, по-прежнему была ночь и мать по-прежнему лежала навзничь. Он поднялся на локтях, потом сел, чувствуя дрожь во всем теле, подошел босиком по холодному полу к ее кровати и долго стоял так и ждал, пока мать пошевелится. И она пошевелилась, подняла колени и вздохнула глубоко и спокойно.

Тогда он вернулся к себе на койку и, глядя в темноту под потолком, подумал, как они приедут домой, в свой город, и будут вспоминать все это. Старик рядом начал ворочаться и стонать, и, чтобы стоны эти не мешали думать, мальчик укрылся с головой одеялом. За ночь он еще несколько раз вставал, подходил к матери и ждал, пока она пошевелится. А потом ложился и то засыпал, то просыпался. Когда он проснулся в последний раз, потолок уже был серый и в окна виден был падающий снег. И он обрадовался, потому что ночь кончилась. Он оперся на локти, посмотрел на мать и опять обрадовался, потому что она шевелилась, даже приподнималась и что-то говорила.

Мальчик улыбнулся, и ему захотелось рассказать матери про телеграмму и про то, как он ночью боялся, когда она лежала неподвижно.

Но вдруг старик рядом крикнул:

— Сестра, женщина умирает!

Мальчик встал с койки и увидел, что мать хрипит и шея ее выгибается, а голова глубоко погружена в подушку.

Подошла сестра, взяла мать пальцами за подбородо-

док, а потом привычным движением натянула одеяло ей на лицо. Одеяло приподнялось, и мальчик на мгновение увидел желтую ногу и голый живот.

Он смотрел на неподвижный теперь бугор, укрытый одеялом, и странное безразличие, какое-то странное спокойствие овладело им. Он подумал: «Вот и все» — и пошел из палаты в коридор.

Его догнала сестра.

— Ты ложись, — сказала она, — ты больной.

— Где моя одежда? — спросил мальчик. — Я должен сейчас ехать дальше.

Сестра что-то говорила ему, но он не слышал, что она говорит.

В коридоре были какие-то женщины с сумками, наверно, просто прохожие; как они туда попали, неизвестно. Они смотрели на мальчика, и кто-то спросил:

— В чем дело?

И кто-то сказал:

— Вот у мальчика мать умерла.

И кто-то приложил платок к глазам.

А мальчик сидел на деревянной скамье в коридоре, дрожа от холода, и не смотрел на всех этих людей. Он вдруг подумал, что, когда он приедет в свой город, мать встретит его на вокзале.

Он был уже не маленький и понимал, что мать его умерла, и все-таки он так подумал.

— Я хочу уехать домой, — сказал он доктору.

— Ты не глупи, — сказал доктор, — вылечишься, поедешь.

— Я уже здоров, — сказал мальчик. — Где моя одежда?

В это время с улицы кого-то внесли на носилках. Сзади шел здоровенный мужчина и громко плакал, сморкаясь.

Доктор махнул рукой и ушел следом за носилками.

А сестра сказала мальчику:

— Жди здесь. — И тоже ушла.

Она вернулась минут через двадцать и повела мальчика в кладовую.

Она вынула из мешка его мятую одежду, и он начал одеваться. Потом она вынула из другого мешка пальто, пуховый берет и туфли матери и скатала все

это в узел. Она долго писала что-то на бумажке с лиловой печатью и спрашивала мальчика его имя и куда он едет.

— А в платье мы ее похороним, — сказала она. — Распишись за вещи и деньги пересчитай.

Он не стал пересчитывать, расписался и пошел к дверям. Сестра окликнула его и сунула в карман бумажку с лиловой печатью.

Ночью навалило снегу, труба теперь стояла не на кирпичном фундаменте, а на громадном сугробе. Мальчик прошел мимо и вспомнил, как вчера отдыхал здесь и держался рукой за проволоку. Потом он заметил, что идет по снегу, рядом с протоптанной тропинкой, и, наверно, поэтому так устал. Спина и шея у него были мокрыми от пота, а правая рука, которой он прижимал к себе узел, совсем окоченела.

Он вышел на площадь у вокзала; она была совсем незнакомой, тихой и белой. Дом с башенкой был другой, низенький, и очередь другая, и старуха больше не торговала рыбой.

Он вошел в вокзал, и его начали толкать со всех сторон. Людей было много, и они все лезли к кассам; мальчик сразу понял, что ему ни за что не пробиться к кассам. В толпе его прижали лицом к какому-то кожаному пальто, и пока их мотало вместе, мальчик успел привыкнуть к этому желтому пальто, а запах кожи он всегда любил.

— Дядя, — сказал он, когда их вытолкнули на свободное место, — закомпостируйте мне билет.

Дядя ничего не ответил, лишь мельком взглянул на мальчика, морщась, потирая ушибленный об угол локоть.

— Я заплачу, — сказал мальчик.

— Сопли утри, богач, — сказал дядя.

Он опять кинулся в толпу, а мальчик вспомнил, что вещи остались у женщины в железнодорожной шинели, и пошел ее искать.

Он долго ходил по перрону, замерз и пошел греться в зал ожидания. Все скамьи были заняты, он сел на подоконник и увидел дядю в кожаном пальто. Тот возился у громадного чемодана, прижимал его коленом и затягивал ремень, а рядом, на скамейке, спала жен-

щина в точно таком же кожаном пальто и толстячок, удивительно похожий на дядю; мальчик сразу обозвал его про себя «маленький дядя».

Дядя, наверно, почувствовал, что на него смотрят, и обернулся.

— Вот я тебе! — сказал он. — Чего надо?

— Я тоже жду поезда, — сказал мальчик и показал билет. Вместе с билетом мальчик вытащил еще несколько бумажек, и две из них упали на пол.

Одну подобрал мальчик, другую дядя.

— Что за филькина грамота? — спросил дядя, близоруко щурясь.

— Это справка из больницы, — сказал мальчик.

Дядя надел очки, прочитал и сразу заторопился.

— Ну-ка, пойдём, — сказал дядя, толкнул спящую женщину и положил около нее узелок мальчика, а самого мальчика взял за плечо.

Он провел его через зал ожидания в коридор, где у двери толпилось много людей, но дядя показал справку, и их пропустили. В комнате за дверью было тоже много людей, и какой-то сидевший за столом железнодорожник начал кричать, но дядя показал справку, и железнодорожник перестал кричать.

— А где хлопец? — спросил он, и дядя быстро вытащил мальчика из-за чьих-то спин.

— Это вас вчера сняли с эшелона? — спросил железнодорожник.

— Нас, — ответил мальчик.

— Зайдешь в камеру хранения, заберешь вещи. — И что-то написал на бумажке.

— Земляки, — сказал дядя. — Довезу, как родного сына.

— Ладно, — сказал железнодорожник и что-то написал на другой бумажке.

— Только у меня семья, — сказал дядя, прочитав бумажку, — жена и сын. Будет два сына.

— Ладно, — сказал железнодорожник и переправил цифру в бумажке.

— Пошли, пошли, дружок, — сказал дядя и обнял мальчика за плечи.

Он повел его на перрон, в камеру хранения, и мальчик получил вещи: два узла и два чемодана.



Один узел и чемодан взял дядя, а другой узел и чемодан взял мальчик, и они пошли в зал ожидания.

Здесь он усадил мальчика на скамью, пошептался с женщиной в кожаном пальто и ушел.

Женщина была с кудрявыми волосами, низенькая и толстая. Она покачала на коленях «маленького дядю», запустила ему руку за воротник, похлопала по шейке и сказала:

— Вот видишь, мальчик не слушался маму, и она умерла. Если ты не будешь слушаться, я тоже умру.

— А как она умерла? — спросил «маленький дядя».

— Закрыла глазки — и все, — сказала кудрявая женщина.

— Как дядя Вася? — спросил «маленький дядя».

— Нет, дядю Васю убили на фронте, — сказала женщина.

— А их можно оживить? — спросил «маленький дядя».

— Конечно, нет, глупенький, — сказала кудрявая женщина.

— А если б можно было, — сказал «маленький дядя», — я б лучше оживил нашего дядю Васю, чем его маму...

— Ой, ты мой глупыш, — засмеялась кудрявая женщина и начала снова похлопывать «маленького дядю» по шейке, — ой, ты мой глупыш, ой, ты мой глупыш, ой, ты мой глупыш!.. — Она посмотрела на мальчика, отодвинулась подальше, отодвинула вещи и спросила: — Мать твоя умерла от сыпного тифа?

— Нет, — ответил мальчик; он сидел и думал, как приедет в свой город и встретит мать, которая, оказывается, осталась в городе, в партизанах. А в эвакуации он был с другой женщиной, и это другая женщина умерла в больнице. Ему было приятно так думать, и он думал все время об одном и том же, но каждый раз все с большими подробностями.

— Ты чего улыбаешься? — сказала кудрявая женщина. — Мать умерла, а ты улыбаешься... Стыдно...

Потом появился дядя и рядом с ним какой-то инвалид. Инвалид был в морском бушлате и черной морской ушанке. Вместо руки у него был пустой, плоский рукав, а вместо ноги постукивал протез.

Дядя что-то говорил и улыбался, и инвалид тоже говорил что-то дяде, а потом вдруг сунул ему прямо в нос громадную дулю.

Дядя отстранился и опять что-то заговорил, дружелюбно покачивая головой, и тогда инвалид плюнул ему в лицо.

Кудрявая женщина закричала и побежала к дяде, а дядя торопливо утерся ладонью и снова почему-то улыбнулся. Подошел патрульный солдат и потащил куда-то инвалида за единственную руку.

— Пристал, пьяная сволочь! — сказал дядя, переставая улыбаться. — Я иду, а он пристал. Не трогаю ведь его, иду, а он пристал... — У дяди было злое, расстроенное лицо, и он прикрикнул на мальчика: — Чего сидишь, собирайся!.. Билеты я закомпостировал...

Мальчик быстро вскочил со скамейки и взял в одну руку узел, а в другую чемодан.

Дядя вытащил из кармана веревку, связал два узла вместе и повесил их мальчику на плечо.

— А чемоданы бери в руки, — сказал дядя.

Началась посадка, и мальчик сразу отстал от дяди, и его затолкали в самый конец громадной толпы, откуда виден был лишь верх зеленых вагонов. Мальчик попробовал протиснуться ближе, и это ему удалось, он уже начал различать окна и лица в окнах и потом увидел в окне дядю. Тогда он начал лезть вперед изо всех сил и почувствовал, что веревка, связывающая узлы, лопнула. Передний узел он успел подхватить зубами, а задний узел упал, и мальчик наступил на него ногой. Но тут мальчика сильно толкнули в спину, и он оказался у самого вагона.

Дядя в вагоне заметил его, исчез из окна и появился на ступеньках.

— Сюда давай! — крикнул дядя, протянул руку и взял узел у мальчика из зубов, а второй рукой втащил его вместе с чемоданами на ступеньки. — Вот и в порядке, — сказал дядя и повел его по загроможденному проходу.

— А теперь наверх, — сказал дядя и посадил мальчика на верхнюю полку, — узел под голову и спи спокойно.

Кудрявая женщина сидела внизу на одной скамей-

ке, «маленький дядя» — на другой, а сам дядя стоял и говорил людям с чемоданами:

— Проходите, впереди свободно... Проходите, тут едут три семьи, тут занято...

Потом вагон дернуло, и мальчик понял, что они поехали.

Он увидел заснеженный перрон, забор и за забором площадь и очередь и увидел старуху, торгующую рыбой; она шла через площадь в валенках и с плетеной кошелкой. В конце площади был дом с башенкой, где была лестница винтом. А если пойти влево, то можно дойти до трубы, а оттуда до больницы.

И вдруг что-то повернулось и защемило в груди, и мальчик удивился, потому что еще никогда так не щемило.

В окне уже было поле, все время одинаковое, белое, и одинаковые столбы, которые, казалось, за провода протягивают друг друга мимо окна, и пока мальчик смотрел на провода, щемить стало слабее. Мальчик лежал, свернувшись клубком, потому что в ногах стояли дядины большие чемоданы, и старался не смотреть вниз, где кто-то ходил, позвякивала посуда и мелькали какие-то головы. Он был здесь один, на полке, и полка пошатывалась и везла его домой.

Мальчик заснул, и ему что-то снилось, но когда он проснулся, то посмотрел в холодное окно, забыл сон и вспомнил, что мама умерла.

У него начало давить в горле и болеть спереди, над бровями, и он всхлипнул и потом начал всхлипывать громче и чаще и сам удивился, почему это он не может остановиться, а все всхлипывает и всхлипывает.

Рядом с его лицом над краем полки появилась чья-то голова, и мальчик узнал вчерашнего дядю.

— Ты чего? — сказал дядя. — Так не годится, ты ведь большой мальчик...

Дядя исчез и появился снова с куском пирога. Пирог был помазан кисленьким сливовым повидлом, а на повидле лежали тоненькие хрустящие колбаски из теста.

Мальчик сначала откусывал колбаски и сосал их, как конфеты, потом вылизал повидло, а потом съел все остальное.

«Хороший дядя», — подумал мальчик и посмотрел вниз.

Было утро. «Маленький дядя» спал на громадной красной подушке, а кудрявая женщина и дядя о чем-то шепотом говорили.

Мальчик слез с полки, и кудрявая женщина мельком посмотрела на него, а дядя сказал:

— Сходи, займи очередь в туалет.

Мальчик пошел узким проходом, стучаясь о полки и углы чемоданов, и стал в очередь за каким-то стариком.

Старик был в очень рваном пальто, но в красивом пенсне с толстыми стеклами, и с кусочком седой, чистенькой бородки под нижней губой.

Впереди начался скандал, какая-то женщина хотела прорваться без очереди.

— У меня расстройство! — кричала она.

— Наплевать на твое расстройство, — отвечал ей мужской голос, — я сам с семи утра дежурю!

— Нравы, — сказал старик в пенсне и криво усмехнулся, клочок бородки пополз влево, — нравы третьего года войны... — Он посмотрел на мальчика и, наверно, потому, что было скучно, спросил: — С матерью едешь?

— Нет, — ответил мальчик, — мама у меня в партизанском отряде. — Он сказал это неожиданно для себя и сразу пожалел, но было уже поздно.

— Вот как, — заинтересовался старик, — а ты как же?

— А я так, — сказал мальчик, чувствуя радостно заколотившееся сердце, — я с дядей, — сказал мальчик и вдруг увидел, что по коридору идет дядина кудрявая жена.

Он покраснел и торопливо отвернулся от старика, собиравшегося задать новый вопрос.

— Ты за кем? — спросила кудрявая женщина. — Понятно, а за тобой кто?

За мальчиком стояла толстая женщина, вернее, когда-то она была толстой, теперь кожа на ней висела, как пустой мешок.

— Это не выйдет, — сказала она, — он, может, еще полвагона вперед пропустит.

— Вы не волнуйтесь,— сказала кудрявая женщина,— мальчик уйдет, я вместо мальчика.

Но толстая женщина, видно, была сильно обозлена, что ее не пустили без очереди. Она перегородила коридор рукой и сказала:

— Неплохая замена. Мальчику туда на пять минут, а тебе на два часа...

— Как вам не стыдно,— сказал старик,— война, люди жертвуют собой... Мать этого мальчика, например, в партизанском отряде...

— Какого?— спросила кудрявая женщина.— Этого? Да что же ты врешь,— сказала она мальчику,— твоя же мать умерла позавчера в больнице...

Мальчику стало очень жарко, и сильно зашумело в ушах.

— Горя своего стыдится,— сказала толстая женщина.

Мальчик быстро пошел назад и полез на полку. У него опять начало давить в горле и болеть над бровями, и, чтоб не всхлипывать, он крепко закрыл глаза и крепко стиснул зубы. Он лежал так долго, и полка скрипела, и снизу гудело, и над головой что-то постукивало. Потом сразу все стихло, мальчик открыл глаза и увидел в окно перрон, по которому бегало много людей. Дяди в купе не было, а кудрявая женщина кормила «маленького дядю» с ложечки сгущенным молоком. Мальчик подумал, что это сладкое сгущенное молоко можно кушать и кушать, целый день можно кушать, если не набирать его на ложечку, а макать ложечку и облизывать.

Кудрявая женщина посмотрела на мальчика, и мальчику вдруг стало страшно: без дяди она высадит его на перрон, и он опять останется один.

— Деньги у тебя есть? — спросила кудрявая женщина.

— Есть,— торопливо ответил мальчик, полез в карман и вытащил деньги.

Кудрявая женщина взяла деньги, пересчитала и сказала:

— О чем люди думают, когда пускаются в такую дорогу? О чем твоя мать думала... Тут ведь на тебя одного не хватит.

— У нас еще была кошелка с урюком и лепешками,— сказал мальчик,— но она потерялась. И еще есть отрез,— сказал мальчик,— его можно продать.

Он хотел вскрыть грязный, сплюснутый узел, но мать зашила его крепкими, суровыми нитками, и мальчик поцарапал палец.

Он посмотрел на задрывшуюся кожицу, на набухающую капельку крови и всхлипнул.

— Ты чего там?— спросила кудрявая женщина.

— Я порезал палец,— ответил мальчик.

— Ревешь,— сказала кудрявая женщина,— не стыдно, такой большой бугай!

— Я не реву,— сказал мальчик,— а когда дядя придет, я расскажу ему, как вы на меня говорите.

Тогда кудрявая женщина начала смеяться и сказала:

— Ты лучше застегни ширинку, герой...

В это время поезд дернул, и кудрявая женщина начала кричать:

— Ой, он отстал, он отстал!

А «маленький дядя» заплакал. Мальчику стало жалко «маленького дядю», и он сказал:

— Ты не плачь, папа догонит поезд на самолете...

Тогда женщина крикнула:

— Ты, дурак, молчи... Приблудился на нашу шею.— И начала ломать руки.

Но тут появился дядя с полной кошелкой, которую он прижимал к груди, и кудрявая женщина сразу начала ругать дядю, а он молча выкладывал из кошелки на столик хлеб, дымящиеся картофелины, огурцы и большую жирную селедку.

Мальчик повернулся лицом к стенке и закрыл глаза, но все равно не забыл жирную селедку с картошкой и огурцами. Он ел бы все это отдельно, чтоб было больше. Сначала огурцы, откусывая маленькими кусочками, потом селедку с хлебом, а на закуску картошку.

Он даже пошевелил губами, повернулся лицом навстречу вкусному запаху и вдруг увидел прямо перед собой большую теплую картошку, и половинку огурца, и хлебную горбушку с довеском мякоти.

— Кушай, мальчик,— сказал дядя,— обедай...

Мальчик съел картошку вместе с кожицей, под кожицей она была мягкая и желтая, как масло. Огурец он сначала обкусал со всех сторон, а серединку оставил на закуску. Потом осторожно глянул вниз, не смотрит ли кто, и обрывком жирной газеты, на которой дядя подал ему еду, натер горбушку и мякоть. Получился хлеб с селедкой, и мальчик ел его медленно, маленькими кусочками.

После еды мальчику стало тепло, весело и захотелось сделать для дяди что-нибудь хорошее.

Он вспорол зубами крепкие нитки на узле, вытащил пахнущий нафталином коричневый отрез и сказал:

— Дядя, пошейте себе костюм.

Дядя удивленно поднял брови, но кудрявая женщина быстро вскочила и протянула руку.

— Это не вам, это дяде,— сказал мальчик и отдал дяде отрез.

К полке подошел старик в пенсне, теперь он был не в рваном пальто, а в короткой женской кофте.

— В такое трагичное время,— сказал он,— трудно быть взрослым человеком... Трудно быть вообще человеком...

«Маленький дядя» посмотрел на старика и заплакал, а кудрявая женщина сказала:

— Проходите, дедушка, вы испугали ребенка.

Но старик продолжал стоять, покачиваясь, часто моргая красными веками, и тогда дядя вскочил, взял его за воротник кофты и толкнул в глубину прохода.

Мальчик рассмеялся, потому что старик смешно взмахнул руками, а пенсне его слетело и повисло на шнурочке, и подумал: «Хороший дядя, прогнал старика».

Поезд шел и шел, полка скрипела, снизу гудело, сверху постукивало, и вскоре мальчик увидел за окном среди снега черные, обгорелые дома. И танк с опущенным стволом. И грузовик кверху колесами. И еще один танк, и еще один грузовик...

Поезд шел очень быстро, и все это летело назад, мальчик ничего не мог разглядеть как следует. Потом кто-то опять подошел и остановился у полки, и маль-

чику стало страшно, потому что он узнал инвалида с плоским рукавом.

Инвалид держал об руку военного в шинели без погон, ушанке и с гармошкой на плече. Лицо военного было в темно-зеленых пятнышках, а на глазах черные очки.

И дяде тоже стало страшно, мальчик увидел, как дядя поперхнулся селедочным хвостом,— хвост теперь торчал у дяди изо рта.

Дядя кашлял, а инвалид с военным молча стояли и смотрели.

Наконец дядя засунул пальцы в рот, вытащил селедочный хвост и сказал инвалиду:

— Здравствуйте,— как будто инвалид никогда не давал дяде дули и никогда не плевал ему в лицо.

— Здравствуйте,— вежливо ответил инвалид,— мы где-то с вами виделись.

— Конечно, конечно,— сказал дядя,— может, вы перекурить хотите, так присаживайтесь.

— Спасибо,— ответил инвалид,— у нас свое есть.— И выложил на столик алюминиевую флягу и завернутый в газету пакет.

— Кисонька,— сказал дядя кудрявой женщине,— погуляй с ребенком, пока люди пообедают.

Кудрявая женщина сердито посмотрела на дядю, взяла на руки «маленького дядю» и вышла в коридор, а дядя торопливо порылся в корзине и выставил на столик два покрытых никелем железных стаканчика.

Инвалид отвинтил крышку фляги и налил в стаканчики, а всенный начал шарить пальцами по столику, натываясь то на флягу, то на пакет, пока не опрокинул один стаканчик.

— Эх,— сказал инвалид,— ведь чистый спирт.— Он снова налил и вложил стаканчик военному в руку.

Дядя быстро достал тряпку и начал вытирать лужицу на столике.

— Зачем?— поморщившись, сказал инвалид.

— Как же, как же,— сказал дядя,— вот товарищ слепой рукав намочит.

Инвалид и военный выпили, крякнули, и инвалид начал разворачивать одной рукой пакет. В пакете был точно такой пирог, какой ел мальчик утром. Только



не кусочек, а громадный кусок, мальчику его б хватило на целый день, а может, и на два дня.

— Закуска дрянь,— сказал инвалид,— по коммерческим ценам давали...

Он вынул из кармана тяжелый позолоченный портсигар и раскрыл его. Портсигар был плотно набит кислой капустой. Инвалид взял щепотку капусты, затем схватил руку военного и тоже сунул ее в портсигар. Они выпили и сразу же, не переводя дыхания, налили и выпили опять.

В это время поезд застучал по мосту, и инвалид сказал военному:

— Вот она, Волга!

Они выпили снова, и лицо военного стало красным, а щеки инвалида, наоборот, побелели. Головы их мотались низко над столиком, а за головами в окне до самого горизонта стояли припорошенные снегом танки, машины и просто непонятные, бесформенные куски.

— Кладбище,— сказал инвалид,— наломали железа.

Они выпили, и инвалид сказал:

— Давай фронтовую...

Пальцы у военного часто срывались, он бросал мелодию на середине и начинал сначала.

Вскоре у купе собралось много людей. Толстая женщина сказала:

— Браток, а может, ты «Васильки-василечки» сыграешь?

Но военный продолжал играть одну и ту же мелодию, обрывая ее на середине и начиная сначала.

Голову он повернул к окну, и очки его смотрели на заснеженное железное кладбище, где летали вороны, очень черные над белым снегом.

Локоть шинели у военного был вымазан повидлом от пирога, и инвалид взял пирог, встал, пошатываясь, и сказал мальчику:

— Кушай, пацан.

Мальчик увидел перед собой плохо выбритое лицо, дышавшее сквозь желтые зубы горячим, остро и неприятно пахнущим воздухом, и отодвинулся подальше, в самый угол.

— Если мальчик не хочет,— сказал старик в пенсне,— я могу взять.

— Нет,— сказал инвалид,— пусть пацан съест.— И положил пирог возле мальчика.

Поезд начал стучать реже, зашипел, дернул и остановился у какого-то обгорелого дома.

— Твоя,— сказал инвалид военному.

Тот поднялся, и они вместе пошли по проходу.

— Унесло?— спросила кудрявая женщина, заглядывая в купе.— Насвинячили, алкоголики!

— Тише,— сказал дядя,— он еще вернется...

Поезд вновь двинулся, на этот раз без толчка, и, пока он медленно набирал скорость, мимо окна ползли заснеженные развалины и снежная дорога, по которой среди развалин шли люди.

Поезд грохотал уже на полной скорости, когда инвалид вернулся в купе и сел над недопитым стаканом, опершись головой на руку.

Он сидел так долго и молчал, и дядя сидел и молчал, на самом краешке скамейки, а кудрявая женщина каждый раз заглядывала в купе и уходила опять.

Наконец дядя очень тихо и очень вежливо спросил:

— Вы, может, спать хотите? Может, вас проводить?

Но инвалид продолжал сидеть и потряхивать головой над недопитым стаканом.

Тогда дядя подошел, осторожно потрогал инвалида за плечо, и тот сказал усталым голосом, не поднимая головы:

— Уйди, тыловая гнида...

Тут появилась кудрявая женщина и закричала:

— Вы не имеете права!.. У нас был такой случай: инвалид обругал мужчину, а мужчина оказался работник органов, и инвалида посадили.

— Гражданин,— сказал дядя уже построже,— освободите место. Здесь едет моя жена и ребенок.

Инвалид медленно поднялся, посмотрел на дядю и вдруг схватил, сжал пальцами дядин нос.

— Барахло назад отдай пацану,— сказал инвалид,— отдай, что взял...

Дядин нос сначала позеленел, потом побелел, и на дядин полувоенный френч потекла тоненькая крас-

ная струйка, через весь френч, на галифе и дальше по сапогу.

Кудрявая женщина громко закричала, а «маленький дядя» заплакал, и мальчик, хоть ему было страшно, тоже крикнул:

— Не трогайте дядю, пустите дядю!..

В это время кудрявая женщина наклонилась к чемодану и бросила подаренный дяде отрез прямо мальчику в лицо, а проводник и толстая женщина оторвали инвалида от дяди, и дядя сразу куда-то убежал.

Инвалид устало оперся рукой о полку, облизал губы и спросил проводника:

— У тебя, папаша, галюн открыт?.. Мутит меня...

— Нужно оно тебе,— покачал усатым лицом проводник и повел инвалида, придерживая его за спину рукой.

Появился дядя и начал хватать свои чемоданы. Он сказал кудрявой женщине:

— Собирайся, я договорился в третьем вагоне.

— Дядя,— крикнул мальчик,— подождите!

Но дядя даже не посмотрел в его сторону: он очень торопился.

У мальчика опять начало давить в горле, однако он не сжимал глаза и зубы, чтоб не заплакать, потому что ему хотелось плакать, и слезы текли у него по щекам, по подбородку, и воротник свитера и пальцы— все стало мокрым от слез.

— Он ему в действительности дядя?— спросила толстая женщина.

— Не знаю,— ответил старик в пенсне,— ехали они вместе.

Появился инвалид; лицо, шея и волосы его были мокрыми, и он каждый раз отфыркивался, точно все еще находился под краном.

— Граждане,— сказал он,— отцы и матери, надс довести пацана... Меня пацан, граждане, боится...— Инвалид зубами расстегнул ремешок часов и положил их на столик.— Довезешь, проводник, папаша? Денег нет... Пропился я, папаша...— Он вытащил из кармана портсигар, вытряхнул прямо на пол остатки капусты и положил портсигар на столик рядом с часами.— Вещь... Целый литр давали.— Потом вытащил из кар-

мана зажигалку, складной нож, фонарик, потом подумал, расстегнул бушлат и принялся разматывать теплый, ворсистый шарф.

— Шерсть,— сказал он.

— Да ты что,— сказал проводник и придвинул все лежавшее на столике назад к инвалиду,— ты брось мотать... Доведем, чего там...

А толстая женщина взяла портсигар и сказала:

— Он его все равно пропьет... Лучше уж мальцу еды намять, скоро станция узловая...

Инвалид посмотрел на нее, качнулся и вдруг обхватил единственной рукой за талию и поцеловал в обвисшую щеку.

— Как из винной бочки,— сказала толстая женщина и оттолкнула его, но не обозлилась, а, наоборот, улыбнулась и кокетливо поправила волосы.

Инвалид провел рукавом по глазам, обернулся и подмигнул мальчику.

— Ничего,— сказал он,— ничего, парень, не робей.— И пошел по проходу.

Мальчик увидал его сутулую спину, стриженный затылок и большие, толстые пальцы, которыми он поправил, заломил на ухо свою морскую ушанку.

В вагоне потемнело, и проводник зажег свечу в фонаре под потолком.

Мальчик лежал затылком на распотрошенном узле и смотрел, как горит свеча. Толстая женщина дала ему хлеб с белым жиром, стакан сладкого кипятку, и теперь он лежал и ни о чем не думал.

Постепенно шаги и голоса стихли, остался лишь привычный гул поезда да скрип полки. Мальчик опустил ресницы и увидал перед собой яркие розовые круги.

Он понял, что это свеча, повернулся на бок, и круги стали черными. Потом он вспомнил, что больше нет дядиных чемоданов, разогнул ноги в коленях и начал уже засыпать, когда какой-то шорох разбудил его. По купе ходил старик в пенсне. Он ходил на цыпочках, с полусогнутыми руками, и заглядывал в лица спящим. Потом он очень медленно, как слепой, вытянул руки вперед и шагнул к окну.

Голову он поворачивал рывками, то в одну, то в

другую сторону, губы его шевелились. Мальчик лежал неподвижно, он видел часть спящего лица толстой женщины, раскрытый рот и видел огонек свечи в темном окне и протянутые к этому огоньку пальцы старика. Пальцы потянулись дальше, и огонек появлялся теперь то среди волос старика, то на его бородке. Вдруг пальцы быстро прикоснулись к висящей на крючке у окна сетке с хлебом и так же быстро, точно хлеб этот был раскаленный, отдернулись назад.

Толстая женщина издала губами странный, похожий на поцелуй звук и вынула руку из-под головы. Ресницы ее дрогнули.

Когда мальчик приподнял голову, старика в купе не было.

Мальчик полежал еще немного с открытыми глазами, и сердце его начало биться тише и спокойней. Тогда он прикрыл веки и хотел повернуться к стенке, но вместо этого снова открыл один глаз.

Старик стоял у самой полки. Под седыми, редкими волосами была видна нечистая белая кожа.

Он снял кофту и был теперь в шелковой мятой рубашке, обтрепанные манжеты вместо запонок были скреплены проволокой.

Он пошел, пригнувшись, — так ходят в кинокартинах разведчики, и это было очень смешно, — но мальчику стало не смешно, а страшно, как утром, когда он проснулся и вспомнил, что мама умерла.

Пальцы старика скользнули по корке, отщипнули маленький кусочек этой коричневой корки вместе с серой мякотью, и в этот момент он оглянулся и встретился взглядом с мальчиком. Поезд шел в темноте, чуть-чуть подсвеченной снегом; казалось, за окнами больше нет жизни, лишь изредка мимо окон проносились какие-то неясные предметы.

Толстая женщина опять спала с открытым ртом, и в глубине ее рта поблескивал металлический зуб.

Старик осторожно распрямился, покачивая головой, и переложил хлеб из ладони в задний карман брюк.

Он все время, не мигая, смотрел на мальчика, и мальчик приподнялся на локтях, отломил угол от пирога, оставленного инвалидом, и протянул старику.

Старик взял и сразу проглотил. Мальчик снова отломил снизу, где не было повидла, и старик так же быстро взял и проглотил. Мальчик отдал старику по кусочку всю нижнюю часть пирога, а верхнюю, с повидлом и печеными хрустящими колбасками, оставил себе.

Пришел проводник и для светомаскировки обернул фонарь темной тряпкой,—теперь только туманное пятно сжималось и разжималось на потолке. Старик стоял, морща лоб и что-то припоминая, а затем пошел вдоль вагона, мимо храпящих полок, мимо спящих, сидя и полулежа, людей, до тамбура, где на узлах тоже лежали какие-то люди.

— Неужели это никогда не кончится?— тихо сказал старик и пошел назад.

Он стоял у полки мальчика и смотрел, как мальчик спит.

Мальчик спал, лежа на распотрошенном узле и положив щеку на голенища фетровых женских бот.

Рукава его свитера были закатаны, а ботинки расшнурованы.

Мальчику снился дом с башенкой, дядя, старуха, торгующая рыбой, инвалид с сильными, толстыми пальцами и еще разные лица и разные предметы, которые он тут же во сне забывал. Уже перед самым рассветом, когда выгоревшая свеча потухла и старик прикрыл ноги мальчика теплой кофтой, мальчик увидел мать, вздохнул облегченно и улыбнулся.

Ранним утром кто-то открыл дверь в тамбур, холодный воздух разбудил мальчика, и он еще некоторое время лежал и улыбался...



## «Ханжам до востре- бования!..»



**Х**

анжей у нас не любят. Их не ценят. Их все чаще ругают в газетах. И, хотя ханжей становится все меньше, они по-прежнему наносят большой вред.

Но я их не ругаю и не пишу о них обличительных фельетонов.

Я пишу им письма... Нежные, полные трогательной заботы письма...

Вот одно из этих писем...

«Старшей вожатой Н-ской школы тов. Ханжиковой, которая выгнала со сбора октябрят первоклассника Тихонова Женю за то, что он задал вопрос: «Откуда берутся дети?»».

Уважаемая товарищ Ханжикова! Разделяю Ваше возмущение по поводу провокационного вопроса, заданного Вам семилетним Женей.

Говорят, что когда он спросил Вас: «Откуда берутся дети?»,— у Вас на лице было такое выражение, словно Вы сами не имеете об этом ни малейшего понятия.

Я очень сочувствую Вам, ибо на этот и ему подобные антипедагогические вопросы не существует ответов, утвержденных соответствующими организациями.

Поэтому, желая помочь Вам, я предлагаю несколько стандартных ответов на наиболее сложные вопросы октябрят, которые уберегут их от пагубного влияния правды...

Вот эти сложные вопросы и несложные ответы.

**ВОПРОС ПЕРВЫЙ. Что такое любовь?**

**ОТВЕТ.** Любовь — это вид хорошего отношения к какому-либо предмету. Например, любовь к учителю, вожатому, школе, политехнизации и т. д. Самая сильная любовь — это любовь к работе! Тут в качестве примера некоторые ваши коллеги советуют привести известные стихи В. Маяковского:

Любить —  
                        это значит в глубь двора  
Вбежать  
                        и до ночи  
  грачей,  
Блестя топором,  
                                рубить дрова.  
Силой своей  
                                играючи!

После этого дети начинают понимать, что чем сильнее любит человек, тем он больше способен нарубить дров!

**ВОПРОС ВТОРОЙ. Какая разница между мужчиной и женщиной?**

**ОТВЕТ.** В нашей стране никакой! У нас все равны! Поэтому у нас женщина имеет право заниматься любым, даже самым тяжелым физическим трудом, а мужчина иногда способен и на умственную работу!..



**ВОПРОС ТРЕТИЙ. Что такое семья! Что такое свадьба! Что такое жених и невеста!**

**ОТВЕТ.** Семья — ячейка общества! Свадьба — культурное мероприятие! Жених и невеста — кандидатуры, выдвинутые коллективом для совместной жизни! (Но вообще не стоит долго останавливаться на этом вопросе, дабы у ребят не сложилось впечатление, что чем больше раз женится человек, тем больше он принимает участия в общественной жизни.)

**ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ (самый трудный). Откуда берутся дети!**

**ОТВЕТ.** Можно поддержать старую версию о том, что детей находят в капусте... белых детей — в белой капусте, цветных — в цветной! К сожалению, школьники мало верят в эту гипотезу. Поэтому лучше говорить им правду: «Детей покупают в магазинах для новорожденных!» Этим самым можно только и объяснить ребятам, почему покупка в этом магазине связана с таким невероятным количеством справок и формальностей...

Если и этот ответ покажется неубедительным, то лучше всего выяснить у самих мамашей, чего они слышались по этому вопросу... Как правило, водитель может узнать много нового и интересного...

Вот такими несложными ответами легко можно погасить в детях всякое любопытство, интерес к жизни и выработать то самое целомудренное ханжество, которое так необходимо Вам, товарищ Ханжикова, для того, чтобы спокойно проводить Вашу работу».

—//—

**В**

редакцию газеты «Молодая поросль» пришло письмо. Письмо от девушки Маши Н. «Дорогая редакция,— писала она.— Помогите мне! За мной ухаживают два хороших парня: Саша и Петя. А я никак не могу понять, кого из них больше люблю... Посоветуйте, что мне делать...»

Редакции ответить бы ей: «Милая Машенька! В таких вопросах давать советы нетактично, да мы и не знаем, что тебе посоветовать. Ты сама должна решить такой важный вопрос».

Но газета «Молодая поросль» поступила не так. Газета «Молодая поросль» устроила дискуссию на своих страницах. Дискуссия шла под крупным заголовком: «КТО КОГО ЛЮБИТ?» Вслед за письмом Маши Н. шла приписка:

## ОТ РЕДАКЦИИ.

«Прочитав письмо Маши Н., мы были сильно взволнованы. Мы не могли работать!.. Как помочь молодой, неопытной девушке отличить подлинное от мнимого, белое от черного?! На память приходили стихи М. Ю. Лермонтова «Тучки небесные, вечные странники...», но мы не знали, при чем здесь эти стихи. И мы решили обратиться к нашему читателю. Уж он-то не останется безответным!..»

И в редакцию стали приходиться письма...

## Письмо от студентки В. Закрученных

«Дорогая редакция! Считаю вашу дискуссию очень важной и своевременной! Вопрос «Кто кого?» уже давно волнует нашу молодежь.

Двое любят одну! Это ли не острый вопрос современности?! Его не решишь банальной игрой «в третий лишний»!.. Сегодня все значительно сложнее!.. Сего-

дня каждый молодой человек должен спросить себя: «А все ли я сделал для того, чтобы любимая девушка вышла замуж за моего товарища?!» А если не все,— значит, не стерты у нас еще пятна прошлого!.. И эти пятна никогда не стереть без помощи вашей газеты!..

С волнением В. Закрученных».

### **Письмо от старшины сверхсрочной службы**

**О. Стапчука**

«Уважаемая товарищ Маша! Вот и кончается моя сверхсрочная служба, думал, куда бы поехать, известить семью, а тут как раз и Ваше письмо подоспело! Подумал и решил, что лучшей пары мне и не найти! Поэтому и посылаю Вам это письмо с соответствующим предложением. Напишите мне о своем согласии и укажите, пожалуйста, свой точный адрес, чтобы я не плутал в незнакомом городе.

С нетерпением О. Стапчук».

### **Письмо известного поэта Антона Трепачева**

«Родная Машенька! Прочитал я твое письмо в газете и задумался... Что я могу тебе посоветовать? Года не те... Стал вспоминать свою молодость, но ничего хорошего, кроме своих ранних стихов, вспомнить не смог... Решил написать новые.

Догорает заря и проблема законного брака,  
Мне себя для тебя ни вот столько не жаль!  
Я в вопросах любви съел такую собаку,  
Что на выставке ей бы вручили медаль!  
И добавлю немножко и не немножко:  
Хоть трудна вся тяжесть любовных мук,  
Но любовь не картошка!.. А может, картошка!..  
Только точно: она не укроп и не лук!

Ваш Антон Трепачев».

### **Письмо от учеников 4-го класса «В»**

**113-й Н-городской школы**

«Дорогая редакция! С интересом следим за дискуссией в вашей газете. Вопрос взаимной любви всегда волновал наш четвертый «В», особенно во время перемен. Ведь и у нас бывает так, что двое мальчиков любят одну девочку, а другую девочку — ни одного

мальчика! Разве это по-пионерски?!. Ведь так и растут тунядцы! Мы даже сбор по этому поводу устроили, на тему «Из кого растут Саши и Пети?». И мы поняли, что в нашем классе они растут из Сашки Иванова и Кольки Сахарова. Обоим сделано предупреждение, чтобы больше так не росли! Поэтому не расстраивайся, Машенька!.. А если тебе вдруг станет грустно-грустно, то ты спой какую-нибудь веселую походную песенку или помоги взрослым по хозяйству.

С приветом 4-й «В».

P. S. Дорогая Машенька! Напиши, пожалуйста, собираешь ли ты наклейки со спичечных коробок. Если собираешь, то давай ими обмениваться».

Идет дискуссия... Читатели спорят... Газета «Молодая поросль» смакует каждое письмо. А что делает Маша? А Маша плачет!.. Она плачет потому, что, прочитав дискуссию в газете, от нее отвернулись и Саша и Петя. Зато за ней стал ухаживать нахальный Жора из соседского дома, который был не так красив, не так умен, но зато имел одно отличительное качество: вообще не читал газету «Молодая поросль».



## Четвертая Мещанская



рос на Четвертой Мещанской.

Я любил эту тихую улочку, где не ходили ни троллейбус, ни автобус, ни трамвай, лишь старая лошадь с усталыми добрыми глазами тянула по булыжной мостовой фуру овощного магазина на резиновом ходу.

Здесь было все так не похоже на обычное «открыточное» представление о Москве, но именно потому это и была настоящая Москва.

Изредка заезжавшие сюда автомашины вынуждены были резко тормозить и продвигались медленно-медленно, потому что на самой середине улицы мальчишки вечно играли в футбол.

Здесь было много тополей, и, когда они облетали, футбольный мяч то и дело зарывался в серые сугробы тополиного пуха.

О, этот тополиный пух на Четвертой Мещанской!

Пушинки медленно и мягко кружились в воздухе, плавали, как стайки крошечных утят на поверхности луж, оставшихся после вчерашнего дождя, запутывались в волосах продавщиц вафель, потихоньку набивались в кобуру милиционера, большого любителя этих вафель, а вечером, влетая в открытые окна, садились на черные крутящиеся пластинки... Такими вот тополиными вечерами ходили мы вместе по Четвертой Мещанской: Римма, Роза, Степан и я. Мы все жили в одном доме, были ровесниками и помнили друг друга столько, сколько вообще могли что-нибудь помнить.

У Степана в руках была гитара. Я в принципе этот инструмент считал атрибутом пошлости, но Степанову гитару любил. И голос его любил, негромкий, я бы сказал, грустно улыбающийся голос, которым Степан напевал нехитрую песенку, сочиненную мною и им:

На этой тихой улочке,  
где бродит столько пар,  
когда-то с кремом булочки  
тебе я покупал.

Смотрел на платье синее  
у дома твоего  
и называл по имени,  
а больше ничего.

Счастливая, несчастная,  
кружилась голова...  
Четвертая Мещанская,  
дом семь, квартира два!

Дом наш был маленький, двухэтажный, с деревенским деревянным крылечком, выходившим во двор. Дом давно не ремонтировался, штукатурка с него обсыпалась, и мальчишки, когда собирались клеить нового бумажного змея, выдирали из его облупленных боков пожелтевшие дранки. Но для нас здесь все было полно необъяснимого значения: и таинственный запах сырых сараев, и такой неожиданный на крыше крыльца маленький подсолнух с серебристым пушком на жесткой зеленой коже, и длинный стол, вкопанный под тополями, на котором по вечерам раздавался

стук деревянных бочонков лото с полустершимися цифрами на крошечных днищах, и мерцающие под водосточной трубой отшлифованные и закругленные водой розовые кусочки кирпича, и темно-зеленые осколки бутылочного стекла—«морские камешки» Четвертой Мещанской.

На Четвертой Мещанской жили самые разные люди: водопроводчики и парикмахеры, официантки и грузчики, часовых дел мастера и фрезеровщицы, банщики и инженеры. Они одалживали друг у друга стулья и рюмки, бельевые прищепки и галстуки, ходили друг к другу позвонить по телефону, посмотреть телевизор или набрать в ведро воды, когда в одном из домов портился водопровод. По утрам они встречались в магазине, подставляя «авоськи» под картошку, глухо стучавшую по наклонному деревянному лотку; а вечерами— на лавочках во дворах и на родительских комитетах в краснокирпичной школе, где они неловко сидели за партами, изрезанными нашими перочинными ножами, и говорили о нас, детях Четвертой Мещанской. И вот мы— Римма, Роза, Степан и я— выросли, и Четвертая Мещанская смотрела на нас, радуясь и одновременно тревожась, что мы, ее дети, уже не дети...

Мы любили вечерами сидеть под большой-большой черемухой в нашем дворе на скамейке, которую собственноручно сделал Степан. Он учился в институте лесного хозяйства и считал, что каждый уважающий себя лесовод должен уметь делать все, как Робинзон. Это он подарил мне, когда я уезжал в экспедицию на Алтай, сконструированный им охотничий нож с маленькой зажигалкой внутри. Степан был, по моему, красивый парень, с густыми, упершимися друг в дружку бровями, с застенчивыми и в то же время— как бы это сказать?— энергичными глазами. Да, да, именно так: с энергичными глазами! А Римма считала его некрасивым и хотя говорила милостиво при этом: «Правда, внешность для мужчины не имеет значения...»,— Степан мрачнел и весь прятался куда-то под свои черные сросшиеся брови.

Она-то была красивая, Римма,— самая красивая на Четвертой Мещанской. А Степан однажды мне сказал,

что она самая красивая во всей Москве. Однако он при этом добавил: «Правда, внешность и для женщины, по-моему, значения не имеет...» Но это было сказано неубежденно, а поэтому неубедительно.

Римма училась в театральном институте и страшно важничала. Она любила ошеломлять: «Масальский сказал, что у меня редкое сочетание возможностей инженерю и характерной актрисы...» Слово это, «сочетание», ей, видимо, понравилось, и однажды в парке ЦДСА, когда мы катались на лодке, она сказала, как-то особенно прищурившись: «Какое чудесное сочетание голубого с зеленым!» Я чуть в воду от смеха не свалился, а Степан угрюмо покраснел: он всегда угрюмо краснел, когда Римма делалась вдруг не такой, какой мы ее знали столько лет, а какой-то другой — надуманной и надменной.

Перемена эта произошла с ней совсем недавно, когда она вдруг поняла, что красива. Ее отец, огромный, похожий на Поддубного, хирург, басил: «И что случилось? Была девчонка как девчонка и вдруг взглянула на себя в зеркало — и обалдела! Пластическую операцию ей, что ли, делать?»

Ей беспрестанно звонили. Ей все время что-нибудь дарили. Ей назначали свидания. Наконец, ее провожали. Провожали самые неожиданные и почти всегда новые поклонники.

То ее, изогнувшись, вел под руку похожий на передетую располневшую женщину известный тенор. То сразу двое или трое театральных мальчиков с одинаковыми прическами и в одинаковых вельветовых брючках, забегая вперед, зыбко суетились перед ней.

Как-то на такси ее привез симпатичный долговязый парень в ковбойке с протершимся воротником — видимо, студент. У него не хватало рубля, чтобы уплатить по счетчику, и, заливаясь краской, он униженно долго собирал из всех карманов мелочь. Шофер, ухмыльнувшись, встряхнул на ладони монеты, пересыпанные табаком, хлебными крошками, и золотой зуб в углу его рта высокомерно блеснул.

Под руку с Риммой на нашей улице появился после долгого отсутствия блудный сын Четвертой Мещанской — Кока. Кока — это Колька Кутузов из нашего



дома, ставший знаменитым футболистом и живший теперь на Ново-Песчаной. Мальчишки выстроились шеренгой вдоль тротуара, с немым обожанием глядя на него. Кока важно шел с первой красавицей Четвертой Мещанской, брезгливо ставя свои драгоценные ноги на потрескавшийся тротуар, в расщелинках которого пробивалась трава.

А однажды Римму привез на своей машине молодой, усталый человек с коротким седым ежиком. Кто-то из мальчишек, оскорбленный тем, что Римма позволила себе променять их Коку на какую-то неизвестную личность, крикнул: «Опять с новым!» И мальчишки засмеялись громко и жестоко. На Римму это, как мне показалось, не произвело особого впечатления, а вот провожавший ее человек как-то беспомощно вздрогнул и еще больше постарел...

Римма была гордостью Четвертой Мещанской, и Четвертая Мещанская не прощала ей. А Степан прощал, и я прощал, и Роза прощала.

Да, о Розе; я ведь ничего не сказал о ней. И не случайно. Она какая-то была вся незаметная, наша Роза: маленькая, крепенькая, везде-везде — на носу, на руках и даже на ушах — у нее были веснушки. Ей так не шло ее имя. Она работала на заводе контролером ОТК. Не знаю, что она там контролировала, да и представить я себе не мог, что Роза вообще что-нибудь может контролировать.

Но вот однажды наша Роза, маленькая Роза, когда мы сидели вместе под черемухой, так же тихо, как и все, что она делала, сказала:

— А я на целину еду, ребята...

Все мы восприняли это по-разному. Я переспросил. Степан сразу деловито уточнил:

— Куда именно?

А Римма посмотрела на Розу так, словно перед ней только сейчас из воздуха неожиданно возникло это существо с толстыми ногами в туфлях, начищенных зубным порошком, с ушами, обсыпанными веснушками.

— Идешь в ногу с веком. Ну, иди, иди, не споткнись только...

Степана так и передернуло, и мне тоже стало как-

то неприятно, словно на скамейке с нами была не Римма, а какой-то чужой, враждебный нам человек. Но надменная насмешливость вдруг сменилась в ее глазах какой-то грустной нежностью, а может быть, грустной завистью. Она обняла Розу и крепко поцеловала ее — сначала в одну щеку, потом в другую, как будто не она только что произнесла эту пошлую, презрительную фразу. Странная была Римма!

А Роза так же неожиданно уехала, как и объявила о своем решении уехать. От нее приходили из Казахстана письма, такие же коротенькие и простенькие, как она сама. Письма эти до того были похожи на нее, что иногда мне тоже казались веснушчатými. Всегда в них было вложено что-нибудь: или засушенный степной цветок, или прядь ковыля, а осенью пришло письмо, в которое был вложен колосок — чистенький, крепенький, тоже чем-то похожий на Розу. Когда в газетах печатали фотографии героев целины, я искал на них Розу, но почему-то не находил: она ведь маленькая, наша Роза. Среди таких высоченных хлебов ее, наверное, и не видно!

А со Степаном было плохо. Однажды поздно ночью он пришел ко мне и сказал:

— Одевайся.

Я оделся.

— А теперь что?

— Теперь выйдем.

Мы вышли.

— Мы с тобой пойдем в ресторан, — объяснил Степан. Я очень удивился, потому что не помнил, чтобы Степан ходил в рестораны. Но именно потому, что удивился, пошел.

Зашли мы в ресторан второго разряда «Нарва», недалеко от нашего дома. Швейцар подозрительно покосился на баскетбольные кеды Степана, но пропустил. Лоснящийся официант с огромным, похожим на зоб подбородком убрал со стола тарелки, где чьи-то окурки были воткнуты в недоеденный ромштекс, и, лихо перевернув скатерть, придал столу нечто, должное обозначать свежесть.

Степан, краснея, заказал триста граммов какого-то ликера и два супа харчо. Официант, вытаращив глаза

после такого заказа, оскорбленно выпятил зоб и поплыл к буфету.

Было душно и громко. На крошечной эстраде слепой аккордеонист играл «Мишку». Одиноким подвыпивший командировочный все время поднимал тосты за женщину, сидевшую рядом с румяньким, тщательным лейтенантом, чем лейтенант, как мне показалось, был не особенно доволен. В углу с двумя девчонками сидел Кока и пил чешское пиво. Кока несколько смутился, что мы застали его в ресторане второго разряда, но тем не менее поприветствовал нас поднятием руки с бронзовым перстнем. Я был несколько удивлен, так как знал, что Кока должен завтра играть с венграми, но ничем своего удивления не высказал.

Официант принес нам наш дурацкий ликер. Степан попробовал зеленоватую густую жидкость, потом отставил рюмку:

— Клопами пахнет! И что это за обычай такой: если человеку с человеком поговорить надо,— значит, обязательно надо выпить! Ну его, этот ликер! Пойдем отсюда.

Степан, опять краснея, расплатился, и мы встали. У дверей я оглянулся — слепой аккордеонист кушал в углу гречневую кашу с молоком, тщательного лейтенанта с его спутницей уже не было, а неутомимый командировочный подсел к Коке и поднимал тосты уже за Кокиных девчонок. Официант слил не выпитый нами ликер из рюмок в фужер и опрокинул его в зоб. По его лицу суетливо бегали красненькие жилки...

— Уф!— вздохнул Степан, когда мы вышли на улицу.— Не получится из меня, Женька, пьяницы!..

— Очень хорошо, что не получится,— сказал я,— но в чем все-таки дело?

— Ты знаешь, я ее люблю.

— Кого ее?— спросил я, хотя отлично знал, кого.

И Степан мне не ответил на этот лишний вопрос.

— Понимаешь,— сказал Степан,— существуют люди, в которых есть какая-то внутренняя ложь, и все их внешнее поведение — жесты, манера разговаривать — это лишь средство для того, чтобы скрыть эту ложь. А в Римме наоборот. Она всем своим внешним поведением старается скрыть то хорошее, что есть в ней.

Она как будто даже стыдится этого хорошего! Она ведет себя так, словно ей ничто не интересно, кроме самой себя: ни хлеб, который Розка растит, ни деревья, которые я буду растить, ни операции, которые ее отец день и ночь делает,— а я вот ей не верю! Она мне однажды сказала, что актриса должна быть внутренне холодной. Сарру Бернар в пример привела. Я ей говорю: «Неужели большие актеры, даже когда плачут, внутренне холодны?» «Это очень просто,— сказала она,— нужно лишь вызвать в памяти то, от чего плакала когда-то. Хочешь, покажу?» Встала она к стене, закрыла глаза, а из-под ресниц слезы, большие, настоящие. Не знаю, может быть, в их театральной жизни это и принято, но мне как-то гадко стало... А все-таки я не верю, не верю, что это у нее в душе! И сколько бы она мне о своих романах или — как это она их там называет?— новеллах ни рассказывала, тоже не верю!

Мы шли по Сретенке. Было около двенадцати. Уже закрывали «Гастроном», и у его дверей, как всегда, суетилось несколько опоздавших, тщетно пытаюсь убедить уборщицу, что еще рано закрывать. Продавщица газированной воды убирала стаканы в клеенчатую сумку. С витрины универмага застенчиво и устало улыбался манекен. Манекену было стыдно, что он плохо одет.

В кинотеатре «Уран» кончился последний сеанс, и, задевая нас шуршащими платьями, мимо заструились женщины и мужчины, пахнущие духами этих женщин.

И вдруг мы услышали:

— Что это вы здесь делаете?

Перед нами стояла Римма под руку с молоденьким морским офицером.

Офицер был новенький и весь никелированный, как чемодан.

— Это Петя,— сказала Римма,— и сейчас, на этой ужасной музыкальной кинокомедии, он сделал мне предложение. Но я ему сказала, что не стою его. Вы можете подтвердить, что это правда!

Петя жалко покраснел и, почему-то сняв фуражку, детским платочком стал вытирать лоб, вспотевший от неожиданности.

— Ребята!— сказала Римма.— Я знаю, что мы будем сейчас делать. Мы поедем в Серебряный Бор.

Она махнула рукой, и, ошеломленные и слегка подавленные, через мгновение мы сидели в такси...

Ночью над Москвой-рекой все было таинственно: и лунно мерцающие мраморные столики пустого летнего кафе, и волейбольная сетка между темными деревьями, в ячейках которой шевелились крупные звезды, и черная вода с длинными серебристыми отражениями огней, похожими на столбики монет. С того берега доносилось поскрипывание: это терлись друг о друга темные тела лодок.

Я купаться не стал. Петя, смущенно теребя кортик, наверное, из стеснения отказался. Римма и Степан поплыли вдвоем.

— Не горюйте, Петя,— сказал я таким голосом, словно был вдвое старше его,— вы еще молодой.— И заговорил с ним о завтрашнем футболе.

Черные точки голов Риммы и Степана тихо двигались там, внизу, потом исчезли из виду. И вдруг на другом берегу, на крутом песчаном обрыве у лодочной станции, я увидел два силуэта, словно высеченные из черного камня. Они стояли над покачивающимися на приколе лодками, над черно-серебряной рекой, отделявшей их от нашего берега, и над всеми его печальями и радостями.

И для меня, отделенные чем-то бóльшим, чем расстояние, это были уже не Римма и Степан, а незнакомые мужчина и женщина, переплывшие реку, которую я еще не переплывал. И женщина сделала шаг к мужчине и протянула к нему руки. И мужчина сделал шаг к женщине, но остановился и отстранил ее. Женщина что-то говорила мужчине, но он неподвижно стоял, глядя не на нее, а вниз, на реку, которую им предстояло снова переплыть, чтобы вернуться к тому, что на мгновение было забыто. И снова они вошли в реку, но ведь нельзя войти в одну и ту же реку дважды, и хотя они плыли, как тогда, рядом, в их движениях была какая-то щемящая разделенность.

Они вышли на наш берег, и снова это были уже не те незнакомые мужчина и женщина, а Римма и Степан. И Римма с каплями, светящимися в волосах и на

плечах, подошла к понурому морскому офицеру и с горькой веселостью сказала:

— Ничего, Петя, мы с вами в некотором роде сегодня товарищи по несчастью: я вот тоже сейчас вроде бы объяснилась в любви и тоже ничего не вышло.

Так сказала Римма, отчаянно и тоскливо закинув голову, и всю обратную дорогу она молчала. Молчал и Степан. Молчал и я. И уж, конечно, молчал растерянный и ничего не понимающий морской офицер Петя...

Вечером следующего дня мы встретились со Степаном на стадионе; билеты мы покупали заранее,— как всегда, три места рядом. Но Риммы с ним не было.

— Что ты ей сказал вчера, Степан?— спросил я тихо, но жестко.

— Что не люблю ее,— вот что я ей сказал! И ни о чем больше не спрашивай. Гляди, Кока-то наш плох...

Как раз в эту минуту Коке дали отличный пас, а он даже не попал ногой по мячу.

— С поля Кутузова!— завопил, сложив ладони трубкой, наш сосед и вскочил, роняя с колен портфель, из которого посыпались бухгалтерские бланки, половина булки с колбасой и бумажные стаканчики.

И стадион подхватил и стал скандировать с торжествующим презрением:

— С по-ля! С по-ля!

Он был жесток, стадион. Он мгновенно забыл о том, сколько раз аплодировал этому высокому русому парню с такими талантливыми ногами. Сейчас он видел только его позор и требовал его заменить. А Кока, отяжелевший от вчерашнего чешского пива и пришибленный несущимся отовсюду улюлюканьем, беспрестанно терял мяч и бил непонятно куда. И вдруг, собрав, видимо, все силы, он изумительно красиво перекинул мяч пяткой через голову самому себе на выход, перепрыгнул через подставленную ногу рыжего венгра и ударил уже почти с самой ленточки. Весь стадион, и веря и не веря, привстал, что-то крича и швыряя в воздух кепки, зонтики, плащи. Счет стал 1 : 1. И тут же раздался свисток судьи.

Венгры, присев на корточки, фотографировались в центре поля, а наши ребята в темных от пота футболках понуро пошли в раздевалку. И самым понурым был Кока, хотя он и спас команду от поражения... Нам стало жаль Коку: все-таки он был наш, с Четвертой Мещанской. Мы зашли к нему в раздевалку. Нас долго не пропускали, но потом пропустили. Все футболисты уже ушли, а Кока все еще мрачно сидел, закутавшись в мохнатое полотенце.

— Не будешь в следующий раз пить перед матчем!— сказал я.— А все-таки штуку ты здорово забил, Кока...

Он вдруг по-детски заулыбался.

— А это действительно ничего, кажется, вышло: пяткой через голову самому себе на выход.— И вдруг снова помрачнел.

Потом он стал одеваться. И с появлением на нем белой силовой рубашечки, пестрого пиджака с разрезом позади, небесных брюк, остроносых мокасин и уже известного бронзового перстня снова превратился из грустного мальчишки в великого футболиста.

— Да, а что с Риммой?— спросил Кока.

— Как что с Риммой?— не поняли мы.

— Она зашла ко мне перед матчем с каким-то морячком, сказала, что это ее муж, и пригласила меня на свадьбу в следующее воскресенье.

И тут я понял, что это правда. Это было слишком похоже на Римму. И Степан это понял. И лишь великий футболист ничего не понимал в том, что произошло, и, недоуменно глядя на нас, машинально поправлял свой бронзовый перстень...

Через три дня, возвратившись домой, я нашел на столе записку: «Диплом принят. Получил направление и сегодня уезжаю. Если успеешь, Северный вокзал. 44-й поезд. Вагон 6-й. Отправление — 20.45. Степан». Я взглянул на часы. Оставалось десять минут...

На перрон я вбежал, когда поезд нерешительно вздрогнул и двинулся. Мужчины и женщины с добрыми, растерянными глазами шли за вагонами, и у стоящих в этих вагонах людей были тоже добрые и растерянные глаза, глаза людей, провожающих неподвижное.

И я увидел Степана, и Степан увидел меня. Он стоял на подножке вагона в коричневом лыжном костюме и баскетбольных кедах. Я хотел что-то сказать ему, но ничего не сказал. И Степан тоже хотел мне что-то сказать и тоже не сказал ничего. Я еще шел рядом со Степаном, но это было лишь видимостью того, что мы рядом. Я наивно ускорял шаги, пытаюсь не отстать от набиравшего скорость поезда, но нельзя не отстать от того, что сильнее тебя. И я остановился на самом краю перрона и долго-долго махал уже невидимому Степану, пока фонарь последнего вагона, рубиново посвечивая, не скрылся за переплетениями стальных конструкций. Я остался на перроне, а Степан, только что стоявший на подножке рядом с этим перроном, уже стал частью того неизвестного задымленного пространства, втянувшего в себя поезд... Так уехал Степан. А свадьба Риммы должна была состояться в воскресенье.

В воскресенье с утра пошел дождь. Дождинки, обвертываясь пылью, сначала робко запрыгали по Четвертой Мещанской, потом вдруг с неба хлынула густая, теплая вода. Водостоки захлебывались, кашляли; ручьи бежали навстречу друг другу и растворялись друг в друге.

Мокрые мальчишки, страшно счастливые оттого, что мокрые, засучив штаны, плясали на пузырящейся воде танец дождя и детства. Хозяйки выставляли во двор блеклые герани, зеленорогие столетники и темные клеенчатые фикусы. Пахло землей и листьями.

И в этот дождь я зашел к Римме.

Римма сидела у стола, заваленного свертками, банками майонеза, связками лука и еще не поставленными в воду цветами. На полу у ее узеньких замшевых туфелек выстроилась свадебная гвардия бутылок шампанского в серебряных касках. Как будто не замечая всего этого, Римма смотрела каким-то мертвым взглядом на праздник воды и зелени.

— Все, что ты мне собираешься сейчас говорить, — сказала Римма, — бессмысленно. А вот и Петя.

Вошли счастливый, до сих пор не в состоянии осмыслить происходящее Петя и отец Риммы, глядящий на Петю с грустным состраданием.



— Еще до вечера далеко,— сказал отец Риммы мрачно,— перекусить, что ли, надо...

И вдруг Римма вскочила и бросилась к окну.

У окна стояла мать Розы — старая одинокая женщина, работавшая приемщицей в прачечной. Она держала в руке скомканное письмо, а глаза у нее были ошеломлены чем-то страшным и застыли в этой ошеломленности.

Мы выбежали во двор, ввели ее в комнату. Я выхватил из ее вздрагивающих рук письмо. Оно было наивно официальным и еще более страшным из-за этой наивной официальности.

— «Дорогая Евдокия Николаевна! — прочел я вслух. — Пишут вам комсомольцы совхоза, в котором работала ваша дочь. Она была секретарем нашей комсомольской организации и, несмотря на угрозы, всегда выступала против хулиганов и рвачей, затесавшихся в наши ряды. В ночь на 12 июля, когда она возвращалась с полевого стана, в степи ее подстерег исключенный по ее настоянию из комсомола Александр Епихин и нанес ей пять ножевых ран. Не приходя в сознание, она скончалась. Над убийцей будет устроен показательный процесс.

Дорогая Евдокия Николаевна! Вашу дочь мы похоронили у того самого места, где она впервые повела свой трактор на штурм целины. Ее именем мы постановили назвать строящийся комсомольский клуб. Светлая память о вашей дочери будет жить в наших сердцах».

Дальше шли подписи.

Я не мог себе даже представить, что Розы — крепенькой Розы — может вдруг не стать. Я был, Римма была, Степан, правда, далеко, но тоже был, Четвертая Мещанская была, а Розы больше не было. Только где-то, далеко от Четвертой Мещанской, на казахстанской земле была маленькая могила, такая же маленькая, как и сама Роза.

И мать Розы взяла это письмо своими узловатыми руками, сквозь которые столько прошло и еще пройдет простынь, рубашек, воротничков, и, пошатываясь, пошла среди пляшущих на воде мальчишек. А Римма вдруг зарыдала так, что нам стало страшно; зарыдала,

упав своей каштановой головой на нелепые свертки. А потом подняла голову, посмотрела на Петю, увешанного пакетами, на глупое шампанское и сказала спокойно и просветленно:

— Петя, вы очень хороший, но я не буду вашей женой, Петя. Я люблю Степана.

И Римма выбежала из дома и пошла в своих беспомощных замшевых туфельках, облепленная мокрым цветным платьем, пошла, сама не зная куда.

Жизнь жестоко напомнила ей о том, что она, жизнь, дается только один раз и что нельзя лгать самой себе в своей единственной жизни.

Так шла Римма и плакала горестно и освобожденно.

Плакала Римма, и, может быть, где-то в далекой тайге горькими мужскими слезами плакал Степан, не знавший, что никакой свадьбы не состоялось...





## Трамвай шел на фронт

ни встретились впервые на трамвайной остановке. Он помнил это и много лет спустя. Стоило закрыть глаза — и в воображении вставали напоенный жаркой тревогой киевский август сорок первого года и она, кареглазая Нина...

На перекрестке у трамвайной колеи стояло пять бойцов народного ополчения. Дмитро́ был среди них самый молодой. И когда подошла девушка в красном платочке, с книгой под мышкой, он, естественно, первый обратил на нее внимание. Стройная, смуглая, с высокой грудью, походка легкая и уверенная. Дмитро подумал: «Точно с картины... Рабфаковка двадцатых годов».

Она спокойно взглянула на бойцов большими карими глазами, под которыми залегли синие подковки теней, и тихо спросила, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Здесь останавливается десятка?

В то время надписи на трамвайных остановках были сняты. Номера вагонов замазаны краской. Исчезли и маршрутные таблички. Невозможно было прочитать и название улицы. Все стало военной тайной. Все должно было служить помехой шпионским проискам врага.

Поперек улицы высилась баррикада, несколько амбразур темнело в ней. Асфальт, казалось, прогибался под тяжестью мешков с песком, оставлявших узкий проход для пешеходов под стенами и — пошире — посреди улицы, где шел трамвай.

Перед баррикадой щетинились ржавые железные «ежи» — гостинец для фашистских танков, которые рвались сюда под близкий грохот артиллерийской канонады.

Всегда шумный и многолюдный, город нахмурился, застыл в напряжении и сторожко прислушивался к сигналам воздушной тревоги. Их зловеще протяжный вой раздавался по десять раз в день.

Прохожие поднимали головы и молча смотрели, как белыми облачками вспыхивают зенитные разрывы. Фашистские самолеты исчезали. Облачка медленно таяли.

Прохожие молча шли дальше. И тогда в безоблачное небо вглядывались лишь слепые окна домов; на каждое стекло были накрест наклеены полоски бумаги. В первые дни войны многие полагали, что это — хорошее средство от бомб...

— Здесь останавливается десятка? — строго спросила девушка.

— Здесь, — ответил Дмитро и снисходительно улыбнулся: в те дни женщин в десятом номере трамвая не видно было. — А вам куда?

— На фронт.

Теперь на нее уставились все пятеро. Дмитро подкинул плечом автомат и ласково сказал:

— Вы перепутали, девушка, вам двойка нужна.

— Почему двойка? — От простодушного удивления лицо ее стало совсем детским.

— А потому... Вам же на пляж?

Грохнул хохот. Девушка побледнела, хлестнула Дмитра свирепым взглядом и отвернулась. В вагоне она прошла вперед и стала у открытой двери. А мужчины продолжали перекидываться шутками.

— До чего удобно, а?

— Трамвайчиком — и прямо на фронт.

— А вечером обратно к маме.

Но Дмитро вдруг нахмурился и оборвал:

— Ну, хватит!

На конечной остановке девушка сошла первой. Следом за ней поспешил Дмитро.

— Вам куда? — чувствуя свою вину, спросил он. — Может быть, я...

— Не беспокойтесь, — перебила она. — Здесь я сама найду.

Не обида звучала в ее голосе, а спокойное превосходство взрослого, который только из деликатности не говорит: «Иди, мальчик, своей дорогой, не путайся тут!»

Дмитро густо покраснел.

Она шла шагов на десять впереди них до самого Голосеевского леса, где, собственно, и проходила тогда линия фронта.

Уверенно повернула на ту же тропку, которой должны были идти и они. Еще несколько минут перед глазами Дмитро мелькала красная косынка, затем гибкая девичья фигурка скрылась в одной из траншей, змеившихся между деревьями.

Дмитро споткнулся об узловатый корень, прикусил губу и неслышно выругался.

Его нагнал Василь.

— Куда она девалась? — спросил он каким-то странным голосом.

Дмитро посмотрел на него. Вид у Василя был такой же невозмутимо-спокойный, как всегда.

Но Дмитро рассмеялся:

— Снаряд пробил храброе сердце сапера и полетел дальше.

— Дурак! — буркнул Василь.

Голосеевский лес — любимое место прогулок и отдыха киевлян — представлял собой военный лагерь, несхожий, однако, с теми лагерями, что описывали когда-то в книгах.

Здесь все зарылось в землю, укрылось землей и поваленными стволами. Здесь все замерло, застыло, готовое обрушить лавину огня и горячего металла на лес, на соседние холмы, на голову врага.

Дмитро и Василь были командирами саперных взводов Четвертого полка народного ополчения. Непохожие друг на друга ни внешностью, ни характером, они связаны были суровой солдатской дружбой, хотя слово это ни разу не было произнесено. У подвижного, худощавого Дмитра жизнь бурлила фонтаном юношеских порывов, дни сгорали в поисках чего-то неведомого, а то вдруг вспыхивали беззаботной шуткой. Угловатый, широкоплечий, скуластый Василь, казалось, был высечен из камня.

Каждую ночь саперы выбирались из окопов и ставили мины там, где могли прорваться вражеские танки, там, где ожидали атак гитлеровцев. Казалось, нет уже в лесу ни пяди земли, которая не таила бы в себе смертоносной начинки. А саперы все ползли и ползли, закладывали минные поля, рыли подкопы, чуткими пальцами на ощупь снимали немецкие мины и переставляли их на другое место, чтобы подрывать врага его же оружием.

Назавтра Василь сказал Дмитру:

— Я ее видел.

— Кого?

— Нину... Ту, вчерашнюю.— Василь смотрел куда-то в сторону.— Но это, кажется, не настоящее имя. Понимаешь... У них клички.

— У кого это «у них»? — изумленно посмотрел на него Дмитро.

— У разведчиков,— пояснил Василь и с таинственным видом добавил: — Она ходила туда, понимаешь? — Он пальцем пересек невидимую линию фронта и тем же пальцем ткнул друга в нос.— Эх, ты!.. «Пляж».

— Откуда ты все знаешь? — недоверчиво спросил Дмитро; в голосе его звучала неприкрытая зависть и

досада. Он еще вчера понял, что попал впросак, и грыз себя за неуместную и плоскую остроту.

— Между прочим, она спрашивала о тебе,— небрежно заметил Василь и с щедростью богача, вдруг бросившего нищему золотой, сказал: — Хочешь, я тебя с ней познакомлю?

Дмитро промолчал. Наклонившись, он чистил автомат, и, казалось, все его внимание было приковано к маленькому пятнышку на затворе. Но и пятнышка этого он не видел, потому что на него смотрели большие карие глаза, окруженные темными тенями; это был несмываемый след пережитых тревог и бессонных ночей.

Через два дня Василь их познакомил. Сконфуженный Дмитро с каким-то ему самому непонятным страхом взглянул на нее. Она была в военной форме, в пилотке; девичья хрупкость и непоказное солдатское мужество слились в ней естественно, нераздельно. Она заговорила с Дмитрием сердечно и просто, как будто они давно знали друг друга. Теплое, благодарное чувство шевельнулось в груди Дмитра, но он хмурился и, украдкой поглядывая на девушку, гадал: «Забыла? Или простила, как прощают глупого мальчишку?» Чувствовал, что краснеет, не знал, куда девать руки, зачем-то теребившие ремень портупеи, и был глубоко убежден, что Нина в душе смеется над ним, а говорит только для Василя, умного и сдержанного.

Потом они случайно встретились у высокого осокоря, в ствол которого вонзился зазубренный осколок бомбы.

Посмотрели друг на друга, смущенные, растерянные; оба думали об этой встрече с глазу на глаз и в глубине души даже страшились ее.

Каждый старался скрыть свое смущение и внутреннюю скованность, но все же разговор был какой-то нескладный, отрывистый. Девушка хмурилась и внимательно смотрела на Дмитра. Он терялся под ее взглядом, и это сердило его. Разговаривая, он несколько раз изо всей силы пытался вырвать стальной обломок, глубоко впившийся в дерево. Это ему не удавалось, и он краснел от напряжения, а может быть, и от своей растерянности.

Когда она подала ему руку на прощание, он почувствовал облегчение, но уже через минуту жалел, что встреча была такой мимолетной. Еще более тревожным и неотступным стало желание видеть ее.

Через день они снова встретились у осокоря. Уже не случайно.

Это была одна из последних августовских ночей. Падали звезды, как всегда в эту пору. А навстречу им в небо упорно взлетали красные точки трассирующих пуль и тоже гасли, так и не догнав самолета. Время от времени над лесом повисали осветительные ракеты, разливая вокруг желтовато-мертвенный свет. Они медленно опускались на невидимых парашютах, в лесу становилось еще темнее, а в ночном небе ярче сияли настоящие, вечные, неугасимые звезды. Нина и Дмитро сидели под деревом, и слушали тишину, и думали о тех, кто уже никогда не увидит этого звездного неба.

После дневного боя лес замер. Тьма сгустилась так, что ее, казалось, можно пощупать рукой. Тяжелая тишина придавила все живое. Вокруг расстилалась пустыня. Не верилось, что здесь, в гуще мрака и тишины, притаились тысячи жизней и в то же время тысячи смертей.

А за лесом на зеленых холмах раскинулся Киев, затих как бы в предчувствии неотвратимой угрозы полного окружения. Думать об этом было тяжело.

— Когда-то давно-давно,— сказал Дмитро,— три месяца назад, была удивительная, сказочная жизнь. Люди спали в постелях, ходили на работу, потом в кино. В этом лесу гуляли влюбленные... Как это далеко!

— Неужто мы тут погибнем? — как о чем-то совсем обыденном задумчиво спросила Нина.

Дмитро наклонился, чтобы увидеть ее глаза. Было темно. Он склонился еще ниже, обхватил ее плечи рукой и поцеловал. Девушка задрожала и спрятала лицо у него на груди.

— Дмитрик! — прошептала она.— Хороший мой! Полон неведомой ранее гордости, он целовал ее глаза, щеки, губы, и в ушах у него звенело: «Мой!».



— Откуда ты взялся? Откуда ты взялся? — заворожено шептала она.

Они сидели под могучим, в три обхвата, осокорем, крона которого чернела на фоне неба пышным бархатным шатром. О чем-то шептал ветер в ветвях. И не видно было острого, зазубренного осколка, злобно впившегося в ствол.

— Василь там? — спросила Нина.

— Там, — ответил Дмитро и взглянул на светлячок циферблата. — В два выступает мой взвод.

Девушка положила ему руку на плечо.

— Это очень опасно, Дмитро?

— Нет! — В голосе его звучала усмешка. — Сапер ошибается только один раз.

— Брось!..

— Твои прогулки во вражеский тыл опаснее, — жестко проговорил Дмитро. Потом спросил: — Ждешь нового задания?

— Да... Это всего труднее — ждать! — вздохнула она. — А пока я буду помогать в медчасти вашего полка. Мне разрешили.

Они умолкли. Щека к щеке слушали, как вверху чуть шелестит листва.

И вдруг Дмитро сказал:

— Василь тебя любит.

Мгновение Нина молчала, потом ответила:

— Я знаю.

— Он чудесный парень, — сказал Дмитро. — Настоящий!

Нина задумчиво повторила:

— Настоящий... Догадывается, что я не могу ответить ему тем же... И молчит. — Она чуть слышно добавила: — Он ничего не узнает, правда?

— Правда.

И снова они умолкли.

Нина думала о Василе и о той непостижимой силе, что, не спрашивая, приказывает: «Вот этого люби, этого, а не другого!»

Она шелохнулась.

Дмитро крепче сжал ее плечо, повернул голову, чтобы поглядеть ей в глаза, такие близкие, но еще ближе были ее терпкие губы.

В такие минуты забываешь обо всем на свете. Но над ними тяготела жестокая власть войны. Даже не взглянув на светящиеся часы, Дмитро сказал:

— Пора...

С рассветом началось. Двое суток не умолкал адский грохот, хриплый лай зениток, пронзительное завывание бомб, штурмом ввинчивающееся в душу, в мозг; двое суток бушевал огонь, раздавались проклятия и стоны атак и контратак, душил едкий дым и острый запах солдатского пота и крови.

Двое суток — это тысячи минут, десятки тысяч секунд, дробящихся еще на неуловимые мгновения, каждое из которых могло стать последним.

Два коротких дня превратились в долгие годы.

И, может быть, потому поцелуй новой встречи под раненым осокорем имел такой горький привкус.

— Должна поспать хоть часок. Я падаю от усталости, — сказала Нина. — Завтра придешь?

Он кивнул. Наверное, целая минута прошла в молчании, когда он удивленно повторил:

— Завтра? Но завтра может и не быть...

Она вздрогнула. Пронзила острая, как зазубренный осколок бомбы в осокоре, мысль: «Любой кусочек металла может убить не познанную еще любовь. Это страшнее смерти! Какой-то нелепый кусочек железа...» Ей стало душно, расстегнула воротник гимнастерки, с трудом перевела дыхание. Усталость, сон — все прошло.

Испуганное сердце замерло на миг, и дрожащая рука еще сильнее дернула ворот, рванула пуговицы. Изумленный Дмитро прошептал: «Что ты?» И тогда она крепко прижала его лицо к своей обнаженной, горячей, упругой груди...

Не было войны, не было никого вокруг. Только августовские звезды в черном небе.

Но и звезды они увидели уже потом, когда лежали рядом, утишая бешеный стук сердец.

— Ты мне веришь, Дмитрик? — спросила Нина.

Он сжал ее узенькую, сильную ладонь.

— О, не спеши, подумай! — сурово сказала она. — Это — самое дорогое, когда веришь. Я тебе поверила. Сразу же, с первой минуты. И пускай что угодно

говорят, пускай меня на части режут, я буду тебе верить.

Она целовала его, тяжело дыша, горестно, словно что-то говорило ей: это в последний раз.

Дмитро вернулся в блиндаж как раз, когда Василь готовился к ночной вылазке.

Тускло мигал каганец, сделанный из снарядной гильзы. Потемневшее лицо Василя казалось каменным. Черный ремешок каски врезался в подбородок.

— Заложим начинку в этом проклятом ярке,— сказал он. Голос его звучал глухо. У выхода остановился на миг: — Что-то я не вижу Нины последние дни. Кланяйся ей... если встретишь.

Он, должно быть, хотел сказать другое: «Если не вернусь». Так по крайней мере показалось Дмитру. А может быть, это пришло ему на ум уже потом.

Через два часа саперы приволокли Василя на окровавленной плащ-палатке.

Дмитро прибежал в санчасть, когда раненому были уже сделаны две операции.

Из большой госпитальной палатки, прижавшейся к крутому склону, укрывшему ее от вражеских мин и снарядов, вышел хирург Бойчук, давний друг Василя, еще с довоенных времен.

Дмитро кинулся к нему, но Бойчук предостерегающе поднял руку. Брезентовые двери палатки распахнулись, и два санитаря, шатаясь от усталости, вынесли носилки, на которых неподвижно, с закрытыми глазами, без кровинки в лице лежал Василь.

За носилками шла Нина с охапкой мокрых красных бинтов в руке.

Бойчук сказал ей что-то коротко, отрывисто и вернулся в палатку: его ждали раненые. Он уже третьи сутки не спал.

Нина смотрела вперед напряженным, застывшим взглядом. На миг взгляд этот скользнул по Дмитру. Он заметил, что синеватые подковки под ее глазами стали темнее, больше. Она бросила кровавый комок в

яму, опустилась на колени у носилок и положила тонкую шершавую руку на влажный лоб раненого. Василь словно ждал этого. Он раскрыл глаза, затуманенные нестерпимой болью, и с тяжким усилием проговорил:

— Нина... Как я хотел тебя видеть!..

— И я и я! — эхом отозвалась девушка, вытирая ему лоб платком. — Молчи, тебе нельзя разговаривать!

— Я люблю тебя! — хрипло выдохнул Василь. — Я хочу жить...

Плечи ее задрожали, голова еще ниже склонилась к носилкам.

— Ты будешь жить... Ты будешь жить, Василь! — со стоном вырвалось у нее. — Я тоже тебя люблю... Люблю!..

На землистых щеках Василя выступили багровые пятна, в запавших, исполненных муки глазах загорелась искорка радости. Он опустил веки, как бы пряча эту искорку в себе, и прошептал:

— Я усну немного...

Нина тяжело поднялась и пошла между деревьями, ни на кого не глядя, никого не видя.

Первым движением Дмитра было броситься за ней, но какая-то иная сила толкнула его в грудь. Заскрипев зубами, он ринулся по крутой тропке вниз и даже не услышал, как кто-то кинул ему вслед возмущенно и испуганно: «Сумасшедший!»

Вечером Дмитро ждал ее у осокоря. Уверен был, что она не придет, и все-таки ждал.

Она подошла и положила ему руку на плечо. Даже сквозь гимнастерку он почувствовал ее холодные пальцы.

Суровая морщинка прорезала девичье чело — и уже навсегда; скорбно опущены уголки крепко сжатого рта.

Но Дмитру ее помертвевшее, бледное лицо показалось пристыженным, виноватым.

— Ты все-таки пришла? — с недобрым смешком спросил он. — Интересно...

Она только взглянула на него. Не увидел ее удивленных глаз, лишь синие полукружия.

— Дмитро!.. Что случилось?

Он, дернув плечом, сбросил ее руку и хрипло процедил:

— Говорят люди: мил друг, не люби двух...

— Дмитро! Как ты можешь?..

Она не договорила, увидев его — и не его — чужие, недоверчивые глаза, скривленный в мстительной усмешке рот.

— Отойди! — крикнула она с такой яростью и болью, словно ее хлестнули плетью по лицу. — Убью!

И пропала в кустах.

Только назавтра, днем, после бессонной ночи, Дмитро снова отправился к палатке. Он присел на траву. Вчерашняя ямка с окровавленными бинтами была засыпана песком. Он долго ждал.

Наконец из палатки вышел Бойчук. Качнул отяжелевшей головой и тоже сел на вытопанную траву.

— Как он? Уже эвакуировали? — спросил Дмитро.

Хирург посмотрел на него непонимающими глазами:

— Кого?

Дмитро нахмурился.

— Василя.

— Вы что, не знаете? — раздраженно, голосом, в котором звучала безмерная усталость и досада, сказал Бойчук. — Он прожил после операции всего час. Да и то диво... Только Василь мог выдержать такие адские муки. Положение было безнадежно. И все же я надеялся на что-то...

Дмитро почувствовал, что воздух у него в груди затвердел — ни вздохнуть, ни выдохнуть. Бойчук на какое-то мгновение задремал, впал в забытие.

— Василь все звал Нину, — не раскрывая глаз, проговорил хирург, — все звал... Я попросил ее сказать ему доброе слово. Это порой действует лучше новокаина. Такую убийственную боль мог вытерпеть только он... Не знаю, какие слова она нашла, что он прожил еще целый час! Удивительно!.. Что она ему сказала? Вы не слышали?

Дмитру хотелось закричать: «Не слышал, ничего не слышал!» Но вместо того вырвалось:

— Где она? Где она?

Бойчук пожал плечами.

— Не знаю. Ее куда-то вызвали.

Дмитро стремительно вскочил и побежал. «Только бы увидеть, только бы не опоздать!»

Капитан из отдела разведки, выслушав его торопливый, нескладный лепет, впился в Дмитра неприятно-пронизывающим взглядом. В его пытливых глазах Дмитро прочитал суровый и безнадежный ответ. Он и сам не ожидал ничего другого. Не надеялся — и все же прибежал. Ему показалось, что в блиндаже вдруг потемнело, потом опять посветлело. Дмитро отвел глаза и увидел, как за спиной капитана, между бревнами перекрытия, тоненькой струйкой неслышно сбегает желтый песок.

— Нина? — жестко переспросил капитан. — А вы не знаете какого-нибудь другого ее имени?

Дмитро отрицательно покачал головой.

— А фамилию?

— Нет.

Так оно и было. Дмитро не знал настоящего имени и фамилии Нины.

Когда капитан в этом убедился, лицо его немного смягчилось, а в глазах мелькнула мимолетная улыбка: он и сам был молод.

— Могу посоветовать, лейтенант. — Капитан подошел и похлопал Дмитра по плечу. — Забудь и это имя. Была Нина, а сегодня Олеся, Мария, Галя... А может быть, Горпина? Отличное имя — Горпина. Ясно? Можешь быть свободен, лейтенант. Кстати, хочу напомнить, что на дворе ветер и война...

Дмитро вытянулся, резким движением подкинул согнутую в локте руку к виску, четко повернулся налево кругом и вышел из блиндажа. Тревожно шумела листва деревьев над головой. Был ветер, и была война.

Больше он ее не видел.

Он разыскивал ее везде. В войсковых частях, в госпиталях, на всех фронтовых дорогах.

Какое-то непреложное чувство подсказывало ему, что она не погибла, что она где-то близко, может быть, даже очень близко: на соседнем участке фронта, на правом или на левом фланге.

Кончилась война. И он стал искать ее в Киеве. Ходил по улицам разрушенного города, вглядывался в лица

девушек, еще не расставшихся с фронтовыми погонями. Их было много, но Нины он не встретил.

Однажды Дмитру вздумалось поехать в Голосеевский лес. Может быть, она придет туда? Может быть, захочет вспомнить?

Он проблуждал там с утра до самого вечера.

Завалились и поросли бурьяном окопы. Потрухлявели стволы деревьев, что не топорами, а снарядами срубила война.

Рядом с разрушенной землянкой, где жили когда-то саперы, темнела конусообразная яма. Сюда попала бомба. В августовские дни он этой ямы не видел. «Где же я был, когда упала эта бомба?» — спросил он себя. И не мог вспомнить. Слишком много бомб падало на его пути.

Когда стемнело, он увидел то же августовское небо с падающими звездами, и в его ушах прозвучал взволнованный голос Нины: «Я тебе поверила, Дмитро. И пусть меня режут на части, я тебе верю!»

Шли годы.

Он жил, как все. Женился. Его жена была совсем не похожа на Нину.

Работа и семья, будни и праздники. Жил, как все. Как-то под выходной жена сказала:

— Поедем завтра в Голосеевский лес.

Он нахмурился и долго молчал. Потом ответил:

— Лучше куда-нибудь в другое место.

Но сам Дмитро, в одиночку, каждый год, примерно в августе, ездит в Голосеевский лес.

Уже проложили в ту сторону троллейбусную линию. Курсируют быстрые и удобные автобусы. Но Дмитро ездит только трамваем. Тем же десятым номером до конечной остановки. А дальше пешком.

В лесу со временем все переменялось. Исчезли траншеи. Сровнялись воронки от бомб. Зазеленели молодые деревца. Над голубыми прудами шепчутся ивы.

Изменился и Дмитро. Поседели виски. Глубокие складки пролегли на лице. У глаз собрались морщинки.

Однажды, блуждая по лесу, Дмитро нашел осокорь, в теле которого торчал уже давно проржавевший, зазубренный осколок. Он хотел вытащить его и не смог.

Кора вокруг осколка затвердела толстым рубцом. Дмитро взглянул на ветвистую зеленую крону дерева. Кто знает, может, ему уже и не больно? Так вот и простоит на склоне горы весь свой осокориный век, так и упадет с куском железа в груди.

...Позванивает трамвай. В вагоне говор, шутки, смех. Горожане возвращаются после прогулки домой. А навстречу бегут другие вагоны, тоже переполненные, шумные.

Дмитро сидит у окна. Он молча вглядывается в лица входящих и выходящих и думает о том, как удивились бы они, услышав, что именно этим трамваем в тревожные августовские дни ополченцы ездили на фронт.

Авторизованный перевод с украинского  
А. ОСТРОВСКОГО.

Киев.





В л а д и м и р И л ь ю ш и н

## В небесах и на земле

*Из рассказов  
летчика-испытателя*



Когда редакция «Юности» попросила меня написать в очередной номер несколько рассказов, я не ощутил энтузиазма. Мне было ясно, что предстоят ночные бдения. Только в ночной тишине я могу отвлечься от повседневных забот. Но семья было брошена и дало какие-то всходы. После этого неизбежно встал вопрос: как и кому надлежит представить неизвестного автора читателям? В разговоре все пришли к выводу, что сделать это лучше всего мне самому. Я пытался сопротивляться, однако после непродолжительной, но дружной атаки сдался. Осталось решить еще один вопрос: о форме представления. Писать автобиографию мне не захотелось.

«Тогда заполните анкету», — шутливо сказали мне. Это выглядело куда проще, и я согласился. Мне казалось, что на анкетах-то я «набил руку».

Итак, анкета.

Фамилия — Ильюшин. Имя — Владимир. Специальность — инженер, летчик-испытатель. Женат. Состою. Не имел. Не имею. Не привлекался. Не участвовал.

Самым трудным оказался вопрос специальный: как, когда и почему начал писать? Тут дать четкий и ясный ответ оказалось не так просто.

То время, когда я сознательно взял в руки перо, чтобы первый раз написать рассказ, вспоминается безо всякого удовольствия. Это было трудное для меня время.

Говоря языком авиационным, это был период «капитального ремонта моего шасси», что в переводе означает: лечение переломов ног после автомобильной аварии. Лежать в полном бездействии я не мог. Руки требовали какого-то дела, душа рвалась в воздух, а правая нога была в гипсе. Но начну с самого начала. Из разбитого автомобиля друзья, которые ехали сюда, повезли меня в ближайшую больницу. Кстати, тут в приемном покое произошел смешной случай. Видимо, даже самые драматические моменты несут в себе и элементы комического, смешного.

Меня положили на лежак прямо в одежде. Раздевать меня пришла маленькая юная санитарка. Она помогла мне снять гимнастерку. И с недоумением поглядела на мои новые сапоги.

— Режьте их, — сказал я.

— Жалко, они же новые.

— Черт с ними, ведь нога-то болтается, еще останется кусок в сапоге. Да и кровью они уже испачканы.

— Ничего, это можно отмыть, — сказала она и храбро начала стягивать сапоги.

Хорошо, что они были свободные! Мы явно не понимали друг друга.

И вот я лежу на операционном столе. Какой резкий переход! Каких-нибудь сорок минут тому назад я вернулся с высоты в двадцать восемь километров. Шум аэродрома, затем шум шоссе. Кругом движение, бурное биение жизни. И я участник этого движения. А сейчас слышны только шепот сестер, голос хирурга да позвякивание стали. Кругом все бело: халаты, шапочки, повязки на лицах, стены, потолок. Пола я не вижу. Я лежу на спине.

Чтобы не видеть, что со мной делают, я запрокидываю голову, и взгляд мой падает на окно. Мне видно только небо. Только небо! Но как много говорит оно мне! Оно сейчас очень чистое, и мне кажется, что оно звучит на очень-очень высокой ноте. Это, видимо, потому, что по нему мчится острый, как игла, белый след. И первый раз в жизни я ощутил, что смотрю на небо со стороны, иным, чем обычно, внутренним взором. Мне до боли захотелось рассказать о небе, о труде тех, кто впервые поднимает в него стремительно летающие стрелы. Это был первый импульс. Потом все отошло на второй план. На первом была борьба за небо, и вел я ее не один.

Вернулся снова к этой мысли значительно позже, когда был уже в гипсе и имел достаточно времени, чтобы вспомнить и обдумать всю свою жизнь. Но начать писать мне было не просто. Я боялся написать неинтересно и непонятно. И только настойчивые подбадривания друзей и их помощь дали мне силы взяться за перо.

Вот, пожалуй, и все.

## «ВЕЗЕНИЕ»

Обычный чудесный летний день. По небу медленно ползут редкие «барашки». Тишина. Слышны только трели жаворонков. Мы с ведущим инженером идем к самолету. Каждый погружен в свои мысли. Сегодня последний полет — и программа на этом закончена. Или, как говорит ведущий: «Сегодня еще один полет — и закрываем программу».

Он считает, что в авиации не должно быть «последних» полетов. Ну что ж, я не против. Пускай еще один. Сегодня это взлет со вспаханной полосы в сверхтяжелом весе, или, как у нас говорят, «в перегрузочном варианте». Все готово к полету. Все оговорено, просчитано, проанализировано. Все, что может и даже не может быть. Я еще и еще раз мысленно взлетаю. Вспаханную полосу я знаю почти наизусть. Много полетов с нее уже позади, и не далее как сегодня утром мы еще раз прошли по ней пешком. Хотели проехать на машине, но наш «газик» завяз, и пришлось его толкать руками. Здорово вспахали. Земля, как пух.

— Лев,— говорю я,— значит, все делаю, как договорились. Ты становишься с флагом там, где у меня должна быть контрольная точка. Как раз против вот этого кома земли. Видишь, на нем травинка с капелькой росы. Если скорость нормальная, я взлетаю; если меньше,— выключаю двигатель и останавливаюсь.

Ведущий молча кивает мне головой и легонько хлопает меня по спине. Легонько, с его точки зрения. Его имя полностью соответствует его облику и масштабам.

Я надеваю шлем, и сразу пропадают все земные звуки. Сажусь в кабину и привязываюсь. Наушники наполняются шуршащим эфиром. Запрашиваю запуск и выруливание.

И вот передо мной моя взлетная пахота. Все готово. Прошу взлет. Включаю самописцы, даю максимальные обороты двигателю, включаю форсаж. Разбег начался. Плавные покачивания сменяются убыст-

ряющимися толчками. Все идет нормально. Сбоку мелькнула фигура с флагом. Скорость нормальная. Все быстрее и быстрее бежит назад земля, но нос самолета не поднимается. Так оно и должно быть. Нос поднимется позже, чем обычно.

Скорость растет. Невольно тяну ручку на себя, хотя она и так взята полностью. Нос не поднимается. Я начинаю понимать, что все это принимает не тот оборот, которого мы ожидали. Я даже вижу ошибку в наших рассуждениях. Но назад хода нет. Я уже не успею затормозить, если прекращу взлет: впереди забор с бетонными столбами, а за ним железнодорожная насыпь. Выход один — заставить машину взлететь! Тяну ручку на себя двумя руками. Зачем? Это не я, это инстинкт. Все, что можно было пока сделать, я уже сделал. Машина должна оторваться, я уверен в этом! Но когда?! Забор стремительно несется на меня, каждую секунду он приближается ко мне на сто метров. А самолет не хочет поднимать носа. Он как катер на волне: то облегченно рвется вперед, то срывается передней ногой в пахоту. Забор все ближе и ближе. Чувствую, как все легче и легче толчки. Скорость уже давно больше скорости отрыва, но с опущенным носом самолет не оторвется. Забор растет на глазах. Он почти рядом. Медленно, а затем все быстрее поднимается нос — и тут же отрыв. Замираю, съеживаюсь, жду удара колесами о забор. Боковым зрением замечаю, как он проскакивает подо мной. Значит, пронесло! Левая рука отпускает ручку и привычно тянется к приборной доске. Я что-то должен сделать. Ах, да! Выключить самописцы. Надо еще записать посадку, поэтому надо экономить ленту.

Набираю тысячу метров. Здесь можно расслабиться и все обдумать. Сердце стучит, как отбойный молоток, дышу, как рыба, вытщенная на берег. За эти немногие секунды я устал так, будто на мне целый день возили в гору воду. Болят все мускулы, руки, ноги, шея и даже скулы. Растягиваю круг над аэродромом: надо успокоиться. Делаю один круг, затем второй. Волнение улеглось, чувствую себя бодро.

Захожу на посадку. Сажусь идеально, самолет очень мягко бежит по пашне и останавливается. На-

строение великолепное. Левая рука привычно тянется к приборной доске, чтобы выключить самописцы. Но они выключены. Эх, я же забыл их включить перед посадкой! Выключаю двигатель, расстегиваю ремни. Механик помогает мне вылезть из кабины.

— А где же Лев?

Механик показывает на поле. Лева все там же. Только сейчас он сидит на земле, обхватив голову руками. Снимаю шлем и направляюсь к нему.

Хорошо все же ходить по земле в такой обычный чудесный летний день!

Ничего на земле не изменилось. Ведь прошло всего минут десять. Все так же слышны трели жаворонков. Только та росинка скатилась,— наверно, ее стряхнуло звуком моего двигателя.

— Левушка, а я забыл на посадке включить приборы.

Он поднимает голову. Волосы у него мокрые, как будто его облили водой.

— Э! — восклицает он и машет рукой.— Лучше помоги мне, старик, подняться, ноги что-то меня не держат.

## 2

### БЫВАЕТ И ТАК...

— Семьсот пятнадцатый, ответьте! Семьсот пятнадцатый, ответьте!..

Прошло минут пятнадцать, как с ним оборвалась связь. Но это не вызывает у нас никаких волнений. Так иногда бывает. Вдруг откажет передатчик, ты все слышишь, но ответить не можешь. Не срывать же из-за этого выполнение задания...

— Семьсот пятнадцатый, ответьте! Ответьте!..

Все невольно смотрят на часы. Да, сейчас он уже должен закончить задание и, вероятно, с минуты на минуту пройдет над полосой и покачает крыльями, чтобы дать о себе знать перед посадкой...

— Семьсот пятнадцатый, отвечайте!..

Нет, все не так просто, как показалось вначале.

У него уже должно кончиться горючее. Но... В авиации всякое бывает.

— Ответьте, семьсот пятнадцатый! Ответьте!..

Может быть, он сел на один из запасных аэродромов? Надо узнать. Ведь бывает и так...

Нет, его нет и на запасных аэродромах. Его не видели и не слышали и там...

— Ответь, семьсот пятнадцатый! Ответь!..

Как раздражает этот теперь никому не нужный, одинокий призыв в эфире!

Надо позвонить на старт, чтобы прекратили вызывать. Ведь этого времени хватило бы на три полета. Теперь только одна надежда, что он катапультировался или сел на вынужденную. Тогда он сам позвонит по телефону, как только до него доберется. А до него ему помогут добраться довольно быстро. Ведь он везде у себя дома, на своей земле, среди своих людей. Ведь и так тоже бывает. Тогда надо набраться терпения еще часа на два. Мы молча ждем. Кто сидит, кто ходит из угла в угол. Тихо. Комната наполняется табачным дымом. Никто этого не замечает.

— Да сядьте же вы, черти! Не мелькайте перед глазами.

За окном начинает синеть вечер. Солнце давно скрылось. Но никто не уходит еще часа два.

Потом поднимается один, за ним встают все. Молча, не прощаясь, расходятся. Ведь завтра опять вставать чуть свет, да и дома с тревогой ждут всех.

Всех!

### 3

## ГОРЬКАЯ «СОЛЬ»

Приходилось ли вам когда-нибудь доказывать и убеждать окружающих в том, что сделанное вами не сделано? Более того, что это вообще невозможно сделать? Нет? А мне как-то раз пришлось.

Было это лет десять назад. Мне поручили провести исследования, в которых нужно было выяснить возможность посадки на аварийном управлении самолета

том. Сложность была в том, что в конце концов надо было сесть, управляя самолетом на этой системе при выключенных двигателях.

Я с жаром принялся за работу. В каждом полете задание усложнялось. Выполнялись посадки самыми различными методами на работающих и остановленных двигателях. Мне нравились посадки без двигателей. Сначала несешься к земле очень круто, чтобы сохранить скорость, и уже вблизи земли начинаешь уменьшать угол. Скорость постепенно падает, и ты вписываешься точно-точно на бетон. Самолет очень нежно касается полосы и после небольшого пробега останавливается.

Но все это было при нормальном управлении. Это было как бы тренировкой, репетицией к основной работе.

И вот я начал переходить на аварийное управление. Уберешь обороты, перейдешь на аварийное управление и понесешься вниз. Затем осторожно уменьшаешь скорость. Уменьшил немного. Дал газ и ушел на второй круг. И так несколько раз за полет. Потом перехожу на нормальное управление, выключаю двигатели и сажусь. Это для тренировки, чтобы не терять «форму».

Из полета в полет все ниже и ниже к земле, все меньше и меньше скорость. Ничто не вызывало сомнений, и исследование продолжалось. Наконец подготовительный этап кончился. Дальнейшее уменьшение скорости с последующим уходом на второй круг стало нецелесообразным. Значит, надо переходить к «соли» испытаний.

Посоветовались, посмотрели графики и решили — быть по сему. Никаких препятствий для окончательного эксперимента нет.

Полет начинается как обычно. Для тренировки повторяю режим прошлого полета. Один раз, второй, третий. Еще немного уменьшаю скорость, совсем чуть-чуть. И тут же чувствую небольшое изменение в поведении машины. Менее охотно самолет слушается рулей. В душу заползает червь сомнения. Тут бы в самый раз и кончить на сегодня, сесть нормально и просмотреть записи приборов.

Но... О, эта гордыня! Захожу последний раз и, чтобы, так сказать, убить червя сомнения, выключаю двигатели. Теперь нужно не сомневаться, а садиться. Другого выхода нет. На второй круг без двигателей не уйдешь. Несусь к земле, уменьшаю угол. Скорость падает. Плавно добираю ручку. Вот-вот самолет коснется бетона, но вдруг резко поднимает нос и отходит от земли. Я быстро отдаю ручку, чтобы остановить взмывание, а самолет резко клюет носом к земле. Я попал в мышеловку. Машина почти неуправляема. Тяну ручку, самолет выравнивается и хочет снова задраить нос, видимо, уже в последний раз. Дальше он просто ударится носом о землю: ведь скорости уже нет. И вот тут с быстротой молнии рука нажимает на кнопку тормозного парашюта. Как это случилось, я и сам не пойму, но, как показал анализ записей, это было единственным выходом. Рывок парашюта — и самолет падает всеми тремя колесами на бетон, но деваться ему больше некуда, и он послушно бежит по полосе.

Бывают разные посадки: хорошие, нормальные, грубые. Но то, что произошло сейчас, вообще не посадка: ведь нельзя каждое соприкосновение самолета с землей считать посадкой. Не так ли?

К удивлению наземного персонала, вылез я из кабины мокрый, как мышь.

Оказывается, с земли ничего «такого» заметно не было. Зато после расшифровки!.. После расшифровки всем стало предельно ясно, что произошло.

Но все же, чтобы каждый раз не объясняться, пришлось написать, что посадка на этой системе с остановленными двигателями невозможна, а произведенную «посадку» считать случайной.

Вот так вот,

4

О. Б. С.

Я давно задумывался над тем, как распространяются слухи. Особенно ложные. Но, кроме того, что они летают почти со скоростью света, выяснить ничего не смог.



Через несколько часов после того, как мой автомобиль превратился в металлолом, друзья, находившиеся в очень далекой командировке, получили сведения «из самых верных источников».

— «ИЛ» разбился насмерть.

Полеты были прекращены. Все собрались, и я был оплакан под грустный звон стаканов.

Мне очень жалко, что я не мог быть на этих поминках. Ведь они говорили обо мне. Вот бы послушать!

Но к утру все ложные слухи рассеялись, и скорби пришел конец.

Хоронили меня и еще раз — только не друзья. И целили они в общем-то не в меня.

Я уже ходил, что называется, на своих собственных, когда Юрий Алексеевич Гагарин вышел на орбиту вокруг Земли.

Все ликовали. Все гордились. Все чувствовали себя именинниками. Почти все. Нашлись за рубежом и такие, которые вместо того, чтобы писать за здравие Юрия Алексеевича, решили писать за... упокой моей души. Почему? Я и сам не пойму этого до сих пор. Видимо, для полного счастья им не хватало, чтобы у соседа сдохла корова.

И пришлось мне из далекого Ханчжоу посылать прошение, чтобы меня пока не вычеркивали из списка живых. Уж очень мне хотелось летать. Тем более что к тому времени была уже, наверное, запровлена чернилами ручка, которой вскоре была сделана в моей медицинской книжке запись: «Годеи к летной работе летчиком-испытателем без ограничений».

А! Вас интересует, что же такое О. Б. С.? Это же очень просто: одна баба сказала.



## Петух



детстве меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья — мать, две взрослые дочери, два взрослых сына — с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястребы чувствовали бли-

зость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось, как представителю хилого городского племени, выпивать пару свежих яиц из-под курицы, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которые неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стенку. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание — и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн Рид «Всадник без головы» и Вильям Шекспир «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла. Имена героев звучали, как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, капитан Кассий Колхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коварубио де Лос-Льянос.

«— Просите прощения, капитан,— сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.

— О, ужас! Он без головы!

— Это мираж! — воскликнул капитан».

Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосуточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка за-

прокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное стрелчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение — и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными, мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.

— Не жилец,— говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух. Самодовольный, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие? Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытался разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть.

Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клопоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных

шагов в сторону летящей птицы, но так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он поглядывал на небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье вороны,— он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожительниц в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насилием. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загораживал свою находку или отгонял ее, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную.

Чаще всего это была опрятная, белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за нею, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь хранить солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось — пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было не-

чего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше наглед. Если я переходил двор, он бежал за мною некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и встал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но, видимо, напрасно. Он склевал подачку, но видно было, о примирении не может быть и речи.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянул шею наподобие гусака и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушиные проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел в меня. Я успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрываясь табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выключить мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака — и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него.

Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше — в комнату, захлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался. Я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись, за

дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добился, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.

На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько моток от палки; его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность.

У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе, как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так, я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явью выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценосок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпусткая из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу начисто оглушил меня на одно ухо. Страх удесятерил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала и дергалась у меня в ладони, и ощущение было такое, как будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнятые когти шевелились, стараясь нащупать тело и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Победенный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить — набросится, а держать его бесконечно невозможно.

— Перебрось его в огород,— посоветовала тетка.

Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками. Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный крик убегающих детей:

— Ма-ма!

Надо быть очень глупым или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался на мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, он продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру он вышел из кустов, притихший и опечаленный.

Промывая мои раны, тетка сказала:

— Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.



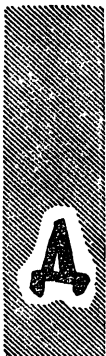
На следующий день мы с братом начали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротою страуса. Он перелетал через огород, прятался в кустах, наконец, забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилося, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушинных боев давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело.



## Владимир Ильич на отдыхе



А ело было давненько, лет этак около шестидесяти тому назад. Я жил тогда в Женеве, работал в партийной газете. К вечеру нередко выезжал за город на велосипеде по дороге к горе Салев.

И вот однажды вижу впереди себя велосипедиста, чем-то знакомого. Нажимаю на педали по сильнее.

«Ба, да это Владимир Ильич!»

Что у Ленина есть велосипед и что он ездит на нем на работу в Женевскую публичную библиотеку, это я знал. Но никак не ожидал встретить его на велосипеде за городом. Быстро догоняю его.

— Здравствуйте, Владимир Ильич!

— А-а, здравствуйте, товарищ Калинин,— ответил он, называя меня по литературному псевдониму.

— Куда путь держите, Владимир Ильич?

— Да к Салеву, конечно. Куда же еще?

— Да куда угодно! Давайте хотя бы свернем на проселок.

— Где?

— А хотя бы вот тут!

И я нырнул между кустами по проселку вниз. Владимир Ильич — за мной. Через несколько минут мы были на берегу светлой, говорливой горной речки Арв, струившейся по камням.

— Это Арв?! — удивился Владимир Ильич. — Со всем непохожа на ту мутную речку, что в городе! А здесь она бежит прямо с гор.

Мы с наслаждением растянулись на зеленой мураве и долго молчали, наслаждаясь прохладой и мелодичным звоном горной речки...

Потом Владимир Ильич тихо сказал:

— Совсем как у нас, где-нибудь у Волги под Казанью!

— Или как у нас, где-нибудь у Суры под Пензой! — в тон ему сказал я.

— Вы пензяк? — оживился Владимир Ильич.

— Да, Владимир Ильич, пензяк. Родился там и учился во второй пензенской гимназии. Там же организовал социал-демократическую ячейку из учащихся.

— Вот оно что... В Пензе у меня жили родственники... — И он стал расспрашивать меня про Пензу.

Поздно вечером мы вернулись в Женеву.

После этой встречи я задумал непременно вытянуть Владимира Ильича на более длительную прогулку. Долго он отнекивался занятостью. Но наконец согласился.

И вот ранним утром я легонько стучу в ставню окна дома в предместье Женевы, где жили тогда «Ильичи» — так мы называли Владимира Ильича и Надежду Константиновну.

— Сейчас, сейчас! — послышался за окном голос Надежды Константиновны. Она открыла ставню.

— Здравствуйте, Вячеслав! Владимир Ильич сейчас идет.

Вот он, в дорожном костюме, с велосипедом, с рюкзаком за плечами.

— Смотри, будь осторожен, Володя! — напутствовала Надежда Константиновна.

— Не беспокойся, не беспокойся за меня, Надюша! Не в первый раз еду.

Мы сели на велосипеды. Я помахал Надежде Константиновне рукой.

— На Большой мост? — спросил Владимир Ильич.

— Нет, это был бы большой крюк! — пошутил я. — Ниже на реке есть другой мост, у электростанции. Через него мы и переедем на ту сторону Роны.

По дороге я сказал Владимиру Ильичу, что нам придется спускаться к электростанции по очень крутой дороге вдоль берега и что на мост дорога поворачивает под прямым углом. Надо быть очень осторожным при спуске и все время крепко нажимать на тормоза.

Для большей убедительности я рассказал, как тормозят здешние крестьяне телегу на таких крутых спусках. К телеге прикреплен на цепи особый железный снаряд в виде лодочки. При спуске с крутой горы эту лодочку подкладывают под заднее колесо. Это колесо становится неподвижным и надежно тормозит телегу.

— Ловко придумано! — сказал мой спутник.

Но, как только мы подъехали к спуску, он со всей убыстрившейся скоростью пустился вниз. Я — за ним. Кричу ему истошным голосом:

— Тормозите! Тормозите!

Владимир Ильич пытался затормозить, даже тормоза завизжали! Но было уже поздно. На повороте он ударился правым боком о железную решетку моста. Из заднего кармашка велосипеда выскочила от удара масленка и упала в воду.

Все это произошло мгновенно, на моих глазах, и я ничем помочь не мог!

Подскочил к Владимиру Ильичу, спрашиваю, заикаясь:

— Вла-ди-мир... Ильич... больно?

С трудом он отвечает:

— Да-да... конечно... но... к-кажется... не очень...

У меня отлегло от сердца... «Хорошо еще,— подумал я,— что удар пришелся о решетку, а не о железный столб ограды!»

— Владимир Ильич, попробуем слезть с машины. Возьмите меня левой рукой за шею... Так... Держитесь правой рукой за руль. Попытайтесь перекинуть правую ногу через седло...

Владимир Ильич с трудом, с гримасой боли слез с машины.

— Кажется, ничего... Стоять могу... Попробую пройтись...

Он взял машину за руль, и мы медленно сделали несколько шагов по мосту.

— Только вот что: Надежде Константиновне об этом ни гу-гу!

— Конечно, конечно! Что вы, Владимир Ильич!

Мы постояли еще немного и пошли по мосту посмотреть электростанцию.

Нас охотно пропустили на осмотр машинного зала. Только спросили:

— Русские?

— Да.

— Большевики? Меньшевики?

— Большевики.

— Очень хорошо!

Нас пригласили в большой зал, где гудели машины. Там было уже много народу.

Инженер сказал:

— К нам в гости прибыли товарищи из России, большевики.

В зале раздались дружные аплодисменты и возгласы:

— Привет большевикам!

Владимир Ильич просиял и сам в ответ зааплодировал.

— Скоро ли будет революция в России? — спросили из зала.

— Скоро! — крикнул Ленин и попросил слова.

— Товарищи! — сказал он. — У вас в Швейцарии по-

литическая свобода, а у нас в России царское самодержавие. Но мы скоро свергнем царскую власть!

Снова раздалась еще более дружные аплодисменты.

— А потом? — услышался вопрос.

— А потом мы будем бороться за социализм! (Аплодисменты.) И еще посмотрим, кто построит его быстрее: вы или мы!

— Bravo, Ленин! Bravo! Ура!

Мы дружески простились со швейцарскими товарищами. Владимир Ильич был очень доволен этой встречей, особенно вопросом: «А потом?»

Поехали дальше по правому берегу Роны. Но река скоро ушла от нас куда-то влево, на восток. А справа тянулись невысокие лесистые горы — Юра.

Мы долго ехали рядом, наслаждаясь природой, перекидываясь изредка несколькими словами.

Но вот сквозь редкие кусты и деревья с левой стороны дороги Владимир Ильич увидел далеко на востоке сверкавшую на солнце длинную полосу воды.

— Озеро? — спросил он.

— Нет, Владимир Ильич, это Рона.

Едем и едем дальше...

— Смотрите,— говорит Владимир Ильич,— за кустами вода!.. Да как много!.. Целая река!

— Это Рона пожаловала сюда. Наблюдайте внимательно за ней. Она покажет нам свои фокусы.

— Какие?

— Увидите сами.

Катим дальше все по той же дороге. Вдруг наблюдательный Владимир Ильич говорит:

— Смотрите, смотрите: за кустами у берега все чаще и чаще попадают большие камни. Да вон они торчат из воды и дальше, дальше по реке. Что за история такая?.. Нет, вы смотрите, смотрите, что только делается! Камней становится все больше и больше, а воды все меньше да меньше!

Через некоторое время Владимир Ильич останавливается и долго, с изумлением глядит на совершенно сухое каменное ложе исчезнувшей реки...

Затем он срезает с куста длинный прут, спускается на дно сухого русла и внимательно исследует щели между камнями, проталкивая туда прут. Затем выходит на берег и сообщает мне:

— Воды нет нигде!

— Вот это чудесное явление природы и называется «Perte du Rhône» — «Пропажа Роны».

— Да, да... Была река, и нет ее... пропала!

Владимир Ильич задумался... Потом вдруг сказал оживленно:

— Но позвольте, позвольте! А что сказано в учебниках географии: Рона впадает в Средиземное море, как и Волга — в Каспийское! Так это или не так?

Он смотрел на меня, насмешливо улыбаясь.

— Владимир Ильич, проедем еще немного — и все будет ясно!

— Едем, едем! Что с вами поделаешь!

Проезжаем еще несколько километров. И вот на сухом каменном ложе реки что-то блеснуло в одном, в другом месте... еще и еще, повсюду...

Владимир Ильич оживился.

— А-а! Вон оно что!!! — кричит он радостно. — Красавица Рона побывала в гостях у подземного великана и теперь возвращается к нам на солнышко. Ур-ра!

Мы остановились у придорожного ресторанчика. Взяли великолепный швейцарский «поташ» — суп из всевозможных овощей — и бутылку пива, развернули припасы Надежды Константиновны. Пообедали с большим аппетитом. Поехали обратно.

Я предложил заехать в лес и отдохнуть. Владимир Ильич охотно согласился. Мы поднялись по тропинке, забрались в чащу, растянулись на траве и заснули под пение птиц.

Хорошо отдохнувши, отправились в обратный путь...

Теперь мы мало разговаривали. Помнится, Владимир Ильич рассказал мне об интересном проекте снабжения Парижа водой из Женевского озера. Для этого надо было пробить туннель сквозь невысокие Юрские горы и проложить водопровод до столицы Франции. Парижане получили бы в изобилии чистейшую горную

воду. Но этот проект сорвали парижские капиталисты, снабжавшие город плохой водой, да и той в недостатке<sup>1</sup>.

Мы вернулись в Женеву еще засветло. Надежда Константиновна сидела у раскрытого окна, читала книгу.

Владимир Ильич молодецки соскочил с машины.

— Ну, Наденька, какую же чудесную прогулку мы совершили! Чудесную в буквальном смысле слова! Мы видели подлинное чудо природы! Хватит на весь вечер рассказывать! Скажи спасибо Вячеславу!

— Хорошо, хорошо, герой! Ты входи-ка да вводи своего коня. Чай, устал страсть как!

— Нисколечко! Мы отдыхали в лесу!

Я простился с самыми близкими моему сердцу людьми и уехал.

---

<sup>1</sup> Ныне Париж снабжается водой из ближайших рек, соответствующим образом очищенной.







## Девочки

ни жили в Туманной долине вторую неделю. Казалось, что прибыли только вчера,— быстро бежали дни, а все было неустроено и непрочно.

Долина обживалась недавно; кое-как сколоченные общежития оказались переполненными, и девушек поселили на берегу реки, в палатке, поставленной прямо на траве без всякого помоста.

Она была вместительная, как сарай. Внутри в полутьме стояли скверно отесанные столбы и ряды кроватей с никелированными спинками. В проходах положили доски. Под кроватями росла трава. У Наткиной

постели покачивался желтый луговой цветочек — бледный, без запаха, с холодными блестящими лепестками.

Девушки повесили на брезентовые стены разные фотографии и открытки, запахло духами и утюгом. Клапаны окошек наглухо зашили в первый же вечер, борясь с комарами, потому в палатке круглый день горела лампочка, подвешенная к столбу. На другом столбе кричал репродуктор.

Все они были москвичками, приехали по набору на строительство металлургического комбината. Они ожидали увидеть вырастающие корпуса, башенные краны; на самом же деле все оказалось не так.

Была огромная, поросшая густой травой и усеянная валунами горная страна. Такое им случалось видеть разве что в кинофильмах. Цепями стояли мрачные, до половины поросшие лесами сопки, и если долго смотреть на них, кружилась голова, приходили почему-то суровые, невеселые мысли. Говорили, что там, в лесах, полно волков.

Обычно рано утром вершины загорались яркими факелами, внизу же продолжали лежать сырость и голубая полутьма. Горы разгорались, солнечная лава ползла с них по осыпям в ущелья, мягко и бархатисто начинали светиться леса, а в долине долго еще лежала ледяная роса. Только часам к десяти над хребтом всходило усталое горячее солнце, принималось высушивать землю, калить валуны. С солнцем оживала мошка и собиралась в серые, призрачные столбы, настойчиво-отчаянно преследовавшие людей и лошадей.

Откуда-то из ущелья, из голубоватого тумана вытекала узкая клокочущая река с прозрачной ледяной водой. Она цельным упругим валом скатывалась с порога, словно скатерть со стола, и дальше пошла прыгать, и беситься, и дробиться на тысячи лежащих в русле скал. Прорвавшись сквозь них, она, злая, сизо-черная от волн, широко разливалась и где-то вдали исчезала в поворотах и отрогах гор.

Эти пороги наполняли долину вечным равномерным шумом: так шумит на ветру сосновый бор. Иногда сквозь него слышались глухие пушечные удары. За-

сыпая, девушки слышали, как от ударов вздрагивает земля под ножками кроватей. До порогов снизу ходили катера. Выше пробиться они не могли, выгружали людей прямо на прибрежный луг и уходили обратно.

Первые три дня рыли глубокую траншею. Земля была твердая, пополам с галькой, о нее скрежетали и ломались лопаты. Докопались до воды и остановились. Стали выгружать доски, убирать валуны. Кое-кто ходил с перевязанными ладонями. А по вечерам под гул порогов Натка втихомолку скулила от жуткого безответного чувства.

Прежде Натка была токарем на «Красном пролетарии», неплохим токарем. Жилось ей, впрочем, не очень важно. Отец вторично женился, дети не ладили с мачехой. Спрятаться, чтобы ее не видеть, некуда: комната одна. Старший брат женился, родился ребенок, стало совсем невмоготу. Натка с седьмого класса ушла на завод, зарабатывала уже девятьсот — тысячу рублей. Тут начали звать на стройки Сибири, многие собирались в путь. Натка прикинула так и этак и тоже записалась. Был шумный, скандальный разговор с мачехой, когда Натка обстоятельно и злорадно выложила все, что она думала. Кстати, пусть поживет теперь без ее девятисот — тысячи рублей. Наутро устраивались заводские проводы с музыкой, цветами и речами. Тысячу рублей выдали подъемных. От дирекции подарили Натке модельные туфли, а девчонки не знали и от себя в складчину купили ей другие туфли, на микропоре, так что у нее оказалось две пары новых туфель.

Но обидно, что здесь надевать их некуда. Всюду сырость, машины разъездили дороги до глубокой грязи. Рабочие ходили в больших резиновых сапогах, выданных из кладовой.

Натке достались сапоги, уже кем-то ношенные, потертые и с дыркой повыше щиколотки. Каждый вечер, стаскивая их, она осматривала дыру, мечтая, что она станет шире. Тогда она пошла бы, потребовала сменить. Но резина не рвалась; видно, дыру пропорол случайно каким-то острым предметом, может, даже человек опасно поранился, и Натке было жаль его, но в то же время она осуждала его за то, что вот такие

крепкие еще сапоги он пробил. Теперь у всех сапоги целые, а ей достались дырявые.

Она оказалась предусмотрительной девушкой, привезла валенки, куски фланели на портянки (которые сразу же ах какгодились!), привезла кастрюльку и еще кое-что из посуды, два теплых платка, варежки, шесть пар чулок, узел белья — в общем, набралось две большие корзины и чемодан, которые хранились под кроватью.

Соседкой Натки справа была Тамара — сероглазая полненькая девочка семнадцати лет. Она поехала прямо из школы, ничего не знала, не умела, разбила руки в кровь, и они у нее были перевязаны бинтами, которые вечно пачкались. Натка научила ее заворачивать портянки, иначе она и ноги разбила бы.

Тамара рассказывала, как она навсегда поссорилась с мамой, но настояла на своем, потому что на стройки решил поехать весь класс, целиком, без дезертиров. Мама причитала и провожала ее, как покойницу, а сейчас просит в письме писать ей каждый день хоть две строчки. Наверное, она там глаза проплакала. Конечно, жалко маму.

Вечерами, устало укладываясь первой, Тамара долго не могла уснуть, ворочалась, накрывалась одеялом с головой и вздыхала. Может, потому, что допоздна горел свет, а девчонки шумели, ссорились или рассказывали анекдоты. Но Натке казалось, что ее соседке страшно одиноко. Она, наверное, думает о прежней жизни, о том, как она сглупила, что поддалась наивному порыву и оставила дом.

Самой Натке не приходилось с сожалением думать о доме, но вот уж седьмой день, как ей тоже уютно и одиноко.

Соседкой слева была Валя, контролер с фабрики резиновой обуви. Это была красавица, высокая, белокурая, ширококостная, со смелым, вызывающим взглядом умных карих глаз. Она ни черта не боялась, глубоким, сочным голосом пела модные песенки, одевалась и причесывалась как попало, но ей шло все, и шоферы, возившие доски, приставали к ней, в палатку же вечерами ходили чередой, как мотыльки на свет.

Валька не привезла ни вещей, ни посуды, но уже

кто-то приволок ей огромный армейский котел; она велела всем складываться и по очереди бегать в лавку за макаронами, сама же варила суп для всей палатки на маленькой плите, которую под ее руководством сложили из валунов ребята-каменщики. Плита стояла во дворе перед входом, весело дымила и отгоняла мошку. Ухажеры Валькины собирали по берегу щепки, шуровали в топке.

Из-за этих вечерних гостей жизнь в палатке весьма осложнялась. Ребята приносили гармошку, пиликали до двенадцати ночи, сорили шелухой орешков, «травили» разные истории, хвастались наперебой и поддевали друг дружку перед Валькой, а она умело парировала их шутки и велела одному сбегать за водой, другому натереть песком вилки, третьему подбить туфли...

Палатка была, как проходной двор: ни вымыться, ни отдохнуть. Девушки догадались завесить простынями угол и уходили туда переодеваться, иначе так и пришлось бы весь вечер сидеть в комбинезоне и сапогах.

Когда же гости, возымев наконец совесть, убирались восвояси и гасился свет, кто-нибудь в темноте начинал:

— Девчонки, а этот черненький вроде ничего, а?

— Господи, уж загляделась, счастье какое кривоное! Да у него жена в Рязани!

— Кто тебе сказал?

— А сам проговорился, разве ты не заметила?

— Не ври, Сонька, ничего такого он не говорил.

— Ага! Все они женатые, только прикидываются дурачками!

— Ой, девчонки, как вам не стыдно! Только приехали, а уже про замуж думаете.

— Это Валька думает, навела их сюда. Они ей «Валечка, Валечка», а она, дурочка, ра-ада!

— Эй ты, не твое дело! Или завидно?

— Го-осподи, стала бы я завидовать! Я в ярмо не тороплюсь, это тебе замуж не терпится, аж скачется.

— Ученые написали,— язвительный голос Вали,— что выходить замуж не противопоказано. Между прочим, все вы выйдете замуж, до единой, и раньше меня. Спорим?

Обычно после этого разгорался спор, не утихавший по часу. И уже в тишине, засыпая, кто-нибудь добавлял:

— Лешка сегодня сказал, что в воскресенье будут танцы.

— Что?

— Где?

— Правда?

Все приятно взбудораживались, и опять Тамара скрипела сеткой, Натка плотно втискивала уши в подушку, слушала тревожный грохот порогов и дрожание земли, но, впрочем, краем уха нет-нет да и улавливала разговор: ведь все же интересно, а где будут танцы?

## 2

Поначалу, видимо, им не могли найти определенного занятия. После досок поставили вязать арматуру. Тут был мастер Прокофий Груздь — крикливый, суматошный и неприятный человек. Он привел всю вереницу девиц на вытопанную площадку, что-то накричал, потыкал руками в проволоку, кому-то объяснил, кому-то не успел; его позвали на растворный узел, он взмахнул руками и скрылся.

Вытопанная площадка претенциозно именовалась береговым полигоном; трое пожилых бетонщиков отливали на ней бетонные брусья с хвостиками на концах. Они очень уважали себя, молчаливые, чем-то похожие на колдунов. Им требовались проволочные клетки для брусьев, много клеток, и девушки стали пытаться делать эти клетки.

Мало кто умел обращаться с проволокой. Она была упругая и вырывалась из рук. Клетки получались до смешного кривые. Бетонщики презрительно злились: тоже, прислали бабью команду!.. А мошка свирепствовала в этот день сильнее, чем прежде: видно, здорово изголодалась. Девушки завязали лица платками, так что только глаза светились, но мошка набивалась под платок, в рукавицы и жалила.

Часов в одиннадцать подъехал на машине молодой незнакомый инженер. Он, вероятно, направлялся на противоположный берег.

Но катер не подходил. Инженер стал смотреть, как девушки вяжут.

— Кто вас учил? — недоуменно спросил он Тамару. — Зачем вы связываете все узлы? Это, девушка, бессмысленная работа, достаточно здесь и здесь...

— Нам мастер так велел! — Валя стрельнула глазами и сдвинула платок до подбородка.

— А вот я ему скажу, чтобы не задавал глупостей, — чему-то улыбнувшись, невозмутимо сказал инженер. — Эти узлы не работают. И вообще такие штуки делают по шаблону.

Он поднял кусок доски и по-мужски сильно, ловко намотал вокруг нее виток. Получился ровный прямоугольник.

Девушки окружили его, а инженер показывал, подробно объяснял, как детям, может быть, чересчур подробно, вежливо и даже ласково, чему-то про себя усмехаясь. У него были худые обветренные скулы, тонкий интеллигентный рот, гладко выбритый подбородок и шрам под левым глазом. Когда девушки обзавелись досками, он сразу потерял к ним всякий интерес, устало сел на краешке бревна подле Натки и закурил.

Натка рубила проволоку зубилом на конце рельса. Для бывшего токаря работа была, конечно, плевая, у нее высилась гора задела. Натка перешибала проволоку одним ударом.

— Вы все-таки поберегите пальцы, — заметил инженер.

— Ха! — сказала Натка. — Я когда была в заводе, не то делала. А тут разве работа... Один смех.

— Это очень хорошо, что вы опытная рабочая, — сказал инженер.

Натке стало приятно его одобрение настолько, что она решила еще похвалиться и, отложив зубило, поведала, что была токарем на «Красном пролетарии», зарабатывала девятьсот — тысячу рублей, ее в цехе любили, а провожали с музыкой и цветами, подарили лично от дирекции модельные туфли, а девчонки, не

зная этого, купили вторые туфли, на микропоре, и еще ей выдали тысячу рублей подъемных.

— Вы богачка! — улыбнулся инженер.

— Совсем нет... — искренне вздохнула Натка. — Знаете, еще в Москве столько покупать пришлось. Валенки надо? Надо. Варешки надо? Сумку луку я привезла, говорят, что от цинги надо... Скажите, правда?

— Лук у нас в магазине есть.

— Да? Значит, напрасно... — вздохнула Натка. — Ну, все равно. Ехали — на станциях, знаете, все покупали: и семечки покупали, и конфеты, и мороженое, а я себе купила часики «Звезда». Как вы думаете, хорошие?

Она сняла рукавицу с левой руки, закатала толстый рукав тужурки и кокетливо поблестела часами.

— «Звезда» — прочные часы, — задумчиво сказал инженер. — У моего друга есть «Звезда». Они ходят без ремонта восьмой год.

— Ну, значит, я правильно выбрала, — облегченно сказала Натка. — Только денег не осталось. Жалко. Была целая тысяча...

— Ничего, вам будут платить, — мягко успокоил инженер. — Вы давно уже работаете?

— Десятый день.

— М-да... Но не очень трудно?

— Не очень, только...

— Что?

— Ничего.

— А все-таки?

Он смотрел внимательно, сочувственно, и Натка вдруг выпалила:

— А! Не знаю... Зачем я только поехала? Зачем? Там я знала свое рабочее место, там у меня каждая тряпочка на месте лежала, каждая шайбочка протерта, меня хвалили, в газете писали. Да, а что вы думаете! — Она взглянула, ожидая, что инженер не поверит, но он смотрел сочувственно, грустно, и она бессвязно-взволнованно продолжала:

— Ночью, бывало, лежу и думаю, как мне завтра лучше работать, какой мне резец поставить... А тут заснуть не заснешь, землю копаем, сырость в палатке, а, говорят, зима придет — ой-ой! Знаете, какие тут зимы! Жила бы себе в Москве, и прописка московская



была. Говорил отец: «Подожди, квартиру дадут»,— а как их ждать, когда они все равно себе заберут, а я как пятое колесо? Пятое колесо, да и то лучше, чем в палатке; лучше уж пожила бы в Москве, а то потащилась сюда, и чего меня понесло, чего я тут не видела, ду-ра!..

И ей так стало жаль себя! Она словно впервые увидела эти ужасные горы в мрачном тумане, эту ледяную реку, взбешенную порогами, раскиданные по берегу бревна, палатки под открытым небом и среди всего этого себя, бесприютную, слабую, беспомощную, где-то далеко-далеко в Сибири, где все не такое, как дома, даже время иное: сейчас вот скоро полдень, а в Москве дорогие ее девчонки лишь просыпаются, собираются на завод...

— Ничего... ничего,— мягко и сочувственно сказал инженер.— Все уладится. Палатки— это вынужденная посадка. Вот строятся дома, вас переведут. А зима не страшна. Правда, морозы бывают большие, но тогда мы не работаем.

Натка вскрикнула, закрыла лицо и заплакала. Она не то хотела сказать, не о палатках и морозах, а он так понял. Она не умела сказать, слова рвались бестолковые, она не умела и не знала, как высказать, но ей было страшно и неудобно, она чувствовала себя беззащитной, да, беззащитной.

Вот целую неделю крепилась, а тут вдруг перед незнакомым инженером разоткровенничалась, и она досадовала на себя за это, а слезы полились еще пуще.

— Вот те раз, зачем же плакать? — тихо и серьезно сказал инженер.— Вы ведь рабочий человек, токарь с «Красного пролетария». Все пройдет, и вы увидите, что тут не так уж плохо, даже наоборот. Правда! Вот я тоже москвич и тоже скучаю.

— Где вы жили? — капризно спросила Натка, чтобы перевести разговор; слово «жили» она произнесла так, словно говорила о чудесном, сказочном мире, утраченном навсегда и для нее и для него.

— Я жил у Никитских ворот. Как раз напротив памятника Тимирязеву.

— Где магазин?

— Да, внизу магазин.

— А я жила на Таганке. В Большом Дровяном переулке... У нас там квартира.

Вздыхнув, Натка утерлась и взялась за проволоку.

— Скажите, пожалуйста, а здесь вечерняя школа есть? — спросила она, не отрываясь от работы.

— Вечерняя в этом году должна быть.

— У меня есть семь классов. Я и учебники привезла: «Химию», «Физику», «Географию», — тетрадей сорок штук...

— Умница. Без учебы в наш век науки нельзя жить, — сказал инженер, посмотрев на часы. — Школа должна быть, обязательно должна быть...

Натка, казалось, совсем успокоилась. Она кокетливо взглянула на инженера.

— Скажите, пожалуйста, а это правда, что в воскресенье танцы?

— Вот уж не знаю, — улыбнулся он, поднялся и пошел на причал.

Ухарски раскачиваясь и пыхая сизым дымком, подходил катер. Инженер ловко прыгнул на нос и сразу стал что-то громко доказывать похожему на пирата мотористу, а катер, не задерживаясь, умчался вниз по реке, туда, где розовели какие-то непонятные длинные строения.

### 3

Перед обедом трактор притащил ворох мотков проволоки на искореженном железном листе. Тракторист был тощий, длинноносый, с нахальными глазами; девушки видели его в первый раз.

— Здравствуй, милая кареглазенька! — крикнул он Вале. — Давно не виделись! Принимай эти макароны, что ли!

— Здравствуй да проваливай, — бодро отвечала Валя.

— Что земляка-то гонишь?

— Ох да земляк, ай ты не из Сухова ли Корыта, милоч?

— Вот те не упомянула меня! Вспомни, как на Курской дуге вместе в окопах мерзли!

— Что-то ты похудел с тех пор.

— Заботиться, девочки, некому, никто за меня замуж нейдет, недоедаю все, вот и худею.

— Бедненький, что ж ты жену-то бросил? Алименты шлешь? Небось, будешь недоедать.

Девчонки даже завизжали от восторга, растаскивая мотки. Тракторист приглушил мотор, спрыгнул, добродушно улыбаясь, достал мешочек: хлеб, яблоко, бутылка молока.

Где-то трезвонили в рельс — на обед.

Натка не пошла в шумный кружок, собравшийся вокруг тракториста. «Тоже нашелся петух,— презрительно подумала она,— а они уж прилипли, как мухи!» Она распрямила затекшую спину, постояла так с минутку, глядя в холодное, подернутое дымкой небо. Потом взяла свой узелок, прыгая с камешка на камешек, спустилась к реке, зачерпнула в чашку воды.

Чашка была домашняя, потертая внутри, на ней был нарисован пруд с лодкой, вокруг него веселенькие домики с острыми крышами и даже колоколенка с грачами. Впрочем, вместо грачей были только черточки, но, наверное, это были грачи.

Почему она не пошла в столовую? Потому что столовая была далеко от берега, весь перерыв убьешь на дорогу да еще в очереди настоишься. Натка стала есть булку с конфетами и запивать водой из чашки. Кроме булки и конфет, она ничего не успела утром купить. Но она не огорчалась. Она была сластена и обожала конфеты — не те, что большие, мягкие, а которые маленькие, твердые — подушечки, драже, например. Или «морские камешки». Она могла съесть их хоть полкило.

Натка вдумчиво жевала, а мысли ее уже вертелись вокруг вечера: надо пересмотреть лук, не начал ли прорасти. Лук — это такой овощ, чуть недоглядишь, уже пошел выпускать стрелки; в палатке же он лежит на сырой земле.

Потом надо выстирать рубашку и лифчик, а где взять корыто, а где сушить? Очень неприлично повесить их вот так, на виду, когда в палатку без конца ходят мужчины. Дома забросила бы на веревку в ванной — и дело с концом. А тут сушилки нет, и комби-

незон и сапоги натягиваешь сырые... Она подняла ногу и осмотрела левый сапог. Дырка не увеличивалась.

За ее спиной кто-то длинно и жалобно высморкался. Вздогнув, Натка обернулась. Чуть повыше, на камне, сидела Тамара с недоеденным бутербродом в руке. Сверху слышался смех и визг. Вот дурехи!..

Натка пожевала булку, еще раз оглянулась. Тамара так и сидела с надкушенным бутербродом, смотрела на бегущую воду.

— Болят руки? — спросила Натка и, не дожидаясь ответа, беззаботно объяснила: — А! Они всегда сначала болят, негодные. Я когда пришла на завод, ой-ой как уставала, и все косточки болели. Приду, лягу, а сама думаю: как же я завтра пойду? А потом стало хорошо. Позабыла даже, что было плохо.

— Я не боюсь их, трудностей! — вдруг горячо сказала Тамара. — Я так и писала: не боюсь! Ну и что ж, что палатка, мошка! Испугали! Я не играть ехала, да! Но когда они так относятся... Что он, прибежал, накричал, делай, как хочешь... Я не знаю, что надо вязать, а что не надо вязать. Это несправедливо! Я не виновата, что еще не умею. Они сами не знают, что им нужно. Один говорит так, другой не так, одному узлы, другому не надо узлы! Только и знают: «Палатки — это вынужденная посадка!» И столовая за пять верст — тоже «вынужденная посадка», а сами дома едят, у них голова не болит, а вы живите, как хотите, на «вынужденных посадках», а вечером Прошка примчится: «Что такое, что-то вы мало сделали, девочки, ма-а-ло! Да, пло-охо!»

— В Прошкино положение тоже войти... — рассудительно вздохнула Натка. — И с него, небось, спрашивают. Вон у нас в заводе мастер, так он знает свое место, свой цех, и конторка у него стеклянная; победишь, бывало, спросишь: «Дядя Леня, вот так дело, то-то и то-то». А здесь... мечется, угорелый, один на весь участок.

— Я не думала, я и вообразить не могла такое... Безобразие! — воскликнула Тамара, и голос ее задрожал. — Зачем вы нас звали, если сами не знаете, что с нами делать? Мы не просились, вы сами звали, красивые слова писали! Слова!..

— Тамаронька, это все поначалу,— неуверенно сказала Натка,— а потом все уладится. Я думаю, что уладится...

— Мамочка моя, мамочка!— вскрикнула Тамара и закрыла глаза ладонью.— Не пускала меня, говорила: «Ой, каяться будешь!» Ой, как ты была права!

И она зарыдала, уткнувшись в платок, а надкушенный хлеб с колбасой так и держала в руке. Кружок колбасы свалился в траву.

Натка подхватила свой узелок и пересела выше. Отобрав бутерброд, она стала вытирать Тамарино лицо, приговаривая, как над ребенком:

— Ну, не плачь, деточка, вот глупенькая, еще и двух недель не прожила, а испугалась. И не стыдно тебе? А мы, Тамара, не бессловесные! Вот мы посмотрим-посмотрим, а чуть что — пойдем и нажались куда следует. Право слово! Мы не нанимались без столовой работать. Захотим, уедем даже, никто нас не удержит.— Она заведомо говорила неправду. Она знала, что не уедет, что она комсомолка и вызвалась сама, и нет ей возврата в Москву без позора после всего, что было, после тех проводов, а также после ссоры с махехой. Ах, как все сплелось!..

Вот негодники, погляди-ка, в речке купаются!— хитро стала она отвлекать внимание.— Ну не плачь, ну посмотри, какие отчаянные. Вот головорезы! Вода-то ледяная, а они купаются.

— Где? — Тамара начала сморкаться, вытирать покрасневший нос.

— Да вон полезли. Ву-уй, как им не холодно!

— Сумасшедшие,— презрительно сказала Тамара и, вздыхая, стала дожевывать свой бутерброд.

Купальщики заходили в воду у самых порогов. Там вода бурлила, кипела. Поэтому никто не рисковал плавать, а только окунались, барахтались и выскакивали, ошпаренные, торопились натянуть рубахи, не попадали в рукава — и мошка набрасывается озверелая.

Пришел худой, долговязый парень со светлой лобастой головой, остриженной под машинку, совсем как солдатик. Он снял сапоги, рубаху и долго шлепал по воде широкими грубыми ступнями, плескал на лицо, на плечи, а штаны снимать не решался. Он был смешной. Его голое до пояса тело жгла мошка — а в воду не шел.

Потом все объяснилось просто. У него не было трусов. Испуганно оглядевшись по сторонам, он спустил штаны, и под ними оказались белые солдатские подштанники с тесемками. Он быстренько закатал их повыше, сколько мог. (Тамара стыдливо опустила глаза, а Натка жевала и глядела как ни в чем не бывало: будто ее братья не носили кальсоны, будто она мало их перестирала!) Ребята засмеялись над парнем, причем подтрунивали так, чтобы девушки слышали. Он что-то невнятно ответил и, зябко ежась, стал заходить все глубже — неумелый, бестолковый, как курица. Он долго примерялся и не решался окунуться, а на берегу все смеялись и припугивали.

Натке стало жалко его. Хоть бы отважился, окунулся да скорее уходил.

Парень окунулся. Потом еще и еще, взвизгнул, фыркнул и поплыл.

Конечно, ему стало обидно, что над ним потешаются, потому он опасно поплыл, в самый водоворот. У Натки сжалось сердце. Она почувствовала, что происходит нечто серьезное, и вот так, по глупости, могут сгубить человека. Она хотела окликнуть, но он бы не услышал за грохотом порогов. Голова парня очутилась на краю водоворота, скользнула в него и исчезла. Натка ахнула. Через минуту голова появилась уже за водоворотом. Парень плыл. В самой буче, в пене.

Вот же грех, ну, возвращался бы, а то стукнет о камень!

На берегу перестали издеваться. Кто собрался уходить, и тот оставался; все смотрели.

Голова ныряла за порогами, уже на самом стрежне. Ее быстро сносило.

Парень плыл, не оглядываясь. Его вынесло на широкий простор, понесло все дальше и дальше, так что голова уже казалась едва заметной точкой; она то и

дело исчезала за гребнями. Боясь потерять ее, Натка привстала и следила, как эта точка повернула к берегу и мучительно долго боролась с течением; она прибилась далеко-далеко к скале, и бесстрашный пловец выбрался на камни.

Натка и Тамара облегченно вздохнули. А парень в мокрых подштанниках рысцой побежал вдоль кромки, смешно подскакивая на острых камнях, прибежал искусанный и преследуемый темной тучей мошкары. Зайдя за куст, он стал переодеваться.

— А мы так переживали, что вы можете утонуть,— уважительно сказала Натка.

Парень промолчал, он выкрутил кальсоны и принялся мыть в воде свои сапоги.

— Хотите конфет? Как вас зовут?— спросила Натка.

Парень улыбнулся.

Улыбка у него была добрая, трогательная; сам он был совсем молоденький, оттого, вероятно, такой долговязый, несуразный.

— Никитой звать,— хрипло ответил он, подрагивая от холода.

— А мы из Москвы приехали. А вы?

— Из Читы я.

— А вы в Москве бывали?

— Нет, не был.

— А мы в Чите не бывали. Скажите, а почему у вас в Сибири так много мошки?

— Это сезон. Скоро пройдет, вы не пугайтесь. Как придется: в одном году много, в другом нет. Вы, верно, недавно приехали?

— Да, мы недавно приехали. Первого числа из Москвы уехали,— вздохнула Натка и похвасталась:— Знаете, как нас провожали? С музыкой, с цветами! Вот Тамара — она из школы. А я работала токарем. На «Красном пролетарии». Как меня не хотели отпускать! Мне от дирекции лично подарили туфли модельные, прекрасные туфли. А девочки купили другие туфли, на микропоре. Хорошие туфли!

Никита с интересом выслушал, но молчал. Полагая, что ей не верят, Натка еще раз подчеркнула:

— Очень хорошие туфли,— и вздохнула.

Тамара перепуганно молчала, и Натке одной приходилось вести беседу. Она сообщила, что привезла — подумать только, какая наивная! — целую сумку луку, а что с ним теперь делать? Она привезла еще два выходных платья и два простых; ведь для начала это неплохо, правда? И валенки, варежки, два шерстяных платка.

— Ого! — хмыкнул Никита.

— Фи, а сколько у меня в Москве осталось! — прихвастнула Натка уж неизвестно зачем.

Просто она подумала, что ведь в самом деле у нее есть вся теплая одежда, а как это хорошо, что есть во что одеться, и пусть себе приходит студеная зима, то-то весело будет!

— У меня одеться вот так, вот так и вот так хватит. — Она провела рукой сначала по шее, потом выше рта, потом над макушкой.

Ей впервые за эти дни вдруг стало так покойно, даже радостно. Все показалось очень красивым: эта река, пороги, даже лобастый Никита, бесстрашный пловец, который вон запросто перемахнет реку туда и обратно, коли захочет; сезон мошки, конечно, пройдет, а зима приятна, если есть валенки, пальто, платки шерстяные...

— Хотите, приходите к нам в гости! — от всей полноты хороших чувств пригласила она. — У нас девочки все из Москвы, такие славные, хорошие, правда, Тамара?

Покраснев, Тамара что-то пробормотала. Зазвенел рельс, девушки поднялись. А Никита ушел, неся в руке скомканные мокрые подштанники. И Натка не знала, остался ли он доволен знакомством и придет ли вечером в палатку.

Ей хотелось, чтобы пришел.

5

Но он не пришел.

Не потому, что он не пришел, а вообще, в силу разных глупых обстоятельств вечер получился тягостный. Ночью полил дождь.



Шумели пороги, и кровать вздрагивала от ударов воды. Шумел брезент палатки под дождем.

Девчонки спали, и одна толстая Верка из Останкина громко, неприлично храпела. Ее очень угнетало то, что она во сне храпит, наверное, она боялась, что будущий муж разлюбит ее за это; она хотела отучиться, просила будить ее, но Натке жутко показалось выбраться из-под одеяла, она лежала, широко раскрыв глаза, и прислушивалась к ударам порогов.

— Бух-х!— это здорово плеснуло, даже звякнула металлическая шишечка кровати. Еще удар, как пушка... А что, если кто-нибудь плывет по реке и не знает, что впереди пороги, и легкую лодку швыряет в яму, и вот уже мелкие щепочки всплывают в водовороте, а человек... Но нет, кто же плавает ночью, да еще в такой дождь?

Натка закрыла глаза, стараясь уснуть, но перед ней сразу задвигалась бесконечная проволока, крутились мотки, било зубило. Натка ударяла себя по пальцам, чего с ней никогда не случалось наяву, и со стоном просыпалась.

Вдруг она вспомнила тысячу, полученную в Москве, и ей стало так жалко эту тысячу, новенькую пачку денег, оклеенную бумажками с красными полосками, так бездумно потраченную на часики зачем-то, на конфеты и мороженое.

Нет, Натка, никогда не копила денег, как некоторые, скажем, ее мачеха. Да она бы перестала себя уважать, будь хоть чуточку похожей на нее. Просто она зарабатывала хорошие деньги и никогда не тряслась над рублем, отдавала отцу и тратила на себя, не жалея. Она знала, что всегда заработает, как настоящий трудящийся человек.

А вот тут ей было невыносимо жаль тысячи. Может быть, потому, что, имея она сейчас эти деньги, она бы не чувствовала себя такой беззащитной.

Но у нее осталось сорок рублей, а она в чужом краю, за тридевять земель от дома, и вот ей опять страшно.

Ох, как она жалела и упрекала себя за то, что не сохранила тысячу, ой, на что ей нужны были эти часики!.. Глупая она, всегда была и осталась глупой. Седь-

мой класс окончила с тройкой по английскому языку, вместо восьмого пошла на завод. А ведь без образования в наш век науки никак нельзя. Вот и перезабыла все, чему училась. А что, если здесь школы не будет, что тогда? Зачем она поехала в Сибирь, зачем? Дома и в школу можно было ходить. Подумаешь, мачеха, теснота — да не палатка на сырой земле. И квартиру отцу скоро дадут. Прописку московскую потеряла. Все променяла, все променяла... На что?

Она вспомнила шумные проводы, медные трубы оркестра, себя на привокзальной площади — взволнованную, с горящими от удовольствия щеками, скромно-гордую, отважную. А подружки оставались. Они смотрели на нее с уважением. Ах, какой маленькой, какой наивной девочкой она была!..

Ногам стало мокро. Натка приподнялась, пощупала: на одеяле стояла лужица. Вода просочилась сквозь брезент и капала быстро-быстро.

Дрожа от холода и возмущения, Натка вскочила и потянула кровать. Ножки увязли в земле, и она их на силу вырвала. Придвинув кровать вплотную к Тamarкиной, она выждала минутку — не каплет ли здесь, и забралась под одеяло: надо было согреться. Но тут она вспомнила, что теперь остались открытыми сумка с луком и все ее вещи, хранившиеся под кроватью. Хорошо, что еще вспомнила, растяпа! Она опять вскочила, принялась в потемках передвигать и совать под кровать узелки, чемодан, корзины. Пока шарила в мокрой траве, околели руки, неизвестно, чем их вытереть.

Управившись с вещами, Натка легла в остывшую постель и чуть не застонала от холода и тоски.

Простыни были мокрые, жесткие, в воздухе стояла тяжелая сырость, темнота угнетала, весь мир был бесприютный, только и счастья в нем, что брезентовая протекающая палатка, да под кроватью кой-какая одежонка, две пары туфель, а тысячу она потратила на мороженое. И за плечами семнадцать лет...

Она услышала, как тяжело вздохнула Тамара, и обрадовалась этому несказанно, как обрадовалась бы теплой печке. Она шепотом позвала:

— Тамар!..

— А?

— Ты почему это не спишь?

— А ты?

— А на меня целый фонтан полился. На тебя не каплет?

— Нет.

Натка протянула руку, нащупала горячий, полненький локоть Тамары.

Невидимые забинтованные пальцы подружки сжали ее кисть.

— Ну и дождик, скажи, Том, а?

— Ага...

— А ты почему не спишь?

— Так... думаю.

— Не надо думать. Надо спать. Уже час ночи.

— Я не могу привыкнуть. В Москве сейчас только восемь вечера.

— В кино люди пошли...

— Ага...

— А у тебя мальчик в Москве был?

— Нет...— прошептала Тамара.

— А за мной ухаживали, на заводе! — похвасталась Натка.— Скажи, а этот, Никита, тебе понравился?

— Не знаю.

— По-моему, он ничего, только больно какой-то... несуразный. Ну его! Правда?

Она совсем не то хотела сказать. Она не могла забыть, как ей стало тепло, какой она себя почувствовала опять смелой и отважной, познакомившись с Никитой. Ей хотелось сказать, что ведь вот он, наверное, тоже совсем один, еще и товарищи над ним посмеялись, а он не побоялся ничего, он серьезный и скромный, так просто объяснил, что мошка пройдет, это только сезон, и вот сапоги начисто помыл, а все ходят в грязных. Только у него нет, наверное, никаких вещей; а она бы сумела сшить ему трусы для купания, чтобы не хихикали над ним разные зубоскалы. Она сказала «ну его» только от обиды, что он не пришел, а вообще ей так тепло и хорошо было думать о нем...

— Если у меня когда-нибудь будет муж, я не велю ему так далеко плавать,— сказала она.— Знаешь, ведь всякое бывает, могут схватить судороги.

— А я никогда не выйду замуж,— прошептала Тамара.

— Почему?

— Не хочу.

— Все выходят почему-то.

— А я не хочу!

— Ну, что ты! Наверно, надо...

— Что надо? Сидеть дома, ждать мужа, варить ему обед, он придет — на стол подавай; на базар ходить, пеленки стирать... Не хочу! Не выйду замуж! Ничего я не хочу! Ничего!

Натка пощупала горящие Тамирины щеки.

— Я и сама не хочу, Том, я не знаю, может, и я тоже еще не выйду.— Она вздохнула.— Да и где теперь найдешь хорошего мужа? Такие теперь большая редкость...

Она погладила забинтованную руку, которая благодарно сжалась.

— В Москве за мной ухаживал один мальчик, пожениться даже предлагал, ничего себе, только уж такой... несерьезный, ну, форменный бандит. А я взяла и в Сибирь поехала. Лучше мы сами по себе тут будем жить, правда?

— Да...— Рука дрогнула, пальцы разжались.

— Что с тобой?

— Натка, я боюсь. Я боюсь...— дрожащим голосом сказала Тамара.— Я отработаю, отработаю три года и вернусь к маме. Вот увидишь, я вернусь. Только не покидай меня! Все я выдержу — и вернусь...

Натка погладила влажные от сырости волосы подруги.

— Ничего... Ничего, все уладится,— сказала она ласково.— Ты теперь большая, ты же теперь рабочий человек и среднее образование имеешь.

— Я вернусь, я вернусь,— твердила Тамара.

— Ну, что «вернусь», Тамарочка? — сказала Натка.— Стыдись! Не реви, ну, конечно, мы отработаем все, а там посмотрим, как будет. Что ж, мы разве одни? Вон нас тут сколько много! А обидит кто — да мы его заклюем, мы ему глаза выцарапаем, ты не думай. Рабочие, они знаешь, как друг за дружку стоят? Вот у нас в заводе...

И она стала рассказывать разные случаи, все повторяла «у нас в заводе» и под конец сама глубоко убедилась, что им, девчонкам, море по колено и впереди предстоит, возможно, завидная жизнь, так что, может быть, и бежать не понадобится, а Тамарка слушала, слушала и заснула как-то сразу.

— Вот дитя мне еще,— усмехнулась Натка.— Постой, а что ж это я не сплю?

Дождик продолжался. Булькали капли в лужицы на полу. Верка в углу храпела.

— Вер!..— позвала Натка.— Вер!.. Вот грех какой!

Пересилив себя, она встала, пошлепала по доскам, нащупала Веркин бок.

— Вер, проснись. Слышишь, ведь сама просила! Бедненькая ты моя.

— А? Спасибо...— Верка сладко и шумно перевернулась на другой бок, а Натка ощупью вернулась, закуталась в одеяло конвертиком и зажмурила глаза.

И поплыли перед глазами буйные потоки воды, они с орудийным грохотом расшибались о пороги, дыбились, дробились, вертели в водовороте маленькую упрямую точку, а точка плыла и выплывала на широкий простор, на самый стрежень, не оглядываясь, и Натке было тревожно-сладко; она ведь знала, что все это уже было и кончилось тогда хорошо: точка доплыла. Только сейчас надо было подождать немножко, чтобы все так изумительно повторилось, чтобы еще раз увидеть и пережить...

## 6

Танцы состоялись, но не в воскресенье, а в субботу. И девушки, едва пришли с работы, принялись готовиться к ним. Танцы— всегда большое, серьезное дело, а в таких обстоятельствах тем более.

В палатке стояла невообразимая суматоха. Утюг рвали из рук. Никто не соглашался варить суп, Валя отказалась наотрез, она уже час сидела перед зеркалом, поддвигала раскаленным гвоздем волосы. Ее никто не осуждал, наоборот, образовалась очередь на гвоздь.

Поставили наконец кипятить воду, решив сварить просто яблочный кисель из порошка.

Натка разложила на кровати блузки, оба выходных платья, обе пары туфель, соображая, что лучше надеть. Тамара печально сидела на своей кровати, трогая нос. Картина была неприглядная: за две недели они все здесь обветрились, обгорели, и нос у Тамары лупился. Натка заглянула в зеркальце: батюшки, и у нее собирается лупиться!.. У нее просто руки опустились. Вот не было горя!

Она вообще-то не любила крутиться перед зеркалом. По правде, сама не понимала, красивая она или нет. Скорее нет, если мужественно взглянуть правде в глаза. Но вообще ведь как на чей вкус. Когда-то ей очень хотелось быть красивой, она всматривалась, всматривалась в себя и вдруг поверила, что красивая. Теперь она так не думала. Личико, правда, вроде ничего: кругленькое, доброе. Вот нос картошечкой, явно неудачный нос. Глаза не столько голубые, сколько зеленые; брови совсем не вышли, хоть дорисуй карандашом, такие бесцветные. Но ведь и не то бывает, рассуждала она. Сойдет и так, может быть?..

Вот Тамара — та действительно была красавица. Полненькая такая, глазки голубые, доверчивые, бровки тоненькие, щечки нежно-румяные, так и хочется ущипнуть.

Натка взглянула на нее и тихо вздохнула не столько от зависти, сколько от огорчения, что сама не такая.

— Что же ты не одеваешься?

— Я, наверное, не пойду...

— Батюшки, с ума сошла! — всплеснула Натка руками. — Это нос-то лупится, так и свет клином сошелся? А ну, одевайся мне!

— Не пойду я, Нат, не хочется...

— И не ври, и слушать не хочу, одевайся!

— Ну, одета я...

Натка изумленно вывернула Тамаркин чемодан. Бедная, глупая девочка! Набрала с собой фуфаяк, шаровар, лыжный костюм, все лишь для работы: ведь она думала, что едет работать, а не в театр.

— В первый раз вижу такую наивную, — сердито сказала Натка, размышляя, какое же платье ей не

жаль.— У тебя, небось, и из обувок одни сапоги да тапки?

— Есть еще ботинки,— пробормотала Тамара.

— Примерь-ка мои модельные,— вздохнула Натка.— Или нет, лучше бери на микропоре...

Тамара заупрямилась, чуть не с ревом отказывалась, а Натка накричала на нее. Столько времени потеряно! Не столько сама одевалась, сколько одевала эту глупую, несмышленную пичугу. Она вертела Тамару перед собой, подшила подол, ушила бока на платье (дает же бог людям такую талию!), поправляла, заставляла пройтись, любовалась ею, как делом рук своих, и только потом спохватилась:

— Господи, чулки еще не стираны!

Она покатила шариком к реке, раздумывая, что чулки сохнут быстро, а если не просохнут, не беда: можно натянуть мокрые, просохнут по дороге.

У воды наклонился парень, старательно отмывая сапоги. Сапоги ей показались знакомыми. Натка, заволновавшись, осторожно зашла сбоку и заглянула. Это был Никита.

— А я в гости к вам шел...— смущенно сказал он. Кровь ударила Натке в лицо.

— Мы вас так ждали долго...— брякнула она.

Никита улыбнулся. И Натка улыбнулась.

— Идите к нам в палатку,— вежливо пригласила она.— Там и Тамара собирается.

— Да, я пойду в палатку,— нерешительно сказал Никита.

— Да, идите в палатку,— подтвердила Натка.

Она не помнила, как выстирала чулки. С этого момента все пошло, как в тумане.

В палатку набилось битком всякого народу. Натоптали, надымили, играли на гармошке, словно свадьба какая, а не жилое помещение, не найдешь, где и кровать тут твоя.

Засыпали в котел восемь пакетов сухого порошка, затем всем табором сидели в траве перед палаткой и хлебали кисель из чашек, блюдец, консервных банок и все съели, ничего не осталось.

Танцы начались в сумерках на вытопанной площадке у автобазы.

Был поставлен грузовик с откинутыми бортами, и на нем восседал самодеятельный духовой оркестр, состоявший из мальчишек и выступавший в первый раз. Мальчишками руководил старый, усатый, опытный пожарник. Он играл на трубе, строго пыжился и делал оркестрантам страшные глаза. Музыканты положили перед собой на табуретках ноты и дудели кто во что горазд. Больше всех отличался барабанщик — взъерошенный, усердный, конопатенький. Впрочем, играли очень громко, а если кто-либо завирался, это прощалось.

Танцевало сразу пар семьдесят. По столбам лазили монтеры с «когтями», прилаживая и зажигая прожекторы, из красного уголка автобазы вынесли длинные скамьи, которыми обставили площадку. Шуршали и топали десятки ног, и под ними вилась пыль.

Из-за пыли Натка сперва не танцевала, ожидая, пока окончательно высохнут чулки.

Никита робко и неуклюже пригласил Тамару, а Натка осталась сидеть на скамье. Она ревниво следила за подругой: не съехало ли платье, не растрепалась ли прическа и не смотрит ли она букой, что было бы неприлично по отношению к кавалеру.

Вдруг она услышала знакомый голос и увидела перед собой того инженера, который когда-то заговорил с ней на полигоне. Он приглашал ее. Забыв о чулках, замирая от страха, она вежливо поздоровалась, поднялась и, как чужую, положила ему на плечо свою одеревеневшую, неуклюжую руку.

— Ну, рассказывайте, как вам живется? — спросил он все тем же спокойным и ласковым тоном.

— Нам хорошо живется, — ответила она.

— А все-таки?

— Нет, правда, ничего.

— Все, наверное, скучаете по дому?

— Нет, — соврала она.

— Ну что вы! Я здесь третий год и все не могу не скучать, — задумчиво сказал он. — А я, знаете, видел на днях объявление о вечерней школе и вспомнил о вас. Там висит наверху, у входа в управление. Занятия начнутся, как положено, с первого сентября, вы подайте заявление, аттестат и справку с места работы.



— Спасибо! — охнула Натка.— Ой, какое вам спасибо, что сказали!

— Ну, не за что,— сказал он.— Я просто увидел вас здесь и спохватился. У нас, кстати, есть учебный комбинат, куда тоже можно пойти с семьей классами и получить какую-нибудь ходкую специальность, например, крановщика или лаборанта. Может быть, вам есть смысл подумать над этим. Или вашим подругам. Вы им скажите.

Танец кончился, он усадил ее и откланялся. Сейчас же ее пригласил один немножко знакомый тракторист, потом какой-то пижон с усиками, потом опять инженер, и только потом Никита.

У нее все кружилось в голове, и на сердце было так ласково-бездумно. Проекторы казались волшебными фонарями.

Никита старательно вел ее, все молчал, так что ей приходилось вытягивать из него каждую фразу. Она выпытывала, где он работает. Оказалось, каменщиком на строительстве школы.

— Это не та школа, что будет вечерняя? — удивилась Натка.

— Та.

— Ой, а разве вы успеете к первому сентября?

— Успеем.

— Да вы всегда так говорите, а потом как начнете тянуть...

— Не начнем. Половина каменщиков идет в восьмой класс.

— А вы? — с трепетом спросила Натка.

— И я.

Она закрыла глаза и предоставила своему счастью кружить ее. Это было удивительно, это было непостижимо — эта музыка, эти фонари, этот шорох ног по земле.

Вдруг оркестр ударил «барыню», и все смешалось. Никто не танцевал, а получилась какая-то толкучка.

— Разойдись! — ахнула Валька и, топнув ногой, мелко-мелко пошла по кругу, нагибаясь, задевая парней.— Эх, с киселя танцуется!

Натка танцевала, а глазами искала Никиту и увидела, как он сидит на скамье с Тамарой, и оба смеются

чему-то. Она подумала: «Хорошо, что Тамара не одна, а то она такая мнительная, чуть что — сразу расхнычется».

Они втроем пошли домой напрямик через луг, то попадая на изрытую колеями дорогу, то теряя ее. Никита отважился взять за локти девушек и разговаривал, справедливо соблюдая очередь, то с одной, то с другой.

Тамара споткнулась и упала. Он так испугался, он просто не знал, как извиниться, хотя виновата была сама Тамара.

Посмеявшись, пошли дальше, но Натка почувствовала, что, когда Никита обращается к Тамаре, он говорит ласковее и придерживает ее осторожнее. Натка любила сегодня весь мир, и она рассердилась на себя за эту глупую ревность, беспочвенную, потому что на месте Никиты она так же точно беспокоилась бы за это несмысленное дитя, которое спотыкается на ровном месте.

Она злилась на себя, а ей становилось все больше, больше. Впрочем, она не подала и виду.

## 7

Опять их «перебросили» — разгружать кирпичи с барж.

Натка и Тамара обычно стояли в цепочке рядом, передавали красные, обсыпанные пылью кирпичи, были с ног до головы выпачканы пылью, а под конец дня руки казались налитыми чугуном, и особенно болели предплечья.

Баржи все прибывали, работе не видно было конца.

У толстой Верки пропал сарафан. Обыскали всю палатку, потом Верка спрашивала у всех подряд гостей, не подшутил ли кто. Одни возмущались, другие смеялись. А тот длинноносый тракторист, «земляк», который теперь стал штатным завсегдаем палатки, даже спел Верке песенку:

Две гитары за стеной  
Жалобно заныли.

Кто-то стибрил сарафан.  
Милый мой, не ты ли?

Никита приходил почти каждый вечер. Он, устало нахохлившись, сидел с другими ребятами, но в разговорах участия не принимал. Другие дурачились, острили, а он улыбался и молчал, словно двух слов связать не умел. Натке в такие минуты было так жаль его. Вот и большой, и смелый, и лучше их, вместе взятых, а такой беспомощный! Она достала все конфеты, какие были, и угощала его. Но он скромно отказывался, зато другие набрасывались, расхватывали, а ему ничего не оставалось.

Натка поведала ему всю свою жизнь в Москве: и какие у нее братья и какая змея мачеха,— но ей хотелось, чтобы он отважился и позвал ее побродить вдоль порогов или предложил забраться на самую высокую скалу. Она бы сейчас же встала и пошла.

Но не могла же она предложить первой: ведь так некрасиво и неприлично!

Она ждала, а он не приглашал, только виновато улыбался.

Натку это очень огорчало.

Пришел день, когда все выяснилось.

Однажды после работы Прокофий Груздь велел всем явиться в управление. Как всегда, никто толком не понял, зачем: велели явиться, значит, надо идти. Девушки пошли — кто раньше, кто позже. Натка даже взяла карандаш, чтобы списать правила приема в вечернюю школу. Тамару она нагрузила эмалированным бидончиком: идти предстояло через лес, вдруг попадет брусника.

Управление находилось высоко на горе. Они долго шли по склону, а брусники не встретили. Тогда они свернули с дороги на тропку, чтобы подняться напрямик. Тропка была крутая, по сторонам ее высились толстые листовницы, было много горелых пней, черных искореженных сучьев, густо росли папоротники. Иногда в просвете открывалась, как на ладони, вся долина, и странно было видеть голубую реку — вблизи она никогда не была голубой, а пороги с высоты казались черными жучками, лежащими в белоснежной вате. Шум их не доносился, было тихо-тихо.

Они шли и шли, а тропинка становилась все круче, приходилось подавать друг другу руку. Девушки запыхались и пожалели, что не пошли по дороге: там хоть дальше, да не так утомительно. А они после смены утомились изрядно, не ужинали; в желудке со-сало, от одышки кружилась голова. Было невесело, просто тошно.

Натка подумала: вот дойдем до той коряги и отдохнем. Прошли мимо коряги. Она загадала: попадет-ся еще один горелый пень, присядем. Но пня все не было и не было.

Натка тащилась, тащилась, уже чуть не плакала, вы-глядывая пень, а когда наконец он попался, Натка брякнулась в траву, положила лицо на руки и глухо сказала:

— Все, Тамарка... Баста.

— Тебе дурно? — испугалась Тамара.— Дай я на те-бя помахую!

— Нет, тошно мне,— сказала Натка.— И никуда я не пойду.

Тамара помолчала и сказала:

— Все равно идти надо...

Она устало вытерла пот со лба. Счастливая, краси-вая, хоть нос облез. Нос заживет, не картошка. А Натка ясно поняла, может быть, первый раз в жизни, насколь-ко она несчастлива, как ей не повезло, как навсегда-на-всегда беспросветна, загублена жизнь. И, пожалуй, окончательно решил все тот окаянный день, когда она вызвалась ехать в Сибирь ради этой ужасной жизни: сегодня арматура, завтра кирпичи. Ей нет возврата на Таганку, к своим милым и родным девчонкам, ко все-му, что отброшено, нет возврата.

— Неохота мне идти, Том,— сказала она.— Иди од-на. Вернусь я в палатку. Они гонют, а мы ходи...

— Натка! — сказала Тамара.— Натка... Я думала, ты сильная. Я училась у тебя. Что же теперь?

— Будем пропадать тут, Том...— жестоко сказала Натка.

— Наточка, не надо, милая, не надо! — Тамара по-гладила ее по голове.— Не надо отчаиваться... Сты-дись! Мы ведь и трех недель не прожили... Я прошу тебя! Давай отдохнем и дальше полезем. Ты вспом-

ни, это же я тряпка, маменькина дочка, а ты же... ты же рабочий человек, Натка...

Натка молчала. Ее охватила тоска, такая тоска, какой еще никогда не испытывала она за все свои семнадцать лет.

Садилось солнце. Что-то потрескивало в ветвях старой лиственницы, может быть, хозяйничал бурундучок, запасаясь продовольствием на зиму.

Натка оперлась на Тamarкину руку, встала, и они поплелись дальше, все вверх и вверх. Шли молча, пока тропинка не кончилась.

Они попали на длинную, теряющуюся в голубом тумане просеку. Грудами лежали поваленные столетние деревья, вся земля была изрыта глубокими канавами, и горы выброшенной земли были красные, как охра. В этом лесу творился сущий ералаш: валялись доски, бочки из-под извести, наваленный грудами кирпич; кое-где за деревьями виднелись строящиеся дома. Смена кончилась, и работ уже не было, только в большой яме ворочался, как свинья в грязи, маленький голубой экскаватор, тарахтел и пыхал дымком. На одном из деревьев была прибита аккуратная белая табличка с надписью трафаретом:

«Улица Солнечная».

Девушки запутались, долго разыскивали управление, а когда наконец нашли, выяснилось, что им надо собираться совсем в другом доме, где комитет комсомола, и они опять блуждали, искали.

В комитете комсомола оказалась в сборе вся бригада. Вызывали, чтобы вручить зарплату. Выяснилось, что здесь так заведено: первую зарплату выдают торжественно, поздравляет комсорг стройки.

Натка получила семьсот рублей аванса, и ей пожали руку. Это было неожиданно даже для нее, рабочего человека, потому что, к примеру, в Москве она получала в аванс не больше четырехсот.

Комсоргом была приветливая, скромная женщина лет двадцати семи, а может, меньше. У нее были бесцветные брови и зеленые глаза, но она была хорошенькая, и Натка подумала: вот и у комсорга зеленые глаза, а ничего, не вредят. Дело не в глазах, а дело

в человеке. Когда люди добры, умны, улыбаются, они всегда красивы.

— Я видела, как вы приехали катером,— говорила комсорг.— Такие были все ужасно храбрые, ждали, наверно, подвигов, а у нас просто жить, работать, не бежать — и этот подвиг далеко не всем дается, к сожалению. И вам спасибо. Вы молодцы, девочки, вам еще не повезло с этой палаткой, но послезавтра мы принимаем дом «Б-8» на Солнечной и переселяем вас туда, так что готовьтесь к переезду. А взносы сейчас же платите!

— По сколько платить? — шепотом спросила Тамара.

— Да уж не по двадцать копеек,— ответила Натка, как опытный человек.— По двадцать копеек, Том, кончилось.

Они уплатили, расписались, и у них в билетах расписались, потом говорили о том, что после переселения в дом «Б-8» проведут собрание, выберут группкомсорга, что рядом с их домом на Солнечной заканчивается отделка клуба, так что можно будет ходить в кружки и в кино хоть каждый вечер.

Разговор шел неторопливый, спокойный, шутливый, а когда они вышли, солнце уже давно село, на столбах вдоль просеки зажглись фонари, но голубой экскаватор все так же рылся в грязи.

Натка вспомнила о деньгах, достала их и изумленно пересчитала. Их было двадцать восемь новеньких, прямо из-под машины двадцатипятирублевых, таких синих, ровных, чистеньких. Она подумала, что новые деньги — к новому счастью, и сразу же сообразила, что платки на зиму у нее есть, а вот ушанки нет. От важным людям очень к лицу ушанки. И они с Тамаркой побежали в промтоварный магазин покупать ушанки.

Магазин уже оказался закрытым. Они пошли в продуктовый. Первое, что бросилось Натке в глаза, были «морские камешки», и ей почудилось в этом едва ли не предопределение судьбы. Они купили их целый кулек, вышли, грызли, разглядывали странный город, в который им перебираться послезавтра и где им предстояло жить, может быть, долгие, многие годы, может

быть, найти здесь свое счастье или свое горе; и, не сговариваясь, они подумали, даже не подумали, а скорее почувствовали одно и то же: что как ни странно, а они сжились со своей старой палаткой, и как бы она ни была сыра, и холодна, и скверна, покидать ее будет грустно, потому что там прошла частичка жизни, небольшая, но такая значительная, а они и не заметили.

Кто-то окликнул их; вздрогнув, они разом обернулись и увидели, как к ним бежит, перемахивая пни и канавы, Никита. Он не переоделся после работы, был в забрызганном цементом пиджаке без пуговиц, рубаха на груди расстегнулась, на лбу выступили капли пота от быстрого бега. Он остановился, крайне взволнованный, с радостными глазами.

— А мы деньги получили,— похвасталась Натка.— По семьсот рублей. Мы даже хотели ушанки купить, только магазин закрылся.

Никита смотрел и молчал, Натка добавила:

— С нами комсорг разговаривала, нас благодарила, руки нам пожала.

— Тамара... Мне надо что-то тебе сказать,— выдавил из себя Никита.

— Надолго? — упавшим голосом спросила Натка.

— Я не знаю... — пробормотал он.

— Тогда, конечно, надолго,— заключила Натка.— Я пойду, а ты, Тамара, приходи.

Тамара испуганно, растерянно посмотрела на нее, словно молила не оставлять ее. А Натка солидно пожала ей локоть.

— Только не задерживайся, а то супу не оставлю. Смотри, недолго!

Лишь у спуска на крутую тропку она спохватилась: а ведь кулек с конфетами она унесла. Она хотела вернуться, но, поразмыслив, пришла к выводу, что этого делать не надо.

Она положила в рот полную горсть «камешков», раскусила, и вдруг из глаз брызнули слезы, будто она взяла в рот что-то жутко горькое. Слезы закрыли ей дорогу, она ступала наугад по корневищам, спотыкаясь, хныкала и вдруг как бы увидела себя со стороны: большую глупую девку с кульком конфет, реву-

шую и спотыкающуюся,— и ей стало так смешно, она просто задохнулась от смеха и рыданий.

— Ну, как хорошо, ну, какая же радость! — говорила она, вытирая льющиеся слезы, смеясь и прыгая с уступа на уступ.— Ведь он такой хороший, такой ласковый, скромный, смелый, и она такая хорошая, чистая, как я рада!

Она разжевывала конфеты, сквозь слезы смеялась — все одновременно,— вытирала глаза ладонями, вытирала руки о полу, развезла кирпичную пыль по лицу, подумала, что в таком виде смешно показаться на люди, и принялась вытирать лицо подкладкой.

«Что это такое,— думала она,— я все тут плачу и плачу, и зачем я плачу, спрашивается, когда мне так весело? И правду люди говорят, что женские слезы — вода. Ах, какая же ты большущая дура, Натка, ну, хватит, хватит, ах, как все хорошо!»

Снизу шел человек. Она спешно постаралась успокоиться. Чтобы глаза отошли, стала смотреть вдаль, на Туманную долину, на синие горы и чистые, нежно-белые хлопья порогов.

«Господи, как красиво! — удивилась она.— Как хорошо, что я вижу все это, какой мир красивый, только плохо, что я плачу!»

Она поравнялась с человеком у горелого пня, только тогда отважилась на него взглянуть и с удивлением увидела, что это карапуз лет семи, весь измазанный глиной, исцарапанный, в куцых штанишках и большом выгоревшем картузе. Он устал, запыхался, видно, бедненький, слишком торопился наверх.

— Хочешь конфет? — спросила Натка.— Держи весь кулек! Это «морские камешки», знаешь, какие вкусные! Веселее будет карабкаться!

Мальчишка от неожиданности не промолвил ни слова, только потрясенно и долго смотрел ей вслед, не решаясь поверить своему нежданно привалившему счастью.





## Бужма



пру. Тянет тя, гадину, в ямы! Уж извини, Иннокентий Николаевич, дорожка-то у нас для санитарного груза мало приспособлена. Тут не то что с кобылой — с тягачом не проехать.

Бужма чуть заметно кивнул головой и отвернулся. Надоело: как рытвина, так остановка.

— Едем аль постоим, Татьяна Васильевна?

— Можно ехать, — неуверенно сказала докторша. — Только еще осторожнее, пожалуйста. А вы, Иннокентий Николаевич, мне все говорите. Жалуйтесь. Не стесняйтесь. Очень прошу. У меня все лекарства есть.

«Все есть, — подумал Бужма, — кроме меры. Надо же: «Жалуйтесь, не стесняйтесь...» Такая изведет своим вниманием».

— Ничего у меня не болит

Он действительно чувствовал себя неплохо. Лошадь наконец вышла на ровную часть дороги, и телегу перестало качать. Лежать было удобно. Еще дома слышал он, как хлопотала около телеги докторша, требовала побольше сена на подстилку, потом попросила у сестры два одеяла — куда лучше. Голос у докторши был высокий, писклявый — резал слух. «Птица какая-то, а не врач», — подумал Бужма.

Он высвободил из-под одеяла руку и поднял ее, чтобы положить под голову.

— Разрешите, голубчик, я пульс сосчитаю. Раз, два... пятнадцать на четыре — шестьдесят. Как у космонавтов. Сердечко не поджимает? Нет? — заботливо спросила докторша.

Иннокентий Николаевич поморщился.

— Да вы не огорчайтесь. Еще пятнадцать минут потерпите — и все. А там больница, Ирина Сергеевна...

Бужма прикрыл глаза. «Ну, дал господь врача в провожатые! Видно, не часто ей приходится таким делом заниматься».

Лошадь шла медленно, вровень человеческому шагу. Солнце грело мягко, приятно. Ветра не было.

...Много лет мечтал Бужма вернуться в село, пожить здесь вволю, походить по лесам, да ведь человек-то предполагает, а жизнь располагает. Втягиваешься в городскую текучку, вечно спешишь, а работы никогда не уменьшается.

Раз в год, на именины, приходило поздравительное письмо от сестры. Она подробно описывала, кто за это время родился в деревне, кто умер; фамилий он уже не помнил, но письмо читал с волнением, уносил к себе в кабинет и на следующий день перечитывал вновь.

И все-таки удалось ему выполнить свою мечту, хотя произошло это слишком поздно. Теперь ему семьдесят пять, давно на пенсии, и со зрением стало плохо. Оперировать он не мог уже лет пять, но с работы не уходил: читал лекции. Только когда стало совсем худо с глазами, расстался с клиникой.

Бужма подумал о работе, и твердый ком подкатил к горлу. Нет, этого нельзя пожелать никому, чтобы

вдруг, в один день, заставить себя спать на несколько часов больше, жить от обеда до ужина.

Домашние обнаружили, что у него невыносимый характер. Он все время бурчал, злился, обижался по пустякам, даже придирался. Лиза постоянно вздыхала: «Это невыносимо! Папа невозможен...»

Он тоже поражался: «Пять человек делают одно дело. Галдят, как грачи».

— Что с тобой стало, папа? — говорила дочь. — Такой эгоистичный. Вовик жаловался, что ты вчера три часа заставлял его читать журнал «Вопросы хирургии».

— «Вестник хирургии», — ехидно поправлял Бужма.

...В деревне он успокоился. С ним никто не спорил, ни в чем не отказывал. Он постоянно чувствовал к себе внимание, даже почет, будто уехал отсюда не сорок лет назад, а недавно. У него возникла мысль: «А был ли я счастлив в городе?»

— Вы что-то говорите? — спросила докторша. — Вам плохо?

Его возмутило, что она не дает подумать. «Изведет за эти несколько минут. А если бы действительно что-либо произошло? Разве на такую можно положиться? Вот кто бежит из села, как черт от ладана. Им бы только без ответственности, без риска...»

— Иннокентий Николаевич, вам плохо? Да? — Холодная ладонь легла на его лоб: нет ли жара? Это было уже слишком.

— А вы хотите, чтобы мне обязательно стало плохо?

— Что вы! — В голосе докторши было столько естественного страха, что Бужма смягчился.

— Слушайте, коллега, сколько вам лет?

— Двадцать два.

— Двадцать два? — переспросил Бужма с некоторым удивлением, точно всем обязательно должно быть семьдесят пять. — И вы давно на селе?

— Уже две недели.

— Порядочно, — засмеялся Бужма.

— Я могла еще не выходить на работу. Знаете, после экваменов можно до сентября отдыхать, даже больше, но что дома делать? Все равно когда-то придется начинать. Ну и начала...

— Страшно?— с любопытством спросил Бужма.— Наверное, везете меня, а сами думаете: что он сейчас выкинет?

— Ага.

— А что делать при приступе, помните?

— Я почитала.

— Вначале всегда трудно,— успокоил Бужма.— Мне тоже было нелегко, а потом привык.

— Мне только по терапии тяжело,— обрадовалась докторша,— потому что я зубной врач. Я думала, только зубы лечить буду, а Ирина Сергеевна сразу предупредила, что иногда придется помогать ей.

— Раньше же справлялись без вас,— сказал Бужма неодобрительно.

— Я же врач. Мало ли что зубной, а все равно врач.

«Ну и порядки,— подумал Бужма.— Схватили бесхарактерного ребенка и заставляют заниматься не своим делом. Безобразия!»

Он подумал об Ирине Сергеевне: «Как же, знаю. Студенты не раз писали, что старые работники часто сваливают на них всю работу. Вот и деловая... Слишком деловая».

— Вас заведующая заставляет?

— Да... нет... Только вы не подумайте... Она, знаете, какой человек? Она такую больницу организовала! Увидите. Это человек настоящий. Хороший и милый.

— Слишком много для одного,— буркнул Иннокентий Николаевич и отвернулся.

Что-то начинало ему нравиться в этой докторше, но что-то еще и раздражало. «Пожалуй, излишняя откровенность и неопытность. Ты с ума сошел, старик,— тут же сказал он себе.— Разве может раздражать молодость и наивность? Сидит девушка рядом с тобой, волнуется, свесила ноги в модных туфельках на каблучках-«гвоздиках». И зачем ей «гвоздики» в деревне? Наверное, и губы намазаны? Жаль, что не разглядеть лица. Ребенок...»

Он не заметил, сколько длилось их молчание.

— Мимо моего дома проехали,— вздохнула докторша.

— Комнату дали?

— Полдома. У меня ведь семья на руках.

— Замужем?— удивился Бужма.

Докторша первый раз засмеялась: вопрос показался нелепым.

— Бабушка— весь мой муж.— Она опять засмеялась.— У меня, знаете, какая бабушка? Куда я— туда она. Бабушка-спутник. Она без меня ни за что спать не ложится, хоть всю ночь просидит.

— Тпру!— сказал кучер.— Татьяна Васильевна, сгружать будем задом аль боком?

— Сейчас... минуточку...

По крыльцу застучали каблучки. Дважды хлопнула дверь. Лошадь начала щипать траву, и телегу все время дергало.

— Как доездили?— Он услышал голос Ирины Сергеевны.

— Хорошо. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения. Тоны сердца приглушены. Жалоб нет.

— Капризный?— Ирина Сергеевна говорила тихо.

— Что?

— Больной капризный?

— Что вы! Это милый, хороший человек. И такой разговорчивый.

«Разговорчивый...— повторил про себя Бужма.— Милый, хороший. Все у нее милые».



Порядок в больнице удивил Бужму. В палате стояли никелированные кровати, застеленные хорошим бельем. Дежурная сестра сразу же заполнила анкетный лист истории болезни, спросила, удобна ли постель и не хочет ли он передать что-нибудь родным вечером. Обед был вкусный. Все эти приятные неожиданности как-то успокоили Иннокентия Николаевича.

Сразу же после тихого часа в палату влетела Нюша, дежурная няня, и быстро подоткнула Иннокентию Николаевичу одеяло под ноги.

— Приберите кровати!— крикнула она всем и метнулась к дверям.— Идет!

Зашла Ирина Сергеевна. За много лет работы Бужма повидал разных врачей, и, как только вошла

Ирина Сергеевна, сразу отметил про себя: такой порядок — это ее заслуга. Чувствовалась в ней деловитость и решительность. Она стояла в дверях, осматривая палату, и Бужма вдруг испытал какое-то неудобство от возникшей тишины.

— Сысин! — сказала она низким грудным голосом. — Книги держи не на тумбочке рядом с продуктами, а на окне.

— Слушаюсь, — по-военному сказал Сысин.

Бужма посмотрел на врача. Ее лицо он видел неотчетливо, но рост и походка были мужские, гренадерские, и, когда Ирина Сергеевна ступала, половицы под ногами скрипели.

Незаметно для Иннокентия Николаевича в палату прошмыгнула медсестра, встала за спиной Ирины Сергеевны, быстро записывая ее замечания и назначения.

К Бужме они подошли в последнюю очередь. Он принял это как положено: чинопочитание в больнице только раздражало.

Залеживаться Бужме не хотелось, поэтому о своем приступе заговорил он беззаботно, даже с юмором: вот, мол, решил вкусить бесплатного больничного хлебца, сэкономить пенсию, а потом и загулять.

— Ну-ну, — серьезно сказала Ирина Сергеевна и встала: на шутки у нее не было времени. — Запомните: лежать только на спине. Утешить нечем — не исключен инфаркт. Вам это можно не объяснять. Приготовьтесь лежать долго... до осени.

— Что вы!.. — испуганно сказал Бужма, но Ирина Сергеевна уже отошла от него.

— Вера, — сказала она сестре, — проследи, чтобы сегодня Ньюша перемыла подоконники, это непорядок.

«Черствое, бездушное существо, — обиделся Бужма. — Лежать до осени на спине! Вот и отдых в деревне».

Дверь без шума закрылась, и Иннокентий Николаевич уловил шаги докторши в коридоре, потом на лестнице. Она шла не спеша, спокойно.

Бужма пролежал до ужина хмурый, притворяясь спящим, чтобы ни с кем не разговаривать. Даже когда

пришла его родная сестра, Иннокентий Николаевич не открыл глаза. Она посидела рядом около часа и молча ушла.

Когда Иннокентий Николаевич проснулся, было темно. Сон, казалось, еще не кончился, и Иннокентий Николаевич силился забыть кошмары, которые только сейчас одолевали его. Воздух был тяжелый, пахло камфорой. В коридоре стонал больной.

Бужма натянул простыню на голову и попытался уснуть. Спал Иннокентий Николаевич всегда чутко. Он знал: больничные ночи будут мучительными для него. Ничего не поделаешь — придется привыкать.

Стон за стеной стал отчетливее. Это даже нельзя было назвать стоном: кто-то тяжело дышал, хрипел, кашлял, глубоко втягивая в себя воздух.

«Вот напасть,— подумал Бужма.— И так до утра. Придется ночью бодрствовать».

Он вспомнил родных. Уже три недели не было писем из Ленинграда. «Они даже не знают, что я болен и лежу здесь». Первый раз за все время в деревне он почувствовал себя одиноким.

«Два месяца на спине... Вот чего я боялся в последние годы!— Уголок верхней губы медленно пополз вверх: Бужма печально улыбнулся.— И по сравнению с этим, Лиза, какие же пустяки наши ссоры!»

— Пи-ить...

Иннокентий Николаевич насторожился. Возможно, послышалось? Он перестал думать о своих близких, откинул одеяло и прислушался.

«Нет, просто стонет».

— Пи-ить...

Теперь ясно: это сказал больной. Он тянул «и» долго, жалобно, и просьба была похожа на крик птицы.

«Неужели не слышит сестра?»— подумал Иннокентий Николаевич. Он сосчитал до ста, пока просьба не повторилась. «Прекрасный порядок, а сестра и нянька спят. Похоже, что стонет ребенок. Странно. Когда я засыпал, в коридоре никто не стонал. Видимо, привезли к ночи».

Он нащупал звонок, нажал кнопку. Он нервничал, нажимал и нажимал, и, когда прибежала сестра, все еще не отпускал кнопку.

— Что случилось?— спросила сестра испуганно.

— Там стонет ребенок, а вам нет дела,— зло сказал Бужма.

— Мы все время около ребенка,— обиделась сестра.

— Что с ним?— уже тише спросил Бужма.

— Приступ астмы. Его в одиннадцать часов осмотрела Ирина Сергеевна, сделала назначения и уехала в Волково на роды. Спите. Уже второй час.

Сестра вышла на цыпочках.

«Дети всегда тяжелее болеют. И их больше жалко. Как-то несовместимо: болезнь и ребенок. Когда Вовка болел корью, я не спал ночи».

Он прислушался к дыханию. Вдох и выдох были одинаково длинными, и поэтому казалось, что стон не прерывается. «Странное дыхание,— подумал Бужма.— При астме длинный выдох и короткий вдох. А здесь этого нет. Кажется, что ребенок дышит через препятствие. Странно... Конечно, если бы встать и подойти поближе, тогда другое дело, а на таком расстоянии даже с моим слухом решить невозможно. Только ясно, что на астму это не похоже».

Он стал вспоминать болезни легких, но ничего не подходило к такому дыханию.

«А может, я зря мучаюсь? Может, это астма? Я хирург, а Ирина Сергеевна — опытный терапевт. И она смотрела ребенка».

Он решил попытаться уснуть и для этого стал представлять белых слонов. Внук говорил: «Дед, когда ты не можешь заснуть, то представь слонов. Только обязательно белых. Они идут медленно и скучно. Серые слоны не помогут; они все время бегут, и за ними приходится следить внимательно, а это помешает заснуть». Бужма действительно задремал, но за стеной усилился стон, а дыхание стало хриплым. «Совсем не похоже на астму. Конечно, она ошиблась. Правда, сейчас около двух часов, а Ирина Сергеевна посмотре-



ла ребенка в одиннадцать. Бывают болезни, при которых картина развивается молниеносно. Если бы послушать поближе, можно решить».

Он вспомнил случай, который произошел год назад в Ленинграде. Ночью за ним прислали из клиники. Больной был тяжелый, стоял вопрос об операции. Тогда он подумал: «Дежурит молодежь, у них сила, руки, глаза, а у меня только опыт и слух. Но, кажется, они не считают, что этого мало». Он слушал живот. Он умел слушать тело, даже ноги и руки, когда думал о переломах. Но сейчас его интересовал кишечник. И Бужма услышал. Это был легкий всплеск, неотчетливый, слабый. Он положил руку на липкое от пота тело больного и постучал пальцем. И опять всплеск.

— «Непроходимость»,— сказал он тогда.

...— Мама!— прохрипел за стеной мальчик.— Пустите!

— Нахальство,— сквозь сон раздраженно сказал сосед.— Спать не дает.

«Нет, это не астма». И вдруг ясная мысль мелькнула в его мозгу. Бужма вытер простыней вспотевшее лицо и сел на кровати.

— Конечно,— сказал он вслух,— три часа назад этого не было.

Он шарил ногами по полу, искал тапочки. «Куда они задевались?» Потом встал и, вытянув вперед руки, пошел в сторону желтого пятна света, виднеющегося за дверью. Пол был холодный, крашенный. Его знобило. Он ставил ногу осторожно, на всю ступню, а руки держал вытянутыми вперед и разводил их в воздухе.

«Какие слабые ноги,— подумал он,— прямо ватные». И сжало слева в груди. «Отчего бы? Наверное, волнуюсь. Нужно спокойнее, Бужма».

Он все-таки ударился о железную ножку кровати и остановился. «Плохо без тапочек. Совсем забыл, что тяжелым больным не дают тапочки и халат».

Иннокентий Николаевич нащупал дверную ручку и вышел в коридор. Он стоял против сестры босиком, в белых, не подвязанных снизу кальсонах и молчал, превозмогая одышку.

— Кто вам разрешил встать?— испуганно сказала сестра.— Сейчас же ложитесь. Мало одного, так и

этот, старый, туда же. Вы понимаете, чем больны? Ах, господи!

Он ничего не ответил, нащупал руками спинку кровати и сел на край.

— Зажгите общий свет,— приказал он сестре,— и посмотрите горло ребенка.

Сестра подчинилась. Мальчик сжал челюсти, и сестра с трудом разомкнула ему рот.

— Страшный отек, доктор,— сказала она.— Непонятно, как он дышит?

— Это круп,— сказал Бужма.— Ложный круп. Теперь только от нас зависит судьба ребенка.

— Он может погибнуть?— спросила сестра.

— Мы не должны так думать,— сказал Бужма.— Возможно, Ирина Сергеевна уже приехала и операция будет сделана вовремя.

Он послал Ньюшу за Ириной Сергеевной, а сам остался сидеть около ребенка. Сестра все время ходила по коридору. «Боится, что Ирина Сергеевна не вернулась. Нужно не давать ей терять самообладание». Он приказал сделать инъекцию камфоры, прокипятить инструменты и принести кислород.

Мальчику было плохо. Дыхание стало реже, но тяжелее. Воздух проходил в легкие со свистом. Бужма положил руки на грудь ребенка и пальцами чувствовал, как вздымается маленькая грудная клетка. «Теперь важна каждая минута,— думал Бужма,— поэтому нужно предусмотреть все, чтобы сразу, как придет Ирина Сергеевна, начать операцию. Вызывать из района хирурга уже поздно».

— Мама!..— позвал мальчик.

— Уже ночь,— сказал Бужма,— и мама спит.

Он подумал: «Кого же сейчас посылать за мамой?»

— Нет,— выкрикнул мальчик.— Нет!

Он схватился за ладонь Бужмы и неожиданно сказал:

— Деда.

Иннокентий Николаевич погладил ребенка по голове и тихо сказал:

— Ты уж потерпи. Потерпи, ладно? Мужчине нужно быть терпеливым. Конечно, я понимаю, трудно. Но у нас с тобой нет другого выхода.

А сам подумал:

«Пожалуй, не буду говорить, что я не смогу делать операцию, потому что плохо вижу. Это может расстроить мальчика».

— Я ведь не знаю, где живет Ирина Сергеевна,— сказал Бужма,— поэтому мне кажется, что Ньюши нет долго. А если бы послали тебя или меня, то быстрее бы не было, а может быть, значительно дольше. Когда посылаешь кого-то и очень ждешь, время идет невероятно медленно.

Сестра встала у изголовья и начала давать кислород из подушки. Струя была явно недостаточной. Мальчик вертел головой, напрягался. Иннокентий Николаевич наклонился к нему и неподвижно просидел так минуту, выслушивая дыхание. Трудно было представить, что состояние так быстро ухудшится.

— Ты дыши,— говорил Бужма.— Доверься нам и дыши. Тебе только семь лет, ну восемь, а я в десять раз старше. Ты знаешь, что это — в десять раз старше? Дыши. Так. Вдо-ох. Еще раз. Умница!

Какая-то тяжесть все время лежала на плечах Бужмы, но он старался не обращать на это внимания.

— Уф, как жарко! — сказал он.— Просто нет сил от жары. Наверное, тебе тоже жарко? Хорошо, что сердце у тебя отличное. Стучит неплохо. Это в нашу пользу. Лет сорок назад я участвовал в такой же истории. Мальчик был, как ты. Лет семи. Я ехал к нему пятьдесят километров. И все кончилось хорошо. Меня провожало очень много людей. Это было замечательно. Такое не забывается. Другие говорят: благодарность ничего не стоит. Что же тогда стоит, я спрашиваю? Что? Ведь из-за этого мы живем. «Спасибо» — это не деньги. «Спасибо» не унижает.

На лестнице раздались торопливые шаги.

«Кажется, идет один человек?»

Сердце сразу заколотилось, точно его спустили с цепи, и Бужма почувствовал, как капли холодного пота потекли по лицу и шее. Боль стала невыносимой, и он впервые испугался, что потеряет сознание. «Я обязан быть спокойным, иначе решения не примешь».

— Она не приехала,— сказала Ньюша.— Я ждала ее около дома, а ее все нет.

— Зачем же ждать? — сказал Бужма. — Не приехала, и все. Тут ничего не дождешься.

Сердце мешало думать, и Бужма отклонился на спинку кровати, прилег на минутку.

— Ложитесь, ради бога, — взмолилась сестра. — Что будет, то будет. На вас лица нет.

— Больше мы ждать не можем, — тихо сказал Бужма. — Через тридцать минут никто уже не будет нужен мальчику. Остается только Татьяна Васильевна.

— Зубниха? — переспросила сестра.

— Зубной врач.

Он специально подчеркнул слово «врач». Нюша побежала по лестнице, а Бужма приказал разложить инструменты. Он взял из рук сестры кислородную подушку и стал давать кислород. Газ шел плохо — нужно было его выдавливать. Тогда он положил подушку перед собой и, когда мальчик втягивал воздух, ложился грудью на подушку, прислушиваясь, как газ выходит из шланга. Наверное, это небольшая работа, но он устал ужасно.

— Дыши, — говорил Бужма каждый раз, наваливаясь на подушку. — Дыши глубже. «Надо все время напоминать мальчику об этом. А то он не станет дышать».

Теперь Иннокентию Николаевичу показалось, что не прошло и минуты, когда на лестнице раздались торопливые шаги двух человек. Он различил частое постукивание знакомых каблучков и встал. Дверь с лестницы отворилась.

— Иннокентий Николаевич! Что это? Без тапочек? Разве можно? Разве не понимаете? Ведь Ирина Сергеевна будет...

Она схватила Бужму за руку, потом бросилась за стулом — и вдруг заметила ребенка. Мальчик смотрел на нее печально и дышал тяжело, с трудом, широко открывая рот, и было трудно сказать, видит ли он Татьяну Васильевну.

Она замерла перед кроватью.

— Что... что с ребенком?

— Слушайте, — сказал Иннокентий Николаевич как можно спокойнее. — Мы теряем мальчика. У него круп. И вам придется оперировать.

Он видел, как она отступила и присела на стул.

— Но мне не приходилось...

— Вы же врач,— сказал Бужма.— Значит, обязаны... И сейчас нет времени на споры.

— Я не спорю. Только у нас было так мало часов по хирургии...

Иннокентий Николаевич промолчал.

— ...и то как второстепенный предмет...

Она ждала хотя бы сочувствия, но Бужма как будто не слышал ее.

— Ну ладно,— упавшим голосом сказала Татьяна Васильевна.— А как оперировать?

«Она совсем ребенок»,— подумал Бужма.



Иннокентий Николаевич сидел в маленькой операционной на табурете и ждал, когда приготовится Татьяна Васильевна. Он прислушивался к звукам операционной — сестра раскладывала на столике металлические инструменты,— и все мысли, которые осаждали его, вдруг исчезли, дав место полному покою.

— Шприц,— сказала Татьяна Васильевна, и голос у нее был ровный.

«Неужели она совсем не волнуется?» Докторша набирала из фарфорового стаканчика новокаин, и Иннокентий Николаевич услышал, как мелко позвякивал шприц по краю стаканчика. «Волнуется. И все-таки молодец. Куда исчезла вся суетливость?»

Ребенок застонал и затих.

— Делайте сразу глубокий разрез,— сказал Бужма и на себе показал место, в котором нужно рассечь кожу.

— Трахея,— тихо сказала Татьяна Васильевна.

— Приготовьте трубку,— приказал Бужма.

Он слышал в висках свой пульс. Раз, два... восемь... двадцать три... сорок семь... «Как тихо,— подумал Бужма.— Теперь болит не только сердце, но рука, лопатка и даже челюсть. А пальцы онемели и кажутся чужими. Почему так долго? Посмотреть бы, что она делает». Он стал снова считать: «Шестьдесят шесть, шестьдесят семь. Мальчик дышит очень редко. Если ему

через минуту не дать воздуха, то операция будет ненужной. Хирургу на такую процедуру достаточно тридцать секунд... Восемьдесят».

— Ввела,— сказала докторша.

— Почему же он не дышит?— удивленно спросил Бужма.

— Не знаю,— сказала докторша.

— Массаж... Делайте массаж... Закрытый массаж.

Он никак не мог сформулировать мысль, но Татьяна Васильевна поняла его. Их уже что-то соединяло. Он понял, что она начала искусственное дыхание. После каждого пасса воздух выходил из трубки. И вдруг мальчик вздохнул. Он тянул воздух медленно, упорно, будто собирался забрать сразу все запасы операционной.

— Дышит, дышит!— крикнула Татьяна Васильевна.

На какую-то секунду Иннокентию Николаевичу показалось, что он видит. Мальчик и докторша смотрели на него. Он стиснул пальцами края табуретки и корпусом подался вперед. Ему вдруг стало необычно легко. Бужма свободно вздохнул, распрямил плечи и встал.

— Что с вами? Иннокентий Николаев...

Голос напоминал эхо, где-то терялся...

Последнее, что увидел Бужма,— это десятки светящихся точек...



## Самолетный кочегар



н появился в конторе лесозаготовительного пункта в середине июня. Шло важное заседание. Час тому назад у дизельного трактора расплавили подшипники, и теперь начальник пункта Сухов, покрасневший и взъерошенный, искал виновных.

— Здравствуйте! Я вот... пришел,— сказал паренек, входя в комнату.

Шумный разговор прервался на полуслове. Сухов недоуменно посмотрел на свою руку, вытянутую вперед, и вместо того, чтобы стукнуть ею по столу, согнул в локте и рассеянно поправил прическу.

— То есть как,— спросил он,— как это пришел?

— А из Радугина,— пояснил паренек.— Ждал, ждал машину, а ее нету, вот и пришел пешком...

Он полез рукой за пазуху, порылся в кармане, но ничего не нашел. Тогда он полез в другой карман, затем в третий, но безрезультатно. Паренек смущенно улыбнулся и стал торопливо шарить в заднем кармане брюк. Лицо его засияло, он шумно вздохнул.

— Вот она...— и протянул Сухову какую-то бумажку,— справка из детдома...

Сухов повертел бумажку в руках.

— Что же это делается, а, товарищи?— сказал он плачущим голосом.— Какая бумажка, из какого детдома?

— А из радугинского,— охотно ответил паренек, присматривая для себя место. Ему понравился стул у окна, и он сел на него, положил руки на колени и благожелательно посмотрел на окружающих.

— Да вы читайте, там все сказано...

И тогда раздался негромкий смех технорука Волошина.

— Слушай,— сказал он Сухову,— ты действительно читай. Видишь же, человек пришел...

За Волошиным засмеялись все. Уж очень не вязались маленькая, худощавая фигура, светлые, наивные глаза паренька с обстановкой комнаты, в которой сидели сердитые громкоголосые люди и спорили о расплавленных подшипниках.

Сухов развернул справку. Он вслух прочел о том, что Иван Иванович Пыж по собственному желанию пошел работать в леспромхоз и что детдом одобрил его решение, так как Пыж с детского возраста проявил любовь к машинам. В детдоме Пыж прошел полный курс семилетки с похвальными успехами (свидетельство прилагается). Там же он занимался в кружке юных техников и изобрел мотоцикл, который наверняка бы двигался, если бы Пыж достал некоторые детали.

После официальной части женским почерком было приписано, что Ваня Пыж имеет и некоторые недостатки. Например, он не всегда тщательно следит за собой, а в детдоме покуривал самосад, который выращивал в не известном никому месте.

Когда Сухов кончил читать, Пыж снисходительно улыбнулся: «Пишут же, черти, сами не знают, что!»—



и протянул начальнику свидетельство об окончании семилетки.

— Все пятерки!— объявил Сухов.

— А по физкультуре четверка,— поправил его Пыж.

— Да, по физкультуре четверка,— подтвердил Сухов.

Теперь это был другой Сухов, очень непохожий на того Сухова, который пять минут назад заявил, что если у дизеля еще раз расплавится подшипник, он отнесет стоимость простоя на счет виновного, вклеит ему строгий выговор в приказе и вообще жизнь виновного после этого станет очень тяжелой.

— Трактористом хочу быть,— сказал Пыж, поняв, что наступило время для делового разговора: всякие ненужные бумажки прочитаны.

— Как, товарищи,— обратился Сухов к присутствующим,— что ответим?

— Испытать можно...— заговорили мастера.

— Решено!— Сухов стукнул рукой по столу.

Такое случилось впервые: обычно кандидатуры новых учеников трактористов обсуждались долго и обстоятельно.

— Вот это по-деловому!— весело воскликнул Пыж, и быстро сложил бумажки в карман, и на прощание протянул Сухову руку:— Спасибо!

— Слушай, Иван Иванович,— остановил его Волошин.— Ты хоть нам-то скажи, где выращивал табак?

— А за баней, в крапиве...



Так Пыж стал учеником тракториста. В общежитии, где ему отвели место, он аккуратно разложил вещи, красиво заправил кровать, затем нашел сторожиху тетю Машу, выпросил у нее березовый веник и отправился в баню.

Из бани он вернулся красный и очень довольный собой. Пыж сел на стул у печи и стал терпеливо ожидать своих товарищей по комнате.

Первым вернулся невысокий юноша с длинными, давно не стриженными волосами. Заметив Пыжа, он

сказал: «Здорово!» — и стал что-то искать в тумбочке, но не нашел и потребовал:

— Дай-ка мыло... Опять уперли!

— Тракторист?— уважительно спросил Пыж, протягивая мыло.

Юноша посмотрел на него, зачем-то оттопырил нижнюю губу и хмыкнул:

— Держи карман шире!.. Так тут тебя и посадят на трактор! Помощник я, вот кто!— и ушел мыться.

Потом ввалились сразу двое — оба длинные, черные, в одинаковых промасленных фуфайках, пахнущих мазутом и хвоей. Каждый был в два раза выше Пыжа. Поэтому он уверенно подумал, что уж эти-то двое обязательно трактористы.

— Привет!— угрюмо сказал один из них, черным сердитым глазом рассматривая Пыжа. Второй глаз тракториста был прикрыт темной челкой.— Кто такой?— спросил он, сбрасывая фуфайку прямо на пол.

— Из детдома я, из Радугина,— ответил Пыж,— учеником тракториста буду.— И строго добавил:— Подними фуфайку-то, ишь, разбросался!

Вошедшие переглянулись. Тот, что молчал и казался особенно сердитым, свирепо поворочал глазами и скорее удивленно, чем зло, сказал:

— Смотри-ка, Петро, еще один указчик выискался! Ну прямо житья от них не стало! Повесь фуфайку, назло всем повесь!

Захватив полотенца и мыло, они тоже ушли.

«Здорово попало им от кого-то!» — подумал Пыж, стараясь представить того человека, который мог сделать это.

Вскоре явился пятый жилец комнаты. Дверь с треском распахнулась, стекла в окнах дрогнули, и на пороге выросла фигура парня лет двадцати. Одёт он был чисто, даже немного франтовато: рабочий комбинезон был из добротной новой материи, фуражка из блестящей кожи, а из расстегнутого воротника коричневой рубашки выглядывали сине-белые полоски тельняшки. Он обвел комнату большими серыми глазами и, не мигая, уставился на Пыжа.

— Здравсте!— насмешливо протянул он.— Откуда бог послал?

Это не понравилось Пыжу. Он тоже, не мигая, стал глядеть в глаза вошедшему.

— А ты откуда выскочил как бешеный?— спросил Пыж.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза: Пыж— со спокойной уверенностью, а парень— с вызовом и угрозой.

Первым не выдержал парень в тельняшке. Он отвел взгляд и пошел к Пыжу.

— Ты смотри, ты знаешь...— пригрозил он.

— Я и так смотрю...

Неизвестно, что произошло бы дальше, если бы в комнату не вошли два сердитых тракториста. Увидев их, парень сразу же забыл о Пыже.

— Знаешь, Левка, так работать нельзя!— сердито заговорил парень.— Я тебе сто раз петь об этом не стану. А по часу чокеровать<sup>1</sup> лес тебе никто не позволит!

Левка стал оправдываться; в разговор вмешался второй тракторист; они заговорили о каком-то мастере Павле Ивановиче, то ругая его, то восхищаясь его твердой линией, потом опять заспорили о чокерах, и Пыж из разговора понял, что все живущие в комнате не трактористы, а также, как и он, ученики. И еще узнал он, что парня в тельняшке зовут Емельяном.

Доругавшись с товарищами, Емельян внезапно повернулся к Пыжу и насмешливо бросил:

— Рот закрой! Ворона залетит!

Пыж смутился. Оказалось, что действительно, увлеченный спором, он открыл рот. Как это заметил Емельян, разговаривавший с товарищами, Пыж понять не мог.

Но он быстро справился с собой и, как будто ничего не произошло, отвернулся к окну.

— Так-то лучше!— торжествующе заметил Емельян и с обидной снисходительностью спросил у вихрастого юноши:— Кого это к нам прислали?

— Не знаю... учеником тракториста, говорит, будет...

---

<sup>1</sup> Чокер — металлический трос с петлей на конце. С помощью чокера срубленные деревья прицепляются к трактору.

— Учеником! Ну, знаешь, прицепи корове седло!— с издевкой заметил Емельян, окидывая взглядом щуплую фигурку Пыжа.— Это же не ученик... Это же самолетный кочегар,— нашел он выражение, которым механизаторы называли людей, непричастных к технике.

В этот момент открылась дверь, и в комнату вошли знакомые Пыжу начальник пункта и загорелый человек, который спрашивал в конторе, где Пыж выращивал самосад.

— Здравствуйте, товарищи!

Они медленно обошли комнату, заглянули в тумбочки, проверили постели. Окончив обход, загорелый внимательно посмотрел на Емельяна.

— Поздравляю вас, Емельян Прохорович! Вы, говорят, сегодня чуть-чуть норму не выполнили.

Краска бросилась в лицо Емельяну. Не поднимая глаз на загорелого, он забормотал:

— Смешно, конечно... Вам, товарищ парторг, только шутки...

— Не то, не то, Емельян,— улыбнулся загорелый,— растерялся ты, право слово, растерялся!

Затем начальник пункта и загорелый внимательно посмотрели на Пыжа. Парторг вдруг весело подмигнул Пыжу.

Пыж понял его так: «Попался, брат, Иван Иванович! Ну, ничего, бывает и хуже! Все перемелется, мука будет!»



Когда на следующий день Пыж явился в лесосеку, Емельян сразу же заметил его. Он громко закричал:

— А, самолетный кочегар пришел!

Пыж и бровью не повел. Перепрыгивая через толстые бревна, он поднялся на эстакаду — так называется в лесосеке площадка, на которой распиливаются на бревна деревья. Слева на эстакаду поднимался трелевочный трактор. Лязгая гусеницами, машина с трудом втаскивала большой воз хлыстов. Деревья точно за что-то зацепились, так ощутимо было их сопротивление усилиям трактора. Тракторист высунулся из каби-

ны, громко выругался и дал такой газ, что трактор приподнялся на дыбы, как норовистый конь. Ветки затрещали, хлысты медленно поползли за трактором.

— Силища!— восхитился Пыж.

Позади него вдруг появился маленький человек в очках, привязанных за уши цветными веревочками. Он сердито посмотрел на тракториста и закричал:

— Так-с, товарищ Дутов, трактор перегружен!

Тракторист, пожилой, сутулый, с висячими украинскими усами, проворно выскочил из кабины и потребовал, чтобы пересчитали бревна. Бревна пересчитали, даже измерили толщину каждой небольшой палочкой с зарубками, и человек в очках разочарованно заявил, что нет, трактор не перегружен, а то, что он с трудом поднял хлысты на эстакаду, объясняется просто: эстакада высока. Собственно говоря, это он знает давно и даже предупреждал кого следует, но ведь есть люди, которым хоть кол на голове теши, ничего не понимают.

Тогда тракторист рассердился. Он поднял с земли газогенераторную чурочку, сунул ее под нос человеку в очках и ехидно спросил:

— Сырая?

Человек в очках взвесил чурочку на руке, вернул ее трактористу и озабоченно согласился:

— Сыровата...

— Да не сыровата, а сырая! И вот я тебя спрашиваю: будет на такой чурочке трактор тянуть на все сто? Будет, спрашиваю?

— Ты не суй чурочку-то! Сам вижу... Мне бы только узнать, кто эту чурочку принял!— стукая кулаком о кулак, свирепо продолжал он.— Ты кто?— Это уже относилось к Пыжу. Его обнаружив, обернувшись назад, человек в очках.— Почему не работаешь? Дутов, возьми-ка его в оборот... Это ученик.

Человек в очках убежал, и Пыж остался наедине с сутулым трактористом, который бесцеремонно его разглядывал.

По-видимому, осмотр не удовлетворил тракториста. Дутов кивнул головой в сторону лесосеки и спросил:

— Это они тебя... самолетным кочегаром-то?

— Меня,— просто ответил Пыж.

— Ты, говорят, с детдому? — продолжал Дутов, свертывая самокрутку толщиной в палец.

— Да.

— Так, так... Кличут как?

— Иван... Фамилия — Пыж.

— Ишь ты, Пыж!.. Чем патроны забивают... Технику безопасности проходил?

— Нет еще. Велели к мастеру Павлу Ивановичу.

— Значит, к нему и надо. Вон он, Павел Иванович, то, в очках... Вот что, парень, ты давай-ка пока садись в трактор. Я тебе на ходу объясню пято-десятое...

Обо всем забыл Пыж, забираясь в кабину трелевочного трактора. Впереди, поблескивая медью, гудел источающий тепло мотор. Пыж не мог оторвать восхищенного взгляда от многочисленных ручек и приборов, которыми уверенно орудовал Дутов. Прямо перед глазами было окно, по которому, если надавить маленькую кнопчку, задвигается плоская щеточка-дворник, очищающая стекло. Дутов выжал сцепление, хрустнули шестерни, коробки передач; вздернувшись на дыбы, трактор быстро взял с места. Пыж обеими руками вцепился в сиденье и, затаив дыхание, смотрел то в окно, то на рычаги управления, которые передвигал Дутов. Бледноватое лицо Пыжа покраснело от волнения. Дутов искоса посмотрел на него, тихо засмеялся:

— Ишь ты!.. Чем патроны набивают!.. Ну, парень, смотри да слушай! Первое твое дело — чурочка. С нее любой тракторист начинается...

Они оказались несложными, эти первые обязанности Пыжа. Когда трактор вернулся на эстакаду, Дутов показал ему большую плетеную корзину, в нее набивали чурочку.

— Чурочка, она легкая, если сухая,— заметил Дутов, снова, как в прошлый раз, окидывая Пыжа оценивающим взглядом.— Топить бункер, парень,— это тебе не печку шуровать. Пока ты этому делу не выучишься, не будет из тебя тракториста, хоть ты всю математику на зубок пройди.

Пыж выжидательно молчал, но Дутов так и не сказал главного: когда начнет учить управлять трактором.

Пыж вздохнул, потом поплевал на руки, взял корзину и направился к навесу, под которым лежала чурочка.

— Правильно,— одобрил Дутов.— Я рейс сделаю, а ты заправочку приготовишь...

Пыж быстро наполнил корзину чурочкой и от нечего делать стал собирать топливо, разбросанное около навеса. Занятый этим делом, он все дальше и дальше уходил к разделочной эстакаде.

Неожиданно он наткнулся на мастера Павла Ивановича. Мастер держал в руке блокнот и шевелил губами, видимо, подсчитывая что-то. Он рассеянно проворкотал:

— Смотреть надо!

Но, увидев, что Пыж собирает чурочку, поджал губы и сердито ткнул пальцем.

— Это что, чурочка или нет, спрашиваю?!— Он немного подумал и застучал кулаком о кулак.— Мне бы только узнать, кто это чурочку рассыпает на дороге! Только бы узнать!..

Он как-то быстро успокоился и приказал:

— В семь часов занятия на курсах трактористов. Быть без опоздания! Понятно?

Подъехал Дутов. Он похвалил Пыжа за собранную чурочку, легко забрался на трактор и открыл крышку бункера.

Густой, удушливый дым повалил из него.

— Давай!— крикнул Дутов.

Взвалив корзину на плечо, Пыж осторожно пошел к трактору. Да, чурочка была сыровата — это хорошо понял он, когда стал подниматься на трактор, держась одной рукой за погрузочный щит. Правая нога еле достала до верхней гусеницы, он качнулся и схватился рукой за обжигающий металл бункера.

— Скорее!— торопил Дутов. Когда первую корзину высыпали, он успокоил: — Еще три-четыре корзины — и хватит...

Не успел Пыж набрать вторую корзину, как к заправочному пункту подъехал Емельян. Он оглянулся по сторонам: есть ли зрители — и, увидев, что два парня работают поблизости, уселся на высокий пень. Пыж в этот момент забирался на трактор с тяжелой корзиной.

— Да,— громко начал Емельян,— без подъемного крана не обойтись. Давай, ребята, шуруй до Павла Ивановича. Пусть автокран пришлет!

Пыж даже не повернулся к Емельяну. Он высыпал чурочку и, подхватив пустую корзину, пошел за следующей порцией топлива.

Емельян еще острил, расспрашивал об устройстве самолета, осведомлялся, какое давление следует держать в котле во время посадки на землю, но все напрасно: Пыж точно не видел Емельяна. Он расторопно — руки так и мелькали — набирал чурочку, с усилием, но уже ловко поднимал корзину на трактор и, когда бункер был заполнен, уехал вместе с Дутовым в лесосеку, так и не взглянув в сторону Емельяна.

Рабочий день кончился неожиданно.

— Пошабашили!— сказал Дутов.

Через полчаса Пыж на лесовозной машине ехал в поселок. Он боялся опоздать на занятия и поэтому, наскоро поев, побежал в красный уголок лесопункта, где занимались трактористы. В гулком прохладном помещении еще никого не было.

Стены комнаты сверху донизу увешаны схемами, плакатами, цветными диаграммами. А у окна на широком столе самое интересное — настоящий тракторный мотор. Но когда Пыж пригляделся, то оказалось: это вовсе не мотор, а разрез двигателя, искусно сделанный из дерева и тонкой жести. Пыж узнал карбюратор, цилиндр, поршни, коробку передач. Он провел рукой по мотору и смущенно оглянулся. В дверях стоял молодой человек с портфелем в руках. Он смотрел на Пыжа, приподняв подбородок.

— Итак,— сказал молодой человек,— здравствуйте!

Пыж понял: это преподаватель. Так оно и оказалось, когда собрались все слушатели.

— Начнем!— строго сказал преподаватель.

И началось неожиданное. Пыж думал, что преподаватель подойдет к модели мотора и станет рассказывать об устройстве заманчиво поблескивающих загадочных вещей. Но — увы! Преподаватель заглянул в тетрадь, испытующе посмотрел на слушателей и голосом, в котором чувствовался скрытый подвох, произнес:



— Итак, Александр Пилипчук, расскажите-ка нам, как нужно соединять вольтметр и амперметр и источник тока. Так, прекрасно! А не напишете ли вы, Александр Пилипчук, формулу емкости конденсатора?

Пыжу было невдомек, что манеру спрашивать с «подковыркой» недавний выпускник Красноярского лесотехнического института перенял у профессора Королева — грозы всех студентов. Об этом Пыж не знал. Соскучившись, он рассеянно слушал ответы и думал, что ему определенно не везет. И вдруг Пыж насто-рожился.

— Емельян Кузьменко,— вызвал преподаватель, и Пыжу показалось, что его голос прозвучал еще более иронически,— идите к доске!

— Что же вы медлите, Емельян Кузьменко?— спросил он, увидев, что слушатель продолжает сидеть на месте.

Емельян вышел к доске. Он поднял бровь и хмуро посмотрел на преподавателя. «Давай, придирайся!» — говорила его поза.

— Итак, Емельян Кузьменко, напишите-ка нам формулу Джоуля — Ленца.

Емельян взял в руки мел. Мел не понравился ему, он выбрал другой кусок, взял тряпку и начал старательно вытирать доску. Вытирал он долго, натер до блеска и шумно выдохнул воздух.

— Пишите же,— торопил преподаватель.— Как начинается формула?

— Кю...— быстро сказал Емельян,— кю равняется...

— Чему же равняется?

Емельян переступил с ноги на ногу, взгляд его пробежал по рядам и неожиданно наткнулся на взгляд Пыжа.

— Ничему не равняется!— вдруг грубо сказал Емельян.

Тогда преподаватель заявил, что с него хватит: он достаточно возился с Кузьменко. Загибая пальцы, он стал перечислять грехи Емельяна: пропустил три занятия, к ответам не готовится, грубит, нарушает тишину. Подытоживая сказанное, преподаватель пообещал пожаловаться на Емельяна секретарю партийной орга-

низации лесопункта. «Это тому, загорелому»,— вспомнил Пыж.

Урок продолжался.

Спросив еще двух человек, преподаватель вызвал к доске Пыжа.

— Вы отстали на семь занятий. Посмотрим, сможете ли нагнать группу... Итак, Иван Пыж, напишите нам формулу Джоуля — Ленца!

Ломким сероватым мелом (в школе таким и писать не стали бы!) Пыж написал формулу.

— Извольте объяснить значение букв.

Пыж объяснил.

— Мгу!— многозначительно произнес преподаватель.— Будьте добры теперь рассказать о диэлектриках и электриках.

Пыж рассказал. Тогда преподаватель попросил изложить как можно поточнее определение напряжения тока. И на этот вопрос Пыж ответил.

— А что такое диэлектрическая постоянная?

Оказалось, что и о диэлектрической постоянной Пыж знает.

Это даже немного обескуражило преподавателя, он перестал иронически щурить глаза и повернулся к Пыжу всем телом.

— Как выведен коэффициент в формуле Джоуля — Ленца?

— Опытным путем,— ответил Пыж, споткнулся и по слогам произнес:— Опытным, или эмпирическим (это слово он слышал от старшеклассников).

— Садитесь, Иван Пыж!— весело сказал преподаватель обыкновенным голосом двадцатичетырехлетнего молодого человека.— Хорошо!



Ночь прошла беспокойно. Пыж ворочался на кровати, разговаривал с кем-то, называл неизвестную Марию Федоровну, а под утро, вскрикнув, проснулся. Ему приснилась гигантская плетеная корзина. Она висела в воздухе и очень медленно переворачивалась. Пыж долго размышлял, почему корзина не падает на землю, удивлялся этому обстоятельству и не заметил,

как корзина перевернулась. С громом и свистом полетели на него четырехугольные куски дерева с очень острыми краями. Он хотел убежать, но ноги точно примерзли к земле, и ему оставалось думать одно: что чурочка сырая и никто не может помочь ему. Когда все из корзины высыпалось, Пыж проснулся с чувством облегчения. В комнате было светло, как днем. В графине, стоящем на тумбочке у окна, порозовела вода.

Пыж стал перевертываться на бок и почувствовал, что все тело болит. Ныли руки и ноги, покалывало в боку.

Спать не хотелось. Пыж тихонько поднялся и стал одеваться. На цыпочках он вышел на улицу. Занимался день.

Кругом все розовело, а сигнал на кузове автомобиля горел ярким красным огнем.

Вчера утром Пыж заметил несколько старых корзин, валявшихся у механической мастерской. Корзины были на месте. Пыж внимательно осмотрел их. Хорошие еще корзины, целых четыре штуки. У одной, правда, немного подносилось дно. Перевязать его веревочками — дело пяти минут. Вот только где достать веревочки? Пыж вспомнил сторожа, с которым он познакомился в первый день приезда на лесозаготовительный пункт. Сторож сидел на лавочке у входа в мастерские. Он обрадовался возможности поболтать с Пыжом.

— Веревочки? Как же не быть веревочкам! У хозяина, который всегда при деле, да не быть веревочке? Мы это дело мигом! Мы это дело сейчас...

Старик принес несколько старых обрывков каната. Они распустили их, и старик помог Пыжу отремонтировать корзины.

Теперь оставалось главное — увезти корзины в лесосеку. Пыж понимал, что шофер лесовозной машины откажется взять громоздкий груз. Поэтому он отправился в диспетчерскую. Здесь еще никого не было. Пыж сел на лавку и привалился к стенке. Вдруг оказалось, что мучительно хочется спать. И он быстро уснул.

— Вставай! Слышь, вставай! — Над Пыжом наклонилась тень.

нилась усатая физиономия Дутова.— Ты почему, парень, здесь спишь?

— Я нечаянно,— стал оправдываться Пыж.— Хотел вас подождать и уснул... Я штуку одну придумал. Корзины тут нашлись какие-то лишние. Вот посмотрите.

Еще ничего не понимая, Дутов послушно пошел за Пыжом, а когда узнал, в чем дело, радостно потрепал своего ученика по плечу.

— Дело, парень. А шофера мы мигом уговорим. Пошли-ка!

Шофер долго не соглашался. Он упирал на то, что в машине для людей не место всяким корзинам. Он очень гордился, этот шофер, своими почетными обязанностями возить пассажиров, но с Дутовым ничего сделать не мог. Сдался он после того, как тракторист вышел из терпения и закричал:

— Ты, Сенька, смотри! Ты хоть и шофер, а я сниму ремень и так тебя обработаю!..

Пыж от удивления вытаращил глаза: шофер оказался родным сыном Дутова. После нахлобучки шофер с ворчанием вылез из кабины и побросал в кузов все три корзины, приговаривая сквозь зубы, что будет жаловаться самому директору леспромхоза Сутурмину на самоуправство разных там отцов, которые лезут не в свое дело.

Но он скоро успокоился. Рабочие между тем собирались. Рядом с Пыжом уселся сосед по комнате, который просил у Пыжа мыло. Его звали Ефимом. Протирая заспанные глаза, Ефим рассказал Пыжу, что Емельян вчера куда-то ходил. Было это после занятий, и все предполагают, что Емельян бегал упрашивать преподавателя не жаловаться на него парторгу Волошину. Парторга Емельян боится больше огня. И не то, чтобы тот был слишком сердитым, нет, дело в другом. Волошин неделю тому назад заступился за Емельяна перед директором леспромхоза, который хотел перевести Емельяна из учеников в обрубщики сучьев. Емельян тогда здорово проштрафился. Он без разрешения тракториста сел в кабину и давай ездить по карчам. Чуть погрузочный щит не поломал. Вот Волошин и заступился за Емельяна. Он сказал директору, что

ручается за Емельяна, а Емельян обещал больше не безобразничать.

Потом Ефим сообщил, что ему здорово понравилось, как Пыж вчера срезал преподавателя. Так ему и надо, пусть знает, какие люди живут в сорок четвертой комнате общежития! Подумаешь, зазнался со своим Джоулем — Ленцем!

Болтая с Ефимом, Пыж и не заметил, как машина пришла в лесосеку. На эстакаде было тихо. Только что кончилась ночная смена. Тракторы стояли в ряд, легкий парок клубился над ними; казалось, тяжелые машины отдыхают. Изредка из бункера какого-нибудь трактора вырывался тоненький язычок огня: догорал газ. Только слева на передвижной электростанции раздавался визгливый звук напильника. Там точили цепи для электропил.

Неизвестно откуда появился мастер Павел Иванович. В руке он держал знакомый Пыжу блокнот.

— Выгружайся!— закричал Павел Иванович.

Кричал он зря: все и без команды попрыгали на землю. Пыж сошел последним. Он подавал Дутову корзины.

— Ты, однако, сегодня не завтракал?— подозрительно спросил Дутов, а когда Пыж сознался, что да, не ел, распорядился:— Я машину проверю. Иди завтракай!

Пыж зашел в передвижную столовую и попросил гречневой каши. Буфетчица удивилась:

— Это что за мода? В поселке надо завтракать, молодой человек! Мы, молодой человек, завтраками не кормим.

Из маленькой, отгороженной фанерой кухни появилась белобрысая официантка и что-то зашептала на ухо буфетчице. Та слушала ее, строго поглядывая на Пыжа.

Наконец буфетчица сказала:

— Гречневой каши нет, молодой человек!

Пыж понял, что с буфетчицей шутить нельзя: такая это строгая и неприступная женщина. Он надвинул фуражку на лоб и пошел к двери.

— Пойдите, молодой человек!— вдруг заволновалась буфетчица.— Вам же сказано, что гречневой

каши нет! Придется минут пять подождать, пока каша будет готова.

Через десять минут Пыж вышел из столовой, ощущая тяжесть в желудке. Ему наложили огромную порцию каши, но Пыж не ударил в грязь лицом: на тарелке осталось ровно столько, сколько полагается для приличия. Теперь можно было смело приступать к работе. Пыж так и сделал. Он подошел к складу чурочки и быстро наполнил все четыре корзины. В ожидании Дутова он присел на бревно. Солнце висело высоко над лесом. Кроны сосен из темно-зеленых стали бирюзовыми. На иглах еще вздрагивали разноцветные капельки росы. Где-то далеко в лесу тонко посвистывала пичужка. Но вот робко, словно пробуя силу, фыркнул тракторный мотор, на секунду затих, а затем уверенно, торжественно зарокотал, оглашая лес бодрым, веселым голосом. И лес ответил ему задорным эхом. А когда эхо, переключаясь, затихло, заработали моторы сразу всех тракторов. Перебивая друг друга, они спешили увериться в собственной силе и здоровье.

Вспыхнул и заглох над выхлопными трубами передвижных электростанций голубсватый дымок. Змеевидные кабели ожили, с шуршанием поползли по земле, чтобы впиться черным раструбом контакта в электрические пилы. Щелкнули выключатели. Крошечные моторы пил запели звонко, досадливыми осинными голосами.

Дутов первым подъехал к заправочному пункту. — Начинай, парень! — радостно крикнул он.

Пыж подал Дутову одну за другой четыре корзины чурочки. Никогда еще трактор так быстро не заправлялся. Это привело тракториста в восторг.

— Н-н-о-о, Иван Иванович! — Дутов покрутил головой. — Парень ты башковитый! Ведь чего проще этого, а никто не додумался!

Он уехал в лесосеку, а Пыж быстро набрал в корзины еще одну заправку и пошел к трактору. Дутов посадил Пыжа в кабину и, пока чокеровщики зацепляли хлысты, рассказывал ему о хитроумном устройстве тракторной лебедки, которая оказалась сильнее самой машины. Если трактор не может взять с места воз

хлыстов, то лебедкой их сдвинешь, как пушинку. Однако пусть Пыж не думает, что в лебедке сила берется невесть откуда. Очень хитрое это дело — хорошо отрегулировать лебедку. Правда, Пыжу повезло: Дутов научит его так регулировать лебедку, что другие трактористы завидовать будут.

Первый воз хлыстов они привезли на эстакаду, когда работа была в разгаре. Мастер Павел Иванович был тут же. Он велел Пыжу немедленно вылезать из машины и следовать за ним. Не понимая, что произошло, Пыж пошел за мастером. Они остановились у заправочного пункта. Здесь стоял трелевочный трактор, на котором работал Емельян. Тракторист, степенный, очень высокого роста латыш, что-то горячо объяснял своему ученику. Емельян упрямо качал головой. Но тракторист настаивал, жестикулировал и даже погрозил пальцем, поднеся его под самый нос Емельяна. Затем он увидел мастера Павла Ивановича.

— Ага!— обрадовался тракторист.— Вот и Павел Иванович пришел! Павел Иванович, послушайте-ка!

Емельян схватил тракториста за рукав.

— Ладно, ладно!— торопливо сказал он.

Павел Иванович подозрительно посмотрел на Емельяна. В руках мастера появился знакомый блокнот. Он помахал им в воздухе.

— Нам все известно! И все-таки опять фокусы!

— Да я же согласен,— угрюмо ответил Емельян.

Павел Иванович вынул старинные массивные часы, щелкнул крышкой, обернулся к Пыжу и недовольно сказал:

— Порядок подачи рационализаторских предложений строго определен в положении. То, что внесли вы, товарищ Пыж,— это, конечно, не рационализаторское предложение, но сие не значит, что мастер должен узнавать о нем через третьи руки. Так-то! Применение нескольких корзин для загрузки бункеров чурочкой, при всей простоте и даже наивности идеи, дает определенный экономический эффект. Что это значит? А то, что я должен провести хронометраж. Порядок установим такой. Оперирруя только одной корзиной, ученик товарищ Кузьменко загрузит бункер трелевоч-

ного трактора номер семь. Затем товарищ Пыж, применяя четыре корзины, загрузит бункер трактора номер два. Приступаем!

Обступившие заправочный пункт рабочие сдержанно улыбались, а Дутов — тот открыто смеялся, хитро поглядывая на Емельяна.

— Приступаем! — грозно повторил мастер.

Тогда Пыж решительно вышел вперед и, чувствуя, как горло перехватило волнение, заговорил:

— Я не понимаю... ну, что такого... Подумаешь, четыре корзины! А Емельян, он при чем? Не надо никаких хронометражей... Вот, честное слово, не надо! — Пыж покраснел, его тонкий голос дрожал.

Мастер Павел Иванович снял цветные веревочки с ушей, сунул очки в карман и, близоруко щурясь, смотрел на Пыжа. Без очков лицо мастера казалось незнакомым: оно было моложе и добрее.

— Мы принимаем ваше предложение, — сказал он.





## Замоскворечье

1

### НЕДОЧИТАННЫЕ СКАЗКИ



Дом наш стоял в одном из сонных переулков Замоскворечья. Осенью у нас во дворе лежали горы мокрых листьев, узорчатых, как старая школьная промокашка, а зимой было столько снега, что, как говорил наш дворник Филатыч, можно было рыть окопы полного профиля.

Колька, Сашка и я жили в одном подъезде. Колькина сестра Ритка прозвала нас мушкетерами. Я был толстым и потому звался Портосом. Долго спорили, кому быть д'Артаньяном, потом присвоили это славное имя Витьке из другого подъезда. Так было не обидно. Но скоро нам та непролетарская эпоха надоела, и Колька решил стать Чапаевым. Тогда я стал Петькой. А Сашку мы сделали белым генералом. Он каж-

дый раз клялся и божился, что играет «беляка» в последний раз.

— Это не по правилам,— хныкал он и часто подыгрывал Чапаеву.

Однажды в пылу сражения он даже «убил» самого себя.

Когда воевать надоедало, мы ходили на Стрелку, что возле кинотеатра «Ударник». Там старшие ребята из нашего дома занимались греблей на клинкерах и скифах. Во время соревнований мы располагались вдоль набережной Москвы-реки и «болели» до хрипоты за своих, особенно за Кирилла — старшего брата Кольки и Риты. Он показывал на одиночке хорошее время, а один раз чуть не обогнал самого Долгушина, тогдашнего чемпиона Москвы.

Но скоро мы к гребле остыли. Кирилл и вся их четверка уехали учиться в летнюю школу, и «болеть» стало не за кого.

Зато какими праздниками были для нас дни, когда на побывку домой приезжал кто-нибудь из этой четверки! Они все уже стали летчиками-истребителями. Мы гордились ими. А ребята из соседних дворов нам завидовали: только мы могли по праву называть свою футбольную команду «Истребитель». Ведь больше ни в одном дворе на всей нашей улице не было столько летчиков. Но, надо сказать, мы тоже честно боролись за свою марку. Кольку даже прозвали Бутусовым: очень сильный имел удар правой. Пришлось сделать ему на правой ляжке наколку «О для Ж», что означало: «опасно для жизни».

Стоял солнечный мартовский день. Сосульки свисали с карнизов домов, как опрокинутые голубые свечки. С них падали на землю солнечные огоньки. Весело чирикали воробьи. Высоко в небе лениво, большими кругами ходили голуби. Девчонки играли на тротуаре в «классы». От асфальта подымался пахнувший мокрым снегом пар. Мы с Колькой сидели в сарае и читали «Сказки братьев Гримм».

— Кольк-а-а! К-о-ольк! — услышали мы вдруг Риткин голос.— Иди домой! Мама зов-е-ет!

Но Колька зло отмахнулся.

— И чего орет,— заворчал он,— вот ведь человек, нигде от нее покоя нету.

— Коленька-а! Иди дом-ой! — еще раз крикнула Ритка.

Колька и я переглянулись: «Коленька» — это было необычно. Да еще громко, на весь двор. «Что за нежности?» — недовольно подумали мы.

— Чего это она, а? — спросил меня Колька. Я пожал плечами.

— Пойдем вместе, а то потом одному не смотреться,— сказал Колька.

Я неохотно засунул «Братьев Grimm» за пояс, и мы пошли.

Дверь в квартиру была не заперта. На вешалке в коридоре висели две шинели и фуражки с голубым околышем.

— Кирилл прилетел,— шепнул Колька, и мы бегом ворвались в комнату.

На диване сидели Рита с матерью. Лицо Надежды Николаевны было закрыто ладонями, плечи дрожали. Рита, закусив губу, широко раскрытыми глазами смотрела на летчиков, которые стояли рядом. Один из них что-то говорил, низко опустив голову.

Из оцепенения меня вывел Колька. Он подбежал к одному из летчиков, схватил его за ремень и с силой повернул к себе. Они несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Летчик что-то очень тихо сказал Кольке и положил руку ему на плечо. Колька вырвался и, рыдая, бросился ничком на кровать. Я на цыпочках подошел к столу. На нем в открытых красных коробочках лежали два ордена Красного Знамени и еще какие-то незнакомые ордена. Рядом лежал большой лист бумаги в черной рамке. На нем было что-то напечатано. Половину листа занимали нерусские подписи. В самом конце я прочитал слова по-русски: «Рот фронт!» — и ниже:

«Барселона, 15 февраля 1937 года».

Ничего еще толком не понимая, как во сне, вышел я в коридор. Навстречу очень быстро шагал Колькин отец. Он на секунду остановился, внимательно посмотрел мне в глаза и, вдруг сдернув с головы кепку, рванул дверь в комнату. За стеной слышались громкие

рыдания. Захотелось скорее бежать домой, к отцу. Он должен был мне сейчас же, немедленно что-то объяснить. Иначе... Иначе... Но я вспомнил: его еще нет дома, он приходит с завода так поздно... Что же делать? Дома только мама. Она добрая, хорошая. Она меня очень любит. Но, может быть, ей нельзя про это даже рассказать: ведь она все же женщина! Другое дело — мы с отцом. «Постой, постой, про что же ей нельзя рассказать?» — спросил я себя. И тут только все понял: в Испании фашисты убили Кирилла! «Неужели убили? Неужели он больше никогда, никогда не прилетит на побывку домой, не скажет нам: «Здорово, чижик!»? Его убили враги так же, как Чапаева, Щорса, Лазо, Павлика Морозова. Хоть я и смотрел совсем недавно еще раз «Чапаева» и видел, как он, живой, бесстрашный, мчался в атаку на боевом коне, в бурке, я впервые понял, что он так же, как и Кирилл, никогда больше не помчится в атаку, не засмеется, не запоет любимую песню. Для меня вдруг и Чапаев, и Щорс, и Лазо, и Павлик погибли не много лет назад где-то далеко, а сейчас, вместе с Кириллом, совсем близко. Что-то оборвалось в груди: это война с экрана «Ударника» шагнула к нам во двор. Мне стало страшно, я съезжился на ступеньке лестницы и заплакал.

Когда я вышел из подъезда, уже спустились сумерки. Я сел на лавочку у ворот и стал ждать летчиков. Мне хотелось сказать им, что мы с Колькой обязательно будем истребителями. Больше ничего.

Летчики вышли не скоро. Они постояли у подъезда, потом надели фуражки и закурили. Курили они долго. Но я к ним так и не подошел. Почему, сам не знаю. Когда летчики сели в «эмку» и уехали, я пошел домой. Мама дома не было. Я за письменным столом стал сочинять стих. Начинался он так:

Мы отомстим за тебя всем фашистам,  
Станем пилотами, Коля и я.

Потом я собрал в кучу свои деревянные шпаги, пистолет, три «спартаковских» дротика и выбросил их в мусорный ящик. Хотел туда же выбросить и «Сказки братьев Grimm». Уже вытащил их из-за пояса. Но потом раздумал и спрятал в стол: может быть, когда-

нибудь и дочитаем их вместе с Колькой. Скоро пришла мама. Она принесла мне любимых леденцов. И я опять почему-то всхлипнул. Мама гладила меня по голове и говорила:

— Успокойся. Тебе завтра в школу. Нехорошо с заплаканными глазами.

Мне показалось, что она уже все знает.

А «Сказки братьев Grimm» для детей среднего возраста я так и не дочитал. Колька, кажется, тоже.

## 2

### ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Все когда-нибудь первый раз получали зарплату. Мы с Колькой тоже. Это было двадцать лет назад. Мы и тогда жили в этом же доме, напротив завода. Там работали наши отцы. В сорок первом они ушли в ополчение. И не вернулись. Когда я раньше долго смотрел на портрет отца, мне казалось, что он вот-вот заговорит со мной. Или рассмеется раскатисто и громко, как папка соседского Петьки. Я любил слушать, как он смеется. Даже специально приходил к их двери и подслушивал. Теперь мне уже никогда не кажется, что отец заговорит со мной. Хотя я и сейчас иногда подолгу смотрю на него. Особенно когда что-нибудь не клеится. Не все же в жизни бывает гладко!

Когда мы окончили девятый класс, Колька сказал:

— Хватит сидеть на шее. На фронт не берут. Пойду на завод.

— А мать разрешит?

— Уговорю. Тебе бы тоже не вредно.

— Договорились,— сказал я.

Начальник отдела кадров завода похлопал меня и Кольку по плечу:

— Это по-нашенски. Значит, потомственными захотели стать?

— Не,— сказал Колька.— Это мы до призыва. Временно.

— Нам временных не надо.

— Да вы не так поняли. Ведь война...

— Знаю, знаю, что не так понял. Рабочая косточка.

В какой цех хотите?

Мы ответили, что пойдём в любой, где нужней.

Нас зачислили в инструментальный, учиться на лекальщиков. Старый мастер говорил:

— Приглядывайтесь, старайтесь. Фамилию высоко держите. Здесь отцы ваши начинали.

А через две недели подошел к нам и сказал:

— Пошли, ребята, в кассу. Сегодня получка.

Мы переглянулись. Колька покраснел. Я тоже.

— Вы идите, мы потом,— сказал Колька старому мастеру.

В конце смены к нам подошла пожилая женщина:

— Вы почему это, друзья, зарплату не получаете? Все уже получили. Из-за вас одних кассир задерживается.

— Извините, мы сейчас,— сказал я.

Когда женщина ушла, я спросил Кольку:

— Ну что, пойдём?

— Пойдём. Черт с ней! Ведь все равно не отвяжется.

Мне кассирша выдала 250 рублей и сказала:

— Проверьте.

— Что вы! Зачем? — испугался я и отскочил от окошечка.

Колька тоже не стал проверять.

— Что мы, людям не верим, что ли? — заворчал он.

В заводской проходной я предложил Кольке:

— Пойдём купим чего-нибудь.

Мы пошли на Серпуховку, в универмаг.

Какая-то женщина выбирала туфли.

— Дайте мне туфли посмотреть,— попросил я продавщицу.

Она спросила:

— Какие?

— Такие же,— показал я пальцем на женщину.

— А размер?

Я посмотрел на Кольку. Он шепнул:

— По-моему, тридцать шестой. Твоя одного роста с моей.

— Тридцать шестой,— сказал я.

Туфли нам понравились, и Колька тоже решил купить такие же. Мы пошли в кассу, заплатили по сто восемьдесят рублей, и нам вручили две коробки. Они были крест-накрест перевязаны шелковой тесемкой.

— Купим еще чулки,— сказал Колька.

Мы подошли к продавщице, и я попросил:

— Покажите нам чулки.

— Какие вам, фильдеперсовые или шелковые?

— Вон те.

— Какой размер?

Я посмотрел на Кольку. Он пожал плечами.

— Так какой же размер? — не унималась назойливая продавщица.

— Дайте средний,— сказал я.

Продавщица смерила меня взглядом:

— Провинция.

— Спокойно,— сказал Колька.— Нам нужны чулки для женщины средних лет, две пары. Понятно?

Продавщица насмешливо посмотрела на Кольку:

— Для мамочки стараетесь или для бабушки?

— Для близкой знакомой ваших лет.

Продавщица презрительно скривила губки и бросила на прилавок чулки:

— Платите деньги.

Мы заплатили и вышли на улицу. Колька сказал:

— Никогда не думал, что из меня выйдет такое чуткое дитя.

— Я тоже. Только не вздумай ребятам рассказывать: засмеют.

— Что я, придурок! — сказал Колька.

Мама меня ждала. Я положил на стол коробку и чулки:

— Вот, возьми. Колька тоже купил.

Мама открыла коробку и вынула туфли.

— Какие чудесные! — сказала она и положила их обратно.— Сколько же ты заплатил?

— Ерунда. Сто восемьдесят. А за чулки — совсем гроши.

«Почему она не примеряет туфли и даже про размер не спрашивает?» — подумал я.

— Тебе они не нравятся?

— Что ты, что ты! — засуежилась мама. — Очень мило с твоей стороны. Большое спасибо.

«Зачем она говорит «спасибо»? Какое может быть «спасибо»!

— Мам, а вот деньги. — И я положил на стол все, что осталось, — шестьдесят рублей.

Мама взяла их в руки и медленно пересчитала.

«Что она так долго считает? Положила бы в кошелек — и все дела!» — подумал я.

Но мама не положила их в кошелек. Она отсчитала пятьдесят рублей и сказала усталым голосом:

— Пойди отдай Петинной матери. Я ей задолжала.

В руках у нее осталась одна десятка.

На лестнице стоял Колька. Он курил, пряча под рукав папироску.

— Ну как? — спросил я.

— Порядок, — сказал Колька и отвернулся.

— У меня тоже, — сказал я и пошел отдавать мамин долг.

...А скоро мы с Колькой схитрили, и нам удалось уйти в армию. Вместе с нами «разбронировались» еще несколько ребят из инструментального.

На этот раз я отдал маме целиком всю зарплату.

И еще выходное пособие.

### 3

## КОЛЬКИНА

## ЛЮБОВЬ

Мы с Колькой до восьмого класса сидели за одной партой. Потом из-за чего-то поругались, и я помещен был на «камчатке». Но долго мы не могли быть в ссоре. Через два дня во время перемены я сказал:

— Ладно. Завтра переселюсь обратно. Подготовь помещение.

— Переселяйся, — сказал Колька, — могу уплотниться.



Но в тот день, когда я совсем уже собрался вернуться к Кольке, к нам пришел новичок. Он оглядел класс, увидел свободное место, подошел и сказал:

— Разрешите представиться—Серж. Ваш покорный слуга. Не возражаете, если я помещусь рядом с вами на этом троне?

Колька посмотрел на него, потом в мою сторону, но проявил такт хозяина:

— Валяй. Располагайся.

Сергей поправил очки и сел. Так началась их дружба.

Мне сначала было не по себе. Потом я подумал: «Что я, кисейная барышня, что ли!» И успокоился.

Сергей считал, что рожден для сцены. А когда на одном из школьных вечеров удачно сыграл роль матроса Шванди из «Любови Яровой», окончательно уверовал в свою звезду и решил после школы податься в театральный. Мы к этому отнеслись одобрительно:

— Давай, Серега. Жми. Дави. Может, станешь вторым Бернесом или Алейниковым.

Сергей снял с рукава пылинку и ответил:

— Что касается меня, то я предпочитаю что-нибудь среднее между Москвиным и Качаловым.

Колька не готовился в артисты. Он хотел стать летчиком. А пока прилично учился, гонял голубей и играл в футбол. Вместе с нами училась Вера Коняева. Мы все были в нее влюблены и писали ей записки. Иногда даже групповые. Она смеялась и называла нас донжуанами. Мы в ту пору не знали толком, кто он такой, этот Дон-Жуан, и просили ее:

— Называй нас лучше донкихотами. Все-таки рыцарь.

На это она отвечала, что до рыцарей у нас еще нос не дорос.

Была она стройная, сероглазая, отлично училась и мечтала стать учительницей. Мы ее отговаривали.

В девятом классе Колька, Сергей и Вера стали неразлучны. В кино — втроем, на каток — тоже. Мы посмеивались:

— Эксперимент не новый. Были уже в истории такие факты. Возьмите ту же Анну Каренину.

Сергей говорил:

— При моей эрудиции и Колькиных бицепсах она может себя чувствовать в полной безопасности. Да и эпоха сейчас не та. Бытие, как известно, определяет сознание.

Однажды они пошли в Центральный парк имени Горького. По набережной гуляли влюбленные. На влюбленных падали звезды. Но они не обращали на это внимания. Играл джаз-оркестр. Популярный эстрадный тенор с цыганской страстью пел:

Сияла ночь, в окно врывались гроздьи белые,  
Цвела черемуха. О, как цвела она!  
Тебя любил, тебе шептал слова несмелые,  
Ты в полночь лунную мне сердце отдала.

Колька положил Верину руку себе на плечо, и они закружились в танце. Когда джаз смолк, Вера спросила:

— А где же Сережа?

— Действительно, куда же он делся? — глупо переспросил Колька.

— Ненормальный какой-то.

Они помолчали. Колька сказал:

— Смотри. Звезды. Падают.

Вера запрокинула голову:

— Да, в самом деле. Странно.

— Ну, вообще-то ничего странного нет, — сказал Колька. — Жизнь есть жизнь. — И он закашлялся. Вера взяла его под руку:

— Пойдем, уже поздно.

Он проводил ее до подъезда. Когда из открытых окон донесся бой кремлевских курантов, Вера сказала:

— Ну, Колька, мне пора. — И протянула ему руку.

Он пожал ее пальцы.

— У тебя красивые руки. Ясно?

— Только руки? — Она подняла бровь.

— Нет. Еще ноги, нос и вообще.

Колька вдохнул запах сена. Так пахли ее волосы. Он, задыхаясь, прижал ее к себе:

— Вот ты и попалась!

Его руки почувствовали тепло ее спины, бедер. Он

поцеловал ее в мягкие, теплые губы, полузакрытые глаза.

— Ох, Колька, не надо,— шептала Вера.— Слышишь! — Она прижалась к нему, положила руки ему на плечи.

— Ты меня любишь? — спросил Колька.

— Не знаю. Наверное, да,— задыхаясь, прошептала Вера.— Пусти! А ты?

— Я тоже. Ты должна на мне жениться. После школы. Ясно?

— Выйти замуж,— поправила Вера.

— Пусть будет замуж,— сказал Колька.

Днем он зашел к Вере домой. В кармане была десятка, выпрошенная с великим трудом у прижимистой бабушки. «Поведу ее в Эрмитаж. А там видно будет»,— думал он. Но Веры дома не было. Соседка передала ему записку. Вера писала: «Звонил Сергей. Он что-то задумал страшное. Передал последний привет. Жуть. Бегу к нему. В.».

Через несколько минут Колька был у дома, где жил Серега. Он быстро взбежал на шестой этаж и позвонил. Дверь не открыли. Он позвонил еще, еще. Никто не открывал. «Что с ним?»— с тревогой подумал Колька. Он подбежал к окну лестничной площадки, раскрыл его и вскочил на подоконник. Ухватившись руками за низ рамы, Колька вылез в окно и нащупал ногами карниз. Ему нужно было пройти по карнизу целый оконный пролет, чтобы добраться до окна квартиры, где жил Серега. Люди внизу, как оловянные солдатики. Птицы где-то рядом режут воздух. Он теплый и какой-то липкий. Это пот. А стена холодная. За нее очень хочется ухватиться, но пальцы скользят. Вот маленький пирамидальный выступ на стене. Пальцы обеих рук Кольки хватают его и замирают. «Нет, не надо думать. Только вперед». Колька передвигает левую руку к следующему выступу. Теперь он стоит на карнизе, прижавшись вплотную к стенке, держась правой и левой руками за выступы. Снизу кажется, что он обнял дом. Там, внизу, собралась толпа. Люди тихо переговариваются, словно боясь напугать Кольку, помешать ему. А он, передвигая левую ногу по карнизу, перехватывается рукой за следующий выступ. Он на-

прыг до предела мышцы и нащупал раму. Еще одно усилие. Только одно. Он почти не дышал. Крепко ухватившись левой рукой за раму, он прижался еще плотнее к шершавой холодной стене и всем телом подался влево. Теперь ему осталось передвинуть ногу по карнизу и схватиться за раму другой рукой. И вот он уже держится обеими руками за раму окна. «Наконец!..» Колька замер, собрался с силами. Потом тяжело подтянулся на руках, встал коленями на подоконник и спрыгнул в комнату.

Он прислонился к стене, провел дрожащей ладонью по мокрому лбу. Комната была пуста. Колька, покачиваясь, подошел к двери, открыл ее, вышел в коридор. И вдруг услышал музыку. Играл патефон. Тенор пел:

Сняла ночь, в окно врывались гроздьи белые,  
Цвела черемуха. О, как цвела она...

Колька опять провел рукой по лбу. И подошел к двери, из-за которой доносилась музыка. На диване сидели Вера и Серега. Он обнимал ее колени, голова его была у нее на груди. Вера гладила его волосы.

С минуту Колька наблюдал за ними. У него перестали дрожать ноги. Руки и лоб стали сухими. Только сердце сжалось в дрожащий, горячий кулак. Он засунул в рот четыре пальца и свистнул. Озорно, пронзительно и дико. Недаром Колька был знаменитым голубятником. Вера и Сергей вскочили. Они смотрели на Кольку, ничего не понимая. А он засунул руки в карманы, повернулся и медленно пошел по коридору. Когда хлопнула дверь, Вера рванулась за ним. Он спускался по лестнице.

— Колька, ты куда? Обожди!

Он, не оглядываясь, крикнул:

— Можете продолжать в том же духе. Пролетарский привет!

Вере показалось, что кто-то отплясывает чечетку. Это Колька бежал по лестнице.

Вот, собственно, все про Колькину любовь.

...Через полгода я и Колька ушли добровольцами на фронт. Мы попали в одну дивизию. Стали артиллеристами. Вместе писали письма домой. Правда, не очень часто, как в солдатской песне: «Пишет письма

редко, но зато в газетах очень часто пишут про его дела. И о нем читая, гордостью согреты черные ресницы, серые глаза». Ресницы, конечно, не могут быть согреты гордостью. Но так пели тогда солдаты. Про Кольку тоже писали в нашей дивизионной газете. Два раза. Однажды он показал мне Верину карточку.

— Помнишь? — спросил он.

— Ну, еще бы! А почему ты ей не пишешь?

— Да я пишу. Только не посылаю. Отдам все сразу. После войны.

В апреле сорок четвертого командир взвода Николай Воробьев погиб смертью храбрых в бою под Джанкоем. В этом бою я тоже был тяжело ранен. В дивизионном госпитале мне отдали планшетку Николая. В ней были циркуль, карта Джанкоя и письма к Вере. Но адреса ее я не знал.

Прошло много лет. Год назад я встретил в театре Веру и Сергея. Я слышал, что они поженились где-то в эвакуации и совсем недавно вернулись в Москву. Но встречаться нам не приходилось. Мы сели в буфете. Сергей заказал пиво. Выпили за встречу. За школьных друзей. Я смотрел на Веру и думал про Кольку.

«Ну, назови же. Вспомни!» — молча просил я ее.

— Говорят, Смоктуновский снимается в «Гамлете», — сказала Вера.

...Дома я достал старую планшетку и впервые прочитал Колькины письма. Их было много. Но теперь я решил оставить их у себя.

Уверен, что и Колька так же поступил бы на моем месте.

## ПЕСНЯ

Я люблю слушать, как играет на гитаре в саду под липами мой сосед, десятиклассник Слава. Он хорошо играет. С душой.

И мне всегда вспоминается, как мы когда-то пели под гитару в этом же саду любимые песни.

Мы — это я и мои сверстники. Теперь нас осталось немного. А те, кто живет здесь, все заделались папами.

Папам же, как известно, петь песни во дворе под гитару не полагается. Не солидно.

Как-то я стал подпевать Славе. Но немедленно был вызван домой супругой. Она прищурила красивые синие глаза и нежно попросила:

— А ну-ка дыхни.

Я дыхнул, и она успокоилась.

Но случилось так, что недавно она сама во дворе пела песню. Вместе со мной.

К нам зашел старый друг Алексей.

— Пойдем во двор. Посидим. Вечер славный,— сказал он.

Мы вышли во двор. На лавочке сидели мальчишки. Они обсуждали игру нашей сборной в Чили. Ребята потеснились, и мы с Алексеем узнали такие подробности игры на первенство мира по футболу, которые знают только мальчишки из нашего двора. Больше никто.

Но я не познакомил еще вас с Алексеем. Он живет в нашем доме. Мы учились с ним в одной школе. У него была кличка: Алеха-пятый. Пятым его звали потому, что у нас было еще четыре Алешки. Он был младшим.

Алеха-пятый славился виртуозной игрой на гитаре и мог на руках обойти волейбольную площадку. Еще он здорово знал математику. Когда началась война, он ушел добровольцем на фронт. Получил тяжелое ранение.

Потом окончил институт. Теперь он доцент, Алексей Михайлович.

Когда обсуждение «большого футбола» закончилось, кто-то из мальчишек сказал:

— Дядя Леша, сыграйте нам на гитаре что-нибудь. Вы, говорят, законно играете.

— Давай, Алексей, тряхни сединой,— поддержал я пацана.

Алексей в меру поломался. Что, впрочем, свойственно многим знаменитостям. Потом сказал:

— Ладно, несите гитару.

Несколько мальчишек со всех ног помчались к нему домой. Когда принесли гитару, доцент Алеха-пятый сдвинул шляпу на затылок, взял несколько аккордов, хитро поглядел на меня и тихо запел:

Как много девушек хороших,  
Как много ласковых имен...

Не знаю, как у других, но у меня с каждой полюбившейся песней связан какой-нибудь кусочек жизни. Алексей пел уже другую песню:

...Наши бедные желудки  
Были вечно голодны,  
И считали мы минутки, нутки, нутки  
До обеденной поры...

Я поглядел на ребят. Они очень внимательно слушали. Но не подпевали. Они не знали эту песню. А мне вспомнился пионерский лагерь под Загорском. Костер. Печеная картошка. Старший пионервожатый весельчак Гриша. Он называл нас красными дьяволятами. А когда злился на нас, добавлял: «Чтоб я так жил, дьяволята!»

Нам нравилось быть красными дьяволятами. И мы любили Гришу. Как давно это было!

— Ты чего задумался? — спросил Алексей, когда песня кончилась. — Подтягивай. И он запел новую:

...В далекий край товарищ улетает,  
Родные ветры вслед за ним летят...

Эту песню знали все. Запели хором. Правда, она не хоровая. Я напевал ее когда-то любимой девушке. Ее звали Наташа. Мы сидели в Александровском саду. Я сказал Наташе:

— Буду летчиком. Как Чкалов. Вот увидишь.

Она:

— Хорошо. Но убери руки.

— При чем тут руки? Недотрога. Когда я стану летчиком, ты тоже будешь ломаться?

— Когда станешь, тогда будет видно, — отвечала Наташа.

Где она теперь? Может быть, сама стала летчиком?

Это вполне возможно. У нее был такой железный характер!

И видеть сны  
И зеленеть среди весны... —

пели ребята.

— Дядя Леша, сыграйте фронтовые, — попросил подошедший Слава.

Алексей на секунду задумался, потом сказал:

— Колькина любимая:

...Вьется в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза...

Ребята сели теснее. Они знали эту песню. Но сами не пели. Они слушали, как поем ее мы — Алексей и я.

«Землянку» очень любил Колька. Он пел ее на привалах, в окопах в часы затишья.

...Между нами снега и снега.  
До тебя мне дойти нелегко,  
А до смерти — четыре шага.

Друг Колька! Ты не только хорошо пел. Ты еще лучше воевал. Ты погиб, как герой, под Джанкоем. И эти мальчишки, что слушают Алексея и меня, знают об этом. Поэтому они так тихо сидят. Поэтому они так прижались друг к другу. Я часто вспоминаю тебя, Колька. Мне иногда хочется зайти к твоей матери. Сказать ей что-нибудь такое... Но я боюсь. Мне почему-то стыдно смотреть ей в глаза. Хотя моя солдатская совесть чиста. Но я жив. А ты...

Песня кончилась. Помолчали. Алексей вздохнул и запел:

Я люблю тебя, жизнь...

Ребята подтянули:

Я люблю тебя, жизнь,  
Я люблю тебя снова и снова.

Потом мы спели «Геологов», «Московские окна», «Песню космонавтов». Алексей сказал:



— Ну, давайте, друзья, последнюю. Поздно.  
Завтра двоек нахватаете.

И он запел:

Хотят ли русские войны?  
Спросите вы у тишины...

Мы поддержали:

Над ширью пашен и полей,  
И у берез и тополей...

Вдруг я услышал голос жены. Она стояла у меня  
за спиной и тоже пела:

Спросите вы у матерей...

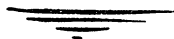
. . . . .

Хотят ли русские, хотят ли русские,  
Хотят ли русские войны!

Алексей взял последний аккорд. И заглушил струны ладонью. Ребята пошумукались. И вдруг зааплодировали. Потом Алексей сказал:

— Да-а! Как все же метко сказано: русская песня — русская история. Это Горький.

Я заметил, как Слава быстро записал что-то в маленький блокнот. Наверное, горьковские слова. Хороший парень Слава. Да и мальчишки помладше у нас мировые. Вы бы посмотрели, как они слушали Алексея! И как пели сами! Так слушать могут только настоящие ребята. И петь — тоже. Поколение победителей. Школьники, космонавты, геологи, монтажники, поэты.



## Неотправ- ленное письмо



**В**

торую неделю мы ждали самолета в затерянном среди непроходимых якутских лесов маленьком таежном поселке. Нас было семеро: три геолога, три геофизика и один журналист.

Каждое утро, еще до восхода солнца, мы переправлялись через речку на большую галечную косу, служившую аэродромом, и, усевшись на перевернутые лодки, с тоской смотрели на горизонт.

С наступлением темноты мы, невесело шаркая сапогами по гальке, возвращались к переправе.

Устроившись на ночь, мы заводили длинные разговоры о Москве, о друзьях и близких, о знакомых девушках и женах — словом, обо всем том, чего не было здесь, в далекой заполярной тайге, о чем мы скучали, с чем нетерпеливо ожидали встречи.

В один из таких вечеров, лежа на засаленных спальных мешках и потягивая из старых консервных банок густейший старательский чай, мы неожиданно заговорили о самопожертвовании.

Уж не помню, с чего все началось. Кто-то незаметно начал, кто-то поддержал, и через минуту разговор завладел всеми, за исключением хозяина дома и одного нашего спутника — угрюмого пожилого геолога с изрезанным резкими морщинами лицом старого таежника.

Мнения сразу разделились. Одни говорили, что пожертвовать собой человек может только в том случае, когда он ясно видит перед собой цель, во имя которой отдает свою жизнь. Другие утверждали, что самопожертвование — это результат эмоционального потрясения, экстаза, что пожертвовать собой можно не по расчету, а только, так сказать, по вдохновению. Особо рьяно выступал за вторую точку зрения лохматый черный геофизик — молодой парень лет двадцати пяти.

Угрюмый геолог (его фамилия Тарьянов) сначала даже не слушал наш спор. Но потом, когда лохматый геофизик «в пылу полемики» выскочил на середину комнаты и, размахивая руками, стал о чем-то кричать, Тарьянов сел на своей койке и, подняв руку, как школьник на уроке, тихо сказал:

— Одну минуту...

Мы все с интересом повернулись к нему.

— Я не буду спорить ни с кем из вас. Я просто хочу рассказать вам одну историю, которая, как мне кажется, имеет некоторое отношение к предмету вашего сегодняшнего разговора.

Тарьянов взял свою потрепанную полевую сумку и вытащил из нее сильно помятую тетрадь.

— Два года назад, во время больших осенних дождей, в тайге пропал без вести поисковый отряд геологов. Их очень долго искали, но не нашли. Весной, когда сошел снег, эвенки-оленоводы случайно наткнулись на последнюю стоянку этого отряда. А в десяти шагах от стоянки лежал человек. Это был начальник отряда геолог Костя Сабинин.

Эвенки нашли на груди у Сабинина пакет, в который были вложены карта открытого им месторождения и несколько исписанных листов бумаги — письмо Сабинина к жене.

Письмо отослали в Москву по адресу, а карту дали на проверку геологам, которые подтвердили наличие алмазов в открытой отрядом Сабинина кимберлитовой трубке. Перед отправкой кто-то перепечатал письмо на машинке. Эта копия долго ходила по якутским разведочным партиям. Некоторые места из нее геологи читали запоем, как молитву. Потом она попала ко мне.

Костя писал письмо жене несколько месяцев. Это было непрерывное, бесконечное, так и не оконченное, не отправленное письмо. Вот что было в нем написано:

«...У вас еще вечер, а у нас уже утро, вы еще слушаете по радио легкую музыку, а у нас уже поют пехухи, и мы встаем рано-рано, чтобы успеть на аэродром к отлетающему самолету. Когда ты ляжешь в кровать и начнешь засыпать, мы уже поднимемся в воздух. Ты будешь видеть хорошие сны, а мы, прижавшись друг к другу, будем смотреть в маленькие круглые окна на редкие клочковатые облака, молчаливой серой стаей проносящиеся под крыльями нашего самолета. В твоей теплой, уютной комнате мягким розовым светом горит ночная настольная лампа, а из стеклянной кабины нашего самолета уже видны первые багровые сполохи северного сияния...

Вера, дорогая! Как мы далеки сейчас друг от друга! Я знаю, что ты волнуешься за меня, за мою беспокойную, бродячую жизнь. Мы мало бываем вместе, и ты больше помнишь меня на подножке вагона или в дверях самолета, всегда уходящего, улетающего от тебя.

Мне очень хочется сделать для тебя что-нибудь хорошее именно сейчас, когда ты спишь в далекой Москве, а я лечу с молчаливыми геологами на север. Мне хочется, чтобы тебе приснился яркий, солнечный день в веселом южном городе. Это было пять лет назад. В тот день мы решили, что навсегда будем вместе.

И тогда же я сказал тебе, что хочу сделать в жизни что-нибудь очень большое, очень полезное и нужное для моей Родины. А ты ответила, что разлука всю жизнь будет спутницей нашей любви. Помнишь, мы долго молчали тогда после этих слов. Мы знали, что это правда, но наша любовь была сильнее этой правды.

Вера, родная, мы так редко видимся с тобой. И каждый раз при расставании мы поднимаем бокалы за годы странствий и минуты встреч. Мы знаем, что эти минуты стоят долгой жизни рядом друг с другом.

Когда ты проснешься, мы уже приземлимся на желтую отмель бурной таежной реки. Место нашей посадки будет недалеко от Северного полярного круга. И когда ты встанешь, будешь умываться и причесываться, мы, проведив улетевший на юг самолет, пойдем дальше, на север. Наши геологические молотки будут стучать по выходам древних горных пород, мы будем вгрызаться кайлами и лопатами в вечную мерзлоту, будем засыпать по вечерам среди болот и топей, под холодными полярными звездами и думать о тех, кто ждет нас на Большой Земле.

Через много-много дней мы снова выйдем из тайги — бородатые, грязные, уставшие. Нас будет ждать самолет.

Мы вернемся с победой — я в этом уверен. Когда мы снова поднимемся в воздух, я буду смотреть в окно и думать о тебе.

Но это будет еще очень и очень нескоро. А пока... пока зажмурься и жди.

И верь в нашу победу!

Верочка, здравствуй! Не сердись на меня, но получилось так, что письмо, написанное в самолете, я не отправил с летчиками. Мы неудачно приземлились: талая вода еще не сошла, и наша отмель оказалась наполовину затопленной. Самолет въехал в реку чуть ли не по самые крылья. Прыгали прямо в реку и по пояс в воде перетаскивали грузы на берег. В этой суматохе я и забыл передать летчикам письмо. Оно осталось со

мной, и вот уже второй месяц я ношу его по тайге, думая о том, что оно уже дошло до тебя и ты уже прочитала его.

Здравствуй, Вера! Снова привал, снова ночь и костер, и мне снова захотелось поговорить с тобой. Пожалуй, это письмо я привезу тебе зимой сам: раньше оно не дойдет до тебя. Когда я приеду, я не буду тебе рассказывать ничего. Я молча войду, поставлю на пол чемодан и отдам тебе это письмо. Ты будешь читать его, а я буду сидеть напротив тебя и смотреть на тебя, на твое лицо, на твои волосы, на твои руки. Ты прочитаешь письмо, все поймешь, и мы больше не будем ни вспоминать, ни говорить обо мне. Мы будем говорить только о тебе: о твоей жизни, о твоих делах, о твоих успехах.

Поэтому я пишу тебе сейчас обо всем: о нашей работе, о наших невзгодах и разочарованиях, о наших маленьких радостях. Мы ищем алмазонасную кимберлитовую трубку. Мы не имеем права не открыть ее: потрачено слишком много времени, сил и средств на подготовительные работы.

От нас требуется только одно: нащупать трубку, взять из нее образцы и нанести контуры месторождения на карту. По нашим следам пойдут строители. Они заложат на трубке рудник и поселок. Значит, этой осенью мы не можем вернуться на центральную базу экспедиции без карты трубки. Мы знаем, что на юге искать ее вышло еще несколько разведочных отрядов. Это придает нам силы, естественно, хочется быть первыми.

Я совсем забыл рассказать тебе о членах нашего отряда. Нас четверо: Сергей, наш завхоз, повар, рабочий, хозяйственник — словом, мы называем его «оргсектор». Он самый старший из нас и самый опытный. У него полярный стаж на два года больше, чем у меня, и по имени я его зову только на правах начальника отряда.

Два других члена нашего отряда — Герман и Таня — совсем еще зеленые юнцы. Юнцы, конечно, до-

вольно относительные. Герман уже два года, как окончил техникум, а Таня третий полевой сезон после институтской скамьи вместе с геологами нашей экспедиции «охотится» по северной тайге за неуловимыми кимберлитами. Но для полярной тайги это пустяковый стаж. И Сергей всячески заботится о них, наставляет, учит таежному уму-разуму...

Сегодня утром начали работать на ручье, на который я возлагаю большие надежды. Это вообще-то не ручей, а самая настоящая река: ширина — метров семь, а глубина — метра три. Берем пробы.

Сегодня Сергей учил Германа разводить костер: Герман дежурный. Он, конечно, разложил огромный, неуютный кострище. Сергей не выдержал и сказал в сердцах:

— Дура, тайгу спалишь!

Герман обиделся, снял очки, долго протирал их, но так и не сказал ничего. Вообще он добрейшая душа, этот Герман. Таня говорит, что он похож на доктора Айболита, и все время так и зовет его (по-моему, Герман немного неравнодушен к Тане, а она, видя это, подшучивает над ним).

...Ручей уводит нас все дальше на север. Тайга постепенно переходит в лесотундру. Местами идем по совершенно безлесным равнинам, покрытым сухой, кочковатой травой и темно-красными, ржавыми пятнами мха. Мы все время двигаемся по берегам: я — по одному, а Таня с Германом — по другому. Сергей же, связав наши резиновые лодки, перегоняет их к месту намеченного по карте привала и, поджидая нас, ставит палатки, варит обед и вообще «ведет» хозяйство.

Верочка, радость! Вчера Сергей нашел обломок кимберлита. Да, да, настоящий кимберлит! По обоим берегам ручья мы заложили несколько шурфов и теперь яростно долбим кирками и лопатами землю. Писать некогда. Спим всего по три часа...

Несколько дней не писал тебе. Страшно уставал. Мы вырыли уже около двадцати шурфов — кимбер-

лита нигде нет. Страшное разочарование. Таня плачет, у Германа глаза тоже на мокром месте. Один Сергей ругается и продолжает сражаться с вечной мерзлотой. Он почти совсем не спит.

Заметно похолодало, все-таки уже сентябрь. Но мы этого не замечаем. Герман и Сергей работают в одних майках. Мерзлая почва поддается с трудом, приходится жечь в шурфах костры. Одолевают грунтовые воды; иногда несколько часов приходится стоять по колено в жидкой ледяной грязище. Вылезаем из шурфов мокрые, черные, запарившиеся, лохматые, бородатые — словом, ни дать ни взять болотные черти. Таня работает наравне со всеми.

Бедняга, ей огромных трудов стоит содержать себя в относительной чистоте!

Проклятые кимберлиты! Их все нету.

Победа! Вчера мы начали с Таней копать шурф на новом месте и сразу же нашли голубую землю! Пройшли всего немногим более метра и вынули кусок серовато-синей глины, потом еще и еще! На глубине двух метров глина стала твердой и перешла в почти скальную породу. Сергей и Герман начали рыть рядом с нами, да так яростно, что через два часа обогнали нас. У них тоже сплошь идет голубая земля. Герман в одном из кусков породы нашел вкрапленный маленький, невзрачный кристаллик алмаза. Потом Таня нашла два октаэдра.

У нас ликование! Даже Сергей позволил себе роскошь улыбнуться. По случаю победы был устроен пир: мы сварили сразу весь компот, а Сергей ухитрился сделать из рыбных и овощных консервов великолепный винегрет. Было роздано по полкружке спирта из неприкосновенного запаса, и мы выпили за будущую трубку, за будущий алмазный рудник на том месте, где пока только стоят наши маленькие, сморщенные от дождя палатки.

Герман сразу опьянел и перешел на торжественно-высокопарный стиль. Встав у костра, он заявил нам, что отныне считает свою жизнь прожитой не зря, так



как принимал участие в необходимом для Родины, для человечества открытии.

Таня смеялась над ним, а Сергей насупился, взял кайло и ушел добывать шурфы. Да, все-таки Герман и Таня совсем еще дети. Им вместе еще нет и пятидесяти лет. Большие, взрослые, мужественные дети.

Итак, трубка найдена! Три дня назад мы рылись на самом ее краю, а сегодня полностью уже оконтурили и нанесли на карту.

Вера! Я нашел то, что искал. И дело здесь не только в кимберлите. Ты знаешь, я не шел по жизни проторенными дорогами. Я всегда говорил, что настоящая жизнь — это борьба, это преодоление, это сладостное упоение победой после сурового испытания сил. В глухой якутской тайге я нашел свое счастье. Оно пахнет дымом таежных костров, обветрено на ветрах, прилетевших из неведомых стран, окутано романтикой древних горных стран, на развалинах которых живут неразгаданные геологические тайны. Мое счастье подходит не для всех, оно трудно и неудобно, оно режет плечо. Но ты знаешь, я не привык ходить по жизни с пустым рюкзаком. И еще мое счастье — это ты. Я иду через моря и горы, через леса и реки на твой огонек, и за минуту, проведенную с тобой, я готов шагать через все эти годы и месяцы...

Верка, милая! Все, что искали, найдено, все, что задумали, исполнилось! Теперь обратно. Настроение у всех отличное. Особенно Герман доволен. Они о чем-то подолгу шепчутся с Таней. Сергей, как всегда, угрюм. Его, кажется, ничто не может вывести из равновесия.

Домой, домой, домой! Скоро сбудется все то, о чем мы загадывали еще прошлой зимой. Я возьму отпуск, мы поедем на юг, ничего не будем делать, а только будем купаться в море и гулять по твоим любимым кипарисовым аллеям...

...Добрый день, Вера! Был большой перерыв в моем письме. Не писал я тебе потому, что случилось

огромное, непоправимое несчастье. Вот уж действительно: от радости до беды только один шаг.

Мы нанесли на карту подробный план месторождения, набили образцами несколько рюкзаков и стали спускаться вниз по ручью. Последний лагерь разбили в полутора километрах от места впадения ручья в реку.

Ничего не подозревая, мы поставили палатки, вытащили на берег лодки, поужинали и легли спать. Погода в тот вечер была обыкновенная: как всегда, дымилась туманом река, слегка морозило. Мы сильно устали и не стали перетаскивать из лодок в палатки ящики с консервами и рюкзаки с породой, оставив их, как обычно, под брезентовым пологом.

Никто из нас не услышал, как примерно часов в двенадцать начался свирепый осенний ливень.

Первым проснулся Сергей. Было шесть утра. Услышав шум, Сергей принял его за порывы ветра и хотел снова уснуть, но тут его осенило: дождь! Он поднял всех нас. Из палаток нельзя было высунуть и носа. Мы сидели, съезжившись от холода, и смотрели на сплошную стену воды, падавшую перед нами. Ты даже не представляешь себе, что это такое! Казалось, что все льды и снега Ледовитого океана превратились в облака и выпали дождем над нашими головами.

— Лодки! — вдруг закричал Сергей.

Мы посмотрели на берег: он был пуст. На том месте, где были привязаны наши лодки, глухо ворочался и плескался вышедший из берегов ручей. Это уже был не ручей, а бурная горная речка. По ней стремительно неслись сломанные ураганом деревья.

Не сговариваясь, сонные, полураздетые, бросились мы под проливным дождем вниз по ручью. Это была ужасная пытка. Ледяная грязь сводила ноги судорогами. Я приказал Тане вернуться, но она бежала вместе со всеми.

В устье ручья громоздился завал. С каждой минутой река приносила все новые и новые стволы, и они, не находя выхода, яростно лезли друг на друга.

— Смотри, лодка! — схватил меня за руку Сергей.

Внутри завала что-то желтело. Это была одна из

наших надувных «резинок», это были консервы, кимберлиты, это было наше спасение. Но как достать ее?

Неожиданно Сергей вскочил на завал и, балансируя на бревнах, полез к лодке. И тут произошло непоправимое. Деревья, словно ожидавшие, что кто-то подтолкнет их, рассыпались, не выдержав веса человеческого тела, и весь завал, увлекаемый освобожденной водой, с грохотом и ревом устремился в широкое русло большой реки. Последнее, что мы видели, это руку Сергея, пытавшуюся схватиться за бревно. Но на это место обрушилось сверху несколько толстых стволов...

Сейчас, несколько дней спустя, я могу писать об этом, вспоминая подробности. Но тогда мы оцепенели от ужаса. Страшно закричала Таня, всхлипнул Герман, что-то оборвалось у меня внутри. Гибель Сергея произвела на нас убийственное впечатление, мы были потрясены. Совершенно ошеломленные, разбитые, раздавленные, мы стояли в одном нижнем белье под ливнем.

Потом мы побрели назад, не обращая внимания ни на грязь, ни на холод. Вода уже затопила наши палатки, и они готовы были вот-вот сорваться. Мы с трудом перетасили на сухое место спальные мешки, одежду, две винтовки, промокшие патроны и несколько банок консервов, случайно оказавшихся не в лодке (накануне кто-то, к счастью, поленился отнести их). Мы могли, конечно, спасти и еще кое-что из вещей, например, топор, который сейчас крайне необходим, но трагическая гибель Сергея словно лишила нас всех разума.

Только часа через два, немного опомнившись, мы поняли всю серьезность нашего положения. Мы остались втроем в глухой якутской тайге. Не было ни топора, ни карт, ни компаса: все унесла вода.

Дождь продолжал лить. Он немного ослаб, но по-прежнему потоки воды устремлялись с небес на землю. Мы ждали целые сутки, ливень не прекращался. Тогда мы решили идти.

С первых же шагов мы поняли, что до места встречи с самолетом нам не дойти. Река разлилась по обе стороны километров на двадцать. Плыть по разливу

было бессмысленно: местами вода неслась с большой скоростью, образуя воронки и завалы, местами же стояла неподвижно, как в заводи. Кроме того, нам было нечем и не из чего сделать плот. Все деревья вокруг стояли в воде.

Идти до косы пешком тоже представлялось несбыточной фантазией. Нужно было все время забирать в сторону, обходя разлив. Это удлиняло путь в несколько раз.

В конце концов мы с трудом наломали каких-то мокрых толстых прутьев, разорвали одну палатку, сделали что-то наподобие дна от старой плетеной корзины и поплыли, отталкиваясь палками от вязкого дна. Это была сплошная пытка. Когда я привезу это письмо и ты будешь читать его, ты даже не сможешь представить себе и одной тысячной доли наших мучений.

Первый день мы «подгребали» к основному руслу. Ночевали на воде. На второй день нас понесло. Все время приходилось остерегаться столкновений с большими деревьями, плившими по реке. Наш утлый плот они могли бы перевернуть в два счета. Сначала мы хотели укрупнить наш «дредноут» за счет этих стволов, но этого нельзя было сделать из-за завалов. Они стали встречаться через каждые два-три километра. Мы перелезали через них, проводя плот под ними — низом. Конечно, управиться так с тяжелым плотом нечего было и думать.

Подошла вторая ночь. Дождь не прекращался ни на минуту. Одежда на нас расползалась. Сражаться с завалами в кромешной темноте, под проливным дождем было невыносимо. Это значило бы идти на верную гибель. Мы стали отчаянно выгребать с главного русла на разлив. И здесь-то на нас налетела огромная коряга; наш ветхий плотик рассыпался на куски.

Я уже не помню, как мы добрались до отмели. Представляешь, Вера, мы стояли по пояс в ледяной воде (ведь уже середина сентября), вокруг была темная ночь, и мы совершенно не знали, куда идти. Нас трясло, как в лихорадке, вообще таких мук я еще никогда не испытывал. Должен отметить, что Герман и Таня вели себя героически. Ни разу никто из них не

пожаловался. Только однажды, во время очень сильной судороги, Таня вскрикнула.

Потом мы пошли, ориентируясь на шум реки: старались двигаться все время так, чтобы шум был за спиной. Брели всю ночь по колено, а иногда и по пояс в воде. Судороги нестерпимо мучили всех. К утру наконец выбрались на какое-то полужидкое болото. Это было счастье! Мы ничком повалились на сырой мох и пролежали так минут двадцать. Потом я поднял Таню и Германа. Пошли дальше искать «сухое» место. Слово «сухое» я беру в кавычки, потому что найти что-нибудь сухое в радиусе нескольких сот километров вокруг нас казалось совершенно невозможным.

Но судьба сжалилась все-таки над нами. Мы почувствовали, что поднимаемся вверх,— это начинался водораздел. Прошли немного и наткнулись на овраг, на одном из склонов которого лежало несколько деревьев, образуя естественный навес. Это было наше спасение.

Смертельно хотелось спать, не чувствовалось ни рук, ни ног — одна общая ноющая боль. Кости ломило от сырости; все тряслись и дрожали. Хотелось лечь, забыться и наплевать на все. Но это была бы гибель. Я приказал ребятам разжигать костер.

Костер еле-еле разожгли (как не хватало нам Сергея с его таежной сноровкой!). Стали сушить вещи. Среди продуктов оказались две банки консервированного спирта. Это спасло нас от неминуемого воспаления легких. Мы разделись, развесили вокруг себя все барахло и стали тереть друг друга разведенным спиртом. Таня сначала не хотела раздеваться — пришлось срывать с нее мокрое тряпье чуть ли не силой. Германа я заставил отвернуться, а сам, на правах старшего, растер ее от пяток до макушки. Потом вернулся в палатку и посадил к огню. Палатка, кстати сказать, осталась единственно сухой из всех наших вещей, так как Герман (молодец!) всю ночь, пока мы шлепали по разливу, нес рюкзак на вытянутых руках.

Потом мы выпили по кружке спирта (боюсь, что кто-нибудь из ребят все-таки заболел) и стали сушить патроны. Всего у нас девятнадцать патронов, семнадцать банок консервов, одно ружье (второе при-

шлось выкинуть), три спальных мешка и палатка. Ну что ж, не так уж плохо (со мной, правда, хуже еще не бывало).

Я пишу тебе так подробно обо всем, чтобы как-нибудь рассеяться и отогнать мрачные мысли, которые лезут в голову. Ведь мы еще не решили, как будем добираться до самолета: пешком или снова вплавь (на второе, я думаю, никто не согласится). А зима уже на носу, и не какая-нибудь зима, а якутская. Девятнадцать патронов и полтора десятка консервных банок — плохая защита от этой злой старухи.

Пришел Герман — он ходил на разведку. Дождь еще не перестал, но стал гораздо слабее. Герман говорит, что мы попали на одну из сопок, которые сплошной грядой тянутся по левобережью реки. Добраться отсюда до места встречи с самолетом, конечно, невозможно. Все пади и долины между сопками залиты водой. Кроме того, без карты мы не найдем это место: рельеф изменился от этого проклятого наводнения. Все затоплено и скрыто под водой. Как быть?

Решаем: утро вечера мудренее. Ложимся спать. Завтра, обсудив все, примем решение, как быть дальше. Спокойной ночи, Верушка! Когда будем вместе читать мое письмо, я все-таки вспомню этот вечер. Его нельзя будет не вспомнить...

Пишу на привале. Мы идем по тайге. Вчера утром, реально взвесив все «за» и «против», решили, что добраться до места встречи с самолетом нет никакой возможности, а ждать машину в двухстах километрах от косы — нелепо. Река как средство передвижения вообще отпадала: во-первых, плыть по ней невозможно, во-вторых, она делает по тайге огромную петлю, в несколько сот километров, так что морозы могут застать нас посреди глухой тайги. Конечно, нас будут искать. За нами пошлют самолеты, но мы можем разминуться с летчиками.

Словом, пока есть консервы, патроны и силы, мы решили сами попробовать выйти из тайги. Хуже всего сидеть и ждать. В нашем положении лучше всего надеяться только на себя. Может быть, мы ошибаемся, но больше оставаться в неизвестности нету сил.

План наш прост: идти все время на юг, пока не встретим какое-нибудь человеческое жилье. Думаю, что до первых больших холодов мы успеем выбраться.

Ребята мои молодцом, хотя у Германа, по-моему, не спадает температура после ночного холодного купания. Таня ужасно подавлена всем происшедшим, но не подает виду, держится хорошо, смеется, шутит.

Ну, до следующего привала! Писать теперь буду меньше: кончается бумага.

Мы все идем таежной целиной. До нас в этих местах нога человеческая, видно, совсем не ступала. Холода с каждым днем все сильнее, но снег еще не выпадал ни разу. Брезентовые куртки греют плохо, пища скудная, мы все время чувствуем голод.

Рацион наш — полбанки консервов в день на троих и бесконечный кипяток. Еще собираем ягоды, но они абсолютно безвкусны, а сил на сборы требуют немало.

Много спим, мало разговариваем. Ребятишки мои что-то приуныли. Надо будет их чем-нибудь развеселить. До свидания, Верочка! Счастливых тебе снов...

Сегодня перечитал то, что написал вчера, и стало совестно. Дела наши идут отлично! Сегодня убил на встретившемся по дороге озере утенка с перебитым крылом. Видно, его оставили здесь товарищи по стае, а сами улетели на юг. Утенка мы съели всего — позволили себе такую роскошь. Герман поймал двух рыбешек — тоже съели. Силы восстановлены сразу на несколько дней.

Кажется, мы все-таки хватим зимы: по утрам под ногами хрустит тонкий лед. Ночью бывает уже, наверное, около минус 10—12 градусов. Seriously беспокоит меня Герман. У него сильный жар. Температуру измерить нечем, но парень, видно, страдает. Таня ухаживает за ним.

Консервов осталось всего одиннадцать банок. Вчера я, правда, двумя выстрелами, убил ронжу: это такая таежная птица — полуворобей-полуворона. Съели всю без остатка. Косточки измельчили и тоже съели.

Сегодня новая беда: спустились с сопки по длинной каменной осыпи, и Герман упал, сильно вывихнув ногу. Встать он сразу не мог. Мы с Таней, поддерживая с двух сторон, медленно свели его вниз.

На ночевку сегодня остановились раньше: у Германа нога опухла. Я сделал ему на ночь теплый компресс. Сегодня опять убил ронжу, но потратил на это уже целых три патрона. Консервы (их осталось по три банки на нос) пока не трогаем — это наш «НЗ». Эх, встретить бы сохатого! Тайга-то словно вымерла...

Выломали Герману палку. Он сильно хромает, но не отстает. Таня, глядя на него, украдкой утирает слезы. Замечательная она девушка!

Сегодня Германа так трясло, у него так стучали зубы, что мы не могли уснуть. Таня вылезла из своего спального мешка, легла в мешок к Герману, согрела его. Он успокоился и заснул. Я боялся, что Таня заразится и тоже заболит, но все обошлось благополучно.

...Герман идет с большим трудом: опухоль на ноге увеличилась. Всю поклажу Германа я взял себе. Сегодня опять остановились на привал в полдень: Германа сильно трясло. Я разрешил ему открыть банку консервов из неприкосновенного запаса — он отказался.

Я опять убил ронжу. Осталось семь патронов. Когда вечером сидели у костра, полетели первые белые «мухи» — выпал снег. У Тани на глазах заискрились слезинки. Герман попросил у меня зачем-то карту трубки. Я дал ему. Он долго ее рассматривал, разложив на дрожащих коленях, потом вздохнул и вернул обратно. Мы понуро сидим сейчас возле потухающего костра. На душе тяжело, и я не могу ничего придумать такого, чем можно было бы утешить ребят.

С утра Герман совершенно не может идти, даже с палкой. Он поцарапал ногу на месте опухоли, и началось нагноение. До полудня стояли на месте: я делал Герману костыль. Снова идет снег.

...Сначала с костылем Герман пошел быстрее, но потом стал отставать. Его сильно качало, он несколько



раз упал. Снова остановились на привал раньше срока. Я перетащил Германа к палатке на руках. Он потерял сознание. У него начался бред. Таня плачет. А реки все нет...

Думаю, что завтра мы совсем не сможем отправиться в путь. Предлагаю такой план. Таня берет на себя всю поклажу — это около сорока килограммов, а я делаю волокушу, кладу в нее Германа и тащу его дальше волоком: он ведь легкий, всего 75 килограммов. Таня соглашается, Герман (мы напоили его кипятком, и ему стало лучше) стучит зубами и ничего не отвечает.

Сейчас мы собираемся с Таней в лес, делать волокушу. Герман просит у меня лист бумаги. Не знаю, зачем она ему понадобилась...

Верочка, родная! То, что произошло вчера ночью, нельзя описать. Это выше моих сил. Даже я, много повидавший на свете, даже я не выдержал и заплакал.

Ночью ушел Герман. Мы вернулись из тайги с волокушей и, усталые, легли спать. Начал падать крупный снег. Герман лежал в мешке между нами, но утром, когда мы проснулись, его уже не было. На стене палатки была приколотая записка:

«Константин Петрович! Я должен поступить, как мужчина. Здесь простая арифметика: лучше умереть одному, чем троим. Мои консервы в спальном мешке — не забудьте их. Я уйду. Не ищите меня, не тратьте напрасно силы. Снег все покроеет. Герман. P. S. Вы должны обязательно дойти — ведь карту трубки ждут в экспедиции. Берегите Таню».

Сильный, великолепный человек Герман! Как же мог ты так жестоко поступить с собой? Ведь мы обязательно дотащили бы тебя до места. Мы бы бросили палатку, спальные мешки...

Германа искали до вечера, но всю ночь накануне шел снег, к утру слегка подметелило — никаких следов не осталось. Все поиски были бесполезны. На следующий день в двенадцать часов мы свернули лагерь и пошли дальше.

Таня ничего не замечает. Она идет молча, глядя под ноги. На нее, конечно, уход Германа произвел очень тяжелое впечатление. Какой трагичный маршрут! Две человеческие жизни потеряны. Дорогой ценой куплено открытие трубки.

За день сделали километров пятнадцать. Я почему-то понял сегодня, что самым дорогим теперь являются не наши жизни, а клочок бумаги — карта трубки. Ведь это за нее умерли Сергей и Герман. Мы не вправе сейчас жалеть себя — карта должна быть обязательно вынесена.

Таня, кажется, тоже думает об этом. На ужин съели полбанки мясных консервов: нужны силы, чтобы завтра пройти не меньше двадцати километров. Надо торопиться. Подходят большие морозы.

...Сделали за день тридцать две с половиной тысячи шагов. Смертельно устали. Съели еще полбанки. Хотел убить птицу — промахнулся. Писать больше не могу. А реки все нет...

...Тридцать шесть тысяч шагов. Вышли чуть свет, остановились на привал уже ночью. Реки нет. Боюсь, что мы заблудились: слишком круто завернули вправо. Только бы не сделать круг.

...Наступила депрессия: мы взяли слишком высокий темп. Сегодня Таня через семь тысяч шагов потеряла сознание и упала. Она страшно похудела — полное истощение сил. Два дня милая Танюша тянулась за мной, но сегодня, видно, силы ее кончились. А ведь она не сказала мне ни слова, ни разу не попросила идти медленнее.

Я взял ее на руки и понес. Нигде не было подходящего места для привала, и пришлось пройти несколько километров. Таня очень легкая: она вся высохла, бедняжка, за этот ужасный маршрут.

У костра я напоил ее кипятком, накормил и уложил спать. Сейчас, Веруша, сижу и пишу тебе. Кажет-

ся, зима догнала нас. Мы долго уходили от нее, но она шла за нами по пятам. Она шла на юг с побережья Ледовитого океана и сегодня впервые по-настоящему дохнула нам в спину. Чертовски холодно, щиплет нос и уши. Ноги в резиновых сапогах мерзнут.

Сегодня впервые разошлись тучи, и широкое синее небо распахнулось над нами. Да, это уже зима. Такое синее небо в Якутии бывает только тогда, когда ожидаются большие морозы...

Мы лежим с Таней в одном мешке (второй мы вчера бросили), и Таня просит меня, чтобы я рассказал ей о тебе, Вера, о том, какие у тебя волосы, глаза, какая фигура, какие платья, добрая ли ты. Я рассказываю ей о тебе, а она просит еще и еще и плачет. И мы почему-то разговариваем шепотом...

В полдень метель утихла. Пошли дальше. Таня, кажется, чувствует себя бодрее. Продвинулись километров на пять. Снова поставили палатку: опять пурга. Я разжег костерок прямо внутри. Стынут руки и ноги. Снова легли в спальный мешок, и снова Таня просит, чтобы я ей рассказал о тебе: как мы впервые встретились, кто первый объяснился...

Потом вдруг она вспомнила, не потерял ли я карту. Я показал ей карту, и она успокоилась.

У меня осталось два патрона. Я уложил Таню и ухожу в тайгу. Может быть, повезет и встречу сохатого...

Вера, Вера! Что это за ужасный год! Сколько смертей, сколько прекрасных человеческих жизней утрачено только за эти два месяца!

Не могу писать!

Вчера я долго был в тайге. Ронжа увела меня километра за два, опять началась метель, потом я немного заблудился — словом, проплутал не меньше трех часов. Когда вернулся в палатку, Тани не было. Она оставила мне записку: «Дорогой Константин Петрович!

Я ухожу к Герману. Так надо, и не судите меня слишком строго. Я пишу в полной памяти. Вдвоем нам не выйти. Мы оба погибнем. А в экспедиции ждут карту трубки. Кто-то из нас должен выжить. И выжить должны вы. Вы самый сильный. Я видела, какой обузой были для вас мы с Германом. Если бы не мы, вы давно уже вышли бы на центральную базу. Вы жертвовали собой ради нас, теперь пора жертвовать нам. Герман понял это раньше, я — позже. Вернее, я поняла это давно, но мне было страшно уходить, потому что я трусиха. Сейчас я решилась. Я дождалась метели и ухожу. Я пойду к Герману очень быстро. Вы не ищите меня. Все равно следы заметет. Я сэкономила одну банку консервов, на всякий случай. Она в мешке. Это моя слабая благодарность за все, что вы сделали для меня. Вы обязательно должны вынести карту. Прощайте, Таня. P. S. Константин Петрович! И еще вы должны обязательно дойти до нее. Ведь вы так любите ее. Мы с Германом тоже любили друг друга (мы знакомы уже несколько лет). Мы не показывали этого, чтобы не мешать работе. Наша жизнь, наше счастье не получились.

Пусть хоть у вас получится. Обязательно дойдите до нее. И еще одна просьба, Константин Петрович: напишите моей матери. Адрес ее есть в экспедиции. Все. Таня».

...Я искал ее целый день, но после метели в тайге это совершенно бесполезно. Герман подал ей пример, когда лучше всего уходить.

Теперь моя жизнь, Вера, не принадлежит мне. Вернее, наоборот: я должен выжить и донести карту, чего бы это мне ни стоило. Палатку я разорвал и сделал из нее себе несколько пар портянок. Сейчас главное—это ноги. У меня четыре банки консервов, спальный мешок, один патрон и двенадцать спичек. Думаю, что дойду!

Сегодня сделал пятьдесят тысяч шагов. Это почти двадцать километров. Сейчас сижу под лапами большой лиственницы и кипячу чай. Пока вода вскипит, я пишу тебе — это самое удобное время для писем.

Я тебе всегда пишу именно в это время. Вокруг меня стоят белые великаны; снегу навалило много, морозы пока не сильные. Все-таки чертовски могуча природа!..

Сегодня отмахал пятьдесят три тысячи шагов. Ты знаешь, мы действительно заблудились. Мы шли, очевидно, параллельно реке и поэтому никак не могли выйти к ней. Сейчас я впервые почувствовал, что начался спуск. Значит, я наконец перевалил на другую сторону водораздела. Теперь уж наверняка дойду. Это мой долг, а долг надо выполнять, как выполнили свой долг Герман и Таня. В нашей профессии, пожалуй, как ни в какой другой, жизнь переплетается с долгом очень тесно. И очень часто долг требует жизни...

Я давно потерял счет дням, но сейчас уже, кажется, ноябрь. Сегодня утром я почувствовал это. Мороз был, наверное, градусов тридцать. Приходится подолгу сидеть у костра. Спать тоже стало неудобно: надо подстилать слишком много веток. А ломать их не хватает сил. Трудно дышать...

Два дня ничего не писал. Морозы стоят жуткие. Кажется, я отморозил лицо. Вчера ночью проснулся в холодном поту. Мне приснилось, что я потерял карту трубки. Лихорадочно залез под рубашку — карта была на месте.

Почему-то особенно больно стало за Германа и Таню. Они любили друг друга, а я не замечал ничего. Как строга, как целомудренна была их любовь, если они боялись показывать ее другим, опасаясь, что она будет мешать работе! И как много значили для них работа, долг, который они выполнили до конца...

А ведь они были совсем молоды. Я бы не смог быть таким сдержанным...

Вот я наконец и вышел к реке. Она мертва. Глыбы льда нагромождены друг на друга. Ветер метет поземку. Не лучше ли было оставаться и ждать на месте? Наверное, нас долго искали. Нас не могли не искать.

У нас человека не бросят в тайге. Во всем, что случилось, мы виноваты сами.

...Кажется, все кончено: я отморозил правую ногу. Осталось только три спички. Теперь у меня одна задача — вынести карту как можно ближе к людям.

В том, что карта открытой нами кимберлитовой трубки может погибнуть вместе со мной, никто не виноват. Это — трагическое стечение обстоятельств. Но не это главное. В этом маршруте, кроме трубки, я сделал еще одно очень важное для себя открытие... Я понял, что раньше жил неправильно. Я считал, что настоящая любовь — это та любовь, от которой можно уходить и к которой можно возвращаться. Я считал, что наши отношения — это идеал отношений между мужчиной и женщиной. Но теперь я почему-то завидую Герману и Тане. Они вместе делили горе и радость. Они вместе шли по жизни, их любовь была так велика, что даже не нуждалась во внешнем проявлении. Они были вместе до конца — любовь не помешала им выполнить долг.

Иное у меня. Я писал тебе каждый день, я всем старался рассказывать о тебе, я все вокруг себя заполнил тобой. Но это было не счастье, а утешение.

Я много раз звал тебя, Вера, сюда, на Север. Мне хотелось сократить дорогу до тебя! Но ты не приезжала, ты оставалась в Москве. Как больно мне сейчас думать об этом! Больно и тяжело. Эти думы отнимают у меня последние силы.

Вера, милая! Ты мне нужна здесь, рядом со мной, и нигде больше. Ты нужна мне реальная, а не призрачная. Я хочу, чтобы моя любовь сидела рядом со мной у костра, чтобы я мог передать ей карту открытого месторождения и умереть спокойно, зная, что моя любовь вынесет карту к людям.

Но нет, мне некому передать карту. Не знаю, почему, но я снова вспомнил Германа. Я завидую ему.

Кажется, я теряю сознание... Нет, оно вернулось, и я снова пишу. Я уже ничего не могу больше делать, кроме как писать. Да, я завидую Герману. Я восхищен им и Таней. Они смело отдали свои молодые жизни нашему общему делу. Это ли не говорит об их силе духа, о широте их души, о глубине их любви!

Нет, еще рано вешать нос. Надо идти, брести, ползти, цепляться, перекашиваться...

Может быть, это моя последняя запись...

Нет, не последняя. Я еще жив. Что же делать с картой? Ее ведь ждут в экспедиции. Кому же передать ее, кому?..

Как же быть с картой? Наверное, уж это мой самый последний вопрос в жизни...

Чертовски живуч человек! Я ползу, поднимаюсь на колени, падаю и снова ползу. Может быть, еще выползу. Рука еле водит карандашом. Пишу потому, что это стало привычкой. Нацарапаю две строчки и ползу дальше. Я привык к этому письму больше, чем к еде. Если брошу писать,— наверное, уже не встану совсем...

Смастерил нечто вроде маленького шалаша. По этому шалашу скорее найдут и меня и карту...

Слышал голоса, лай собак. Выполз — нет, показалось. Снова лежу в шалаше. Мороз утих. Костер, зажженный вчера последней спичкой, догорает. Эх, Вера, как ты мне нужна была здесь, как мне нужна была любовь-помощница, а не любовь-игрушка! Видно, не судьба...

Последний раз проверил карту. Все в порядке, она на месте.

Вера, найди Таниной мамы адрес... в экспедиции... напиши ей... и про Германа тоже...

В гибели отряда никого, кроме меня, не винить...».

Тарьянов перевернул последний лист и отложил тетрадь в сторону. За окном давно светлел день — мы не заметили, как пролетела ночь.

— А лай собак и голоса людей он правда слышал? — спросил лохматый геофизик.

— Правда,— ответил Тарьянов.— Костю нашли весной, всего в двадцати километрах от эвенкийского стойбища. Так что ветер мог доносить до него эти звуки. И, наверное, не один раз. Ведь Костю нашли не в самом шалаше. Он выполз из него и двинулся по направлению к стойбищу. Но прополз мало, шагов десять — пятнадцать, и замерз. Эвенки в то лето, когда нашли Костю, не встретили никого из геологов. Они ушли кочевать в тайгу и, конечно, не могли видеть катеров, все лето ходивших по реке мимо места старого стойбища. Экипажи безуспешно искали пропавший отряд. Не могли знать эвенки и о том, что самолеты, много месяцев кружившие над окрестной тайгой, ищут именно того человека, с белой бородой и седыми волосами, которого они нашли однажды весной неподалеку от своих чумов. Только на следующее лето эвенки через кого-то сумели передать все бумаги в экспедицию. Таким образом, открытая отрядом Сабинина в Заполярье трубка два года оставалась неизвестной. Когда на нее снова пришли геологи, чтобы проверить Костину карту, в Якутии уже были известны местонахождения нескольких десятков кимберлитовых трубок. Судьба других поисковых отрядов оказалась более счастливой.

Тарьянов спрятал в полевую сумку тетрадь и сказал:

— Вокруг трубки, открытой отрядом Сабинина, нашли потом еще несколько месторождений. Сейчас там идет большое промышленное строительство...

Неожиданно над крышей дома раздался знакомый урчащий звук моторов, и по окну пробежала огромная черная тень. Это шел на посадку самолет, возвращавшийся в Иркутск из Заполярного алмазного района. Мы знали, что туда летчики возят стальные конструкции для строящегося алмазодобывающего комбината, а обратно всегда возвращаются порожняком и поэтому бывают очень рады транзитным пассажирам.

Мы стали собираться на аэродром.





## Часы



**В**

млодости дедушка служил лесничим. Это было давно, еще до революции, на Кавказе.

Села в лесничестве были разные: одно грузинское, одно армянское и несколько азербайджанских.

Все крестьяне в этих селах знали дедушку, считали его честным и справедливым человеком, любили за правду и бескорыстие.

Случалось, отправляясь в лес, дедушка встречал «лесного хозяина», грозу всей округи Селим-хана. Он появлялся всегда совершенно неожиданно, в черной косматой бурке, закутанный в башлык по самые глаза.

— Охотиться пошел, Осип Иванович?— спрашивал, бывало, он, привычно поглаживая серебряную руко-

ятку кинжала.— Добрый путь тебе. Только сегодня направо не ходи, не надо... Неспокойно там будет! На лево иди...

И дедушка шел налево.

Люди Селим-хана останавливали на лесных дорогах проезжих купцов и богачей, а потом раздавали добычу беднякам в селах.

Они вступались за крестьян, когда городские чиновники творили здесь какое-нибудь беззаконие и несправедливость.

Лесничий, который был здесь до дедушки, спешно уехал после того, как в лесу неожиданным выстрелом из-за кустов с него была сбита фуражка. Голову лесничего спасла круглая кокарда, по которой и скользнула пуля.

Обо всем этом Алеша знал по рассказам отца. Он очень любил эти рассказы о дедушке. Особенно ему нравилось, что бесстрашный Селим-хан относился к его дедушке, как к другу.

Алеша понимал одно: дедушка мог свободно разговаривать с Селим-ханом, мог свободно охотиться в лесу и безбоязненно ходить, куда ему было надо, потому что он был всегда справедлив и честен.

Однажды дедушка случайно обронил в лесу свои часы. Об этом узнал Селим-хан. Через несколько дней под вечер дедушку нагнал на дороге всадник в бурке, сунул ему в руку сверток и ускакал. В свертке оказались дедушкины часы со всеми брелочками. Люди Селим-хана нашли их в осенней листве.

С тех пор дедушка никогда не расставался с часами и очень дорожил ими. Он не позволял никому даже дотрагиваться до них. Алеша это хорошо знал. Когда он гостил у дедушки, то даже обходил, бывало, стороной ночную тумбочку, на которой часы лежали по утрам, пока дедушка не уходил на работу.

Эти часы фирмы «Павел Буре» были «запретной вещью», такой же, как три тома «Плодоводства» в кожаных золоченых переплетах с таблицами, где были нарисованы румяные яблоки и вишни, такие блестящие и гладкие, что хоть вари из них варенье.

У дедушки был свой твердый распорядок жизни, который он никогда, ни при каких условиях не нару-

шал. Ему было уже много лет, но, несмотря на это, он не оставлял своей работы и никак не хотел переезжать из тех мест, где прожил больше половины жизни. Лишь изредка он приезжал в город, где жил Алеша со своими родителями, чтобы навестить их да посоветоваться в городе по своим лесным делам.

Обычно он приезжал поздним ночным поездом.

Алеша просыпался от оживленной суеты, которая возникала в соседней комнате, и сразу догадывался, что случилось что-то приятное, радостное. Мама осторожно открывала дверь, на цыпочках проходила мимо Алешиной постели и брала запасной матрац, лежавший за шкафом.

Слышалось приглушенное гудение голосов и кашель, который Алеша сразу же узнавал: так кашляет только дедушка!

Утром, осторожно выбираясь в столовую, Алеша искал глазами возле пепельницы камышовый прокуренный мундштук. Дедушка всегда оставлял его вечером здесь, чтобы не курить ночью.

В ванной и на балконе висели сизые тугие гроздья винограда, повсюду были разложены персики, инжир и гранаты, а в углу стояла большая круглая корзина, в которой дедушка обычно привозил гостинцы.

Алеша очень любил эти дни. Он ждал с нетерпением, когда дедушка, умывшись, войдет в комнату и поцелует его, уколов щеку жесткими щеточками усов. Он любил дедушкино немного насупленное лицо, его серые, такие же, как у папы, глаза, его густые седые брови, коричневую сухую кожу его тщательно выбритых щек.

Дедушка никогда не дарил покупных игрушек. Он привозил Алеше всякие вещи, которые хранились у него дома: старинный компас в медном футляре, настенный термометр, большую лупу или какие-нибудь коллекции, собранные в детстве Алешиным отцом и его братьями: ящик с камнями в ватных гнездах, гадюку в банке с просмоленной пробкой, коробку с яйцами тех птиц, что водятся на Кавказе.

В те дни, когда гостил дедушка, Алеша с великим трудом досиживал в школе до конца уроков и спешил домой.

Так было и на этот раз.

Сбросив на ходу пальто и шапку, весело размахивая портфелем, Алеша вошел в комнату.

Дома была одна мама.

— Ты знаешь, какая неприятность: дедушкины часы остановились,— сказала она.

— Ох, дедушка, наверное, расстроился!..

— Да, он очень огорчен... Он опоздал из-за этого в институт, а там его давно ждали...— Мама повернулась к Алеше и очень внимательно посмотрела на него. Но он перекидывал книги из портфеля и не заметил этого взгляда.

— Как ты думаешь, почему это случилось?

— Я не знаю, мама, может быть, дедушка их уронил.

— Не думаю... Ну пойди поешь. Я тебе там все приготовила.

Алеша ел быстро. Под конец, догрызая яблоко, он вспомнил о дедушкиной беде.

— Я пойду сейчас к Саше. Там у них часовая мастерская за углом. Если дедушка захочет, я могу снести туда часы,— сказал Алеша, одеваясь в передней.

— Не знаю, захочет ли дедушка... Вряд ли...— ответила мама.— Ты не задерживайся у Саши. Папа звонил, просил быть дома к его приходу.

Когда Алеша вернулся, все сидели за столом, пили чай и о чем-то разговаривали. Едва он вошел в комнату, все замолчали.

Алеше показалось, что без него здесь что-то случилось. Он выжидательно смотрел то на отца, то на мать.

Отец, хмуро глядя мимо Алеши, вдруг сказал:

— Когдаходишь в комнату, надо поздороваться...

— Здравствуйте, добрый вечер...— промолвил Алеша, проходя к дивану.

— Алеша, у дедушки остановились часы.

— Да, я знаю, мне уже мама говорила. Я предлагал снести...

Отец, казалось, и не слушал Алешу. Неприятным, каким-то чужим голосом он снова спросил:

— А ты не знаешь, почему они остановились?

— Нет, не знаю...

— Нам вот почему-то кажется, что их трогал кто-то, пытался заводить.

Отец сказал «нам кажется» уже совсем по-другому, другим тоном. Алеша даже подумал, что отцу это вовсе не кажется, что он не верит в это. И он повернулся в дедушкину сторону.

Дедушка смотрел на него папиными глазами, но очень, очень строгими. Таких строгих глаз у отца никогда не бывало.

— Не знаю,— снова сказал Алеша.— Может, кто-нибудь и пытался заводить...

— Кто же?

— Кто-нибудь...

— Не говори глупостей,— сказала мама, поднимаясь с места.— Ты прекрасно знаешь, что никого, кроме нас, здесь не могло быть.

— Не могло быть...— повторил Алеша машинально.

Ему сделалось очень скучно, и неприятно было отвечать на все эти вопросы.

Он снова посмотрел на дедушку, на отца, на мать и вдруг заметил, что папа рядом с дедушкой кажется совсем еще молодым и морщинки у его глаз даже не видны за стеклами очков. И мама молодая совсем, с косичками даже...

— А ты не трогал?— вдруг спросил дедушка.

— Нет,— ответил Алеша.

Он теперь не отводил глаз от папы и мамы. Да, они казались сейчас совсем молодыми и какими-то беспомощными рядом с седым и насупленным дедушкой.

Они, словно дети, смотрели то на дедушку, то на Алешу, и Алеша видел по их глазам, что они просят его сказать сейчас всю правду, сознаться во всем...

Но в чем?

Некоторое время все молчали, лишь маятник больших стенных часов мерно отбивал такт: «Раз-два, раз-два...»

— Значит, ты не знаешь, почему так случилось?— Дедушка медленно скручивал бумажку с табаком, собираясь закурить.

— Не знаю...

— Хорошо. Иди сейчас готовить уроки и спать. Только завтра к обеду ты должен сказать всю правду,— сказала мама и начала убирать со стола чашки.

Алеша подумал о том, что мама даже не заметила, что он совсем не пил чая, и не предложила ему налить.

Всю правду...

Но какую правду? Разве он уже не сказал всю правду? Он ведь действительно не знал, как это все случилось.

Весь следующий день, за что бы ни брался Алеша, все валялось из его рук.

Он все думал о дедушке, о его суровых глазах. Он снова вспоминал рассказы отца, которые так любил: о том, как всегда был правдив и справедлив дедушка и как люди любили его за справедливость.

Никогда, никого не наказывал дедушка зря.

«А может, все-таки это сделал я?— думал Алеша.— Но как и когда?»

Он пытался представить себе, как входит в комнату, когда дедушки нет там, как берет со стола его часы. Звенят брелочки, и в маленьком серебряном черепе зло поблескивают рубиновые глазницы. Он поворачивает часы в руке, читает на светлом циферблате надпись: «Павел Буре» — и вдруг неожиданно роняет их на пол...

Нет, этого представить он никак не мог. Этого просто никогда не было.

Дедушка, казалось, не замечал Алешу. Мама тоже почти не разговаривала с ним, а папа, когда вернулся с работы, как-то торопливо, точно боялся, что кто-то увидит, потрепал его по голове и ушел умываться.

— Ну как? Заходил? Признался?— скороговоркой спрашивал он мать.

— Нет.

— Ну, может, действительно не он?

— А кто же, по-твоему? Я, что ли? Твой это отец, ты с ним и выясняй...

— Ты понимаешь, дело ведь не в часах... Дело в принципе. Соврал раз, соврал два, а там и пойдет...

Они говорили громко, несколько не стесняясь, что Алеша может все слышать.

— Да... Положение... Может, все-таки скажет.

Алеша чувствовал, что если он скажет то, чего ждут от него, тогда и дедушка перестанет проходить мимо него молча, и снова можно будет говорить с ним о всяких лесных историях, и папа не будет так смущенно и просительно смотреть на него, на Алешу, и мама больше не будет со стуком и звоном швырять посуду на кухне.

Снова все будет спокойно и мирно.

Чего ему бояться? Никто ведь не станет его ругать или бить. Нет, наоборот, все в один голос стали бы его хвалить и говорить, что он молодец, честно признался во всем, нашел в себе силы сказать всю правду. Что он поступил очень мужественно и благородно.

Но ведь это была бы самая большая неправда!

Несколько раз подходил он к дверям, за которыми был дедушка, и даже один раз раскрыл их. Дедушка читал и посмотрел на Алешу из-под очков, отчего взгляд его показался еще более нахмуренным и строгим. И Алеша почувствовал, что лучше ему молчать, чем сказать неправду, глядя в эти глаза.

Поэтому Алеша ничего не мог ответить на все вопросы. Он только не понимал, как дедушка, который умел с одного взгляда распознать любого человека и рассудить о нем справедливо, не видел его, Алеши, правду.

Ночью дедушка уехал.

Уехал, пройдя мимо дверей, за которыми, напряженно прислушиваясь к каждому шагу, лежал Алеша.

Уехал, не попрощавшись, не уколов его щеку своими щетинистыми усами.



Через некоторое время Алеша узнал, что часы остановились сами по себе, умерли от старости. Но тогда, когда это выяснилось, никто из взрослых ничего ему не сказал.

Никто не извинился.



## Материнский сладкий хлеб



И

з дому выходя или возвращаясь домой, каждый день вижу я людей с хлебом. Кто несет его в корзинке, кто в плетеной сумочке, вместе с морковью, картошкой и другими овощами; попадаются и другие, что несут свой насущный, небрежно завернув в газету, и такие, что прижимают его рукой к ребрам, за которыми делает свою тяжелую работу сердце, несут, словно вечно новую, полную неумирающей свежести книгу жизни, которую люди не устают читать, снова и снова перелистывая ее страницы, окропленные слезами и кровью.

Нина Дмитриевна жаловалась на сердце. Не то заходило оно у нее, не то замирало. Случалось это внезапно, без всяких видимых оснований, и сотрудницы библиотеки, в которой Нина Дмитриевна работала,



видели, как она хваталась рукой за стеллаж и прижималась лбом к книжкам или опускалась на стул, бледная, с широко раскрытыми, не испуганными, а словно удивленными глазами, и так сидела, прислушиваясь к той таинственной, непонятной и грозной катастрофе, которая совершалась в ней и каждый раз могла оказаться последней. Наконец она вздыхала с облегчением: утомленное сердце, словно обрадовавшись, что не остановилось, начинало ускоренно биться, горячо гнало кровь, занемевшие руки отходили, побледневшее лицо покрывалось румянцем.

Нина Дмитриевна вставала, поправляла прическу и снова ходила между стеллажами, отыскивала книги и несла их к столу выдачи, где недовольные десятиклассники и студенты потихоньку возмущались задержкой и жаловались на непорядки в библиотеке.

Заведующая Калерия Ивановна, сухая и суровая особа в старомодных очках, возраст которой нельзя было определить, поджимая тонкие синеватые губы, часто советовала Нине Дмитриевне, так выговаривая слова, словно забивала мелкие гвоздики в стену:

— Вам надо лечиться, Нина Дмитриевна. Почему вы не поднимаете вопрос перед месткомом о путевке на курорт? Обязанность месткома — помогать членам профсоюза.

Муж Калерии Ивановны работал на ответственной должности. Они каждый год ездили в Эссентуки или Трускавец, потому что оба жаловались на нарушение обмена веществ, из-за чего Калерия Ивановна была тонкая, как жердь, а муж ее — толстый, как печка.

Нина Дмитриевна испуганно вскидывала на заведующую красивые и еще совсем молодые карие глаза.

— Так я же здорова, Калерия Ивановна... И потом, это такая канитель, надо идти к врачам, бог знает, что они скажут. А Леля... На кого я брошу Лелю?

Леле, дочке Нины Дмитриевны, было девятнадцать лет, она училась в педагогическом институте, но мечтала стать артисткой и увлекалась спортом: то плаванием, то художественной гимнастикой, то теннисом... Она красиво декламировала на институтских вечерах стихи Есенина и Щипачева и чувствовала наслаждение, проходя по бульвару Шевченко в белых туфлях и бе-

лой юбке, с теннисной ракеткой в руке. Леля хорошо училась, несмотря на то, что художественная самодеятельность и спорт отнимали у нее много времени. Домой девушка прибегала только поздно вечером, голодная, веселая и счастливая, бурно обнимала и целовала Нину Дмитриевну, которую в самом деле до беспамятства любила, надевала свой цветастый старенький халатик, уже маловатый на нее, и садилась за стол, где давно ждал ее ранний ужин или поздний обед, называйте это как угодно.

Они любили друг друга, и трудно сказать, кто больше. Для Нины Дмитриевны не существовало в мире никого, кроме Лели. В дочери была вся жизнь этой тихой, уже немолодой, но еще красивой женщины. Она потеряла мужа в первые недели войны. Извещение пришло зимой в отдаленный колхоз за Красноярском, где она очутилась с двухлетней Лелей. Нина Дмитриевна отгребала снег от порога, неумело орудуя большой деревянной лопатой, когда подошла Аникеевна — председательница колхоза, могучая женщина с железными руками и постоянным выражением девического смущения на лице. Аникеевна уже потеряла на войне мужа и двух сыновей. Теперь она открывала все солдатские письма, что приходили в колхоз, на себя перенимая все горе и все слезы молодых и немолодых, местных и эвакуированных солдаток.

— Дай-ка мне лопату, Митриевна,— сказала Аникеевна,— не для твоих рук эта работа... Перетерпи. Война кончится, будешь у нас библиотекаршей... По душе ты мне, я для тебя библиотеку расстарюсь на весь район!

— Ох, что вы,— как всегда испугалась Нина Дмитриевна,— я же киевская!.. Костя вернется с войны... Костей звали мужа.

— Не вернется твой Костя.— Аникеевна бросила лопату в снег и заголосила, обнимая двадцатипятилетнюю вдову, как ребенка.— Не встанет он на белы ноженьки, подкосила его смерть во чистом поле, словно цветики весенние, словно колос в пору страдную...

Этот плач, что не притворялся песней, но вправду был тысячелетней поэзией женского горя, спас молодую женщину. Она молча плакала в объятиях Аникеев-

ны, а потом они вдвоем сидели в рубленой горнице и Аникеевна читала ей солдатские письма к женам, скупые, суровые, полные советов по хозяйству, приветов родне — а еще поклон от высокого неба до сырой земли — и обещаний обязательно разбить немца. Аникеевна вела колхоз, держала в руках невесток и внуков — было их пятеро, мальчиков и девочек. Она ругала крепкими словами женщин в коровнике и на поле, вместе с ними голосила над безжалостными письмами с фронта, вместе с ними варила и пила самогонку. Все любили ее, она осталась в памяти Нины Дмитриевны примером деятельной любви и самоотверженной преданности.

Провожая библиотекаршу в Киев, Аникеевна дала ей в дорогу кружок замороженного молока и буханку похожего на черную землю хлеба.

— Не забывай моего насущного, когда будешь сладко есть! — Обняла ее на прощание и пошла от поезда, потому что у нее была не только эта забота.

Еще война не кончилась, когда Нина Дмитриевна с маленькой Лелей вернулась в Киев. Их дом на Прорезной сгорел, ей дали комнатку в двенадцать метров в конце улицы Дарвина. Она снова работала в холодном книгохранилище большой библиотеки, разбирала, записывала и расставляла по стеллажам книги. Ходить с работы домой надо было мимо Крытого рынка, на гору. Изо дня в день это становилось все тяжелее, но дома ее ждала брошенная на соседку Леля. Нина Дмитриевна спешила, не помня себя, и тут на крутой горе впервые остановилась, почувствовав, что камни уплывают у нее из-под ног. Но нельзя было остановиться: в руках у нее была плетеная сумочка, а в сумочке аккуратно завернутый пайковый хлеб. Насущный — теперь она иначе не называла его, — ежедневный хлеб для себя и для Лели. Как радовалась Леля этому хлебу, встречая ее на пороге комнаты, — крохотное существо на длинных тоненьких ножках! При взгляде на нее вспоминался Костя, юноша, который так недолго был ее мужем. У Лели были такие же, как у него, светлые волосы и такие же глаза, синеватые, в веселых искорках. Она так смешно выговаривала мамино название хлеба:

— Мамочка, ты принесла засушенного?

Купив Леле первую сладкую булочку, Нина Дмитриевна вспомнила Аникеевну и написала ей письмо. Ответ пришел через несколько месяцев, написанный большими круглыми буквами на листочке бумаги в клетку, сложенном треугольничком, как во время войны,— не то по привычке, не то потому, что конвертов за Красноярском еще не было. Письмо было, как от матери. «Если встретишь свое счастье, никому не отдавай,— писала Аникеевна,— а так ни с кем судьбы не связывай — вдовою жить лучше, чем за чертом замужем».

Встал в памяти зимний день, сугробы у порога, сама она в чужом тулупе и валенках, с письмом в руках и плач Аникеевны: «...подкосила его смерть в поле чистом, словно колос в пору страдную, отвеяло душу от белого тела, как зерно от мякинушки...»

Ходила с сотрудниками библиотеки разбирать кирпич на развалинах Крещатика, водила Лелю в кукольный театр, читала ей вечерами про Красную Шапочку и Козу-дерезу, ни о ком и ни о чем не думала, и вся улица Дарвина удивлялась, как это такая молодая и красивая, такая милая и веселая женщина живет одна, словно монашка, бьется ради насущного для своего ребенка, когда можно бы найти себе пару, а то и распаровать кого-нибудь и жить себе, как за каменной стеной. Не успела оглянуться, как Леля пошла в школу, не успела одуматься, как девочка стала подростком... И не успела заметить, как усталость подползла к сердцу, как все чаще стало оно то заходиться, то замирать. Всю себя отдавала Леле, всю неистраченную свою любовь, всю нежность верной и преданной души. И Леля любила ее, и не только любила — восхищалась, гордилась ею. Ведь это же была ее мама. Нельзя было ее не любить, не восхищаться, не гордиться мамой, которая каждый день приносила «засушенный», устроила такое красивое гнездышко из их двенадцатиметровой комнаты, умела из ничего сшить для нее чудесные юбочки и блузочки и так весело и серьезно разговаривала с ее знакомыми ребятами, что иной раз трудно было понять, ради кого они ходят на улицу Дарвина.

Нельзя сказать, что Леля выросла белоручкой. Она умела делать все, чему ее учила мама: убрать комнату, приготовить обед, выстирать себе блузку,— а коржики пекла даже лучше матери; только ей вечно было некогда: лекции, самодеятельность, спорт, а кроме того, нужно было не пропустить интересный фильм, сходить на концерт (одно время она очень увлекалась музыкой) и просто погулять над Днепром... Нина Дмитриевна не то что считала это нормальным,— она бы искренне удивилась, если б кто-нибудь сказал ей, что она слишком много сердца отдает Леле, что надо и себя пожалеть, что время идет и сил становится все меньше и меньше. Она не умела отмерять свою любовь, как в аптеке, и сердце свое отдавала сполна, не задумываясь, не жалея его. Один только раз за все эти долгие годы сердце ее несмело качнулось, заметалось беспокойно, как стрелка компаса во время магнитной бури, а потом выровнялось и снова стало показывать в одну сторону — на Лелю.

Сергей Павлович Ключко, биолог, писал докторскую диссертацию. Подменяя сотрудницу читального зала, молоденькую красивую Зою Семиренко, которая заболела воспалением легких, Нина Дмитриевна сразу обратила внимание на высокого, стройного и, если бы не седина на висках, совсем молодого ученого. Что-то будто толкнуло ее в грудь — так похож он был на Костю. Особенно, если закрыть глаза и слушать его гибкий, слегка иронический голос, можно подумать, что не было ни колхоза за Красноярском, ни Аникеевны, ни долгих лет одиночества в двенадцатиметровой комнате на улице Дарвина, что все время рядом с ней был честный, добрый человек, который понемногу мужал, потом стал сидеть, но от этого стал еще ближе, еще роднее, ибо ничто так не сближает людей, как годы общего труда, общей радости и горя. Странно, глядя на него и ожидая, что он заговорит с ней, она все время думала о Косте, который не успел ни посидеть, ни стать Константином Петровичем, потому что совсем молодым скосила его смерть в чистом поле, как пшеничный колосочек... Думала, что если бы не было этого чистого поля, то и Костя мог бы вот так сидеть в читальном зале за столом под зеленым абажуром и

листать страницы книг если не по биологии, то уж, верно, по истории архитектуры, которой увлекался. А может, строил бы Костя дома для людей, и в одном из них дали бы им квартиру из двух или трех комнат, с балконом, и был бы лифт, и ей не нужно было бы ходить на пятый этаж по крутой лестнице, неся с работы «насушенный» для Лели. Он, наверно, строил бы: в нем играла деятельная сила, не хватало ему спокойствия и терпения, необходимых для вдумчивого и серьезного исследователя.

Нина Дмитриевна ужаснулась, поняв, что совсем мало думала и вспоминала про Костю, пока не встретила Сергея Павловича. Костина фотография висела у нее в комнате на почетном месте, но, горько сознаваясь, давно уже стала только вещью, частью ее жилья, а не частью души. Теперь Костя возвращался из такой далекой дали и такие жгучие воспоминания будил в ней, что женщине становилось страшно за годы, которые прошли без него, а главное — за будущее, которое расстилалось перед ней голой пустыней: еще несколько лет — Леля окончит институт, выйдет замуж... А дальше что?

Сергей Павлович не говорил с ней. Один раз только спросил имя и отчество, но она поняла, что ее присутствие волнует его. Между ними уже существовала таинственная связь, незримая нить которой крепла с каждым днем. Странное дело, уже вся библиотека с сочувствием следила за развитием их отношений, хоть и отношений никаких еще не было; были только тревожные потаенные мысли Нины Дмитриевны, которыми она ни с кем не делилась, и молчаливое волнение Сергея Павловича, неизвестным образом угаданное людьми. Сергей Павлович работал в библиотеке по вечерам и сидел обычно до закрытия читального зала. Приходя, он издали кланялся Нине Дмитриевне и садился на свое постоянное место с правой стороны за предпоследним столом у прохода. Там уже лежали книги, заказанные прошлым вечером. Он склонялся над ними, медленно листал страницы, делал выписки, иногда выходил покурить и ровно за десять минут до закрытия зала глазами искал Нину Дмитриевну, чтобы отдать ей заказ на завтра. Она уже ждала этого взгля-

да и подходила к Сергею Павловичу неуверенной, медленной походкой, словно преодолевая сопротивление, как пловец, что режет встречную волну. Только это сопротивление, эта волна, с которой ей приходилось бороться, были в ней самой; она ужасалась не тому, что ее властно тянет к Сергею Павловичу, нет, в этом было давно забытое молодое ощущение счастья; ее пугало то, что она думает о нем, как о Косте, а Костя давно уже истлел в чистом поле...

Задолго до закрытия читального зала, не заказав книг на завтра, Сергей Павлович поднялся и вышел. Нина Дмитриевна подумала, что он вышел покурить. Книги были аккуратно сложены и придвинуты к лампе. Она не могла справиться со своими мыслями, с неожиданной тревогой, которая охватила ее и закачала, как щепку на волнах. Ушел. Не позвал глазами, не кивнул на прощание седой мальчишеской головой. Что случилось? Ничего ведь и не могло случиться. Она прекрасно это понимала, просто человеку нужно быть раньше дома, а может, он идет сегодня на концерт, а может, еще что-то... Она же ничего не знает о его жизни. Нет никаких оснований волноваться. У нее так много работы... Надо сказать немолодому писателю с бесцветными глазами и остатками жидких волос на черепе, что книги о Богдане Хмельницком будут только завтра. А вот уже принесли старые польские журналы для черноватого скользкого музыковеда, который исследует историю любви Фредерика Шопена к Марии Водзьинской... Чем только не интересуются люди! Строительством водопроводов у древних римлян и аэронавтикой, паразитологией человека и основателем династии Великих Моголов, узбекским поэтом и авантюристом Бабуром!..

Нина Дмитриевна взяла в раздевалке свою плетеную сумочку, в которой лежали хлеб и овощи для завтрашнего борща. В прохладном высоком вестибюле было пусто. Улица дохнула ей в лицо теплым воздухом. Возле давно уже темного газетного киоска стоял Сергей Павлович. Она не удивилась и не испугалась, только сердце вдруг зашпешило, словно кинулось ему навстречу, а потом споткнулось, охваченное медленной и долгой болью... Сергей Павлович вовремя под-

держал ее, обняв за плечи. Она раскрыла глаза, провела ладонью по лбу, потом они молча шли под тополями вечернего бульвара, листья о чем-то шептали под ветром, и ей приходилось отдыхать на каждой скамейке. Он неумело нес сумку с овощами и хлебом в левой руке, а правой поддерживал ее за плечи и все время молчал. Они долго ждали такси на остановке у Крытого рынка. Перед ними в очереди стояли молодые застенчивые летчики и длинноногие говорливые девушки с модными прическами «конский хвост».

— Я дойду пешком,— вздохнула Нина Дмитриевна,— это со мной часто бывает...

Возле дома на улице Дарвина, прощаясь с ней, Сергей Павлович сказал:

— Вам нужно отдохнуть.

Это она и сама знала.

— Я хотел вам кое-что сказать...

Она быстрым испуганным движением бросила кончики пальцев на его большую, крепкую руку, схватила свою сумочку и пошла в подъезд.

— Завтра...— прошелестел его голос, когда она закрывала за собой тяжелые двери.

Может, это ей почудилось?

Ночью Леля вызвала «Скорую помощь». Растрепанная толстая врачиха, хватаясь рукой за грудь и разевая рот, как рыба на берегу, вломилась в их маленькую комнату и так загромодила ее своим большим телом, что двум студентам-практикантам с кислородной подушкой и чемоданчиком с медикаментами не хватило в ней места. Они шепотом разговаривали с соседками в коридоре.

— Лежать, лежать и лежать,— похлопывая Нину Дмитриевну по голому плечу, быстро сыпала равнодушные слова врачиха,— лежать десять дней, как минимум, и только тогда вы будете практически здоровы, голубушка.

Она впрыснула Нине Дмитриевне кардиозол с атропином, дала подышать кислородом и, попрощавшись, понесла из комнаты свое большое астматическое тело.

Леля стояла все время с перепуганными глазами и, только когда студенты вынесли кислородную подушку, склонилась над матерью.



— Тебе же ничего, мамочка? Правда, ничего? Ты же не умираешь?— совсем по-детски шептала она, холодея от страха.— Завтра ты не пойдешь на работу. Завтра мы вызовем врача из поликлиники, он выпишет тебе бюллетень...

Завтра она не пойдет на работу. Завтра она будет лежать в постели, положив руки поверх одеяла и прислушиваясь к своему сердцу. Леля побежит в институт и, возвращаясь с лекций, сама принесет хлеб. Овощи есть, соседка купит двести граммов мяса в Крытом рынке и приготовит обед. Завтра она будет отдыхать, и послезавтра, и десять дней подряд... Но ведь он тоже сказал: «Завтра». Завтра вечером она должна с ним встретиться, завтра она все услышит, завтра ждет ее счастье.

Леля склоняется над матерью. Нина Дмитриевна беззвучно шевелит губами, слов нельзя разобрать, глаза закрыты, дыхание выравнивается, она окунается в сон, как в темный колодец, и сразу же раскрывает глаза.

Небо цвета барвинка плывет в квадрате промытого, чистого окна. Леля спит, свернувшись клубочком, в старом кресле. Что это было? Он был тут, рядом с ней, живой, молодой Костя, он стоял возле Лели, легко положив руку на плечо дочке, и глядел умными, немного печальными глазами, словно осуждая ее за то, что она осмелилась искать его юную красоту в посяделом возмужании другого... Нет, он не осуждал, ему было больно и страшно за дочку, что спит одетая в кресле, напуганная неожиданной болезнью матери, ее потускневшими глазами, руками, которые бессильно лежат поверх одеяла,— неутомимые, нежные, мудрые руки матери, рождающие для нее хлеб. Костя стоял молча, потом неожиданно улыбнулся и сказал: «Мне пора на лекции, ты же смотри, Нина, не бросай ребенка одного».

Она проснулась от удара в сердце. В барвинковом небе за окном, как воспоминание, проплыло маленькое полупрозрачное облачко и растаяло, словно потонуло в светлой бездне.

Ничего ей не будет. Врачи? Отдых? Глупости. Сердце выдержит. Надо идти в библиотеку, готовить кни-

ги, раскладывать их по столам и ждать вечера: она не сможет жить дальше, не услышав тех слов, которые должен сказать ей Сергей Павлович... Нина Дмитриевна медленно оделась, приготовила завтрак и разбудила Лелю. У девушки засветились глаза: мать ходит, ее неутомимые руки не лежат бессильно, а привычно и умело нарезают хлеб и намазывают его желтоватым слоем масла, как каждый день, как много дней и лет по утрам... Они вдвоем вышли из дому. Люди спешили на работу. Возле Крытого рынка с машин сгружали розово-белые воловьи туши, овощи, колхозницы гремели бидонами. Леля что-то щебетала. Нина Дмитриевна ничего не замечала и не слышала.

Первой, кого она встретила в библиотеке, была Зоя Семиренко: она выздоровела и вернулась в читальный зал. Нина Дмитриевна похолодела от неожиданной тоски. Зоя искренне поцеловала ее. Она была худенькая и хорошенькая, как ласточка, после болезни глаза ее особенно ярко блестели, да разве и была она в чем виновата? Нина Дмитриевна передала ей работу по читальному залу и пошла в свой закоулок, в неприветливое, всегда холодное книгохранилище, где между стеллажами проходили ее годы.

День был долгий, она успела все взвесить. Хорошо, что Зоя вернулась на работу именно сегодня. Хорошо, что пришлось уйти из читального зала,— так будет легче забыть...

Работы было много... Вечером Нина Дмитриевна вышла из библиотеки через черный ход и прошла сумеречным парком, где на аллеях молча прижимались друг к другу влюбленные.

Ночью ее забрала «Скорая помощь». Полтора месяца пролежала она в больнице. А когда вернулась в библиотеку, Зоя Семиренко сказала ей, что седой биолог дважды спрашивал про нее, а потом перестал ходить в читальный зал, возможно, окончил свою диссертацию, а может, куда-то уехал...

«Вот и хорошо»,— вздохнула с облегчением Нина Дмитриевна, вспомнив почему-то Аникеевну и ее письмо: «Своего счастья никому не отдавай, но вдовой жить лучше, чем за чертом...» Кто знает, чем это могло стать? Чем это было? И было ли что-нибудь? Мо-

жет, живя потаенной надеждой на счастье, она слишком легко и доверчиво откликнулась на еле уловимое движение чужого сердца, которое билось не для нее, может, она сама в мыслях спряла ту незримую нитку близости, что, казалось, уже соединяла их... Бывают же ошибки, тем более что они никогда и не разговаривали, и она не может ничего знать о нем, о его мыслях, не может думать, что он обманул ее надежды. А сама себя обманывать она не хочет, не будет: уже прошел тот возраст, когда можно жить выдуманном счастьем, надо приспать боль, приглушить ее — три капли валидола на кусочек сахара хорошо помогают в таких случаях.

Улыбаясь, Нина Дмитриевна осторожно вытерла уголком платочка глаза, чтобы не покраснели веки, и медленно пошла вдоль длинной стены стеллажей отыскивать нужные абонентам книжки...

...Калерия Ивановна вызвала ее к себе в кабинет и, поджимая тонкие синие губы, сказала коротко и резко, будто пряча доброе сердце за хрупкой скорлупой своей постоянной сухости и резкости:

— Вы идете в отпуск. Не хотите в санаторий, просто отдохните. Почему бы вам не поехать по Днепру? Подумайте, я подписываю приказ.

Нина Дмитриевна ухватилась за эту мысль — вниз по Днепру. Леля давно мечтала об этом путешествии. Вечером они уже вслух мечтали о белом пароходе. Через неделю кончается экзаменационная сессия у Лели.

Сезон только начинается. Пассажиров еще совсем мало. Они возьмут каюту первого класса.

— Мама, я хотела бы сшить себе широкую цветастую юбку и купить белую прозрачную блузку...

— Ну что ж, это можно, только тогда придется брать второй класс.

— А чем плохо во втором классе? Там четырехместные каюты, познакомимся с попутчиками, будет веселее. И в конце концов это только на ночь, а днем все время на воздухе, на палубе...

Леля обегала все магазины, выбирая цветастый материал на юбочку; прозрачную блузку не так легко было найти; зато в справочном бюро на речном вок-

зале она все разузнала: и какие пароходы ходят до Херсона, и где останавливаются, и сколько стоят на Днепрогэсе и в Новой Каховке... Нина Дмитриевна принесла из библиотеки карту, они разыскивали на ней пристани... Жаль, что в Каневе пароход так мало стоит, нельзя будет сходить на Тарасову гору, а так хотелось бы... Ну, ничего, они посмотрят с парохода или сделают, если можно, остановку на сутки. Там, кажется, есть гостиница... Нет, гостиница сгорела во время войны, ее до сих пор не отстроили. Ну, да они найдут, где переночевать...

— А правда, мама, мне чудесный материал попался, и такой дешевый! Можно будет купить еще красные бусы, длинную нитку, как теперь носят,— на Крещатике есть в магазине...

Пришел Лелин товарищ Виталий, мрачноватый парень с черным чубом. Леля покраснела.

— Ох, мамочка, я и забыла сказать, что мы с Виталием условились сегодня в кино...

Виталий хмуро усмехался и встряхивал чубом. Нина Дмитриевна из окна видела, как они вышли из подъезда, оглянулись и, взявшись за руки, пошли вниз, на Крещатик.

Ей все не нравилось в этом Виталии: и то, что он молчит, и что носит узкие зеленые брючки и песчаного цвета короткую курточку, и что черные волосы у него подстрижены, как у какого-то французского актера, а парню нужно думать о том, как он будет преподавать физику в сельской школе...

Она сидела у окна и шила юбочку для Лели, широкую цыганскую юбку из дешевого цветастого материала, и чувствовала себя счастливой. Если не найдет прозрачной блузки в магазине, она сама сошьет — будет не хуже. Правда, ей тяжело шить иголкой. Такая пустяковая работа, а так утомляет: наверно, оттого, что все время приходится делать однообразные движения рукой,— такой широкий подол, пока его обшьешь... Сумерки накрывали улицу Дарвина. Леля не возвращалась из кино. Должно быть, ей интересно с этим Виталием; тут ничего не поделаешь, она уже взрослая девушка, сама должна выбирать свое счастье.

Вдруг Нина Дмитриевна вспомнила, что за радостными разговорами о путешествии она забыла купить хлеба и Леле тоже не поручила зайти в булочную... Ну, что ж, это и лучше, она пройдет по Крещатику; булочная на углу возле памятника Ленину еще открыта, там всегда свежий, хороший хлеб, и именно такой, какой любит Леля... Она вышла из дому. Как разрослись деревья на этой уютной улице, и сколько домов построено! И на том фундаменте, что сохранился с довоенного времени, поднялся такой большой, красивый дом с магазинами — жаль, что они так рано закрываются. Нина Дмитриевна медленно шла вниз на Крещатик, ее знали на этой улице, и старшие и молодежь — все здоровались с ней, и даже в булочной ее без очереди пустили в кассу.

— Как ваше здоровье?— вдруг спросила кассирша, взявшись за ручку кассы и не поворачивая ее.

— Спасибо,— ответила Нина Дмитриевна,— в воскресенье мы едем с дочкой парохомом по Днепру.

Кассирша выбила чек, касса лязгнула, зазвонила, словно сказала: «Счастливого пути!»

Нина Дмитриевна посидела на скамейке у памятника. Небо все ниже надвигалось на тополя, на фонари, на крыши; над городом пролетел самолет с тремя огнями; она вздохнула и поднялась...

Леля уже, наверно, вернулась, а она так запаздывает с этим хлебом. Хорошо, что Виталий в этом году оканчивает институт, получит назначение и куда-нибудь поедет, не пара он Леле, не нужны ей эти узенькие зеленые брючки и рыжие башмаки на толстой подошве... Ох, а что ж ей нужно? Откуда она знает, что нужно Леле? Счастье! Счастье, и больше ничего! Хоть в разбитых сапогах, хоть и босиком... А может, счастье ходит теперь на микропористой?

Ее счастье ходило в парусиновых туфлях, а потом надело кирзовые сапоги и гимнастерку, пошло в чистое поле и не вернулось... Голова даже кругом идет от этих мыслей, а хлеб сегодня почему-то такой тяжелый, что придется остановиться у Крытого рынка и отдохнуть...

Леля вернулась поздно. Они вышли из маленького, душного кинозала и по террасе над Крещатицом про-

шли на улицу Энгельса, сразу забыв про фильм, в котором стреляли из пушек, разрушали города, умирали под танками, думали о будущем... Кругом было столько красоты, деревья в Липках так тихо шелестели, дома дышали теплом, угасал свет в окнах, и только время от времени слышались медленные, тихие шаги поздних прохожих или звонко постукивали высокие тонкие каблочки счастливой девушки, которая спешила домой со свидания. Леле было весело, она без конца говорила про поездку по Днепру.

— Завтра уже нужно заказывать билеты, в субботу последний экзамен,— говорила Леля, вкладывая в эти слова столько радости и надежды, что они начинали звучать для нее песней, которой веришь всей душой.

Виталий поцеловал ее в подъезде, она легко вбежала на пятый этаж и, как всегда, позвонила дважды, энергичными, короткими звонками. Дверь сразу же открыла соседка. В коридоре почему-то было полно людей, они словно избегали ее взгляда. Леля пробежала в свою комнату и сразу же увидела мать на кровати, покрытую короткой простыней, из-под которой виднелись ноги в стоптанных, старых туфлях.

— Не плачь, Леля, не плачь,— заливалась слезами соседка, и голос ее звучал, словно из-за стеклянной стены. На столе посреди комнаты лежала плетеная сумочка с хлебом. Леля села возле матери, ничего еще до конца не понимая. Снова послышался звонок, кто-то пошел открывать, и в дверях появилась знакомая врачиха, больная астмой; она отбросила простыню с лица матери, подержала ее руку, прислонилась ухом к груди и, тяжело хватая открытым ртом воздух, села что-то писать. Ее ассистенты держали в коридоре ненужную кислородную подушку и чемоданчик с медикаментами.

Все, что совершалось потом, шло быстро и без Лелиного участия. Все сделали соседи и сотрудники из библиотеки. Они привезли гроб и венки, они же ехали на кладбище в серебряном похоронном автобусе. Калерия Ивановна, глядя поверх голов небольшой группы собравшихся возле могилы, произнесла речь, слова которой звучали, как удары небольшого молотка; упали комочки земли на гроб. Калерия Ивановна

отошла в сторону, сняла очки и вдруг начала плакать. Леля озиралась беспомощно кругом, словно искала кого-то, но никого не было. Ее окружали чужие, полужнакомые люди, ей делалось страшно, и она не могла плакать. День был ясный, солнечный, на кладбище цвела акация, пели птицы, от их щебета заходило сердце...

Соседки немного посидели у нее в комнате и разошлись. Смеркалось. На спинке стула висела недошитая цветастая юбочка, на столе лежала развернутая карта, над которой еще два дня тому назад они склонялись с матерью. Виталий не пришел. Небо в окне становилось из сиреневого темно-синим, блеснула первая звезда над крышей соседнего дома. Виталия не было на кладбище, когда комья земли с грохотом падали на гроб и исступленный щебет птиц отзывался в сердце напоминанием о жизни, о радости, которую так легко теряешь, о счастье, которое тонет в тяжелых слезах...

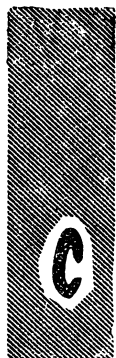
Леле захотелось есть. Она нашла плетеную сумочку и долго сидела в своей уютной комнате одна, обливая горькими слезами последний материнский хлеб.

Перевод с украинского  
А. ГРОМОВОЙ



## Трудное детство

ОГОНЬ



Совсем недавно побывал я там, где родился. Наш двухэтажный дом, который был самым большим в округе, показался мне удивительно маленьким среди новых каменных домов. Поредел садик, где мы бегали, сровнялась с землей горка, где мы играли. И я вспомнил: на этой чудесной горке я сделал великое открытие. Я открыл огонь. Вернее, удивительные камни, из которых можно было высечь огонь. Я приводил сюда ребят, мы набирали полные карманы этих камней и потом шли в темный чулан. В таинственном полумраке мы стучали камнем о камень. И появлялся желтовато-синий шарик пламени. Только потом я понял, что огонь делали не серые камни с моей горки,



а мои руки. Как эта чудесная горка, сровнялось с землей мое детство. Попробуй отыщи следы... За горкой во все стороны со своими настоящими чудесами начиналась жизнь. Но вера в свои руки, которые могут добывать огонь, осталась навсегда. Я пошел учиться на монтера.

## РИСУНОК

Саша был мой друг и жил через стену. Я приходил к Саше, когда он, приторавливаемый нянькой, лениво доедал красный вишневый кисель. Ни киселя, ни няньки у меня не было. Злая старуха всегда гнала меня, а Саша, мягкий, розовый, зевал и шел на послеобеденный отдых. Однажды взрослые сказали, что Саша заболел опасной болезнью и что приходиться к нему нельзя совсем. Приезжал врач с чемоданчиком и, выходя от соседей, качал головой: «Плохо, очень плохо». Мама Саши прижимала ладони к щекам и смотрела на меня невидящими глазами.

Мне было жаль Сашу. Я пробирался на кухню и слушал, как за дощатой перегородкой с коричневыми обоями раздавался надрывный кашель. Однажды я нарисовал на листе бумаги солнце, траву и себя: кружочек головы, палочка туловища, а от него четыре веточки — две руки и две ноги. Потом я прошел на кухню и, прислонясь к перегородке, прошептал:

— Саша, ты болеешь?

— ...олею,— донеслось до меня.

— На, держи. Для тебя нарисовал.— Я сунул в щель листок. С той стороны листок потянули.

— ...собо!..

Кашлять за стеной перестали. Кто-то смеялся. Ну, конечно, смеялся Саша. В темной комнате с занавешенным окном он понял по моему рисунку, что на улице солнце и теплая трава. И что мне очень хорошо гулять. Потом я услышал, как он позвал маму и потребовал карандаш. Скоро из щели высунулся белый уголок. Я побежал в свою комнату. В моем рисунке было изменение: рядом с мальчиком стоял другой: кружок

головы, палочка туловища, а от нее четыре веточки... Мальчик был изображен красным карандашом, и я понял: это Саша. Он тоже хочет греться на солнце и ходить босиком. Я соединил жирной чертой руки-веточки двух мальчиков — это значит: они держались крепко за руки — и сунул лист обратно. В тот вечер врач вышел от соседей веселый.

## ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ

У Саши был велосипед. У меня тоже, только похуже. Соседская девочка Марина иногда брала у нас покататься велосипед, и я сильно мучился, если она предпочитала велосипед моего друга.

Однажды я взял у Саши баночки с цветной тушью, которые стояли на столе его отца, и решил написать письмо. Это было первое письмо к девочке, и я писал его весь день. И каждую строчку я писал разным цветом. Сперва красным, потом синим, зеленым... Мне казалось, что это будет самым лучшим выражением моего чувства.

Два дня я не видел Марину, хотя старался проезжать все время у нее под окнами. Потом вышел ее старший брат и стал меня пристально рассматривать. И на его лице было ясно написано: «А я все знаю». Потом брат скрылся, и выбежала Марина. И в знак хорошего ко мне расположения попросила велосипед. Проехала один раз для вида и сказала, чертя носком маленького ботиночка по земле:

— Ну, вот что. Я тебе отвечу на письмо, если ты принесешь мне цветов.—И она топнула твердо своим маленьким ботиночком. — Цветы нужны сейчас!

Я ринулся в городской сад. Цвели одуванчики, и я собирал их, как рассыпанные солнечные зайчики. Скоро среди лужайки возвышалась целая золотая горка. И вдруг меня охватила первая мужская робость. Как же при всех поднесу ей это? Я накрыл цветы лопухами и пошел домой. Нужно было подумать. И решиться.

На следующий день Марина скакала с подругами на тротуаре, расчерченном мелом, и на меня взглянула очень строго.

— Где же твои цветы?

Я опять побежал в сад. Я уже знал, что буду делать. Нашел свою лужайку, откинул лопухи — и обмер: передо мною лежала куча вялой травы. Золотые искры цветов потухли навсегда. И с ними моя смешная любовь. А Марина? Марина каталась с тех пор только на Сашкином велосипеде.

## ПОРТРЕТ ОТЦА

Это случилось в войну. В нашей детдомовской библиотечке я случайно наткнулся на маленькую книжку. На обложке ее была фотография человека в меховой шапке, полушубке и с автоматом. Этот человек был очень похож на моего отца. Стащив книжку, я забрался в самый темный угол, оторвал обложку и засунул под рубаху. И долго там носил ее. Только иногда доставал, чтобы посмотреть. Конечно же, это должен быть мой отец! Третий год шла война, а я не получал от него даже писем. Я почти забыл его. И все равно я знал: это мой отец.

Я поделился открытием с Вовкой Акимцевым, самым сильным парнем в нашей спальне. Он вырвал портрет из моих рук и решил:

— Ерунда! Это не твой отец!

— Нет, мой!

— Пойдем спросим воспитательницу...

Ольга Петровна посмотрела на оторванную обложку и сказала:

— Нельзя портить книги. И вообще я не думаю, чтобы это был твой отец. Зачем его будут печатать в книжке? Ты сам подумай. Он же не писатель.

— Нет. Но это мой отец!

Володька Акимцев не отдал портрет. Он спрятал его и сказал, что я просто хочу похвастать, что все это блажь и он просто не отдаст мне обложку, чтобы я не занимался ерундой.

Но мне нужен был отец. Я перерыл всю библиотечку, отыскивая вторую такую книжку. А книжки не было. И я плакал по ночам.

Однажды Володька подошел ко мне и заявил, усмехаясь:

— Если это твой отец, ты должен за него ничего не жалеть. Ты не пожалеешь?

— Нет.

— Нож свой отдашь?

— Отдам.

— И компас?

— Отдам.

— А новый костюм поменяешь на старый?—И протянул измятую обложку. — Бери. Не нужно мне твоего костюма. Может, и вправду...

В глазах у Володьки были зависть и боль. Его родные жили в Новороссийске, занятом фашистами. И у него не было никаких фотографий.

## ДЖАФАР

Сторожем у нас в детдоме, когда я жил в Сибири, был старик Джафар. Хотя он и стригся наголо, голова у него была, как серебряный шар. Такой он был седой. Из щек и подбородка торчали толстые белые волосы, вроде как проволока на терке, которой Джафар скоблил пол. Наверное, он был очень стар: он работал медленно и плохо. Про него говорили, что он из чеченцев. И за то, что он плохо работал, взрослые его потихоньку ругали. Мы подражали взрослым, но действовали смелей и старались вредить ему. В теплый сентябрьский день я сидел на скамеечке. Рядом сидел Джафар. Он, почти не щурясь, глядел на солнце, подставляя теплу лицо, и серая кожа на скулах, похожая на старую мешковину, вздрагивала и тряслась. Он вдруг спросил, даже не взглянув на меня:

— Ты откуда родом, мальчик?

— Из Москвы.

— А-а... Я еще дальше. У нас сейчас ох как тепло! — Он помолчал и повторил: — Тепло-о...

У меня был рубль. Я очень берег его. Но мне совсем не было жалко рубля. Я добежал до угла и купил Джафару яблоко. Он долго разглядывал яблоко, поворачивая перед глазами. Мелко надкусил и забыл про меня.

Медленно покачиваясь, он беззвучно запел, и тусклые глаза его смотрели куда-то дальше деревянного заборчика, перед которым мы сидели.

Через месяц Джафар простудился, и его отвезли в больницу. А потом нам сказали, что он умер. И толстая наша заведующая, которая кормила детдомовскими обедами всех своих родственников, пошла опознать его, но скоро вернулась и объяснила, что умерших там много и она не нашла сторожа.

— Да какая разница,— добавила она,— его, как всех безродных, похоронят в общей могиле.

И ребята пораньше легли спать в нетопленной спальне. И тут же забыли о стороже. А я плакал, закрыв голову одеялом, чтобы не слышала дежурная няня. И заснул. И мне снился теплый-теплый Кавказ и снилось, что старик Джафар угощал меня яблоками.

## ФОТОГРАФИИ

Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.

— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет.

— Болеет...— повторяла девочка.

— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.

— Бьет...

— Вот это тетя. У нас неплохая тетя.

— Здесь?

— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А это я.

И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: «Людочка и я. Людочка и я...»

Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать из детдома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии.

— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка...

— А мама?

— Мама? Где же мама? Наверное, затерялась... Но я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя.

Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались пыльным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели фотографии.

— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто замечательная. А здесь Людочка и я...

— А где же папа?

— Папа? Сейчас посмотрим.

— Затерялся, да?

— Ага. Затерялся.

И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза:

— Насовсем затерялся?

Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву, к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:

— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению...

Мне зачитали ответ.

В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии.

- Вот Людочка. А вот я.
- А еще?
- Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь. И меня много. Ведь нас очень много, правда?

## «ШЕФЫ»

Все мы, ребята Кизлярского детдома, жили без родных много лет и совсем забыли, что такое семейный уют. И вдруг нас привели на станцию, объявили, что железнодорожники — наши шефы и они приглашают нас в гости. Разобрали нас по одному. Дядя Вася, толстый и веселый начальник, привел меня к себе домой. Жена охнула, противно вздыхая, долго расспрашивала о родных, но в конце принесла душистый борщ и сладкую печеную тыкву. А дядя Вася подмигнул и нацедил из бочонка красного вина. И себе и мне. Стало весело. Я расхаживал по комнатам, словно плывал в каком-то счастливом дыму, и мне совсем не хотелось уходить. В детдоме целую неделю не смолкали разговоры об этом дне. Ребята, переполненные необычными ощущениями «домашней жизни», ни о чем другом не могли говорить. А в школе с другой стороны крышки парты, где мною были вырезаны три самых заветных слова: **электричество — стихи — Лида**, — я дописал еще одно слово — **шефы**.

Больше всех хвалился белорус Вилька. Он попал в гости к самому начальнику станции, и тот велел приходить еще. Мне тоже хотелось рассказать хорошее про дядю Васю, и я заявил, что он «самый главный начальник угольного склада» и я даже могу показать, где он работает. Мне очень хотелось показать дядю Васю, и я повел ребят.

Дядя Вася оказался занят. Он хмуро посмотрел на ребят, а мне сказал:

— Не вовремя ты, мальчик... Ты приходи лучше в воскресенье, и домой.

Я пришел. И снова ел тыкву и расхаживал по комнатам. И снова тихое счастье не покидало меня. А жена дяди Васи в соседней комнате сказала:

— Странные они, эти дети. Неужели они не понимают, что все время ходить нельзя! Неудобно. Мы же не родственники какие, чтобы их кормить!

А дядя Вася ответил:

— А что я мог поделать! Вопрос о шефстве у нас на общем собрании решался. И вот придумали...

Я тихо брел по улицам. Чтобы никто не спрашивал, почему я пришел раньше, остаток дня я просидел в пустой школе. Последнее вырезанное слово я расковырял ножом. Его теперь никто не прочтет. Только осталась на черной крышке глубокая белая ранка.

## БУКВА «К»

У Славы Галкина не было ни отца, ни матери. Ему было девять лет, он жил в детдоме и учился в школе. Фамилия учительницы его была Гáлина. Всем ученикам родители давали с собой вкусные завтраки, а Славе никто не давал. И Слава иногда на уроках мечтал, что он и вовсе не Галкин, просто ошиблись где-то и поставили лишнюю букву. А фамилия у него такая же, как у его учительницы, и он Вячеслав Галин. Но фамилии ведь исправлять нельзя, и Слава только мечтал об этом и еще мечтал, что если бы все было именно так, то учительница оказалась бы его мамой и давала бы ему в школу свертки с завтраками. И Слава чуть-чуть недолюбливал букву, которая разбивала всю его мечту. И потихоньку пропускал ее. А в диктантах за ошибки ему ставили двойки. Однажды учительница очень рассердилась. Она сказала:

— Почему ты, Галкин, пропускаешь в словах букву? Никто не делает таких странных ошибок. Смотри, что ты написал: «Светило жарое солнце, и мы пошли упаться на речу». Это просто непонятно. Завтра перед уроком зайдешь ко мне.

И Слава пошел к учительнице. Та продиктовала ему диктант, прочла слова с пропущенной буквой «к». И рассердилась. А потом почему-то спросила о родителях. Велела заходить еще. Но главное, завернула ему в бумажку хороший завтрак.



Слава бежал в школу, не помня себя от радости. В перерыв он не ушел, как обычно делал, в коридор, а гордо достал свой завтрак, хотя совсем не хотел есть.

Когда учительница проверяла новый диктант, она задержалась на работе Славы. В диктанте не было ни единой ошибки. И все буквы «к» стояли на своих местах. Ошибка оказалась только в одном слове. Было подписано: «В. Галин».

Но учительница, наверное, не заметила этой ошибки и не исправила ее.

## ОБМАНУТЫЕ ПИСЬМА

В детдоме было три воспитательницы. И все они, хотя и не были молодые, оставались не замужем. Наверное, потому, что три года шла война. Правда, воспитательница Ольга Петровна переписывалась с отцом Бориса. Об этом знал весь детдом. Ребята немного завидовали Борису и говорили:

— Твой отец приедет с фронта и женится. Вот посмотришь! Сколько он ей писем написал, небось, побольше, чем тебе!

— Ну и пусть, а мне что...— говорил Борис, а про себя думал, что, может, это не так уж плохо, что Ольга Петровна добрая и красивая...

Когда в детдом приходила почта, Борис сразу различал письма отца. Красивые заграничные конверты, а буквы были высокие и напоминали восклицательные знаки. Только чаще эти красивые письма были не ему.

Ольга Петровна смотрела на него ласково и понимающе говорила:

— Приходи ко мне в гости, Боря. Чай будем пить. Не с сахарином, а с настоящим сахаром. Я тебе письма от папы прочитаю.

— А мне неинтересно, что он пишет...— говорил Борис, но в гости приходил.

К директору детдома приехал сын. И на третий день кто-то из ребят сообщил достоверно:

— А Ольга Петровна гуляла с директорским сыном!

— Врешь...— бледнея, сказал Борис.

— Вот и не вру. Он ее утром до детдома провожает. Целых два дня. Я вчера сзади шел, он ее обхватил вот так, а она смеялась...

Утром Борис сидел у входа и ждал. Вокруг стояли ребята. Самые нетерпеливые приносили новости:

— Вышли из дома. Он держит ее под руку.

— Идут к детдому, Ольга Петровна смеется.

— Повернули в боковой переулок.

— Он ее обнимает. Идут по переулку обратно.

— Опять обнимаются. И опять идут по переулку.

Ольга Петровна опоздала на два часа. Быстрая, счастливая, она пролетела по двору и даже не заметила, что никто из ребят не подбежал к ней, как это бывало раньше. Не обратила внимания, что первый день ей не оказалось писем. Ей было не до этого.

А красивые заграничные конверты шли и шли, и буквы уже были похожи на вопросительные знаки, словно кто-то не мог никак понять, что произошло. И никто не видел, как детская рука тихо забирала их из ящика и складывала нераспечатанной стопочкой под матрац.

## ЗВЕЗДЫ

Нас было в спальне одиннадцать человек. И у каждого из нас был на фронте отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирало. Но черные листки шли в другие спальни. И мы чуть-чуть радовались и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало за всю войну.

Мы узнали, что война окончилась. Это случилось в чистое майское утро, когда к голубому небу прилипали первые клейкие листочки. И кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно. И раздался непривычно громкий смех. И вдруг все мы, одиннадцать человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов.

В детдоме готовили вечер, и Витька Козырев разучивал песенку:

Окна светятся весь вечер,  
Как подснежники весной.  
Скоро мыждемся встречи  
С нашей армией родной.

Эту песню хотели петь и другие ребята, но Козырев сказал:

— Я отца ждал дольше, чем вы. Он ушел воевать еще с белофиннами...

И мы решили, что, конечно, Витька Козырев немного одиноличник, но у него хороший отец и на фотографии очень красиво снят с орденами. Поэтому пускай Витька поет.

Наступил тихий вечер. Заблестели через серую пыльцу звезды, и нам они казались звездами с солдатских пилоток — протяни лишь руку и потрогай пальцами... А что от них свет долго идет, так это просто вранье. Звезды были рядом, это мы хорошо знали в тот вечер. Появилась почтальонша, но мы уже не насторожились при ее приходе, а просто подошли к окну и спросили, кому письмо. Козыреву протянули листок. И вдруг в спальне замолчали. Но нам показалось, что кто-то закричал. Было непонятно и страшно.

«Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал смертью храбрых седьмого мая сорок пятого года в районе Берлина».

Нас было в спальне одиннадцать человек, и десять из нас молчали. Майская прохладная ночь дышала в окно. Светились далекие звезды. И было ясно, что свет от них шел очень долго. И мы захлопнули створки окон.

## ШУРКА

Шурка был почти взрослый. Он жил в нашем доме и умел делать все. Он всегда что-нибудь мастерил, и крупные веснушки у его переносицы были похожи на головки медных заклепок.

Иногда Шурка вытаскивал на двор старый деревянный фотоаппарат и приказывал мне: замри — и таин-

ственно закрывался в чулане. Потом приносил карточки и говорил мне сердито:

— Я тебя, друг, просил быть серьезным! А ты что? Расплылся, рот до ушей, вот и смазал мне все!

Но скоро Шурка женился, а потом его провожали в армию, и жена шла рядом и прижимала к груди ребенка.

Прошла война. И еще много лет. Однажды, когда я сидел на крыльце, из дому выскочил мальчик. Он волок за собой какой-то моторчик. Скоро он появился опять и притащил старый деревянный фотоаппарат. Я присмотрелся: мальчик как мальчик, только у переносицы нашлепано пяток крупных веснушек.

— Ты чей?

— Ничей. Я Шурка. С мамой к бабушке приехал в гости.

— А где отец?

— На фронте убили. Вы, дяденька, улыбайтесь, а я вас сниму. Только улыбайтесь и не разговаривайте.

Он заперся в чулане и проявлял снимки. Потом вышел и сказал мне сердито:

— Серьезные вы, дядя, вышли. Я же просил улыбаться, а вы... Вы совсем не умеете улыбаться.

И, снова повеселев, Шурка побежал с аппаратом за изгородь.

И все веснушки на его переносице были похожи на головки медных заклепок.

## ШАГИ ЗА СОБОЙ

В двенадцатом часу ночи я шел по почти пустынной улице Москвы. Где-то у пушкинского театра нагнал девочку лет десяти. Я даже не сразу понял, что передо мной слепая. Она шла неровными шагами по кромке тротуара. Столб она обошла, на мгновение застыв перед ним. Я обогнал слепую и оглянулся; прислушиваясь к моим шагам, она пошла вслед. У площади Пушкина я завернул за угол. Но захотелось еще раз

посмотреть, что будет делать слепая. Девочка остановилась на повороте и стала напряженно слушать, подняв голову. А может, она ждала, где раздадутся шаги людей? Никто не шел. В двух шагах проносились машины. Я возвратился.

— Вам куда?

Слепая как будто не удивилась:

— К Армянскому магазину, пожалуйста.

— А теперь?

— Теперь мне тут близко. Спасибо.

Она мгновение постояла и пошла, прислушиваясь к шагам случайного прохожего. Так окончилась эта встреча. Только я подумал после: а ведь вправду, мы часто забываем, что за нами остаются отзвуки наших шагов. И нужно всегда правильно идти, чтобы не обмануть других людей, которые доверились нашим шагам и идут вслед. Вот и все.



## Дубравка



Дубравка сидела на камне, обхватив мокрые колени руками. Смотрела в море.

Море напоминало громадную синюю чашу. Горизонт далеко-далеко; видны самые дальние корабли. Они словно поднимаются над водой и медленно тают в про-

зрачном воздухе.

А иногда море становится выпуклым, похожим на гряду черных холмов. Оно закрывает половину неба. Чайки тогда вроде брызг. Чайки подлетают к самому солнцу и пропадают, словно испаряются, коснувшись его.

Дубравка пела песню. Она пела ее то во весь голос, то тихо-тихо, едва слышно. Песня была без слов. Про птичьи следы на сыром песке, которые смыло волной. Про букашку, что сидит в водяном пузыре,

оцепенев от ничтожного страха. О запахе, прилетающем с гор после дождика.

Пахнут розы. Пахнут прибой. Пахнут горы. Наверно, и небо имеет свой запах.

Дубравка пела о море, о зеленых волнах. Они бегут одна за другой, бегут, чтобы разбиться о камни.

Дубравка пела о людях. Люди встречаются и расходятся. К счастью, уходят не насовсем. Хорошие люди живут в памяти, даже говорят иногда, словно идут с тобой рядом. Об этих разговорах тоже поется в Дубравкиной песне. Их нельзя передать просто. Они покажутся непонятными, может быть, даже смешными.

Дубравка пела о разбитой раковине, о странных мальчишках...

Песня ее очень длинная. Может быть, не на один день. Может быть, не на один год. Может быть, на всю жизнь.

Камень стоял в море. Он давно оторвался от берега, сжился с волнами, с их беспокойным характером и, мокрый от брызг, сам блестел, как волна.

Дубравка приплывала сюда, взбиралась на эту одинокую скалу, когда ей нужно было разобраться в своих тревогах, сомнениях, обидах. Камень был ее другом.

На берегу у самой воды бродили мальчишки. Они мелко шкродничали на пляже. Зевали от жары и безделья.

— Смотрите, какое облако! Это волна хлестнула до самого неба и оставила там свою гриву.

— Дура,— скажут они и добавят:— Поди поветришь.

Мальчишки — враги.

Еще недавно Дубравка гоняла с мальчишками обшарпанный мячик, ходила в горы за кизилом и дикой сливой. Лазила с ними на заборы открытых кинотеатров, чтобы бесплатно посмотреть новый фильм. Потом ей стало скучно.

— Вот тебе рыбий хвост, будешь русалкой,— говорили мальчишки.

— Бессовестные обормоты,— говорила Дубравка. А почему бессовестные, и сама не могла понять.

Она смутно догадывалась, что теряет какую-то частицу самой себя. Раньше все было просто. Теперь простота ушла. Любопытно и чуточку страшно.

В начале лета Дубравка записалась в драматический кружок старших школьников. Ее не принимали категорически. Староста сказал:

— Разве ты сможешь осмыслить высокую философию Гамлета? Ты еще недоразвитая.

Руководитель кружка, старый, седой человек с очень чистыми, сухими руками, усмехнулся.

— «Гамлета» мы ставить не будем. Его смогли одолеть только два великих артиста: Эдмунд Кин и Павел Мочалов. Не нужно смешить людей.

Это он сказал старшим школьникам, чтобы сбить с них спесь и поставить на место. Старшеклассникам всегда кажется, что они умнее всех. Но они слишком обидчивы и не способны к сплочению. Они возмущались, доказывали, что Гамлет для них прост, как мычание. Перессорились между собой.

И на следующий день согласились ставить «Снежную королеву».

Роль Маленькой разбойницы досталась Дубравке.

Потом все начали влюбляться. Мальчишки писали девчонкам записки. Девчонки смотрели друг на друга злыми глазами. Они жеманно щурились, поводили плечами и неестественно хохотали по самому пустячному поводу.

Мальчишки вели себя шумно. Авторитетно сплетничали. О понятном старались говорить непонятно. Много восклицали и очень редко утверждали что-либо. Уходя с репетиций, они выжимали стойки на перилах мостов, на гипсовых вазонах с настурциями, толкали девчонок в цветочные клумбы. Некоторые закуривали сигареты.

Дубравку они заставляли передавать записки и надменно щелкали по затылку.

Сначала Дубравка вела себя смиренно, терпела из любопытства. Потом начала грубить.

Девчонки говорили, забирая у нее письма:

— Опять послание. Надоело уже... Ты не разворачивала по дороге?

— Я такое барахло не читаю,— отвечала Дубравка.



Потом она укусила Снежную королеву за палец, когда та погладила ее по щеке.

Потом она взяла тетрадь, переписала в нее аккуратным почерком письмо Татьяны к Онегину и послала в запечатанном конверте самому красивому и самому популярному мальчишке — Ворону Карлу.

На следующий день мальчишки, кто силой, кто хитростью, заставляли девчонок писать всякие фразы — сличали их почерки с письмом. Только у одной девчонки они не проверили почерк — у Дубравки.

Дубравка сидела на стуле перед сценой. Ей хотелось забросать всех этих взрослых мальчишек камнями. Ей хотелось, чтобы взрослые девчонки натыкались на стулья, падали и вывихивали ноги. Она сидела, стиснув пальцы, и в глазах ее было презрение, глубокое, как море у ее камня.

К Дубравке подошел старый артист. Он положил ей на голову сухую теплую руку. Кивнул на сцену.

— Старшие школьники — бездарный возраст, — сказал он. — Им невдомек, что самая прелестная сказка называется «Золушкой». — Он ласково шевелил Дубравкины волосы. — Ты способная девочка. В тебе есть искренность. Кстати, почему тебя называли Дубравкой?

— Не знаю...

— Красивое имя... Ты сможешь стать хорошей актрисой. Хочешь?

— Не знаю...

— Самая мудрая сказка на свете называется «Голый король». А искусство — это маленький мальчик, который сказал: «А король-то голый!»... Значит, не знаешь, почему тебя называли Дубравкой?

— Просто называли — и все.

Артист снял свою руку с ее головы и направился к сцене, очень прямой, очень легкий, словно под одеждой у него были натянуты струны и они тихо звенели, когда он шагал.

После репетиции Дубравка шла позади ребят. Мальчишки еще не уgomонились — допытывали, кто отважился послать такое письмо Ворону Карлу. Девчонки отвечали уклончиво, будто знали, да не хотели сказать.

Дубравка забежала вперед, забралась на решетчатый забор санатория. Крикнула с высоты:

— Это письмо написала я!

Снежная королева расхохоталась деревянным смехом.

— Врет,— сказала она.

Дубравка перелезла через забор и еще раз крикнула:

— Глупость вам к лицу! Всем, всем! Вы самый бездарный возраст!

Разбойники и тролли, потеряв свое степенство, полезли на забор. Но у Дубравки были быстрые ноги. Она знала отлично этот сад, принадлежавший санаторию гражданских летчиков.

Потом она приплыла к своему камню. Был уже вечер.

Она думала, почему так красива природа. И днем красива и ночью. И в бурю и в штиль. Деревья под солнцем и под дождем. Деревья, поломанные ветром. Белые облака, серые облака, тяжелые тучи. Молнии. Горы, которые тяжело гудят в непогоду. А люди красивы, только когда улыбаются, думают и поют песни. Люди красивы, когда работают. А еще знала Дубравка, что особенно красивыми становятся люди, когда совершают подвиг. Но этого ей не приходилось увидеть еще ни разу.

Волны шли с моря, как упрямые, беспокойные мысли. Они требовали внимания и сосредоточенности. Они будто хотели сообщить людям тайну, без которой трудно или даже совсем невозможно прожить на свете.

Волны следили за ходом времени. Они считали: «Р-ррраз!.. Два-ааа... Р-ррраз!.. Два-ааа»,— без конца, как маятник, непреклонный и вечный.

А на берегу лежали мальчишки— Дубравкины сверстники. Она изменила им, уйдя к старшим школьникам. Мальчишкам было досадно. В них жило чувство неудовлетворенной мести и мужского презрения. На берегу лежали враги.

Когда Дубравка вышла на берег, они окружили ее кольцом.

— Эй, ты, артистка из погорелого театра!

По лестнице на пляж спускались старшие школьники из драмкружка.

— Поддайте ей как следует,— сказали они и прошли мимо.

Дубравка опустилась на теплую гальку.

Один из мальчишек, толстый, с большими кулаками, по прозвищу Утюг, толкнул ее коленом в плечо.

— Поднимайся давай!.. Поговорить нужно.

Дубравка вскочила. Ударила Утюга головой в подбородок. Утюг опрокинулся навзничь. Перепрыгнув через него, Дубравка побежала к лестнице.

Мальчишки бежали за ней, как уличные собаки за кошкой.

У морского вокзала беспокойно кружились люди. Они только что сошли с парохода. Расспрашивали всех прохожих, как проехать к санаториям и домам отдыха.

Дубравка подбежала к молодой женщине с желтым кожаным чемоданом.

— Тетенька, можно, я постою возле вас?

— Спасибо за честь,— сказала женщина.— Мне очень некогда.— Потом она увидела мальчишек.

Мальчишки смотрели на Дубравку хищными глазами и откровенно потирали кулаки.

— Трудно тебе живется, я вижу. Ты не бойся, я тебя в обиду не дам.

— Я не боюсь. Просто их больше,— сказала Дубравка.— А вам в какой дом отдыха?

— Мне ни в какой. Я сама по себе.

Свет фонарей падал сверху на волосы женщины, зажигая в них искры. Ее глаза мягко мерцали в темноте.

«Ух, какая красивая!»— удивилась Дубравка. Она осторожно взяла женщину за руку.

— Вы комнату снимать будете? Пойдемте в наш дом. Мы живем в хорошем месте. Вам понравится, я знаю. Там есть одна свободная комната.

Всю дорогу Дубравка бежала боком. Она смотрела на женщину. Горло у нее пересохло от волнения. Дубравка глотала слюну и все боялась, что женщина сейчас повернется и уйдет в другую сторону, и след ее затеряется в узких зеленых улочках.

«Разве бывают такие красивые?»— думала Дубравка. Она снова тронула женщину за руку. Спросила: — Скажите, пожалуйста, как вас зовут?

Так они познакомились: девчонка Дубравка и взрослый человек Валентина Григорьевна.

Дом, где жила Дубравка, имел устрашающе веселый вид. С одной стороны он был похож на кособокую мечеть, с другой — на греческий храм. Были здесь мансарды, мавританские галереи, крепостные башни, украшенные ржавыми флюгерами. Каменные и деревянные лестницы выползали из дома самым неожиданным образом. Одна из них, железная, даже висела в воздухе, как подвесной мост.

Дом покорял курортников своей безудержной фантастичностью. Вокруг него тесно росли кусты и деревья. Цветы пестрели на стенах, как заплаты на штанах каменщика. Это были южные растения могучих расцветок и причудливых форм.

Валентина Григорьевна поселилась во втором этаже, в крошечной комнатухе, получив в свое распоряжение железную койку с сеткой, тумбочку, а также вид из окна на крыши, горы и море.

В небе тархтел рейсовый вертолет, летающий через перевал в душный областной центр. Ночь стекла с гор, наполняя улицы запахом хвои и горького миндаля.

Внизу, в такой же крошечной комнатухе, на такой же железной кровати, лежала Дубравка. Она думала о Валентине Григорьевне. Таких красивых женщин ей еще не приходилось встречать в своей жизни ни разу. Может быть, это сумерки виноваты? Может быть, днем Валентина Григорьевна станет обычной? Вечером люди всегда красивее. Вечером не видны морщины.

Дубравке было душно под простыней. Она встала с постели и, как была в трусиках и майке, полезла на улицу через открытое окно.

— Сломаешь ты себе когда-нибудь голову!— сонно проворчала Дубравкина бабушка.— Куда тебя все время носит?

— Я пойду спать в сад на скамейку,— шепотом ответила Дубравка.— Разве это комната? Здесь кошка и та задохнется.

— Иди. В твоём возрасте скамейки не кажутся жесткими,— сказала бабушка.

Так же, как и все постоянные обитатели дома, бабушка сдавала комнату на лето курортникам. Большой нужды у бабушки в этом не было, зато была большая привычка. Бабушка работала сестрой-хозяйкой в санатории металлургов. Она уходила на целые сутки, предоставляя Дубравку самой себе.

Если бы спросили Дубравку, хорошая ли у нее бабушка, она бы ответила:

— Лучше и не бывает.

Дубравке не спалось. Она смотрела на окно Валентины Григорьевны, все в серебристых лунных потоках. Скамейка качалась на гнилых столбиках-ножках. Дубравка ворочалась с боку на бок. Потом встала и, крадучись, пошла к санаторию учителей.

В большом доме с каменными колоннами, с лестницами и балюстрадами из желтого туфа свет был погашен. В окнах колыхались шелковые занавески. Было похоже, что все отдыхающие сидят и курят назло врачам и белый дымок клубится возле каждого растворенного настезь окна.

В вестибюле дремала вахтерша, загородив лицо курортной газетой.

Вдоль песчаных дорожек, вокруг фонтана, который шуршал мягкими струями, жили цветы. Дневные цветы спали.

Ночные цветы бодрствовали. Черные бабочки щекотали их хоботками и уносили на своих крыльях комочки пыльцы.

Дубравка посидела на каменной кладке забора. Потом тихо соскользнула в сад и, прикрытая кипарисовой тенью, побежала к клумбе с гвоздикой и гладиолусами.

Гладиолусы — очень изящные цветы. Ночью они напоминают балерин. Они будто поднялись на носочки и всплеснули руками.

Дубравка любила гвоздику. Еще давно бабушка сказала ей, что гвоздика — цветок революции.

Дубравка осторожно срывала гвоздику с клумбы, стебель за стеблем. На заборе она перебрала цветы и, спрыгнув на тротуар, пошла к своему дому.

Бензиновый запах осел на асфальт жирным слоем. В гаражах остывали автобусы. Прогулочные катера терлись о причалы белыми боками. В стеклах витрин отражались холодные звезды. Ночь подошла к своей грани. Она еще не начала таять, но уже где-то за горизонтом вызревал первый луч утра.

Во дворе Дубравка столкнулась с женщиной. Он снимал комнату в Дубравкином доме. У него было двое ребят-близнецов. От женщины пахло рыбой и табаком. Звали его Петр Петрович.

Дубравка спрятала цветы за спину.

— Я вижу насквозь,— сказал мужчина,— ты от меня ничего не скроешь.

— И не собираюсь...— Дубравка встряхнула букет.— Я нарвала их в санатории учителей.

— Зря,— сказал мужчина.— В городском саду гвоздика крупнее.

Дубравка не ответила. Она поднялась на висячую лестницу. С лестницы на карниз. Мужчина смотрел на нее снизу и попыхивал папиросой.

Ну и пусть смотрит. Дубравка дошла до водосточной трубы и полезла по ней к башенке с флюгером. Еще по одному карнизу она дошла до открытого окна Валентины Григорьевны. Посидела на подоконнике, свесив ноги, посмотрела, как мигает красноватый огонь на маяке. Потом влезла в комнату, нащупала на тумбочке стакан, налила в него воды из кувшина и поставила в воду цветы. Обрато она ушла тем же путем.

Дубравку разбудило солнце.

На мощенной плитняком дорожке двое малышей в красных трусиках с лямками насаживали на прутья апельсиновые корки. Малыши били прутьями по подошвам сандалий. Апельсиновые корки летели, как желтые ракеты, и мягко шлепались возле коротконогой белой собачонки. У собаки были страшные усы, лохматые брови, борода клином. Только глаза у нее были добрыми и чуть-чуть грустными. Она пыталась

ловить апельсиновые корки зубами, даже грызла их на потеху малышам и морщилась. Потом она поднялась из уютной солнечной лужи под кустом, издала несколько звуков, похожих на кашель, и побежала на середину солнечной реки, которая называлась здесь улицей Грибоедова.

Собачонку звали Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий, или попросту Вилька. Была она ничья и, возможно, поэтому никогда не голодала. Она зарабатывала хлеб собственной головой, кувыркаясь через нее; собственными лапами, так как умела ходить и на задних и на передних в отдельности. Она знала, что на человека можно тявкнуть не более трех раз подряд, иначе тебя сочтут грубиянкой. И еще она знала: показывать зубы в улыбке гораздо прибыльнее, чем скалить их просто так.

Малышей в красных трусиках звали Сережка и Наташка. Брат и сестра. Были они двойняшками-близнецами. Когда они ревели, то становились друг к другу спиной, чтобы рев слышался со всех сторон. Дрались плечом к плечу. Засыпали вместе и просыпались одновременно. По очереди они только задавали вопросы.

Малыши подошли к Дубравке.

— Ты почему на скамейке спала?— спросила Наташка.

Сережке этот вопрос был неинтересен. Он, как мужчина, полагал, что человек может спать, где ему заблагорассудится. Он спросил:

— Скажи, кто главнее: колдунья, ведьма или баба-яга?

— Все главные,— ответила Дубравка.— Они различаются только по возрасту. Колдунья— это молодая девушка. Ведьма— женщина средних лет. Баба-яга— старуха.

— А есть колдовские дети?— тут же спросила Наташка.

Дубравка давно уже знала, что единственное спасение от вопросов— вопросы.

— Валентина Григорьевна не выходила?— спросила она.

Брат и сестра переглянулись. Сказали хором:

— Какая?

— Очень красивая. Она комнату в той башне снимает.

Дубравкина бабушка высунулась в окно и позвала Дубравку завтракать.

— Как только она выйдет,— наказала малышам Дубравка,— кричите мне.

Сережка и Наташка важно кивнули.

Не успела Дубравка выпить кружку молока, как во дворе раздался крик:

— Дубравка, она вышла!

Дубравка выглянула в окно.

Посреди двора стояла Валентина Григорьевна. В руке она держала белую пляжную сумку. Платье на ней было тоже белое и узкое, в крупных пунцовых цветах.

Дубравка поперхнулась молоком. Днем Валентина Григорьевна оказалась еще красивее.

Бабушка посмотрела через Дубравкину голову во двор.

— Радуга,— сказала она.— Дай бог, чтоб не мыльный пузырь.

«Радуга,— подумала Дубравка.— Почему нет такого женского имени?» И спросила вдруг:

— Это ты меня Дубравкой назвала? Почему?

— Так,— ответила бабушка.

Во дворе перед Валентиной Григорьевной, взявшись за руки, стояли Сережка и Наташка. Они смотрели на нее и деловито кричали:

— Дубравка, она вышла!

Потом Наташка спросила:

— Почему вы такая красивая?

— Потому что я мою уши,— сказала Валентина Григорьевна. Она хотела еще что-то сказать, но тут из дома вышел мужчина с такими же темными глазами, как у Сережки и Наташки. Он взял малышей за руки.

— Идемте немедленно мыть уши. Я тоже буду мыть душистым мылом.

— Вам это вряд ли поможет,— насмешливо сказала Валентина Григорьевна.

— Спасибо, я буду мыть уши без мыла...— Мужчина улыбнулся и повел ребят к набережной.



Валентина Григорьевна смотрела им вслед, покусывала губы, потом, спохватившись, крикнула:

— Пожалуйста!— И принялась разглядывать дом.

— Нравится?— спросил ее кто-то сверху.

Она обернулась, подняла голову. На ступеньке ви-сячей лестницы сидела Дубравка.

— Здравствуйте!— сказала Дубравка.

Встав на цыпочки, Валентина Григорьевна пожала Дубравкину руку, крепко, как хорошему, верному товарищу. Потом спросила, махнув сумкой в сторону набережной:

— Кто этот человек?

— Это Сережкин и Наташкин отец. Петр Петрович. Он всегда дразнится. У него не поймешь, когда он говорит серьезно. Он прозвал наш дом Могушая фата-моргана.

— Почему?..

— Ему так хочется. Он чудак.

Валентина Григорьевна еще раз оглядела дом.

— Он, и правда, похож на фата-моргану.

— Может быть,— согласилась Дубравка,— только я не знаю, что это такое.

— Ничего,— сказала Валентина Григорьевна,— просто забавный мираж.

Мальчишки лежали на пляже вверх лицом. Они изо всех сил надували животы. Считалось, что к надутому животу легче пристает загар. Лежать с надутыми животами тяжело. Скоро мальчишки устали, повернулись к солнцу спинами.

— Попадись мне эта Дубравка!— сказал Утюг ни с того ни с сего.

Его друзья не шелохнулись. Они лежали, словно пришитые к земле солнечными нитками. Им было лень говорить.

Утюг был местный. Прозвище он получил за то, что не умел плавать, как это ни странно.

— Меня вода не держит,— объяснял он.— У меня повышенная плотность организма.

Утюг верховодил на берегу. Он бросал на спины загоральщиков сухой лед, выпрошенный у продавцов

мороженого. Ловил девчонок в веревочные силки, закатывал им в волосы колючки. Но больше всего он любил посещать салон, где соревновались кондитеры. В этом салоне давали отведать любое пирожное, какое хочешь, душистые кексы и сливочное печенье. Нужно было только заплатить за билет, выслушать лекцию о белках, витаминах и углеводах. Пробовать можно бесплатно. Правда, очень скоро Утюга перестали туда пускать.

У него оказался слишком большой аппетит и очень маленькая совесть.

Утюга часто били. Но вчерашний Дубравкин удар Утюг считал оскорблением.

— Пусть только появится!— бормотал он.— Что лучше: леща ей отвесить или макарон отпустить?

— И того и другого,— предложил кто-то из ребят равнодушным голосом.— Чем больше, тем лучше.

— Ее сначала поймать нужно.

— Вон она идет!— крикнул Утюг, вскочив на ноги.

Мальчишки поднялись, стряхнули налипшую на животы гальку. Они сумрачно глядели на Дубравку. А та даже не повернула головы в их сторону.

Дубравка шла по пляжу с Валентиной Григорьевной. Это было очень приятно и необычно. Головы загоральщиков поворачивались им вслед. Взгляды были всякие: восхищенные, удивленные, даже завистливые и злые. Не было равнодушных взглядов. Разогретые солнцем люди, обычно лениво уступающие дорогу, вежливо подвигались. Говорили «пожалуйста»— слово, которое не часто услышишь в магазинах, автобусах и на общественных пляжах.

Валентина Григорьевна и Дубравка выбрали место почти у самой воды. К их ногам подлетел волейбольный мяч. Какие-то загорелые парни прибежали за ним. Они разучились играть в волейбол и долго не могли подхватить мяч в руки. Они бы возились с мячом полчаса, улыбаясь и бормоча извинения, но Валентина Григорьевна сильным ударом отбросила злополучный мяч далеко за спину.

Потом по мелкой воде, громко хохоча и брызгаясь, прошли старшие школьницы из драмкружка. Они украдкой посматривали на Валентину Григорьевну.

— Дубравка, можно тебя на минутку? — сказала Снежная королева, грациозно изогнув спину.

— Что? — сказала Дубравка.

— Почему ты не ходишь в кружок? Ведь ты так хорошо играла, — ласково спросила Снежная королева, глядя через Дубравкину голову.

«Потому что вы злые кобылы, — хотела сказать Дубравка, — у вас только мальчишки на уме», — но промолчала.

— Кто эта женщина? — зашептали девчонки.

— Артистка из Ленинграда, — сказала Дубравка. — Народная артистка республики. Знаменитая.

Девчонки сдержанно загалдели:

— Я, говорила!

— Нет, это я говорила!

И только Снежная королева, не в силах совладать с ревностью, пожала плечами.

— Для народной артистки она недостаточно интересная. Серые глаза, подумаешь! Черные кинематографичнее. И волосы...

— Нет, красивая! — возразила Дубравка. — Даже очень красивая, это всякий скажет.

— Красивая, — подтвердили остальные.

Дубравка фыркнула надменно и, выгнув спину, как это делала Снежная королева, подошла к Валентине Григорьевне.

— Жабы, — сказала она. — Лицемерки...

Потом мимо них прошли мальчишки.

Утюг будто ненароком споткнулся и упал. Поднимаясь, он швырнул из-под ноги целый фонтан мелких камушков.

— Ладно, Утюг, — сказала Дубравка. — Запомни. Валентина Григорьевна засмеялась.

— Смешная ты, Дубравка, — сказала она. — Ты, наверное, с целым светом воюешь.

— Хороших людей я не трогаю. А Утюг пусть запомнит.

Когда мальчишечьи головы круглыми поплатками заскакали на волнах, Дубравка скользнула в воду и поплыла вслед за ними.

Утюг порядочно отстал от приятелей. Он плыл, крепко вцепившись в надувной круг. Что-то цепкое об-

вило его ноги и с силой дернуло вниз. Страх — плохой товарищ. Утюг выпустил резиновый поплавок, заколотил руками по воде и тотчас окунулся с макушкой, блестяще оправдав свое прозвище.

Ноги его освободились.

Утюг вынырнул, хватил ртом воздух и увидел прямо перед собой Дубравку. Она преспокойно лежала на его круге.

— Тони,— сказала она.

Утюг покорно утонул.

Через секунду он снова вынырнул на поверхность.

— Отдай круг!

— Бери,— сказала Дубравка и оттолкнула круг от себя.

— Ап...— сказал Утюг.— Ап...— Волна забила ему рот мягкой соленой пробкой. Он бултыхался, не надеясь на помощь Дубравки и стыдясь крикнуть в ее присутствии. А она плавала рядом. И круг тоже плавал рядом.

Утюг тонул. Глаза его стали желтыми, выпученными, как большие янтарные бусины.

— Ладно,— наконец сказала Дубравка.— На сегодня хватит.— Она подтолкнула круг к Утюгу и, нырнув, скрылась в волнах.

Утюг выбрался на берег жалкий и обессиленный. Он уселся возле Валентины Григорьевны. Долго кашлял, поджимал живот и фыркал, выдувая воду.

— Тяжело?— насмешливо спросила Валентина Григорьевна.

— Эх,— хрипло сказал Утюг,— чертово море!.. Чертова Дубравка, плавает, как акула!..

А Дубравка топила уже другого мальчишку. Она плавала лучше всех на этом берегу. В море невозможно было поймать ее.

— Пей нарзан. Хлебай! — говорила она, влезая на шею своей жертве.— В следующий раз не будете меня задирать.

С этого дня началась громкая слава Дубравки. Мальчишки мстили ей на берегу всеми средствами, пускались на недозволенные приемы. Но Дубравку

не так легко было застать врасплох. Она все время ходила под надежной защитой Валентины Григорьевны.

Дубравка топила мальчишек в море одного за другим. Потом она уплывала на свой камень, садилась там, обхватив мокрые колени, и устало смотрела в море.

Волны бухали тяжело и требовательно. Отступая от берега, они издавали такой звук, словно кто-то громадный всасывал сквозь зубы воздух. Волны поднимали гальку со дна. Круглые камни бежали за морем и грохотали. Казалось, проносятся мимо скорые поезда-экспрессы. Один за другим, один за другим. Куда они мчатся, в какую даль? К каким берегам, к каким океанам?..

Желтые пятна на воде сталкиваются, дробятся на сотни пронзительных вспышек. Черные мелкие крабы сидят в трещинах скалы, грызут слюдяные чешуйки. Крабы боятся всего, даже птичьих теней.

Отдохнув, Дубравка торопилась обратно на берег, к женщине с большими серыми глазами. В этой женщине был какой-то другой мир, еще скрытый от Дубравки. Она даже не пыталась в нем разобраться. Но он тянул ее сильнее, чем море, горы, сильнее, чем всякие яркие краски земли.

Иногда вместе с Дубравкой приплывала к камню Валентина Григорьевна. Дубравка показала ей раковину. Раковина лежала глубоко на дне, и никто не мог до нее донырнуть. Валентина Григорьевна попробовала это сделать. Она вылезла из воды бледная и долго не могла отдышаться. И долго у нее плыли круги перед глазами, завиваясь спиралями, как известковое тело раковины.

Валентина Григорьевна не мешала Дубравке воевать с мальчишками. Только просила:

— Не трогай, пожалуйста, Утюга в воде. Он и так наказан.— И спрашивала:— Из-за чего, собственно, разгорелась война?

Дубравка отвечала:

— Не знаю... Просто они все уроды. Противно на них смотреть.

Валентина Григорьевна смеялась.

Однажды вечером к Дубравкиному дому пришла делегация — драмкружок старших школьников вместе со своим руководителем.

Девчонки шли впереди. Они волновались, то и дело поправляли складки на юбках, неестественно приседали, поводили глазами в разные стороны. Мальчишки подобрали свои и без того поджарые животы. Никто из них не совал руки в карманы. Поэтому руки у них казались лишними. Старый руководитель то и дело покашливал. Он был в белом пиджаке. Лицо его было бледным и взволнованным.

Сережка и Наташка играли во дворе в камушки. Они первыми увидели нарядную делегацию. Первыми успели задать вопрос:

— Вы к кому?

— Мы хотим видеть народную артистку республики,—пересохшими голосами сказали девчонки.

Сережка и Наташка переглянулись.

— Какую?

— Такую...— Девчонки замялись. Потом одна из них, с голубым платочком на голове, в спектакле она играла Ворону Клару, выступила вперед.

— Артистка такая... Волосы у нее каштановые. Пышные. Глаза серые. Большие, большие...

— Ага,—кивнули Сережка и Наташка. Повернулись к делегации затылками, запрокинули головы и дружно закричали:— Валентина Григорьевна!

Валентина Григорьевна выглянула из окна.

— К вам вон сколько людей!

Валентина Григорьевна сошла вниз и с растерянным любопытством спросила:

— Вы действительно ко мне?

— Действительно,—ответила за всех девчонка с голубым платочком на голове.

Ребята, стоявшие в задних рядах, приподнимались на цыпочки, чтобы лучше видеть артистку. Руководитель застенчиво улыбался.

— Мы пришли пригласить вас на генеральную репетицию нашего драмкружка,—разрумянившись от собственной смелости, заговорила Ворона Клара.—Вы, как прославленная артистка, окажете нам честь. Мы будем очень рады. Мы все вас просим.

Валентина Григорьевна как-то жалобно улыбнулась:

— Но кто вам сказал, что я артистка?

— Мы знаем. Не стесняйтесь!— радостно закричал весь игровой состав «Снежной королевы».

— Нет, я не могу... Это — недоразумение...

Видя, что дело принимает неожиданный оборот, старый артист поспешил к ребятам на помощь. Он с достоинством поклонился.

— Дорогой коллега,— сказал он.— Я двадцать лет назад покинул театр. Сейчас многое изменилось. У вас могут быть личные мотивы скрывать свое имя. Но просьба детей всегда была святой для артиста. Даже Василий Иванович Качалов, с которым я имел удовольствие работать на одной сцене...

— Это — недоразумение,— перебила его Валентина Григорьевна.— Никакая я не артистка. Я с удовольствием пойду к вам на репетицию. Но, ей-богу, я не имею никакого отношения к театру... Я просто инженер. Специалист по набивным тканям.— Она споткнулась на слове «специалист», посмотрела на артиста серыми испуганными глазами и добавила:— Я... Я могу показать документы... Извините меня.

— Извините ее,— вмешались Сережка и Наташка.— Она больше не будет.

Стало тихо.

Старшие школьники, казалось, перестали дышать. Но вот тишина сменилась насмешливым пофыркиванием мальчишек и возмущенным перешептыванием девочек.

Старый артист замигал от волнения и, театрально приложив руки к груди, воскликнул:

— Простите, сударыня!

Потом он деланно засмеялся, стараясь придать недоразумению веселый, непринужденный оттенок. Старшие школьники его не поддержали. Они были уязвлены в самых высоких своих чувствах.

Валентина Григорьевна сухо поклонилась и поспешно ушла к себе в комнату.

Снежная королева надменно вскинула брови.

— Я говорила: для актрисы она недостаточна интересна.

— По-моему, для актрисы она слишком интересна,— возразил ей Ворон Карл.— Это даже лучше; что она не актриса.

Старый руководитель смотрел на ступеньки лестницы, по которым ушла в свою комнату Валентина Григорьевна.

— Нет границ для прекрасного,— тихо сказал он. Ворон Карл почесал затылок и вдруг засмеялся громко.

— Стоило унижаться!— фыркнул кто-то из разбойников.

— И все-таки она красивая,— топнула ногой Ворона Клара.

Старшие школьники сердито смотрели друг на друга. Наконец кто-то предложил пойти «искупнуться». Кто-то принялся надувать волейбольный мяч. Кто-то принялся собирать деньги на билеты в кино.

— Попадись мне эта Дубравка!— сказала Снежная королева.

— А я вот.

Дубравка сидела на подвесной лестнице. Ее заслоняли светлые листья алычи.

— Обманули дураков,— сказала она и добавила, посмотрев на старого артиста:— Это к вам не относится.

— Спасибо,— поклонился артист и зашагал от дома в сторону набережной.

— Ну ты и дрянь!— крикнула Снежная королева. Один из мальчишек кинул в Дубравку щепкой. Ворон Карл опять засмеялся.

— Пойдемте,— сказал он.— Ну что она вам плохого сделала?

— Ничего,— согласились мальчишки. А девчонки еще долго оборачивались и смотрели на Дубравку, щуря глаза, одни от злости, другие от недоумения.

Дубравке было грустно. Она долго смотрела в оконное стекло. Отражение в стекле немножко двойлось. Оно было похоже на старую засвеченную фотографию. Дубравка навивала на палец короткие жесткие волосы и думала: «Будь у меня такие же волосы, как у Валентины Григорьевны, ни один мальчишка не посмел бы бросить в меня щепкой».



Отражение колыхнулось. Это раму качнуло ветром. Но Дубравка успела заметить, как за ее головой во дворе появилась Валентина Григорьевна.

Дубравка повернула голову.

Валентина Григорьевна села на скамейку возле кустов. В руках она держала книгу, но не читала ее, думала о чем-то.

Дубравка хотела подбежать к ней. Но тут из-за кустов вышел руководитель драмкружка.

«Извиниться хочет»,— подумала Дубравка.

Старый артист опустился перед Валентиной Григорьевной на колени и заговорил, то взмахивая рукой, то прижимая ее к груди.

Дубравка услышала слова:

— Я потрясен. Это — наваждение... Я словно воскрес, увидев сегодня чудо. Вы — чудо!..

Артист порывисто приподнялся, и Дубравке показалось, что он весь закрипел, как старый, разохшийся стул.

— Эх...— сказал кто-то совсем рядом. Дубравка посмотрела вниз. Под висячей лестницей, прислонившись к стволу алычи, стоял отец Сережки и Наташки.

— Красиво,— прошептал он.— Смотри, Дубравка, слушай. Сейчас вступит оркестр.

Валентина Григорьевна сидела растерянная и смущенная. Артист говорил что-то. Размахивал руками. Вскидывал резким движением легкие волосы.

Дубравка сунула в рот два пальца. Свистнула что есть мочи, резко, как кнутом.

— Bravo! — сказал отец Сережки и Наташки.

Дубравка спрыгнула с лестницы. Независимо прошла по двору. Обернувшись у калитки, она увидела, как к Валентине Григорьевне и оторопевшему руководителю драмкружка подошел Петр Петрович.

Он сказал:

— Не нужно мыть уши душистым мылом...

— Да,— сказал старик.— Вы правы. Я смешон... Но я артист, этого вам не понять.

Дубравка шла по верхнему шоссе. Оно было очень прямым. Здесь собирались пустить троллейбус. Впере-

ди на раскаленном бетоне блестели голубые радужные лужи. В них отражались облака и деревья. Когда Дубравка подходила ближе, они испарялись и вновь возникали вдали. Они словно текли по дороге сверкающей переливчатой радугой. Они возникали в нагретом воздухе. Обманывали глаза.

Дубравка ушла по шоссе в горы. Она ходила там долго. А вечером она сидела на парапете набережной, слушала море.

Кто-то тронул ее за плечо.

— Дубравка!

Рядом стоял старый артист.

— Дубравка,— сказал он,— я хочу тебе что-то сказать.

Дубравка независимо улыбнулась и заболтала ногами.

— Дубравка, извинись, пожалуйста, перед Валентиной Григорьевной за меня.

— А вы сами разве не можете этого сделать?

— Не могу,— сурово сказал артист.— Я сделаю это позже. И, пожалуйста, не воображай о себе невесть что...— Он помолчал и снова заговорил, но уже мягко, почти нежно: — Может быть, это хорошо, что ты не умеешь прощать. Но от этого черствеет сердце. Я не знаю, что хуже: быть мягким или быть черствым. Я знаю, например, что ты обо мне думаешь. Я на тебя не в обиде. Если человек вдруг упал, а потом высоко поднялся, то судить его будут по последнему...— Он не положил на Дубравкину голову своей руки, как бывало. Он просто сказал: — До свидания, Дубравка,— и пошел на другую сторону набережной. Туда, где шумел народ, где витрины устилали асфальт тротуаров желтыми электрическими коврами. И снова Дубравке показалось, что у него под пиджаком звенят струны.

Ночью Дубравка залезла в санаторий учителей и нарвала там букетик гвоздики.

Она пробралась по скрипучим карнизам, по ржавой водосточной трубе. Она уселась на подоконник в комнате Валентины Григорьевны и на испуганный вопрос: «Кто это?» — спокойно ответила:

— Это я, Дубравка. Я принесла вам гвоздику.

Валентина Григорьевна поднялась с кровати, уселась рядом с Дубравкой. Сказала грустно:

— Почему искусство такое... непримиримое? Почему так неприятно, когда тебя уличают в том, что ты не принадлежишь к нему?

— Это я наврала, что вы артистка,— сказала Дубравка.

— Зачем?

— Не знаю. Извините меня.

Валентина Григорьевна взяла у Дубравки гвоздику, поставила ее в стакан с водой.

— Почему ты мне приносишь цветы?

— Это я знаю,— сказала Дубравка.— Я вас люблю.

Валентина Григорьевна прислонилась к стене.

— За что?— тихо спросила она.— Я ведь ничего не сделала такого... Я понимаю, девочки иногда влюбляются в артистов, даже не в самих людей, а просто в чужую славу. За что же любить меня?

— Вы красивая... Бабушка назвала вас Радугой.

Валентина Григорьевна села на подоконник, свесила ноги и чуть-чуть сгорбила спину.

— У меня бабушка спросила, не влюбилась ли я в какого-нибудь мальчишку,— продолжала Дубравка, глядя, как переливаются огни вывесок и реклам на приморском бульваре.— Будто я дура. А вы знаете, иногда я чувствую: подкатывает ко мне что-то вот сюда. Даже дышать мешает, и я всех так люблю. Готова обнять каждого, поцеловать, даже больно сделать. Тогда мне кажется, что я бы весь земной шар подняла и понесла бы его поближе к солнцу, чтобы люди согрелись и стали красивыми. Мне даже страшно делается... Разве можно столько любви отдать одному человеку? Да он и не выдержит... А иногда я всех ненавижу. А мальчишек я ненавижу всегда!

Она замолчала. И ей показалось вдруг, что сейчас тишина разорвется и кто-то злорадный захохочет над ней во все горло. Потом она успокоилась, и тишина показалась ей значительной, наполненной внимательными глазами, которые благодарно смотрят на нее.

— Расскажи мне об отце этих малышей, Сережки и Наташки,— сказала Валентина Григорьевна.

Какая-то смутная тревога подступила к Дубравкиному сердцу. Дубравка съежилась.

— Зачем? — спросила она.

— Просто так... Мне кажется, он славный человек.

— Он странный... Купается ночью. От него табаком пахнет... Зачем вам?

Валентина Григорьевна смотрела на верхушки кипарисов, за которыми на морской зыби перламутрово мерцала лунная тропка.

— Красиво, — сказала она.

— Красиво... — прошептала Дубравка, поймав себя на том, что море и горы стали для нее скучными и мертвыми, как пейзажи на глянцеvitых сувенирных открытках. Она заторопилась домой. Прошла по карнизу и, расцарапав живот о проволоку на водосточной трубе, соскользнула на другой карниз и с него — на подвесную лестницу.

Она кое-что знала об отце малышей Сережки и Наташки. Раньше она робела перед ним, как робеют ребята перед директором школы. Теперь она чувствовала к нему острую неприязнь.

Он работал в Ленинграде в научном институте. Делал какое-то важное дело. Жена его умерла, когда Сережке и Наташке было по году.

Говорят, после смерти жены он целую неделю катал близнецов в двухместной коляске и не мог пойти на работу. Потом он забросил коляску, подхватил ребят на руки — отнес в ясли. Когда малыши подросли, он отдал их в круглосуточный детский сад.

Нынче он приехал к морю на целых два месяца, потому что не отгулял положенный отпуск в прошлом году. Отдыхать он очень умел. Сам с собой играл в шахматы. Уходил на колхозных сейнерах ловить ставриду. Сережка и Наташка иногда по три дня жили на попечении соседей. Это он прозвал беспризорную собачонку Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий. Встречая курортных знакомых, он говорил:

— Одолжите тысячу рублей. Отдам в Ленинграде.

Соседи и знакомые конфузливо оправдывались, недвусмысленно пожимая плечами. Вскоре они перестали попадаться ему на улице, предпочитая при встрече перейти на другую сторону, или прятались в подъ-

ездах домов. А он ходил с своими ребятами или просто один, пропадал с рыбаками на море и, кажется, не жалел ни о чем. Его называли чудаком. Он мог смотреть, не мигая. Мог мигать без причины и смеяться в собственное удовольствие.

Звали его Петр Петрович.

Утром к Дубравке в комнату залезли Сережка и Наташка.

— Дубравка, что такое лихая пантера? — спросили они.

— Вроде тигра, — сонно ответила Дубравка.

Сережка и Наташка внимательно осмотрели ее, даже пощупали пальцы на ее руках и сказали:

— Почему тебя папа пантерой назвал?

Дубравка вскочила:

— Он негодяй, ваш папа!

Близнецы насупились и молча полезли через окно на улицу.

— Он сам еще хуже! — крикнула Дубравка, высунувшись из окна.

Во дворе стояли Валентина Григорьевна и Петр Петрович. Сердце у Дубравки екнуло. Она хотела крикнуть: «Не ходите с ним на пляж!» Ей хотелось спросить: «Разве вам плохо со мной?» Но она с шумом захлопнула створки окна.

«Не пойду, — думала она. — Раз ей со мной неинтересно, то и не нужно. Не стану я ей навязываться. Выбрала себе этого... Я сейчас надену ботинки и пойду в горы».

Но вместо ботинок она натянула резиновые купальные туфли. Надела на голову белую абхазскую шляпу с бахромой, свой лучший сарафан и побежала на пляж. Она торопилась. Она боялась опоздать.

На пляже, у самой воды, двое взрослых и двое малышей играли в волейбол.

Валентина Григорьевна увидела Дубравку, улыбнулась и кинула ей мяч.

— Бей, Дубравка!

Дубравка ударила изо всей силы ногой. Мяч упал в море и заскакал на мелкой зыби у самого берега.

Серезжка и Наташка побежали за ним, сердито поглядывая на Дубравку. А она отошла в сторону, скинула сарафан, вошла в воду и поплыла. Нырнет, вынырнет. Нырнет, вынырнет. Она заплыла дальше всех.

С берега доносился едва слышный шум голосов, смех, похожий на хлопанье крыльев. Кто-то боязливый визжал. Дубравка поморщилась, перевернулась на спину. Она лежала в воде, раскинув руки. Вода прикрыла ей уши мягкими большими ладонями. Громадное небо сверкало, и глаза не выдерживали его блеска. Дубравка закрыла глаза, потом вдруг перевернулась на живот и резким кролем понеслась к берегу. Она отыскала среди купающихся человека с глазами темными, как у Серезжки и Наташки.

Она нырнула и дернула его за ноги в воду. Потом забралась ему на плечи.

— Вот тебе!

Петр Петрович сжал Дубравкины руки. Он погружался все глубже и глубже. Он смотрел Дубравке в глаза, и было похоже, что он смеется. Он словно хотел сказать: «Хорошо здесь, под водой».

«Что тебе нужно? Пусти!»— кричала про себя Дубравка. Она не успела вдохнуть перед тем, как упала в воду лицом. Ей было очень трудно сейчас. А Петр Петрович подмигивал ей:

— Куда ты торопишься? Давай поплаваем... Ты ведь плаваешь, как акула...

— Пусти!!!

— Нет, ты посмотри, как здесь красиво...

Солнце плавало под водой желтыми колеблющимися шарфами. Водоросли щекотали Дубравкины ноги. Упругая тяжесть сдавливала ей виски. Шея вздрагивала. Дубравка вспомнила лицо Утюга, когда он тонул возле своего круга. Она чуть не крикнула по-настоящему. Петр Петрович выпустил изо рта большой пузырь. Пузырь побежал вверх, за ним побежали другие, помельче. Дубравкино тело рванулось к поверхности. Она почувствовала, что руки ее освободились. Быстрее! Быстрее!.. И когда Дубравка глотнула воздуха, она все еще бешено колотила руками по воде, словно желая выпрыгнуть из нее вся. Небо кружилось.

Горы кружились. Совсем рядом плавал мужчина. Он смотрел на нее с сожалением и поправлял волосы.

Дубравка всхлипнула, отвернулась и быстро поплыла к своему камню. Она взобралась на камень и упала там, тяжело дыша. Ей не хотелось ни думать, ни шевелиться. Может быть, она и заснула бы даже. Но вдруг она услышала позади себя шорох. Вскочила и увидела злорадные лица мальчишек. Они подстерегали ее здесь, за камнем, в воде. Теперь они шли мстить за обиды.

Камень высок. Очень высок. Прыгать с него невозможно. Внизу торчат из воды острые выступы.

— Попалась, артистка!— кричали мальчишки.

Позади них, сжимая в руке свой резиновый круг, карабкался толстый, усталый Утюг. Он кричал, отдуваясь:

— Сейчас мы отлупим тебя беспощадно!

На Дубравку посыпались мальчишечьи кулаки. Утюг не бил. Он только приговаривал:

— Я бы тебе дал. Только ты умрешь от моего удара.

Потом он растолкал мальчишек, помог Дубравке встать и сказал добродушно:

— Слушай, согласна, что ты попалась? Дай слово, что больше не будешь нарзаном поить, тогда мир. А то, смотри, сейчас еще поддадим.

— Буду!— крикнула Дубравка.— Все время буду!.. Мне на вас и смотреть-то смешно.

Она сделала несколько быстрых шагов и прыгнула с камня.

— Убьется! — закричал Утюг.

Мальчишки подбежали к краю утеса. Они видели, как Дубравка, перелетев острые выступы, почти без брызг ушла в воду. Они проглотили завистливую слюну и честно выразили свое восхищение словами:

— Ох!.. Вот это артистка!..

Потом они горестно уселись на край скалы.

Утюг схватил свой спасательный круг, разбежался и ахнул вниз солдатиком. Вода больно хлестнула его по согнутым коленям, ударила в подбородок, вырвала из пальцев надувной резиновый поплавок.

Когда Утюг вынырнул на поверхность, он увидел пляшущих на камне мальчишек. Они орала ему приветствия. Неподалеку колыхался спасательный круг. Он прощально булькал, выпуская из разорванного бока последний воздух. Почти рядом плавала Дубравка. Она удивленно и немного испуганно глядела на Утюга.

Утюг тоскливо отвернулся, приготовился тонуть и вдруг, сам того не заметив, поплыл к камню.

Обретенного так внезапно умения хватило ему ненадолго. Он медленно погружался.

— Набери воздуха побольше и ныряй,— услышал он возле себя голос Дубравки.— Не бойся, я помогу, если что...

Плыть под водой было легче. Утюг нырял и вновь выныривал, набирал воздух. Камень становился все ближе и ближе.

Дубравка ныряла рядом. Она вытащила обессиленного Утюга на острые выступы под скалой.

Над их головами промелькнул коричневый мальчишечий живот. Один, другой, третий... Мальчишки прыгали в воду.

— Тут на дне красивая раковина лежит,— сказала Дубравка.

— Умел бы я хорошо плавать, я бы ее достал... тебе,— сказал Утюг.

— Она глубоко. До нее донырнуть трудно.

На выступы под скалой лезли мальчишки.

— Ай да Утюг! — кричали они.— Ай да мы!

— Нужно с камнем нырять,— сказал Утюг.— С камнем в руках.

После обеда Дубравка постучала в комнату Валентины Григорьевны.

— Вот,— сказала она, входя. И поставила на подоконник большую мокрую раковину.— Я ее достала для вас. Это та самая... Из глубины... Я ныряла за ней с камнем. С камнем хорошо... Возьмите ее с собой. Будете меня вспоминать.

Валентина Григорьевна хотела обнять Дубравку за плечи, но она выскользнула и побежала по лестнице.



Собака — друг. Собака все понимает, но ничего не может сказать. Собака сочувствует молча, в этом ее преимущество.

Дубравка сидела под лестницей, на соседских половиках, которые были вывешены на перила для сушки. Собачонка лежала у ее ног. Она не знала, что в человеческом мире ее называют Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий, или попросту Вилька. Собака смотрела в заплаканные Дубравкины глаза и, конечно, не могла разобраться, почему плачет человек, если он не голоден, если его не побили палкой, не пнули ногой, не переехали хвост тяжелым тележным колесом.

Дубравка ходила на рынок за рыбой для ужина. Когда она пришла, то увидела Сережку и Наташку. Они сидели на корточках под окном Валентины Григорьевны и подбирали с земли яркие радужные черепки. Это была разбитая Дубравкина раковина. Из окна Валентины Григорьевны выглядывали сконфуженный руководитель драмкружка, Снежная королева, Ворон Карл, Ворона Клара и Петр Петрович.

— Дубравка,— сказал Сережка.— Они пригласили всех на спектакль.

У Дубравки дрожали губы.

— Дубравка,— сказала Наташка.— Они говорят: жаль, что ты не играешь. Ты хорошо играла...

Дубравка услышала стук каблуков. По лестнице спускалась Валентина Григорьевна.

Сережка и Наташка подобрали обломки раковины, стали друг к другу спиной, готовясь зареветь.

Дубравка поставила кошелку с рыбой на окно своей комнаты и побежала. Она слышала, как Валентина Григорьевна кричала ей вдогонку:

— Дубравка, Дубравка, вернись... Он ведь нечаянно...

«Он,— думала Дубравка.— Все он...»

Дубравка прыгнула с каменного забора позади дома на другую улицу и пошла по ней вверх к маленьким огородам местных жителей.

Вечером Дубравка забилась под лестницу. Стены здесь обросли плесенью. На старой паутине качались высохшие мухи. Мыши разгуливали под лестницей, не торопясь. Собака Вилька приходила сюда ночевать.

— Вот, Вилька, как получается,— бормотала Дубравка.— Ты сама знаешь. Тебе объяснять не нужно.

Собачонка прикрывала глаза. У нее были лиловые веки и сморщенный старушечий нос.

— Она такая красивая, а он...— вздохнула Дубравка.

Собака тоже вздохнула. Если бы она могла думать человеческими категориями, может быть, она и поняла бы смысл этого слова — «красивая»...

— Что она в нем нашла?! — крикнула Дубравка.— Он урод. Насмешник. Бесчувственный крокодил. Он обманет ее и будет смеяться. Вилька, ты ничего не понимаешь в людях!

Собака положила морду на передние лапы. Она давно уже научилась разбираться в людях. Она различала их характеры даже по запаху. Если бы люди могли научиться этому искусству у бродячих собак! Но они не желают. Они предпочитают делать глупости. Вилька давно уже догадалась, что Дубравка встанет сейчас и побежит делать странные, ненужные вещи. Она даже прикусила зубами Дубравкин сарафан, словно хотела сказать: «Не уходи, пожалуйста, это тебе совсем ни к чему. Лучше давай выспимся». Но Дубравка пощекотала ей за ухом, взъерошила шерсть на собачьей спине и выбралась во двор.

— Спи,— сказала она Вильке.

Потом Дубравка поднялась по висячей лестнице, перелезла с неё на карниз. Водосточная труба. Еще карниз. Дубравка уселась на окне и тихо позвала:

— Валентина Григорьевна, вы спите?

— Иди сюда,— сказала Валентина Григорьевна.

Дубравка не шелохнулась. Спросила:

— Вы его любите?

— Дубравка...

— Он негодяй. У него пять жен. Шестую он отравил керосином. Он обворовал сберкассу. Он хочет убежать в Турцию.

— Дубравка, как ты смеешь!

— А вот смею. Он прохвост!

Валентина Григорьевна села на кровати.

— Уходи,— сказала она тихо и решительно.— Я тебя не хочу видеть.

Дубравка посопела немного и вдруг выкрикнула:  
— А вы... Я тоже знаю про вас. Вы такая же, как  
и все!

Где-то у турецких берегов прошел шторм. Он раскачал море так, что даже у этого берега волны налезали друг на друга, схлестывались белыми гривами. Падали на берег, как поверженные быки, и с ревом уползали обратно.

Ветер прогнал всех людей с пляжа. Большие пароходы поднимались над молом, словно хотели присесть на бетон, отдохнуть, отоспаться. Прогулочные катера и рыбацьи сейнеры плясали возле причалов. Было похоже, что они вот-вот начнут прыгать друг через друга.

Люди не подходили к каменному парапету набережной. Он уныло тянулся вдоль бухты, весь мокрый, весь в пене. Брызги долетали до витрин магазинов и кафе.

Чайки, вытеснив жирных голубей, садились на крыши домов.

Дубравка лежала на пляже одна. Она знала секрет: если поднырнуть под первую, самую бешеную волну и подождать под водой, изо всех сил работая руками, пока над головой пройдет вторая волна, то обратным течением тебя унесет в море. И можно будет плыть, взлетая на гребнях. Небо закачается над головой, и берег будет то пропадать, то появляться. Люди на берегу станут размахивать руками. Говорить всякие слова о безумстве, но в этих словах будет восхищение и зависть.

Дубравка думала об этом просто так. Ей никого не хотелось удивлять. Ей казалось, что море специально разбушевалось сегодня, чтобы успокоить ее и утешить. Море было красиво. Оно было красиво так, что все Дубравкины горести потеряли свой смысл. Она вдруг словно освободилась от всего тесного, неприятного, сковывавшего ее последнее время. Потом Дубравка услышала голоса.

Она обернулась, чтобы сказать людям: «Смотрите, какое море».

По пляжу шли Валентина Григорьевна, Петр Петрович, Сережка, Наташка, старый артист и Дубравкина бабушка.

— Что вам от меня нужно?..— прошептала Дубравка. Ей стало страшно и одиноко. Она отступила к волнам.

— Дубравка! — крикнула Валентина Григорьевна.

Дубравка повернулась и, побежав вслед за уходящей волной, нырнула под другую, громадную, с опадающим белым буруном. Волна перевернула ее, подмяла под себя и протащила по самому дну, по скользким камням. Потом ее подхватило обратным потоком и унесло в море.

Дубравка не слышала, как закричали на берегу люди. Она медленно плыла, то поднимаясь вверх, то соскальзывая вниз с пологого загровка волны.

Неожиданно она увидела возле себя человека. Он улыбнулся ей темными глазами и крикнул:

— Погодка что надо. Привет!

Он подплыл к Дубравке, и она услышала другие его слова:

— Обратно на берег нельзя. Не получится без веревок.

Дубравка поняла, что он хотел сказать. При больших волнах вылезть на берег им не удастся. Море еще раз прокатит по скользкому дну и унесет. Это только кажется людям, будто любое волнение — прибой, что все волны бегут к берегу.

Дубравка плыла к своему камню. Мужчина плыл рядом с ней, поглядывал на нее, то задумчиво, то вдруг с затасанной нежностью. У камня он выдвинулся вперед.

Волна прижала его к утесу, потом потянула за собой. Одной рукой он крепко вцепился в трещину, другой подхватил Дубравку.

Волна опала, обнажив облепившие камень водоросли. Но за этой волной шла другая.

Мужчина посадил Дубравку на выступ, а сам снова вцепился в трещину. Волна накрыла его.

Они лезли наверх. Впереди Дубравка, позади нее Петр Петрович. С камня был виден берег. Он был недалеко. Метрах в трехстах. На берегу бегали люди.

Петр Петрович помахал им рукой. Они замахали в ответ. Они кричали что-то.

— Благодарят за спасение,— усмехнулась Дубравка и подумала: «А может быть, он действительно меня спас?..»

Дубравка села на край камня. Ветер плеснул ей на грудь холодные брызги.

Волны у горизонта казались большими, гораздо больше, чем здесь, под камнем. Они возникали внезапно. Дубравке казалось, что камень движется им наперез. У нее слегка кружилась голова.

Петр Петрович сел рядом с ней.

— Наверное, катер придет за нами. Белый катер... Ты не замерзла? Надень мой пиджак.

— У вас ведь нет пиджака,— сказала Дубравка.

— Ну и пусть,— сказал мужчина.— Ты представь, как будто я тебе дал пиджак. Тогда будет теплее. Ладно?

Кожа у него на руках покрылась пупырышками.

— Хорошо,— сказала Дубравка...— Спасибо... Только он у вас немножко мокрый...



## Доля секунды

*(Фельетон-пародия)*



Н

а легкоатлетических соревнованиях, проводившихся далеко за пределами нашей страны, советский бегун Василий Карпуха занял первое место. Он пробежал дистанцию в рекордно короткое время.

— Как вам удалось достичь столь блестящего результата? — обратился к Василию корреспондент одной из наших газет, когда Василий в тот же день прилетел домой.

— Ну что я могу сказать? Сначала я... значит... побежал... а потом...

— А потом?

— А потом... прибежал!

— И это что, все? — тоскливо спросил корреспондент.

— А чего ж еще? — простодушно ответил спортсмен.

А на следующее утро в газете был напечатан очерк-отчет о рекордном забеге. Вот он, этот очерк.

«Когда Василий Карпуха вышел на беговую дорожку стадиона Трубадуно, все ему почему-то показалось, здесь каким-то чужим, неродным и неблизким.

Например, зрители, которые оглушительно свистели на трибунах и на чистом зарубежном языке кричали: «Фончер-банчер-тунчер, кло!», «Фончер-банчер-тунчер-кло!», — что в переводе на русский язык означало: «Судью на мыло!»

Василий огляделся: слева от него по второй дорожке должен был бежать Вальтер Кишке — длинноногий и белобрысый парень с умным и решительным лицом студента, восьмой раз идущего пересдавать экзамен. Справа — Джеральдино Лососино — маленький, но резвый итальянец, по профессии не то бухгалтер, не то безработный, и дальше Джейк Макферсон — негр, основной соперник, по прозвищу Гагá, что в переводе на русский язык означало: «Черепаха, которая обгоняет на рассвете собаку, в полдень — лошадь, вечером — сайгака, а ночью — молнию».

«Да, борьба будет трудной, — подумал Василий. — А тут еще и ветер, как назло, в спину не дует! И жары тоже нет!»

Да, в совершенно непривычных, чрезвычайно тяжелых условиях Василию Карпухе предстояло бороться и обязательно легко победить.

И вот выстрел стартера. Бегуны дружно устремляются вперед. Макферсон возглавляет бег, но уже сейчас всем ясно, что Василий Карпуха, бегущий предпоследним, будет на финише первым.

Зрители на трибунах неистовствуют, пока еще молча наблюдая за ходом схватки.

Но вот напряжение нарастает, бегуны пошли на последний круг. И вот, когда Макферсону оставалась до финиша какая-то доля секунды, произошло нечто такое, что до сих пор никогда не происходило и вообще произойти не может.

Что такое Василий Карпуха?

Это простой, рядовой человек. А что такое наш простой, рядовой человек?.. Это тот, кто всегда и вез-

де впереди. И в труде, и в отдыхе, и дома, и на работе, и в учебе, и в спорте. Именно поэтому Василий Карпуха собрал все свои силы, все свое мужество, всю волю и, когда, казалось бы, Макферсон, а вслед за ним Вальтер Кишке и Джеральдино Лососино должны были разорвать ленточку, он в самую последнюю долю секунды напрягся и вспомнил... Что же он вспомнил в самую последнюю долю секунды, наш славный парень Василий Карпуха, там, один, далеко, на никому не известном стадионе Трубадуно?!

А вспомнил он свое детство. Счастливое, поруганное войной детство простого, рядового человека.

И вспомнил он свое родное село, хату, голубое небо над головой и корову Маньку, которая всегда, в самую трудную минуту жизни, заменяла ему и товарища, и брата, и сестру...

Вот он подросток. Вместе с дедом Матвеем они ходили в ночь на рыбалку, ловили ерша на мормышку, варили уху на косогоре, а дед Матвей все рассказывал, рассказывал, рассказывал — про себя, про свое проклятое прошлое, и повторял, повторял, повторял:

— Ай да Васютка!.. Ну и бегать же ты горазд дюже, кубыть тебя раскубыть!..

А Васютка улыбался в темноте своей белозубой улыбкой и смотрел на звезды, мечтая побыстрее окончить школу и поступить в Институт физкультуры на отделение «Шахматы». Он не знал еще тогда, в чем его истинное, настоящее призвание!

Вспомнил Василий Карпуха и свою старую учительницу Марфу Ивановну, которая много сделала, чтобы Василий мог бегать не просто, а грамотным, образованным человеком.

И вот пронеслись годы. Василий Карпуха — студент. Конечно, трудно было жить на стипендию, сдавать экзамены, но если бы не упорные тренировки по восемь раз в неделю, учеба и наука не давались бы ему так легко и просто.

И вот тут-то как раз и пришла к Василию любовь. Пришла нежданно-негаданно, в тот самый момент, когда ему в раздевалке кто-то нежно наступил шиповкой на ногу. Василий поднял глаза и сразу решил:



«Вот она, дорогая, любимая моя подруга жизни, с которой я буду бегать нога в ногу до самой смерти, пока не надоест».

Поженились. Дети пошли. Побежали дети. Все в отца. Василий вспомнил лицо жены, заботливое, доброе, честное... «Как там она сейчас?.. Волнуется, небось? Думает, наверное, что я тут без нее в ночное кабаре пошел?.. Нет, дорогая, верь! Пусть мой голос летит через тысячи километров. Ты слышишь, я люблю тебя!.. И я, твой Василий, не в ночном кабаре сейчас, а...».

«Ой!.. Где я?..— подумал Василий.— Где я? Ой!..»

И вспомнил Василий... И вспомнил тут Василий Карпуха, что бежать надо!.. Что если он сейчас, в самую последнюю долю секунды, не обгонит своих соперников, не быть ему победителем, не стоять ему на пьедестале, не возвращаться ему домой подбур-поздорову...

И когда Макферсон уже почти коснулся грудью ленточки, а Кишке и Лососино приближались к финишу вслед за ним, спортсмен в красной майке вдруг рванулся вперед и — мгновение! — первым разорвал ленточку на мелкие кусочки!

— Кар-пу-ха!.. Кар-пу-ха! — кричали зрители на чистом русском языке.

В связи с этим хочется в заключение добавить, что Международная лига бегунов снова, в который раз, приняла глубоко неправильное, неразумное решение о проведении в следующем году марафонских состязаний вне пределов стадиона. Гораздо удобнее было бы, если бы сорокадвухкилометровую с лишним дистанцию бегуны преодолевали на 100-метровой дорожке стадиона, двигаясь туда и обратно, туда и обратно...

Пусть сокращаются большие расстояния!»



# Школьное сочинение



**Б**

ыл обычный урок литературы. Ученики должны были писать сочинение на тему «Образ бабы-яги — уходящей бабы прошедшего времени».

Учитель продиктовал план. Пункт за пунктом. Одно за другим. Все, как обычно.

## ПЛАН

- I. Вступление. Историческая обстановка в те еще годы.
- II. Главная часть. Показ бабы-яги — яркой представительницы темных сил.

## ЧЕРТЫ БАБЫ-ЯГИ

1. Положительные:
  - а) смелость;
  - б) связь с народом;
  - в) вера в будущее.
2. Отрицательные:
  - а) трусость;
  - б) эгоизм;
  - в) пессимизм;
  - г) костяная нога.
- III. Заключение: бабизм-ягизм в наши дни.

*Итак, учитель дал план, и теперь ученики по плану начали писать сочинение. И написали. Надо сказать, это было обычное сочинение.*

«Замечательное произведение — сказка о бабе-яге — является замечательным образцом нашей замечательной литературы.

Тяжелое положение крестьянства в мрачную, беспросветную эпоху, которая характеризовалась беспощадным, страшным, мрачным, беспросветным угнете-

нием, было невыносимо беспросветно, мрачно, страшно и беспощадно.

«Товарищ, верь! Взойдет оно!»— писал великий русский поэт Пушкин.

И в это время особенно звонко прозвучал светлый голос неизвестного автора сказки о бабе-яге, которая навсегда вошла в сокровищницу литературы, у которой всегда были произведения замечательного жанра, который всегда был любим народом, которого никогда не остановить на пути, по которому он всегда идет навстречу будущему, которое всегда обязательно приходит на смену прошлому, которое никогда не смогло задушить его голос, который всегда был светлый и звонкий.

«Кому на Руси жить хорошо?»— спрашивал знаменитый русский поэт Некрасов и сам же отвечал:

«Кто досмерти работает,  
До полусмерти пьёт».

В образе бабы-яги — типичной представительницы загнивающего старшего поколения — воплощены лучшие черты отрицательного героя в начале первой половины конца... надцатого века. Бабе-яге противопоставлен светлый образ Иванушки-дурачка, в котором сделана яркая попытка показа нового, молодого в борьбе со старым, отжившим, одряхлевшим. Нет, Иванушка-дурачок — это не Онегин. Он не лишний человек! Он любит труд и родную землю. Если присмотреться, он совсем не дурачок, а умный.

«В человеке все должно быть прекрасно»,— писал известный русский писатель Чехов.

Задолго до него эти же слова повторил способный английский поэт Шекспир. Создавая незабываемый образ злодея Яго в одноименной трагедии «Отелло», он, несомненно, испытал благотворное влияние со стороны неизвестного автора сказки о бабе-яге. Иванушка-дурачок только строит из себя дурачка. На самом деле оказывается в дурачках не он, а баба-яга.

«Чуден Днепр при тихой погоде»,— писала сквозь смех и слезы гордость нашей литературы — Гоголь.

В галерее светлых женских образов баба-яга занимает особое место. Вспомним хотя бы Анну Каренину.

«Все смешалось в доме Облонских»,— писало светило разума Лев Толстой.

Язык бабы-яги — простой, чистый, короткий, могучий, не шершавый.

В наше время бабизм-ягизм играет большое значение и имеет большую роль. Сказка стала былью, Иванушка-дурачок нарицательным, а баба-яга безвозвратно ушла в далекое прошлое».

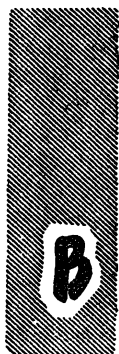
*Обычное сочинение, как обычно, не очень соответствовало теме и не слишком было написано по плану. Однако учитель остался доволен.*

*Он поставил за сочинение соответствующую отметку. Какую именно? Обычную.*



## Наследственная специальность

1



Ветер шумит в верхушках голых деревьев, несет из темноты гигантским потоком леденящий холод, сыплет острую, как стеклышки, ледяную крупу, с неумолчным звоном барабанит в бесконечную трубу газопровода. Самосвалы с гудением мчатся по столбовой дороге, укатанной и блестящей, как сталь, движущиеся конусы свега сквозь мириады ледышек на миг выхватывают полевые вагончики, ворочающие гусеницами тягачи, трубоукладчики, жмущийся к обочине тупорылый бульдозер, неуклюжие фигурки людей в ватниках...

...Дверь вагончика распахнулась, обозначившись на миг черным прямоугольником. Сначала в нее просу-

нулся чемоданчик, потом туфля на толстой «вездеходной» подошве, а потом и сам парень — мрачноватый, насупленный, закутанный шарфом, в шапке пирожком, нахлобученной по самые глаза, в коротком осеннем полупальто. Личность совершенно незнакомая и редкостная в этих краях, в такую погоду да еще и ночью.

В вагончике только начальник участка Авилов, диспетчер да экскаваторщик Охрем Иванович. Они орут, тычут друг друга пальцами в грудь, заросшие, небритые и злые. Охрем Иванович, свирепо вспыхивая темными из-под нависших бровей глазами, доказывает диспетчеру: надо бы развести костры, — на таком неожиданном морозе не то что земля не оттаивает, а смазка в подшипниках стынет, того и жди тяги лопнут; диспетчер кричит, что дядя Охрем хочет жить на королевскую ногу; начальник орет то на одного, то на другого.

При появлении парня они замолчали, глянули с любопытством.

— Честь имею... — говорит Авилов и, выжидая помолчав, объясняет: — Слушаем вас, молодой человек.

Парень распутывает шарф и удивительно робким, осипшим голосом говорит:

— Я к вам. — Он сконфуженно прикрывает глаза длинными, в инее ресницами. — Мы договорились с товарищем Шулейко, что я буду работать у него на участке.

— Ха-ха-ха! — смеются все трое.

А машинист-экскаваторщик Охрем Иванович в копоти и саже, как кочегар, только зубы да белки глаз сверкают от дрожащего света лампочки, сквозь смех произносит:

— Шулейко на соседней трассе... А соседство — это еще пять часов езды. Как же это вас угораздило?

Парень растерянно снимает и мнет шапку-пирожок. Как же тут объяснить? Сел на перекрестке, как и советовал товарищ Шулейко, шофера не расспрашивал, думал, трасса одна, доехал до вагончика...

— А кем работать-то? — спросил начальник. — Да вы садитесь. — Он показал на скамейку у стены. В во-

просе скрывалось не только одно любопытство, а и желание перехватить работника.— Контракта не заключали? Сварщик? Моторист?

— Нет, не моторист.— Парень зябко трет руки, медлит с ответом почему-то. Попал не туда, непрошенный гость, стоит ли объяснять, что все не так просто, да и вообще...

— Техник? Радист? Экономист?

— Я парикмахер.

— Гм!..

Трое газопроводчиков озадаченно переглядываются. Молчание наступило натянутое, неловкое до глупости.

— Гм!..— еще раз восклицает начальник участка, и сразу всеми тремя овладевают безразличие и полнейшее равнодушие. Они снова начинают спорить, сначала не спеша, как бы между прочим, постепенно раздражаясь от неуступчивости друг друга, и переходят на повышенный тон.

Наконец диспетчер и экскаваторщик уходят. Авилов опускается в плетеное креслице, вздыхает с облегчением, закуривает, поворачивается массивным корпусом к парикмахеру, глядит из-под блеклых щетинистых бровей изучающе.

— Гм... Интересно, что взбрело в голову Шулейко?

Авилов и Шулейко не то чтобы враги, но и не приятели. Отношения у них самые деловые. Авилов «нажимает на все педали», когда участок Шулейко вырывается вперед; Шулейко «подвинчивает гайки» и лично командует на «хромяющих» местах, если вперед вырывается участок Авилова. В тресте Шулейко удовлетворенно пощипывает бородку, когда распекают Авилова. И наоборот.

В последний раз распекали Авилова. Поэтому жизнь на трассе, как в минуты аврала, а сам Авилов вот не спит, готовясь к отчету. Жаль! Жаль, что заболел Коростышев: газосварщикам приходится самим заниматься подготовительными операциями,— потеря времени, а людей при таком развороте явно не хватает. Жаль, что этот... И скажите, для чего все-таки он Шулейко — парикмахер, а не газосварщик? Уж он бы его не отпустил! Уж он бы его уломал остаться

и тем самым с удовольствием, а это было слабостью Авилова, утер бы нос товарищу Шулейко. Жаль...

— Значит, парикмахер.— Авиллов откидывается на спинку кресла.— Где же это вы с ним договорились?— Авиллов соображает, что парень, видимо, тяготится своей специальностью, и оживился:— Значит, решили изменить квалификацию? Сначала учеником там, а потом... да?

«Что ж,— думает Авиллов,— в таком случае... бугаек ничего себе, стоит зацепить...»

Парень отрицательно машет головой и объясняет: переучиваться он не думает. Шулейко брился как-то у него, они разговорились, и вот, в общем... Парень замолкает, обескураженно смотрит на дверь, за которой воеет ветер. В вагончике тепло, изморозью блестят заклепки на досках, а ему выходить на каменную дорогу, снова голосовать... Он мчался, болтаясь в железном кузове часов шесть, испытывая свою волю, промерз... Воля волей, а хочется обогреться, хочется есть, хочется спать. Но он, конечно, заставит себя покинуть это уютное место и будет терпеливо поднимать свой чемоданчик навстречу грохочущим глазастым огням самосвалов. Впрочем, если бы его угovorили, он бы, пожалуй, остался передремнуть до рассвета.

Но нет, здесь народ какой-то грубый, неприветливый, и поэтому не стоит...

Авиллов щупает зудящий от щетины подбородок и неожиданно для самого себя восклицает:

— Парикмахер, значит! Как звать тебя, парикмахер? Гоша? Слушай, Гоша, а не подправил ли бы ты мою личность, а? Пока там рассвет, пока там чего, ты бы меня и того, а? Тут как шальной я сейчас, высморкаться некогда, не то чтобы выбриться да постричься. Снимай свое пальто, вешай вот сюда на гвоздь и, так сказать... Потом соснешь, перекусишь у нас — и на все четыре... У нас знаешь, брат, дела! Уважь.

Гоша раскладывает инструмент. Авиллов сливает ему на руки и удивляется, глядя на мощные, перекачивающиеся узлами бицепсы Гоши, выглядывающие из-под закатанных рукавов, на мощную согнутую спину. Под сумрачным и в то же время мягким взглядом



Гоши он даже немного робеет. Тяжелая челюсть Гоши ему не нравится: ни дать ни взять личность бандита. Встретишься с таким на дороге, туго придется. В душе Авилов смеется над Гошей: такой буйвол, которому в пору тягать трубы газопровода, ломом рубить кремень, и вот, извольте, — «чики-чики» ножничками. Наверное, халтурщик. Едет к Шулейко драть длинный рубль с работяг. А Шулейко на это плевать, ему чтобы пыль в глаза начальству. По мнению Авилова, парикмахеры — народ жалкий, нестоящий — люди, привыкшие к легкому куску, протягивающие беззастенчиво лапу: «на чай». В его представлении они всегда возникали проворными, вертлявыми, до приторности услужливыми и заискивающими, какими угодно, но не в виде вот такого угрюмого тяжеловеса. Эк-кий лоботряс! Полнейшее крушение представлений.

Гоша надел халат, поставил на освобожденный от бумаг стол зеркало, и вагончик будто раздвинулся. Затем он заткнул салфетку под тяжелый подбородок Авилова, продул расческу, пощелкал угрожающе ножницами и подступил вплотную, коротко взглядывая на патлы газопроводчика, напоминавшие прическу если не попа, то по крайней мере попка.

С некоторым опасением Авилов, подчинившись жесту, откинул голову назад. Н-да, сейчас начнут драть кожу. Этакый гусар!

2

«Интересно! Никогда не ожидал!» — удивился Авилов. Прикосновение Гошиной ладони, пригладившей волосы, отдалось в груди Авилова странной истомой. По затылку поползло покалывающим, осязаемым морозцем. Ладонь парикмахера была какая-то до неправдоподобности нежная и теплая и в то же время сухая.

Авилов прикрыл глаза. Ладони, казалось, обладали не совсем обычной силой. Длинные красивые пальцы парикмахера ловко принялись перебирать жесткие, сердитые волосы, выравнивать, умно и со смыслом подрезать, выхватывать косички, щекотали до прият-

ных зудящих мурашек, и все это с непостижимой быстротой и неутомимостью.

«Недурственно! Очень недурственно». Авилов не заметил, как погрузился в какую-то чертовски приятную полудрему, не в силах больше пошевелиться, готовый сидеть вот так, в сладостном безволии, хоть до утра, отдавая себя на ласку и убаюкивание этим удивительным, уверенно-осторожным рукам.

Все же время от времени Авилов приоткрывал один глаз и с сонным любопытством рассеянно следил за работой парикмахера.

Гоша с каменным лицом передвигался хладнокровно и незаметно, весь уйдя в работу. Он работал с увлечением, пристально вглядываясь в угловатую голову клиента, то приближаясь, то отходя на шаг, непоколебимо прямой, как столб, и, чуть откинув голову назад, любуясь и оценивая прическу издали. Он тоже, видимо, забыл обо всем на свете: о том, что совсем недавно щелкал зубами в кузове самосвала, что ветер и сейчас беснуется за стенами вагончика. Он был увлечен работой. От одежды его и рук исходил тонкий и приятный аромат. Он менял расчески, менял номера машинок, осторожно выстригая затылок, правил бритву, и стук переставляемых нехитрых приборов сквозь сладкую дрему отзывался где-то под ложечкой, убаюкивая Авилова.

— Вот и все! — тихо сказал Гоша, отступая и стряхивая салфетку. — Каким вас: средним, простым, «Москва»?

Авилов с трудом и сожалением раскрыл отяжелевшие веки. Так быстро! Он глянул в зеркало: на Авилова смотрел помолодевший на десяток лет мужчина, симпатичный, опрятный и замечательно подстриженный — именно так, как всегда мечтал Авилов и как никогда его не подстригали. В парикмахерской почему-то всегда спрашивали одно и то же: «Полечку?» И Авилов, теряясь, чувствуя неловкость и скованность в движениях, кивал грубовато: «Ага». И выходила почему-то не «полька», а так, одно недоразумение, скорее краковяк какой-то. В общем, Авилов всегда с возмущением глядел на себя в зеркало и уходил из парикмахерской с таким настроением, будто его умышленно

изуродовали и надсмеялись над самыми его лучшими надеждами.

— Н-да-с! — с удовольствием промолвил Авилов, с задумчивостью проведя рукой по изумительно гладкой щеке. Неясная мысль рождалась в разморенной истомой и лаской помолодевшей голове. На миг воображение выхватило из темноты воюющих там, у костров, ребят, прокопченных, вгрызающихся в черствый, неподатливый грунт и метр за метром неуклонно пробивающихся вперед.

Авилов был требователен к подчиненным и неумолим в своих решениях. Он сам прошел через все эти трассы, прошивая экскаватором и холмики, и холмы, и даже настоящие горы. Он рвал взрывчаткой эти горы, знал нужды газопроводчика и умел выбить из треста все необходимое для него. Он знал все. Но ему никогда и в голову не приходило, что обыкновенный парикмахер может повысить чертовски твое настроение, освежить и как бы соскрести с личины твоей усталость, принести такую, этакую... Впрочем, о чем говорить!

Авилов дружески положил руку на плечо Гоши, понуро убиравшего инструмент в свой чемоданчик. «Пусть это будет сюрпризом для ребят,— решил Авилов.— Настоящий сюрприз. К тому же Шулейко... Ха-ха, Шулейко! Мое вам, товарищ Шулейко!»

— Вот, значит, Гошка! Восхищен! Молодец ты! Настоящий молодец! Парни у нас, ах, что за парни!.. Оставайся-ка ты, Гошка, у нас. На кой черт тебе там еще трястись к этому Шулейко, да и вообще, парень... Ты знаешь этого Шулейко? А спроси обо мне у любого, и тебе скажут.

Гоша молча защелкнул чемоданчик. Не зная, как уговаривать дальше, Авилов махнул рукой, подошел к рации и заорал во все горло в микрофон:

— Эй там! Столовая! Немедленно сюда чего-нибудь... согревающего! Граммов так это двести да и закусить хорошенько! Живо!

Гоша слушал и улыбался. Гоша сонно моргал веками. Гоше ужасно хотелось спать и есть тоже очень хотелось.

...Утром пурга усилилась. Повалил снег. Газопроводчики, сдав смену, пробирались к вагончику-столо-

вой и удивленно, шевеля обветренными губами, перечитывали сквозь рой снежинок приколоченную к дверям надпись на дощечке: «Парикмахер. Обслуживает круглосуточно».

— Ого! Наконец-то Авелыч взялся за быт нашенский! — восклицали парни, обметая валенки. — А то, черти б его подрали, как в лесу дремучем.

И, увидев парикмахера, они, как и Авилов, поражались его мощи, юности и росту.

И пока, звякая ложками, съедали завтрак, а потом сидели на скамейках да чадили папиросками, дожидаясь своей очереди, посмеивались да перемигивались: вот-де дела, такой ломовик — и вот те на!

Гоша, видимо, слышал эти остроты, но ни единым жестом не дал понять, что они задевают его самолюбие, и «обрабатывал» чумазых парней с таким же старанием, как и Авилова.

И все, кого коснулась Гошина рука, садившиеся на стул с насмешливой улыбочкой, вдруг сгоняли эту улыбочку, становились серьезными и после «обработки» уходили с лицами подобревшими и глазами соловыми. Ребята ревниво оглядывали себя в осколке зеркала над рукомойником, и, будто теперь им дано было право на это, даже самые некрасивые со значением подмигивали куховарке Нюре, румяной, бойкой бабенке. Запах «Шипра» разливался во все углы столовой, перемешиваясь с запахом кухни.

— Артист! — глубокомысленно хвалили Гошу, выйдя за порог.

— Артист! — в убежденном согласии отвечали самые лихие острословы. — Али налетом к нам, али насовсем?

Экскаваторщик Охрем Иванович рассказал о ночной истории и высказал предположение, что Авилов, видимо, перехватил парикмахера.

— Н-ну, наш Авелкин!.. Ха-ха! И тут Шулея обставил!

3

Трасса неумолимо продвигалась вперед, тягачи перетаскивали вагоны и прочий строительный скарб, а заодно и Гошу.

Гоша обосновался в вагоне-столовой, на противоположной буфету стороне, отгородившись ширмой из брезента. Плотники соорудили ему небольшой, но прочный столик, на котором он мог, как и в порядочной парикмахерской, разложить инструмент и расставить пузырьки с одеколоном.

С Нюрой Гоша поладил с первого же дня. Чертыхаясь, Нюра втащила в вагон мешок и вывалила на пол, отполированный множеством подошв, две кабаньи головы.

— Вот полюбуйся, паликмахтер! — Она пнула валенком в застывшие оскалы морд.— Что я должна делать с такими уродами?! Хотела угостить ребят холодцом и хрену раздобыла, а они, морды эти, несмоленные. Хвостики и ушки попались смоленые, а эти... черти б их побрали! Щетина, как стерня! — Нюра пососала мизинец, враждебно сплюнула в сторону голов.— Хотела сама посмолить, да только руку сожгла.

Гоша, правя бритву, полуобернулся и тихим голосом посоветовал осмолить у газосварщиков горелками.

— Горелками! — передразнила раздосадованно Нюра.— Тилипаться три километра, туды да сюды— шесть, а его уваривать сколько, холодец! Умник! Ах, что же мне делать?

Гоша ничего ей не ответил. Направил свои бритвы, снял с себя белоснежный халат, оставшись в свитере, и, когда Нюра все же собралась к газосварщикам, придержал ее за руку.

— Одну минуточку. Давайте-ка сюда небритое мясо.— Потрогав лезвие бритвы, он с помазком и мылом склонился над головами, густо намылил и под удивленный, восторженный смех Нюры обработал, точь-в-точь как и обрабатывал неподатливые подбородки.

В другой раз Нюра притащила гусей, из которых невозможно было, как это и должно быть, если гуси преклонного возраста, выдергать колодки.

Гоша отыскал в чемоданчике пинцет и, не торопясь, аккуратно повывергивал все до единой колодки.

— Гошик, ты просто клад в моем деле! В шеф-повара тебя забрать, что ли?

За обедом Нюра рассказывала всем про холодец из «бритых» кабаньих голов. Ребята хохотали, густо заправляли холодец хреном и говорили: «Недурственно!»

Гоше выдали ватные штаны, фуфайку, валенки, и внешне он теперь отличался от других строителей только шапкой-пирожком, чистым лицом и нежными ладонями.

На диспетчерках Авилов не без пристрастия присматривался к подчиненным и придирался к небритым:

— Вам что же, особое приглашение-с? И парикмахера вам раздобыл, а вы... Стыд! В следующий раз имейте в виду! Я сужу так: кто внешне выглядит отлично, у того и дела идут неплохо.

Сам он захаживал к Гоше каждый день и, как и в первый раз, вставал со стула разомлевший и хлопал Гошу отечески по плечу.

И так случилось, что авиловцы стали отличаться своим свежим, помолодевшим видом во всем тресте. Шоферы, подвозившие арматуру и стройматериалы, прослышали о мастерстве авиловского парикмахера и, побывав однажды, снова заезжали иногда с десятой дороги. Во власти ласковых и великолепных рук побывал даже и сам начальник треста, внушительный человек в кожанке, со взглядом будто и сонливым, однако подмечавшим не только крупные промахи, но и совсем малозаметные вещи. И так случилось, что на очередном совещании он привел в пример инициативу Авилова, красноречиво посматривая при этом на чужую, заросшую до непривлекательности физиономию товарища Шулейко.

— Приятно глядеть на рабочих товарища Авилова... Опрятные, чистые. Огурчики! На мой взгляд, так: внешний вид определяет внутреннюю подтянутость.

Авилов сдержанно улыбался, пощипывал подбородок и наблюдал исподтишка за Шулейко, который в подобных случаях старался смотреть себе под ноги, лез за платком и гулко сморкался.

И случилось так, что Шулейко каким-то образом пронюхал, что за парикмахер у Авилова и как он попал на его участок. Рассерженный Шулейко прикатил на своем «газике», ворвался к Авилову и долго бушевал, требуя немедленно передать Гошу в распоряжение его участка. Авилов выслушал его с лицом, полным добродушия и кротости, и сказал, что Гошу никто не насиловал и лично он, Авилов, готов удовлетворить претензии Шулейко; захочет парень к Шулейко — пожалуйста, не захочет — тоже пожалуйста.

— Извините-с, я здесь ни при чем,— заключил он с плохо скрываемым злорадством. Авилов в людях разбирался и поэтому выражался так свободно, зная, что Гоша никуда не уйдет.

Застенчивый Гоша не мог толком объяснить рыкающему Шулейко, как и почему попал он на участок Авилова, твердо отказался от оклада кладовщика (помимо «клиентурских») и на прощание великодушно согласился «обработать» раздосадованного товарища Шулейко, после чего Шулейко уехал в город и, как потом рассказывал его шофер, шнырял по парикмахерским в поисках подходящего парня. Шофер говорил, что он-таки отыскал какого-то прохвоста и прогнал его ровно через неделю. К этому времени трассы сблизилась настолько, что рабочие участка Шулейко могли пользоваться услугами парикмахера, участка Авилова.

Суточную выручку Гоша каждое утро передавал в бухгалтерию. Оттуда ее переправляли в Гошину артель, а из артели перечисляли Гоше аванс и получку.

В свободную минуту Гоша выходил из вагончика и, приложив ладонь к глазам, вглядывался в ту сторону, где экскаваторы, вгрызаясь ковшами, черпали землю, оставляя за собой удивительно ровную и глубокую траншею, из которой светлым дымком выплывал пар. Тарахтел денно и ночью движок. Стучали отбойные молотки, когда трасса упиралась в скрытый под пленкой снега каменный пласт. Много километров Гоша прошел с газопроводчиками. В каждом населенном пункте он закупал одеколон, мыльный порошок, договаривался насчет стирки салфеток, разыскивал почто-

вое отделение связи и в ящик опускал письмо матери, а другое письмо...

Другое он задерживал в руке, долго глядел на него грустными глазами и, вздохнув опечаленно, снова засовывал в карман стеганки. Понуриив голову, укрытую шапкой-пирожком, Гоша медленно брел к стоянке. Навстречу, раздувая снежную пыль, мчались, подпрыгивая на ухабах, автомашины. Из окна кабины высывалась смеющаяся физиономия и орала, обнажая в блеске улыбки зубастый рот.

— Здорово, Гошка-а!... Приве-е...— уносилось в грохоте кузова и шуме мотора.

Гоша махал вслед машинам. Одной, другой и в конце концов, приободрившись, решительно махал самому себе, избавляясь от грустных мыслей, успокоившись окончательно, взбирался по скользким ступенькам своего вагончика, где уже дожидались, покуривая, строители.

Неотосланное письмо Гоша прятал на дно чемодана и, облачившись в свой безукоризненно чистый халат, уже совсем весело пощелкивал ножницами, прицеливаясь к измятой, пропотевшей в пылу трудовой вахты шевелюре.

В одном из неотосланных писем было и такое:

«Что ж, пусть я романтик!  
Романтика — удел не «стильных»,  
А смелых духом, дерзающих и сильных...  
Романтика, по-моему, не слабость,  
И если я иду тропой гиганта,  
То чувствую: и я гигантик!  
И горд я этим и ощущаю сладость!

Смешны, Зоя, тебе эти мои упражнения. Я заранее вижу твою скептически-неверующую улыбочку, твои изогнутые милые брови, но что ж... Теперь я твердо знаю, что ни за что, никогда не соглашусь променять эту уютную, неустроенную, но по-своему захватывающую жизнь на ту, которой жил раньше. Что ж, может, я и в самом деле восторженный идиот, может, я действительно «недоразумение природы», как выразилась ты однажды, но я готов быть тысячу раз таким, нежели слюнявым пижоном, думающим только о по-дачках, сколачивающих себе клиентуру из зажиточных



граждан, ломающихся под «джаз-банд» и ни черта не смыслящих в вопросе: «А что же такое наша эпоха, а как она делается, а где ее передний край, и за что дрались наши отцы?» По крайней мере я знаю теперь, как добывается газ, на котором тебе мамаша жарит яичницу, и это мне доставляет удовольствие, а ты... Впрочем, все. Прости, Зойка, но, может быть, когда-нибудь придет время, и ты поймешь меня...»

В остальных письмах среди описаний жизни трассы, среди описаний своих грубоватых клиентов тоже можно было бы отыскать нечто сходное.

В общем, случилось так, что Гоша пришелся всем строителям по душе. Донимали Гошу только девчонки, которых, к счастью, было не так уж много. Они громко хлопали дверью, и вагон сразу же наполнялся хохотом и оживлением. Стащив с себя платочки, девчонки эти перемигивались, охорашивались и, выбрав момент, ноющими голосами просили:

— Шестимесячную, Гоша! — И заливались, заранее зная, какой будет ответ, и заливались еще больше оттого, что Гоша конфузился и с непонятым раздражением отвечал:

— Я не дамский парикмахер.

— Вот тебе раз! Раз парикмахер, значит, всякий должен быть: и мужинский и дамский! — При слове «дамский» девчонки почему-то хохотали до неистовства (видимо, слово это имело для них еще какой-то смысл) и выкрикивали: — Все завтра идем к Авелкину и требуем предоставить парикмахера дамского! Вот тут его рядышком с тобой поставим, и все! Мужикам Гошка, а дамский нам! А какие они, дамские, Гошик? Как ты, да?

Вогнав Гошу в окончательное смущение, они преувеличенно сокрушенно вздыхали и усаживались перед зеркалом с деланной печалью.

— Ладно, чего уж там, давай под «мужичка».

Гоша делал девчонкам великолепные мальчиковые прически, и в общем, они были тоже довольны, так как, между прочим, этими прическами отличались от других девчонок треста. Такие прически на трассах стали входить в моду.

Вот, значит, как...

Гоша никогда не спрашивал: «Как вас стричь?» — а подстригал так, как считал нужным. Гоша был мастером своего дела. Когда ему говорили «под бокс», он объяснял клиенту, что ему лучше пойдет «под ежика».

Кроме Авилова, нашелся еще один ежедневный клиент — экскаваторщик-машинист дядя Охрем. Тот самый дядя Охрем, что ругался ночью насчет костров с диспетчером.

Гоша мылил ему щеки, подстригал усы, а дядя Охрем рассказывал новости и допекал всякими расспросами:

— Ну какого черта, Горка, — он с первого дня прозвал Гошу «Горкой» за его крупный рост, — ну какого черта выбрал ты себе такую специальность?

— Парикмахеры тоже нужны, — кротко отвечал Гоша и проводил помазком по губам старика.

Экскаваторщик сердито косил глазом, цедя:

— Ты мне рот не замазывай. В твои годы, с такой силищей... Тьфу!

— Не плюйтесь, дядя Охрем, так некультурно.

— Не забивай мне баки, Горка. Отвечай!

— Специальность у меня наследственная, дядя Охрем. Мой отец был парикмахером.

— Отец?! Ну был бы я твоим отцом, хоть и парикмахером, я бы тебя в два счета. Я бы! Да что за отец у тебя, такого парня, и вот... Где он, твой отец, сейчас?

Лицо Гоши стало сумрачным. Он некоторое время глядел в пропылившееся окно, за которым теплеющие лучи разливались искорками в лилово-дымчатой безлизне снегов. Потом тихо ответил:

— Погиб мой отец на фронте.

На удивленно-сочувственное восклицание экскаваторщика: «Вот те на!» — Гоша объяснил, что отец взорвался вместе с бронепоездом под Кишиновом. И уже на более дотошные вопросы с сумрачной торжественностью сказал, что отцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. После этого дядя Охрем дня два не задавал никаких вопросов и брился

молча, задумчиво хмурясь, давая этим знать, что разделяет давнее Гошино горе, а на третий день не выдержал и снова спросил:

— Кем же батька на бронепоезде был?

— Парикмахером.

— Да как же ему присвоено звание Героя? — вытаращил глаза дядя Охрем. — Что же он такое свершил?

— Этого я не знаю! Да подождите вы, не дергайтесь, а то! — В голосе Гоши звучала горечь.

— Должен тебе сказать, что, наверное, это только один и Герой во всем мире из парикмахеров, Горка, — убежденно сказал экскаваторщик. — Теперь я, значит, понимаю, почему и ты стал парикмахером: просто по принципиальным соображениям.

— Да, дядя Охрем, по принципиальным.

А дядя Охрем неожиданно разозлился:

— Но ты и не мечтай стать Героем. В войну это еще могло быть, а в мирное время... Настриги ты хоть тыщи вагонов волос, а все одно не присвоят Героя. И не мечтай. Если бы овец стриг, это, может быть, еще куда! Или вот на моем деле это возможно, а на твоём — и не мечтай! И был бы жив твой батька, уверяю, он бы не допустил тебя в парикмахеры. Поверь: не допустил! Сейчас время другое! Что ты на это скажешь?

— Не говорите глупостей, дядя Охрем.

Мало-помалу экскаваторщик Охрем и парикмахер Гоша стали друзьями. Экскаваторщик взял Гошу под свою опеку. Узнав, что Гоша спит где придется (на койках рабочих в смене), он отправился к Авилову, нашумел и добился для Гоши отдельного места и сам приволок койку и матрац, набитый соломой. У них было согласие во всем, и только насчет специальности Гошиной между ними вспыхивали ожесточенные споры, доходившие до того, что они могли не разговаривать несколько дней кряду, пока дядя Охрем первым не делал шаг к примирению.

— Ну, ладно, хватит, Горка. И все-таки я остаюсь при своем мнении: парикмахер — это дело стариковское, ну по крайности женское. С такими ручищами, с такой силищей! Стой, стой, не дуйся. Я кончил. Я толь-

ко хотел сказать: противно мне глядеть в городе, к примеру, за прилавком на парней... Ему бы молотом махать, а он гирьки переставляет... Тьфу!

Авилов случайно услышал эти слова и пригрозил:

— Ты вот что: не лезь, куда тебе не положено. Гошка сам с головой. Насел!

— Все одно я переломлю его,— ответил дядя Охрем убежденно.— Сделаю из него что-нибудь полезное для строительства.

Гоша не помнил своего отца. Но Гоша гордился своим отцом и в память об отце стал парикмахером. Между прочим, Гошин дядя тоже был парикмахером. Но о дяде Гоша ничего не рассказывал дяде Охрему.

...Гоша думал о Зойке и размышлял над тем, что главнее: гражданская совесть или любовь? Гражданская совесть заставила его перессориться с сослуживцами своей парикмахерской на центральной улице города. Гоша на собраниях выступал против халтуры и «чаевых», писал заметки в газету «За культурное обслуживание», в которых разоблачал махинации зава и кассира, бывших в спайке с некоторыми из парикмахеров, завышавших таксу стрижки. Зава выгнали. Набрали девчонок. И среди них Зойку. Гоша мог бы торжествовать, но где-то в тайниках Гошиной души оставалось гнетущее чувство неудовлетворенности. Дядя предложил ему стать дамским парикмахером, уверяя, что это благороднее и еще «кое-что»... Дядя принимал гайком клиентов у себя на дому и хвастался, что он может достать в любое время все, кроме птичьего молока: жены директоров магазинов, жены директоров кинотеатров и других директоров за модную, выкрашенную под цвет молодости прическу — это такая сила, которая раскрывала перед дядей любые двери, куда ему нужно было войти!

Гоша пришел на первый урок к дяде. Пожилая женщина сидела, склонив голову перед дядей, а дядины руки, закатанные по локоть, растирали жидкие длинные космы каким-то жиром. Жир стекал по волосам и капал в эмалированный тазик, над которым склонились дядя и голова женщины. Дядя пугливо время от времени выглядывал в окно, спрашивал у Гоши: «Ты дверь не забыл закрыть?» Дядя боялся инспектора.

Дядя занимался этой халтурой, решив подработать денег для поездки на курорт самолетом. Гоше стало противно. Он убежал с первого урока и больше не показывался. Этот случай едва не привел к тому, что он вообще чуть было не ушел из парикмахерской. Но Гоша следовал по стопам отца. Он хотел сохранить образ отца в своем сердце. Подстригая, щелкая ножницами, он представлял, что точно так же щелкал и его отец. Мать рассказывала, что отец был очень честный человек, а Гоша рассказывал об этом Зойке. Зойка уважала Гошиного отца, носила стилижки платья и убеждала Гошку не ссориться с завом, доказывая, что «так делают все». Поэтому Гошка ссорился с Зойкой.

Смутные чувства привели Гошу на трассу строящегося газопровода. Этому помог Шулейко. Гоша гордился своей дружбой с дядей Охремом, глядел с восторгом на пылающие костры, отдаленно напоминавшие ему фронтовую обстановку и сблизившие его с погибшим отцом, и сердился, когда дядя Охрем твердил, что Гоше надо изменить профессию.

5

И вот вчера упрямый дядя Охрем, считавший себя вообще великим дипломатом и хитрецом, ввалился в вагон, снял фуфайку и сказал Гоше, усаживаясь к зеркалу:

— Ну вот, Горка, не нужен ты больше нам.

Ножницы в гибких пальцах Гоши задрожали. Он глянул вопросительно и ожидающе, а экскаваторщик объяснил:

— Если бы ты был газосварщиком, черта с три!.. А парикмахер... Есть он, нету его! Ну, подумаешь, там брит человек иль нестриженный. Все равно человек с руками, с ногами, делал дело и делает. А вот без газосварщика в нашем деле крышка. Это тебе не ножнички. Слыхал я, по секрету скажу, а ты никому не болтай, что Авелкин хочет от тебя ослобониться, чтобы лишнее место не занимал: разворот работ и те де. Понял меня? А я вот, если хошь, могу сразу устроить на курсы газосварщиков. Набор идет. А у меня блат. Пиши заявление прямо сейчас, и мы мигом в трест, по-

нял? Ты нужнее тогда! Тогда ты настоящий строитель, а не сбоку припека.

У Гоши дрожали губы. Он положил помазок на поднос.

— Ну добривай, чего там! — с непонятной веселостью воскликнул дядя Охрем, хитро поглядывая сбоку.— Вишь, полщечи еще... Добривай и пиши немедля заявление, я договорился уже обо всем: и о машине и об общежитии...

Гоша вышел на порог. Грачи вереницей, шумливо переговариваясь, как торговки на базаре, по-прежнему пролетали на север, неся на крыльях весну. Вдали в колыхающемся мареве уже виднелись неясные очертания города, где кончалась возводимая участком трасса.

Через три дня газопровод упрется в городскую подстанцию, и этого дня сдачи газовой магистрали газопроводчики ожидали, как самый большой праздник. Покупали обнови. Готовились списки на премии и представления к наградам. Гоша прошел почти всю трассу, снискал любовь и уважение газопроводчиков, делая их красивыми и опрятными. Гоша считал, что какая-то частица его стараний вложена в эту «тропу гиганта». Он не надеялся на награды и премиальные. Это было бы смешно. Но все-таки...

Автомшины подскакивали как-то неистово, судорожно. Газосварщики уже сбросили свои фуфайки и вот уже несколько дней без отдыха, без передышки сшивают последние метры магистрали. Во всем чувствуется оживление. Каждый день, каждый час досрочного пуска газопровода — это экономия, удовлетворение и слава. Рычат бульдозеры. Земля местами уже черная-черная.

Гоша был угнетен до крайности. Гоша — жалкий человек. Авилов уехал утверждать списки в трест. Авилов выгоняет его за ненужностью.

— Ну добривай же, Горка! — встал дядя Охрем с заткнутой салфеткой за ворот, ощущая, как зудит щека от высохшей мыльной пены.— Да поедем. Станешь ты, брат, газопроводчиком. Вот тогда...

Гоша с яростью повернулся к дяде Охрему. Старое, сморщенное в гармошку лицо показалось ему из-

девательски улыбчивым. Неужели его наследственная специальность?.. Гоша не мог успокоиться.

— Не буду я вас брить! — в отчаянии крикнул Гоша.

Он ушел за перегородку, стащил с себя ватные штаны, лихорадочно сдернул с гвоздя свои узкие брюки, переделался, запихал в чемоданчик инструмент и, пройдя мимо ошарашенного, пытавшегося что-то объяснить дяди Охрема, выбежал, плюхая толстыми подошвами по лужам, к разбитой колее дороги. Экскаваторщик бросился за ним, размахивая руками и что-то крича. Кто-то догнал его, хватая за полы стеганки и показывая в сторону экскаватора.

— Да сейчас! Да пусти, балда! — орал дядя Охрем, вырываясь.

Разбрызгивая грязь, перед голосующим Гошей затормозил «газик». Из «газика» плечами вперед, в кожанке и шапке-ушанке вылез удивленный Авилов.

— Ты куда, милоч?

— Не ваше дело! — отворачиваясь, враждебно отозвался Гоша. — Туда, где я нужнее.

— Ты, брат, того, не спяну ли? Или как?

Гоша непримиримо молчал, судорожно стискивая ручку чемоданчика. Его сумрачный, тоскливый взгляд остановился на дяде Охреме, подбежавшем к кювету. Видимо, узнав Авилова, старик, не добежав, повернул назад и скрылся за вагончиками.

— Конечно, дело твое! — сердито сказал Авилов. — Ты сам себе хозяин. Удерживать я тебя не могу. Приняли мы тебя неплохо, тобой были очень и очень довольны. Ну, а чем не потрафили, прости, брат. У нас дело горячее, расшаркиваться некогда! — Авилов хлопнул кабину. «Газик» заурчал, дверца снова открылась, и Авилов, выглянув, крикнул: — Зайди хоть премию получи, слышишь? Вот так-то, брат! А жаль, придется другого искать. — И «газик» помчался, сердито расшлепывая жирные плевки грязи.

Гоша медленно соображал. Гоша растерянно хлопал ресницами. Сердце Гошино заныло в каком-то радостном отупении. Гоше были ясны слова Авилова.

...Трасса по-прежнему продвигается вперед. По-прежнему каждый день захаживают к Гоше Авилов и

старый Охрем. Авилов хвалит Гошу, а Охрем бреется, жмурясь от удовольствия, а потом снова принимается за свое. Так они и переругиваются, и каждый остается при своем мнении. И, видимо, дяде Охрему не переубедить Гошу, потому что дело-то, оказывается, не в наследственной специальности, а в любви к ней. И это вам подтвердит любой газопроводчик, который побывал в Гошиных руках.

К этому можно было бы еще добавить, что праздник был как праздник. Перед праздником вагон ломился от клиентуры. Гоша получил премию, отослал ее матери, уведомив, что теперь их участок будет обозначаться под номером тридцать семь, что все хорошо и что с дядей Охремом они помирились.

В день сдачи магистрали друзья протолкались к буфету, выпили по чарке, и дядя Охрем сказал:

— Конечно, Горка, это был грубый маневр. Но ведь я от чистого сердца, Горка, действовал. Думал, пока там Авелкин в разъезде, справки наводить не станешь, а тем временем, значит... Вот так! Да ты не сердись! Ну, чокнемся еще!

Было весело. Играла радиола, и газопроводчики пели песни и танцевали друг с другом на еще не просохшей площадке у здания подстанции.

Тягачи протащили вагоны через весь город, а за городом свернули на проселочную дорогу, снова к газовому источнику.





## Хорошо, что мы встретились



Н

а работу в органы милиции я попал по путевке райкома комсомола три года назад. Жалею ли я теперь об этом? Иногда да: никто не рождается для того, чтобы иметь дело с мерзавцами, которым обокрасть старушку или за бумажник проломить хорошему человеку череп — что моргнуть. Но это только иногда. А когда мне случается схватить такого гада, я потом долгое время почти физически ощущаю, что недаром живу на белом свете.

И дело не в тщеславии. Просто я так устроен, что не смог бы работать в какой-нибудь тихой конторе: входящие, исходящие... Я должен видеть и чувствовать какой-то реальный результат своего труда. На заводе мне доставляло удовольствие время от времени поглядывать, как растет у моего станка груда блестя-

щих деталей. Что-то в этом роде я чувствую и сейчас, когда добавляю к своему личному счету еще одного паразита, который уже не сможет вредить людям.

Служу я при столичном вокзале, но то, о чем пойдет речь, никакого отношения к этой работе не имеет. Вернее, так оказалось потом. А началось все именно на вокзале.

Я только что принял ночное дежурство от Коли Бурнашева и с досадой думал о том, как мне не повезло. Сияющий Коля довел до моего сведения, что часа два назад наши ребята задержали аферистку, за которой я безрезультатно охотился почти два месяца. Ту самую, которая у меня под носом трижды уносила чемоданы доверчивых женщин, оставлявших ее «покараулить». Как нарочно, это каждый раз случалось в одном конце зала в тот момент, когда я находился в другом. А поскольку по описанию потерпевших воровка была молодой и довольно смазливой, ребята регулярно упражнялись в остроумии о причинах моей нерасторопности. Кто-то даже изготавил карикатуру для стенгазеты: я галантно улыбаюсь, а воровка тем временем вытягивает у меня бумажник.

Ладно, убеждал я себя, в конце концов самое главное — эта особа там, где таким и надлежит быть. И неважно, кто ей в этом помог. Но чувство досады все-таки оставалось. Поэтому, когда старшина Василий Иванович ввел ко мне в дежурку какого-то парня, я встретил симпатичного дядю Васю сугубо официально:

— В чем дело, товарищ старшина?

Василий Иванович, удивленный моей строгостью, тоже принял официальный тон:

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант: задержал этого гражданина с поличным: занимался спекуляцией.

Старшина положил на мой стол светло-серый свитер с черно-голубыми полосками у воротника и внизу. Красивый свитерок!

— Продавал?— спросил я дядю Васю.

— Так точно, товарищ лейтенант,— отчеканил он.

— Сколько их у вас?— обратился я к парню.

— К сожалению, один-единственный,— как ни в

чем не бывало засмеялся он и вдруг повернулся к Василию Ивановичу.— Ты бы, старшина, шел, занимался своим делом. А мы тут потолкуем с лейтенантом.

Мы с дядей Васей обомлели от такого нахальства. А парень снова засмеялся:

— Да ей-богу, нет тут никакой спекуляции. Человек с голоду помирает, а вы...

По его виду в самый раз заключить, что он помирает с голоду. Крепкий, широкоплечий, загорелый и... совсем не похожий на спекулянта. Однако видали мы и ворюг с внешностью деятелей науки.

Одет он в хороший серый костюм, только сильно измятый. Темные волосы коротко острижены, торчат ежиком. Брови тоже темные, густые. Глаза ясные, светло-синие, и нет в них страха, какой должен быть у задержанного с поличным спекулянта. Но в нашем деле никогда нельзя поддаваться первому впечатлению, и я потребовал:

— Документы!

По документам он оказался Субботиным Геннадием Павловичем, 1938 года рождения, шофером швейной фабрики, сибиряком.

Все это не объясняло, почему он занялся коммерцией на московском вокзале. Тут снова заговорил дядя Вася:

— Товарищ лейтенант, я, разрешите доложить, этого гражданина несколько дён на вокзале вижу. Видно, здесь промышляет.

— Да ничего я не промышляю!— с досадой откликнулся Субботин.

— Факт продажи свитера признаете? — спросил я, вытягивая из ящика бланк протокола.

— Признаю,— махнул он рукой.— Если это для вас факт...

— А для вас что?— иронически поинтересовался я.

— А для меня возможность еще несколько дней прожить в Москве.

— То есть?

— Вот и «то есть...» Дело тут важное у меня.

Василий Иванович усмехнулся: дескать, знаем мы эти важные дела.

— Слушай, лейтенант, отправь ты товарища старшину обратно в зал, и я тебе все объясню. А то вы из-за меня настоящих тунеядцев прохлопаете.

— Гражданин, не указывайте нам, что делать. Ваше дело сейчас — отвечать на вопросы. И потрудитесь обращаться на «вы»,—осадил я его уже менее уверенно, ибо и мне начинало казаться, что на этот раз Василий Иванович выудил не ту рыбку.

— Ладно, спрашивайте,—вздыхнул он.

Старшину я все-таки отослал. Он ушел, бросив на меня неодобрительный взгляд. Задержанный оживился.

— Слушай, лейтенант,— снова с улыбкой сказал он,— без протокола нельзя?

— Кажется, я пояснил, как следует обращаться к представителю власти,— напомнил я ему.

— Верно, пояснил,— согласился он.— Только я думал, что иногда можно поговорить и по-человечески. Вот тебе еще один документ.

И он достал из внутреннего кармана серую книжечку, такую же, какая лежала в кармане моего кителя. Я раскрыл ее и прочел, что Геннадий Субботин принят в ряды ВЛКСМ 12 апреля 1953 года.

— Так что ж ты, понимаешь...— начал я, откладывая протокол.

Он не дал мне закончить и заговорил сам:

— Честно говорю: очень надо побыть здесь, в Москве. А денег — ни гривенника. Я ж, понимаешь, с Рижского взморья качу, из отпуска. Что оставалось,— проел. Да еще на стадионе два раза был. Вот, понимаешь, и пришлось свитерок загонять.

— Да почему же на вокзале-то?

— А где ж? Старшина верно сказал, я ж тут у вас третью ночь провожу.

Я постарался спросить его как можно строже:

— Слушай, а зачем тебе в Москве-то надо быть? И на что ты будешь до дому добираться, если у тебя на харч не хватает?

— Доберусь, не в этом дело. Пришлют ребята. Тут другое хуже: не знаю я тут, где чего и где кто. Время теряю зря, на одном месте толкусь.

Я потерял терпение.

— Ты можешь толком сказать, что с тобой стряслось?

— Да не со мной,— с досадой возразил Геннадий.— С одним нашим парнем, понимаешь, такая история вышла... Обязательно выручать надо. Завгара нашего, понимаешь, чуть на тот свет не спровадил.

— Как на тот свет?— насторожился я.

— А так: три пули. Еле отходили. И зря отходили: туда бы ему и дорога... Понимаешь... Слушай, как хоть тебя величают?

— Дмитрий Аникин.

— Митя, значит. Рассказывать долго будет, Митя, на вот лучше прочти, что мне дружок написал в санаторий.

Несколько листков, выдранных из ученической тетради и исписанных корявым почерком человека, не привыкшего к чернилам, захватили меня с первых же строк. Они подробно рассказывали о том, как некий Володька Фролов, работавший вместе с Геннадием, покушался на убийство заведующего гаражом Парамонова. Этот Парамонов занимался воровством готовых изделий и тканей, а когда почувствовал опасность разоблачения, подставил под удар Фролова, имевшего ранее судимость. Фролов был совершенно не виноват в данном случае. Но доказать он ничего не мог. Когда его потянули в суд по ложному обвинению, он пытался убить завгара. И за это был приговорен к расстрелу. На суде один из сообщников настоящего преступника не выдержал и рассказал всю правду. Состоялся еще один разбор, ложное обвинение с Фролова было снято, высшую меру отменили. Но поскольку покушение на жизнь было фактом, Фролову дали большой срок. Жена его попала в больницу с тяжелым нервным заболеванием. Дочку пока взял к себе в семью один из шоферов, по фамилии Курицын.

Закончив читать, я поднял глаза на Геннадия и увидел, что он спит, положив голову на руку, обнимающую спинку стула.

Секунду подумав, я решительно встряхнул его за плечо. Он испуганно вскинулся, потом виновато улыбнулся.

— Трое суток по-настоящему не спал...

Я указал ему на прямоугольную деревянную скамью с высокой спинкой.

— Ложись сюда и спи. Утром поговорим.

— А как же?..— нерешительно начал он.

— Ложись, ложись. Утро вечера мудренее.

Через минуту он снова спал, как будто это была не жесткая казенная скамья, а мягкая перина.

Дежурство шло обычным чередом. Приводили пьяных бузотеров, один из них продолжал шуметь, горланить невнятные песни, но Геннадий ни разу не проснулся.

А я занимался обычными делами и размышлял об этом сибирском чуде, спавшем в милиции, как у себя дома. Кто он может быть этому Фролову? Родич? Корешок по прежним делам? Непохоже. Комсомольский билет у него, пятнадцати лет вступил. И вообще чего он хочет добиться? Чтоб этому Фролову почетную грамоту вместо срока дали?

Так ничего себе и не уяснив, я поднял Геннадия минут за десять до сдачи дежурства. Неожиданно для самого себя предложил:

— Пойдем ко мне. Там обсудим, как и что.

Он вдруг застеснялся.

— Зря ты это, понимаешь... Обойдусь...

— Ладно, разговорчики!— обрезал я его строго. Геннадий засмеялся.

— Молчу.

Через час мы были в Черемушках. Сюда я переселился после того, как наш древний деревянный особняк пошел на слом. Только отомкнув дверь, я осознал, что натворил, поддавшись чувству симпатии к этому незнакомому человеку.

В коридоре, небрежно запахнув свой старый халатик, стояла Настя, моя младшая сестренка, единственный оставшийся на этом свете родной мне человек. С ней мы и вселились в эту маленькую однокомнатную квартирку года полтора назад.

Настя пожала плечами и, не проронив ни слова, ушла на кухню.

Мы вошли в комнату, и я почувствовал, как мне в лицо бросилась кровь. У окна, на полу, стояли разнокалиберные бутылки. Пепельница ломилась от окур-

ков, а скатерть украсилась бурым пятном, похожим на африканский континент. Все ясно: у Насти опять собралась ее развеселая компания.

Пряча глаза от Геннадия, я с той же наигранной веселостью сказал:

— Садись, сибиряк, гостем будешь. Настенька сейчас нам сообразит насчет позавтракать. Это моя сестра, между прочим.

— Сестра? — переспросил он и, как мне показалось, вздохнул с явным облегчением.

Кажется, он поначалу решил, что ему предстоит присутствовать при объяснении мужа с женой.

Эх, Геннадий, если бы ты знал! Каждому ясно, что́ делать с неверной женой. А вот как быть с сестренкой, которая с закрытыми глазами шагает к темной пропасти и не хочет остановиться, подумать, оглянуться по сторонам, не хочет понять, что прожила только маленькую часть своей жизни и если жить дальше так, как она живет сейчас...

У меня начинало в буквальном смысле слова болеть сердце, когда я думал о том, что стало с моей веселой, нежной, доверчивой, как ребенок, Настенькой.

А ведь ей только-только минуло двадцать...

Несколько месяцев назад, после техникума, Настя стала работать в ЦУМе, в секции, где продаются предметы мужского туалета. Там ее и углядел этот Саша, парень действительно внешне интересный и неглупый.

Еще ничего не зная о нем, я начал понимать, что с Настенькой происходит что-то необычное. Без причины весь вечер не поют и не подметают комнату, пританцовывая. Вскоре я стал находить дома окурки сигарет. И, наконец, однажды, придя домой в неурочный вечерний час, столкнулся с этим Сашей нос к носу. Настя нас познакомила, и я, преодолевая свое паршивое гриппозное состояние, два часа беседовал с ним на разные темы. Настенька сияла, а я старался держаться с ее другом как можно приветливее.

Перемена в ней произошла за одну ночь. Я пришел тогда и впервые увидел ее с папиросой во рту. Она лежала на диване и даже не повернула голову в мою сторону. Рядом на полу стояла пепельница с грудой окур-

ков, запачканных помадой. На мой вопрос Настя ответила незнакомым, хрипловатым голосом:

— У меня болит голова.

Больше ничего я от нее в тот вечер не добился. А наутро она стала той Настей, которая сегодня встретила нас с Геннадием. С тех пор часто у нас стали собираться ее новые друзья.

Однажды, увидев в очередной раз пустые бутылки и пепел на полу, я попытался серьезно поговорить с ней. Но мой пыл не смог растопить холодное безразличие, с которым она меня слушала. В конце концов она оборвала меня:

— Красивые слова. Перестань, пожалуйста.

Она произнесла это с таким равнодушием, как будто я действительно нагородил какую-то несусветную чушь. Я сорвался и начал на нее кричать. Она по-прежнему смотрела на меня пустыми глазами и курила. А когда я выдохся, спокойно сказала:

— Все? Митенька, ты все еще смотришь на жизнь сквозь розовые очки, а с меня их сняли раз и навсегда. Ты все еще думаешь, что негодяи встречаются только в милицейских участках. А они просто ходят по улицам, вместе с нами, и справа и слева. Ты думаешь, Сашка бросил меня и так далее? Ничего подобного, дорогой Митенька. Он с удовольствием будет со мной и дальше. Он, видишь ли, выиграл на мне две бутылки коньяка. Марки «Ереван». И при этом обманул своих приятелей. По условию, видишь ли, он должен был добиться меня, не обещая жениться. А он двадцать раз расписывал мне, как мы будем счастливы вдвоем. И те, кто проиграл, уличили его. С моей помощью. Хотя, конечно, я не знала, о чем шла речь. И все это обычные милые мальчики, Митенька, из обычных милых семей. Они ходят по улицам вместе с тобой, и ты их охраняешь от неприятностей, Митенька.

— Замолчи!— крикнул я, уже совершенно не владея собой.— Где он живет?

— Ты заставишь его на мне жениться? Спасибо, не надо,— усмехнулась Настя.

— Где он живет? — заорал я. Наверное, я был страшен, потому что Настенька испуганно отошла на несколько шагов. Я бросился к ее сумочке и достал



записную книжку. Она схватила меня за руки и что-то пыталась сказать, но я вырвался и выскочил на лестницу. Адрес в книжке нашелся. Дальше я действовал с отключенным рассудком, с одной-единственной мыслью: найти, немедленно найти этого ублюдка.

И я его нашел. Он надолго запомнит нашу встречу.

Знаю, что офицер милиции не имеет права на самосуд. Но брат девушки, у которой больше нет никого на свете, имеет право сделать то, что сделал я с гадом, отравившим ее. Если будет нужно, я готов понести наказание. Но и тогда скажу: ни малейшего угрызания совести не чувствую.

Беда в другом: справедлив или несправедлив был мой поступок, он ничего не изменил для Насти.

Как же это я смог, забыв обо всем, привести в дом симпатичного, но совершенно незнакомого человека! Он будет здесь жить, может быть, несколько дней и, конечно, поймет, как неладно обстоят дела в нашей маленькой семье. Да и вообще, до посторонних ли, до чужих ли бед в нашем положении...

Геннадий отвлек меня от дум восхищенным восклицанием:

— Эх, здорово!

— Что здорово? — не понял я.

Он обвел рукой вокруг.

— Все здорово. Комната. Книги есть куда поставить. Мебель красивая. Живут же люди!

— А ты что, и у себя дома ночуешь на вокзале?

— На вокзале не на вокзале,— вздохнул сибиряк,— а что-то вроде. В общежитии, понимаешь, прижился. Жениться и то не могу.

Вошла Настя и коротко скомандовала:

— Пошли!

Мы перебрались на кухню, где Настя успела навести порядок и накрыть стол. За завтраком я как бы между прочим спросил:

— А этот Фролов, он тебе кем приходится?

Геннадий даже перестал жевать и недоуменно посмотрел на меня.

— Как это кем? Никем.

— Ну, приятель, что ли, или как? — пояснил я.

— Да нет,— пожал он плечами.— Мы и разговари-

вали-то пару раз — так, вообще. Да еще был я у него на новоселье вместе со всем гаражом.

Пришел мой черед удивляться:

— Так чего же ты ввязался в эту историю?

— Вот те раз! — усмехнулся Геннадий недобро. — Раз не родня, не приятель — значит, пусть спокойно отсиживает свой срок?

Я не нашелся, что ответить. Настя, не понимая, о чем разговор, переводила взгляд с меня на гостя и молча неохотно ела. Я сказал ей:

— Любопытная штука у них там произошла. — И попросил Геннадия: — Дай ей прочесть письмо.

— А чего ж... — Он достал мятые листки.

Настя лениво взяла их и стала читать с обычным равнодушным видом. Но через минуту-две она отложила вилку в сторону, и я понял, что ее тоже заинтересовала так неудачно сложившаяся судьба человека из далекого сибирского города.

Я снова принялся расспрашивать Геннадия:

— Так тебе что, поручили похлопотать за него?

— Никто мне не поручал, — рассердился он ни с того ни с сего. — Сам сделал остановку. Послал на фабрику заявление, чтобы дали неделю за свой счет. А что? Ты чего добиваешься от меня, говори уж прямо.

— Ничего я не добиваюсь, — рассердился и я. — Только почему ты решил, что ты умнее всех на свете, вот что я не пойму?

Геннадий тоже отложил вилку и насупился.

— Из чего же это видно?

— Да из того. Если каждый будет сам сводить счета за свои обиды, а мы будем либеральничать, у нас будет черт-те что...

На этом слове я осекся и опять почувствовал, что густо краснею. Покосился на Настю, но она не обращала на нас внимания, погружившись в чтение письма. Геннадий, конечно, ничего не понял, удивленно поморгал и принялся за чай. Видно, изрядно он проголодался за последние дни.

В молчании мы закончили завтрак и вернулись в комнату. Закурили. Вошла Настя, тоже села и закурила. Геннадий исподлобья поглядел на нее, но промолчал. Настя одним ртом улыбнулась.

— Не одобряете?

Он, помедлив, ответил:

— Не идет вам.

— Вот, Митенька, это для женщины серьезный аргумент. А ты все с медицинской точки зрения.

Настя снова повернулась к гостю.

— Вы как, всем беретесь помогать или только уголовникам?

Геннадий не ответил, поднялся и провел рукой по щекам.

— Митя, будь другом, мне бы побриться, да я пойду.

— Куда ты пойдешь?—охладил я его.—Сегодня же воскресенье.

Он чертыхнулся.

— Еще день потерял! Ну, все равно, мне, пожалуй, пора трогаться. А тебе выспаться надо.

Я положил ему руки на плечи и усадил на то же место.

— Брось! Не обижайся. А ты, Настя, не дури. Человек и вправду сбежит от такого гостеприимства. Настя засмеялась и встала. У двери обернулась.

— Оставайся. Мне иногда нравятся донкихоты. Когда дверь затворилась, Геннадий помотал головой.

— Ну и ну... Называется: любовь с первого взгляда. Слушай, может, мне, верно, уйти?

Я успокоил его.

После долгой паузы он спросил:

— Что ты мне посоветуешь?

— А ты уверен, что тут вообще надо что-то затевать?— ответил я вопросом на вопрос.

— Эх!— Он стукнул кулаком по колену.— Ну рассуди сам. Кому выгодно, чтобы Володька сидел? С государственной точки зрения это не нужно, уверен. Отсидит такой человек и выйдет законченным, убежденным бандитом. Он еще и думать-то по-настоящему не научился, одно только понимает: хотел завязать по-честному, а его за чужую вину опять за решетку. Но это одна сторона. У него же жена, дочка. Им-то за что страдать, скажи, пожалуйста? Ведь если бы не этот сукин сын Парамонов, Володька жил бы, как

все люди. И думать бы забыл о старых делах. Вот и прикинь, что выгоднее государству: сохранить жизнь и покой трем людям, а может, и больше — иначе Фролов и других станет убеждать: нет, мол, справедливости — или формально исполнить закон?

Да, сибиряк меня озадачил. С этих позиций я о деле Фролова не думал. А подумав, решил, что Геннадий, безусловно, прав, ибо Фролова, несмотря на совершенное им, нельзя считать социально опасным элементом в полном смысле этого слова. А если так, то наказывать его, как требует буква закона, — значит, искалечить души этих трех людей (а может, и больше, как правильно заметил Геннадий). И я с уважением посмотрел на Геннадия: у этого шофера голова работала не вхолостую. Я вот не сразу сообразил, а он ухватил самую суть. Однако что же тут практически предпринять? Куда постучаться и как объяснить, почему мы, посторонние люди, хлопчем за этого Фролова?

Я изложил свои сомнения Геннадию, и он сразу отшел их:

— Ты же понял? Почему же другие не поймут? И неважно, что посторонние. Если постороннюю женщину бьют, ты вступишься? Факт. Тебе и в голову не придет, что она посторонняя. Так и здесь каждый имеет право вступиться.

— Каждый имеет, да не каждый захочет, — подала голос от двери Настя.

— Если объяснить, как полагается, захотят, — убежденно возразил Геннадий.

— О господи! — вздохнула Настя. — Хорошо жить на свете таким оптимистам!

— А ты что, из пессимистов? — вдруг осмелел сибиряк и смерил Настю взглядом. — Что-то рановато вроде? — И снова обратился ко мне с тем же вопросом: — Так что посоветуешь? Ты же как-никак законник.

Мы обсудили, с чего начать, и решили, что он в понедельник пойдет в ЦК комсомола. Не смогут там помочь — так посоветуют. А я позвоню знакомым ребятам в прокуратуру, чтобы узнать, с какого бока подступиться к этому делу. Настя в разговоре не участво-

вала, но и не перебивала больше. Сидела на обычном месте, на диване, и курила одну папиросу за другой. На нас даже не смотрела. Один раз только с каким-то странным выражением взглянула на Геннадия, когда мы в разговоре вернулись к происшествию со свитером, и посмеялась над началом нашего знакомства. Потом меня разморило, и я с удовольствием улегся и моментально заснул. А когда проснулся, в комнате была только Настя: сидела, сжавшись, в уголке своего дивана и плакала. Сна моего как не бывало.

— Где Геннадий?— спросил я ее, предчувствуя недоброе.

Она заплакала еще горше, просто в голос. Я сел рядом с ней, обнял ее. Настя прижалась к моему плечу и, казалось, хотела выплакать всю горечь, накопившуюся у нее на сердце за последние месяцы. Наконец она немного успокоилась, и я опять спросил, куда девался наш гость. Все еще всхлипывая, она сказала:

— Ушел.

— Как ушел? Почему?

— Ушел... Сказал, что я дрянь, и ушел.

— А что ты сделала?

Из Настиных сбивчивых слов я понял только, что, пока я спал, они разговаривали с Геннадием на кухне и начали спорить на тему о любви (как уж они на нее набрели, бог весть). И тут Настя, видно, ляпнула ему такое, что он обругал ее и хлопнул дверью. Ну что было делать с этой девчонкой? Я хорошо представлял, что могла она наговорить Геннадию и каково ему было слушать циничные суждения этого птенца.

Мы сидели и хмуро молчали. Настя только раз нарушила наше молчание:

— Где же он будет ночевать?

— Там же, наверное, где раньше,— мрачно сказал я и добавил, не сдержавшись:— Видно, на вокзале оказалось приятнее, чем у нас.

Она не ответила.

На другой день я позвонил в прокуратуру Игорю Короткевичу. Выслушав мою длинную и горячую речь, он сказал:

— Сложное дело. Но в общем-то твой сибиряк, кажется, прав. Надо поговорить с умными людьми.

Знаешь что, дай я буду действовать по своей линии, а ты посоветуй этому парню обратиться в газету. Это раз. И пусть едет домой и сагитирует свою комсомолию написать ходатайство за этого Фролова. Это самый верный путь.

На том и расстались, договорившись созвониться через денек. Но Геннадий так и не появился, хотя я несколько раз обошел весь вокзал. Приехал домой я совершенно расстроенный. К моему удивлению, Настя поинтересовалась, что мне удалось сделать. Я кратко рассказал о разговоре с Игорем, добавив, что в нем мало проку, поскольку Геннадий исчез.

Укладываясь спать, я услышал вдруг, как хлопнула входная дверь. Вышел в коридор и обнаружил, что Насти нет. Значит, отправилась на ночь глядя к своим непутевым друзьям. Я в отчаянии вернулся в комнату и лег. Очнулся оттого, что дверь снова хлопнула.

Через минуту в комнату с виноватой улыбкой вошел Геннадий. За ним — Настя. И она тоже улыбалась, но как-то неуверенно, неумело. От этой ее улыбки у меня сердце защемило сильнее, чем от ее слов. Стало быть, Настенька ездила на вокзал и сумела среди сотен людей найти сбежавшего сибиряка. Я и не ожидал, что меня так обрадует появление этого чертова Геннадия Субботина. Опять-таки не знаю, о чем они там, на вокзале, толковали, но никто из нас к тому воскресному конфликту не возвращался.

Я заметил, что глаза Настины теплеют, когда она смотрит на Геннадия, и забеспокоился. Она перехватила мой удивленный взгляд и, когда Геннадий вышел, вдруг сказала, глядя куда-то в сторону:

— Ты ничего не думай. У него там есть девушка, они скоро поженятся.

Вот и все.

Геннадий прожил у нас еще два дня. Следуя совету Короткевича, он развил бурную деятельность. Побывал в редакции одной центральной газеты, сумел убедить газетчиков заняться этим делом. Вставал чуть свет и принимался писать письма во все мыслимые инстанции, а потом относил их, сдавал под расписку. В общем, запустил машину на полный ход.

На третий день мы его провожали. Говорю «мы»,

потому что Настя тоже приехала на вокзал, хотя и стояла на платформе, молча, словно набрав в рот воды.

Как всегда при прощании, разговор не клеился. Геннадий пообещал писать, взял с меня слово, что я буду следить за ходом дела и информировать его. Пожал нам руки и скрылся в вагоне. Потом появился у закрытого окна и стал делать какие-то знаки. Я показал жестом, что не понимаю. Геннадий открыл окно и сказал, обращаясь к Насте:

— А за эти папиросочки я бы на Митькином месте выпорол тебя как следует.

Настя рассмеялась так звонко, что на нее даже оглянулись.

Поезд беззвучно стронулся с места. Геннадий махал нам из окна. А я неожиданно для себя взял под козырек. Счастливого тебе пути, друг! Хорошо, что на свете есть такие, как ты. Хорошо, что мы встретились...



## Мой гид

*(Из рассказов об Одессе)*



шел мимо одесского базара. Я смотрел, как рыжие кузнецы, матерясь и вытирая веснушчатые руки о кожаные фартуки, подковывали колхозных лошадей. Я слышал смех женщин, привезших на базар домашнюю кровяную колбасу. Я любовался тем, как чумазые малыши, растирая по своим рафаэлевским мордашкам сок, уплетали желто-синие персики.

Базар шумел, базар гремел веселым довольством и фламандской доброй сытостью. Я не видел здесь гобеленов с лебедями и синими девками, вылезаящими из тины пруда. Я не слышал пришептываний барышников. Я видел базар изобилия. Я видел за прилавками не пьяных мужиков, а краснощеких, арбузогрудых колхозниц. И я радовался этому базару, и никто не посмеет упрекнуть меня за эту мою радость.



Когда я остановился у кузни, ко мне подошел курчавый голубоглазый мальчик в школьной аккуратной форме и спросил:

— Дядя, вы кого-нибудь ищете?

— Да,— ответил я.

— А кого вы ищете, дядя?

Я не смог бы ему точно объяснить, кого я ищу и что я ищу. Поэтому я ответил:

— Я ищу, где здесь продается мороженое.

Лицо мальчика засветилось при слове «мороженое», и он с невыразимым сожалением спросил меня:

— Ну и где же вы ищете? Вы считаете, мороженое есть в кузнице? Так его там нет.

— Ты думаешь?

— Дядя,— сказал мальчик,— когда я говорю, так я уже не думаю. Когда я говорю, тогда я знаю.

Я потрепал его по африканским жестким кудрям. Он улыбнулся мне ртом, в котором зубы были разбросаны, как кукурузные зерна, но только рукой сильно подвыпившего сеятеля.

— Вы не одессит,— сказал мальчик, все так же ослепительно улыбаясь,— и вы даже не человек с Украины. О, у меня хороший глаз на приезжих! Может, показать вам наш город? У меня есть немного свободного времени.

— Покажи,— попросил я,— буду тебе благодарен.

— Ах, дядя, мы же не дипломаты, к чему вы так говорите!

Мы гуляли по городу часа три. Мой курчавый гид, ученик шестого класса Витька, говорил так:

— Что я вам могу объяснить за дюка Ришелье? А ничего! Зачем говорить за дюка, когда о нем все сказали мушкетеры. И за Пушкина я вам тоже ничего не буду говорить. Я вам только напомню, что уж если кто и любил Одессу, так это Пушкин. И что я расхваливаю Одессу? — вдруг спохватился Витька.— Хорошенькое дело, я расхваливаю Одессу! У вас есть глаза — так смотрите!

Мы стояли на набережной и смотрели на порт, где поворачивали свои цыплячи, жалкие шеи многотонные порталльные краны. Мы смотрели на корабли,

стоявшие на рейде. Мы смотрели на зеленое море, на белые домики и на синее солнце.

— Дядя,— потянул меня Витька за руку,— пойдите, дядя, я свожу вас в Музей обороны. Там есть пистолеты в стендах.

— Ты думаешь, это очень интересно, пистолеты в стендах?

— Дядя, если вам выпало счастье воевать, так мне этого счастья не выпадало.

— Ты убежден, что воевать — это счастье?

— Когда пистолет, тогда всегда счастье,— убежденно сказал Витька, и мы пошли с ним в музей.

Он ходил по холодным залам и замороженно глядел на оружие. Потом мы снова вышли на звенящую, солнечную одесскую улицу, и он спросил:

— Ну, как вам город?

— Прекрасный город.

— Вы рано сказали, что это прекрасный город, дядя. Если вы не посмотрите кино Гриши Поженяна «Жажда», вы ничего не поймете за Одессу, дядя.

И мы пошли смотреть кино Гриши Поженяна «Жажда».

Пока мы стояли в очереди за билетами, Витька говорил:

— Я вам скажу честно, дядя, я пока еще нигде не был, кроме Одессы, хотя мог бы сплавать в Батуми, когда захочу, потому что мой брат работает на «Победе» коком. А я не был в Батуми. Вы спросите: «Почему?» И я отвечу так: не хочу уезжать с Одессы даже на день. И если мне говорят, что в Батуми можно купаться в декабре, так, вы думаете, это сообщение делает меня несчастным? Нет. Это не делает меня несчастным, хотя я люблю купаться. А вы любите купаться?

— Люблю.

— Вот видите. Все люди любят купаться, когда отдыхают. А когда есть школа, тогда не до купанья, так ведь?

— Да,— согласился я.— Ты, конечно, прав.

— Дядя,— сказал Витька, когда мы вышли из кинотеатра,— только скажите мне честно: вы советский гражданин?

— Советский,— сказал я.— А ты что забеспокоился?

— Пограничный город,— пояснил Витька,— все-таки опасно так откровенничать, как я. Мой дедушка говорит, что пока Аденауэр в Западной Германии работает президентом, нельзя быть очень-то откровенным. А скажите, дядя, вы, случаем, не торговый моряк?

— Нет,— признался я,— к сожалению, нет.

— Ай-яй-яй!— покачал головой Витька.— А мне почему-то показалось, что у вас есть обменные марки.

— И обменных марок у меня нет.

— Я понимаю,— вздохнул Витька,— ну что же, мне пора.

Этот разговор происходил рядом с мороженщицей, и Витька, задавая мне вопросы, то и дело поглядывал в ее сторону. Я подошел к мороженщице и купил самое большое мороженое, какое только было. Витька вожделенно развернул его и начал аккуратно облизывать шоколад острым языком, сложенным в трубочку.

— Дядя,— сказал он,— я понял, что вы добрый человек, дядя. У вас есть бумага и ручка?

— Нет.

— Тогда подождите меня здесь минут десять, я очень прошу вас.

Витька юркнул в подворотню. Я ждал его минут восемь. Он вернулся, запыхавшись. В руках он держал пузатый портфель. Он вытащил оттуда ручку и лист бумаги, вырванный из тетрадки.

— Дядя,— попросил он,— напишите в школу, что я помогал больной старушке добраться до дома.

— Ты пропустил уроки?

— Дядя,— ответил Витька,— мне больно отвечать на ваш вопрос.



Я написал ему записку, и он ушел, напевая что-то веселое и звонкое.



## Десять тысяч шагов



Генка совершенно не понимал, почему это так, да и вообще этого нельзя было понять, но именно сегодня с самого раннего утра у него было совершенно определенное предчувствие чего-то неизвестного, таинственного, важного и обязательно хорошего. То ли молодость в его душе была слишком неугомонной, то ли утро было каким-то уж очень ясным и светлым, а скорей всего обе эти причины вместе подняли Генку на целый час раньше обычного.

Над пустыней всходило солнце. Сначала по безоблачному небу цвета полинявшего голубенького ситчика позолоченным веером брызнули гонцы солнца — его лучи, потом оно само глянуло из-за далеких холмов ослепительным царственным оком своим, и вот низко над горизонтом повисло уже все великое све-

тило, чуть волнуясь и подрагивая в теплых воздушных струях. словно листок фотобумаги в руках фотографа, в одну минуту переменялось однообразное лицо пустыни. В каждой ложинке, за каждым холмиком спрятались темные резкие тени; невесть откуда и невесть куда побежали по песку следы, такие свежие и четкие, словно их только что нарисовали черной краской. Это было удивительно. Генка каждый день видел пустыню, но никогда не замечал всего этого. День начинался по-новому, необычно, и предчувствие пока что не обманывало.

Было еще очень рано, не больше семи часов, а пустыня уже напоминала о себе, дохнув в лицо Генке сухим, горячим ветерком, будто и не было совсем ни ночи, ни темноты, ни прохлады. Генка послонялся по гаражу, потом взял кое-какие ключи и полез под свою полторку; не то чтобы ему захотелось вдруг работать, нет: просто под брюхом машины была тень, а делать было нечего. Он улегся на спину на жестком брезенте, привольно раскинув ноги, и уже принялся было подтягивать гайку, как вдруг у колеса в двух шагах от его головы остановились чьи-то ноги. Генка не видел их хозяина, но знал, что это был Клевцов. Он один во всем гараже носил даже в самую жару свои неизменные солдатские галифе и сапоги: здоровенные кирзовые сапожищи примерно сорок четвертого размера, порыжевшие и растрескавшиеся от зноя. Генка принялся старательно отдуваться, пыхтеть, колотить ключами друг о друга и вообще изо всех сил изображать кипучий трудовой процесс. Клевцов молчал.

«Ничего, начальник, подождешь!— довольно подумал Генка.— Наплевать мне на всех, когда я занят ремонтом. И на тебя наплевать!»

Впрочем, если говорить честно, то Генка побаивался Клевцова. И совсем не из-за его жесткой нижней челюсти и тяжелых кулаков, дело было совсем не в них. На своем коротком веку много успел Генка пережить начальников: строгих и добродушных, молчаливых и крикливых, трезвенников и пьяниц. Но такого, который, как ни крути, всегда оказывается прав,— такого ему еще не попадалось. Этого стоило уважать и, пожалуй, слегка побаиваться.

Генка вытер со лба пот, вздохнул и с неохотой полез из-под машины. Интересно, чего Клевцов от него хочет? Стоит и ждет. За последнее время Генка вроде бы здорово не выпивал, драк не устраивал. В аварии тоже не попадал, если не считать смятой фары, за которую нагоняй уже получен. Странно.

Генка вздохнул, перевернулся на живот и, пыхтя, выбрался наружу.

— Что это ты сегодня, брат, ранней птичкой, а?— как всегда угрюмовато, поинтересовался Клевцов, удивив Генку теми нотками доброжелательности в голосе, которые были для него необычны и не подходили к его суровому, мрачноватому облику.

— Да сам же говорил, что машина — она глаз да уход любит! — копируя Клевцова, пробасил Генка.

— Это точно! Рассуждаешь как положено! — не замечая иронии, удовлетворенно сказал Клевцов. — И вообще хоть и много в тебе дури, а все же боёк в голове имеешь. Понял?

— Так точно, товарищ начальник!

От души радуясь и немножко забавляясь совершенно необычайным явлением (Клевцов похвалил его, Генку!), Генка тут же отыскал ему объяснение: все дело в том, что день с самого начала оказался необычным, предчувствие сбывалось.

— Да-а... — неожиданно протянул Клевцов, как-то потускнев лицом и внимательно разглядывая грязные носки своих сапог. — А обстановка, парень, вот такая.

Генка насторожился. «Парнем» начальник называл его, если хотел отчитать за что-нибудь. Но за что?

— Ночью, сам знаешь, какой ветер был, — продолжал Клевцов. — Дороги опять позаносило. А на четвертую буровую еще вчера надо было воду отвезти. Дрянь дело. Понимаешь, что к чему?

Генка не понимал. Дороги заносило довольно регулярно, и не менее регулярно надо было возить воду. Правда, ночью была, кажется, самая настоящая буря, но ведь она кончилась!

— Темнишь, начальник! — насторожился Генка, подозрительно покачав головой.

— Да чего тут темнить, — проговорил Клевцов, твердо уставив на Генку свой темный, тяжеловатый,

с легким прищуром взгляд бывшего артиллериста.— В гараже только твоя полторка, сдай ее Азнакаеву. Принимай дежурство. Ясно?

Тяжелая рука легла Генке на плечо. Генка находился, как воробей в сильный мороз, отвел плечо и сердито засопел. Предчувствие обмануло его, день начинался совсем не чудесно, а просто паршиво. Генка обещал быть сегодня на буровой, а тут на тебе: принимай дежурство!

— А я что, маленький, да?— продолжая сопеть, спросил Генка.

— Да ты погоди,— поморщился Клевцов,— ты пойми. Азнакаев — водитель бывалый, опытный, да и то, черт его знает, как он туда доберется на твоей старухе! Вон как скаты обшарпаны. А ведь песок! Ну, давай ключ.

— Не дам!— твердо сказал Генка, зло разглядывая прокуренные усы Клевцова.— Не доедет твой Азнакай, старик он. А я на моей «Маруське» доеду!

— Слушай, парень, ты мне тут махновщину не разводи!— разсзлился Клевцов.— Люди воду ждут, сутки не пивши работают, а мы прения разводим! Давай сюда ключ!

— Я сам повезу воду!— угрюмо и упрямо заявил Генка.

Начальство окончательно вышло из себя. Клевцов орал сиплым басом и даже махал перед его носом измазанными солидолом кулаками. Генка был назван молокососом (за свои 20 лет) и стилигой (за узкие брюки и прическу ежиком). Молокосос и стилига испуганно пятился, пряча за спиной зажатый в кулаке ключ и упрямо косясь на Клевцова. И вдруг в темных глазах начальника, где-то в самой их непроглядной глубине, Генка увидел одобрение. Да, да, это было именно одобрение, тщательно маскируемое гневом, но все же несомненное и даже немного озорное одобрение!

— Как будто сам не был молокососом!— осмелев, пробурчал Генка себе под нос.

Клевцов осекся на полуслове и задумался, выпучив глаза.

— Хм! Ну, шут с тобой, Дубинский!— неожиданно легко сдался он.— Только ты учти: сядешь на Бархан-

ном — пальцем не шевельну. А вода чтоб на буровой была. Ясно?

— Ха! Не волнуйся. Будет полный порядочек!— обрадовался Генка.

— Он мне говорит! Не гараж, это ж детский садик какой-то, ей-богу!— ворчал Клевцов, но уже больше так, для порядка.

Генка влетел в кабину, включил зажигание и привычно ткнул носком ботинка в блестящий пятачок стартера. «Маруська» сонно фыркнула, недовольно захихала, лениво затарахтела стареньким, изношенным мотором. Выезжая из гаража, он увидел в воротах Клевцова и Азнакаева. Первый сурово кивнул Генке, а второй недовольно покачал головой: он-то хорошо знал, что такое живые пески в Каракумах! Генка беззаботно помахал им из кабины кепкой и лихо крутанул баранку. Победно трубя, «Маруська» проворно побежала за своей пока еще длинной и прохладной тенью. Казалось даже, машина рада, что ей не делают бесконечный «текущий ремонт». Генка беспечно улыбнулся. Предчувствие все-таки не обманывало.

Впереди сто сорок километров дороги по безлюдной песчаной пустыне до затерянной где-то среди барханов буровой номер четыре.

Первые восемьдесят километров промчались незаметно и даже весело. За боковыми стеклами, подрагивая, величаво поворачивалась однообразная, манящая своей бесконечностью пустыня. Дорога шла настолько прямо, что напоминала Генке туго натянутый шнурок. Она выползала из-за горизонта едва различимой ниточкой, затем недвижно выжидала некоторое время, постепенно толстая и раздваиваясь, и вдруг стремительно кидалась под колеса двумя пыльными лентами-колеями. Красный кончик стрелки спидометра весело выплясывал где-то между цифрами «шестьдесят» и «семьдесят». Это был предел для «Маруськи».

Генка уверенно жал на акселератор, небрежно держа баранку одной рукой и папиросу другой. Длинноносый пластмассовый Буратино, болтавшийся на красной ленточке перед ветровым стеклом, улыбался до ушей и с удовольствием слушал Генкин художественный свист.



Но вот плоские солончаки кончились. Равнина постепенно посветлела, пожелтела и пошла пологими волнами. Горячий, сухой ветерок гнал по лощинам желтую песчаную поземку. Кое-где стали попадаться корявые, бурые и с виду безжизненные деревца саксаула. «Маруська», как живая, подвывала на подъемах и тихонько скулила на спусках.

«Вот дает газу!»— подумал Генка про солнце, чувствуя, как от железной крыши кабины пышет печным жаром. Он немного опустил левое стекло. На зубах сразу же закрипел песок.

Где-то около девяностого километра ему попался первый занос. Маленький низкий барханчик лизнул дорогу нешироким желтоватым языком. «Маруська» проскочила его, не сбавив скорости. Теперь недалеко уже был Барханный перевал.

Генка нахмурился, остановил машину, давая мотору поостыть. Замотал ленточкой некстати ухмыляющегося, надоедливого Буратино. Заглянул в кузов. Так, бочка на месте. Можно ехать. Оксана ждет его сегодня. Стал бы Генка каждую неделю гонять на самую далекую буровую, если б не веселая черноокая повариха и по совместительству медсестра Оксана Величко! Иначе какой расчет делать такие дальние рейсы? И все же Клевцов штука! Азнакай, видите ли, водитель опытный, а он, Генка, значит, так себе, барахло. Подумаешь, песок! А ну, трогай, «Марусенька»!

Дорога была знакома. Сначала она идет на подъем, потом будет сравнительно ровное плато, засыпанное целыми стадами крутолобых хвостатых барханов. Это и есть Барханный перевал. Все водители базы боятся этого гиблого места. Все, кроме него, Генки. Уж кто-кто, а он умеет чувствовать пески! Вернее, он и его «Маруська». Главное, не слезать с дороги, даже если она засыпана песком. А если уж слез, так держи руль жестко, изо всех сил. Иначе все, каюк, как говорит Азнакаев.

Дорогу перехватил второй занос. По тому, как тупо-тупо ткнулась в песок машина, Генка понял, что дело плохо. Он уцепился за крутнувшуюся баранку и дал полный газ. Медленно, с трудом раздвигая песок передними колесами, «Маруська» выбралась на доро-

гу. Но через пять минут за поворотом показалась песчаная коса метров в десять шириной. Генка вылез из кабины, ткнул ногой скат. «Маруська» взревела и с разгону врезалась в косу. Грохотнула бочка в кузове, от удара старенький грузовичок задребезжал всеми своими частями. Пески выпустили его и на этот раз. Повеселевший Генка хотел таким же манером проскочить и следующий занос, но песок здесь был слишком глубокий и вязкий. Полуторка надсадно выла, крупно дрожала, но с места не двигалась.

Он включил задний ход, но только загнал колеса в песок до самых осей.

— Вот чертовщина!— с досадой на себя, на «Маруську» и барханы выругался Генка.— Ну ничего, ничего... Бывало...

Он выкинул из кузова старый брезент, натаскал узловатых саксауловых сучьев и все это швырнул под задние колеса. Потом стал терпеливо и методично гонять мотор на первой скорости, поминутно выскакивая из кабины и подкидывая изжеванный и выплюнутый назад брезент снова под колеса. За полчаса две глубоких канавы в песке удлиннились метров на двадцать. Не более.

— Э, так не годится,— расстроился Генка,— не выдержит «Маруся». Чует мое сердце, не выдержит.

Пришлось взяться за лопату. Взбесившееся солнце, должно быть, решило самым натуральным образом приготовить из голых Генкиных рук, шеи и лица шашлык. Соленый пот противно капал с носа. Горячий, шершавый, как рашпиль, песок, набившийся в ботинки, был ненамного приятнее пота. Но Генка не унывал: он верил, что теперь вылезет. Правда, он никак не думал, что на это уйдет еще час. Но час прошел, солнце стояло уже прямо в зените. Мотор задышался. Генка хорошо чувствовал это по тому, как ослабела тяга, как быстро падали обороты, стоило лишь чуть-чуть убавить газ. Он вложил весь свой шоферский опыт в эти педали, рычаги и баранку, он старался как бы превратить старую машину в продолжение своих нервов и мускулов.

Подлизываясь к «Маруське», выводил ее на горки и холмы на таком малом газу, на каком непременно

заглохла бы даже легкая «Победа». Тормозами он вообще перестал пользоваться, всячески экономя силы полуторки.

— Ну, «Машенька», не обижайся, поднажми. Надо ж, видишь. Вот так! Не подведи, милая. Самую малость, а там поедем под горку. Отдохнешь,— ласково говорил он ей.

Но «милая» явно сдавала. В гудении мотора проскальзывали какие-то тревожно жужжащие и шипящие нотки, затем грозным предупреждением больно отдались в ушах частые резкие выхлопы. А когда машина все же выбралась из барханов, из радиатора повалил пар.

— Эх «Маруська», «Маруська»! Не совестно тебе, каких-нибудь двадцать километров не дотянула!— плаксиво сморщившись, констатировал Генка.— Ну ты подумай! Разве так можно...

Он резко тормознул, вспрыгнул на буфер и кепкой открутил горячую пробку. Воды в радиаторе было меньше половины. Иссушенный, жаркий воздух жадно пожирал пары. Раскалившийся от непосильной работы мотор и свирепое полуденное солнце прямо высасывали воду.

«А что, если... взять воды из бочки?» — как-то украдкой проскользнула в его сознании мысль. Но он, даже напугавшись, тут же отогнал ее.

— Воды и так литров пятьдесят, а их там семь человек. И все пить хотят,— сказал он вслух виновато.— Обойдешься, «Маруська», дотянешь и так!

Неровными толчками, с долгими и частыми остановками «Маруська» протянула еще километров двенадцать и стала. Через полчаса мотор снова заработал, но всего на несколько минут. После этого он заглох прочно. Напрасно Генка бился над мотором, обжигая руки о раскаленный металл. Солнце торжествовало победу. Мотор был мертв и безмолвен. В отчаянии плюнув на горячие трубы, Генка в сердцах ругнулся и захлопнул капот. Совсем рядом, вон в той лощинке, буровая вышка; если подняться на холм, она даже будет видна. Семь-восемь километров. Да и ехать теперь пришлось бы под горку. Сволочь ты, «Маруська»! Ну что же мне теперь делать? Идти на буровую,

звать на помощь? Клевцов, когда узнает, только хмыкнет и ничего не скажет. Хуже всего, когда он молчит, как, например, весной, когда у Митьки Воронцова по пьяной лавочке полетел промежуточный вал и из-за него вся коробка передач. А Азнакаев сощурит свои и без того вечно сонные глаза и с кисленькой улыбочкой скажет, качая головой: «Моя твоя говорил, не шибко надежная парень Генька!»

У, черт! Я тебе покажу «ненадежная»! Руками бочку докачу, а вода на буровой будет!

Упрямо выставив подбородок, Генка подскочил к заднему борту и торопливо открыл его. Бочка тяжело шлепнулась в песок. Здоровенная бочка из-под горячего, почти доверху наполненная водой. Когда-то в техникуме Генка ходил в спортклуб и занимался борьбой, но бочка весила никак не меньше семидесяти килограммов, и она его испугала. Восемь километров по песку! Генка вспомнил, что шаг у него восемьдесят сантиметров; значит, до буровой ровно десять тысяч шагов! Выгоревшие Генкины брови сдвинулись и превратились в одну ровную черту над глазами. Заметнее стал темный пушок на верхней губе, а у рта на щеках вместо детских ямочек появились две едва заметные жесткие складочки. Генка задумался, оперевшись ногой о бочку. Надо как-то дотащить. Не подвести Клевцова.

Но как?

И вдруг его осенило. Бочку можно катить! Однако от этого пришлось сразу же отказаться. В песке бочка сидела плотно и катиться не желала. Генка окинул одиноко уткнувшуюся в обочину полуторку затуманившимся взглядом, шмыгнув носом, поставил бочку на попа и решительно подсел под нее на корточки. Дрожая от напряжения, он взгромоздил ее на себя и сделал первый шаг. Самый первый из десяти тысяч. Теплый ржавый обруч сразу же тупо вдавился в плечо. Ноги по щиколотку увязали в песке, колени подгибались от тяжести. Но Генка шел, стиснув зубы и скривившись от боли. Он считал шаги. Пройду тысячу шагов и отдохну, решил он; но уже на трехсотпятидесятом бочка тупорылой свиньей ткнулась в песок.

— Ах ты, сатана! — обругал ее Генка, растирая рукой ноющее плечо.

Солнце стало сползать с зенита и светило теперь немного сбоку. Пришлось снять комбинезон и приспособить его на плечо в качестве подушки. Теперь Генка остался в своей черной в красную клетку безрукавке и синих спортивных штанах. Горячий ветерок насквозь пронизывал тонкую материю и неприятно грел живот. Но зато не так резало плечо; кроме того, бочка хоть немного закрывала лицо и шею от палящих лучей. Он уже не обращал внимания на липкие струйки пота, стекавшие по лицу, груди и спине. Он до крови закусил губу. Шаги тянулись один за другим со страшной болью в плече, с частыми ударами сердца и короткими, иссушающими глотку вдохами. Под ногами был только песок — миллиарды крохотных сероватых песчинок, и каждая ярко светилась и слепила его залитые потом глаза, каждая стремилась поцарапать и уколоть его кожу. Генка не думал ни о чем. Все его существо было занято только двумя вещами: бочкой на плече и теми цифрами, которые выкрикивались сдавленным шепотом каким-то странным созданием, сидящим в нем, Генке, но никакого отношения к нему не имевшим. Это было удивительно похоже на то полуобморочное состояние, которое он однажды испытал на ринге в спортклубе. Получил нокаут. И вот с таким же болезненным интересом прислушивался к потустороннему голосу судьи, звучавшему как бы в нем самом: 3, 4, 5, 6...

— 997, 998, 999... Тысяча! — выдохнуло наконец это странное создание.

Генка с наслаждением дал бочке плюхнуться на землю и хотел выпрямиться, но это ему удалось только через несколько минут. Мускулы на плечах сводило судорогой, а поясница словно окаменела, и ему стоило большого труда разогнуть ее, чтобы встать по-человечески. Рукавом Генка вытер потное лицо, оставив на нем пыльные полосы. Теперь оставалось девять тысяч шагов.

Солнце смеялось над ним. Оно доконало его машину и жгучими стрелами хотело заставить сдаться и его, Генку. Но, побагровев от натуги, он снова взвалил

бочку на уже намятое, горящее плечо и снова качнулся вперед, выставив ногу для нового шага. Вторая тысяча оказалась невероятно трудной. Не было никаких сил вытаскивать ноги из песка, Генка просто переставлял их, словно усталый лыжник. Где-то на шестисотом шагу у него потемнело в глазах, он покачнулся и застонал, но упасть бочке не дал, со страхом сознавая, что если вот сейчас она упадет, то он не поднимет ее больше.

Генка изо всех сил удерживал бочку, обхватив рукой ее скользкий, маслянистый бок и фанатически шепча:

— Только не упасть, только не упасть!..

А странное создание в нем продолжало считать нарочно замедленно и неторопливо. Генка возненавидел его.

— Всего только восемьсот! Уже давно должна быть тысяча! — давясь слезами, всхлипывал он. — Ты все врешь, ты крадешь у меня мои шаги! Жадная сволочь! — шипел он ему.

— 832, 833, 834... — бесстрастно отвечало существо.

Тогда всю свою боль и злобу Генка обращал против солнца.

— Ты хочешь меня замучить, солнце? Черта с два! А вот этого не хочешь? — Генка мысленно показывал пустыне грязный кукиш. — Все равно я не упаду! Не упаду, не упаду... а-а...

И все-таки он упал. Его нога сделала последний, двухтысячный шаг, он хотел уже сбросить бочку и отдохнуть и в этот момент упал. Упал прямо лицом в песок, сжимая рукой глухо всплеснувшую у самого уха бочку.

— Кровопийца ты! Гадина! Паскуда! — яростно орал он ей, лежа на горячем песке и размазывая по лицу пыль и грязь вместе со слезами и потом. Бочка презрительно выслушала самые изощренные ругательства и самые страшные проклятия, какие только были известны Генке. От ругани на душе у него полегчало, хотя плечи продолжали пылать огнем. Чувствуя, что от непомерного напряжения где-то на спине у него вот-вот полопаются мышцы и связки, Генка еще раз под-

нял бочку. Странное существо начало отсчитывать третью тысячу.

Если вторая тысяча показалась Генке очень, очень трудной, даже невыносимой, то третья — просто мучительной. Раскаленные обручи впивались в тело огненными когтями. К горлу то и дело подступала отвратительная тошнота, от которой мутилось в глазах и ноги делались ватными. Временами Генка был уверен, что громадное железное чудовище, навалившееся на него всей своей тяжестью, неминуемо подомнет под себя и раздавит его вот здесь, на песке, словно слон лягушонка. Это был настоящий кошмар, от которого нельзя убежать, с которым нельзя вообще ничего сделать, а можно только в мучениях ожидать, когда он кончится.

И он все-таки кончился, хотя и продлился целую вечность. Изогнувшись от полоснувшей по всем нервным клеткам боли, Генка скинул с себя чудовище, тяжело ухнувшее ему под ноги. Он стоял рядом с бочкой, скрючившись в три погибели, раскорячившись и схватившись руками за поясницу; в изнеможении он так и повалился в песок. Позади осталось расстояние в три тысячи трудных шагов. Странное существо услужливо подсчитало, что впереди ждут еще целых семь тысяч. Генка пришел в ужас. Узнав об этом, солнце еще ярче вспыхнуло от злобной радости, не давая ему ни минуты покоя и отдыха. Генка и сам начал понимать, что оно победило и «Маруську» и его; эта мысль привела его в слепую ярость, которая в одну секунду закинула бочку на плечо отчаянным рывком. Кошмар продолжался.

Только теперь все было наоборот: не бочка давила его к земле, а пустыня своей плоской горячей грудью прижимала Генку к бочке, и все время приходилось отталкиваться и отталкиваться ногами, иначе она бросила бы ему в лицо целые тонны песка и раздавила бы его голову о нависшую над ней бочку. Генка не видел ни неба, ни горизонта, ни даже склонов барханов. Неотрывно и внимательно смотрел он только себе под ноги, предупреждая выставленной ногой каждое движение земли к его лицу. Его непрерывно тошнило. В тот самый момент, когда его сознание начало заво-

лакиваться темным туманом, дрожащие колени уже почти подогнулись, а ослабевшая рука начала скользить по боку бочки,— в этот самый момент, в самый последний миг Генка безмолвно вскрикнул от невероятного душевного усилия, вскрикнул одними губами, оскалив зубы в мучительной гримасе. Он вскрикнул и вдруг необычайно остро почувствовал, что ему удалось сделать очень важный шаг. Какой-то неведомый порог миновал, и вместе с ним остались за спиной и боль, и кошмар, и физические страдания, и душевное отчаяние.

Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. Он ничего не чувствовал: ни боли, ни жажды, ни усталости; ощущение времени тоже исчезло, превратив реальность во что-то призрачно-неуловимое, похожее на дрожащий мираж в знойном мареве над горизонтом. С равномерностью механизма шли и шли чьи-то ноги, какие-то чужие руки обнимали бочку. Генка с удивлением и даже с интересом разглядывал красную полосу на запястье. Что это за полоса? Неужели это синяк на его руке? Где-то за пределами его собственного существа угадывалась боль, но его, Генку, она не тревожила. Ноги все шагали и шагали, сами собой, без его участия. Что это? Почему? Неужели, как в спорте,— второе дыхание? В его голове летели обрывки мыслей и воспоминаний, далеких и недавних.

Вот он, Генка, держась за мизинец отца, семенит за ним по комнате; отец изредка поворачивает голову и глядит на него счастливыми глазами. После слов «мама» и «папа» Генка выучил слово «война». Вот он видит лицо матери, оно бледно, а в руках у нее клочок бумаги, название которому он узнал гораздо позже: похоронная... Тогда, глядя на мать, он начинает реветь, недоумевая, почему она даже не смотрит в его сторону. Маленькая сестренка Лидочка тоже ревет, она всегда ревет вместе с братом.

Вот Генка, гордо поглядывая на встречных, идет в школу, в первый класс. В руках новенький портфель. Приятно погромыхивает пенал. На голове — великолепная фуражка с лакированным козырьком. Сзади мать в своем единственном праздничном платье, улы-



бается, почему-то вытирает украдкой слезы. А вот Генка уже «трудовой резерв». Неумело берет он в руки отполированную множеством ладоней сверху и шишкастую снизу баранку. Он не будет сидеть на шее у матери. И в Москве он тоже не останется: подумаешь, нужна мне столичная жизнь! Генка смотрит на застывшие песчаные волны и видит Казанский вокзал, специальный поезд и сестру Лидочку. Она торжественная, в свежееотглаженном пионерском галстуке. Еще бы: не у каждой шестиклассницы в Москве есть брат, который ехал бы комсомольцем-добровольцем на целину! Чудная Лидка! На целине он не проработал и полгода, сбежал. Вкалывать заставляли! Сбежал. Генка презрительно харкает и попадает себе на ногу. Работал и с рыбаками в Астрахани, и на заводе в Караганде, и в оренбургском совхозе. Надолго нигде не задерживался. А вот теперь судьба забросила вообще к черту на кулички! Генка — шофер в геологоразведочном управлении. Развозит по буровым горючее, воду, продукты, почту. Зашибает недурно. Тоже мне: нефтеразведчик! От этой мысли, а может быть, просто от вида запыленного плевка на ноге ему становится противно.

— Дерьмо ты! — хрипит он сам себе. — Бродяга, бледная гнида! Не мог довести бочку воды. А сейчас плечики заболели! Правильно сказал тогда Азнакаев: ненадежный парень! Ведь ребята работают там без воды, хотя имеют право и не работать. Почему? Хотят подзашибить? Они не получают за это ни одной лишней копейки. Просто нефть ищут. Нефть! Это же бензин, масла там всякие и еще бог знает что! А он, Генка?.. Доехать до них не сумел. А Азнакаев бы доехал. Дерьмо ты, Генка. — И, изловчившись, он обтер с ноги запыленный плевок. Обтер и будто почувствовал себя легче.

Когда он очнулся из полузабытья, в ушах его звучало:

— 6965, 6966, 6967...

Он сравнительно легко дошел до целой тысячи и скинул бочку. Спины и шеи у него теперь не было. Была сплошная боль, и боль не горячая и поверхностная, какая была сначала, а ровная и жестокая. Инстинктивным движением Генка потрогал рукой одеревеневшее

плечо и вдруг ощутил под пальцами прохладную влагу.

— Неужели бочка течет? — испугался он и поднес ладонь к лицу. На ней темнело пятно темно-красной запекшейся крови. Это красное пятно сломило его окончательно.

— К чертям собачьим! К дьяволу все! Ты, проклятый грязный бегемот! Чхать я на тебя хотел! — заорал он бочке, с ненавистью сжимая в кулаке кровавую грязь и размазывая по щекам грязные слезы. Бочка молчала. Генка со стоном встал и пошел прочь. Шагал он теперь так же, как и прежде, когда на плече была бочка: согнувшись, наклонившись вперед, тяжело передвигая ноги и глядя прямо перед собой в песок. Он бросил эту проклятую бочку, а в ней была вода, та самая вода, которую ждали не только ребята, но и она, Оксана. Генка вспомнил, как они расстались в последний раз. Он разозлился, потому что она никак не давала себя поцеловать, а только смотрела своими черными глазищами и отрицательно качала головой. Генка разозлился и отвернулся от нее, а она вдруг тронула его за плечо и, опустив глаза, тихонько сказала:

— Вот приедешь в следующий раз, тогда поцелуешь.

Генка остановился. Он ни за что не сможет теперь даже посмотреть ей в глаза. Ведь он просто слюнтяй!

Замирая от ужаса перед необходимостью вновь тащить бочку, он вернулся назад. Осталось три тысячи шагов, всего три тысячи! Завывая от боли, потерпев неудачу много раз, он все-таки поднял бочку. Онемели не только правое плечо и рука, но почему-то левая нога.

Генка уже ничего не понимал, он только всхлипывал, не имея сил даже ругаться. Но остановиться и сбросить ее он тоже не мог, потому что она рухнула бы ему на ноги.

Так кончилась восьмая тысяча. Сквозь шум в голове его ухо уловило какие-то равномерные металлические удары. С трудом ворочая налитыми кровью глазами, Генка отыскивал взглядом вышку. Она торчала из

за холма совсем рядом! Он долго думал, что это за звуки доносятся оттуда, и вдруг понял: ведь это стучит насос! Они работают! Они не видят его из-за бархана. Но этими равномерными звуками будто бы голос ему подают.

Непослушными, дрожащими руками он остервенело обхватил бочку. Осталось только забраться на холм! Две тысячи шагов! О-оо! Проклятая бочка! Проклятая бочка... Почему проклятая? В ней вода. Вода... Так хочется пить...

А где-то есть целые океаны воды. Тихий, Атлантический, Индийский... Индия... Что? Какая Индия? Ах да, Индия. Там тоже жарко. И песок. Под ногами, в глазах, во рту... песок...

Он падал и через каждые десять шагов ронял бочку. Не успев поднять ее, он падал снова. Это длилось бесконечно долго.

Он ничего не чувствовал и не понимал, делая что-то и шагая куда-то совершенно автоматически. Это было хуже кошмара.

Как Генка забрался на этот холм, он не помнил. Помнил только, как кричал, и еще помнил, что голоса у него не было и никто его не слышал. Вся буровая лежала теперь как на ладони. В красноватом свете заходящего солнца бегали, суетились внизу люди. Вот кто-то что-то крикнул ему, но он не в силах был даже ответить. Он сидел рядом с бочкой и улыбался бессмысленной улыбкой. Ею и был встречен прибежавший снизу моторист Джабаев, из бессвязных выкриков и воплей которого Генка уловил только одно: нашли нефть. Идет светлая девонская... Темпераментный моторист совал ему в лицо свои руки. Они были словно в коричневых перчатках и резко пахли. Противно, в общем-то, пахли. Но моторист кричал, что не знает более благоуханного аромата. Это было нелепо, но Генка верил ему. Сознание понемногу возвращалось к нему... Они нашли нефть, думал он, и еще вчера сам по себе этот факт был бы ему довольно безразличен. А вот сейчас именно это поднимает в его сдавленной груди торжество и радость. Наверное, потому, что он дошел. Принес воду. Также как бы участвовал в их деле. Генка подумал и о Клевцове и об Оксане. Вот по-

29. «Юность». Избранное.

дойду к ней и поцелую. И странно: это радовало меньше, чем нефть, которой так отвратительно воняли руки моториста Джабаева. Это, конечно, глупо: тащить на себе бочку с водой столько километров. Можно было бы сходить к ним за помощью. Но он достал...

И непривычная радость пока еще несмело росла в его груди. Незнакомая радость. Нет, не зря все-таки было предчувствие.

— Эх ты! — хрипло сказал Генка мотористу и хлопал рукой по бочке. — Вода. Я принес.

— Да ну? Ай, какой джигит! Ай, как хорошо! Давно пить хочу, совсем забыл! Давай пить будем!

Моторист живо отвинтил пробку, наклонил бочку и стал жадно пить, блаженно закатив глаза и проливая в песок светлые живые струйки. Генка оттолкнул его, дрожащими руками завинтил пробку и строго показал Джабаеву на пролитую воду: каждая капля стоила ему дорого. Тот сначала обиделся. Потом наклонился к Генке и стал внимательно рассматривать осунувшееся его лицо с ненормально горящими глазами, искушенные губы, руки с обломанными ногтями и шею с уходящими под рубашку багровыми полосами. Нахмурился, покачал головой и все, все сразу понял славный парень Гришка Джабаев.

Как малюго ребенка, повел он Генку за руку вниз, к вышке. Но даже теперь, когда бочка была уже почти на буровой, на месте, даже сейчас Генка шел и тревожно оглядывался на бочку. Он боялся оставить ее одну.

Потом он сидел на табуретке в маленькой комнатке и смотрел, как над ним хлопочет Оксана. Она мазала чем-то прохладным его плечи, шею и спину, ее проворные пальцы причиняли, конечно, боль, но эта боль казалась ему по сравнению с тем, что он только что пережил, удовольствием. Забинтовав его раны, Оксана вдруг взяла его лицо в свои теплые, мягкие ладони, посмотрела прямо ему в глаза. Генка почувствовал, как что-то сладко оборвалось у него в груди, и он стал падать, падать в таинственную бархатную бездну ее глаз. У него захватило дыхание от этого падения, которое остановил только ее шепот. Он и не

пытался понять, что она ему говорит: той нежности: и того сочувствия, которые звучали в ее голосе, Генке было вполне достаточно. Самое последнее, что он еще ощутил после того, как был уложен на койку и голова его коснулась подушки,— это ее глаза, близко-близко перед собой ее глаза с влажными мягкими огоньками в зрачках и алую прохладу ее губ на своих губах.

В следующее мгновение он уже погрузился в темную пучину спасительного сна. Генка уснул, не успев даже закрыть глаза и убрать с лица пугающую, загадочную улыбку физически раздавленного человека, гордого своей победой. Победой над самим собой. Самой большой победой, какую он одерживал в своей еще короткой и, в сущности, еще только начинавшейся жизни.

г. Ленинград



## Последний хлеб



Я загнал машину под навес, выключил зажигание и усталое откинулся на спинку сиденья. Кончился день. К ужину опоздал, столовая уже закрыта. Ну и черт с ней, найду что-нибудь...

Я вылез, захлопнул дверцу и, хлюпая по грязи, стал пробираться к воротам мастерских.

У комбайнов кто-то еще возился, подсвечивая переносной лампой. Я направился туда узнать, кто там и не пойдет ли он со мной за компанию.

Около распотрошенной самоходки неподвижно стоял дед Якушенко.

— Здорово, дед!

Он даже не повернул головы в мою сторону и не ответил.

— Чего здесь делаешь? Не наработался за день? Пойдем домой,— сказал я.

Дед вздохнул и недовольно покосился на меня, будто я помешал ему стоять здесь без дела.

— Иди, куда шел,— сказал он и зло дернул у меня из-под ног шнур лампы.

Что это с ним? Дед слыл самым безобидным стариком у нас в поселке, а тут вдруг лается ни с того ни с сего.

— Случилось что-нибудь, дед?— спросил я.

— Случилось!..— повторил он угрюмо и ткнул лампой в сторону комбайна.— Эвон что случилось...

Самоходка была разобрана: сняты шестерни, и цепи передач уныло обвисли на голых штырях. Обычное дело, когда ее ремонтируют.

— Сперли что-нибудь, что ли?

— А...— Дед безнадежно махнул рукой.— Хуже, чем сперли. Обокрали меня, Лешка!..— Дед вдруг всхлипнул и утер кулаком нос, оставив жирную масляную полосу на щеке.

— Кто же это тебя обокрал?

— Кто!.. Механик. Федор твой, вот кто! Гад он ползучий, больше он не есть никто!..— зло выругался дед.

— Ну, ты что-то мудришь, дед,— не поверил я.— Как же это Федор мог тебя обокрасть? Это ж ему все равно, что себя обокрасть... Путаешь ты чего-то. Пьяный, что ли?

Дед повесил лампу на один из штырей, прислонился спиной к самоходке, достал из кармана пачку «Прибоя» и дрожащими корявыми пальцами стал вытаскивать из нее мятую папироску.

— Не пьяный я, Лешка,— сказал он тихо.— Водки не нашел, потому и не пьяный... Вон что твой Федор придумал: снял шестерни с моей «девятки» для других... На запчасти снял, понял теперь?

— Ну, понял,— сказал я.

Дед опять всхлипнул, и по его дряблой, морщинистой щеке покатилась мутная слезинка, тут же затерявшаяся в жиденькой седой бороде. Я отвернулся.

— Ну что ж делать, дед. Нет шестерен, ты же сам знаешь,— сказал я.

— Я ее всю до последнего винтика в солярке перемыл...— говорил дед, как будто и не слышал моих слов.— Всю, до последнего... Я к нему не ходил, ничего не просил... Все сам делал... своими руками...— Голос его дрогнул от обиды.

Я смотрел на папиросу, которую разминал машинально дед, забыв прикурить. Из папиросы тонкой струйкой высыпался на землю табак.

— Да ладно, брось хандрить, дед,— попытался я как-то успокоить его.— Уладится все еще...

— Чего уладится? Чего? Завтра на поля уходят все, а я куда?..

— Ну отдохнешь малость...

— Эх, Лешка!— вздохнул дед.— Молод ты, говоришь не знаешь что. Тебе вот можно отдыхать, еще успеешь, наработаешься. А мне отдыхать никак нельзя. У меня в этом годе, может, последний хлеб будет...

— Ну что ты, дед...

— Помру я, Лешка, зимой.— Дед наклонил голову, будто рассматривая папиросу. Но, так и не увидев ничего, вставил он высыпавшуюся в рот, чиркнул спичкой. Пустой бумажный патрон вспыхнул и погас, чуть не опалив желтые дедовы усы.

— Ну да ладно... Что ж теперь,— сказал дед и ушел, не разбирая дороги, хлопая широкими голенищами кирзовых сапог.

Старый, совсем старый стал дед Якушенко. Вот и заплакал по-настоящему. Я в первый раз видел, как мужик плачет. Лучше бы и не видеть...

Я долго смотрел ему вслед, потом снял лампу, смотал шнур и отнес ее в гараж. Хотел идти домой, но задержался: беспокойно как-то внутри было, будто не сделал чего-то важного.

Я опять забрался в остывшую кабину и завел мотор. Федор жил на дальнем конце поселка в двухквартирном щитовом домике.

Он сам вышел на шум и крикнул, прикрыв глаза ладонью от света:

— Не балуй! Кто там еще?— И, увидев меня, сказал успокоенный:— Лешка? Чего ты?

— Так, ничего.



— Зайдешь? Я, правда, уж спать собрался. Нинка легла уже...

— Да я могу и здесь,— сказал я.— Мне два слова всего.

— В чем дело?— спросил Федор, присаживаясь на крыльцо и закуривая.— Сломалось чего?

— Да нет,— сказал я, садясь рядом с ним.— Все цело. Зачем ты деда вот обидел, Федор?

— А, вон ты про что.— Федор глубоко затынулся и с шумом выдохнул тугую струю дыма.— Ну, а что делать, может, ты мне скажешь? Завтра приказали машины в поля вывести, а три самоходки стоят без шестерен. Нет их нигде. Нет! Я и председателю сказал: что делать? Лучше пусть одна стоит, чем три. Арифметика простая...

— Ну хорошо. А почему именно «девятку» раскурочил? Целёй других она была, что ли? Или потому, что дед тебе морду не набьет, слабый?

— Ты хреновину не городи!— разозлился Федор.— Я тебе совсем объяснять не обязан. Сделал— и все. Так надо, значит.

— Ну ладно,— сказал я, поднявшись.— Не обязан так не обязан. И у меня тоже нет охоты с тобой разговаривать.— И пошел к своей машине.

— Ну и катись к черту!— сказал Федор и вдруг закричал мне вслед:— Да пойми ты, дурья башка! Какой дед работник? Он сегодня ходит, а завтра с копыт долой. Что ж мне, от ребят отнимать машины прикажешь? Опять семьи у всех, а дед один. Поработает на летучке, ничего с ним не станется... Родной он тебе дед, что ли? Что ты за него глотку дерешь?

Я хлопнул дверцей, не ответив.

У клуба на утрамбованной каблуками площадке под фонарем танцевали после кино. Когда я подъехал, на подножку вскочил Димка. Он вырядился в пиджак, галстук нацепил на клетчатую рубашку.

— Леш!— сказал Димка.— Где ты провалился? Я один тут с гербицидными летчиками воюю.

— Иринка где?— спросил я.

— Да вон на лавочке сидит. Вылазь.

— Позови ее.

— Ирка!..

— Да не ори. Пойди позови.

— А-а...— Он соскочил с подножки и подошел к девчатам, независимо примостившимся на лавочке под стеной клуба.

Ирина забралась в кабину и чинно села, не касаясь спинки. Димка опять встал на подножку.

— Мне можно?— спросил он.— У вас не секрет?

— Можно,— сказал я.— Иринка, у тебя поестся найдется чего-нибудь?

— Найдется.

— Поедем. И ты поедешь, Димка, дело есть.

— Хорошо,— сказал он и крепче устроился на подножке.



Втроем было тесно в кабине «газика». Я то и дело задевал рычагом скоростей колени Иринки. Она молчала, только морщилась и каждый раз оправляла сбившийся подол платья. Димка, выставив голову и локоть в открытое окошко, напевал что-то.

Дорога немного подсохла после прошедших на неделе ливней. Лишь кое-где стояли большие глубокие лужи. Объезжая их, приходилось забираться в спелую пшеницу, и тогда в свете фар взметались над радиатором искрящиеся фонтанчики зерен.

Ночь наступала густая, темная. Луна уже спряталась за высокие сопки, которые причудливо обрубли юго-западный край звездного неба.

— Когда тебе завтра на работу?— спросил я Иринку.

— В шесть.

— И зачем ты только поехала!..— пожал я плечами.

— Ну хватит, Лешка!— решительно сказала она.— Будет теперь всю дорогу нить. Поехала — и все.

— Без тебя не обошлось бы?

— У! Дурак какой!— Она ударила кулачком по колену.— Димка, скажи ему, чтобы он замолчал.

Димка отмахнулся: дескать, ну вас, я вам не мешаю ругаться, и вы мне не мешайте в окошко смотреть.

— Почему ты поехал? Почему Димка поехал? А почему мне нельзя? Хм!— возмущалась Иринка.— Ты, может, думаешь, что я слежу за тобой? Очень ты мне нужен!

— Ну ладно, ладно...— сдался я.

— «Ладно»...— передразнила Иринка.— Вечно ты настроение испортишь, а потом «ладно»... Куда мы сейчас едем?

— В третью бригаду, а там посмотрим.

Иринка молчала некоторое время, пока я, включив первую скорость, отчего мотор завыл прерывисто и громко, взбирался на крутой, скользкий подъем. Но вот машина опять плавно покатила по ровному проселку, по которому, видно, совсем недавно прошелся грейдер.

— А что, правда, дед плакал?— спросила Иринка.

— Угу,— кивнул я.

— Вот же свинья этот твой Федор! Ненавижу я его прямо! Морда нахальная, и глазки свинячьи, заплывшие, когда на своих, тех, кто пониже его, смотрит. Зато перед начальством сразу делаются, как у Шарика того, что около столовки с поджатой лапой отирается.

Ирина так разошлась, что даже Димка удивленно посмотрел на нее.

— Ну ты это зря, Федор — неплохой парень,— сказал я.

— Выпить не дурак...— в тон мне подсказала Иринка.— Нашел себе дружка!

— Да ну тебя! Все тебе мерещится, что мы с Федором только и делаем, что водку пьем...

— А что же? С какой стати ты его защищаешь?— спросила она.

— Ладно. А что еще Федору оставалось делать? Шестерен ни на базе, ни в РТС днем с огнем не достанешь... Всегда так было: одну машину на запчасти разберут — и дело с концом. Что еще он мог?

— Мог, если бы сильно захотел,— сказала она.

— Конечно, мог,— подтвердил Димка.

Я вздохнул.

— Взял вас на свою голову... Отстаньте, ну вас к черту! А то я сейчас в кювет грохнусь, и будем тут всю ночь загорать в степи.

— Грохнись,— сказала Иринка.

Что она за девчонка! Всегда последнее слово за ней остается.

Мы выехали на пологую возвышенность, откуда стали видны огоньки третьей бригады, единственные в черной ночной степи. Светились два окошка, да тусклый фонарь раскачивался на столбе посреди двора, огороженного вагончиками на бутовом фундаменте.

Дверь одного вагончика отворилась, и на порог вышла женщина, хорошо различимая в светящемся прямоугольнике входа. Она всматривалась в темноту или прислушивалась, как будто ждала кого-то. Наверное, она вышла на шум нашей машины.

Я притормозил у длинного приземистого сарая, закрывшего от глаз вагончик.

— Оставайтесь,— сказал я своим.— Куда такой шайкой, напугаем еще.

— Я пойду с тобой,— сказала Иринка, выбираясь следом из кабины.

Что с ней было делать? Я только рукой махнул: все равно не переспоришь.

— Знаешь, за что я Димку люблю?— спросил я, когда мы пробирались по грязи в обход сарая.

— Не-ка.— Она всегда так «некает», как маленькая, когда разбалуется или бывает в хорошем настроении.

— За то, что он молчит и все-таки с ним не скучно... Думает себе про что-нибудь и не пристает со всякой ерундой.

— Не то что я, да?

— Угу.

— А ты говорил, что меня любишь. Говорил, теперь не отвертись... Ой!— вскрикнула Иринка, соскользнув с одного из шатких камней, по которым мы переправлялись через лужу.

— Эх ты!.. На, держи,— протянул я ей руку.

Она крепко уцепилась, и мне стало неловко боком идти по камням, а тут вдруг еще она остановилась и дернула меня за руку.

— Значит, ты меня не любишь, да, Лешка?

Вот ненормальная девчонка! Нашла где об этом спрашивать.

— Ты что? Серьезно?

— Seriously,— кивнула она.

Я не ответил. Подхватил Иринку на руки и вынес на сухое место.

— Герой!— усмехнулась она.

— Глупая ты все-таки,— обиделся я немного.

— Конечно, глупая,— согласилась она.— Глупая, что с таким чурбаном связалась.

— Связалась? Так не связывалась бы!— Я уже начинал злиться.

— Уговорил.

— Пойми, Иринка, нет у нас сейчас времени ругаться! Давай в другой раз как-нибудь,— предложил я.— Пойдем.

Она не умела обижаться или не подавала виду, что обижалась. Я никогда раньше не встречал такой девчонки. Все они обижаются из-за любой чепухи, надуются, и тогда нужно часа два повторять им одно и то же: что ты больше не будешь, что ты ее очень-очень любишь. Вот и говоришь ей: «Ну, пойми же, я очень тебя люблю!..» И оттого, что это повторяешь двадцать раз, делается просто противно. А они ни черта не понимают, а потом смиростивятся и сделают одолжение: лезут целоваться. Целоваться-то с ними после такого никакой охоты нет.

А Иринка сказала:

— Ну хорошо. Давай поругаемся в другой раз.— И пошла следом за мной.

У штакетной ограды, поставленной между сараем и вагончиками и огораживающей внутренний дворик, я остановился и подождал Иринку.

— Подойди сюда,— сказал я.

— Чего тебе?— спросила она, подходя. И, встав совсем близко, опустила голову, будто была виновата в чем-нибудь.

Я поцеловал ее. Она ударила меня кулачком в плечо и, быстро присев, нырнула меж планками в заборе, где как раз две были выломаны.

Мы вышли прямо к вагончику, в дверях которого все еще стояла женщина. Лицо ее как-то потускнело,

когда она увидела нас, и она отступила на шаг, собираясь уйти. Наверное, думала, что приехал кто-то другой.

— Подождите,— сказал я.— Шредер где здесь живет?

— А для чего он вам?— встревоженно спросила женщина и, приглядевшись к нам, добавила:— Вы не наши. Откуда вы?

— С центральной!— ответил я.

— Нам очень нужен ваш бригадир,— сказала Иринка.— Где его найти?

— Здесь он живет,— сказала женщина.— Только нет его сейчас.— Она неожиданно вздрогнула и замерла, прислушиваясь к чему-то внутри вагончика.

Оттуда послышался вначале слабый стон, а потом вдруг раздирающий, прерывистый крик.

— Что там?— спросила Иринка с расширенными от ужаса глазами.

Женщина, всплеснув руками, убежала в вагончик, но через минуту снова появилась в дверях и позвала:

— Иди скорей сюда!

Я сделал было шаг по ступенькам узенькой деревянной лестнички, но женщина сильно толкнула меня в грудь и сказала злым полупшепотом:

— Куда тебя несет? Нельзя сюда! Ну-ка, девушка, иди ты.

Иринка растерянно посмотрела на меня и несмело поднялась в вагончик. Дверь захлопнулась. Крик, доносившийся оттуда, не прекращался.

Я присел на ступеньки и закурил. Примерно я догадывался, что там случилось, но я никогда раньше не бывал при этом и не думал даже, что это так... Что они так кричат?.. Я заметил, что у меня дрожат руки, и в наступившей вдруг тишине радио негромко сказало где-то: «Московское время — 18 часов...» Значит, по-нашему, девять и прошло всего-то десять минут, как мы подъехали к бригаде.

Но вот позади скрипнула дверь, вышла Иринка и присела рядом со мной. Я никогда не видел ее такой притихшей. Она сидела, опершись на колени и положив голову на руки.

— Ну как?— спросил я.

— Никак пока,— ответила Иринка и тяжело вздохнула.

— Достается вашему брату...

Она задумчиво и чуть заметно покачала головой.

— Быть может, ее надо в больницу отвезти?— спросил я.

— Теперь поздно.

— А раньше?

— Ну что ты пристал?— раздраженно сказала Иринка и, помолчав, смущенно добавила: — Преждевременные у нее, понятно?

— Понял.

— Ничего ты не понимаешь! Э!..— Она выпрямилась и махнула рукой. Так махнула, будто она была взрослее меня, отслужившего действительную в армии и кое-что повидавшего, как думал я всегда.

— Шредер в город уехал за врачом,— сказала Иринка.

— Что же нам теперь делать? Ему не до нас теперь будет. Может, поедем?

— Да ты что?— возмущенно пожала плечами Иринка.— Нельзя уезжать. Эта женщина боится одна с ней оставаться. А тут мужики все в бригаде-то.

— Да... Положеньице!

Из вагончика снова раздались крики. Иринку будто ветром сдуло со ступенек, она исчезла за дверью.

Я опять сидел один, курил папиросу за папиросой и думал о том, какая странная штука жизнь: рожают человека на свет, растят его заботливо, оберегают от болезней, нашлепают крепко, если без спросу зимой на улицу раздетым выскочит; потом посылают учиться и опять следят, чтобы учился хорошо; потом опять беспокоятся, чтобы не наделал глупостей, входя в жизнь: не заболел бы дурной болезнью, не женился бы на недостойной, а потом, случается, как с дедом Якушенко, остается человек один, никому уже не нужный, и тихо умирает.

Неправильно это как-то...

Прерывистые крики, переходящие изредка в жалобные, слабые стоны, неожиданно стихли. Откуда-то из степи долетал шум мотора, работающего на частых оборотах.

Из вагончика вдруг раздался новый крик, совсем не похожий на прежний вопль боли, а требовательный, немного даже торжествующий крик рожденного человека.

На порог вышла Иринка и, устало прислонясь к дверному косяку, сказала:

— Девчонка, Лешка... Ма-ленькая...— На лице Иринки промелькнуло выражение испуга.— Ой, Лешка! Я же совсем не знала, что надо делать!..

Ослепив нас светом фар, прямо к вагончику, смяв заросшую травой плоскую клумбу, подкатила трехтонка. Из кабины вылезла толстая женщина с чемоданчиком и в плаще, из-под которого виднелись полы белого халата. Она неожиданно легко взбежала по лестничке, оттолкнув меня и Иринку.

Долговязый, худой Шредер, забыв выключить мотор, медленно обошел капот трехтонки и остановился перед вагончиком, напряженно всматриваясь в занавешенные окошки.

Прошло минуты две, когда опять появилась врачиха, уже без плаща, в халате, и, вытирая полотенцем руки, сказала недовольным голосом:

— Опоздали... Родила уже.— И добавила, увидев испуганное лицо Шредера:— Все в порядке, волноваться нечего. Вот эту пигалицу благодарите,— тряхнула она полотенцем в сторону Иринки.

Шредер как-то странно охнул и вдруг сорвался с места, громыхнул сапогами по ступенькам и исчез в вагончике. Врач прикрыла дверь.

Мы с Иринкой постояли еще немного.

— Ну что? Пойдем?— спросил я.

— Угу,— сказала она.— Пошли.

Мы уже были у знакомого лаза в штакетнике, когда нас окликнул Шредер.

— Постойте! Эй, погодите!— кричал он нам вдогонку и через секунду уже был рядом и тряс смущенной Иринке руку.— Спасибо вам! Большое вам спасибо! Как зовут вас? Ирина? Иришка, значит? Хорошее имя... Очень хорошее...— Потом он благодарно потряс мне руку и тоже сказал «спасибо». И так же стремительно умчался на своих длинных ногах.



Мы стояли около изгороди и улыбались, глядя ему вслед.

— А что, если сейчас спросить у него?— сказала Иринка.

Я пожал плечами.

— Неудобно, по-моему... Не знаю, как сейчас лезть к человеку с какими-то шестернями... Не стоит.

— Нет, стоит!— сказала она упрямо.— Что мы потеряем, если спросим? Эх ты, Лешка! Забыл про деда.

— Ничего я не забыл! Шредер просто не поймет, о чем мы его попросим.

— Посмотрим,— сказала она и решительно зашагала к вагончику.

Шредеру действительно пришлось повторять дважды нашу просьбу. Он слушал и смотрел на нас счастливо и непонимающе. Наконец, когда понял, усмехнулся и покачал головой:

— Угадали вы подъехать, черти! Угадали. Есть у меня четыре штуки. Две дам. Больше не дам. Пусть это она вам дарит, новорожденная. Может, они дочке счастье принесут... А в другой раз не дал бы. Ни в жисть! День сегодня такой... Обошлось мне, пусть и вам немного перепадет. Лады?

На прощание Шредер посоветовал нам проехать в седьмую бригаду.

— У них должны быть. Как вы только проберетесь туда? Речонка там после дождей разлилась, брода нет сейчас, наверное... А может, и ничего, проскочите.

Я взял из его рук две гяжелые новенькие зубастые шестеренки, покрытые густым желтым автолом, и мы с Иринкой бросились бегом к своей машине.

Мы еще издали услышали громкое равномерное посапывание.

— Он все проспал!— сказала Иринка и рассмеялась, не потому, наверное, что было смешно на самом деле, а потому, что у нее было хорошее настроение.

Мы растолкали Димку, сунули ему, сонному, шестерни.

— Сколько времени?— спросил он, протирая глаза.

— Начало одиннадцатого. Выспался?

Димка протяжно свистнул.

— Это вы полтора часа уламывали Шредера из-за двух шестеренок? Ну и жмот!..

— Ты все проспал!— повторила Иринка и надвинула ему кепку на нос.— Знаешь, что случилось, пока ты дрыхнул? Успел человек родиться. Понимаешь, не было ее и вдруг есть, появилась...

— Девчонка? У кого же это?— спросил Димка, поправляя кепку.

— У Шредера.

— Да ну-у?.. У такого тощего?..— удивленно протянул Димка.

Иринка снова рассмеялась.

— Вот дурак. Скажет же такое...

— А чего я такого сказал?..— Димка недовольно насупился, но не выдержал и тоже расхохотался.— Поехали? Куда теперь?

— Попробуем в седьмую пробраться,— сказал я, нажимая на стартер.

— Давай в седьмую!— возбужденно крикнула Иринка.

Мы выехали из-за сарая, снова стали видны светящиеся окошки шредеровского вагончика. Иринка обернулась и долго смотрела назад, притихшая, видно, вспомнила что-то такое, о чем нам с Димкой нельзя было рассказать.

Ночь стала еще черней. Дорога испортилась, и это было, пожалуй, к лучшему, потому что на ровной дороге я мог бы еще уснуть, чего доброго. Я все ж таки здорово устал за день.

Скорость приходилось часто менять, и у меня заныло правое плечо. Я подумал, что после седьмой бригады придется передать руль Димке. А он вновь начал клевать носом.

— Лешк, а скажешь, я не молодец?— спросила Иринка, взяв у Димки с колен промасленную бумагу с шестернями.— Скажешь?

— Хвастунишка ты,— поддразнил я ее.

— «Хвастунишка»... Это ты нарочно, я знаю. Но ты не разозлишь меня сегодня. Не-ка! Ну что, скажешь теперь, что зря меня взял?

— Нет.

— То-то... А я тебе скажу по секрету: перепугалась я там, в вагончике, до смерти... Тетка та не знает, что делать, а она так страшно кричала... Так страшно, Лешенька...

Иринка умолкла.

Я догадался, о чем она подумала, и, сняв руку с баранки, обнял Иринку за плечи. Она доверчиво приутилась ко мне.

— Я посплю немного, ладно?— сказала она.

— Хорошо.

Метров через двести мне пришлось убрать руку с ее плеча и осторожно оттолкнуть Иринку. Она только глубоко вздохнула во сне и привалилась к Димке.

Нет, она у меня все-таки самая лучшая девчонка на свете... Около получаса я медленно вел машину по скверной дороге и, переключая скорости, старался не сильно ударять рычагом по коленям Иринки.

...Они оба проснулись, когда я притормозил у реки и выключил мотор. Переливаясь тусклым серебром в свете фар, перед радиатором лежала широкая лента реки... У противоположного берега из воды торчало несколько хилых кусточков, которые чуть подергивало ветром и течением. На мокрой глине дороги у реки не было ни одного следа, который бы показал, что машины уже проходили здесь после разлива.

Мы вылезли из кабины и подошли к реке. Она с тихим плеском стлалась у ног. Кроме этого плеска, было слышно только, как с чвяканьем падали на дорогу отстающие от машины комья жидкой грязи.

— Что будем делать?— спросил я.

Иринка молчала, а Димка, сдвинув кепку на лоб, почесывал затылок и цокал языком, чертыхаясь. Вдруг он решительным жестом поправил кепку и вошел в воду, которая сразу будто срезала ему ноги до щиколоток, потом еще выше и вот уже добралась до краев голенищ...

— Куда ты, черт?— закричал я ему, хотя уже понял, что он надумал.

И Димка, будто зная это, молча и не оборачиваясь, отмахнулся.

— Пойдем, садись в кабину,— сказал я Иринке.

Она тоже ничего не спросила, только нахмурилась

и часто оглядывалась на Димку, пока мы дошли до машины.

Димка брел впереди, тяжело переставляя ноги. Видно, течение оказалось сильным, да это было заметно по тому, как с шумом билась о колеса вода, крутясь водоворотами, стремительно убегала от Димкиных ног вниз, в темноту.

Я мельком взглянул на Иринку. Она напряженно следила за Димкой, закусив побелевшую губу.

Неожиданно Димка провалился по грудь. Я резко нажал на тормоз и распахнул дверцу. Димка обернулся, сразу зажмурил глаза от света.

— Он не умеет плавать,— сказала Иринка.

— Я знаю.

— Надо тебе пойти вместо него.

— Он не согласится, Иринка.

— Да,— кивнула она.

Димка выбрался из ямы и стал обходить ее слева боком против течения, весь наклонившись вперед. Я выжидал и думал теперь только об одном: если заглохнет мотор, мы без посторонней помощи не выкарабкаемся отсюда.

Димка снова провалился, на этот раз глубже, по самый подбородок.

Только голова и вздернутые вверх руки торчали из воды.

Иринка не выдержала.

— Выходи! Вылазь! Слышишь, что я тебе говорю? Вылазь сию минуту!— кричала она, раскрыв дверцу со своей стороны и вся высунувшись из кабины.

Когда Димка опять вышел на отмель, он погрозил Иринке кулаком и сказал негромко:

— Да помолчи ты...

Она опустилась на сиденье и зло сказала:

— Осел упрямый! Дурак!

Глядя, как Димка спускается вниз по течению, осторожно нащупывая дно, я подумал: хорошо, что он не слышал Иринкиных слов. И в эту минуту я почти ненавидел ее. Ведь она всегда понимала все, а здесь вдруг не смогла понять: именно потому, что она кричит на него, Димка скорее утонет, чем вылезет из реки.

— Сиди спокойно!— приказал я, заметив, что Иринка вновь пытается открыть дверцу.— Сиди, не мешайся!

Она удивленно посмотрела на меня и, сдвинув брови, притихла.

Димка все-таки отыскал брод. Вернувшись на середину реки, он махнул рукой, приглашая ехать за собой.

Я отпустил сцепление и прибавил газ. Машина не сразу сдвинулась с места, секунду будто раздумывала и наконец рванулась, погнав впереди большую волну, которая докатилась до Димки. Он оглянулся, потерял равновесие и упал в воду. Кепка слетела с головы и, уносимая быстрым течением, исчезла в темноте. Димка сделал было шаг следом за ней, но где там, не догнать, ударил кулаком по воде, подняв фонтан брызг, и двинулся дальше к берегу.

Он остановился, ожидая меня, и сказал, когда я подъехал:

— Пропала кепка... Вот черт!— В темноте его мокрая одежда казалась черной, и уже нельзя было различить ни галстука, ни клетчатой рубашки.— С кого ее теперь, с деда Якушенко, что ли, получить?

— Я тебе свою подарю,— сказал я.

— Мала мне твоя. В плечах жать будет,— улыбнулся Димка.— Искупался... Надо же...— Он обернулся и смерил пройденную речку взглядом. Потом привстал на носки, стараясь рассмотреть в кабине Иринку, и сказал:— Что ты там кричала? Не расслышал я.

Иринка не ответила.

— Ладно, выходи из воды, будет,— сказал я и выехал на крутой берег почти у самой дороги. Поставил машину на ручной тормоз и спрыгнул на землю.

Хлюпая водой в сапогах, подошел Димка.

— Раздевайся,— сказал я.

— Да как же...— Он пожал плечами и покосился в сторону кабины. Вода ручьями текла с него.

— Раздевайся, черт бы тебя взял!— прикрикнул я.— Кто на тебя смотрит? Ты что же, думаешь, я такой кисель в машину пущу? Ну, быстро!

Димка нехотя стал стягивать пиджак.

— Холодная вода?

— Н-нет, не очень. Только вот когда вылезаеть,

холодно,— честно признался он.— Куда девать ба-  
рахло?

— Выкручивать.

Мы уже взялись с двух концов за пиджак, как  
вдруг Димка выдернул у меня пиджак из рук и за-  
вопил:

— Черт! Документы!— Он лихорадочно стал оты-  
скивать внутренний карман.

— Вот тебе на! Какие там у тебя?

— Да права... И тексталон мой... Ах, чтоб их!.. Рас-  
кисли к чертовой бабушке!..— Он достал слипшиеся,  
размокшие корочки, попытался их разлепить, но мах-  
нул рукой:— Все, накрылись...

— Положи на радиатор,— сказал я.— Высохнут, то-  
гда посмотрим. Растяпа ты...

Мы выкрутили его парадный костюм. Димка попы-  
тался надеть его опять, но тут же стянул.

— Брр... Еще холодней...

— Ладно. Иринка! Там под сиденьем мой ватник,  
дай его сюда. А шмотки твои прикрутим на капоте,—  
сказал я Димке,— дорогой мигом высохнут.

Теперь он сидел в середке между Иринкой и мной.

В полутьме кабины слабо мерцали приборы на  
щитке, и в этом призрачном свете очень смешно вы-  
глядели голые Димкины ноги, торчащие из-под старо-  
го, промасленного до блеска ватника.

Но Иринка даже не улыбнулась.

Оба они сидели какиз-то скучные.

— Ты что, убытки подсчитываешь?— спросил я  
Димку.

— Иди ты, знаешь куда...— сказал он незлобно.

А Иринка с тех пор, как я заорал на нее в реке,  
не вымолвила ни словечка.

Я вел машину, а сам поглядывал на Иринку, но она  
даже не повернула головы в мою сторону. Вот тебе и  
раз! Никогда не обижалась, и тут вдруг... Правда, и я  
никогда не обижал ее по-настоящему. Нехорошо вы-  
шло...

Она сегодня была молодцом, не сдрейфила там, в  
вагончике. Ну, а что с Димкой сплеховала, так это у  
них, у женщин, всегда: если они о ком-то начинают за-  
ботиться, то, кроме этой своей заботы, ничего больше

знать не хотят, даже когда она человеку поперек глотки встает...

Поговорить бы с ней по-хорошему, да между нами Димка сидел. А он заметил мой взгляд, понял, наверное, что мешает, и заерзал.

Иринка вдруг тихонько запела.

Она умела колоть дрова, стрелять из ружья, водить машину, жарить картошку без жира, плавать, корову доить, перевязывать рану, отшить любого пристава — все, а не умела только петь. Зато любила это занятие больше всего на свете. При людях она стеснялась: над ней смеялись много раз, — и она пела, когда оставалась одна или думала, что одна.

Я прислушивался к ее тихой песенке без мотива и думал, что это Иринка назло нам: дескать, что вы есть, что нет вас, мне наплевать, я сама по себе, пою — и все.

Мы выехали на прямую, хорошо укатанную дорогу, и я прибавил скорость. В ветровое стекло ударило несколько мелких капель, потом еще.

— Дождь, что ли? — удивился Димка.

А небо было звездное, без единого облачка.

— Со шмоток твоих этот дождь, — сказал я и включил «дворник»: так забрызгано было стекло.

Димка рассмеялся, а Иринка все напевала ту же бесконечную песенку, будто и не слышала ничего.

До седьмой бригады мы доехали, не сказав больше ни слова.

Поселок бригады прилепился к подножию голой сопки у маленького пресного озера, в котором отражались огни, и от этого поселок казался больше, чем был на самом деле.

Здесь еще не спали. У щитового домика с ярко освещенными окнами стояли люди, вспыхивали огоньки папиросок.

Я направил машину прямо на них и остановился у самой двери.

— Костюм мой сними, — сказал Димка.

— Хорошо.

Я вышел из кабины и потоптался на земле, разминая усталые ноги. Правая дверца звонко хлопнула — это вылезла из машины Иринка.

Пока я отвязывал Димкин костюм с капота, ко мне подошли несколько человек.

— Ого, да это не наши!— сказал один.

— Это Алешка Демин, я его знаю, с центральной.

— Здоров!— воскликнул другой и протянул мне руку.— Узнаешь?

— Здорово!— сказал я, пожимая руку Петру Фищенко, с которым мы как-то ночевали зимой в одной машине у заготпункта.

Фищенко широко размахнулся и хлопнул меня по плечу.

— Мы с ним кореши. Чуть не подошли на пару,— объяснял он своему приятелю.— Мотор включили, чтоб не замерзнуть, да уснули. Не задохлись едва. Без памяти нас утром выволокли. Во дела...

Я бросил костюм Димке в окно.

— Сырой еще...

— Черт с ним. Я тоже выйти хочу, ноги затекли.

— Ну давай.

Фищенко стоял рядом и все качал головой, усмехаясь.

— А ты-то помнишь, как перепугались все?— спросил он.

— Помню.

— А с чем пожаловали сегодня? Чего поздно так? С компанией, я смотрю.— Он подмигнул товарищу и покосился на Иринку, прислонившуюся к машине.

— Дело есть. Где бригадир?

— Бригадир? Фью...— протяжно свистнул Фищенко и ткнул большим пальцем через плечо в сторону дома.— Там бригадир. Ты что, может, водяру привез?

— Какую водяру?— пожал я плечами.— Он мне по делу нужен.

Фищенко разочарованно промычал:

— М-м-м... Тогда твое дело швах. Он сегодня без водки с тобой и разговаривать не станет. Вон гулянка какая идет!

— С чего бы это? Что за день у вас сегодня такой?

— Вторник,— ответил он и не улыбнулся даже.

— Ну и что же?

— А ничего!— Он опять стрельнул глазами в сторону Иринки.



— Ясно. А лыко он вяжет? Говорить-то с ним вообще можно?

— Смотря ведь об чем...

В доме нестройно заорали: «Но нет любви хорошей у меня...» Дело плохо.

— Ничего не выйдет, наверное,— сказал Димка.

— Н-да...

Песня неожиданно оборвалась, и к окну подошел человек в расстегнутой рубашке. Некоторое время он стоял, пошатываясь, потом качнулся вперед на стекло и, загородившись от света ладонями, смотрел на нас.

— Он и есть, Михаил наш, Миша,— сказал Фищенко.

Человек у окна выпрямился и неуклюже махнул рукой, будто загреб что-то.

Через минуту он вышел на крыльцо. Позади него в дверях толпилось еще несколько парней с пьяными, расплывающимися в улыбках лицами.

— Гости к нам, значит?— сказал Миша. Голос у него был густой и ровный.— Милости просим.— Он шаркнул тапочкой, надетой на босу ногу.— И девушка, пожалуйста, входите. Мы люди радушные, гостям рады...

Я переглянулся с Иринкой. Она еле заметно пожалала плечами.

— Вхаите, вхаите,— пьяно проямлил кто-то из-за спины бригадира.

Я не знал, что делать. Пить нам никак нельзя было, но и отказаться войти тоже неловко. К тому же бригадир выглядел не очень пьяным. Говорил спокойно, разборчиво и лишь чуть пошатывался.

— Пойдем?— спросил я.

Вместо ответа Димка вылез из кабины, одетый уже в свой мятый, как будто жеваный костюм. Иринка кивнула, и мы следом за ней вошли в дом мимо вежливо отступившего в сторону хозяина.

В комнате не было ничего, кроме стульев, в беспорядке разбросанных вокруг длинного непокрытого стола, на котором лежали и стояли бутылки из-под водки и консервные банки с традиционной закуской: лососем и китайским компотом из мандаринов.

Я заметил, что в нескольких бутылках еще была водка.

Все вошедшие сгрудились у стола. Вперед протолкался Миша и, взяв одну из бутылок с водкой, прогудел:

— Дорогим гостям штрафную положено, чтоб не опаздывали.

— Погоди,— остановил я его.— Мы пить не будем.

Миша прищурил один глаз и склонил голову набок.

— Как так не будете?— негромко спросил он.— Брезгуете, значит, пить с нами? Так это надо понимать?

— Нет, не то. Мы по делу приехали, а не на гулянку,— сказал я.

Вокруг загалдели, замахали руками:

— Э-э, мало ли что...

— Никаких делов сегодня!

— Пейте!

Но Миша отставил бутылку и повел рукой, успокаивая своих.

— Тихо! Дело есть дело. Раз люди по делу приехали,— значит, надо... Садись!— Он сел сам, и все загремели стульями, занимая места за столом. Миша оперся щекой на руку и приготовился слушать.— Какое дело, выкладывай.

Димка подмигнул мне: видишь, дескать, все не так худо.

— Нам нужны шестерни для самоходки,— сказал я.— Штуки четыре. Выручайте, ребята.

Миша молчал, будто ожидая еще чего-то, потом спросил:

— Это всего, делов-то?

— Да.

— Чепуховина,— презрительно сказал Миша.— Это дело-то — раз плюнуть. Я тебе дам четыре штуки, даже не спрошу, для чего... А теперь выпьем.— И он стал наливать, расплескивая водку.

— Хорошо,— согласился я.— Только полстакана, больше нельзя. Нам еще назад ехать, да и устали мы.

— Э! — отмахнулся Миша.— Какой же ты, парень, шофер, если от двухсот граммов косеешь? Пей! И де-вушка выпьет с нами.

Мы с Димкой взяли стаканы. Миша разлил остатки водки на всех и пододвинул один из стаканов Иринке.

— Выпейте, пользительно.

— Нет,— сказала она.

Я знал, что Иринка никогда не пила белую.

— Оставь ее,— сказал я.— Она не будет.

— Будет,— спокойно ответил Миша.

Все выжидающе притихли с поднятыми стаканами в руках.

— Поехали,— сказал Миша и шумно выдохнул воздух.— Ххо!

Димка выпил. Ему нужно после купания, подумал я. А мне совсем ни к чему: устал здорово, Иринка не притронулась к своему стакану.

— Ну что ж, долго вас ожидать надо?— спросил Миша.

— Ладно.— Я отпил половину и зажевал чем пришлось: приторно-сладкой долькой из компота.

— Ну, девушка, смелее,— подмигнул Миша.— Как вас зовут-то?

— Что зря говорить?— раздраженно ответила Иринка и зло посмотрела на меня.— Не буду я! Хватит!— Она повернулась, чтобы уйти.

— «Ты постой, постой, красавица моя!..»— насмешливо пропел Миша и вдруг бросился следом за уходящей Иринкой, расталкивая людей, расшвыривая стулья.— У нас так не годится. Будешь пить!

Он успел схватить ее за руку прежде, чем я оказался рядом. На глазах Иринки выступили слезы, и она вопросительно глянула на меня: что же ты?

— Ну-ка, пусти ее,— сказал я, оттесняя Мишу плечом.— Насильно ничего не выйдет.

— А ты кто такой, сопляк?— пробасил Миша и побычьи склонил голову, будто собрался бодаться.— Никто твою бабу насиловать не собирается, успокойсь...

Вокруг пьяно загоготали.

Я ударил его левой в поддых и, когда он согнулся, схватившись за живот, поддел правой подбородок. Миша опрокинулся навзничь, грохнув поваленными стульями.

В два прыжка Димка был около меня.

Не оборачиваясь, я сказал через плечо Иринке: — В машину, быстро! Двигатель включи!— Она замешкалась.— Уходи!

Я услышал за спиной ее медленные шаги и не спускал глаз с компании. На миг оглянулся: выход был свободен. Там, у открытых дверей, остановилась Иринка, не решаясь, видимо, оставить нас.

Они вначале растерялись. «Пьяные все, черти»,— думал я, следя за каждым их движением. Только бы бутылки не похватали. Надо уходить, пока не очухался Миша.

Да, они еще стояли, как столбнячные, но повернуться к ним спиной я не решался. Наконец один догадался помочь Мише подняться.

Тот встал, качнулся, утер с разбитой губы кровь и все еще не взглянул в нашу сторону. Вдруг он снова присел на пол и стал шарить руками, отыскивая что-то. Видно, не нашел, резко выпрямился и выругался:

— ...Золотой зуб вышиб, сука ты такая!..

«Мира не будет»,— подумал я.

Так и случилось. Я не успел увернуться от неожиданно брошенной бутылки, и она попала мне в голову. Свет на мгновение померк, комната покосилась и потекла куда-то вправо по кругу...

И тут они набросились на нас.

«Только бы не упасть»,— думал я, защищаясь от ударов и пятясь к выходу. Димка прикрывал, как мог, а они поняли, видно, что меня легче добить, тогда-то уж с одним Димкой справятся, и рвались еще достать меня.

Совсем я пришел в себя только на улице. Димка еще на время сдерживал их в дверях. Этого хватило, чтобы добежать до машины. Мотор работал. Молодец, Иринка!

Они вывалились из дверей сразу, будто их вытолкнуло оттуда поршнем, и кинулись к нам. Но в руке у меня уже оказалась заводная ручка, а у Димки — тяжелый гаечный ключ, подсунутые вовремя Иринкой.

Заметив наше оружие, они остановились, окружив нас полукольцом у машины. Напротив меня стоял Миша и ругался, в бессильной ярости сжимая кулаки.

— Сволочь!.. Гад!.. Боксом, да?.. Боксом?..— повто-

рля он.— Ты мне триста рублей за этот зуб заплатишь? Гад! Выходи сюда! Что же вы удрали?..

К нему протиснулся Фищенко.

— Кончайте, ребята,— сказал он.— Ни к чему это.

— А зубы вышибать к чему?— злобно спросил Миша.

— Найдем твой зуб, куда он денется,— сказал Фищенко.— Свои же все ребята, зачем драться? Нехорошо выйти по пьянке может. Пусть они уедут — и все.

— Накапают еще,— сказал кто-то из них.— День рождения у нас сегодня, поняли?— объяснил он нам.

— Пусть они уезжают,— повторил Фищенко.

Я заметил, что ребята поостыли немного. Да и дело приняло какой-то дурацкий оборот: выходило, будто они за этот несчастный зуб дерутся.

— Пусть катятся,— сказал парень с заплывшим глазом, наверное, Димкина работа.

— Я еще с тобой посчитаюсь!— пообещал мне Миша.— Я с тобой еще встречусь на узенькой дорожке...

— Ладно,— сказал я и, не выпуская свою железку из рук, стал на подножку.— Поедем, Иринка!

Димка влез в кузов на всякий случай, чтобы они не подцепились к нам да нежданно не сотворили что-нибудь в степи.

Иринка рывком тронула машину. Все-таки она еще не умела как следует водить, а может, переволновалась просто.

Когда мы отъехали уже метров двадцать, на Мишу напал вдруг приступ злобной обиды. Миша закрутился на месте, подобрал обломок бута и швырнул нам вслед. Камень шлепнулся в лужу рядом с колесом. Миша еще долго, пока он был виден в слабом свете, падающем из окон дома, грозил кулаком и, наверное, ругался.

За поселком я попросил Иринку остановить машину.

Болела голова. Я потрогал больное место у правого виска, на пальцах остались темные полосы — кровь. Пробили голову, что ли?

Из кузова выпрыгнул Димка и подошел ко мне.

— Ну что? Здорово тебя?

— Не пойму...

— Дай-ка я посмотрю,— сказала Иринка сверху, из кабины.— Ну, отойди же, я дверцу открою. Пойдем под фары.

Я присел на корточки у крыла, а Иринка стала осторожно ощупывать рану.

— Больно?— спрашивала она, надавливая пальцами на кожу и все ближе подбираясь к самой дырке.

— Конечно, больно! Тише ты!

— А ты не кричи на меня,— сказала Иринка.— Не будешь больше орать на меня?

— Только за дело.

— Никак!

— А что тогда будет?

— Вот я тебе еще одну дырку в башке сделаю, тогда будешь знать,— сказала она и, склонившись к моему лицу, улыбнулась.— Я серьезно.

— Не буду, Иринка, орать больше. Не надо второй дырки. Эту законопать лучше чем-нибудь.

— Сейчас... Димка, ну-ка уйди отсюда пока,— приказала она.

Я услышал треск разрываемой ткани и поднял голову. Расстегнув воротник платья и спустив его с одного плеча, Иринка отрывала кусок от белой рубашки.

— Отвернись. Не смотри же, ну!..

— Должен же я знать, что ты мне в голову записнешь.

— Вот дурак...— Иринка повернулась ко мне спиной.

На уровне своих глаз в ярком свете фар совсем близко я увидел стройные смуглые лодыжки ее ног. Я обнял их и прижался щекой. Ласковая прохлада ее кожи будто успокаивала боль в голове.

— Не балуй, Леша,— сказала она, но не шевельнулась.

— Я раненый, мне теперь все можно...

— Ну погоди...— Она легонько отстранила меня и присела рядом.— Давай дырку заделаем.

Широкие белые ленты с неровными краями чуть пахли чистым бельем и еще чем-то, еле уловимым, но очень знакомым, как травой после дождя.

— Я могу подойти?— крикнул Димка из темноты.

— Иди.

— Полевой лазарет,— усмехнулся Димка.— Тебе б, Иринка, ветеринаром стать надо. Здорово получается.

— Ну-ну. Ты полегче. На что намекаешь?— спросил я.

— Ни на что...

— То-то. Тебе придется вести машину,— сказал я, разглядывая свою правую руку. Она распухла у косточки, и было трудно шевельнуть пальцами. Видно, неудачно ударил.

— Что руку разглядываешь?— спросил Димка.— Зуб-то железный, как ты ее совсем не разбил, удивительно.

— Золотой, он кричал,— возразила Иринка.

— Железный!— ответил Димка.— Я точно знаю. Я вообще этого Мишу знаю. Он когда-то здесь недалеко председателем колхоза был, да погорел за пьянку. И отсюда полетит, допрыгается, алкаш чертов. Интересно, были у него на самом деле шестерни или трепался?

— Черт его знает,— сказал я.— Есть, небось.

— Это я виновата,— сказала Иринка.— Не было бы меня, и он бы дал вам шестерни под пьяную лавочку...

— Или вообще не стал бы с нами разговаривать без тебя,— сказал Димка.

Я махнул рукой.

— Может, и к лучшему, что не взяли у него ничего. А то потом с таким типом не расхлебашься за эти шестерни.

— Так-то так... А что мы теперь делать будем?— спросил Димка.— Возвращаться? Обидно, черт: столько перетерпеть — и вернуться не солоно хлебавши. Тут уж не только деда Якушенко, а и меня самого заело...— Он усмехнулся.— Я думал, поездочка скучная будет: езд, выпрашивай — какое веселье... А тут нашли приключений... Надо же...

— Готово,— сказала Иринка.

Бинты туго стягивали голову, и, казалось, боль утихла, ушла куда-то внутрь.

— Спасибо,— сказал я и поднялся. Опять на секунду все закружилось перед глазами, но тут же стало

на место.— Времени-то сколько сейчас?— Посмотрел на часы.— Половина двенадцатого. Можно было бы до РТС в город смотаться, да я там не знаю никого. Если б днем, куда ни шло... А так можно зря прокататься.

— А в четвертое отделение?— спросил Димка и с сомнением добавил:— Далековато... Бензину хватит ли?..

— Что же делать, надо ехать,— сказал я.— Взялись за гуж... На обратную в бригаде же и заправимся.

Теперь я сидел у окна, стараясь прямее держать голову, в которой каждый толчок машины отдавался выстрелом в правый глаз и в висок. А Димка гнал машину, как сумасшедший.

«Да он же выпил полный стакан,— вспомнил я.— То-то он так разговорился сегодня».

Иринка дремала или думала о чем-то, закрыв глаза. А я не мог так же: невольно следил за дорогой, быстро несущейся из темноты навстречу, и нога сама шевелилась, выжимая воображаемый тормоз, когда попадали бугры или выбоины.

Я покосился на Димку. Лихо едет, черт, совсем отпускает руль после поворотов. Наскочит колесом на что-нибудь — и ищи нас в кювете. Да еще напевает что-то под нос... Под здорово распухший нос. Саданули, видно, крепко. И большой синячище темнел во всю скулу.

— А ты фары можешь выключить,— сказал я.

— Зачем?

— У тебя своя под глазом на всю степь светит.

Он потрогал скулу.

— Да, присветили...—И тряхнул головой, резко вывернув руль на повороте.— А как ты с бутылкой чокнулся, я подумал, что завалишься... Устоял... Так ведь и убить могли за здорово живешь. Не испугался? Я ее, каргу корявую, что-то побаиваться начал...

— А я, Димка, смерти не боюсь.

— Хм... Чего же ты тогда боишься?

— Я жить плохо боюсь.

— Ну, это от тебя зависит.

— Тоже верно... А ты, если смерти боишься, так на повороте руль не выпускай.



— Ерунда,— отмахнулся Димка.— Меня в машине бог бережет.

Вдали на дороге мелькнули встречные фары и скрылись за пригорком. Через некоторое время они показались опять и стали быстро приближаться. Когда до них оставалось метров двести, Димка переключил на малый свет, но другой водитель и не подумал ответить тем же.

— Вот хамье!— сказал Димка, притормаживая и заслоняя глаза рукой.— Зажег три штуки и радуется, подлюга... Эх, где же моя кепочка, а то б я ему показал.— И Димка тоже включил дальний свет.— Пусть поерзает.

Встречная машина вдруг остановилась на середине дороги. Из нее выскочил человек в синей шинели и пальцем указал себе под ноги: стойте, мол, здесь.

— ГАИ!— сказал Димка.

— Да... Влипли...

— Может, оторвемся?

— Нет. Стой.

Димка резко затормозил так, что я схватился за голову, а Иринка чуть не расквасила нос о приборный щиток. Прикорнула она все-таки.

К машине подошел старший сержант и, откозырнув, сказал:

— Патруль ГАИ. Предъявите документы.

Димка вздохнул: носит вас тут на нашу голову— и, достав из пиджака свои корочки, отдал сержанту. Тот развернул и, выпятив губу, долго и пристально рассматривал их внутренности.

Димка присвистнул и прошептал, повернувшись ко мне:

— Я ж ему свой кисель отдал!

— Вот черт...

Сержант поднял голову и, подозрительно взглянув на нас, позвал:

— Круглов! Поди-ка сюда!

Из милицейского «бобика» вылез еще один гаишник и подошел к нашей машине, поправив на ходу кобуру пистолета.

— Глянь-ка,— протянул сержант подошедшему

Димкины размокшие документы и обратился к нам:—  
Чья это машина?

— Моя!— сказал я.

— Вы выйдите из машины,— приказал сержант.—  
Выходите, выходите. Все!— добавил он строго, заметив, что Иринка не собирается оставлять кабину.—  
У-у! Откуда же это вы такие красивые? Куда? Ну-ка дыхните!.. Ладно, не нужно: и без того видно, что пьяные. Ну и компания, а, Круглов?

— Н-да,— покачал головой второй милиционер.—  
Где же документы на машину?

Я отдал ему.

— Так.— Он обошел машину, сверяя номера с отметками в тексталоне, и сказал, снова вернувшись к нам:— А путевого листа, конечно, нет?

— Нет,— ответил я.

— Интересная история получается,— удовлетворенно сказал сержант.— Откуда вы?

— Из «Победы»,— ответил я.

— Из «Победы»? Что-то я там не знаю таких... А ты, Круглов?

— Да и я не припомню.

— Зато я тебя помню,— сказал я.

— Откуда это?

— В прошлом году весной на техосмотре к тормозам придирался. Вот этого самого «газика».

— А... Нет, не помню что-то. Из «Победы», говорите?— Он заглянул в документы.— Верно. А где же это вас так разукрасили?

— Сами себя,— сказал Димка.

— Ага... Ну что ж, в отделении расскажете подробней. Вот так. Придется вас задержать, друзья.

— Товарищ милиционер! Никак нельзя нас задерживать,— с волнением сказала Иринка.— Дело у нас, поймите! Мы сейчас вам все расскажем...

— Вот в отделении и расскажете,— перебил ее сержант.

— Так нельзя нам!..

— Спокойно, девушка, спокойно! Можно в отделение, почему нельзя? Всем можно, и вам тоже. В общем, пройдемте, как говорится.

— Да как же?

— Все!— Сержант поднял руку, будто сдерживая ладонью готовый прорваться поток Иринкиных слов.

— Бесплезно, Иринка,— сказал я.— Ничего не поделаешь...

— Вот именно,— подтвердил сержант.— Круглов, садись в грузовик, возьми с собой...— Он еще раз оглядел нас, как бы оценивая, кто из нас посильнее.— Вот этого, с синяком. А перевязанный и девушка со мной в «бобике» останутся. Поехали.

— Да!— вздохнул Димка.— Не повезет — так и не уедешь... Ну, пока, может, свидимся еще. Привет деду Якушенко.— И он полез в кабину моего «газика».

— Пойдем, Иринка,— сказал я, обняв ее за плечи.— Нас теперь, как большое начальство, дальше в легковушке повезут.

— Неужто ничего нельзя сделать?— не сдавалась она.

— Нет. Ничего,— сказал я.

Милиционеры еще посовещались о чем-то и разошлись по машинам.

— Только смирно, без фокусов,— предупредил сержант, усаживаясь за руль.

Он несколько раз привставал, расправляя под собой полы шинели, потом завел мотор и развернул «бобик».

Мы с Иринкой сидели сзади на мягкой подушке. В «бобике» ехать было лучше: не так трясло и меньше болела голова. Иринка все вздыхала, прижавшись ко мне.

— Как получилось-то нехорошо, Лешка,— сказала она.— Может, и правда эта примета, что баба в пути приносит несчастье?

— Глупая ты у меня все-таки,— сказал я и поцеловал ее.— Нет такой приметы. А если есть, то она к морякам относится, а нас, шоферов, не касается.

Иринка улыбнулась:

— Ага, я знаю, так бывает. Я в поезде с одним казахом ехала. У него тринадцатое место было. Я говорю: не повезло вам, несчастливое число вам попало. А он говорит: это русских касается, а меня не касается. Обыкновенное число. У нас, казахов, другое

несчастливое. И называет какое-то, я уже забыла, какое. Двадцать семь, кажется.

— Ну вот, видишь,— сказал я и снова поцеловал Иринку.

— Ведите себя приличней,— сказал сержант. (Он подсматривал за нами в зеркальце.)— Забыли, где ходите? Не в саду на скамеечке.

Иринка смутилась и отпрянула от меня в другой угол. Но я опять привлек ее к себе и сказал:

— А ты веди машину, сержант, и не лезь не в свое дело. Ты ГАИ, понял, а не милиционер в скверике у скамеечек.

— Ну ладно, в отделении заговоришь по-другому,— пообещал сержант.

— Зачем ты нарываешься?— прошептала Иринка.— Наговорит еще по злобе три короба в отделении.

— Да ну его к черту!— ответил я, не понижая голоса.— Думает, раз на нем форма, так он может нос везде совать.

Сержант только крикнул и ничего не ответил.

А я был зол не на шутку: надо же нам было так вгрохаться? Что там еще сержант мог наговорить?! И без того дальше ехать некуда. Он имел право талон проколоть только за то, что трое в кабине, а тут ведь еще черт те что вышло: водкой несет, морды набиты, едем ночью без путевки, за рулем сидит посторонняя личность с какими-то мокрыми, липкими бумажками вместо прав... Гроб с музыкой!

Я нашел в кармане папиросы и закурил. От них только голова разболелась еще больше.

Впереди маячил борт моего «газика» с четко написанным номером «66-34». Было до того непривычно и странно видеть этот номер, покачивающийся в рамке ветрового стекла чужой машины, что я старался туда не смотреть. А то, что моя машина преспокойно ехала без меня, казалось мне предательством с ее стороны и злило еще больше.

Я откинулся на спинку и закрыл глаза. Теперь и я мог подремать: я стал самым обыкновенным пассажиром.

«Дернул же меня черт встретить сегодня деда Якушенко!»— подумал я сквозь дрему.

В городе мы были минут через сорок. По темным ночным улочкам райцентра нас доставили в отделение.

На всей улице свет горел только в этом здании. У входа, опершись о косяк, покуривал милиционер. Мой «газик» уже загнали во двор, как вещественное доказательство, наверное, а с Димкой мы встретились в комнатке, вдоль стен которой стояли жесткие скамейки. На одной из них, свернувшись калачиком и укрывшись с головой пиджаком, спал какой-то пьяный, на другой сидел небритый детина с маленькими, тусклыми глазками, глянувшими на нас из-под нависшего лба, как подвальные оконца. Дверь с круглым отверстием посредине захлопнулась за нами.

— Плохо наше дело, ребята,— сказал Димка.— Дежурный выехал на происшествие, когда вернется, черт его знает... Да и вернется, что еще скажет-то.

— Подрались, что ль, из-за бабы?— спросил, ухмыляясь, детина.

— Не твое дело! — ответил я.

— Ишь ты!.. Разговаривать не желаете, значит? Не компания я, да? Врете, падлы, мы тут, в этой комнате, все компания...

— Ладно, заткнись!— оборвал его Димка.— Садитесь, ребята, ждать долго придется.

— Как твоя голова?— спросила меня Иринка.

— Ничего...

Я сел и прислонился затылком к холодной стене. Рядом Димка, облокотясь на колени и опустив голову, думал о чем-то. Иринка читала найденный на скамье обрывок газеты. Сидевший прямо напротив парень бесцеремонно разглядывал нас, но больше не ухмылялся.

Прошло минут десять, а может, и больше, когда щелкнул замок и в комнату вошел незнакомый милиционер.

— Никому ничего не нужно?— спросил он. Мы промолчали.— Если понадобится что, стучите,— добавил он и повернулся, чтобы уйти.

— Скоро там, Иван?— спросил парень.

— Сиди, куда тебе торопиться,— ответил милиционер.

— Надоело...

— Нам тоже с тобой возиться надоело.

— У вас служба такая...

Милиционер снова повернулся к нему и подошел поближе.

— Ты вот скажи, на черта ты этот мотоцикл тронул? Продать здесь не продал бы, ездить не умеешь... Зачем?— Милиционер пожал плечами.— Мертвое же дело было, вот и попался сразу.

— Не твоего это ума дело, Иван,— ответил парень и презрительно махнул рукой.— Что ты понимаешь!..

— Да, уж тебя-то мне никогда не понять,— согласился милиционер.

— Вот то-то и оно... Может, в шахматишки сыграем?— предложил ему парень.

— Неплохо бы, да шахмат нет,— ответил милиционер.

— А где же они делись? В прошлый раз были ведь...

— Порастаскали все...— вздохнул милиционер.

— Вот сволочи!— искренне и зло выругался парень.

— Да... Так если что нужно, постучите,— уже совсем другим, холодным тоном повторил нам милиционер и вышел.

Еще минут через десять он появился опять и спросил, обращаясь к Димке:

— Кто здесь Демин?

Я поднялся.

— Ну я.

— Пойдем.

Иринка тоже вскочила:

— А мы?

— Подождите, гражданка.

Я улыбнулся ей:

— Перестань. Я скоро вернусь.

— Ни пуха ни пера,— пожелал мне вслед Димка.

— Спасибо...

Мы прошли по длинному, не предвещавшему ничего хорошего, полутемному коридору, позади гулко гремели подкованные милицейские сапоги.

— Вот сюда,— сказал милиционер у двери с дощечкой «Начальник отделения».

В большом кабинете с окном, занавешенным тяжелыми шторами, за письменным столом, освещенным лампой, сидел капитан милиции в фуражке и темно-синем плаще. Капитан внимательно читал какой-то синий бланк, густо исписанный неровным почерком. Рядом с пачкой сигарет на столе лежали наши документы. Я их сразу узнал по размокшим корочкам Димкиных прав.

Капитан поднял голову от бумаг и сказал:

— Ну, здравствуй, Алексей Демин.

Я удивленно посмотрел на него, до меня не сразу дошло, откуда это капитан знает мое имя.

— Что смотришь? Тут про тебя вот сколько написано,— сказал капитан, щелкнув ногтем по синему бланку.— Не протокол, а целая пьеса.— Он усмехнулся.— Что ты сказал, что сержант сказал— все есть. Не знал даже, что у меня в отделении писатель обзавелся... Или это ты его вдохновил?.. Вы можете идти,— махнул он рукой милиционеру.

Тот отдал честь и вышел, предварительно окинув меня с головы до ног взглядом, в котором тоже не было ничего обнадеживающего.

— А ты садись,— сказал капитан и добавил, видя, что я в нерешительности топчусь у двери:— Садись, коли пришел, мне на тебя голову задирать несподручно.

Я сел в жесткое кресло у стола напротив капитана, который с интересом рассматривал мои бинты. Я машинально потрогал их.

— Что, болит?— спросил капитан.

— Нет, ничего,— ответил я, хотя голова сразу начала болеть, когда о ней вспоминали.

— Ну, рассказывай, куда ехал, откуда, зачем? Все, как отцу родному...

Капитан снял фуражку и, положив ее на стол, пригладил реденькие, седоватые волосы над крутым лбом с красной полосой от твердого околыша. Я смотрел в его полное, будто налитое лицо с большим, мясистым носом и думал: «Что ему рассказывать? Правду рас-

сказать или соврать, результат все равно один: отберут права месяца на три в лучшем случае...»

— Что ж молчишь?

— А что тут особенного рассказывать?— пожал я плечами.— Ехал без путевки...

— Пьяный,— вставил капитан.

— Немного выпивши...— поправил я его.

— Допустим. Управление передал постороннему человеку...

— Я руку повредил...

— Где? — быстро спросил капитан.

Я молчал.

— Ну? — поторопил он меня.— Где вы поранили руку, и кто пробил вам голову? Быть может, была авария?

— Да, да...— уцепился я за его предположение.

— Вот и врешь. А я просил не врать. Нехорошо, Демин. Послушай, если ты совершил преступление, оно все равно раскроется, а если нет, зачем врешь?

— Курить можно? — спросил я.

— Можно. В армии служил?

— Да.

— Парень ты вроде неплохой. У нас за тобой ничего не числится... Натворил что — признавайся сразу, может, исправить еще не поздно, а будешь запереться — я с тобой вообще разговаривать ведь не стану. Посажу, и будешь сидеть до выяснения обстоятельств дела. Тебе такая перспектива улыбается?

— Нет,— сказал я.— Не улыбается.

— Ну так валяй рассказывай.

— Не знаю, с чего начать...

— А ты начни с самого начала,— посоветовал капитан.

— Ну ладно... Приехал я сегодня в гараж...

— Откуда?

— С карьера. Но это не имеет значения.

— Это мне судить, что имеет значение, а что нет. С какого карьера?

— С того, что на Лысой сопке... Но это, правда, к делу не относится. Поставил машину в гараж и вижу: кто-то у самоходки с переносной лампой возится. Есть у нас такой дед, старый совсем. Его так и зовут: дед



Якушенко. Живет один. Сынов его в войну поубивали, а старуха умерла года два назад, что ли...

— А это, ты считаешь, к делу относится? — перебил капитан.

— Я считаю, относится,— сказал я.— Работал дед когда-то в МТС. А в прошлом году, как продала МТС нам машины, стали комбайнеров искать. Дед взялся. Работал ничего, я помню, сам от него зерно возил на сушилку... Ну вот, а тут сидит дед у своего комбайна и плачет. Я спрашиваю: «Что с тобой, дед?» Он говорит: «Обокрали!» «Кто?» — спрашиваю.

— Кто же его? — спросил капитан.

— Механик наш. Ну, не обокрал на самом деле, а разобрал дедову самоходку на запчасти. Нет запчастей к этим самоходкам. Они двадцать дней в году работают, а остальное время стоят без дела... Разве это порядок?

— Непорядок,— согласился капитан.

— Только это вот как раз к делу не относится, извините...

А про то, что было дальше, я рассказал капитану почти в двух словах и, когда замолчал, заметил, что он не слушает, а неподвижным взглядом уставился куда-то мимо меня. Потом он поднялся, подошел к окну, отдернул штору и долго смотрел в ночную улицу.

— А в какой бригаде пьянствуют? — спросил он как-то нехотя, не оборачиваясь.

— Разве это важно, товарищ капитан? Вы нас сегодня отпустите, а потом я вам и штраф уплачу... И что хотите сделаете...

— Не хочешь выдавать? Ну и дурак.— Капитан отошел от окна и сел на свое место.— Из-за таких вот и милицию держим... Сколько лет тому старику? — спросил он неожиданно.

— Не знаю точно... Может, шестьдесят, а может, и больше... Чуть постарше вас вроде...

— Так...— Капитан закурил, глубоко затягиваясь.— А может, ты все врешь, а?

— Нет. Зачем? — пожал я плечами.— Хоть ребят сейчас позвоните и спросите...

— Я проверю. Обязательно,— сказал капитан.—

А что механик говорит? Раз старый,— значит, надо машину отбирать у него, так?

— Ну да. Ведь это и обидно. Старику, может, и вправду последний хлеб в этом году убирать придется...

— Так...— Капитан потер ладонью щеку.— Что же мне с тобой делать?..— Он поднял синий бланк протокола.— Вот видишь, на тебя бумага заведена. Ее без внимания оставлять нельзя... Она требует, понимаешь, чтобы я тебя наказал. Вот так... У тебя четвертной есть?

Я торопливо порылся в карманах, нашел пятерку.

— Нет,— сказал я,— пять рублей только.

— Пять рублей...— задумчиво повторил капитан.— Был бы сейчас здесь дежурный, он бы твою историю про какого-то там деда Якушенко и слушать не стал. Нет. Не стал бы. Вот в том-то вся и штука... Ну, давай твою пятерку. Хоть это смешно, конечно: за такие нарушения... Но я тебе верю, понимаешь?

— Понимаю, товарищ капитан,— сказал я и, положив деньги на стол, поднялся.

Капитан аккуратно прищипил пятерку скрепкой к синему протоколу и отдал мне документы.

— Не попадайся больше. Так легко вряд ли отделаешься.— Капитан вздохнул и, отвернув рукав плаща, посмотрел на часы.— Постой-ка! Эх, черт, поздновато уже, ну да ладно. Погоди.— Он тоже встал из-за стола. Надел фуражку, сунул сигареты в карман и стремительно пошел к двери, около которой стал нетерпеливо ждать меня.— Побыстрой. Поехали!

— Куда?

— Поехали! Не разговаривай много.

Я опять оказался в том же длинном коридоре и, когда мы проходили мимо комнаты, где остались ребята, задержался на секунду, но капитан, подтолкнув меня легонько в плечо, сказал:

— Потом! Некогда.

Мы сели в его синюю с красной полосой «Победу» и поехали в сторону небольшого зарева на окраине городка. Капитан вел машину, всматривался в улицу, вырываемую из тьмы светом фар, особенно провожая взглядом закрытые ставни магазинов.

Мы въехали в большой, ярко освещенный двор, заваленный разным железным хламом. Миновав его, мы остановились возле длинного одноэтажного цеха. Оттуда доносились гул станков и треск тракторных моторов.

— Ну вот. Зимой тут тихо было, а теперь горячку порют,— сказал капитан.

Из широких ворот цеха навстречу нам выползал «ДТ-54». Рядом с ним шли двое: один в промасленном ватнике, вытирая ветошью руки, другой в синем, как у капитана, плаще.

Оба о чем-то спорили, стараясь перекричать грохот дизеля.

Увидев нас, человек в плаще оборвал спор на полуслове и быстро подошел.

— Случилось опять что-нибудь? — спросил он, протягивая капитану руку и хмуро, подозрительно косясь в мою сторону.

— Поздороваешься, может, Кузьмич? — сказал капитан.

— Привет,— так же недовольно сказал Кузьмич.— Замотался совсем, ей-богу. Не хватало только, чтобы ты мне еще свинью подложил. Не мой это парень,— добавил он и, пропуская «ДТ», теснил меня животом к стене, исподлобья оглядывая.

— Эк ты испугался,— усмехнулся капитан.— Знаю, что не твой, не бойся... Свободен ты сейчас?

Кузьмич вздохнул:

— Хотел тебе сказать: вот так! — Он провел рукой по горлу.— Ну, ладно уж... Все равно не отстанешь. Честно говоря, домой собрался уже. Должен человек спать вообще или не должен?

— Может, если совесть чиста,— сказал капитан.

— Иди ты!.. — отмахнулся Кузьмич.— Ну, что у тебя?

— Мне, а точнее, вот этому паренюку, нужны штуки... штук семь-восемь шестеренок для самоходки.

Кузьмич поморщился:

— Так и знал, что ты не добром здесь. Ему лично они нужны?

— Ему лично... Для колхозного комбайна.

— Милиция, а темными делами занимается...

— Ты не юли, прямо скажи: дашь или нет?

— Пять штук. Больше не дам, хочешь режь, хочешь арестовывай. Все.

— Хватит тебе? — спросил у меня капитан.

Я кивнул.

— Ладно, не буду арестовывать, — сказал капитан.

Кузьмич подозвал кладовщика и велел ему выдать мне пять шестерен, пообещав документы и счет колхозу оформить потом.

Кладовщик молча, кивком головы показал, чтобы я шел за ним.

Когда я вернулся с тяжелыми шестернями, капитан и Кузьмич сидели на высоких тракторных радиаторах, стоявших вдоль стен, и, не замечая меня, тихо разговаривали.

— Вот старик, для которого ты шестерни дал, тоже думает, что у него в этом году последний хлеб будет... — говорил капитан. — И меня начальник кадров из облуправления обещал осенью уволить... Так ведь старику под семьдесят, а мне и пятидесяти еще нет... И тоже старик...

— Да брось ты, Василий, — отмахнулся Кузьмич. — Какой ты старик? Жениться еще можешь...

— Жениться-то я могу, а с работы снимут, как пить дать. Работа такая, понимаешь? Да как года считать-то? Считать можно по-разному: военком вот мне четыре военных за двенадцать посчитал. Один к трем... Вот тебе и дед — шестьдесят лет...

— Хитрая у тебя арифметика, — сказал Кузьмич.

— Да куда уж хитрее...

— Ты вот посмотри на наших: пока работает — держится, а на пенсию вышел — год-два — и каюк. Возьми хоть Паршутова, полковника. Где он? А Леонтьев? А Березной? Наш-то майор из ГАИ смеется, что они на том свете четвертого ждут, чтобы полная компания для преферанса вышла... Смешно, конечно... Да что там, я вот старшину своего, что в прошлом году уволили, встретил на днях. Морда была красная, ночью на посту лучше светофора светилась, а теперь его будто на зеленый кто переключил...

— При чем тут пенсия? — возразил Кузьмич. — Здо-

ровые паршивое — вот и все. Что на работе, что на пенсии — один конец, если здоровье ни к черту...

— Нет, брат... Безделье человека доканывает. Это я точно знаю. Ты меня не разубедишь.— Капитан заметил меня и тяжело поднялся.— Ну, получил свои шестерни?

— Да.

— Тогда поехали. Тебя, может, до дома подвезти, Кузьмич?

— Нет,— отказался он.— Я пешком пройдуся.

— Ну, будь здоров.

— И ты. Да поменьше хандри.

— Ладно...

Только в воротах я спохватился и крикнул:

— Спасибо, товарищ директор!

Но Кузьмич даже не шевельнулся, будто и не слышал.

— А это не директор был,— сказал капитан, когда мы выезжали со двора РТС.— Директор другой, тот в это время спит... А ты чего смурной такой? Недоволен вроде, что шестерни свои получил? Или ты мне наврал? Ну, смотри тогда...

— Нет, не то. Мне все кажется, что он сейчас передумает, догонит и отберет их обратно.

— Вот чудак,— усмехнулся капитан.— Милицию никто не догонит.

— Да...

Когда мы вошли в отделение, там стоял, как говорится, дым коромыслом: шум, крики, все милиционеры столпились у дверей комнатки, в которой остались ребята. Завидев капитана, милиционеры вытянулись.

— Что здесь у вас происходит? — спросил он.

— Да вот,— доложил сержант,— гражданочка буйнит. Требует, чтобы ей мужа отдали, товарищ капитан. А у нас его нет. И слушать ничего не хочет.

— Пропустите-ка.— Милиционеры расступились, и капитан вошел в комнату.

Сразу же я услышал Иринкин голос:

— Вы здесь начальник? Верните нам немедленно Алексея Демина! Вы никакого права не имеете его забирать! Нашли жулика! У вас тут бандитов полно! А вы...

— Тихо, тихо,— перебил ее капитан.— Где бандиты?

— Везде! Отдайте Алешку!

«Кажется, она сейчас заплачет»,— подумал я и постарался пролезть между милиционерами в комнату, но они будто нарочно загородили дверь дюжими синими спинами с ремнями крест-накрест.

Я услышал другой голос, который явно принадлежал тому парню, укравшему мотоцикл:

— Гражданин начальник, уберите отсюда эту сумасшедшую бабу! Ну и баба! И не подходите, а то глаза выцарапает... Без зазрения совести нарушает закон о тишине. Вон даже бухарик очнулся, а ведь в дымину пьяный был...

Я окликнул ее:

— Иринка!

— Алешка! — тотчас же отозвалась она.

Милиционеры мгновенно отступили от двери, Иринка стремглав промчалась между ними и прижалась ко мне, всхлипывая:

— Да... Забрали тебя... И еще издеваются... Кто им дал право?.. Ой, Алешка...— Она совсем по-детски шмыгнула носом.— Я тебя больше не отпущу, пусть что хотят делают...



## Девочка Жизнь



еще чувствовал себя прекрасно, только в глазах иногда рябило. Появлялись огненные зубчатые колеса и красно-золотые геометрические фигуры, которые крутились, дрожали и застилали поле зрения. Потом колеса бледнели, фигуры потухали, и я опять все видел, как прежде. Был и другой симптом: выпадение сознания; вдруг очнусь где-нибудь на лестничной площадке и не могу вспомнить, как сюда попал, куда иду. Некоторые думают, что голод — это желание есть. На самом деле так бывает только вначале, а потом остается лишь ощущение тянущей, тоскливой пустоты внутри. К пустоте внутри я уже привык, а про все эти колеса и короткие обмороки мои подчиненные не должны были знать.

В бомбоубежище я спустился тоже только ради

своих подчиненных. Я не мог бы заставить их пойти, если бы не пошел сам. Они считали, что если бомба попадет, все равно где находиться — на доме, в доме или под домом; и я так считал. Но не ходить в бомбоубежище по тревоге — непорядок. А непорядка я допустить не мог.

В бомбоубежище было тепло и сыро. Электрического тока не давали уже вторые сутки, и подвал озарялся желтым светом керосиновой лампы без стекла. Копоть медленно оседала на лицах, желтый лепесток огня отражался во всех глазах. Когда где-то падала бомба, огонек вздрагивал и в лампе и в глазах. В жестяной радиотарелке тикал метроном, и это означало, что воздушная тревога продолжается. Я задремал бы под это тикание на скользких от сырости нарах, если бы не Ангелина Ивановна, которая без конца говорила одно и то же — как она похудела. Действительно, два месяца назад, когда я впервые увидел ее здесь, в подвале, она была полная белокурая женщина, а теперь казалось, что тело ее состоит из пустых мешков. Она повторяла, что все сваливается с нее, и заставляла женщин щупать себя. Она жаловалась, что скоро умрет, и светлые кудряшки тряслись над ее лбом.

Потом она рассказывала, как умер наш дворник. Об этом все уже знали, а я даже видел его, мертвого, сидевшего на деревянной лавке в конторе домоуправления. Ноги его в больших, совсем новых валенках протянуты были к чугунной печурке. Прошлой ночью он зашел туда погреться, заснул и не проснулся.

В бомбоубежище было человек пятьдесят, и все, кроме Ангелины Ивановны, молчали. Всем им нестерпимо было слушать ее плачущую скороговорку, и всем им так же, как мне, некуда было деться от ее причитаний. Я ждал, когда она устанет и замолчит — хотя бы на минуту. И когда эта минута настала и Ангелина Ивановна замолкла, девичий звонкий голос сказал:

— Бомбят не здесь, а за Невой. Что тут сидеть, пойдете на крышу!

Я поднял глаза и увидел стоявшую возле закрытой железной двери девушку в белом шерстяном платке. Собственно, я увидел только белевший в темноте платок, но мне и этого было достаточно. Я сразу вскочил.



Так как сознание мое по временам потухало, я жил в отрывочном, не совсем связном мире. В этом мире уже несколько дней существовала девушка в очень белом пушистом платке. Я встречал ее только в полутьме и всегда внезапно: она вдруг обгоняла меня где-нибудь во дворе или на лестнице. Я видел лишь платок, покрывавший голову и плечи, и платок этот двигался сквозь мглу легко, летуче. Мне всякий раз хотелось догнать ее и заглянуть ей в лицо, но я не успевал об этом подумать, как платок исчезал за углом или просто растворялся во тьме. Заметив ее теперь в бомбоубежище, я вскочил и шагнул к ней. Но она уже выскользнула за дверь.

Я торопливо оглянулся. Наборщик Сумароков спал на нарах, раскинув ноги во флотских брюках; одна нога его была искривлена и не сгибалась в колене. Печатник Цветков спал тоже. И я вынырнул из бомбоубежища.

Едва железная дверь захлопнулась за мной, стал слышен дробный стук зениток. Четыре шестиэтажные стены с темными окнами окружали двор. Во дворе было темно, и только квадрат неба высоко вверху озарялся мигающими отсветами вспышек. Я озирался, вглядываясь в темноту, стараясь угадать, куда она побежала. Несколько лестничных дверей выходило во двор... И я успел увидеть, как белый платок мелькнул и скрылся за дверью.

Мы бежали по лестнице вверх; она на целый марш опередила меня. Сквозь стук зениток я слышал стук ее каблучков по ступенькам. Платок ее я видел только мгновениями, на поворотах. Вспышка озарила окно на лестничной площадке, и по огненному фону окна мелькнул ее темный узкий силуэт. Еще сегодня днем у меня начинала кружиться голова, едва я подымался на несколько ступенек. Но сейчас, догоняя ее, я перескакивал через ступени, и мне это ничего не стоило; я чувствовал себя легким, как бы бестелесным. Я бежал так быстро, что на третьем или четвертом этаже почти догнал ее.

— Я знаю, кто вы такой,— сказала она на бегу.—  
Вы редактор.

— Правильно,— ответил я.— Я редактор. А вы кто?

— Просто девочка.

По голосу, по детской легкости движений я уже и сам понял, что ей лет пятнадцать, не больше.

— А как вас зовут?

— Александра.

— Саша?

— Нет, Ася.

— Как славно!

— Что славно?

— Славно вас зовут — Ася!

Она промолчала, продолжая бежать вверх. Еще один лестничный марш. Не обернувшись, она спросила:

— У вас работает этот хромой мальчик во флотских брюках?

— Да,— сказал я.— Его фамилия — Сумароков. Он очень плох.

— Плох?

— Да. Он скоро умрет.

— Он не умрет,— сказала она.— Я с ним поговорю. Я рассмеялся.

— Отсоветуете?

— Отсоветую,— сказал она без смеха.— Можно зайти к вам в типографию?

— Конечно.

— А Ангелина Ивановна к вам ходит?

— Ходит.

— Напрасно вы ее пускаете. Она мне всех убивает...

Тут огненные зубчатые колеса завертелись у меня перед глазами, и шум крови в ушах стал громок, как шум водопада.

### III

Когда я очнулся, я стоял в темноте на площадке, прислонясь плечом к стене.

— Сейчас пройдет,— услышал я рядом ее голос.

Огненные колеса, золотые зубцы и стрелы блед-

нели, и я уже почти не видел их. Шум в ушах отхлынул, умолк.

— Это пустяки,— сказал я.

Она подошла ближе и взяла меня за руку. Смутно белел платок; я слышал ее дыхание. Рука у нее была маленькая, теплая.

— Нет ли у вас фонарика?— спросила она.

У меня был фонарик, но я редко пользовался им, потому что берег батарею.

— Дайте.

Я сунул фонарик ей в руку. Вместо того, чтобы озарить стены, она озарила меня. Я стоял, жмурясь от яркого света, а она внимательно меня разглядывала с головы до ног.

— Ваш ватник не застегнут,— сказала она наконец.

Действительно, мой ватник был не застегнут, потому что на нем не было ни одной пуговицы. Три месяца назад, в конце августа, когда я пришел пешком в Ленинград из захваченного немцами городка, где я прежде редактировал районную газету, погода стояла еще теплая, и я явился в чем был, без пальто. В Ленинграде мне выдали ватник, но на нем не было пуговиц.

Она потушила фонарик и опустила его мне в карман.

— У меня есть английские булавки,— сказала она.

— Не надо.

— Нет, надо. Только стойте смирно,— прибавила она, не раскрывая рта, и я понял, что одна булавка у нее уже в губах.

Руки ее потянулись к моей шее, к вороту.

В это мгновение раздался протяжный рокот обрушившихся бомб, дом качнулся.

Я боялся, что она уколется мне шею, но пальцы ее не дрогнули.

— Это за Невой,— сказала она громко, чтобы перекричать треск зениток, и застегнула булавку.

Второй булавкой она скрепила мой ватник на животе.

— Ну вот, мы пришли,— проговорила она и открыла низенькую дверь.

Я шагнул вслед за ней и увидел небо.

Нет ничего торжественнее осеннего звездного неба, спокойного, холодного, неподвижного. Но не такое небо увидел я. Торжественность и стройность его была разрушена. Оно дрожало, металось и дергалось, все в грязных подпалинах зарев.

Среди этих мечущихся огней крыша плыла и качалась, как корабль. Шагая по ее гремящему скату, я жадно озирался, стараясь как можно больше разглядеть при свете мгновенных вспышек. Эти вспышки взрывов вели между собой разговор, окликая друг друга через все громадное небо. Вспышка — и зарева пожаров гасли, гасли звезды, и на долю секунды выступали из тьмы крыши, шпили, мосты, провалы площадей осажденного города. Вспышка гасла — и все опять пропадало во тьме, и оставалось только черное небо в тускло светящихся пятнах.

Пожары окружали город кольцом со всех сторон, но ярче всего пылали на юге и юго-западе — там, казалось, текла золотая река. Это горело Лигово, горела Стрельна. Это была та петля, которая душила нас. Днем она была невидима, хотя мы чувствовали ее каждую минуту. Но ночью она становилась зримой. Я впервые с такой наглядностью видел весь этот медленно стягивавшийся смертельный круг и смотрел, смотрел, задыхаясь от ненависти. Ася стояла за моей спиной, выше на скате. Я вспомнил о ней и обернулся. Прямая, туго затянутая платком, она смотрела вперед, через мою голову. И все мечущиеся огни этого нестройного неба отражались в ее глазах.

— Как им хочется нашей смерти, — сказала она. — А мы должны им назло жить, жить, жить!..

Когда я утром вошел в типографию, Сумароков не встал с табуретки.

Я вовсе не требовал от своих типографских, чтобы они вставали, когда я входил, но до сих пор они вставали.

Сумароков сидел на табуретке, протянув ноги во флотских брюках к железной печурке, в которой пылали бумажные обрезки. Одна нога у него была искривлена; из-за ноги его не взяли на военную службу. Еще не так давно он горевал об этом: ему было девятнадцать лет, он вырос в городе моряков и мечтал служить во флоте. Но теперь он забыл о флоте, сделался молчалив и малоподвижен, и его исхудалое, грязное лицо — он давно уже не умывался — не выражало ничего, кроме постоянного страдания.

— Здравствуйте,— сказал мне Цветков, стоявший прислонясь к машине.

Цветков был печатник средних лет, не попавший в армию потому, что страдал астмой. На прошлой неделе у него умерла жена.

— Ну как? — спросил я.

— Току нет,— ответил Цветков.

Наша типография состояла из четырех наборных касс и плоской печатной машины, которая приводилась в движение электричеством. Тока не было и третьего дня и вчера, и весь вчерашний день мы его ждали напрасно. Теперь я понял, что его уже и не будет.

— Что станем делать? — спросил я.

Сумароков ничего не ответил, а Цветков сказал:

— Не знаю.

— Перемени дату в наборе,— приказал я Сумарокову.

Набор номера был готов у нас еще третьего дня вечером и вложен в машину. Я нарочно отдал приказание Сумарокову, чтобы посмотреть, встанет ли он с табуретки. Я боялся, что он не встанет. Но он встал и, хромя, побрел к машине. Его качнуло на ходу. Кажется, ему доставило удовольствие, что я это видел.

Он склонился над набором.

— Здесь был кто-нибудь?—спросил я у Цветкова.

— Соседка,— сказал он.

— Какая?

— Ангелина.

— Интересно, кто раньше помрет — она или я? — сказал Сумароков.

И я понял, о чем они говорили с Анжелиной Ивановной.

Сумароков вяло и долго возился в наборе, хотя нужно было переменить только одну литеру — вчерашнее число на сегодняшнее.

— Ты скоро?

— Сейчас.

У меня не хватило терпения.

— Отойди, — сказал я ему. — Я сам.

Он охотно отошел и снова сел на табуретку. Я переменял литеру и выпрямился. Они оба смотрели, что я буду делать дальше. Тока не было.

Мне показалось, что они безучастны к моему горю, что им все равно, выйдет номер или нет, и я рассердился. А ведь еще так недавно они нравились мне именно тем, что относились к делу с азартом, и мы работали дружно. Я подошел к колесу и стал снимать с него приводной ремень. На лице Сумарокова не отразилось ничего, но по лицу Цветкова я увидел: он понял, что я затеял. Я решил крутить колесо вручную.

— Начнем, — сказал я Цветкову.

Он подошел к машине, снял лист бумаги и положил на вал.

— Сумароков, — сказал я.

Сумароков медленно поднялся с табуретки.

— Покрути колесо немного.

Он посмотрел на меня с удивлением, однако не отказался. Постоял, потом все с тем же удивлением на лице подошел к колесу, взялся обеими руками за ручку и налег на нее. Он налег на нее всем телом, но колесо не двинулось. Я решил, что он притворяется.

— Давай, давай! — кричал я на него.

И вдруг по покрасневшей его шее я понял, что он напрягает все силы. Мне стало жаль его. По правде сказать, мне давно уже было жаль его, и я сердился на него только от сознания собственной беспомощности.

— Садись, — сказал я ему и сам подошел к колесу.

Мне случалось крутить колесо плоской машины, и я помнил, что идет оно, в сущности, очень легко.

Я надавил на ручку и удивился, что она не двинулась. Тогда я налег на нее всем телом. Ручка медленно поползла, и мимо моего лица стала проходить спица за спицей.

Колесо сделало полный оборот и остановилось. Один отпечатанный лист вяло выполз из машины. Пот выступил у меня на лбу, я жадно глотал воздух. Собрав все силы, я опять надавил на ручку, и она опять поддалась. Когда колесо сделало второй оборот, у меня в глазах замелькали огненные стрелы. Я выпрямился, чтобы перевести дух; стрелы погасли; я встретился глазами с Цветковым.

В его глазах была жалость. Я не люблю, когда меня жалеют, и опять налег на ручку.

Колесо сделало еще один оборот.

Я продолжал давить, ничего не видя, кроме огненных стрел и зубцов. Колесо сделало еще оборот. Я налегал на ручку, и колесо поворачивалось — еще один оборот, еще один... Я работал всем телом, и мне мешал только недостаток воздуха да внезапно возникший шум в ушах, который с каждым мгновением становился все громче. Я ничего не видел, кроме стрел, ничего не слышал, кроме шума. Я чувствовал, что рядом со мной стоит Цветков и кричит мне что-то, но слов его разобрать не мог. И только когда он оторвал меня от колеса и сам взялся за ручку, я понял, что он решил меня сменить.

Я прислонился к стене и глотал воздух. Комната кружилась, я боялся, что сознание уйдет от меня, как уже не раз бывало. Хуже этого ничего не могло случиться, тогда всем стало бы ясно, что колесо крутить нельзя. Я пересилил себя, встал на место Цветкова, взял лист и положил его на вал.

Колесо у Цветкова пошло сразу. Лист скользнул по валу и вылез отпечатанный. Еще один лист, еще...

Поднятое кверху небритое лицо Цветкова показалось мне слишком белым. Выпученные глаза были устремлены на меня. Он медленно вертел колесо, спицы двигались, и с каждым оборотом лицо его становилось белее. Еще оборот, еще оборот, еще...

Он выпустил ручку и стал валиться набок. Держа чистый лист в руках, я смотрел, как Цветков падает.

Он сполз с ручки и лег ничком на пол, уткнувшись лицом в половицу. Так он лежал, и спина его от дыхания подымалась и опускалась.

Я пересчитал отпечатанные листы. Их было двадцать два. Двадцать два раза повернули мы с Цветковым колесо. Нам нужно отпечатать не меньше пятисот экземпляров. Каждый лист с двух сторон. Два оборота колеса на каждый экземпляр. Тысяча оборотов!

— Тысяча!

Койка Цветкова стояла в углу. Я подошел к ней и лег на нее.

## VI

С начала осады Цветков и Сумароков были переведены на «казарменное положение»: это означало, что они не только работали в типографии, но и жили в ней. Цветков спал рядом с машиной, а Сумароков перенес свою койку в соседнюю комнатку, крохотную, как чулан. Еще недавно в этой комнатке было чисто и опрятно. Но с октября, когда голод усилился, стала она зарастать пылью, сажой, мусором.

— А это ваша карточка?— услышал я из-за двери тоненький голосок.

— Моя,— ответил голос Сумарокова.

— Когда вы снимались?

— В июле.

— Вот какой вы были!

— Был ничего,— сказал Сумароков не без самодовольства.— Что, похудел? Тут похудеешь...

— Похудели вы не особенно. Вот только лицо стало чернее...

— Это от печки,— хмуро объяснил Сумароков.

Лежа на койке Цветкова, я старался догадаться, с кем это Сумароков там разговаривает. Да ведь это та девочка Ася, с которой я был на крыше!

— Это что за корабли?— спросила она.

И я понял, что они рассматривают тетрадь Сумарокова — заветнейшую его драгоценность. Когда мы на-



чали выпускать здесь нашу многотиражку, Сумароков каждый вечер в свободное время вытаскивал свою прекрасно переплетенную тетрадь и подолгу с наслаждением возился над нею. В тетрадь были вклеены фотографии — прежде всего сам Сумароков в различных видах, затем военные корабли. О каждом корабле у Сумарокова было множество сведений, бог весть откуда собранных и малодостоверных. Вклеивал он в тетрадь и особенно поразившие его кадры разных фильмов и вписывал всякие стихи, вписывал удивительным почерком, каждая буква в завитушках, причем суть была именно в завитушках, а не в стихах.

Больше месяца не видел я в руках Сумарокова этой тетради. Он, казалось, совсем забыл о ней. И я удивился, услышав, как он листает ее и показывает. Они рассматривали фотографии кораблей, и он рассказывал о каждом корабле. Она спрашивала его, и он отвечал обстоятельно, польщенный и обрадованный ее вниманием.

Потом она вошла в типографию. И я впервые увидел ее — не в темноте, не в призрачном мелькании ночных огней. Неужели это та самая, за таинственным белым платком которой я вчера бежал вверх по лестнице, бежал из мрака в свет и из света в мрак среди ослепительных мгновенных вспышек? Теперь ровно ничего таинственного в ней не было, да и платок не такой уж белый. Крупная для своих лет, прямая. Но на почти детском ее лице уже лежала та печать постарения, которую голод накладывал на все женские лица.

Мне стало неловко, что я валяюсь на койке в середине рабочего дня; однако я решил не вставать. Зачем притворяться, раз газета все равно не выходит!

Она кивнула мне, подошла к нашей неподвижной машине и с любопытством ее оглядела. Увидела только что отпечатанные листы и взяла один в руки.

— «Боевой буксир»,— прочла она громко.

Так называлась наша газета.

— Это что же, газета водников? — спросила она.

— Да,— сказал я.

— «Срочный ремонт судов — залог победы»,— прочла она заголовок передовой, которую написал я.— Они сейчас ремонтируют свои суда?

— Да,— сказал я.— Должны ремонтировать.

— А они ремонтируют?

— Как это ни удивительно, ремонтируют.

— Почему удивительно?

— Потому что отремонтировать судно еще труднее, чем выпустить газету.

— Току нет,— проговорил Цветков.— А вертеть вручную — сил нет.

В типографию вошел Сумароков. Больше месяца не видел я его таким. Лицо только что умыто, волосы расчесаны и блестят, ботинки начищены, ватник расстегнут, и под ним — матросская тельняшка. Он даже почти не хромал, казалось, он только так, случайно, оступается.

— Никогда не видела, как печатают газеты,— сказала Ася.— Интересно поглядеть.

И взялась за ручку колеса.

Колесо поддалось с трудом, и тонкая кожа у нее на лице покраснела от усилия. Спицы поползли медленно-медленно.

— Тяжело,— сказал Сумароков.— Давайте я вам помогу.

Он стал рядом с нею и тоже взялся за ручку. Они вдвоем вертели колесо, улыбаясь от удовольствия и натуги.

— А где же бумага?— спросила она.— Как это печатают?

Цветков встал на свое место, лист прокатился по валу и, отпечатанный, выпал.

Она засмеялась.

Еще один лист, еще один...

— Вы устали,— сказал Сумароков с таким видом, словно уж он никак устать не может.— Давайте я один.

Она покачала головой.

— Вдвоем совсем нетрудно,— сказала она.— Чем быстрее вертится колесо, тем легче оно идет. Раскрутим его вовсею.

Спицы бежали все быстрее и быстрее, и все быстрее и быстрее становились движения Цветкова, вставлявшего чистые листы. И действительно, чем быстрее вертелось колесо, тем меньше нужно было усилий, чтобы вертеть его.

Это было открытие необычайной важности.

— Я сам,— решительно сказал Сумароков и отпихнул ее от ручки.

Она отступила шага на два, а он, чувствуя, что она глядит на него, с сосредоточенным и важным лицом подталкивал ручку. Теперь он почти даже не нагибался, ручка подлетала к нему, и он ее слегка толкал.

Тогда я встал с койки.

— Который лист?— спросил я Цветкова.

— Сто девятнадцатый,— сказал Цветков.— Сто двадцатый. Сто двадцать первый.

— Отойди!— крикнул я Сумарокову и поспешно встал на его место, чтобы не дать колесу замедлить ход.

Я небрежно швырял ручку легкими резкими движениями ладоней. Машина тяжело грохотала. Листы вылетали.

— Если бы настоящее питание, мы бы еще не так завертели,— проговорил Сумароков у меня за спиной.— А то, того и гляди, помрем.

— Пока будет выходить газета, не помрете,— сказала Ася.

## VII

Но газета скоро перестала выходить. И умер Сумароков. И умерло еще много-много людей. И в нашем шестиэтажном промерзлом доме во всех квартирах лежали мертвые, которых некому было похоронить.

Цветкова от меня затребовали в какую-то военную типографию, он ушел со своим чемоданчиком в метельный день, и я больше никогда его не видел. Я остался в типографии один; нельзя же бросить машину, шрифты, бумагу. У меня, разумеется, было начальство, и от начальства я ждал указаний, что делать дальше. Но связаться с начальством по телефону я не мог: телефоны в городе не работали. Да и зачем? Ведь начальству известно и положение типографии и мое. Нужно только немного подождать...

Я теперь жил в комнатенке Сумарокова, лежал на его койке. Там были целы стекла в окне, там тоже

стояла жестяная печурка, которую можно было топить старыми экземплярами нашей газеты и досками шкафов. Но установились сильные морозы, и печурка моя мало помогала. Дни и ночи лежал я на койке, в ватнике, в валенках, укрытый двумя одеялами — своим и Сумарокова. Окно закрывал большой лист плотной синей бумаги — для затемнения; по утрам его нужно было снимать, по вечерам укреплять на окне снова. В первые дни я его и снимал и укреплял; но потом мне стало скучно и трудно возиться с ним, я перестал его снимать по утрам, и днем у меня было так же темно, как ночью.

Выходил я только в булочную, за хлебом — раз в два дня. На улице блеск снега ослеплял меня, морозный ветер не давал дышать. Почти не видящий, почти не дышащий, я шел по узкой, извилистой тропке между огромными сугробами, дымившимися на ветру. В булочной мне давали промерзлый кубик хлеба — мою порцию на два дня. Многие, получив хлеб, съедали его тут же, в булочной. Но я так не поступал. Я прятал хлеб под ватник, поближе к телу, и шел домой. На обратном пути у меня кружилась голова, все заволакивало туманом; и чувство это не было неприятным. Напротив, в искушении лечь в снег и больше не двигаться было что-то сладкое, заманчивое. Каждый раз по пути я видел мертвых, уже почти занесенных снегом, и участь их не казалась мне страшной. «Нет, все-таки я раньше съем свой хлеб», — говорил я себе и продолжал идти. Возвратясь, я ложился на койку, закрывался с головой двумя одеялами и там, в темноте, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и клал в рот. Каждый кусочек я долго держал во рту, прежде чем проглотить. Потом засыпал.

Впрочем, я не знаю, спал ли я; в той тишине, которая меня окружала, трудно было понять, спал я или не спал. Весь город был погружен в мертвую тишину, как на дно моря. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни голосов на улицах; с наступлением зимы воздушные налеты прекратились и замолчали наши зенитки. Немцы, окружив город со всех сторон, не хотели, казалось, тратить на него больше никаких усилий и просто ждали, когда он вымрет и вымерзнет. Ни один

звук не долетал до моей комнаты, и в мертвой этой тишине мне постоянно чудилось, что я куда-то проваливаюсь вместе со своей койкой — все глубже, и глубже, и глубже. Весь мир с его светом, людьми, теплом остался где-то бесконечно далеко, наверху, а я все погружаюсь, все опускаюсь, и нет конца этому опусканию, потому что подо мною нет дна.

Иногда сознание прояснялось, и я понимал, что умираю. Тогда я думал, что нужно встать, поискать щепок, разжечь печурку, принести воды. Но мысль о необходимости двигаться казалась такой ужасной, что я думал о смерти без всякого страха, и уже даже ждал ее, и погружался все глубже и глубже.

## VIII

И вдруг в этой бездонной, безвыходной глубине я услышал сверху громкий, звонкий голос:

— Вы живой, живой! Очнитесь!

Я перестал опускаться. Меня понесло вверх, вверх, вверх, я почувствовал, что одеяло сдернуто с моего лица и что свет кругом. Синий лист был снят с окна, и за расписанным морозными цветами стеклом сверкал день. Ася стояла надо мной и ликующим голосом восклицала:

— Вы живой! Ангелина Ивановна говорила, что в типографии никого нет, что вы лежите мертвый, а я пришла, потрогала — вы живой! Сейчас, сейчас!.. Я сейчас все устрою...

Я смотрел на нее и чувствовал, что улыбаюсь. Ну, конечно, я живой! Она так торжествовала, так радовалась, найдя меня живым, что оказаться мертвым было бы просто стыдно. Я смотрел на нее, улыбался и тоже радовался, что она живая. Она изменилась: те страшные знаки голодного постарения еще резче легли на ее детское лицо. Но она двигалась, говорила, радовалась. Мы оба были живы!

— Сейчас, сейчас!.. — повторяла она и уже разжигала мою печурку.

Я думал, что в типографии больше нечего жечь, кроме наборных касс, но она, обшарив углы, нашла

чулан, куда Сумароков и Цветков когда-то натаскали разных досок, щепок, кусков угля. Печурка затрещала вовсю, и через несколько минут на черной коленчатой трубе выступили красные пятна.

— Надо принести воды,— сказала она, схватила большой медный чайник и выскользнула из комнаты.

Едва она вышла, мне стало страшно, что она не вернется. На ногах у нее были валенки, и ходила она бесшумно; звук шагов ее исчез, чуть за ней закрылась дверь. «Вернись, девочка-Жизнь,— думал я, поджидая ее.— Девочка-Жизнь, вернись!» Я знал, что в доме есть всего один кран, из которого еще капала вода,— в подвале, в бомбоубежище. Я представил себе, как она бежит с моим чайником вниз по ступенькам, перебегает через двор, спускается в подвал и там стоит в темноте перед краном. Конечно, надо много времени, чтобы по капле набрать воды в такой большой чайник... И все же почему она не идет? Не случилось ли с ней чего-нибудь? «Вернись, девочка-Жизнь!»

И когда я уже почти перестал ждать, девочка-Жизнь вернулась.

## IX

Увидев, как тяжел этот чайник с водой, как он тягивает ей руку, я смутился; мне стало стыдно вальтаться. Она ведь получает ровно столько хлеба, сколько я, и ей ничуть не легче, чем мне. Я скинул с себя оба одеяла, опустил ноги на пол и встал.

— Ну вот, я говорила! Вы можете стоять!

— Конечно, я могу стоять,— сказал я бодро и, чтобы показать ей, как я еще крепок, стал раскалывать ножом доску и швырять щепки в печурку.

Она сняла варежки и грела руки над печкой, над чайником. У нее были очень маленькие руки, но пальцы распухли, не разгибались, потрескались, гноились возле ногтей. Я знал, что это значит,— у меня тоже трескались и гноились пальцы. На подоконнике она заметила тетрадь с фотографиями — ту, которую ей когда-то показывал Сумароков. Это было бесконечно давно, в другом мире. Сумароков тогда был жив, и

мы еще могли вертеть колесо машины... Она раскрыла тетрадь, перелистала.

— Можно мне взять ее себе?

— Конечно.

В комнате становилось все теплее, я расстегнул английские булавки и распахнул свой ватник. Чайник запел песенку, пар потянул из носика, зазвенела, прыгая, крышка. Ася налила кипяток в две кружки, мы сели на койку, подобрав под себя ноги, и стали пить. Было блаженно жарко, пот выступил на лицах, мы, обжигаясь, отхлебывали кипяток маленькими глотками и поглядывали друг на друга все радостней и дружелюбней. Удивительная близость возникла между нами — близость живого к живому. Она даже с каким-то детским лукавством поглядывала на меня из-за своей горячей кружки: мы молодцы, мы хитрецы, мы оба живы!

Она рассказала мне, что хотела пойти в армию и стать снайпером, потому что у нее замечательное зрение. Сидела бы где-нибудь высоко на сосне, немец шевельнется в кустах, она дзвинь — и нет его. Осенью один знакомый сержант уверял, что ее непременно взяли бы в снайперы.

— Что ж вы не пошли?

— Мама.

Я понял, что живет она с мамой, которую нельзя оставить.

— Мама лежит?

— Третий месяц. Пухнет. Уже вот какая стала.

Я знал, что от голода не только худеют, но и пухнут, и больше не стал спрашивать.

— А вы почему не в армии?

— Забракован, — ответил я. — Мне должны были делать операцию, но война помешала.

— Что ж у вас было?

— Язва двенадцатиперстной кишки.

— Это самая важная кишка в человеке, я знаю.

— Может быть, и не самая важная. Но самая длинная.

— Вот почему вы были такой тощий и желтый, когда я вас в первый раз увидела.

— А когда вы меня увидели в первый раз?

— В сентябре, когда типографию привезли в наш дом. Я вас часто встречала на лестнице. А вы меня не заметили?

— Нет, тогда не заметил.

— Мне очень интересно было, как печатают газету. Я хотела хоть в щелку заглянуть. Я всех типографских в лицо знала — и того хромого мальчика и вас. Вы были худой и желтый, а тогда все еще были толстые. У вас и теперь язва?

— Теперь это все равно.

Я рассказал ей, как я огорчился, когда меня вместо армии направили редактировать газету. И вот газета перестала выходить.

— Чего ж вы ждете?

— Жду приказания,— ответил я.

— И давно?

Я старался вспомнить, когда ушел Цветков. Сколько дней провел я один на этой койке? Сначала мне казалось, что дней шесть, но потом, когда я стал считать, получилось больше...

— Приказания не будет,— сказала она.

Я сам уже так думал в последние дни, но ее убежденность удивила меня.

— Почему?

— Ваши начальники лежат. Они столько же хлеба получают...

Она была права. Все равны перед голодом.

— Если бы можно было позвонить...— сказал я.— Но позвонить нельзя...

— А вы пойдите.

Тут я рассмеялся.

— Вы знаете, куда мне надо идти? В порт!

— Далеко!

— Я упаду и замерзну.

— Очень может быть,— сказала она спокойно и серьезно.— Это уж от вас зависит.

— Это не зависит от меня,— возразил я.— Я просто знаю, что у меня не хватит силы.

Она внимательно посмотрела на меня из-за кружки и промолчала. Я тоже замолчал. Мне было слишком хорошо от обжигающего губы кипятка, от тепла в ком-



нате, от ее соседства, чтобы спорить, волноваться. Она налила мне еще кружку и вдруг спросила:

— А вы давно не мылись?

Я смущенно старался припомнить, когда я мылся в последний раз. Очень давно. В городе с осени не работала ни одна баня, а раздеваться в холодной типографии было так трудно и неприятно. Я уже много недель не снимал с себя ватника...

— Почти полный чайник горячей воды,— сказала она.— Вот я пойду, а вы мойтесь. Мойтесь, пока комната не остыла...

Она встала, прижав к себе тетрадь Сумарокова.

— А вам уже нужно уйти?

— Там мама,— ответила она мягко, понимая, что мне без нее будет жутко и тоскливо; она вполне сознавала свое душевное превосходство надо мной и обращалась со мной, как с ребенком, хотя я был старше ее вдвое.— Вымоетесь, уснете, а завтра утром пойдете в порт.

Заметив неуверенность в моих глазах, она прибавила:

— Вы дойдете. В человеке гораздо больше силы, чем он думает.

— Откуда вы это знаете? По себе?

— И по себе и по другим. Надо дойти, и вы дойдете.

Х

Я дошел.

Едва я вышел за ворота и морозный ветер ударил в меня снежной крупой, мне стало ясно, что дойти нет никакой надежды. Ноги меня не держали; меня качало, как прут на ветру. Лечь в снег и закрыть глаза — вот все, чего мне хотелось. Дойду до угла и лягу. Но, дойдя до угла, я не лег, а побрел дальше, к следующему углу. В конце концов все равно, у какого угла лечь. Так я вышел на мост, перешел через Неву, свернул в длинную улицу и пошел все прямо, прямо, мимо разбитых бомбами домов, мимо домов сгоревших, мимо домов вымороженных. Узкая тропка вела меня между сугробами, где лежали запорошенные снегом

трупы тех, кто шел здесь до меня. Я знал, что сам скоро буду лежать вот так, засыпанный, выставив темно-коричневый заледенелый кулак из снежной кучи, и это вовсе меня не пугало. Но если я могу пройти еще пять шагов, я их раньше пройду. К сумеркам я прошел всю длинную улицу до конца и дошел. Во мне оказалось больше силы, чем я думал.

Когда я явился, меня не узнали, а когда узнали, удивились: здесь все считали, что я умер. Меня поселили на вмерзшей в лед барже вместе с рабочими, ремонтировавшими суда. Там было тепло; там был даже тусклый электрический свет от собственного маленького движка. Еще месяц назад в деревянном брюхе баржи, между ее исполинскими ребрами, жило более ста человек. Но за этот месяц многие умерли, и найти для меня свободную койку было нетрудно.

Тут же, в соседнем отсеке, находилась столовая. Над столами висело кумачовое полотнище с лозунгом «Цех питания — в центр внимания». Этот лозунг сочинили и вывесили еще осенью, когда верили, что, если внимательно следить за расходом продуктов, их хватит для жизни. Инженеры принесли из лаборатории весы необычайной точности и поставили на стойку. Каждый мог проверить на этих весах, что ему выдали 3 грамма сахарного песка, а не 2,99. Не знаю, был в этом толк или не было, но обитатели баржи умирали так же, как обитатели домов. При мне на работу выходило человек сорок; остальные лежали на койках и не могли встать.

Через день я тоже вышел на работу. Ноги не держали меня, но я уже знал, что во мне больше силы, чем я думаю; раз я мог дойти до порта, — значит, я могу работать. Когда-то в ранней молодости я работал подручным слесаря в железнодорожных мастерских; в то время я еще только мечтал стать журналистом. Слесарь я был плохой, но здесь от меня большой квалификации и не потребовалось. Мы ремонтировали старый транспортник, развороченный осенью авиационной бомбой. Вмерзший в лед борт его возвышался громадной стеной рядом с нашей баржей, и, пожалуй, самым трудным было подняться по трапу на эту стену. Бригада, в которую я попал, пробивала в

железных листах отверстия для заклепок, сваривала трубы автогенном. Мы, как тени, двигались внутри осевшего на левый бок корабля; вся наша работа была похожа на замедленную съемку. Если нам нужно было поднять или передвинуть что-нибудь, мы наваливались вдесятером и потом долго сидели в полубмороке.

Всякий раз, когда мы присаживались, нам было ясно, что мы никогда больше не встанем. Но я уже этому не верил. Я говорил себе, что, пока мы будем ремонтировать, мы будем жить. Я говорил, что это фашисты хотят, чтобы мы умерли, и потому нам нельзя умирать. Я знал, что повторяю чужие слова, и помнил, от кого эти слова услышал. И мы вставали.

Переселившись на баржу, я спустя некоторое время, кажется, действительно стал немного крепче. Не знаю, чему это приписать; во вторую половину зимы хлеба прибавили, но прибавка эта была так ничтожна, что люди вокруг умирали по-прежнему. Может быть, тому, что в столовой дважды в день выдавали суп — теплую воду с еле приметной мутью. Или тому, что наш врач, веривший в витамины, готовил для нас настой из еловых игл. Не знаю; вернее всего, тому, что я жил с людьми и попал в упряжку: в упряжке всегда легче. Я стал лучше ходить, меньше лежать и не так выбивался из сил, когда подымался по трапу. Удивительнее всего, что у меня в глазах опять стали по временам вертеться огненные колеса с зубцами, которые почему-то совсем оставили меня как раз тогда, когда мне было особенно плохо. И еще одно полузабытое свойство вернулось ко мне: я стал очень хотеть есть.

Я теперь так же мучительно и нетерпеливо хотел есть, как в те первые дни, когда я еще только начинал голодать. Съев суп, я теперь был готов лизать языком дно тарелки. Я съедал свой хлеб не маленькими кусочками под одеялом, как раньше, а сразу, в два откуса. Бумага, штукатурка, кирпич стали казаться мне съедобными. Это заново проснувшееся острое желание есть привело меня к участию в одном преступлении.

Рабочие нашли на корабле десяток больших жестяных банок с каким-то жидким маслом. Впрочем, об этом масле знали и раньше: особое техническое масло, предназначенное для того, чтобы в нем растворяли какую-то особую краску. Всем было ясно, что оно несъедобно, и его не трогали. Но тут вдруг открыли, что масло это цветом и прозрачностью напоминает подсолнечное. Внезапное возбуждение овладело нами, даже самыми благоразумными из нас; голоса стали громче, движения торопливее, глаза блестели, руки и губы дрожали. Мы глотали масло, соперничая друг с другом в жадности и бесстрашии. Сознание того, что это может кончиться ужасно, у нас было, но мы гнали его от себя, заражая друг друга беспечностью. Мы опьянели от сытой еды; мы шумели, кричали. Наевшись, мы отнесли оставшиеся банки на баржу и накормили наших лежащих товарищей.

В первую же ночь у нас умерло девять человек. Умирили в муках, крича и корчась от боли. Мы смотрели на них, подавленные страхом,—каждый ждал, что и с ним вот-вот начнется то же самое. Говорили, что масло склеило им кишки. В ближайшие двое суток умерло еще шестеро, и все это время я терзался страхом, раскаянием, потому что участвовал в пире наравне со всеми и съел не меньше других. Но мой больной кишечник, когда-то не выдерживавший малейшего отклонения от диеты, не склеился. Почему так случилось, не знаю. Это масло не принесло мне ничего дурного, кроме душевного потрясения. Нас теперь на работу выходило человек двадцать пять, и я был в их числе.

## XI

Я жил на барже, работал, но об Асе не забывал. Стоило мне опустить веки, и она вставала у меня перед глазами. Она застегнула на мне ватник... Она принесла мне воды... Она заставила меня встать, когда я думал, что уже не встану, заставила меня жить, когда я готов был умереть... В первые недели мне казалось невыносимым пройти весь долгий путь обратно и навестить

ее. Но время шло, и меня стало тревожить чувство вины. Я жил в тепле, при электрическом свете, а она осталась в том промерзлом, темном доме... Жива ли она еще? А если жива, так может ли еще ходить? Кто приносит ей хлеб из булочной, воду из подвала, кто топит ей печку? Я обязан навестить ее. Меня останавливало только одно: я не хотел прийти с пустыми руками. Какой будет толк в моем приходе, если я не накормлю ее...

Сначала я хотел откладывать хлеб — по кусочку от моего ежедневного ломтя, — засушить эти кусочки и принести ей. Но скоро оставил эту затею. Нужна целая неделя, чтобы из кусочков накопить граммов триста. А за неделю она умрет, если сейчас еще жива. Да и я, если целую неделю буду сидеть на уменьшенном пайке, так ослабею, что не дойду.

Но тут мне повезло: нам выдали по пакетику концентрата, который назывался «Гречневая каша». Из такого пакетика могла выйти целая тарелка каши. Я решил идти, не откладывая. Отпроситься мне было нетрудно: оборудование типографии все еще лежало на моей ответственности, и я должен был приглядеть за ним. Съев свою обеденную тарелку супа и положив концентрат в карман ватника, я отправился в путь.

Та бесконечная зима все еще тянулась. Но дни уже стали заметно длиннее. Однако уже чуть-чуть смеркалось, когда я наконец перешел через мост, свернул сначала за один угол, потом за другой и снова увидел тот дом, те ворота.

Ни одного свежего следа на запорошенной ночной поземкой тропинке к воротам. Из многих окон торчали черные трубы печурок, но ни над одной из них ни дымка. Под аркой ворот меня знакомо прохватил сквозной ветер. Вот и двор. Никого. В узких провалах между сугробами, достигавшими окон первого этажа, ни одного следа. Неужели даже в подвал за водой никто не ходил сегодня? Я открыл своим ключом дверь типографии и вошел. Внутри все было цело, ничего не изменилось; только сквозь дырку в стекле налетело много снежной пыли, которая мягко скопилась по углам. Кристаллики снега поблескивали на метал-

лических частях машины. Я заглянул в комнатку Сумарокова. Там тоже все по-прежнему: неприбранная моя постель лежала так, как я ее оставил.

Мне здесь больше нечего было делать, я вышел и запер дверь. Теперь я мог бы пойти к Асе, если бы знал, где она живет. Я никогда у нее не был; у меня сложилось смутное представление, что живет она где-то наверху, потому что когда-то она часто пробегала мимо типографии вверх по лестнице. Но там, наверху, столько этажей и квартир!

В нерешительности я вышел во двор, надеясь встретить кого-нибудь и расспросить, если в доме остался хоть один живой человек. На этот раз мне повезло: маленькая сгорбленная старуха, обмотанная множеством платков, вынырнула из-за высокого сугроба и довольно бойко засеменила прямо ко мне.

— Здравствуйте,— сказала она.— Так вы, оказывается, живы. А я считала, что вы еще в декабре померли.

— Нет, я жив. Здравствуйте.

— Не узнаете? Что, похудела?

По этим словам я узнал ее. Ангелина Ивановна! Если бы она не заговорила, я не узнал бы ни за что. Осенью она была пышной молодой женщиной с круглыми щеками, с громким голосом. Когда она начала худеть, все ее выпуклости постепенно превращались в пустые мешки. Но теперь и пустых мешков не было. Она стала гораздо меньше ростом, и было ясно, что под всеми этими платками нет ничего, кроме костей и сморщенной кожи.

— Все умерли, все!— сказала она, когда я спросил ее, жива ли еще та девочка Ася, которая бегала в белом шерстяном платке.— Все умерли, во всех квартирах.— Она, кажется, торжествовала, что все умерли, потому что это подтверждало ее правоту.— Я еще жива, но мне уже недолго осталось... Ася? Ася все не верила, все бегала, всем воду носила, заставляла вставать, ходить, но тут не переспоришь. Сначала мама ее умерла, потом и сама...

Теперь мне оставалось только вернуться в порт, на баржу. Но я медлил. Я не совсем верил словам Ан-

гелины Ивановны. Она когда-то сказала Асе, что я умер, а я был жив... Я не мог уйти, не убедившись.

— Ее квартира тридцать девятая,— сказала Ангелина Ивановна, оскорбленная моим недоверием.— На пятом этаже. Подымитесь, если вы еще можете подняться на пятый...

И я поднялся на пятый этаж.

## XII

— Это вы?

— Я! Я!

— Правда, вы?

— Я!

— Странно!

— Как?

Она говорила почти беззвучно, и мне показалось, что я не расслышал ее.

— Странно!

Я нашел ее в самом конце огромной многокомнатной коммунальной квартиры. Входя, я хотел постучать, но заметил, что дверь не заперта, и сам отворил ее. В ту зиму двери квартир часто не запирали: слишком трудно было идти отворять.

В передней ничуть не теплее, чем на лестнице. Окна в комнатах плотно занавешены. Тьма окружила меня. Я несколько раз подал голос, но никто не откликнулся. Я вытащил свой фонарик: батарейка в нем была почти израсходована, и круг света, который он бросал, был мутен и слаб. Я отворял двери одну за другой, и мутный этот круг скользил по стенам. Мебель сожжена; холодные черные трубы печурок перегораживали комнаты. Железные остовы кроватей; матрасы сожжены. Мертвые лежали на полу. Я спотыкался о них, затвердевших от мороза. Я освещал фонариком каждое лицо. Старухи, мальчишки... Нет, не она. Где же она, где?.. Что-то бесшумно двинулось в углу. Я приподнял фонарик. Мое собственное отражение в зеркале...

Узенькая полоска дневного света возле самого пола. Свет проникал из-под двери, и я толкнул дверь.

Зимние сумерки вливались в комнату сквозь неза-  
вешенное окно. Часы-ходики висели на стене, раскачи-  
вая маятником, и мерный стук их казался в тишине  
неправдоподобно громким. Часы идут, значит, кто-то  
время от времени подтягивает их гири. Две кровати  
стояли вдоль стен: одна пустая, на другой груда  
тряпья. Слегка сдвинув край этой груды, я увидел  
лицо Аси.

Неподвижное, оно смутно белело в сумерках. Упав  
на колени, я приблизил ухо к ее губам. Она дышала.  
Она спала.

Я не хотел будить ее; я хотел сначала растопить  
печурку, сварить кашу. Я нашел дрова и воду,—  
к моему удивлению, все у нее было припасено. Поче-  
му же тогда она не топит, почему такой мороз в ком-  
нате? Вода в ведре покрыта ледяной коркой в два  
пальца толщиной. Пока я растапливал печурку, грел  
воду, сильно стемнело. Я сидел на корточках перед  
раскрытой печной дверцей, когда вдруг почувствовал,  
что она смотрит на меня.

Я встал, она меня узнала, и все повторяла: «Как  
странно!» — и я долго не мог понять, что именно ей  
кажется странным.

— Как странно, правда? Как странно, что я опять  
проснулась. Как странно, что вы тут. Вы дошли до пор-  
та! Я знала, что вы дойдете, но не верила, что еще  
увиджу вас... Как странно все... Как странно, что я умираю...

Она говорила очень тихо, но я слышал каждое  
слово.

— Вы не умрете,— сказал я.

— Я тоже всем так говорила. И все они умерли.

— Вы и мне так говорили. И я не умер.

— Я знала, что вы не умрете. Я ведь ошибалась  
только вначале. Когда я нашла вас одного в типогра-  
фии, я уже не ошибалась. Столько людей умерло к  
тому времени, и я видела, как они умирали. Я все  
знаю о смерти и ничего не знаю о жизни. Странно,  
правда?

— Сейчас будет тепло,—сказал я, ковыряя ко-  
чергой в печурке.—Уже тепло. Вы разве не чув-  
ствуете?



— Нет, не чувствую,— ответила она.— Я больше не чувствую ни тепла, ни холода. Я рада, что вам тепло. А я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, будто их нет. Меня нет, а голова светлая, не потухает. И я жду, когда она потухнет.

Я молчал, следя за паром, который уже начал виться над кастрюлькой. Когда вода в кастрюльке закипит, я выну концентрат из кармана и всыплю в кастрюльку, и будет каша.

Она перестанет говорить о смерти, когда увидит, что я принес ей кашу.

— Пока мама была жива, я все могла,— сказала она.— Ходила за хлебом, носила воду, топила печки. И не только для мамы — для всех. Я все печурки во всем доме знала. Я не хотела, чтобы умирали, я хотела, чтобы жили, жили, жили... Мама перед смертью кричала и плакала. Ничего не понимала, меня не узнавала, и все-таки ей было больно... Может быть больно, если ничего не сознаешь? Как это страшно, когда ничего не сознаешь, а больно!.. Мне, например, совсем не больно... Когда мама перестала кричать и зазеднела, я перенесла ее в ту комнату и положила на пол. И упала. Ноги совсем перестали держать. Я приползла оттуда. Я ползла целый час...

— Когда это было?

— Не знаю. Давно.

— Вчера?

— Нет, не вчера. Гораздо раньше. Прошла неделя. Нет, дня три или четыре. Если бы прошла неделя, остановились бы часы...

Я посмотрел на ходики. Одна гиря поднялась к самому верху, другая опустилась почти до пола. Я подтянул опустившуюся гирю.

— Вот я умру, а часы будут идти. Как странно!

— Вы не умрете!— оборвал я ее.— Смотрите, что я принес!

Вода в кастрюльке уже булькала. Я вынул из кармана концентрат и показал Асе.

— Что это?

— Каша!— воскликнул я с торжеством.

— А,— сказала она безразлично.

— Каша! Каша!— повторял я, вытряхивая концен-

трат в кастрюльку.— Сейчас у вас будет каша! Много каши!

Она молчала, и я думал, что она не понимает или не верит.

Но она отлично понимала.

— Вы не съели сами и принесли мне,— сказала она.— А мне не нужно. Вы ешьте, а я посмотрю, как вы будете есть.

— Вы, вы будете есть!

— Я не могу. Вот. Поглядите.

Я не сразу понял, на что она просит меня поглядеть, потому что было уже темно, и я смутно видел ее.

— Вот,— повторяла она.— Протяните руку. Вот. Под подушкой.

Я сунул руку ей под подушку и один за другим вытащил несколько ломтей хлеба.

— У вас есть хлеб!

— Скушайте,— попросила она.

— А вы? Почему вы не съели?

— Не могу. Не глотается. Проглочу — все назад. А я знаю, что это значит.

Я замолчал. Я тоже знал, что это значит.

— И давно это у вас началось?— спросил я тихо.

— Давно. Еще мама была живая.

— И с тех пор вы ничего не ели?

— Ничего. Мне так лучше. Я это много раз видела. Мне уже есть нельзя.

Я тоже это видел много раз и знал, что если у человека не осталось желудочного сока, он больше никогда не будет есть. И все-таки я продолжал настаивать.

— Каша! — повторял я.— Не сухой хлеб, а мягкая, горячая каша!..

— Не надо,— сказала она умоляюще.

И я замолчал.

Совсем стемнело, и только печка швыряла красные прыгающие пятна на пол, на стены. Ася утихла, а я сидел и поглядывал на нее, стараясь отгадать, открыты у нее глаза или закрыты. Но лица ее в темноте не видел. Сквозь гудение печки и тиканье часов я

не мог расслышать ее дыхания. Иногда мне казалось, что она уже не дышит... И вдруг она что-то сказала. Я переспросил. Я не расслышал.

Она повторила, но я не расслышал опять. Я сел на край ее кровати и склонился над нею.

— Капли падали,— выговорила она еле слышно.— Сегодня солнце светило в окно, и я видела, как падали капли. Тени капель, сверху вниз. На солнце уже тает.

— Чуть-чуть,— сказал я.— Совсем еще мало.

— Придет весна, а я ее не увижу... Как странно!.. Когда я умру, мне станет все равно, ведь правда? Кого нет, тому все равно. Правда?

— Правда,— сказал я.

— Вот это страннее всего. Мне никогда не было все равно, и я не могу понять, как это станет все равно.

— Да,— сказал я,— вам будет все равно. Но тем, которые останутся в живых, никогда не будет все равно. И мы всех тех злых дураков, которые сидят вокруг города в снегу и сторожат нас...

— Про кого вы говорите?

— Про них! — сказал я.

Мы в осаде не называли немцев немцами. Мы называли их просто — «они».

— Не надо,— попросила она.— Не надо про них. Я не хочу сейчас про них думать.

И я замолчал. Я понял, что тяжело умирать ненавидя.

— Я хочу думать про вас, вы последний, кого я вижу.— Голос ее совсем ослабел, и я, чтобы слышать, пригнулся к ее лицу.— Вы пришли ко мне, и я не одна. Я думала: неужели ко мне никто не придет? Это было бы слишком несправедливо. И вы пришли... Скажите, вы когда-нибудь любили? И вас уже любил кто-нибудь? Как это, наверно, хорошо, когда тебя любят и ты любишь. Скажите мне...

Но я ничего ей не сказал. К моим тридцати годам уже и я любил и меня любили, и не раз. Это бывало запутанно и больно, и я бывал виноват и те, кого я любил. Но я не мог объяснить это ей, еще никогда не любившей.

— Я один день любила мальчика, с которым качалась во дворе на качелях,— сказала она.— Мы так раскачали доску, что чуть не влетели в окно третьего этажа. Когда он летел вверх, он нагибался ко мне, я видела, что он хочет меня поцеловать... Больше я никогда не буду качаться на качелях. Как странно!

Она замолчала. Потом я услышал:

— Поцелуйте меня вместо него.

Я нагнулся и осторожно тронул губами ее губы, не сразу найдя их в темноте.

— Вот так,— сказала она.

### XIII

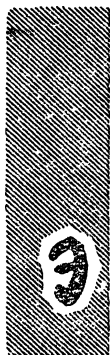
Утром я пошел в порт, а еще через день отправился на медицинское освидетельствование. Меня просветили рентгеном и язвы не нашли. Голод вылечил меня. Я ушел в армию, и следующей зимой мы пробили брешь в осаде. А еще через два года я видел, как мы осадили Берлин, который не продержался и двух недель.

1963.



## Дорога в цветущие долины

### КТО ПОВЕЗЕТ ЖЕНЩИНУ С РЕБЕНКОМ!



та незнакомая женщина с ребенком на руках подошла к шоферам, когда они переругивались с начальником колонны. Женщина попросила довезти ее до Мургаба. На Памир вот уже две недели не было дороги:

все перевалы занесло снегом.

Мягкий снег падал всю эту ночь. Утром двор базы парадно белел под солнцем. Начальник колонны Чалин в распахнутом полушубке спозаранку бродил между машинами, оставляя косолапые следы в пуховом снегу. Все утро Чалин тяжело вздыхал и поглядывал в сторону гор.

Чалину было поручено вывезти строительный лес на четырех машинах в горы и в недельный срок построить там склад для хранения взрывчатых веществ. А затем забросить на склад взрывчатку, без которой не могла начать работу разведочная партия.

Давно пора быть на месте и начинать строительство.

Но черт знает, как там, за этой розовой дымкой, поживает Памир!

Снег, метели... Ничего себе апрель!

К полудню протаял снег на буграх, двор стал похож на шкуру снежного барса. Струился пар от вытаявших клочьев земли.

Следы наполнялись слезами. С крыши радиорубки с шипением сползла краюха снега и задела по плечу шофера Сашку Федотова. Шоферы, все четверо, сидели у стенки на мокрых, дымящихся, точно отполированных бревнах, от нечего делать лепили снежки и бросали в дверь склада.

Не любит Чалин шоферов: рады, черти, что дороги нет! Он посмотрел на часы: двенадцать. Пора идти за сводкой.

Зашел в радиорубку. Радист, слушая писк в наушниках, начеркал карандашом в бланке радиogramмы:

· «Пурга окончилась. Бульдозеры вышли расчищать заносы на перевалах».

Чалин сгреб листок, выскочил во двор.

— Ребята, выезжаем сегодня! Вот! Пурга окончилась. Чистят перевалы. Выезжаем!

Недоверчивый и осторожный, самый опытный шофер Фокеев молча вытянул листок радиogramмы из рук Чалина, достал из кармана очки. В очках, горбоносый и узколицый, он сразу постарел и стал похож на пастора.

— Чистят дорогу? — лениво переспросил Сашка Федотов, разваливаясь на бревнах. — А ты знаешь, начальник, сколько ее надо чистить? — Сашкины глазщелки посмеивались из-под надвинутой кубанки. — Три дня самое меньшее.

Чалин не умел быть дипломатом.

— Ты мне брось, Александр. Выедем сегодня!

Чалин не доверял шоферам никогда. А сейчас он точно знал, почему они тянут. Один из них, толстогубый и плешивый, Степан Дорофеевич, пригласил их всех погулять на свадьбе своей сестры.

— Так что выедем сегодня! — повторил Чалин и глубже нахлобучил шляпу на голову. — И никаких!

— Больно уж мы скорые! — вроде бы разговаривая сам с собой, произнес Фокеев и снял очки. — Ведь написано русским языком: чистют, — но когда вычистют?

— И куды, вправду, торопимся? — подхватил Степан Дорофеевич, который целый месяц мечтал погулять у сестренки на свадьбе. — Куды торопимся? Кабы к куме на блины, а то впоремся в снег...

— Слушайте, надо узнать поточнее! — высказался и четвертый шофер, узбек Джурабай, вечно обросший, с красными белками.

Шоферы тянули, отговаривались, но они хоть искали серьезные отговорки. А Сашка Федотов начал врать совсем нагло:

— Я, начальник, ехать просто не могу: бензонасос чего-то не работает.

Чалин видел их всех насквозь, он знал их уже пять лет.

— Хорошо, мы поедем без тебя. У тебя машина все равно недогружена, — сказал он Сашке. — А мы сейчас выезжаем.

Шоферы закричали все разом:

— Как же так, чай, колонна!

— Это не по-людски!

— Выезжать — так всем!

— Надо ему помочь!

— Знаю, знаю я, почему вы шумите! — закричал Чалин.

Во время этого шума незаметно и подошла женщина с ребенком. Она спросила:

— Скажите, какая машина идет на Памир?

Все оглянулись.

Она стояла за широченной спиной Чалина, светловолосая, в расстегнутом пальто. На руках у нее спал мальчишка, совсем непохожий на мать: он был смуглый, чернобровый, с гранатовым румянцем.

— Простите, можно узнать, какая машина пойдет в Мургаб? — спросила женщина.

Чалин снял свою измятую шляпу и ударом кулака вывернул ее наизнанку — так он делал в минуты крайней досады.

— Сейчас? В Мургаб? — изображая тревожное изумление, спросил Сашка Федотов. — Что вы, гражданка!

— Какой сейчас Мургаб? — подхватил Степан Дорофеевич, который все еще не терял надежды погулять сегодня вечером на свадьбе у сестренки.

А женщина, не сводя припухших глаз с лица Чалина, коротко и твердо попросила:

— Помогите! Мне нужно обязательно выехать сегодня... И как можно скорее. Скорее...

Просящее ее лицо, простоволосая голова с кое-как заплетенными косами, тонкие руки, прижимающие сына, — все это делало женщину похожей на беженку, и верилось, что ей надо выехать скорее, сейчас же!

— Вы едете с мальчиком? — спросил Чалин.

— Да.

— И больше никого?

— Никого.

Чалин повернулся к шоферам.

— Ребята, кто возьмет женщину с ребенком?

— Смешно! — сказал Сашка. — Ребенка нельзя везти по такой дороге.

— Я прошу вас, — тихо произнесла женщина.

— Что нас просить! Вы природу просите, — сказал Фокеев.

— Бога, бога, — добавил Сашка.

— Ну, кто возьмет женщину? — снова спросил Чалин.

Все молчали.

Чалин повернулся к женщине.

— Никто не возьмет вас. Там пурга, морозы. Простите, помочь ничем не можем... Неизвестно, сколько дней придется ехать.

Женщина молчала и не уходила. Она смотрела в землю и точно боролась с чем-то внутри себя, что мешало ей быть настойчивой. Наконец она снова под-



няла голову и сказала совсем тихо, но еще неистовее, чем раньше:

— Прошу взять меня.

— Гражданка, это смешно!— возразил обросший Джурабай.

— Вы не представляете, что там будет,— заговорил опять Чалин,— снег, мороз, завалы!.. Может быть, придется ночевать в снегу.

— Трое суток в кабине,— вставил Фокеев.

— Слушайте, хватит трепаться!— Сашка Федотов поднялся с бревен.— Я возьму женщину с ребенком.

— Послушай, друг, ты же не едешь!— смеясь, закричал Чалин, радуясь тому, что Сашка поймался.

— Почему? Я еду вместе с колонной,— не моргнув глазом, серьезно заявил Сашка.— Мне уж больно сын ваш понравился. Шустрой! Как зовут его?

— Амир-бек.

— Уж больно мне Амир-бек понравился!— сказал Сашка весело и подошел поближе к мальчику.

— Замечательный пацан!— заявил Сашка с восхищением.

— Когда вы выезжаете?— спросила женщина, улыбаясь.

— Через час,— сказал Чалин.— Идите скорее за вещами. Да, кстати, оденьтесь потеплей.

— Хорошо, я быстро,— сказала женщина и пошла, и все они смотрели ей вслед, пока она не вышла за ворота.

Тогда Степан Дорофеевич обернулся к Сашке.

— Ну, ты и жук!..

— И бензонасос сразу заработал,— вроде бы разговаривая сам с собой, серьезно сказал Фокеев.

— Нет, бросьте, ребята!— опять разваливаясь на бревнах, сказал Сашка.— Интересно, кто она такая?

— Не видишь, мать-одиночка,— сказал Джурабай.

— Нет, подвезло тебе, Сашка,— ухмыляясь и подмаргивая, пошутил Степан Дорофеевич.— Только вот малец ни к чему...

— Я из-за пацана и ее-то взял,— возразил Сашка и вдруг вскочил, ударил Степана Дорофеевича по шее и закричал с восторгом:— Значит, едем, Дорофеич! И пропьют без нас твою сестренку...

## Я НАЧНУ ЖИТЬ СНАЧАЛА

Женщина с ребенком на руках, выйдя за ворота на улицу, глубоко вздохнула и быстро пошла по влажному, растоптанному снегу.

Впереди в ветвях белых исполинских тополей пылало солнце... Арык, полный снежной воды, вспыхивал под его лучами...

Женщина торопилась, шагала быстро, почти бегом, и через два квартала свернула в белое двухэтажное здание, взбежала по лестнице.

«Скорее... нельзя опоздать! — думала она, открывая дверь квартиры. — Через полчаса обеденный перерыв, придет свекровь, и тогда все пропало. Нужно притворяться, придумывать объяснение, а машины уйдут! Через три дня приедет он — и уехать будет совсем нельзя! И тогда все останется, как вчера, позавчера... И все, все, о чем мечталось, все светлое... погибнет совсем, совсем!»

Она положила сына на диван. Он спал спокойно.

«И хорошо, что он спит, проснется уже в дороге». Сбросила с себя пальто и осталась в цветастом халате. Косы упали с головы, волосы рассыпались по спине. Она быстро собрала их в пучок, повязалась белым платочком по-деревенски...

«Через полчаса придет его мать... Она все поймет, ее не обманешь! Да и вещи увидит». Вещи! Ведь надо собрать вещи в дорогу! Вещами забиты все три комнаты. Это все их вещи, купленные за два года семейной жизни. Это все его вещи. Она не возьмет ни одной. В его комнате разбросаны рубашки, галстуки, платки, утром он собирался на выставку и, как всегда, все расшвырял.

Она достала из-за шкафа потертый чемоданчик, с которым когда-то ходила на тренировки. Вот старый спортивный костюм, тапочки, милые тапочки! Прошло всего три года, а будто сто лет! Точно пылью запорошило душу. А вот зеркальце, маленькое, круглое, в

зеленом ободке. Любила подолгу смотреть на себя, правда, тайком. Любила себя, гладила по щекам, дура! А сейчас готова себя избить!

А вот и фотография — весь выпуск. Она стоит сбоку, отошла от всех, гордая тихоня, зазнайка!

— Теперь я тебя знаю, — сказала женщина, глядя на себя в зеркало.

«Ты совсем не жила, а всю жизнь играла. Перед собой, перед людьми... И гимнастикой в техникуме занималась, чтобы фигура была лучше, чем у всех, и короткую мальчишескую прическу носила, и принципиально ни губы, ни ресницы никогда не красила, чтобы ни на кого не быть похожей (знала, что и так красива!). Ходила как по ниточке и все думала, думала... о себе...

Любила подолгу смотреть в одну точку. Девчонкам в общежитии сказки рассказывала, бывало, до трех ночи (тут же на ходу придумывала) про подземные ходы и египетские пирамиды, о летучем голландце».

И откуда взялось такое страстное самолюбование! Ведь не в замке выросла! Родилась в маленьком городке за Волгой. Когда училась в 10-м классе, мечтала стать геологом. Городок такой маленький, что редко на какой карте найдешь; летом — зной, зимой — вьюги, кругом — неохватные степи. А далеко за Волгой вечерами мерцали огни громадного города. Подолгу смотрела она на эти огни и думала о горах, которых не было в этой степи. Если бы вы знали, как мечтается вечерами в глухой степи, напоенной теплым полынным запахом: видятся холодные снежные пики, сверкающие горные потоки, водопады!..

Жила Люда вместе с матерью и тетушкой. Отца не знала: погиб на фронте. Мать была вечно занята работой. Воспитывала Люду тетка, старая дева...

Тетка только что вышла на пенсию после работы в школе и всю оставшуюся энергию обратила на племянницу. Тетка любила повторять:

— Труд, только труд, девочка!

Тогда казалось, что только труд — это скучища, а сейчас с каким наслаждением она вспоминает работу в саду, тяжелые ведра, тропинку от колодца!.. Идешь

вверх с ведрами, а холодная вода выплеснется на горячие, запыленные ноги в матерчатых тапочках. А запах и вкус вишневого клея, который откусишь прямо от красной веточки и долго жуешь слипающимися зубами! А какие были георгины! Громадные, мохнатые, размером с человеческую голову, они окружали дом, точно живые существа. Двести кустов помидоров поливали каждый день под вечер, когда на улице начинала звенькать гитара, а из парка через море пыльных огородов неслась музыка:

В мире ты, мой друг,  
лучше всех..

Это пели о ней и для нее.

Но «труд, только труд» надо было доводить до конца, и лишь когда двести кустов были политы, тетка отпускала ее с наказом:

— Чтобы в половине одиннадцатого была здесь!

Почему в половине одиннадцатого, если танцы кончаются без пятнадцати одиннадцать и тогда все девчонки вместе возвращаются домой?!

После десятилетки она поступила в метеорологический техникум и стала жить в общежитии.

А скоро началось это непонятное и тревожное... Появился Колька. Вот он стоит на фотографии и усмехается чуть-чуть. Был он потрясюще молчаливый. Пятнадцать слов в день, но часто усмехался... Она начинает ему что-нибудь рассказывать, он слушает-слушает, потирая левую ладонь большим пальцем правой руки, и вдруг усмехнется и ничего не скажет.

Был он немного старше других мальчишек в техникуме, но молчаливая вдумчивость и суровое прошлое: детский дом, работа и шрам, рассекающий бровь,—делали его еще взрослее.

Один раз она его спросила:

— Почему ты молчишь?

— Я слушаю людей,—ответил он.

— А я разве не слушаю?—удивилась она.

— Ты слушаешь себя....—сказал он и добродушно улыбнулся, смягчая улыбкой резкость сказанного.

Она решила тогда, что это игра слов, но сейчас она знает, что Колька был прав.

Их направили работать в Таджикистан, в Управление метеослужбы республики. В управлении им предложили:

— Есть два места: одно на Памире, другое здесь, в управлении.

— Значит, я еду на Памир,— решил Колька.

Они вышли на вечернюю улицу незнакомого города. Было тихо, душно. Они шли под деревьями вдоль арычка, их обгоняли машины, обдавая теплым воздухом. Впереди в густеющем голубом небе над улицей вдруг вспыхнули какие-то зеленые, малиновые буквы, заиграла музыка. Она никогда не была в этом городе, огненные буквы в небе были непонятны и заманчивы, и неизвестно было, где играет музыка, и кто живет на этих улицах, и какое счастье ждет ее здесь. А что счастье, сказочное, как эти огненные буквы, обязательно придет к ней, она была уверена. Об этом кричали на углу и мальчишки-таджики в рваных халатах, протягивая цветы прохожим.

— Возьми тюльпан! — кричали они. — Эй, возьми тюльпан!

А ей слышалось: «Эй, возьми счастье!»

Колька же шагал рядом с ней насупленный, молчал, думая, наверно, о своем Памире.

— Ну, вот мы и приехали на Памир! — радостно вздохнула она. — Помнишь, как мы мечтали увидеть долины, красные от тюльпанов?

Он ничего не ответил, но она, не видя его лица, знала, что он усмехнулся.

— Ну скажи, что ты подумал? — спросила она.

— До Памира еще далеко,— сказал он. — Туда пять дней идет письмо, если есть дорога. А если дороги нет...

— Поздравляю, ты произнес целую речь! — сказала она, и они рассмеялись.

— Эй, возьми тюльпан! — кричали продавцы цветов.

Он купил несколько тюльпанов и, отдавая ей, сказал:

— Но ты, кажется, думаешь не о Памире.

— Не знаю, у меня в голове сумбур,— призналась она.— Мне надо разобраться. Я разберусь.

— Попробуй,— сказал Колька.

— Разберусь, вот увидишь! Ты знаешь, это потому, что я никогда не уезжала так далеко, не видела таких гор, таких вот деревьев, арыков, тюльпанов... Мне кажется, здесь какие-то особенные люди!

Дальше они долго шли молча, и Люда ждала, что он скажет ей еще. Если бы он сказал ей сейчас, что любит ее... Но Колька молчал. Они вышли на окраину города, впереди, за пеленой горячего воздуха, мерцали снегами горы.

— Я тебе сразу же напишу, как только приеду туда,— сказал Колька, помолчал и добавил: — Смотри, на горах снег, а рядом, в городе, жара... Какой здесь резкий микроклимат!

Когда они пошли обратно, Люда сказала печально:

— Знаешь, раньше я о чудаках только в книгах читала.

Через два дня он уехал на Восточный Памир и стал работать на высокогорной метеостанции далеко в стороне от автомобильной дороги.

Несколько раз она ответила на его письма и вдруг замолчала.

Работа в управлении метеослужбы оказалась несложной: обобщать сводки, которые приходили с метеостанций. В городе Люда познакомилась с девочками, которые ходили в брюках и носили короткие прически «мальчик без мамы». Среди них она стала задавать тон. Одна подруга, таджичка, познакомила ее со своим братом-художником. Это был высокий молодой человек, быстрый и насмешливый. Звали его Ариф. Он окончил художественный институт, носил стильный галстук, короткий пиджак и говорил, что Репин не художник, а Чайковский не современен. Сам он умел хорошо рисовать, но на своих эскизах удлинял фигуры и делал их плоскими, называя это древнеегипетским стилем. Кроме того, он отлично играл в теннис.

Девчонки были от него без ума. Люде он тоже понравился своей независимой манерой над всем посмеиваться.

Он говорил ей:

— Нас окружает довольно бездарная проза быта. Надо создавать свой мир. Как говорил поэт, я могу из падали создавать поэмы, я могу из горничных делать королев. То, что нравится миллионам,— это уже пошлость. Все искусство, созданное народом за тысячелетия,— это руда, из которой я, художник, добываю кристаллы поэзии. Я стану выше этой муравьиной работы поколений, я освобождаю свои руки от наручников тысячелетий.

Ариф стал писать портрет Люды и сначала повел его в египетском стиле, и Люду это страшно забавляло, но потом он увлекся работой и написал ее такой, какая она есть.

Наступила весна. Отпуск, который она когда-то хотела провести вместе с Колькой, она провела с Арифом. Они ездили за город, в Варзобское ущелье, и там вместе собирали цветные плоские камешки. Они были нужны Арифу для его большой мозаичной работы. У Арифа было множество знакомых. Он возил ее в гости, и весь отпуск слился в радужную полосу веселых вечеринок, поездок за город, посещений театров...

И вот однажды, когда они ехали в машине, Ариф остановил ее, вышел, стал на одно колено и полусхотливо сказал, что не может жить без Люды и что если она не согласится стать его женой, то он навеки останется здесь, на дороге.

Когда они стали мужем и женой, Ариф попросил ее отдохнуть от работы, и она перестала ходить на службу в управление. И началась счастливая, даже слишком веселая жизнь, еще больше поездок к знакомым, вечеринок и тостов. Ариф гордился своей женой, и когда они отправлялись в гости, он демонстрировал ее красоту, точно свое произведение. Он хотел, чтобы она одевалась оригинальнее всех женщин и держалась в египетском стиле. Люду это сначала забавляло, но постепенно она стала чувствовать себя словно выставленной напоказ посреди какого-то торжища.

Потом родился сын. Он был слабый, все время болел, и праздная жизнь оборвалась; точно бред, по-

тянулись тяжкие, бессонные недели, проведенные над изголовьем сына. Пришла вторая весна. Амир-бек поправился. Как-то Люда вышла с ним погулять в городской парк. Стоял солнечный, теплый день, кричали воробьи, галдели мальчишки, искрился последний тающий снег. Люда точно впервые видела все это, ей казалось, что она болела и выздоровела вместе с сыном. И теперь, после болезни, она показалась себе вдруг постаревшей на десять лет. Мимо нее прошли, смеясь, девушки, наверное, студентки, почти ее ровесницы.

«Смеются... У них все впереди,— вдруг горестно подумалось Люде.— А у меня? Что у меня?» И она вдруг расплакалась.

И потекли воспоминания, которые она невольно отгоняла от себя все эти два года,— об учебе, о дружбе с Колькой. Как же так? Как же так получилось, что жизнь пошла мимо нее? И вспомнились слова матери Арифа, сказанные вскоре после свадьбы: «В нашей семье жена никогда не работает, жена украшает дом». Тогда это показалось милым восточным обычаем, теперь она поняла, что стала женой-безделушкой, женщиной того типа, который она так презирала во времена своей девической свободы.

В тот же день она сказала Арифу, что хочет поступить на работу снова. Ариф шутливо спросил, не собирается ли она сделать служебную карьеру. Он смеялся над ней, как над маленькой. В ней вспыхнула вся ее гордость.

— Ты ничего не понимаешь,— сказала она дрожащим голосом.— Я же училась, я хочу работать метеорологом!

— Зато я этого не хочу!

— Тогда я уеду на Памир и буду работать там!

— Не смей меня, пожалуйста,— снисходительно усмехнулся Ариф.

— Я уеду завтра же! Ты меня еще не знаешь!

— Не набивай себе цену,— холодно сказал Ариф.

Через два года Колька снова получил письмо от Люды. Она писала о том, что сидит дома одна с сыном. За окном снег, но скоро весна. Она пишет ему



уже четвертое письмо за эту зиму. Это письмо он все равно получит, хотя ей и придется сгореть от стыда. Но так лучше. Это мостик к прошлому. Она не работает уже два года: родился ребенок, да и муж не хочет, чтобы она работала. Муж и его мать зарабатывают много. Он сам и его мать считают, что он осчастливил Люду.

«Я не знала, что бывает такая тоска. Я ничего не делаю и чувствую себя все хуже, точно меня опускают все глубже в какой-то страшный колодец без дна... Мы ссоримся уже давно. Я прошу их отпустить меня. Я все время думаю и не могу спать. Ведь я ни разу не видела Памира и долин с цветущими тюльпанами. Есть ли работа у вас на метеостанции? Напиши мне, прошу тебя, напиши мне!»

Так заканчивалось это письмо.

Коля прочитал его у реки в ветреное утро через две недели после того, как оно было отправлено. Листок, вырванный из тетрадки, исписанный ее почерком, ветер рвал у него из рук.

Он прочел и долго не мог поверить, что эти бегущие, такие знакомые строчки возвращают ему радужное счастье юности.

Он сел на обрыве и стал бросать в быструю воду камешки. Он забыл набрать воды, вернулся на станцию и написал громадное письмо. Он писал, что думал о ней все эти три года, каждый день, по многу раз в день: и когда, возвращаясь с работы, переходил реки, и когда поднимался, задыхаясь, в горы, и когда сидел с товарищами у приемника. Когда он написал это письмо, он улыбнулся, сложил листки и спрятал в книгу.

А потом тридцать километров прошел до Мургаба, где было почтовое отделение, и дал ей такую телеграмму:

«Приезжай. Коля».

Дорога была закрыта. Шли дни. Он не мог спать ночами.

Что она делает там, за пятью перевалами? Все время дул ветер, нес пыль, обжигал морозом.

Когда наступала ночь, стихал ветер. Коля выхо-

дил к реке. Над черной долиной пылали созвездия, льдисто всхлипывала вода... За угольной стеной гор, где-то над призрачными снегами, вставала невидимая луна — небо изумрудно горело... Начиналась памирская весна.

### III

## БЕШЕНЫЙ САШКА

Чалин, который знал шоферов как свои пять пальцев, дал всем им прозвища. Лопоухого и апатичного Степана Дорофеевича он окрестил Спящим красавцем, строгого и осторожного Фокеева — Академиком, наивного Джурабая, вечно обросшего, — Кутасом, то есть яком, а Сашку Федотова — Бешеным. На Сашку и впрямь порой «накатывало».

В два часа дня колонна вышла. Пока ехали по городу, Сашка вел себя прилично. Но как только проехали глиняные коридоры окраинной улицы и распахнулся холмистый простор, Сашка дал полный и обогнал колонну. Машина ныряла между мягкими холмами, пики тополей неслись навстречу.

От Сашки здорово пахивало водкой. Когда машина помчалась на полной скорости, Сашка оживился, точно сам стал жить на этой новой скорости.

— Не люблю я Чалина, — объявил он. — Во-первых, крикун он. И вообще нечеловеческая личность. Он на меня так смотрит, будто я предатель. А разве я предатель? Я просто человек свободы! Вам это доступно понять, извините, не знаю, как вас зовут?

— Людмила, — откликнулась женщина.

— Очень приятно. А меня — Александр... Не люблю я Чалина, — продолжал Сашка. — Я ему не на елке достался, чтобы он меня в бараний рог гнул. Я не желаю в колонне ехать. Они все там друг за дружку держатся, а я плевал... Я вперед устремляюсь, я тихо ехать никак не выношу. А они все там рыскнуть боятся, никто из них не рыскнет.

Люда слушала Сашкину болтовню, смотрела, как разворачивается громада мокрых холмов, и чувствовала, что первое восторженное волнение отъезда опять сменяется тревогой.

А какая радость зажглась в ее груди, когда она только что села в кабину и захлопнула за собой дверь!

«Вот я и начала новую жизнь!» — подумала она тогда гордо.

Она жадно разглядывала и слушала Сашку: ведь он так много раз был на Памире, боролся с заносами, терпел холод и бессонницу на этом громадном плоскогорье. Видел долины, цветущие тюльпанами. Может быть, он даже знает Николая. И она с умилением смотрела на черные, громадные кисти его рук, с выколотыми на пальцах именем и годом рождения. И она ждала от Сашки, как он проявит свои необычайные «памирские» черты.

Но Сашка продолжал ругать Чалина, остальных шоферов и все повторял, что он «человек свободы» и потому ни в ком не нуждается.

Впереди над голыми горами, напоминающими верблюжью спину, тревожно заалели облака. В оврагах по обе стороны дороги призрачно голубел снег. Чем дальше уходила дорога в эти бесконечные холмы, тем печальнее становилось на душе.

«Куда я еду? Зачем? Сумасшедшая! — подумала Люда.— Выдумала какой-то Памир, каких-то особых людей... А ничего нет. Голые, мокрые холмы, пьяный, грубый парень... И Колька ответил только как товарищ, сочувствие проявил: вежливое «приезжай» — и все!»

А Сашке делалось все веселее от быстрого полета машины. Когда на дороге появлялись люди, он начал сигналить так, точно разыгрывал мелодию:

— Ту-у-у-ту! Ту-у-у-ту! Ту-ту-ту-ту-ту-ту!

А сын все спал у нее на коленях, спал крепко, только иногда двигал бровями.

Машина вошла в голые, бурые взгорья, рассеченные морщинами оврагов.

В гаснущем свете дня навстречу поползли обрывы из красной глины. Машина, завывая, полезла вдруг

вверх, в гору, стараясь нагнать ускользящий свет солнца. Но свет уходил. Наверху, за седлом перевала, играл оранжевый веер лучей... Машина рвалась из тьмы к этим лучам, а они бледнели, расплывались и вот исчезли совсем, оставив только зеленоватое свечение. Оно подернулось пеплом облаков и растворилось в прозрачной тьме.

На перевале Сашка остановил машину и полез в мотор. Люда вышла из кабины. Ветер бросал в лицо холодной пылью. Внизу, впереди, под перевалом, угадывалась голая каменистая пустыня. Боже, какая тоска! Ни деревьев, ни надежд, все мертво! Сейчас ей не верилось ни во что, даже в восход солнца.

Она стала спиной к ветру, прикрывая сына, и спросила Сашку:

— Скажите, почему такой ветер?

— Это еще не ветер,— ответил Сашка.— Ветер будет дальше.

Они сели. Машина дрогнула и пошла вниз. Да, вправду Сашка бешеный! Разве можно на такой скорости мчаться вниз? Свет фар вдруг вырвал и бросил навстречу обрыв, стену земли, в которую мчалась машина. Поворот, стена прыгнула в сторону, и перед глазами уже небо, пустота...

— Не люблю я тихо ездить,— бормотал Сашка, налегая на баранку.— Это пусть Чалин ползет. Не люблю я Чалина!

Когда машина спустилась в долину, не было ничего видно, только иногда на обочине дороги появлялись камни размером с дом.

В смотровое стекло стали ударять первые снежинки. Сашка все жал. Он не остановился даже около вагончиков дорожных строителей, хотя там навстречу машине выбежал какой-то человек и стал кричать, размахивая рукой.

Люда высунулась из кабины и уловила слова, смятые ветром:

— Э... про-еде-шь! Нет до-ро-ги-и!.. Э... ро... ги...

Сашка только хмыкнул.

У Люды тревожно заколотилось сердце.

— Что он сказал? — спросила она Сашку.— Кажется, нет дороги?

— А... ерунда! — Сашка сдвинул кубанку на затылок.

Люда испугалась.

«Ехать с ребенком в ночь, когда нет дороги... около этого бесшабашного парня!..»

И вспомнилось, как Чалин перед выездом сказал Сашке:

— Смотри, Федотов, уймись! Я бы к тебе вообще пассажиров не сажал... Бешеный черт!

Снег вдруг посыпал из темноты белым роем.

— Куда мы едем? — спросила Люда.

— На перевал, — ответил Сашка. — Попробуем!

Машина опять пошла вверх, завыл мотор, ветер хлестал по стеклу снежными крыльями.

Сашка вдруг остановил машину, вылез из кабины и исчез в темноте. Потом появился с двумя камнями и бросил их в кузов один за другим. В кабине загрохотало, а Сашка пропал снова и, невидимый в темноте, стал швырять еще камни. Люде показалось, что по машине бьют гигантским молотом. Грохот, лязг, свист ветра, пыль — и эта бессмысленная погрузка камней среди ночи... Спяну, что ли?

Амир-бек завозился и тонко заплакал. Люда высунулась из кабины, прокричала, чуть не плача:

— Послушайте, слушайте, что вы делаете?

Гром смолк.

Сашка подошел.

— Вам чего?

— Зачем вы кидаете эти камни?

— Догружаю машину. Легкая, так не пройдет.

Амир-бек заплакал еще громче.

Сашка огорчился:

— Ой, пацан, не плачь!.. Сейчас поедем.

Они поехали. Амир-бек плакал все громче. Люда молчала, закусив губу.

Сашка повздыхал, повздыхал виновато и пробормотал:

— Может, ему сахару дать?..

— Он испугался.

— Что же делать-то, а?

— Не могли осторожнее положить ваши камни! Я сама испугалась: думала, обвал.

Сашка стыдливо засмеялся и почесал в затылке. «Ему смешно еще!» — подумала Люда гневно.

Амир-бек плакал тихо, уткнувшись ей в грудь.

Машина скоро начала вязнуть в свежем снегу. На повороте она стала буксовать, и Сашка выключил мотор. Посидели в тишине, слушая вой ветра и грустный плач Амир-бека.

— Что ж, пацан, поедем обратно? — спросил Сашка мальчика.

Амир-бек замолчал и засопел, засыпая.

Они спустились обратно в кишлак уже к полуночи и около одной кибитки увидели свои машины.

— Сейчас Чалин будет ругаться... — предупредил Сашка и стал стучать в дверь. — Не люблю я Чалина!

Открыл им киргиз в кальсонах, в халате внакидку.

В низкой комнате шоферы спали вповалку на полу.

Чалин сидел у стола и при свете керосиновой лампы читал книгу. Его косматая голова светилась, как у святого, багровое лицо было страшно.

— Привет из Крыма! — сказал Сашка, вваливаясь в комнату.

— Сволочь ты, Федотов! — выговорил Чалин медленно и с треском захлопнул книгу.

— Но, но, полегче! — сказал Сашка, ложась на пол у порога.

— Я тебе покажу полегче! — закричал Чалин.

— Потихе, не кричите! — попросила Люда. — Мальчик уже заплакал сегодня. Где мне его положить? Мы устали.

Чалин встал.

— Положите его сюда, на мой спальный мешок.

#### IV.

### ПО ЛЬДУ

Рано утром, когда Сашка вышел на улицу, в кишлаке уже дымили трубы, сбиваясь в кучу, носились по улице бараны и за ними бегал мальчишка-чабан в тяжелых сапогах. Две собаки, повизгивая и хрипя,

дрались под Сашкиной машиной. Двери кибиток были открыты, и в них появлялись киргизки, кричали что-то друг другу, смеялись.

Низкое, белесое небо прятало в облаках вершины гор... У Сашки было муторно на душе от вчерашней лихости, от этого плоского неба, от того, что опять он попал в колонну и теперь Чалин не даст ему быстрого хода.

А тут еще эти собаки! Сашка нагнулся, чтобы ошарашить их камнем. Когда разогнулся,— увидел пассажирку с сыном. Они поднимались от реки. Мальчик шел своим ходом, держась за руку матери.

Он был в полосатых таджикских штанах, в тубейке и маленьком матросском бушлате. В свободной руке он держал лепешку и визжал от восторга. Лицо у него было тоже вроде лепешки, круглое, поджаристое.

— Ну, как поживаем, малыш? — Сашка подхватил Амир-бека под мышки и стал подбрасывать в воздух.

Мальчик завизжал еще радостнее и ударил Сашку лепешкой по лицу. Сашке это очень понравилось. Он посадил Амир-бека на громадную свою ладонь и поднял вверх. Мальчик захлебнулся смехом.

— Опустите, опустите сейчас же! — с ужасом закричала Люда и приподнялась на цыпочках, протягивая руки к сыну.

Платок сполз у нее на плечи, открылась тонкая шея, скуластое порозовевшее пятнами лицо с робкими веснушками.

Сашка вдруг увидел, какая она молоденькая, совсем девчонка. Ему стало весело, отчего-то захотелось опять помчаться на перевал.

— Сейчас выезжаем, Амир-бек! — заорал он, подкидывая мальчика еще выше.— Едем! Собирайся скорее, мамаша! Едем!

На Сашкины крики вышел из кибитки Чалин, сказал скрипуче:

— Слушай, Федотов, если ты оторвешься от колонны, я тебя отправлю обратно. Выедем все вместе, организовано. Впереди Кара-Куль, нужно помнить!

Сашка враз поугрюмел, отдал мальчика матери, залез в кабину, надвинул кубанку на глаза и уставился в одну точку, думая: «А, пропадите вы все пропадом!»

Выехали все вместе, колонной. Сашка тащился сзади, нарочно отставая, и иногда бормотал что-нибудь вроде:

— Кара-Куль, подумаешь! Боюсь я твоего Кара-Куля! Ездили мы и по Кара-Кулю...

— Что значит Кара-Куль? — спросила Люда.

— Черное озеро. Там, говорят, всю дорогу замело.

— Ну и как же?

— По озеру поедем.

— Как? По льду?

— Ну да, по льду.

— А озеро маленькое?

— Да нет, подходящее... Километров двадцать ехать через него.

— Двадцать километров по льду?

— По льду.

— А лед толстый?

— А кто его знает!

— А там всегда ездят?

— Зимой ездили.

— А сейчас, весной?

— Давно уж не ездили, мы сюда первые прорвались.

— А объехать нельзя?

— Никак.

Люда притихла.

Машина шла по извилистой долине, засыпанной камнями. Похоже было на то, что здесь великаны, дети великанов играли в войну, кидали друг в друга камнями, делали из камней крепости и баррикады. Великаны были, конечно, выше гор и сгребали эти глыбы в кулаки, как речную гальку.

Они, наверное, бегали друг за другом и, перепрыгивая через хребты, задевали их ногами, и горы осыпались...

Потом пошли холмы, уставленные рядами камней в унылом порядке, напоминавшем кладбище.



И неожиданно на повороте с холма глянул на Люду совершенно небывалый камень, искусно обработанный ветрами; в нем угадывались и глазницы, и изгибы рук, и крик раскрытого рта.

За весь день не попало ни одного деревца, только камни, горы, пласты; застывшая в судороге земля... Люда пристально вбирала в себя все бегущее навстречу, подавленная этой безмолвно рассказанной историей потрясения земли... Сама себе она казалась все меньше и невесомее. Машина уже была спичечной коробкой... А Амир-бек! Точка... ее не увидишь в этом каменном океане! И призрачнее казались вся ее собственная жизнь, глупые надежды.

Да, она сама, затерянный где-то Колька, ее Амир-бек, Сашка с его машиной — все были маленькими, но тревожное ожидание, наполнявшее ее сердце, наоборот, становилось все больше и острее.

Сашку одолевали чувства другого рода. Он припоминал все обиды, которые претерпел от Чалина.

Пути Чалина и Сашки часто сталкивались. Взрывник и шофер не раз схватывались друг с другом, и все вроде бы из-за пустяков. Однажды Сашка должен был везти Чалина и груз взрывчатки в партию. Сашка только что вернулся из дальнего рейса и предложил Чалину для отдыха хватануть хотя бы чайку в чайхане на пути. Чалин не разрешил. Сашка божился, что они нагонят это время в дороге. Чалин заставил Сашку проехать мимо чайханы. Словом, Чалин любил подчинять себе людей, а Сашка не любил подчиняться.

В прошлом году, например, Чалин не позволил ему подвезти на базар киргиза с десятью баранами. Сашка уже начал их грузить, а Чалин влез в кузов, схватил барана за рога и выволок его. Сашка ему это припомнит. А горы ничуть не интересовали Сашку: зимой и летом одним цветом; ни травы, ни растительности... Разве это природа?

Амир-бек, который давно проснулся, тоже был недоволен. Ему хотелось слезть с колен матери, покрутить баранку, потрогать разные штучки, которых было полно в кабине. Но всякий раз как он протягивал к ним пальцы, мать совала ему в руку надоевшего рези-

нового мишку, как будто он, Амир-бек, такой тупой, что должен бесконечно возиться с этим мишкой.

Так как Сашка демонстративно отставал весь день от колонны, в сумерках они оказались одни в какой-то степи.

— Скоро Кара-Куль,— сказал Сашка.

Вскоре фары нащупали в темноте кузова машин. Колонна стояла на дороге. Люда выбралась из кабины и, пошатываясь от усталости, подошла следом за Сашкой к машинам. Чалин и шоферы ходили около дороги и что-то искали. Видны были только огоньки их папирос. Степан Дорофеевич сидел у дороги, согнувшись, неподвижно, точно камень.

Чалин выругался в темноте и спросил раздраженно:

— Где же все-таки поворот?

— Давно не ездили тут,— оправдываясь, ответил ему голос Фокеева.

— Рази ночью разглядишь? — сказал Степан Дорофеевич.

— Вы же ездили! — повторил Чалин.

— Вы тоже ездили,— огрызнулся Фокеев, и Люда почувствовала, что все устали, а Чалин не понимает этого.

— Рази ночью разглядишь? — повторил Степан Дорофеевич.

Чалин вышел из темноты на дорогу, за ним следом брел Джурабай, почесывая заросшую щеку.

— Вы как бараны... можете ехать, только когда вам покажут, куда! — сказал Чалин, набрасываясь на неповинного Джурабая.— Сколько лет ездите и ни черта не помните!

Шоферы молчали; они стояли вокруг, глядя кто вбок, кто под ноги, и теперь уже все походили на камни.

Им просто хотелось передохнуть и еще больше, наверно, хотелось, чтобы Чалин поговорил с ними по-доброму, тихо спросил бы совета.

Чалин же считал, что знает «шоферню» и если на них не кричать, то и добра не видать.

— Бараны вы и есть, черт подери! — повторил он.— Не знаете — тогда едем. Едем! Я вспомню пово-

рот. Мне дорого дело, не то что вам... Я поеду в первой машине, с Джурабаем. За мной Фокеев, затем Степан Дорофеич и Федотов. Предупреждаю, когда выедем на лед, ехать друг за другом на расстоянии двести метров, ни в коем случае не обгонять друг друга, не останавливаться! Ясно?

Все молчали.

— Поехали!— крикнул Чалин, точно на собрании. Машины тронулись и свернули с дороги в холмы. Под колесами скрипела галька. В ложбинах лежал снег. Машины долго петляли по пустыне, и наконец впереди забелело, скрежет исчез, и колеса въехали на ровную, как стол, плоскость. Лед! Лед бежал навстречу из темноты. Сначала припорошенный снегом, затем прозрачный, легкий... Люда прижала к груди Амирбека, подалась вперед, словно старалась увидеть, какой он, этот лед. А Сашка сидел, развалясь, будто ехал по чугунному настилу. Все это было скучно — тащиться по чужому следу.

— Чего они так ползут, как на похоронах? — сказал он и плюнул через боковую дверцу на лед.

— А разве медленнее хуже ехать? — спросила Люда.

— Обязательно.

А кузов машины впереди совсем остановился. Сашка дернул тормоз, машина, точно на лыжах, прокатилась по льду и стала.

— Зачем вы стали? Ведь нельзя останавливаться! — воскликнула Люда.

— Пойду посмотрю, чего у них там стряслось. — Сашка лениво прыгнул на лед.

Люда приоткрыла дверцу и высунулась.

Вся колонна стояла словно на листе стекла, таком чистом, что он отражал машины и цифры на бортах. Во все стороны в черноту уходил бесконечный лед. Гор не было видно, только лед и окоченевшие звезды, но в небе даже было бы уютней, чем на этой отполированной ветрами глади воды.

Все столпились около передней машины. Джурабай кричал, пробуя ногой лед:

— Трещит! Я же слышу своими ушами! Зачем мы едем?

— Нельзя же останавливаться, болван! — кричал Чалин.— Ты же хуже сделал!

— Я не поеду,— плачущим голосом ответил Джурабай и показал обеими руками вперед, в черноту.— Что там впереди, какой лед, ты знаешь, да? Днем надо ехать, днем! Какой дурной башка ночью ездит, когда весна начался?

— Да стоять же хуже!— сдернув с себя шляпу и выворачивая ее ударом кулака, закричал Чалин.— Садись сейчас же, ехай! Ехай быстро, быстро, быстро!

— Нельзя туда ехать! Лед трещит!

И вдруг Люда увидела, что Сашка бежит обратно. Он плюхнулся на сиденье, включил сцепления, и машина рванулась вперед мимо колонны.

— Быстрее, быстрее нужно! — крикнул Сашка шоферам на ходу.— Давай за мной! Давай!

Лед летел навстречу — сверкающий, янтарный от света фар. Прижимая к себе Амир-бека, чувствуя гулкие, растущие удары сердца, Люда думала:

«Господи, да когда же кончится этот лед? Он сказал: двадцать километров! Стрелка ползет по спидометру, скорость 60... 70... Проехали, наверно, пять... Зеркальная плоскость, чуть пересеченная только перьями снега, все мчит и мчит под машину. Как похоже на каток! Может быть, это я лечу на коньках? Только какой темный каток! И какой громадный! Самый большой в мире! И какая скорость! Я не могу так лететь на коньках: я упаду. Это оттого, что здесь высоко, и становится плохо без воздуха, и всякая ерунда лезет в голову...

Здесь очень, очень высоко — четыре тысячи метров! Здесь не хватает воздуха! Каток под самыми звездами.

Высокогорные озера, видимо, очень глубокие, сотни метров. Сотни метров под нами. Ой, что со мной? Все плывет...»

И, чувствуя, что ей делается совсем худо, Люда поднимает к своему лицу теплое лицо сына.

Он дышит ровно, легким теплом обдает ее стынущие губы.

Ему хорошо; ему очень спокойно, и от этого ей делается лучше.

А Сашке по душе такая езда. Здорово! Это малость похоже на жизнь! Только вот пассажирка что-то приуныла... Конечно, боится, поди... Да, ей совсем плохо!

— Ну, как поживает наш пацан? — спрашивает Сашка и свободной рукой из кармана ватных брюк достает стеклянную баночку с крышкой и подает Люде. — Вот, забыл. Ананасное пюре, понимаете. В городе купил перед отъездом еще. Я потому взял, что сроду такого не встречал. Видел яблочное, абрикосовое, а из ананасов — нет...

— Спасибо, — отвечает Люда и сжимает баночку в кулаке.

— Ананасов не ел я никогда, — продолжает Сашка. — Это, конечно, хуже натуральных ананасов, но все же из тропических плодов!

— Конечно! Это очень редкое пюре. — Люда смотрит на спидометр: «Пятнадцать... шестнадцать... Господи, да скоро ли?»

Сашка поворачивается, смотрит в заднее окошечко и, довольный, говорит:

— А все за нами жарят.

Но вот под колесами скрип, и первый толчок о бугор.

И каким матерински ласковым показалось грубое прикосновение земли!

— «...И в воздухе сверкнули два ножа!» — запел Сашка.

V

## ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ

«Ну вот, самое трудное позади», — подумала Люда и прикрыла глаза. Ей вдруг смертельно захотелось спать. Она прислонилась к дверце, уткнулась лбом в холодное стекло и заснула.

Сашка покосился на женщину; спящее лицо с полуоткрытым ртом, освещенное снизу, с запавшими глазницами было точно мертвое. Сашке стало не по

себе, он завозился, зевнул и вдруг обиделся на нее: заснула себе, а ему ведь тоже хочется спать! Хуже нет, когда ночью рядом спят в кабине. Ты крути баранку как проклятый, а они спят и не чешутся, а тут глаза сами слипаются, будто их кто склеивает.

«Спите? Ну и я посплю!» — решил Сашка и остановил машину.

Женщина сразу проснулась.

— Мы приехали? — спросила она.

— Не совсем, — ответил Сашка. — Еще один перевал.

— А где же остальные?

— Наверное, заехали ночевать... после озера в кишлацишке.

— А вы что же?

— Я не хочу спать, — сказал Сашка, и ему правда не хотелось спать, когда она разговаривала с ним.

— Мы поедем одни через перевал?

— Попробуем.

Скоро с обеих сторон машины потянулись стены из снега.

Сашка убавил скорость и объяснил:

— Стенки могут обвалиться.

Перед рассветом началась пурга. Воздух наполнился серебряным сиянием, и чем светлее становилось, тем сильнее сверкало все вокруг от невидимого солнца.

Становилось все холоднее. Машина шла вверх по дымящемуся снежному коридору.

Впереди на дороге замаячило что-то темное.

— А ведь это машина! — удивился Сашка. — Откуда она взялась? Стоит.

На дороге стоял полузанесенный грузовик, припавший на одно колесо.

Когда Сашка подбежал к кабине, навстречу ему вылез сутулый темнолицый человек в завязанной шапке-ушанке. На его обросшем, прохваченном морозом лице васильками сияли голубые глаза.

— Что, браток, давно засел? — спросил Сашка деловито, подавая руку.

Шофер застрявшего грузовика улыбнулся, с усилием раздвинув застывшие губы.

— Пятые сутки, друже,— медленно, сипло ответил он, не выпуская Сашкиной руки из своей, точно из этой руки переходило к нему тепло.

— Дошел до ручки, я вижу? — сказал Сашка, доставая папиросы.

Шофер только кивнул и опять мучительно улыбнулся.

Сашка вставил ему в пальцы папиросу. Шофер прикурил, выпустил дым.

— Подшипники полетели к черту. Ничего не делаешь!

— Чего же ты здесь сидишь?

— У меня взрывчатка,— с трудом выговаривая слова, ответил голубоглазый.— Сам понимаешь! Куда я пойду от нее?

— А как там, на перевале?

— Проезжал тут один оттуда позавчера, сказывал, неважно.

— Ну, мы попробуем,— решил Сашка.— А сейчас пойдём-ка.

Сашка пошел к своей машине вместе с голубоглазым.

Тот увидел в кабине женщину и сказал со своей мучительно-медленной улыбкой:

— Доброе утро!

— Здравствуйте! — сказала Люда приветливо, чувствуя с ужасом, что она не может оторвать взгляда от этих нежных, как васильки, глаз на темном, омертвелом лице.

— У вас не обморожено лицо? — спросила она.

— Нет. Это высокогорный загар, я всю зиму ездил здесь,— объяснил шофер.

— Вот забирай,— сказал Сашка и подал голубоглазому пять банок.— Тут тушенка, мясо. И еще возьми и это.— Он достал из-за сиденья красный термос.— Здесь горячий чай, зеленый.

— Спасибо,— сказал голубоглазый и, так как руки у него были заняты банками, прижал термос локтем.

— Мы попробуем все-таки,— сказал Сашка.— Следом едут наши ребята, отдашь им термос. Ну, пока. Жди трактора.— Сашка помолчал, поколебался, до-

стал из кармана пачку «Беломора», сунул ее тоже голубоглазому в карман ватника.— Ну, бывай!

Сашка сел в кабину. Люда все смотрела в глаза шофера. Она поняла, почему они так светятся: ведь в них отражается столько снега!

Сашка уже включил мотор, когда голубоглазый что-то крикнул. Сашка открыл дверцу.

— Ты чего?

Шофер указал подбородком на термос.

— Возьми термос. На перевале черт-те что может случиться! Возьми.

Сашка оглянулся на Люду, спрашивая ее взглядом.

— Ему нельзя без горячего,— шепнула она тихо.

— Ты без горячего концы отдашь,— сказал Сашка.— А мы к обеду дома будем. Обойдемся.

Машина, завывая, лезла вверх по серпантинам. Стало теплее.

Небо очистилось; слева шел обрыв, справа, то вырастая, то опадая, плыла стена снега.

Показалось солнце.

— Весна!— сказал Сашка и указал на метровые сосульки, которые свисали со снежного карниза.

К полудню машина вползла на перевал. Сашка, не останавливаясь, начал спускаться. Было солнечно, тихо и мирно, но хуже пурги пугало это праздничное сверкание снега... Сашка беспокоился: почему нет ни одной встречной машины?

Три-четыре поворота по дороге вниз под нависшими балконами снега, и Сашка увидел, почему не было ни одной встречной машины. Дорогу преграждала баррикада из снега. Искристые пласты, кубы, осыпи из снега сползли на дорогу справа. Завал был длинный: обвалилась снежная стена на протяжении метров двадцати.

— Начинаются дни золотые,— сказал Сашка.— Завал.

— Ну и что? — спросила Люда простодушно. Она не понимала того, что знал Сашка: как трудно выйти машине задним ходом обратно. Она не понимала,



что вся стена справа, подогретая солнцем, подтаявшая снизу, может завалиться на машину в любую минуту.

— Поедем назад,— сказал Сашка, стараясь не спешить.— Будем пятиться до поворота.

Машина пошла вверх задним ходом; она ползла медленно, медленнее, чем шел бы человек... Сашка, высунувшись из кабинки, следил за дорогой сзади. И вот, не веря своим глазам, он увидел... балкон из снега покачнулся и, ломая сверканье сосулек, сполз на дорогу, и, пока Сашка остервенело тащил на себя ручку тормоза, следом за дальним балконом рухнул второй, ближе к машине; снежный навес, обрываясь, шел на машину.

— Не везет!— сказал Сашка.

И тут же машина дрогнула от напора лавины, зазвенел лед в дверцу, и снег прильнул снаружи к боковому стеклу, покрыл радиатор. Затем стало тихо; только в разгоряченном моторе шипел тающий снег.

Сашка выругался и попробовал открыть дверцу — снег прочно прижимал ее снаружи.

Сашка повернулся к Люде.

— Придется вылезать с вашей стороны.

Люда сидела, втянув голову в плечи, точно ожидала, что сейчас обвал обрушится ей на голову.

— Ну, давайте я вылезу,— сказал Сашка.

— Я выйду сама,— прошептала она.

— Только осторожно,— предупредил Сашка.

Люда приоткрыла дверцу и увидела под ногами обрыв; машина, казалось, висела в воздухе. В густом, почти фиолетовом небе пылало косматое солнце. Резала глаза яростная белизна, внезапно закружилась голова. Люда прислонилась к борту, прикрыла глаза. Рядом оказался Сашка, взял ее за локоть.

— Сядьте в кабину, не смотрите вниз, посидите.

Она села в кабину.

Сашка полез за лопатой. Снег попал даже в кузов. Хорошо, что догрузил машину камнями: снегом могло сдвинуть ее в обрыв.

Снег лежал впереди, сзади и слева — вровень с кузовом. Сашка вонзил лопату в снег.

— У, сволочь,— бормотал он, раскидывая громадные куски,— видел бы я тебя в гробу!

Сашка мял снег ногами, резал, кромсал лопатой, выволакивал сосульки и швырял их в обрыв, точно поленья. Наконец он вырыл целую комнату против своей стороны и распахнул дверцу.

— Ну, вот и порядок!— крикнул он весело, чтобы приободрить женщину.

Но она не отозвалась. Она сидела неподвижно, отклонив голову в угол.

Амир-бек сполз с ее колен и, схватив за рукоятку скоростей, дергал ее.

Сашка взял Амир-бека на руки и спросил Люду:

— Что, устали?

Она не ответила.

Сашка тронул ее за руку, шутливо сказал:

— Хватит спать!

Люда молчала.

Сашке стало жутко, по спине дернуло холодком.

— Да что с вами?

Он зачерпнул ладонью снега, растопил его в руках и осторожно брызнул ей в лицо. Она не шевельнулась... Амир-бек вдруг заревел в голос:

— Ма-а-а... ма...!

Сашка ни разу в жизни не видел, чтобы люди падали в обморок. Как умирают люди, случалось видеть, а вот в обморок... А может, и не обморок? Он нагнулся к ее лицу. Одной рукой покачивая ревущего Амир-бека, другой расстегнул пальто, дрожащими пальцами никак не мог ухватить скользящие пуговички кофточки...

«Это горная болезнь... Высота здесь — четыре шестьсот, не хватает воздуха»,— крутились бестолковые мысли.

Приложил голову к ее груди — ничего не было слышно. Сердце не стучало! Сашка стащил с головы шапку, теснее прижал ухо. Мальчик кричал, надрываясь, а Сашка все никак не мог расслышать ударов сердца... Нет, слышно... еле-еле отдаются в теплой груди чуть замедленные толчки. И бешеная радость окатила Сашку жаркой волной. Лязгая зубами от волнения, он бережно уложил Люду на сиденье, подсу-

нул ей под голову свою шапку, а сам сел на подножку и жесткой ладонью гладил голову Амир-бека, чувствуя, как от неведомой жалости щиплет под веками и расплывается перед глазами мир...

— Не плачь, она скоро проснется,— сказал он Амир-беку.— Мамка сейчас встанет. Она очень устала. Здесь мало кислорода.

И Сашка прихватил ладонью снега, слепил из него какое-то подобие коня.

— Держи, пацан! Держи, друже... Это лошадь. Этот перевал называется Белая лошадь.

Амир-бек взял коня и потащил его в рот. Он откусил у коня снежную голову.

— Ишь ты,— засмеялся Сашка,— так ему и надо! Но ты, видать, хочешь пить. Пить тут есть что: и снега полно и вода в радиаторе. Только маловато жратвы. Совсем почти нет. Но ты не беспокойся: за перевалом стоит машина этого, голубоглазого. Как только мама проснется, я пойду к нему.

Мама наконец проснулась. Она села и попыталась улыбнуться, поправляя волосы перед круглым зеркальцем.

— Мне стало лучше. Только болит голова,— объяснила она виновато и протянула руки к сыну.— Дайте мне его.

— Пожалуй, пора и позавтракать,— бодро заговорил Сашка.— Пусть пацан поест ананасового пюре. А мы закусим хлебом с сахаром и снегом.

Сашка достал из тощего мешка горбушку черствого калача, запыленные кусочки сахара и разложил все на газете.

— Кушайте! Кушайте и отдыхайте! А я отправлюсь к этому типу с поломанного грузовика и возьму у него обратно консервы и термос. Термос с зеленым чаем. Я ему скажу, чтобы смотался вниз и сказал там, что нас присыпало. Приедет бульдозер — и порядок. В общем, навещу этого типа с визитом вежливости.

— Далеко он отсюда?— спросила Люда.

— Километра два...— соврал Сашка.

До «типа» нужно было идти семь километров через перевал.

## ТЕРМОС С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ

— Вы разбираетесь в машине?— спросил Сашка Люду, прежде чем отправиться с «визитом вежливости».

— Нет.

— Жаль. Ну ладно.— Сашка снял с себя полушубок.— Вот наденьте и не спите ни в коем случае. Я приду часа через два-три...

Сашка не зря спросил Люду, разбирается ли она в машине: он оставил в радиаторе воду. Это было рискованно. Если ударит мороз, вода замерзнет и может разорвать радиатор. А сама Люда прогреть мотор не сможет. Поэтому придется поторапливаться, чтобы вернуться раньше, чем замерзнет вода.

Оставшись одна, Люда почувствовала себя спокойно и твердо. Теперь и в обморок упасть нельзя. Нельзя растрачивать энергию на страх. Надо заняться делом!

Она приоткрыла дверцу, достала снега и талой водой умыла Амир-бека. Его щеки засияли, как помидоры. Впрочем, больше дверь открывать нельзя. Солнце потускнело, подморозило, тепло уходит из кабины. Все надо экономить.

С вершин сорвался ветер и снежной пылью покрыл машину.

Сашка добрался до голубоглазого типа через два часа. Тот сидел в кабине и читал газетный клочок, шевеля губами. Он ничуть не удивился при виде Сашки.

— И ты засел,— только и сказал.

— Завалило. Спереди и сзади. А ты читаешь? Молодежь! Термос целый?

— Целый. Я оставил на ночь. Мороз будет.

— Давай сюда. А консервы?

— Одну банку мяса я съел.

— Ну, твое счастье. Остальное забираю обратно.

— А что, у тебя совсем ничего не осталось?— Голубоглазый со вздохом достал банки из-под сиденья.

— Ничего нет. Слушай, браток, придется тебе спуститься вниз, скажешь там, что меня присыпало. Видишь, крутит опять. А там женщина с ребенком.

Голубоглазый угрюмо молчал.

— У меня взрывчатка,— сказал он.— Я четверо суток от груза не уходил.

— Дойдешь к дорожному мастеру, пусть высылают сразу бульдозер,— точно не слыша его возражения, продолжал Сашка.— Ты посмотри, что там начинается.

Они посмотрели вверх.

Наверху, над перевалом, плясал снежный смерч.

— И на кой черт ты один сюда поперся?— выругался голубоглазый, и Сашка понял, что тот пойдет вниз.

— Ну ладно.— Сашка отвинтил крышку термоса.— Давай шарахнем по глотку и пойдём.

Они выпили по глотку, закурили и пошли в разные стороны.

Семь километров... Семь километров по свежему снегу, когда ветер сразу же замечает следы и когда нужно идти в гору, только вверх.

Через шесть километров будет перевал, оттуда в солнечное утро виден весь Памир — и на юг и на север. Вид — как на открытке. Белые пики, голубые тени во впадинах, облака — как овчинки в эмалированном небе.

А сейчас куда-то к черту исчезли в снежной кутерьме и горы, и небо, и юг, и север. Сашка не смотрит по сторонам, он уставился вниз, для него теперь в мире существуют только ноги, которые он еле-еле вытаскивает из снега.

Еще есть термос, термос с зеленым чаем. И кто это придумал термос? Сашка с благодарностью думает о неизвестном человеке, который изобрел термос. Потом он начинает думать о мальчике. Наверно, он снова спит на руках у матери. А в кабине все холоднее. Старая кабина, продувает ее, как решето. И некому прогреть мотор. Вода, пожалуй, уже замерзла. Вот баба, ничего не понимает, даже мотор не может прогреть! Если замерзла вода,— хана! А мороз дерет все крепче. Надо быстрее! Сашка пробует прибавить шаг, ноги вязнут уже выше колен. Снег сечет лицо, дышать

нечем, сердце бьется о ребра чугунным шаром, а воздуха совсем уже нет; еще шаг — Сашка садится в снег и начинает длинно ругаться. Ругается он и в бога, и в снег, и в Памир... Костерит он и «эту бабу», которая на черта сдалась ему! Но вот сердце успокаивается, разгоряченное лицо остывает от мокрого снега. Сашка поднимается и лезет в сугроб. Теперь вся дорога — одни сугробы.

«И зачем она едет на Памир в такую погоду, да еще с мальчишкой?» — думает Сашка. Шоферы редко спрашивают попутных пассажиров о том, куда их несет жизнь, но это не значит, что шоферу это не интересно. Ведь хочется узнать иногда, куда везешь человека — к горю, радости ли! Сашка ни о чем не спрашивал женщину, пока они ехали вместе. А зря! Вот теперь, когда они с сыном одни в кабине ждут его и паром от их дыхания замораживает стекла, а он, Сашка, еле плетется к ним через эту крутящую пургу, хочется знать, кто тебя ждет. Почему она все молчит и молчит? Вот Сашка не может молчать долго, он все ей рассказал о себе, а ее расспросить не решился. А она все молчит и думает. Правда, иногда человеку лучше всего молчать.

А дороги уже давно не видно. Вместо нее волны; они дымятся снегом и двигаются... Сашка идет по волнам, вернее, лезет, и когда снег достает ему до пояса, он помогает себе руками... Ветер рвется в рукава ватника, за шиворот, толкает в грудь, валит на снег. Опять чугунным шаром ударяет сердце в ребра, шар этот становится все тяжелее и больше; он бьет то в грудь, то в спину и пошатывает Сашку. Сашка не выдерживает и садится в снежную волну. Он опять ругает этот перевал, который все еще выше его, Сашки, этот хребет, Памир и всю азиатскую горную систему вообще. Потом он с особенным удовольствием разносит Чалина и начинает ругать тех, кто берет в такую дорогу маленьких детей.

Уже темнота, уже ночь, а этот проклятый перевал все еще впереди. Сашка преодолевает снег, думая только об одном — не упасть, потому что тогда замерзнет термос. Когда Сашка взбирается наконец на перевал, пурга стихает. Небо сияет звездами, точно

выметенное ветром... Мороз схватывает снег. Вниз с перевала Сашка катится чуть не кубарем. Вот и завал мерцает снежной гробницей. А где же машина? Вместо машины снежный холм. До полуночи разрывает Сашка снег и наконец приоткрывает дверцу. Слава аллаху: в кабине потеплее, чем снаружи. Сашка валится на сиденье.

— Живы?— спрашивает он весело и отворачивает пробку термоса.

Женщина сидит согнувшись, склонив голову к сыну, и не двигается.

— Живы, что ль?— спрашивает Сашка бодро и толкает ее осторожно в плечо; ему не хочется несчастья.— Ну что же вы?— спрашивает он недовольно.

— Живы...— тихо отвечает Люда и поднимает голову.

— Ну и ладно,— говорит Сашка.— Выпейте-ка вот.

Он вытаскивает пробку и наливает в блестящий стаканчик жидкость. Кабину наполняет запах настоянного зеленого чая, пар от стаканчика щекочет ноздри. Женщина выпивает чай, и Сашке становится легче, точно он выпил сам. Он наливает еще один стаканчик, и она поит Амир-бека. В термосе остается еще со стакан. Сашка затыкает термос.

— Ну вот, теперь мы живем!— говорит он и начинает открывать консервную банку.

Ночью самое главное — не спать. Нельзя спать в такой мороз. Лучше всего разговаривать. Сашка рассказывает Люде самые интересные случаи из своей жизни. Однажды он на спор съел три больших луковицы без хлеба. В другой раз залез на крышу идущего трамвая. А еще был случай: учительница выгнала его из класса, а он взял и встал на руки и на руках вышел за дверь. Этому случаю Люда удивилась и даже засмеялась — первый раз за всю дорогу. Сашка очень доволен: он всю жизнь старался что-нибудь сделать такое, чтобы люди изумились и перестали быть такими нудными.

Наступает утро, но спать хочется еще сильнее.

Весь день проходит в неистовой борьбе со сном. Это еще хуже пурги. Чтобы не заснуть, Сашка время

от времени вспоминает Чалина, и тогда злость вспыхивает в груди у Сашки и разгоняет сон.

Да, Чалин виноват во всем, он орал всегда на Сашку, и из-за этого Сашка поехал один, попал под завал... Конечно, виноват Чалин. Если бы он отнесся по-человечески... Хорошо, но женщину-то с ребенком он сам взял, назло Чалину, и завез их в снег — им-то дела нет до Чалина, им не важно, любит Сашка Чалина или нет. Они ему поверили, а он их завез в снег и свалил все на Чалина. И от этой страшной мысли Сашка мучается хуже, чем от зубной боли.

Женщина с сыном молчат. Сашка будит ее и надевает ей на ноги мешок. Больше он не может ничего сделать. Чаю нет, нет ни хлеба, ни сахару, все теплое он надел на них, а сам сидит в одном ватнике. А молчать невыносимо. Хорошо молчать тому, у кого совесть чиста.

— Простите, а почему вы в такое время едете?— совсем некстати чужим голосом хрипит Сашка.

Люда молчит, уткнувшись в воротник полушубка. Пар от ее дыхания ложится на лицо Амир-беку. Вся кабина покрыта инеем от их дыхания. Стекло обросло серебристым мхом льда, и они сидят, точно в пещере.

— Почему на Памир едете?— повторяет Сашка.

Люда, не поднимая головы, бормочет:

— Наслышалась в детстве о красных тюльпанах. Поехала, чтобы увидеть красные долины. Ведь они цветут как раз весной.

— А как же? Это обязательно,— вдохновляется Сашка.— Вот нам только бы с перевала съехать вниз. Там будет такая долина — маки растут по пояс. Красные-красные маки, и тепло, легко. Ручьи там пробегают. И в этих красных маках бегают архары с круглыми рогами.— Сашка начинает привирать:— И среди маков сурки стоят на буграх у своих норок и эти маки собирают на корм. И свистят сурки, друг друга предупреждают об опасности. А над ними орел летает, как планер.

Люда представляет себе красные маки у голубого ручья, теплое солнышко и засыпает... И Сашка остается один со своей мучительной виной. Он придвигается



к женщине и ребенку и обнимает их руками. Теперь мальчик спит между ними и никогда не замерзнет. А у него, у Сашки, деревенеют пальцы, дубеют локти, колени. Сашка закрывает глаза. Застывая, он беспокоится о том, чтобы пацан лежал между ними...

Они уже не слышат, как бульдозер сбрасывает снег в обрыв, прокладывает туннель к машине.

Сашка чувствует, как кто-то тянет его, отрывает от Люды, от пацана, которого нельзя открывать: ведь такой мороз! Сашку вытаскивают наружу... Он чувствует у своих губ стакан и запах спирта. Сашка открывает глаза, и хочет взять стакан рукой, и не может: не сгибаются пальцы. Он выпивает и видит перед собой красное лицо Чалина. Чалин ругает его, и Сашка согласно кивает головой.


У Чалина на руках Амир-бек, он обиженно плачет, оттопырив верхнюю губу, а Чалин неумело трясет его, чтобы он не плакал. Конечно, надо отдать ребенка матери. А где же она? Сашка поворачивается, хватаясь руками за борт машины...

Она сидит на дороге, на расстеленной шубе. Над ней склонились люди в полушубках, и кто-то растирает ей колени.



## Миниатюры

### МАТЬ РАССКАЗАЛА



**К**огда-то мать рассказала мне, что родился я в глухую декабрьскую ночь в черной бане, врытой в берег речки Полднёвки. Бушевал буран.

Я живо представил себе.

Люди несут в избу теплый живой комочек, укутанный в тряпки и дырявый мужицкий полушубок. Буран с ревом налетает на них, силясь задуть только что затеплившуюся жизнь. Люди прикрывают ее собой.

Прикрыл ли я собой хоть одну человеческую жизнь?

**Двадцатый год.**

Словно окаменевший, трубач стоит посреди двора и, запрокинувшись к звездам, трубит.

Сколько раз мы слышали этот сигнал! Дымились морозы, бураны наваливались на холодный тифозный город, а мы по тревоге седлали коней.

В нескольких километрах от города пожар на заводе. На помощь пожарникам вызвали нас, курсантов. Тридцать кавалеристов скачут в белой морозной ночи. Перед глазами подпрыгивает светлая круглая луна...

Спешившись, мы замялись, не зная, с чего начать. Но вот мы уже работаем топорами и, обливая шинели, плечем из ведер в ненасытное шумное пламя. Один из пожарников вскрикнул и бросил брандспойт. Струя огня и пара обожгла ему лицо. Брандспойт подхватил курсант. Чтобы не загорелась на нем шинель, его обливают из другой пожарной кишки. Струя воды, как палка, колотит его по бокам и спине.

Пожар свирепствовал больше часа. Наконец, обжигая и шипя, огонь начал отступать.

Снова позвякивает стремя о стремя. Застоявшиеся кони набирают рысь. Луна поднялась уже высоко, и вокруг нее появилось мгlistое белое кольцо — признак большого мороза. Шинели заледенели и стоят торчком.

Тридцать кавалеристов скачут в белой морозной ночи... Слышите? Это цокот копыт,

**ДОЖДЕВАЯ КАПЛЯ**

Давно, кажется, еще перед войной, я зашел на выставку нескольких наших художников на Кузнецком. Стены были увешаны огромными полотнами. В глазах рябило от красного цвета, парадной торжественности и улыбок.

Ни одно из этих полотен не задержало надолго моего внимания. Я с грустью размышлял: если худож-

ник, тщательно выписывая на груди ордена, не попытается понять, какое сердце бьется под ними, он вряд ли способен создать что-либо значительное.

Я уже собрался было уходить, но вдруг почти у самой двери заметил написанную маслом крохотную, ладони в две величины картину в широкой ореховой раме. На ней не было ничего, кроме зеленых листьев смородины. В их темной, сумрачной гущине блестела одна-единственная дождевая капля. Я простоял у этой незаметной картины дольше, чем слонялся до этого по выставке. Мне казалось, что я стою в саду. Только что прошла гроза. Сыро. Свежо... И если я сейчас вспомнил о выставке этих художников, то только потому, что и сейчас вижу эту тяжелую, готовую скатиться с листка дождевую каплю.

Пустьчок? Безделушка? А сколько ж она прибавила мне душевного здоровья, радости!

Возвращаясь домой, я удивился: как это я не замечал, что и городское небо полно звезд?

## НО Я ЛЮБЛЮ...

Знаю!

Вы веселый человек и любите улыбку.

Я тоже ее люблю,

если она не от сытого самодовольства,

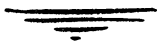
Уныние?

Оно недостойно человека.

Но я люблю грусть,

эту задумчивую сестру

размышлений и замыслов.



**С Т И Х И**



Линогравюра Ю. Васильева  
«Море мечты».



Наша юность  
                                тем хороша,  
что глядит  
                                неподкупно и смело,  
не ища  
                                для себя барыша,  
за великое  
                                борется депо.

Наша юность  
                                тем хороша,  
что страна  
                                ее в славу одела,  
руды плавя,  
                                покос вороша,  
разным знаньем  
                                она овладепа.

Все препятствия  
                                сокруша,  
перед трудностями не робела,  
как густая стена  
                                камыша,  
над рекой  
                                ее песнь прошумела.







В лесу появилась новость,  
в лесу объявился я...  
Стряхнула свою сосновость,  
еловость свою

хвоя.

Береза качнула холкой.  
Боярышник зашумел.  
Испуганный дрозд защелкал.  
И на нос мне землемер  
шагнул — зеленый и тощий —  
с трепещущего листа:  
он мерял дотошно точно,  
прихрамывая слегка.  
...Я новость в лесу,  
мне грустно.  
Не тутошний я, не свой  
для трав,

для белого груздя

под высохшею листвою.  
Вниманьем обескуражен,  
огпядываюсь кругом...  
Зеленые лапы погпажу,  
букаху сшибу щелчком,  
с плеча березы губами  
пахучий листок сорву,  
набью кузовок грибами,  
в густую лягу траву.  
Под синей небесной ширью  
зеленый сомкнется свод.  
И лес привычную жизнью,  
признав меня, заживет...





## Лодка

В траве глубоко и сыро,  
если шагнуть с крыльца.  
Держу я чужого сына,  
похожего на отца.

Держу высоко, неловко  
и говорю: «Смотри!  
Видишь, какая лодка,  
синяя изнутри!

Возьмем леденцы, орехи,  
что у меня в столе.  
Посмотрим, какие реки  
водятся на земле.

Есть и река смешная.  
Она течет далеко.  
Наверно, она смешала  
воду и молоко.

Сахарных рыб немало  
в гуще ее рябой...»  
Но бровью поводит мама,  
глядя на нас с тобой.

Нам не устроить побега.  
Речек не увидеть.  
Сына после обеда  
строго уложат спать.

Окна, закройте плотно,  
лампочка, не гори!  
А сыну приснится лодка,  
снятая изнутри.



Я думала, что ты мой враг,  
что ты беда моя тяжелая,  
а вышло так: ты просто враль,  
и вся игра твоя дешевая.

На площади Манежной  
бросал монету в снег.  
Загадывал монетой,  
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал  
там, в Александровском саду,  
и руки грел, а все обманывал,  
все думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,  
похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься,  
В глазах ни сине, ни черно.  
О, проживешь, не опечалишься,  
а мне и вовсе ничего.

Но как же все напрасно,  
но как же все нелепо!  
Тебе идти направо.  
Мне идти налево.

## Д у э л ь

И снова, как огни мартенов,  
Огни грозы над головой...  
Так кто же победил: Мартынов  
Иль Лермонтов в дуэли той!  
Дантес иль Пушкин! Кто там  
первый!  
Кто выиграл и встал с земли!

Кого дорогой этой белой  
На черных санках повезли?  
Но как же так! По всем приметам  
Другой там выиграл, другой,  
Не тот, кто на снегу примятом  
Лежал курчавой головой!  
Что делать, если в схватке дикой  
Всегда дурак был на виду,  
Меж тем как человек великий,  
Как мальчик, попадал в беду...  
Чем я утешу пораженных  
Ничтожным превосходством зла,  
Осмеянных и отчужденных  
Поэтов, погибавших зря!  
Я так скажу: на самом деле,  
Давным-давно, который год,  
Забыли мы и проглядели,  
Что все идет наоборот:  
Мартынов пал под той горою,  
Он был наказан тяжело,  
А воронье ночной порою  
Его терзало и несло.  
А Лермонтов зато сначала  
Все начинал и гнал коня,  
И женщина ему кричала:  
«Люби меня! Люби меня!»  
Дантес лежал среди сугроба,  
Подняться не умел с земли,  
А мимо медленно, сурово,  
Не оглянувшись, люди шли.  
Он умер или жив остался —  
Никто того не различал,  
А Пушкин пил вино, смеялся,  
Друзей встречал, озорничал.  
Стихи писал, не знал печали,  
Дела его прекрасно шли,  
И поводила все плечами  
И улыбалась Натали.

Для их спасения навечно  
Порядок этот утвержден.  
И торжествующий невежда  
Приговорен и осужден.

---

**Два стихотворения  
из цикла  
«Шиповник цветет»**



Как сияло там и пело  
Встречи нашей чудо.  
Я вернуться не хотела  
Никуда оттуда.  
Горькой было мне услодой  
Счастье вместо долга.  
Говорила, с кем не надо,  
Говорила долго.  
Пусть влюбленных страсти душат,  
Требую ответа.  
Мы же, милый, только души  
У предела света.



*(Эпилог)*

Ты стихи мои требуешь прямо.  
Проживешь как-нибудь и без них,  
Ведь в крови не осталось ни грамма,  
Не впитавшего горечи их.  
Мы сжигаем несбыточной жизни  
Золотые и пышные дни,

И о встрече в небесной отчизне  
Нам ночные не шепчут огни.  
Но от наших великолепий  
Холодочка струится волна,  
Словно мы на таинственном склепе  
Чьи-то, вздрогнув, прочли имена.

Не придумать разлуки бездонней,  
Лучше б сразу тогда — наповал.  
И ты знаешь, что нас разлученней  
В этом мире никто не бывал.

1962 г.

## Два четверостишья

*(Из тетради 10-х годов)*



И скупо оно, и богато,  
То сердце — богатство тая!  
Чего ты молчишь виновато?  
Глаза б не глядели мои.



И слава лебедем плыла  
Сквозь золотистый дым.  
А ты, любовь, всегда была  
Отчаяньем моим.



## Я лежу, болею

Я лежу, болею,  
Сам себя жалею.

Повздыхаю на спине,  
Снова на бок лягу...  
Не идут друзья ко мне  
Навестить беднягу.

Я лежу, болею,  
Сам себя жалею.

Где товарищи мои!  
Как проводят лето!  
Без меня ведут бои  
На футболе, где-то...

Я лежу, болею,  
Сам себя жалею.

Жду, когда в конце концов  
Распахнутся двери  
И ворвутся шесть мальцов,  
Пять, по крайней мере!

Но в квартире тишина...  
Тру глаза спросонок,  
Вдруг я вижу (вот те на!),  
Входят пять девчонок.

Пять девчонок сели в ряд  
У моей кровати:



— Ну, довольно,— говорят,—  
Поболел и хватит!

Песни знаешь или нет!  
Будешь запевалой!  
Я киваю им в ответ:  
— Что ж, споем, пожалуй.

Танька (тонкий голосок,  
Хвостик на затылке)  
Говорит: — А это сок  
Для тебя, в бутылке.

Чудеса! Мальчишек жду,  
А пришли девчата.  
Я же с ними не в ладу,  
Воевал когда-то.

Я лежу, болею,  
Сам себя жалею,  
Как с девчонками спою,  
Сразу веселею.



## О г о н ь

Тайга шумела, окружая нас.  
Мы долго шли,  
Продрогли и устали.  
На старом кедре ветер шишки тряс,  
И, съезжившись  
В дырявой колкой шали,  
Ворчала ель спросонья в стороне.  
{Уже владели сумерки тайгою.}  
Мы об одном мечтали —  
Об огне!  
И вот остановились мы с тобою,  
Когда валежник поднял высоко  
Кривые пальцы на звериной тропке.  
Нашарил я озябшею рукой  
Сухую спичку в сломанной коробке.  
И это все, что было у меня..  
Но ты ждала, ждала с упрямой верой  
От этой спички жаркого огня —  
И смело он раздвинул сумрак серый.  
Повеселев от доброго тепла,  
Ты о тайге не думала нимало.  
И за огонь  
Меня ты обняла  
И у огня впервые целовала...

# ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

*Хвощевской средней школе*

У кого училась звонам,  
У кого училась петь  
В нашем крае просвещенном  
Разговорчивая медь!

Мне казалось:  
Утром рано  
Сыпал звон,  
Тревожа сон,  
Возле школы деревянной  
Краснолистый рослый клен.

Нет, я вовсе не был соней!  
Он, увидевши меня,  
Красноватые ладони  
Подавал из-за плетня.

Позабить ли эти встречи!  
Где ты, первый мой звонок,  
Что когда-то с теплой печи  
На урок меня завлек!

И пускай я стал серьезным!  
Бьется, словно огонек,  
Для меня в дали колхозной  
Школьный  
Маленький звонок.



## Дивногорск

Неотглаженный и горластый,  
Работающий и гулевой,  
Между сопок и скал клыкастых  
Дерзко втиснулся город мой.  
Просмоленный,  
   таежный,  
   бревенчатый,  
Молодежный,  
   многоступенчатый.  
Свой! Своими руками рубленный,  
Вдоль и поперек происхоженный...  
Дивный, грязный,  
   хваленый и руганный  
И на все города непохожий.  
Здесь снега на улицах белые,  
А весна от жарков оранжева...  
Здесь медведицы неробелье  
По дворам на цепи расхаживают.  
Здесь кострами ночи распуганы,  
Здесь дороги до звона укатаны,  
И монашьи тропы распутаны,  
И грядущего трассы угаданы.

## Михаилу Светлову

Девушка, что пела за заставой...  
Виссарион САЯНОВ.

...Девочка за Невскою заставой,  
та, что пела, счастья ждала,  
знаешь, ты судить меня не вправе  
за мои нескладные дела.  
Потому что я не разлюбила  
чистого горенья твоего,  
в бедствии ему не изменила  
и не отрекалась от него.  
Юности великая гордыня!  
Все — во имя дерзостной Мечты,  
это ты вела меня в пустыне,  
в бессердечных зонах мерзлоты...  
...И твердили снова мы и снова:  
— Сердце, сердце, не робей, стерпи!  
И военная свирель Светлова  
пела нам из голубой степи...  
1940.



P. S. ...Потом была война...

И мы, как надо,  
как Родина велела, шли в бой,  
И с нами шла «Каховка»  
и «Гренада»,  
прекрасные ровесники твои.  
О, как вело,  
как чисто пело Слово!  
Твердили мы:  
— Не сдай! Не уступи!  
...Звени, военная свирель Светлова,  
из голубой, из отческой степи...  
1964.



## Черепки

*В. Бокову*

Нет ничего прочней,  
Чем битая посуда.  
Что происходит с ней!  
С ней происходит чудо.

Хрупка, и коротка,  
И стоит мало  
Жизнь чашки, и горшка,  
И звонкого бокала.

Зато у черепков,  
Осколков и обломков  
В запасе даль веков,  
Признание потомков.

## Сердцевина

Как-то в летний полдень на корчевье  
Повстречал я племя пней лесных.  
Автобиографии деревьев  
Кольцами написаны на них.

Кольца, что росли из лета в лето,  
Сосчитал я все до одного:  
Это — зрелость дерева, вот это —  
Юность тонкествольная его.

Ну, а детство где же!  
В середину,  
В самое заветное кольцо,  
Спряталось и стало сердцевинной  
Тонкое, смешное деревцо.

Ты — отец. Так пусть же детство сына  
Не пройдет перед тобой, как сон,  
Это детство станет сердцевинной  
Человека будущих времен.

## М и р

Нет, слово «мир» останется едва ли,  
Когда войны не будут люди знать.  
Ведь то, что раньше миром называли,  
Все станут просто жизнью называть.

И только дети, знатски былого,  
Играющие весело в войну,  
Набегавшись, припомнят это слово,  
С которым умирали в старину.

## С к а з к а

*К. И. Чуковскому*

Недаром дети любят сказку.  
Ведь сказка тем и хороша,  
Что в ней счастливую развязку  
Уже предчувствует душа.

И на любые испытания  
Согласны храбрые сердца  
В нетерпеливом ожиданье  
Благополучного конца.

## **Жить — жить — любить!**

— Жить-жить-любить! Жить-жить-любить! —  
Звучит из черного куста.  
— Жить-жить-любить! Жить-жить-любить! —  
Как эта песенка чиста!

А где ж певец! Жить-жить-любить!  
Подходим ближе. Вот те раз:  
А он свое «жить-жить-любить»  
Свистит и не боится нас.

Чего бояться! Жить — любить!  
Любовь — и больше ничего!  
Но погляди: — «Жить-жить-любить!» —  
Кружит подружка близ него.

Пускай кружит! Жить-жить-любить!  
Он так искусством увлечен —  
Жить-жить-любить! Жить-жить-любить! —  
Что и ее не видит он!







Откуда начинается Россия!

С Курил!

С Камчатки!

Или с Командор!

О чем грустят глаза ее степные

Над камышами всех ее озер!

Россия начинается с пристрастья

к труду,

к терпению,

к правде,

к доброте.

Вот в чем ее звезда.

Она прекрасна!

Она горит и светит в темноте.

Отсюда

все дела ее большие,

Ее неповторимая судьба.

И если ты причастен к ней,—

Россия

Не с гор берет начало, а с тебя!



Почему не поют орлы!

И веселыми не бывают!

Или им очень видно с горы

И они больше нашего знают!

Иль у них недоразвит слух!  
Иль природа их скована сплином!  
Иль преследует совесть за пух,  
Окровавленный клювом орлиным!

Что ты сделаешь — не поют!  
Ни по праздникам, ни по будням.  
Только клёкот стальной издают,  
Как положено душегубам!

Говорят, что Борис Годунов  
Тоже петь не любил. Вероятно,  
Потому, что невинную кровь  
Не сведешь, как чернильные пятна!



В лесу и золотисто и оранжево.  
Преобладают золото и медь.  
И листья еще загодя и заживо  
Хотят себя торжественно отпеть.

Мне в эту пору думается, пишется,  
Мне в это время Музой все дано.  
Меня листья пылающее пиршество  
Пьянит, как старой выдержки вино.

Не говори, что это — подражание,  
Что это выплеск пушкинской волны.  
Наверно, это общность содержания  
Поэтов, что в Россию влюблены!



## Р ю к з а к

Ты не бойся рюкзака, дружище!  
С ним смелей нехоженое ищешь.  
С ним идти по скользким тропам легче:  
Он тебе в пути расправит плечи  
И на них ремни свои уронит,  
Словно друг суровые ладони.  
На привале даст он кров и пищу...  
Ты не бойся рюкзака, дружище!  
Груз в походе — честь, а не обуза.  
По земле  
нельзя идти без груза.



## Потомку

Где ты, друг! За какую горюю!  
Что там — будни у вас! Торжество!  
Чем ты занят той славной порою!  
Что читаешь и любишь кого!

За далекой неведомой зоной,  
В мягком зареве ламп голубых  
Что ты думаешь ночью бессонной,  
Например, о потомках своих!

Что ты видишь, по жизни шагая,  
В ярком свете тогдашнего дня!  
Я тебя совершенно не знаю,  
Ты-то знаешь, ты помнишь меня!

Что тебе из минувшего ближе!  
Что ты знаешь про наше житье!  
Я тебя никогда не увижу...

Как мне дорого мненье твое!

## Закат

Какой закат горит — вполнеба! —  
Как нам оказанная честь.  
Его хватить могло вполне бы  
На пять закатов и на шесть.

Меня влечет смешенье красок,—  
Край неба яростно багров,

Как будто там идет подпасок  
Со стадом огненных коров.

А в высоте, над головою,  
Мне зелень чистая видна:  
Там переходит голубое  
В лимонно-желтые тона.

Горит, расплавленный, как в тигле,  
Закат. Густы его костры.  
...Мы в жизни многое постигли,  
Мы вторглись в дальние миры.

Но что бы нас ни занимало,  
Какие б ни были мечты,  
А нам все мало, мало, мало  
Земной нехитрой красоты.

Нас не покинет чувство это,  
Что б с нами в жизни ни стряслось,  
Пока живет моя планета,  
Пока скрипит земная ось.



Гудок трикратно ухает вдаль.  
Отрывистый, чудно касаясь слуха.  
Чем нас влекут речные корабли,  
В сырой ночи тревожа сердце глухо!

Что нам река, ползущая в полях,  
Считающая сонно повороты,  
Когда на океанских кораблях  
Мы познавали грозные широты!

Но почему же в долгой тишине  
С глядящей в окна позднею звездою  
Так сладко мне и так тревожно мне  
При этом гупком звуке над водою!

Чем нас влекут речные корабли!  
...Вот снова мы их гопос услышали.  
Вот как бы посреди самой земли  
Они плывут в назначенные дали.

Плывут, степенно слушаясь руля,  
А вдоль бортов — ночной воды старанье,  
А в стороне — пустынные поля,  
Деревьев молчаливые собранья.

**Что нас в такой обычности влечет!  
Быть может, время, что проходит мимо!  
Иль, как в любви, здесь свой, особый счет,  
И это вообще необъяснимо!**



**Опять, опять сидишь со мною рядом,  
Опять рука в руке.  
Но смотришь ты отсутствующим взглядом,  
Вся где-то вдалеке.  
«Где ты сейчас!» А ты не отвечаешь  
На это ничего.  
«Кто там с тобой!» А ты не замечаешь  
Вопроса моего.**

**Вложу я в крик всю боль и всю заботу.  
Но мой напрасен зов.  
Так, заблудившись, тщетно самолету  
Кричат со дна лесов.**



## Ожидание

Я распахнула настежь ставни.  
К стеклу прохладному прильнув  
и к солнцу руки протянув,  
стою, подобна Ярославне.

Простые женские печали:  
ждать, волноваться, не забыть...  
Вас разве могут заслонить  
века громоздкие! Едва ли.

От сердца к сердцу человека  
вы переходите легко...  
Ах, как уходят далеко  
мужчины атомного века!



## Куба моя...

Живешь ты на тихой Клубной.

Тетка твоя — баптистка.

Живется тебе,

как Кубе

Во времена Батисты!

Скованные накрепко

Цепкой

цепью

нотаций,

Куба моя маленькая —

Тоненькая Наташка.

А я прихожу под акацию,

Курю сигареты дешевые.

Я тетку твою очкастую

Бсюсь,

как змею очковую!

Я знаю: на споры о космосе,

На брюки мои вельветовые

Она подозрительно косится,

От злости вся фиолетовая!

Но ты выбегаешь на улицу

Из дома,

как из тюрьмы,

И смотришь глазами узницы —

Как ночи, глаза темны!

И вновь о своей баптистке...



**Куба моя,**

**решено:**

**Батисте**

**в платочке**

**батистовом**

**Завтра мы скажем: «Но!»**

**Куба больше не станет**

**Плакать ночи подряд.**

**Соседи об этом восстании,**

**Как радио,**

**заговорят!**

**Заговорят на недели...**

**Куба моя,**

**к борьбе!**

**Я белой яхтой Фиделя**

**Приду на помощь тебе!**



## О н а

Присядет есть, кусочек половиня,  
Прикрикнет: «Ешь!» Я сдался!

Произвол!

Она гремит кастрюлями, богиня.  
Читает книжку. Подметает пол.  
Бредет босая, в мой пиджак одета.  
Она поет на кухне поутру.  
Любовь! Да нет! Откуда! Вряд ли

это!

А просто так: уйдет — и я умру.

## Ж а ж д а

Прошла война. Рассказы инвалидов  
Все еще полны до краев войны.  
Казалось мне тогда — в мир не

Эвклидов,

В мир странный были мы занесены.  
Я думал: жизнь проста, и слишком

долг

Мой век. А жизнь кратка и не проста.  
И я пошел в себя. Как археолог,

Я докопался до того пласта...  
Я был набит по горло пережитым.  
Страдания, сводившие с ума,  
Меня расперли,— так ломает житом  
В год страшных урожаев закрома.  
И шли слова. Вот так при лесосплаве  
Мчат бревна.  
Люди, больше я и дня  
Молчать не в силах, я молю о праве  
Мне — рассказать, вам — выслушать  
меня.

Я требую. О, будьте так любезны!  
Перед толлою иль наедине.  
Я изнемог. Я вам открою бездны,  
В семнадцать лет открывшиеся мне.  
Я не желаю ничего иного.  
Сам заплачу. Награды большей нет!  
Внутри меня тогда явилось слово  
И ждало позволения — на свет.



Нет хуже ничего, чем лжепророки  
С готовым к словоизверженью ртом...  
Дороги, что, по их словам, пологи,  
Отвесны. Выясняется потом.  
Я знал когда-то одного такого.  
Он все кричал. Он звал.

Он всех ругал.  
Он раз сказал: — Дорога пустякова!  
Я тридцать верст в грязищу отшагал.  
Анафемы, посулы, прорицанья —  
Я все глотал, чего б он ни изверг,  
Пока однажды лживого мерцанья  
Не уловил в глазах,  
подъятых вверх.

## Посмейся надо мной

Посмейся надо мной! Скажи:  
какой чудак!..  
Я буду говорить. Все выскажу  
к рассвету,  
Я знать хочу: что бред! Что все  
это не так!

Что страх напрасен мой! Что ничего  
Детали приведу. Тут факты, мол, **ведь нету!**  
**одни!**  
Вот так-то, мол, и так. Все просто,  
**мол, донельзя!**  
Я буду говорить. Ты уши вдруг  
**заткни.**  
Скажи: какой дурак!  
**И надо мной посмейся.**

## Благородство

Мы стихли, покоренные картиной,  
Нас увлекла запутанная нить.

Какой же все же надо быть скотиной,  
Чтоб за сеанс слезы не уронить!!

Бежит беглец. Леса за Акатуем.  
Мать ждет. Сестра родная предала!..

Мы целым залом дружно негодуем.  
Мы — за добро! Мы вместе —  
**против зла.**  
О, как мы вдруг всем залом  
**задрожали,**  
Когда на плот вскочил он:  
**ведь вовек**  
В толпе вот этой, в темном кинозале  
Плохой не находился человек.

## Ребенок

И вот идет по городу ребенок  
С большою, вроде тыквы, головой.  
Среди людей, автомашин, лебедек,  
Рискуя, словно на передовой,

**От леденцов его ладони липки,  
Не верит он в существованье зла!  
А безмятежность медленной улыбки  
Лишь с синевой поспорить бы могла.**

**Жизнь города его в свою орбиту  
Ввела. Кричит кондуктор: «Не зевай!..»  
Он на минуту чувствует обиду  
И губы надувает на трамвай.**

**Гудки машин ему — как звуки лютен.  
Идет на них, неведеньем храним...  
Как верует он в то, что абсолютен  
Его покой! Мы трусы перед ним.**





И не флейта ваш позвоночник, —  
алюминиевый лет моста!  
Маяковский, вы схожи с мостом.  
Надо временем, как гимнаст,  
башмаками касаетесь РОСТА,  
а ладонями — нас.  
Ваша площадь мосту подобна.  
Как машины из-под моста  
Маяковскому —

под ноги

Маяковская

Москва!

Вам гудят стадионов тысячи.

Как вам думается?

Как дышится?

Маяковский, товарищ Мост!  
Мост. Париж. Ожидает звезд.  
Притаился закат внизу,  
полоснувши по небосводу  
красным

следом

от самолета,

точно бритвою по лицу!

## Охота на зайца

*Ю. Казакову*

Травят зайца. Несутся суки.  
Травля! Травля! И лай и гам.  
И оранжевые кофухи  
Апельсинами по снегам!

Травим зайца. Опохмелившись,  
Я, завгар, — оппонент милиции,  
Лица в валенках, в хrome лица,  
Брат Букашкина с пацаном —  
Газанем!

«Газик», чудо индустриализации,  
Наворачивает цепя:

Трали-вали! Мы травим зайца.  
Только, может, травим себя!

Сапоги на мне и тужурка.  
Что же пляшет прицел мой, Юрка!

Юрка, как ты сейчас в Гренландии!  
Юрка, в этом что-то неладное,  
Если в ужасе  
По снегам  
Скзчет крови живой стакан.

Страсть к убийству, как страсть  
к зачатию,  
Ослепленная и зловещая,  
Она нынче кричит: «Зайчатины!»  
Завтра взвоят о человечине...

Он лежал посреди страны,  
Он лежал, трепыхаясь слева,  
Словно серое сердце песа,  
Тишины.

Он лежал, синеву боков  
Он вздымал, он дышал пока еще,  
Как мучительный глаз,  
моргающий,  
На печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,  
Он возник,  
И над лесом, над черной речкой  
Резанул  
Человечий  
Крик!

Звук был пронзительным и чистым,  
как ультразвук  
Или как крик ребенка.  
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы  
так!!  
Так кричат роженицы. Это была  
нота жизни,

Так кричат перелески голые  
И немые досель кусты,  
Так нам смерть прорезает голос  
Неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,—  
Роща, озеро ль иль бревно —  
Им позволено слушать, чувствовать,  
Только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый,  
Это жизнь, удаляясь, пела,  
Вылетая, как из силка,  
В небосклоны и облака.



Мы окаменели. Это длилось мгновенье.  
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.  
Четыре черные дробинки, не долетев,  
застыли в воздухе,  
И внезапно —  
Или это нам показалось! —  
Над горизонтальными мышцами бегуна,  
Над запекшимися шерстинками шеи  
Блеснуло лицо.  
Глаза были раскосы и широко расставлены,  
Как на фресках Дионисия,  
Он взглянул на нас.  
Он взглянул изумленно и разгневанно,  
Он парил,  
Он парил, как бы слившись с криком,  
Он повис  
С искаженным и светлым ликом.  
Как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...  
Плыл туман золотой к лесам.  
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.  
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.  
Ветер рожу драл, как наждак.  
Как багровые светофоры,  
Наши лица неслись во мрак.



## Н о ч н ы е г о р о д а

Я вас люблю,  
                                ночные города,  
Как девушек, застигнутых весною.  
Я по бульварам шляюсь до утра,  
Обрызганный машиной поливною.

На тротуарах влажные следы.  
В пустых парадных призрачно и сонно.  
На клумбах нерасцветшие цветы  
Кивают мне головками бутонов.

Я вас люблю,  
                                ночные города,  
Вы откровенье тайное такое.  
И то, что днем не скажешь никогда,  
Вам говорю открыто и легко я.

Я о себе вам молча говорю.  
И каменные лбы свои наморща,  
Как мудрецы,  
                                задумчиво и мощно,  
Вы слушаете исповедь мою.

А после вы расскажете о том,  
Как днем  
                                на ваших Трубных и Арбатах  
Я газировку пил из автоматов  
И покупал газеты за углом.

Уже нигде рекламы не горят,  
И, растворяясь в переулках дальних,

О всех своих сомнениях и тайнах  
Мне города негромко говорят.

Еще деревья стынут в полусне.  
Меня ругает мама полночином.  
Но мне кивают звезды, как сообщники,  
И дворник наш подмигивает мне.

## Горит Ян Гус

Горит Ян Гус.

Он руки распростер.  
Чернеет небо, как печная вьюшка.

И  
сердобольно

хворост на костер  
Подбрасывает, охая, старушка.  
Но пламя, обнимая города,  
От той вязанки маленькой взметнулось.  
Горит рейхстаг.

Святая простота —  
Как горько ты Европе обернулась!  
Мы стали не наивны.

Не просты.  
Но иногда

вдруг чувствую я глухо:  
Горит Ян Гус.

Чадят еще костры.  
Жива еще та самая старуха.











## Осень, вечер

Иду, облипший мглой и листьями  
Лесной угрюмой глухомани,  
Слешу, как будто к теплой истине,  
К огням, мерцающим в тумане.

Дорога дикая сужается  
И льнет к моим ногам доверчиво,  
Деревня мерно приближается,  
Звездою спелой увенчана.

В пруду, накрытом рваной ряскою,  
Окошко плавает багровое,  
И веет светом ночь сентябрьская,  
И пахнет хлебом и коровою.

Усни, деревня. Ты прекрасна  
И в бдении  
                  и в забытьи.  
Мне нравится следить,  
                                  как гаснут  
Глаза усталые твои...

Усни... А я брожу — не спится.  
Томит ночное одиночество,  
И хоть легко с ним распротиться,  
Уйти мне от него не хочется.

Зашелтан шорохами леса,  
Пронзен пустынным поздним полем,



Я спит с тобой, туман белесый,  
Овраг, твоей я смутой полон.

Я согреваюсь постепенно  
У этих окон и плетней,  
Добрею от дыханья сена  
И лепетанья тополей.

Он греет — деревянный, древний  
Дух чеповечьего тепла.  
Усни, осенняя деревня,  
К тебе прижмусь душою я.



## Роща

Она застроена не деревом,  
а музыкой —  
сквозными звуками.  
...Под елочкой,  
как будто в тереме,  
сизу себе и сердцем стучаю.  
Березовые убегания,  
и тихое житье гриба;  
и в каждой клеточке — дыхание,  
дыхание и плюс  
борьба  
за каплю росную лулырышком,  
за продвижение корня,  
за уносящиеся крылышки  
от неподвижного меня...



## Ненаписанные книги

Много книг ненаписанных  
Бродит по белому свету  
На попутных машинах,  
Верхом,  
На речных катерах.  
Много есть на земле безымянных поэтов,  
Чьим рукам зарубелым  
Перо тяжелей топора.  
За ночными авралами сутками глаз не смыкая,  
За короткими строчками  
Срочных приказов  
Человек пообедать,  
Не то что писать, забывает,  
И живет на земле —  
Сам неизданный сборник рассказов.  
Все в надежде:  
Вот будет на стройке потише,  
Заместитель вернется,  
И первый сдадут агрегат,—  
Он присядет, подумает,  
Может быть, даже запишет  
То, что сложено в памяти  
Четверть столетия назад.  
Но потом новостройка,  
И снова работа с рассвета,  
И благие намеренья  
Вспомнить, найти, изложить.  
Много книг ненаписанных ездит по белому свету,  
Людям некогда, люди торопятся жить.



Галя  
Огарышева

Тоненькая девочка,  
На ветру дрожа,  
Смотрит недоверчиво  
С шестого этажа.  
Яростно, пугающе  
Несется на углу:  
— Галя Огарышева,  
Я тебя люблю!  
С неба листья осени  
Падают к ногам.  
Из окна доносится:  
— Что за хулиган!  
Окно предусмотрительно  
Закрывает мать.  
Ах, что они, родители,  
Могут понимать!  
Бегают, волнуются,  
Запирают дверь.  
Налетает с улицы:  
— Галочка, поверь!..  
Только как довериться!  
Мать кричит свое  
И с утра до вечера  
Около нее.  
А внизу взывающе  
Слышно на углу:  
— Галя Огарышева,  
Я тебя люблю!..

# Парни с окраин

На свои участки утром ранним  
Парни собираются с окраин.  
На обед батон с собой прихватят:  
Нам пока что не помногу платят.  
Где-то лучше,

но туда не подаемся.  
Остаемся.. Может, задаемся!  
Первый самосвал с далекой базы  
Тыщу кирпичей привозит сразу —  
Теплых, красных, в крапинах закатных,  
И холодных, белых — силикатных.  
Как детей, мы их в руках таскаем,  
На большие стены опускаем,  
И дрожат, поставленные шатко,  
Под ногами трапы на площадках.  
Задаемся! Может, задаемся,  
Отработав, снова остаемся.  
Все спешим, боимся — опоздаем.  
В стужу котлован не покидаем.  
И никто пока что не хворает:  
Времени на это не хватает.  
Задаемся, парни, задаемся:  
Если тяжело, не сознаемся.  
Задаемся, снова задаемся:  
Жизнь построить целью задаемся.



## Вечные люди

Меня в Крыму судьба свела  
С бойцами старого закала,  
О ком я слышал без числа  
И с кем встречался очень мало.  
Годам немалым вопреки  
Они поют, танцуют даже,  
Буденновцы, большевики  
С пятидесятилетним стажем.  
И мы, из нынешних ребят,  
Со дня приезда в санаторий  
Живем, поем со всеми в лад,  
Играем в шахматы и спорим,  
С друзьями Щорса в домино  
Стучим, с оглядкою вначале,  
И пьем подпольное вино,  
Не разрешенное врачами.  
Но есть для нас неловкий миг,  
Рубеж, когда, куда ни денся,  
Нельзя уйти от нас самих:  
Мы только мальчики, младенцы.  
На пляже, весел и здоров,  
Увидишь вдруг на человеке  
Следы этапных кандалов,  
Невытравимые навеки.  
Услышишь вдруг, как инвалид  
Года поспедние итожит.  
А о работе говорит,  
Что без нее дышать не может,

**И, на минуту присмирив,  
Стоишь, в руках сжимая шляпу...  
С утра прибой рычит, как лев,  
Тугие разминая лапы.  
И я на берег выхожу,  
Скользя на каменистых грудах,  
На скалы вечные гляжу  
И думаю о вечных людях,  
Кому и годы нипочем,  
Кто с юных лет живет на свете,  
Как эти глыбины, плечом  
Проламывая встречный ветер.**





Пионерский сбор, пионерский сбор...  
Открывает его неуверенный горн.  
Сидит человек в президиуме.  
Человеку за шестьдесят.  
Вспоминает всю жизнь, по-видимому,  
в чем был прав он и виноват.  
И глядит на ребячьи лица.  
С виду строг и неумолим.  
И в душе перед ними винится —  
перед будущим молодым.  
А виниться-то вроде не в чем.  
Жизнь он прожил в труде, в бою.  
Всю эпоху взвалив на плечи,  
честно ношу он нес свою.  
Ну, а все-таки, ну, а все-таки  
жизнь полна не одними взлетами.  
Были промахи, были горести,  
всяко было порой на совести.  
И под песнь пионерского горна  
вспоминает тревожно дед:  
где-то наглость он не одернул,  
чью-то искренность проглядел.  
Человек молчалив и светел:  
перед будущим он винится.  
Он мечтает, что в этих детях  
только лучшее повторится.





## Военная игра

*Евгению Храмову.*

Была война на целом свете белом.  
И, как один, мы крикнули «ура»,  
Когда вожатый вывел серым мелом  
По всей доске: «Военная игра».  
Всех разделив на «синих» и «зеленых»,  
Нам привязали ленты к рукаву,  
И покатались мы по снежным склонам  
За Родину сражаться, за Москву!  
И, снегом заметенные пушистым,  
Из рощи, из вечерней полутьмы  
Нам «синие» кричали: «Смерть фашистам!»  
И «Смерть фашистам!» — им кричали мы.  
Мы обходили их в снегу по поясу,  
Перебегали пруд, скользя на льду,  
«А если не успеем...» —  
Беспокоясь,  
Пальтишки мы срывали на ходу.  
И наконец, мокры и краснолицы,  
На заснеженной просеке лесной  
Мы крикнули: «А ну, сдавайтесь,  
фрицы!» —  
У «синих» очутившись за спиной.  
Мы синий флаг нашли в стволе березы,  
Мы победили — это каждый знал.  
Но вдруг их звеньевой, глотая слезы,  
Как запоем «Интернационал»!  
Я не забуду лиц их выраженья,  
Когда, нарушив правила войны,  
Они прошли сквозь наше окруженья,  
Своей непобедимостью сильны...  
И Родина, глядевшая на запад,

Где фронт гремел, пылая, как закат,  
Остановила долгий взгляд внезапно  
На горсточке взъерошенных ребят.  
И как врачиха в сбившемся берете,  
Что грела нас и тормошила нас,  
«Ах, дети, дети,  
Милые вы дети...» —  
Она твердила, плача и смеясь.



Я по пояс в месяце июле,  
Валит с ног травы девятый вал.  
Свищут пчелы — золотые пули,  
Все — навывет.  
Все — не наповал.  
Прямо в грудь мою,  
Неторопливы,  
Метят бронебойные шмели,  
И цветы тяжеле,  
Как взрывы,  
В небо вырастают из земли...  
Словно атакующая рота  
На безмолвный дот,  
Что в землю врос,  
Наступает на меня природа,  
По свистку поднявшаяся в рост!  
Этот бой внезапен и недолог —  
Я бессмертно ранен.  
Бопь легка.  
В каждой клетке чувствую оскопок  
Утра, солнца, дерева, цветка.  
В торжестве победного парада  
И земля, и небо, и вода...  
Только раны бинтовать не надо —  
Пусть не заживают никогда!

Упаду.  
Щекой к земле приникну,  
Мокрой от росы или от спез...

Никогда, наверно, не привыкну  
К шуму трав и шелесту берез!

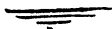


Вот новая картина.  
Перед ней  
Почувствуешь себя не очень ловко.  
И сразу скажет тот, кому видней:



## Баллада об отце и сыне

В день Победы два танка застыли  
За чертой Бранденбургских ворот  
И стоят на солдатской могиле,  
Вспоминая Берлинский поход.  
В сектор западный, мрачный и  
чуждый,  
На могилу советских солдат  
Каждый день для несения службы  
Сквозь ворота проходит наряд.  
В карауле почетном впервые  
Там ефрейтор стоял молодой.  
Пред войною рожденный в России,  
Рос, как многие, он сиротой.  
В списке бронзовом рядом с другими,  
Что погибли в последнем бою,  
Вдруг он видит отцовское имя,  
Он фамилию видит свою.  
Сердце острой наполнилось болью —  
Тени прошлого видит солдат.  
Он молчит. Он владеет собою,  
Но глаза его гневом горят.  
Это западный сектор Берлина,  
Это пост молодого бойца.  
Осторожней! Не трогайте сына,  
Он стоит у могилы отца.



## Стихи о голом короле

Юноша стареющий,  
Демон начинающий,  
Ни во что не верящий,  
Только отрицающий.

Он сидит предо мной.  
Отвечает лениво, не сразу,  
Краснощекий, презрительный,  
Очень довольный собой.  
Он считает банальными,  
Громкими фразами,  
То — во имя чего  
Мы ходили на бой.

Он считает банальным  
Хвалить, восхищаться,  
Быть наивным боится,  
Чтобы не поглупеть.  
Быть совсем еще юным  
В свои восемнадцать, —  
Нет!.. Такую банальность  
Он не может терпеть!

Он чуть-чуть снисходителен,  
Будто знает такое,  
Что не знают и те,  
Кто давно поседел.  
А в глазах его  
Что-то стеклянное,  
странное,

Что-то чужое,  
Будто он,  
                  как пенсне,  
Их нарочно надел.

Он и горя не нюхал,  
Рожденный в рубашке,  
А послушаешь только  
Его словеса!..  
Неужели есть те,  
Кто вот эти стекляшки  
Принимают  
За умные правдой глаза!

Юноша стареющий,  
Демон начинающий,  
Ни во что не верящий,  
Все на свете знающий,

Мне судьба  
Невеселую юность вручила,—  
В сорок первом году  
Мы хлебнули немало беды,  
Но меня  
                  даже горе  
Сурово учило  
Жадно праздновать жизнь.  
Понимаешь ли ты!!

Жадно праздновать  
  каждую эту снежинку,  
Каждый дружеский взгляд,  
Каждый заячий след,  
Чтоб всегда было все,  
Словно в детстве,  
  в новинку.  
А другой для меня  
В мире мудрости нет!

Я готов есть на улице  
  в стужу мороженое,  
Верить в самое лучшее,  
Грызть карандаш до зари,  
Я готов  
  подобрать  
  твою молодость  
  брошенную,  
Если хочешь,  
  взамен  
  мою старость бери!

И усталость бери  
И морщинки в придачу.  
Если зол,  
        так в веселье  
                        пусть буду я зол!..  
Я, как самый наивный  
                        андерсеновский мальчик,  
Тычу пальцем в тебя:  
— А король-то ведь гол!..



*Дочке моей Леночке.*

То куклу ты лечишь  
Забавно, по-детски,  
То бегаешь возле плетня,  
То вдруг поглядишь ты  
Настолько по-женски,  
Как будто ты старше меня.

Гляжу на тебя я,  
Гляжу, как на чудо,  
Заснула ты с куклой вдвоем,  
Откуда тот свет материнства,  
Откуда  
На личике детском твоём!

Гляжу на тебя я,  
Гляжу виновато,  
Когда отвечаю «нельзя»,  
И все, что во мне  
До сих пор еще свято,  
Слезой набежит на глаза.

Тебя я к далекому парню ревную,  
Что станет твоею судьбой,  
Но пусть он, как я,  
Испытает такую,  
Святую, мужскую любовь!

# Любовь

Отыскала мой адрес,  
С мороза вошла.  
И горючей  
Своей красотой  
Обожгла.  
Нет!

Она не вошла —  
Это слишком земно, —  
Как подбитая ласточка,  
Залетела в окно.  
И робеет,

молчит

Как-то очень всерьез,  
И большие глаза  
Хорошеют от слез.  
— Чем обязан!..  
Простите, что без пиджака..  
Но, по-моему,  
Мы не знакомы пока!  
И притих.

От притихших

доверчивых глаз:

— Я пришла...  
У меня вся надежда  
на вас!

Не с кем  
Мне поделиться.  
Молчу и терплю.  
Понимаете,  
Очень его я люблю!  
Подружились  
Еще мы на школьной скамье.  
Напишите стихи —  
Он вернется ко мне!  
Он послушает вас,  
Он поверит,  
лоймет,

Что нелепой,  
Неправильной жизнью живет!  
Я молчу.  
Виновато гляжу на нее.  
Как петлей,  
Перехвачено горло мое.  
Что же мне ей ответить,  
Когда

в первый раз  
Получил я такой  
Социальный заказ!





Цветет,  
да как еще цветет,  
С какой доверчивостью нежной!..

Спит красота в любом из нас.  
Мы все красивы от рождения —  
Однажды

вдруг,  
хотя б на час  
Или хотя бы на мгновенье.

Спит красота.

И жаль мне тех,  
В ком глухо спят ее порывы,  
Тех,  
кто ушел от нас навек,  
Не зная,  
как они красивы.



## Путеукладчик

Я знаю, как ведется путь,  
как стынет пот  
в кристаллах соли,  
как ватник может весить пуд  
и как вздуваются мозоли.  
Путеукладчик — это дом,  
с упрямым, зримым постоянством  
перемещаемый в пространстве  
расчетом, дерзостью, трудом.  
Суров его простой уют.  
Бывает, что парням грустится,  
когда весной вдруг запоют  
молчавшие всю зиму птицы.  
И день одно,  
И год одно:  
Всегда торжественно и строго  
ложится сталь на полотно,  
и в глушь вторгается дорога.  
И пусть зимой мороз дерет  
и ветер рвет верхушки сосен,  
ребята движутся вперед  
путеукладчиками весен!  
Едва зарю сыграет ветер,  
пробарабанит дождь подъем,

ты вспоминаешь:  
есть на свете  
не только стены,  
койка, дом.  
Есть счастье книг,  
еще безвестных,  
есть счастье встреч,  
трудов,  
тревог,  
бушующее в наших песнях,  
чтоб ты всю жизнь  
стареть не мог.  
У дерзкой юности во власти,  
не тратя ни минуты зря,  
всегда шагай к такому счастью.  
Тебе сопутствует заря!



## Страна Юность

Дайте, что пи, машину Уэллса —  
С ходу в юность я махану:  
Не ло воздуху, не по рельсам  
Не вернуться мне в ту страну.  
Там, в землянке сутуловатой —  
Неубитые! Боже мой! —  
Ветераны войны  
(Ребята,  
Не закончившие десятый.)  
Перед боем строчат домой.  
Там Валерка консервы жарит,  
Там Витек на гармошке шпарит,  
Отчего это перед боем  
Небо бешено-голубое!..  
Эх, мальчишки!  
О вас тоскую  
Двадцать лет, целых двадцать лет!..  
Юность, юность! —  
В страну такую,  
Нет дороги, возврата нет,  
Что из этого!  
Навсегда  
Я законам ее верна.  
Для меня не беда — беда,  
Потому что за мной — война,  
Потому что за мной встаёт  
Тех — убитых — мальчишек взвод.

## Девчонка — что надо!

По улице Горького — что за походка! —  
Красотка плывет, как под парусом лодка.  
Прическа — что надо!  
И свитер — что надо!  
С лиловым оттенком губная помада!  
Идет не стилижка — девчонка с завода,  
Девчонка рожденья военного года,  
Со смены идет (не судите по виду!) —  
Подружку ханжам не дадим мы в обиду!  
Пусть любит с «крамольным» оттенком помаду,  
Пусть стрижка — что надо,  
И свитер — что надо,  
Пусть туфли на «шпильках»,  
Пусть сумка «модерн»,  
Пусть юбка едва достигает колен.  
Ну что здесь плохого!  
В цеху, на заводе  
Станки перед нею на цыпочках ходят!

По улице Горького — что за походка! —  
Красотка плывет, как под парусом лодка.  
И в сумке «модерной» впритирку лежат  
Пельмени, Есенин, рабочий халат.  
А дома — братишка, смешной оголец,  
Ротастый галчонок, крикливый птенец.  
Мать... в траурной рамке глядит со стены.  
Отец проживает у новой жены.  
Любимый! Любимого нету пока...  
Болит обожженная в цехе рука...  
Устала! Крепись, не показывай виду —  
Тебя никому не дадим мы в обиду!

По улице Горького — что за походка! —  
Девчонка плывет, как под парусом лодка.  
Девчонка рожденья военного года,  
Рабочая косточка,  
Дочка завода.  
Прическа — что надо!  
И свитер — что надо!  
С «крамольным» оттенком губная помада.  
Со смены идет (не судите по виду) —  
Ее никому не дадим мы в обиду!

Мы сами пижонками слыли когда-то,  
А время пришло — уходили в солдаты.



Из цикла «Океанская земля»

## Колодец на заставе

Дневальный усталый  
По воду к речке не ходит:  
Стенами скрыт,  
За занавеской льняной  
Под крышей заставы  
Вырыт в столовой колодец —  
Тело бодрит  
Свежестью ледяной.

Даже неловкий  
С этой премудростью ладит:  
Ворот вращается,  
Поскрипывает с утра,  
Два метра веревки —  
И бледно мерцающей глади  
Донце касается  
Побрякивающего ведра.

Наш друг терпеливый —  
Колодец в темном закутке,  
Как он сквозь тьму  
Чувствует близость росы!..  
В нем дважды отливы,  
Дважды приливы за сутки,  
Мы по нему  
Даже сверяли часы.

Надежные стены  
От мира его откололи,  
Звезды и зори  
Ему никогда не видны.  
Но, странное дело,  
Скрытый от взглядов колодец —  
Малое море  
Отдано власти луны.



## Р ы б а ч к и

Ждите мужчин пропавших,  
Всеми морями пропахших,  
Наши мужчины придут!  
С мужчинами так бывает:  
Вдруг пропадут.

Нескончаема наша вера.  
И любая из нас постигала:  
Беспокойны мужчины, как ветры,  
Высоки, будто белые скалы.

Мы вас ждали три дня и три года,  
Мы ботинки отдали в починку,  
Мы поставили в свежую воду  
Пестики и тычинки.

Как без вас день и ночь моросило!  
Как тоске нашей ветер вторил!  
Уши — раковины морские:  
В них все время гремело море!

Не бывали мы в той передраге.  
Ни на краешек, ни в середку  
Не садились к лихому гуляке  
В егозпивую хлипкую лодку.

Ждите мужчин пропавших,  
Всеми морями пропахших,  
Наши мужчины придут!  
С мужчинами так бывает:  
Вдруг пропадут.



# М а т ь

В нашем домике допотопном  
Помню женщин одних в семье.  
Помню: туфли твои дотоптаны,  
Платье выцвело на спине.  
Я мечтала тогда девчонкой,  
Как бы мне суметь накопить,  
Снять самой с тебя мерку бечевкой,  
Платья в городе закупить.  
Называли тебя вдовою.  
Помню все я твои труды.  
Как верблюдицею худую  
С огорода влекла пуды.  
Постоишь у ворот молчаливо,  
Не откроет хозяин ворот.  
Я не помню в семье мужчины  
Посреди бытовых забот.  
До сих пор ты не так одета,  
Руки маленькие черны.  
Нет, никто не виновен в этом,  
Кроме той мировой войны!

# В е с н а

Дрова несет уборщица.  
В пальто и шубах вешалка.  
Весна. На голой рощице  
Качается скворешенка.

Когда весна упрочится  
Для гнезд, для певчих горлышек!  
Весна. На голой рощице  
Качается воробышек.

# Лето

Дух мой проник  
В материю простую.  
Ношу я белый воротник  
Да юбочку вплотную.

Не наглухо, не целиком  
Такой загар здесь спрятан,  
Что кажется: я шла пешком  
В Москву из древней Спарты.

Июль в сандалики обут  
В цветах, резных, плетеных.  
Асфальт попеременно мнут  
Два пальца обнаженных.

Я уличная толчея,  
Цирк, «Форум», «Панорама»!  
В метро мне кажется, что я  
Привыкший к свету мрамор.

В метро мой образ многопик:  
Снопы. Венки. Пирую!  
Ношу я белый воротник  
Да юбочку вплотную!

# Былина

Я доила коров. Выгребала навоз.  
И на рынке, где грубые вкусы,  
Гребешки покупала для жирных волос  
И стеклянные красные бусы.

Еду в новую область. Трясусь на возу.  
Кость широкая в ситце лапастом.  
Заскорузлой рукою хватаю вожжу:  
Я Орина, смугла и скуласта.

**Я былины слыхала на печке зимой,  
Я дождей ожидала на пашне.  
Есть такие глаза для меня, простой,  
Как замочные скважины в башню.**

**В них заглянешь, и песенный лад на устах.  
Имя милого — песня пастушья.  
Я держу это имя в обеих руках,  
Нараспев повторяю: Илюша!**

**Все отдам я: пшеницу, свинину, творог,—  
Ничего не оставлю в запасе!  
Дайте пару мне нежно дрожащих серег,  
Для лица — самой ласковой мази!**

**Научите писать, выводить письма,  
Красить красками голубя, змея.  
Как была, как спала от темна до темна,  
Ничего, ничего не умея!!**



## Л ю д и

Людей неинтересных в мире нет.  
Их судьбы, как истории планет.

У каждой все особое, свое,  
и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил  
и с этой незаметностью дружил,

он интересен был среди людей  
самою незаметностью своей.

У каждого есть тайный личный мир.  
Есть в мире этом самый лучший миг.

Есть в мире этом самый страшный час,  
но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,  
с ним умирает первый его снег,  
и первый поцелуй, и первый бой...  
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,  
машины и художников холсты.

Да, многому остаться суждено,  
но что-то ведь уходит все равно.  
Таков закон безжалостной игры:  
Не люди умирают, а миры.

**Людей мы помним, грешных и земных.  
А что мы знали, в сущности, о них?**

**Что знаем мы про братьев, про друзей!  
Что знаем о единственной своей!**

**И про отца родного своего  
мы, зная все, не знаем ничего.**

**Уходят люди... Их не вернуть.  
Их тайные миры не возродить.**

**И каждый раз мне хочется опять  
от этой невозвратности кричать.**

## **Хотят ли русские войны?**

*Песня*

**Хотят ли русские войны!  
Спросите вы у тишины  
над ширью пашен и полей,  
и у берез, и тополей.**

**Спросите вы у тех солдат,  
что под березами лежат,  
и пусть вам скажут их сыны,  
хотят ли русские войны.**

**Не только за свою страну  
солдаты гибли в ту войну,—  
а чтобы люди всей земли  
спокойно видеть сны могли.**

**Под шелест листьев и афиш  
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж...  
Пусть вам ответят ваши сны,  
хотят ли русские войны.**

**Да, мы умеем воевать,  
но не хотим, чтобы опять  
солдаты падали в бою  
на землю грустную свою.**

**Спросите вы у матерей,  
спросите у жены моей,  
и вы тогда понять должны,  
хотят ли русские войны!**

## **Смеялись люди за стеной**

**Смеялись люди за стеной,  
а я глядел на эту стену  
с душой, как с девочкой больной  
в руках, пустевших постепенно.**

**Смеялись люди за стеной.  
Они как будто измывались.  
Они смеялись надо мной  
и как бессовестно смеялись!**

**На самом деле там, в гостях,  
устав кружиться по паркету,  
они смеялись просто так,  
не надо мной и не над кем-то.**

**Смеялись люди за стеной,  
себя вином подогревали  
и обо мне с моей больной,  
смеясь, и не подозревали.**

**Смеялись люди... Сколько раз  
я тоже, тоже так смеялся,  
а за стеною кто-то гас  
и с этим горестно смирялся.**

**И думал он, бедой гоним  
и ей почти уже сдаваясь,  
что это я смеюсь над ним  
и, может, даже издеваюсь.**

**Да, так устроен шар земной  
и так устроен будет вечно:  
рыдает кто-то за стеной,  
когда смеемся мы беспечно.**

**Но так устроен шар земной  
и тем вовек неувядаем:**

смеется кто-то за стеной,  
когда мы чуть ли не рыдаем.

Двойной исполнись доброты.  
И, чтоб кого-то не обидеть,  
когда смеешься громко ты,  
умей сквозь стену сердцем видеть.

Но не прими на душу грех,  
когда ты мрачный и разбитый,  
там, за стеною, чей-то смех  
сочешь завистливо обидой.

Как равновесье — бытие.  
В нем зависть — самооскорбленье.  
Ведь за несчастье твое  
чужое счастье — искупленье.

Жепай, чтоб в час последний твой,  
когда замрут глаза, смыкаясь,  
смеялись люди за стеной,  
смеялись, все-таки смеялись!



Очарованья ранние прекрасны.  
Очарованья ранами опасны.  
Но что с того! Ведь мы над суетой  
к познанию наивысшему причастны,  
спасенные счастливой слепотой.

И мы, не опасаясь оступиться,  
со зрячей точки зрения глупы,  
проносим очарованные лица  
среди неочарованной толпы.

От быта, от житейского расчета,  
от бледных скептиков и розовых  
проныр  
нас тянет вдаль мерцающее что-то,  
преображая отсветами мир.

Но неизбежность разочарований  
дает прозренья. Все по сторонам  
приобретает разом очертанья,  
до этого неведомые нам.

Мир предстает, не брезжа,  
не туманясь,  
особенным ничем не осиян.

Но чудится, что эта безобманность —  
обман. А то, что было, не обман.

Ведь не способность быть премудрым  
змием

и не всезнайства тягостная честь,  
а свойство очаровываться миром  
нам открывает мир, какой он есть!

Вдруг некто с очарованным лицом  
мелькнет, спеша на дальнейшее мерцанье,  
и вовсе нам не кажется слепцом —  
самим себе мы кажемся слепцами...



Нет, мне ни в чем не надо  
половины!

Мне дай все небо! Землю всю  
положь!

Моря и реки, горные лавины —  
мон! Не соглашаюсь на дележ!

Нет, жизнь, меня ты не заластишь  
частью,

Все полностью! Мне это по плечу.  
Я не хочу ни половинки счастья,  
ни половины горя не хочу!

Хочу лишь половину той подушки,  
где, бережно прижатое к щеке,  
беспомощной звездой, звездой  
падучей  
кольцо мерцает на твоей руке...





## Бессонница

У моего отца бессонница,  
Он в кресле, как ночная птица.  
Я понимаю, что бессовестно  
Храпеть, когда ему не спится.  
Но ночь берет свое.

Отколотый

От спящих, он сидит, дежуря.  
Над ним луна в масштабах комнаты —  
Зеленый круг от абажура.

Как долго сон его сторонится,  
Как тянется ночное бденье!  
И это я — его бессонница,  
Мое прикрытое безделье.

И правда, мало мною сделано,  
Одни лишь планы,  
планы,  
планы.

Самостоятельность!

Но где она!

Не в сторублевках же зарплаты.  
Почти ничем отца не радую  
И часто нарушаю слово...  
Но по утрам

с отцовской правдою

До хрипа спорить я готова:  
«Не отпевай! Я не покойница.  
Все впереди.  
О человеке  
Иначе надо беспокоиться.

Я не хочу твоей опеки!  
Да, ваше время скороспелое,  
А нам  
        нужна иная зрелость...»  
Я называю черным белое,  
Ведь мне не то сказать хотелось.  
Но спор  
        доказывает равенство  
Между отцом и мной,  
        как будто  
Не он,  
        а я была изранена,  
В обмотки грязные обута,  
Как будто я несла воззвание  
«Смерть белой банде!  
Красным — слава!»  
И окровавила названия  
Бугульмы и Бугуруслана...  
Отцы,  
        чьи прошлые ранения  
Все чаще колют нас укором,—  
Меня пугает их смирение  
Перед пустым дочерним вздором.  
Да осади меня насмешкою!  
Я защищаюсь очень глупо...  
Но мой отец чего-то мешкает  
И говорит немного глухо:  
«Ты знаешь,  
        у меня бессонница.  
Все ночью вижу в мрачном свете.  
Давай не будем  
        больше ссориться.  
Отцы неправы,  
        правы дети».





Все на месте, все в порядке —  
Акварель, карандаши...  
Комплекс утренней зарядки,  
Упражненья для души.  
Он рисует возле Нила  
Ярко-красных голубей.  
Он рисует крокодила  
Голубого голубей.  
В чистой зелени лучистой  
Солнце белое горит.  
Не ругайтесь, колористы,  
За ужасный колорит.  
Перед вами он пасует,  
Но не стойте на посту.  
Он не Африку рисует.  
Он рисует красоту.  
И при чем тут звон понятий:  
Нет таланта,  
Есть талант!..  
Мне чем дальше, тем понятней  
Всякий честный дилетант.  
Я приветствую актера  
За лирический кларнет.  
Я приветствую шофера,  
Написавшего сонет.  
Я уверен, славя смелость  
Неумелого пера,  
Завтра будет не уместность,  
А гармония мудра.  
Не случайно же в болоте  
Все увязли до ноздрей,  
Кто в засаленной колоде  
Тщетно ищет козырей.  
Нынче козырь пятой масти,  
Остальные — тлен и мрак!  
Тот, кто узок,  
Тот не мастер,

Кто не личность,  
Тот дурак.  
Где-то там, в грядущем мире,  
Чтобы много понимать,  
Сам философ будет гирию,  
Будет штангу выжимать.  
И при чем тут звон понятий:  
Нет таланта,  
Есть талант!..  
Мне чем дальше, тем приятней  
Всякий мирный дилетант —  
Все, кто вырвался из цисты  
Пережеванной трухи.

Так-то, братцы колористы,  
Время братья за стихи!



Когда грядет канун зари  
И новый день планеты,  
Не полководцы,  
Не цари —  
Рождаются поэты.  
В ночной тиши,  
В лесной глуши,  
На городской квартире  
Они грызут карандаши  
В мечтах о новой лире.  
Но лиры нет.  
И меры нет,  
Чтоб выразить живое,  
И разбивается поэт  
Об стенку головою.  
Он болью боль предвосхитил,  
Сгорая безраздельно.  
В ней напряженье всех светил.  
Не трогайте:  
Смертельно!  
Не порицая, не дивясь,  
Не трогайте руками.  
Поэт — единственная связь  
С грядущими веками,  
Как обещание,  
Как весть,  
Как спед чужой ракеты,  
Как знак того, что «завтра» есть,  
Рождаются поэты.



## Почтальон

Капель по стеклам стучает устало,  
Колеблется над крышами рассвет.  
Встаю, когда дороже одеяла,  
Пожалуй, ничего на свете нет.  
И вот я переулками петляю.  
В глазах плывут неслышные круги.  
Баюкая и тихо усыпляя,  
Как ходики, стучат мои шаги.  
Я — это мальчик сонный и ушастый,  
И нету мне семнадцати еще.  
Я с почты тороплюсь на свой участок,  
Взвалив большую сумку на плечо.  
Мой путь, спеша на поздние свиданья,  
Перебегают страшные коты.  
Но высятся вдали седые зданья,  
Похожие на горные хребты.  
Иду, и не мечтается о лучшем,  
Мне хорошо в предутренней тени  
Шагать туда по снегу и по лужам,  
Где люди ждут, где светятся огни...

## Черная икра

Канул сейнер в море, как иголка.  
Так похожи волны на стога...  
Водится на Каспии икорка,  
Королева всякого стола.

Ах, обед на баке! То и дело  
Мой сосед подшучивал баском:

**«Налетай, москвич, подешевело,  
Веселей работай черпаком!»**

**Подходил к бачку я раз по сорок,  
А теперь, ей-ей, немоготу.  
И не от каспийских разносолов —  
От работы солоно во рту.**

**Вот она, икорка,— будто пули,  
Свищут брызги, падает гроза.  
И ступают ноги, как ходули,  
Плавают белесые глаза.**

**Вот она, икорка,— смотришь в оба,  
От снастей ладони как в огне.  
Каспий наизнанку, точно робу,  
Душу выворачивает мне.**

**Вот ползем, на равных с морем споря,  
Вот закончен путь, сдаем улов,  
Для столов, ну, скажем, «Метрополя»,  
Для других обеденных столов.**

**А потом отчаливает лето,  
Я по сходям на берег схожу.  
Черной, антрацитового цвета  
Вот такую банку увожу.**

**Еду, на вопросы отвечаю,  
Табачки рыбацкие курю,  
Вновь икрой соседей угощаю.  
— Налетайте, братцы,— говорю.**



**С людьми  
Сумел я запросто ужиться,  
Сдружиться не за рюмкою вина,  
А после долгой вахты  
За ушицей,  
Когда всплывет над морем тишина.  
Как в центре мироздания,**

**Ходит барка  
По медленной полуночной воде.  
Рыбацкая огромная сигарка  
Подмигивает крохотной звезде.  
Вот так сидим и курим до рассвета.  
Как в воду, окунаемся в зарю.  
И все законы жизни,  
Все приметы  
Читает сердце,  
Как по букварю.  
Понятны и близки созвездья, зори,  
И рыбаки у медного бачка,  
И на руках забывшихся мозоли,  
И путь, еще не пройденный пока.  
Как бы сошлись разъятые на части  
И мысли,  
И поступки,  
И года.  
Зовущие и ждущие участия  
Все дни мои ясны, как никогда.**



## В зоопарке

### Точка зрения

— Как выносишь ты жару! —  
Морж спросил у Кенгуру.  
— Я от холода дрожу! —  
Кенгуру сказал Моржу.

### Почему еж колючий

— Что ж ты, Еж, такой  
колючий!  
— Это я на всякий случай!  
Знаешь, кто мои соседи!  
Лисы, Волки да Медведи!

### Страус

И петь не поет  
И летать не летает...  
За что же тогда  
Его птицей считают!

### Считалочка

Жили-были два соседа,  
Два соседа-людоеда.  
Людоеда людоед





## Баллада о зрячем

*Памяти Николая Островского*

Говорили ему враги:  
Не работай, глаза береги.

Он работал врагам назло —  
Он любил свое ремесло.

Говорили ему врачи:  
Если будет больно, кричи.

Только он у врачей молчал,  
Но цвета́ уже не различал.

Говорило чутье ему:  
Очень скоро сорвешься во тьму.

И решил он: раз выхода нет,  
Пусть останется в памяти свет.

Прежде чем глазам умирать,  
Надо солнце в них все вобрать.

И не слепнет он с этих пор:  
Он на солнце смотрит в упор.

# Оркестр

Картины детства, строгие, как время.  
Да не забудется их простота и ясность,  
Когда по всей земле моей оркестры  
Дождями долгожданними пройдут.

В квадратной раме школьного двора  
Был пункт призыва. Там прощались люди.  
Там женщины над пропастью утраты  
Несли

слезами полные глаза.

Там под хмельной тальяночный разлив  
Призывники «цыганочку» плясали.  
И старики, стоящие по кругу,  
Глотали молча едкий дым махры.

А в самом центре школьного двора,  
А в самом центре горести и боли  
Плыл

над косынками и вещмешками  
Веселым громом духовой оркестр.  
Играл он марши, звонкие, как медь.  
А мы держали оркестрантам ноты.  
Выстраивались не спеша колонны.  
И уходили прямо на вокзал.

Но с каждым днем все меньше было труб.  
Мы узнавали лица музыкантов  
Среди людей, идущих на вокзал.  
Кончался август. Часто шли дожди.  
И в этот день грустил над миром дождь.  
Мы сделали из пиджаков навесы,  
Привычно развернули наши ноты.  
А музыкантов было только три.

Пришел ударник, бас и корнетист.  
И мы стояли на обычном месте.  
Построилась последняя колонна  
И двинулась неслышно со двора.  
А наш оркестр над нею поднял марш.  
Так в небо поднимают только знамя.  
И марш звенел не посреди двора,  
А где-то очень, очень впереди.

И мы смотрели и смотрели вдаль.  
Нас мучила мальчишеская зависть,  
Высокая, как чистый звук корнета,  
К мужчинам, уходящим на войну.

## **В давитьне**

**В давитьне давят виноград.  
Вот что важнее всех событий:  
В дубовом дедовском корыте  
Справляют осени обряд.**

**Крестьяне, закатав штаны,  
Ведут языческие игры,  
Измазанные соком икры  
Работают, как шатуны.**

**Работают крестьяне в лад,  
Гудит дубовая колода,  
Летят на гроздьа капли пота,  
Но пот не портит виноград.**

**Жуют ногами виноград!  
И нету ног святых и чище,  
По травам летним, по грязище  
Ступавших тыщи лет подряд.**

**Жизнь — это что такое, брат!  
Давильня, а не живодерня!  
Но дьявол путает упорно,  
И кости юные трещат.**

**Люблю давитьни вязкий чад,  
Шипенье, чмоканье и стоны,  
Спиртовый воздух напряженный...  
В давитьне давят виноград!**

**Топырится над гроздью гроздь,  
Как груди смуглые южанок...**

Дождемся свадебных гулянок,  
Тогда, тогда, как повелось,

Хозяин распахнет подвал.  
Друзьям собраться за столом бы!  
Взорвутся солнечные бомбы!  
Под стол слабейших, наповал!

За стойкость мужества, мужчины!  
За клин, что вышибает клин!  
Неважно, кто открыл кувшин,  
А важен вкус вина в кувшине.

Пью, рог тяжелый накрена,—  
Да будет рогом изобилья!  
А если что сказать забыл я,  
Друзья доскажут за меня.



*Льву Смирнову*

Мне нужен брат по перу—  
Делиться последней закруткой,  
И рядом сидеть на пиру,  
И чокаться шуткой о шутку.  
Душа устаёт голосить  
По дружбе, как небо, огромной.  
Мне некого в дом пригласить,  
И сам я хожу, как бездомный.

Тоскуем по дружбе мужской,  
Особенно если за тридцать.  
С годами тоска обострится,  
Но все-таки лучше с тоской.

Надежды единственный свет,  
Прекрасное слово: товарищ...  
Вдруг теплую руку нашаришь  
Во мраке всемирных сует.

Но горько однажды открыть,  
Что не во что больше рядиться,

С талантом для дружбы родиться,  
Таланта не применить...

Тоскую по дружбе мужской  
Тоской азиатской и желтой...  
— Да что в этой дружбе нашел ты?  
— Не знаю. Тоскую порой.

## На лежбище

КОТИКОВ

Я видел мир в его первичной сути.  
Из космоса, из допотопной мути,  
Из прорвы вод на командорский мыс  
Чудовища, подтягивая туши,  
Карабкались, вползали неуклюже,  
Отряхивались, фыркали, скреблись.

Под мехом царственным подрагивало сало,  
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.

Обрывистое, каменное ложе.  
Вожак загадочным (но хрюкающим все же)  
Тяжелым сфинксом замер на скале.  
Он словно сторожил свое надгробье,  
На океан взирая исподлобья  
С гримасой самурая на челе.

Под мехом царственным подрагивало сало,  
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.

А молодняк в воде резвился рядом.  
Тот, кувыркаясь, вылетал снарядом,  
Тот, разогнавшись, тормозил ластом  
И затихал, блаженно колыхаясь,  
Ухмылкой слабоумной ухмыляясь,  
Пошлепывая по спине хвостом.

Но обрываются затишье и дремота.  
Они, должно быть, вспоминают что-то,  
Зевота скуки расправляет пасть.  
Как жвачка, пережеванная злоба  
Ласты шевелит, разъедает небо,  
И тварь встает, чтоб обозначить власть.

Соперники! Захлебываясь, воя,  
Ластами шлепая, котиху делят двое,  
Кричащую по камням волоча.  
Один рванул! И черною лавиной  
С еще не докричавшей половиной  
К воде скатился и затих, урча.

Два секача друг друга пропороли!  
Хрипя от похоти, от ярости, от боли,  
Воинственным охваченные пылом,  
В распоротых желудках рылись рылом,  
Заляпав кровью жаркие меха!  
Спешили из дымящейся лохани  
Ужраться до смерти чужими потрохами,  
Теряя собственные потроха...

И хоть бы кто! Подрагивало сало,  
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.

Здесь каждый одинок и равнодушен,  
Покамест сам внезапно не укушен,  
Не сдвинут с места, не поддет клыком.  
И каждый замкнут собственной особой,  
На мир глядит с какой-то сонной злобой  
Недвижным, гипнотическим зрачком.

Здесь запах падали и аммиачно-серный  
Извечный дух вселенской свинофермы,  
Арктическая злоба и оскал.  
Здесь солнце плоское, закатное, рябое,  
Фонтаны крови над фонтанами прибоя,  
И сумрак, и гряда безлюдных скал.

— Нет! — крикнул я.— Вовеки не приемлю  
Гадючьим семенем отравленную землю,  
Где мысли нет, там милосердья нет.  
Ты видишь сам — нельзя без человека!  
Приплюснута, как череп печенег,  
Земля мертва, и страшен звездный свет.

А ночь текла. И млечная громада  
Спиной млекопитающего гада  
Отражена... И океанский вал,  
Над гулом лежбища прокатываясь гулом,  
Холодной пылью ударял по скулам  
И, пламенем белея, умирал.

# Германия 1933 года

Орало радио  
на площадях,  
глашатай двадцатого века.  
Стоял морфинист  
у входа в рай  
под вывескою «Аптека».  
Гипнотизеры средней руки  
на государственной службе,  
Читали доклады  
штурмовики  
о христианской дружбе.  
И равно летели потом  
под откос,  
слушая мерные звуки,  
И те, кого усыпил гипноз,  
и те,  
что спали от скуки.  
А скука такая  
царила в стране,  
такое затмение рассудка,  
Что если шутка могла развлечь,—  
только кровавая шутка.  
Молчали  
надгробья усопших домов,  
молчали  
могилы и морги,  
И сын  
пошел доносить на отца,  
немея в холодном восторге.  
Орало радио  
на площадях,  
глашатай двадцатого века,  
Загнав человека  
в концлагеря —  
во имя сверхчеловека.  
А дни проходили  
своей чередой,  
земля по орбите вращалась,  
Но совесть, потерянная страной,  
долго не возвращалась.





## Песенка о парусе

Веселый флаг на мачте поднят —  
как огонек на маяке.  
И парус тонет,  
и парус тонет  
за горизонтом вдалеке.

А по воде гуляют краски,  
и по-дельфиньи пляшет свет.  
Он — как из сказки,  
он — как из сказки,  
таких на свете больше нет.

А море вдруг приходит в ярость —  
такой характер у морей.  
Куда ты, парус,  
куда ты, парус!  
Вернись скорей,  
вернись скорей!

Но парус вспыхнул, ускользая,  
и не ответил ничего.  
И я не знаю,  
и я не знаю,  
он был иль не было его..



О жажда детская — учиться! —  
зубрить стихи, решать примеры...  
И верить в это, как в приметы  
того, что что-то вдруг случится,

Как можно чем-то пробавляться,  
пустым, незначащим, невечным,  
когда все рвется — прибавляться,  
как в половодье влага в речке!

Выходят в люди поколения.  
Выходят в города деревни.  
И на ветвях рогов оленьих  
побеги, будто на деревьях.

И капля камень точит, точит...  
И почка —  
каменная точка —  
висит на веточке мешком,  
как парашют перед прыжком.

А я опять во сне летаю,  
смеюсь, котлеты уплетаю,  
хватаю факты на лету...  
Неужто я еще расту!!

## У л ы б к а

Накапливаю, как улики,  
приметы строгости зимы.  
Но — на улыбке,  
на улыбке  
идет вращение Земли!

Ей не трагедии — метели,  
не драмы — ветер и мороз.  
Все превращения материи  
не принимаются всерьез.

Земля с улыбкою несется,  
Земля и в стужу — молодцом!  
Ведь если нынче в спину солнце,  
то завтра вновь к нему лицом...

Когда еще играет в прятки  
весна,  
когда зима долга,

улыбка вожаком в упряжке  
легко летит через снега!

Ах, эта легкость, эта ясность!  
Так улыбается дитя.  
Так улыбался Белояннис,  
шутя,  
цветок в руке вертя...

Я знаю, что в тебе, улыбка.  
Не зря, улыбка, вижу я:  
над всем, что слякотно и хлипко, —  
воздушна  
юбочка твоя!

Я знаю, что улыбкой скрыто,  
когда, верша свои дела,  
Земля — конягой — прет без скрипа  
воз, закусивши удила.

И, медленная, как улитка, —  
так раскрывается бутон —  
и на моих губах улыбка  
травую майской сквозь бетон.



Я уезжаю. Мучает, морочит  
дорога. И пророчит и пророчит.  
Мороженые яблоки в Мороче —  
коричневые, ржавые на вкус...  
И ржавый дым. И рыжих сопок ржавость.  
И жадность, и восторженность, и жалость —  
как одинокий придорожный куст.

Прощай, восток! Все эти гулы, гуды,  
и шпалы, и замшелых бревен груды,  
и этот ветер — прямо в губы, грубый —  
все это юность, родина моя.  
Не разбиралась я во всем до точки.  
Простите, облетевшие листочки,  
вы, ручейки, избушки и лесочки.  
Я уезжаю! Уезжаю я.

Простите меня, веточки Охотска,  
за редкость встреч, коротких, как охота.  
Ведь вы весне прощаете охотно  
за доброту недолгое тепло.  
Прости, Хабаровск! Как светло глядишь ты  
сквозь крыши, сквозь беленые лодыжки

**деревьев, сквозь снежинки и сквозь льдышки!..  
Давай простимся, время истекло.**

**Прощай, Совгавань! Больше не поспорим.  
Со взрослых платьев лычки детства спорем.  
Он был из тех, кто в воздухе, над морем.  
На золотом погоне синий кант.  
Выходит, слава утешает слабо.  
Понудивляйся: «Пробивная баба...»  
О, я пробьюсь! До самого генштаба!  
Но ты — прощай. Прощай, мой лейтенант!**

**«Прощай!» — кричу всему, что остается,  
и паровозным гулом отдается,  
и бьется, как ведро о дно колодца,  
и мчится, на пол тенями клонясь...  
Прощай! Не потеряюсь. Не иголка.  
И две девчонки машут нам с пригорка.  
И дым, что пахнет едко и прогоркло,—  
все тот же дым отечества для нас...**



## Н а ш е п о к о л е н и е

Я отроду белых не видывал.  
Я в бой не скакал на коне.  
О, как же отцу я завидовал  
И шашке его на стене!

А время гремело Магниткою,  
Дымилась гора Благодать...  
И было действительно пыткой-  
Про это мне только читать.

Победы со взрослыми праздновал  
И так торопился расти!  
Но так безнадежно опаздывал!  
И так безнадежно грустил...

И крепла Отчизна могучая,  
А рядом, у самых границ,  
Грозовыми черными тучами  
Копился задуманный «блиц».

Стараясь держаться по-взрослому,  
Шагали мы в военкомат.  
И кровь комсомольца Матросова  
Стучала в сердцах у ребят.

О несправедливость отказа  
И зависть к ушедшим другим!  
Еще я, пожалуй, ни разу  
Завистливым не был таким.

Завидовал мужеству, славе ли,  
Иль их боевым орденам!

**Казалось, они не оставили  
Почти ничегошеньки нам!**

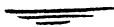
**Но время идет непреклонно.  
И в том знаменитом году  
Грузились и мы в эшелоны,  
Целуя сестер на ходу.**

**Летя бесконечными рельсами,  
Сердцами вбирая страну,  
Мы шли комсомольскими рейсами  
Атаковать целину.**

**И жили вначале не сладко мы,  
И кожа слезала с лица.  
Папатками и неполадками  
Нам стель закаляла сердца.**

**Ладони горели, натружены,  
Жара нас сводила с ума...  
Но золотом были нагружены  
До самых краев закрома!..**

**Походкой иду деловитою  
По колкой пахучей стерне...  
И я никому не завидую —  
Пускай позавидуют мне!**



## М а л ь ч и к и

Уходили мальчики — на плечах  
   шинели,  
Уходили мальчики — храбро песни  
   пели,  
Отступали мальчики пыльными  
   степями,  
Умирали мальчики, где — не знали  
   сами...  
Попадали мальчики в страшные  
   бараки,  
Догоняли мальчиков лютые собаки.  
Убивали мальчиков за побег  
   на месте,  
Не продали мальчики совести  
   и чести...  
Не хотели мальчики поддаваться  
   страху,  
Поднимались мальчики по свистку  
   в атаку.  
В черный дым сражений, на броне  
   покатою  
Уезжали мальчики — стиснув  
   автоматы.  
Повидали мальчики — храбрые  
   солдаты —  
Волгу — в сорок первом,  
Шпрее — в сорок пятом,  
Показали мальчики за четыре года,  
Кто такие мальчики нашего народа.



## У костра

Едкий дым создает уют.  
Искры тлеют и гаснут сами.  
Пять ребят о любви поют  
Чуть охрипшими голосами...

Если б слышали те, о ком  
Эта песня сейчас звучала,  
Прибежали б сюда тайком,  
Чтоб послушать ее сначала.

Чтоб почувствовать до конца  
В нашем дальнем таежном стане,  
Как умеют любить сердца,  
Огрубевшие от скитаний.





## Землякам из Кабарды

О юноши! Вам хочется в седло,  
Вам снятся сабли серебром туманным,  
А небо над селом уже светло,  
И две зари на небе, как две раны.  
Ночь коротка.  
Ночь летом коротка.  
Вот пастухи свои подняли роги...  
Их сон не утолил, как два глотка  
Не утоляют путника в дороге.  
Вы, юноши, спешите на поля,  
На пастбища, к машинам под навесы...  
И смуглые, как летняя земля,  
Ждут свадеб терпеливые невесты.  
А осенью,  
А осенью ржаной  
Под золотые звоны урожая,  
Под нежную гармонь  
уже женой  
Кому-то станет девочка чужая.  
О юноши!  
Целуйтесь до зари,  
Пляшите до зари в кругах веселых,  
Трудитесь до зари, как косари,  
И не мечтайте о боях и седлах!  
Пусть в тишине —  
жужжание осы,  
Дыханье матерей, заснувших в сакле...  
За эту тишину ваши отцы  
В боях с врагом свои тупили сабли.  
Навеки выпадали из седла,  
Еще успев траву принять за гривы,  
Чтоб улицею летнего села,



## Задача

Мальчик жаловался, горько плача:  
— В пять вопросов — трудная задача!  
Мама, я решить ее не в силах:  
У меня и пальцы все в чернилах,  
И в тетради места больше нету,  
И число не сходится с ответом!  
— Не печалься! — мама отвечала.—  
Отдохни и все начни сначала!  
Жизнь поступит с мальчиком иначе:  
В тысячу вопросов даст задачу.  
Пусть хоть кровью сердце обольется,  
Все равно решать ее придется.  
Может, скажет он, что силы нету.  
Но ведь жизнь потребует ответа!  
Времени она оставит мало,  
Чтоб решить задачу ту сначала.



**С ы н у**

Края опушки оторочены  
Венком куриной слепоты,  
Где навзничь у лесной обочины  
В погожий день ложишься ты.

Тебя заставила прищуриться  
Даль, что не ведает границ.  
И мигом радуга-причудница  
Затеплилась между ресниц.

И рад прислушиваться к речи ты  
Листвы, заговорившей вдруг,  
И наблюдать, как чертят кречеты  
Над головой за кругом круг,

Благословляю изумление,  
Которое  
    да будет впредь  
В тебе рождаться из умения  
Прислушиваться и смотреть.

И, думая о разной разности,  
Ты, словно отражая свет,

Приходишь к ощущенью ясности  
Вдали от суеты сует.

# Советники

Когда по уму подбираются  
Советники на посты,  
Премьеры на них полагаются,  
Маршалы и послы.

Приходят ко мне собеседники  
И, не счтя за труд,  
Как преданные советники,  
Советы мне подают.

Ценю вас, мои советники,  
Искренне в вас влюблен,  
Истинные наследники  
Рыцарей всех времен.

Не сплетники, не привередники  
Мне подают совет.  
Есть и у вас советники,  
А у кого их нет?

В радости и в печали  
Их сами по своему  
Образу мы избрали,  
Мужеству и уму.





Он собирался многое свершить,  
Когда не знал про мелочное бремя.  
А жизнь ушла  
на то, чтоб жизнь прожить.

По мелочам.

Цените, люди, время!

Мы рвемся к небу, ползаем в пыли,  
Но пусть всегда, везде горит над  
всеми:

Вы временные жители земли!  
И потому цените, люди, время!

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сорок лет!.. Сквозь пургу и бураны,  
Среди молний, побед и невзгод...  
И идут на покой ветераны:  
Даже сталь, говорят, устает.  
Годы мчатся...

Вчерашние дети,  
Мы становимся старшим под стать  
И за все, что творится на свете,  
Начинаем сейчас отвечать...

**Да,**  
за все, в чем воспитаны с детства,  
Без чего нам не жить,  
не любить...

Революции нашей наследство  
Обязует нас зоркими быть.  
Но не думай, что путь уготован,  
Что наследьем ее чистоты  
Навсегда и во всем застрахован  
От любого падения ты.  
Нам завещано Дело и Знамя,  
И страна, что прошла сквозь бои...  
Вот и все!

Поколения сами  
Отвечают за судьбы свои.  
Нынче очень не просто на свете.  
В трудный час мы с тобой подросли...  
Но сегодня мы тоже в ответе  
За надежду и счастье земли.  
Путь истории — он нескончаем.  
Тем путем мы не просто идем,  
А идем, за него отвечая...  
И, как старшие, не подведем!



## Как матросы стирают робы

Испытали бы — ради пробы, —  
Как матросы стирают робы!  
Распинают их в жарком душе,  
Трут мочалом, ругают в душу,  
И ногами их мнут в горячке,  
И выкручивают,

как прачки.

Скользким кубиком натирают,  
Драют шваброй, ногтями драют  
И вдыхают, блестя от жара,  
Синеватые клубы пара.  
Эх, и мыло, на что душисто!  
Пару выдайте, машинисты!  
Где там веник — березка с грустью! —  
Чтоб до сердца пробрало Русью!  
Подлечиться, погорячиться —  
Бей от кончика до ключицы,  
Чтоб носилась бы век,  
до гроба  
Эта выдубленная роба!



# Романтика

Романтика! В поту,  
В снега и непогоды  
Я разгружал в порту  
Такие пароходы!

Ловил мешки спиной,  
Отшагивал этапы,  
И гнулись подо мной  
И вздрагивали трапы.

А там, отдав концы,  
Назойливо, угрюмо  
Толкались, как птенцы,  
Прожорливые трюмы.

Я их крестил сквозь пот,  
Я им всыпал! И все же —  
И все же, что ни год,  
Становится дороже

Медузы влажный зонт,  
И великан гудящий,  
И смутный горизонт,  
И парус уходящий.



Свое  
У каждого сражение,  
Но победит в нем  
Только тот,  
Кто знает  
Высшее служение —  
За всех  
Сражение ведет.  
Не жаждой славы или ордена —  
Нам сердцем искренним дано  
Свое —  
Пусть маленькое —  
Болдино,  
Свое —  
Хоть раз —  
Бородино!



## Озерная элегия

Я не люблю себя, когда  
Опять любовь меня уносит  
И я покорна, как вода  
На деревянном водосбросе.

И, как разлив большой воды,  
Теряю путь и очертанье,  
И только счастья ожиданье,  
Как ожидание беды...

А в сердце, в самой глубине,  
Ищу отчаянно свободы,  
А нежность копится во мне,  
Как будто грунтовые воды...

Но я люблю себя, когда  
Любовь права свои теряет,  
Спадает полая вода  
И направленье обретает,

И в сердце пушечки палят:  
«Ура!» — и я ловлю устало  
На палубе прощальный взгляд  
В меня с озерного вокзала.

Я не щедра. И не добра.  
Глаза сощурены и малы.  
И путь мой прям, и мысль остра,  
Как будто прорези канала!

## Письмо в Ленинград

Здравствуй, радость моя,— земля,  
Асфальтированная небом,  
Серым зайцем — угольным снегом  
Вся одетая, как поля,  
По которым легла лыжня,  
Голубая, трамвайная...  
Горожанкой я рождена,  
Будет стриженую трава моя,  
Будет слепнуть ладожский лед  
На заливе — моей ладони...  
Как взлетающий самолет,  
Я разбег беру на бетоне  
И лечу над землей, лечу...  
И, как птица, домой хочу...  
Ах, какой бумагою писарской,  
Кто решал за меня во мгле,  
Будет Гаванской или Шкиперской  
Моя улица на земле...



## Первый снег

Над землей кружится первый снег,  
На землю ложится первый снег.  
Пишут все —  
Печатают не всех,  
Иногда печатают не тех.  
Пишут про зеленые глаза  
Или про дорожные волнения.  
Образы стоят, как образа,  
По углам в таких стихотворениях.  
Только есть стихи — как первый снег,  
Чистые,  
Как белый первый снег,  
Есть они у этих и у тех.  
Ненаписанные, есть у всех!

## Рабочая сила

Есть термин особый —  
«рабочая сила»,  
Есть термин железный —  
рабочая сила!  
И хочется мне задохнуться от

крика:

«Рабочая сила» — строка из  
приказа!

Да, сила, но как же она многолика!  
Да, сила, но как же она разноглаза!  
Железные корни пустившая в  
камень,

безлюдной тайгой  
протянувшая кабель...  
Я встретил на Братской  
рабочую силу —  
она оказалась девчонкой красивой,  
с губами припухшими,  
тонкой фигурой,  
на ноге,  
как ранка,  
след маникюра.  
Рабочая сила,  
а имя — Фаина.

Ах, как она водит по стройке  
машину!

Все может:  
прорваться сквозь дождь  
и сквозь слякоть,  
крутым поворотом  
промчаться шикарно  
и даже... —  
вы слышите! —  
даже заплакать,  
прижавшись покрепче  
к любимому парню.  
Снимает спецовку  
в грязи и в бензине,  
в горячих ладонях  
усталость и сладость.  
Снимает шофер «рабочую силу»  
и одевается в девичью слабость.  
И снова становится  
девочкой бойкой...

Есть термин — «рабочая сила».  
Прекрасно!  
Но сколько же лиц  
у великого бога,  
всемирного бога —  
рабочего класса!

# Ожидание

Снова к вам прихожу,  
березки-фасонницы,  
до утра не стоять вам теперь  
нелюдимо:  
раз ко мне приходит бессонница,  
вы мне просто необходимы.  
Раз весна зашумела  
по жилам и в желобе,  
не желая считаться  
с зимней просинью,  
разговором зеленым разговаривают желуди  
с синей озимью!  
Я заснуть не могу  
от радостной зависти,  
я забыть не могу,  
как шептались влюбленные ивы,  
как влюбляются сливы  
по самые завязи  
в этот мир,  
молодой и счастливый!  
И осенние шорохи  
и шепот влюбленных  
охраняет влюбленный часовой на посту.  
Я стою, как березка,  
молодой и зеленый,  
вы подвиньтесь, березки:  
я с вами до утра порасту!





Все поезда уходят без меня.  
Ночной перрон от фонарей нагрелся.  
И, над глухими шпалами звеня,  
как две вожжи, перехлестнулись  
рельсы.

А поезд — он живой: он тоже может  
захлебываться ветром, уставать,  
лететь, спешить, и только пот  
на коже,

на гладкой коже будет выступать.

Я догоню зеленые составы  
и лоручни холодные схвачу.  
Меня посадят тоненькие травы.  
Я полечу,  
я тоже полечу.

Залпещутся полынные откосы.  
И дух ржаной. И стылые ручьи.  
И горькие, усталые березы,  
светящиеся фосфором в ночи.

И месяц щукой вынырнет на плесе,  
и дни по шпалам будут мчаться  
прочь,

и пробредут задумчивые лоси,  
над головой раскачивая ночь.  
А где-то тихо заклекочат лебеди,  
и воробьи на кустах замрут.

И будет ветер разбиваться  
вдребезги  
о вычерченный рельсами маршрут.

# Здравствуй, занятый человек!

В узкой комнате, как в колодце,  
взяли в плен тебя стеллажи.  
Знаешь, делает нынче солнце  
сумасшедшие виражи.  
У весны особенный почерк:  
даже небо глядит, звеня,  
как грохочут тугие почки  
и взрываются зеленыя.  
Знаешь, лучше уедем за город.  
Я у книг тебя украду.  
Кабинет твой закрою наглухо,  
по лесам тебя поведу.  
И меды с их тягучей сладостью  
пронесут над тобой шмели.  
Нет светлей и красивей радости,  
чем испытанная у земли!  
А когда в полудреме сонной  
ты сольешься с землей голубой,  
тонкой веточкой, лесней Сольвейг  
закачаюсь я над тобой.





## Мои предки

Горец, кинжал не носил я  
бесценный,  
Сабли старинной не брал я в бою.  
Но не судите меня за измену,  
Предки мои,  
Предки мои!  
Я не пою, а пишу на бумаге,  
Мерю пальто городского сукна,  
Но без терпенья, без вашей отваги  
Грош мне цена,  
Грош мне цена!  
Я на своих опираюсь предтечей.  
Так, зажимая рану свою,  
Вы опирались друг другу на плечи  
В смертном бою,  
В смертном бою!  
Я удивляюсь величию и силе  
Песен, звучавших в минувшие дни,  
Предок мой, прадед мой, нас  
породили  
Горы одни,  
Горы одни!  
Вспыхнет весенняя молния где-то.  
Сплю я, и кажется мне иногда:  
Вместе мы скачем, и с наших  
бешметов  
Льется вода,  
Льется вода!  
Видел я много невиданных вами  
Стран и народов, неведомых вам,  
Но, возвратясь,  
Припадал я губами

**К отчим камням,  
К отчим камням!  
Горец, кинжал не носил я** бесценный,  
**Сабли старинной не брал я в бои.  
Но не судите меня за измену,  
Предки мои,  
Предки мои!**



**Кто может выгоде в угоду  
Кричать о том, что ворон бел,  
Тот не поэт** и не был сроду  
**Поэтом, как бы он ни пел.  
И тот, кто говорит без риска,  
Что плох хороший человек,  
Пусть даже не подходит близко  
К святой поэзии вовек.  
За правду голову сложить  
Дано не каждому,** но все же  
**Героем может он не быть,  
Но быть лжецом поэт не может.**



**Чужой бедою жить не все умеют,  
Голодных сытые не разумеют.  
Тобою, жизнь, балован я и пытан,  
И впредь со мною делай что угодно,  
Корми, как хочешь, но не делай** сытым,  
**Глухим, не понимающим голодных.**

Перевел с балкарского  
Н. ГРЕБНЕВ.



## Доска почета

Городам в России нету счета.  
Почта... Баня... Пыль и тишина.  
И доска районного почета  
на пустынной площади видна.

Мэплом намалеваны разводы,  
две колонны, словно две колоды.

Работенка, скажем, неказиста  
местных инвалидов-кустарей —  
выцветшие каменные лица  
плотников, доярок, слесарей.

Я-то знаю, как они немеют  
и не знают, руки деть куда.  
Становиться в позу не умеют,  
вот пахать и строить — это да.

Городкам в России нету счета.  
К площади Центральной подхожу  
и на доску местного почета  
с тихим уважением гляжу.

Всматриваясь в выцветшие фото,  
все как есть приму и все пойму  
в монументах временной работы  
скромному народу моему.

# Морская качка

Прилег,  
позабылся и стал вспоминать  
о жизни,  
о смерти,  
о доме.

И стало казаться: баюкает мать  
меня в полутьме, в полудреме.  
Еще молодая, как будто вчера,  
и волосы не поседели.

А я недоступен для зла и добра,  
я просто лежу в колыбели.

Ни славы, ни денег не надобно мне —  
я где-то на грани сознания.

Я чист, словно снег, и безгрешен, я вне  
коварства, любви и страдания.

А песенка, светлая, словно капель,  
журчит,

обнимает,  
прощает...

А море качает мою колыбель  
и в детство меня возвращает.



## Шашки

Я представляю все замашки  
Тех двух за шашечной доской.  
Один сказал: сыграем в шашки!  
Вы легче справитесь с тоской.

Другой сказал: к чему побряжки!  
Вам не понять моей тоски,  
Но если вам угодно в шашки,  
То согласитесь в поддавки.

Ах, как легко они играли!  
Как не жалели ничего!  
Как будто по лесу плутали  
Вдали от дома своего.

Что шашки! Взглядом умиленным  
Свою скрепляли доброту,  
Под стать уступчивым влюбленным,  
Что в том же прятались саду.

И в споре двух великодуший  
Тот, кто скорее уступал,  
Себе, казалось, делал хуже,  
Но, как ни странно, побеждал.



Октябрь. Среди полян и просек  
Стоят туманы и дожди.  
Уже взаимности не просит  
Любовь, лишь прячется в груди.

**И мы, спокойны и печальны,  
В лесах гуляем, не слышны.  
И наши маленькие тайны  
Одной большой окружены.**



**Любитель подледного лова,  
Едва лишь утихла метель,  
Среди ледяного покрова  
Ты выдолбил узкую щель.**

**О, если представить в разрезе  
Картину февральской реки,  
На дне, в барахле и железе,  
Увидим: спуют пауки.**

**Так щука у ржавой кровати  
Добычу свою сторожит.  
Под ней из-под щуки в томате  
Консервная банка лежит.**

**А дальше и вовсе нелепо:  
В три пальца моих толщиной  
Кольшется твердое небо,  
Качается свод ледяной.**

**Подводный напуганный житель  
Всплывает, сомнением томим,  
И слышит, как ходит любитель  
И кашляет громко над ким.**

**Он деятель высшего плана,  
Сидит на замерзшей волне,  
И все-таки все это странно,  
Хотя и понятно вполне.**



## Норильск

Я бродила в норильском парке.  
Я не видела почвы скупее.  
Там деревьев щедедушные палки  
Не дотягивались до скамеек.

Лишь скамейки там были зеленые,  
Наклонялись к деревьям влюбленные —  
Шла весна на прорыв  
И на риск...

Я бродила,  
Глядела  
И ойкала...  
А у парка,  
За парком,  
И около,  
И вокруг  
Возвышался Норильск.

Желто-розовый,  
Стройно-каменный,  
По-мальчишески нежен и крут,  
Он казался московской окраиной,  
Перешедшей Полярный круг.



Я как бы приближаюсь к омуту,  
Когда ступаю в эту комнату.  
О, сколько музыки утоплено

**В ее всеядной болтовне!  
Здесь пианино —  
Как утопленник  
В раздутой белой простыне.**

**А все же комната не кладбище.  
И раз,  
А то и два на дню  
Ее хозяйка смотрит в клавиши,  
Как в зубы доброму коню:**

**Он — конь недвижимый,—  
Он вывезет:  
Ушла на музыку деньга!**

**Еще гостям хозяйка вынесет  
Две репродукции Дега.**

**Померкнут танцовщицы в розовом  
И побледнеют в голубом:  
Сейчас и оптом их  
И в розницу  
Начнут слюнявить за столом  
Искусства сытые поклонники...**

**Где тут начало!  
Где концы!  
Твои фарфоровые слоники —  
Лишь желторотые птенцы.**

**—**



*Посвящается А. М.*

**Как бы в своей особенной стране  
Живут глухонемые в тишине.**

**В том государстве, точно как и всюду,  
Земля и небо, солнце и луна,  
Но если кто случайно бьет посуду,—  
Беззвучно разбивается она.**

**Все, как обычно: реки и деревни,  
И города, и в городах метро.  
Но ни о чем не шепчутся деревья,  
Ветвями шевелящие мертво.**

**Бесшумны тротуары, как подстилки,  
Прносятся трамваи, как во сне,  
И с яркими наклейками пластинки  
Бессмысленно кружатся в тишине.**

**И камень в реку падает без всплеска,  
Но есть круги от всплеска на воде.  
Нет радио. Но есть футбол и пресса,  
Такие же, как всюду и везде.**





## Год рожденья моего

Тысяча девятьсот пятый,  
Год рожденья моего!  
Я не помню ни его набата,  
Ни знамен и ни икон его.  
И не помню, как экспроприатор  
Вырывался из своей петли,  
И того, как юный авиатор  
Отрывался от сырой земли.

Где-то гибли, где-то шли на приступ.  
Воздвигались новые леса.  
Где-то Ленин целился в махистов,  
В глубь вещей Пикассо ворвался,  
Циолковский вычислял ракету,  
Затрудняясь прокормить семью.  
И Эйнштейн, еще неведом свету,  
Выводил уж формулу свою.

Вот что над моею колыбелью  
Колебалось, искрилось, лилось.  
И каких бы стрел я ни был целью,  
Сколько б их мне в тело ни впилося,  
Сколько б трав ни выпил я целебных,  
На каком бы ни горел огне,—  
Все же сказок никаких волшебных  
Нянька не рассказывала мне.

Не могу похвастаться я этим,  
Но зато похвастаться могу,  
Что, возвращенный молодым столетьем,  
Вырос я в незримом их кругу...

## Проблема перевода

Я вспомнил их, и вот они пришли. Один в лохмотьях был, безбров и черен: схоластику отверг он, непокорен, за что и осужден был, опозорен и, говорят, не избежал петли.

То был Вийон.

Второй был пьян и вздорен, блаженненького под руки вели, а он взывал: «Пречистая, внемли, житейский путь мой каменист и торен, кабатчикам попал я в кабалу. Нордау Макса принял я хулу, да и его ли только одного!»

То был Верлен.

А спутник у него был юн, насмешлив, ангелообразен, и всякое творил он волшебство, чтоб все кругом сияло и цвело: слезу, плевков и битое стекло преобразал в звезду, в цветок, в алмаз он и в серебро.

То был Артюр Рембо.

И, может быть, толпились позади еще другие, смутные для взгляда, пришедшие из рая либо ада. И не успел спросить я, что им надо, как слышу я в ответ:

— Переводи!

А я сказал:

— Но я в XX веке живу, как вам известно, господа. Пекусь о современном человеке. Мне некогда. Вот вы пришли сюда, а вслед за вами римляне и греки, а может быть, этруски и ацтеки пожалуют, что делать мне тогда! Да вообще и стоит ли труда! Вот ты, Вийон, коль за тебя я сяду и, например, хоть о Большой Марго переведу как следует балладу, произнесет редактор: «О-го-го! Ведь это же — сплошное неприличие!» Он кое-что смягчить предложит мне. Но не предам своей сатиры бич я редакционных ножниц тупизне! Я не замажу кистью штукатура готическую живопись твою!

А «Иностранная литература», я от тебя, Рембо, не утаю, дала недавно про тебя, Артюра, и переводчиков твоих статью — зачем обратно на земные тропы они свели твой образ неземной подробностью ненужной и дурной, что ты, корабль свой оснастил хмельной и космос рассмотрел без телескопа, вдруг, будто бы мальчишка озорной, задумал оросить гелиотропы, на свежий воздух выйдя из пивной.

И я не говорю уж о Верлене — как надо понимать его псалмы, как вывести несчастного из тьмы противоречий! Дверь его тюрьмы раскрыть! Простить ему все преступленья; его лирическое исступленье, его накал до белого каленья. Пускай берут иные поколенья ответственность такую, а не мы!

Нет, господа, коварных ваших строчек да не переведет моя рука, понеже ввысь стремлюсь, за облака, вперед гляжу, в грядущие века. И вообще какой я переводчик! Пусть уж другие и еще разочек переведут, пригладив вас слегка!

Но если бы, презрев все устрашенья, не сглаживая острые углы, я перевел вас — все-таки мишенью я стал бы для критической стрелы; и не какой-то куро-петушиной, но оперенной

дьявольски умно: доказано бы было все равно, что только грежу точности вершиной, но не кибернетической машиной, а мною это переведено; что в текст чужой свои вложил я ноты, к чужим свои прибавил я грехи и в результате вдумчивой работы я все ж модернизировал стихи. И это верно, братья иностранцы; хоть и внимаю вашим голосам, но изгибаться, точно дама в танце, как в данс-макабре или контрдансе, передавать тончайшие нюансы средневековья или Ренессанса — в том преуспеть я не имею шанса, я не могу, я существую сам!

Я не могу дословно и буквально, как попугай вам вторить какаду! Пусть созданное вами гениально, по-своему я все переведу, и на меня жестокою облаву затеет ополченье толмачей: мол, тать в ночи, он исказил лукаво значение классических вещей.

Тут слышу я:

— Дерзай! Имеешь право. И в наше время таких вещей не избегали. Антокольский Павел пусть поворчит, но это не беда. Кто своего в чужое не добавил! Так поступали всюду и всегда! Любой из нас имеет основание добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодование, в чужое тленье своего огня. А коль протак взялся бы за работу, добавил бы в чужие он труды: трудолюбив — так собственного пота, ленив — так просто-напросто воды!



## Б о б р ы

В зоопарке в тесноватой клетке  
Беззаботно жили два бобра,  
Разгрызая ивовые ветки,  
Мягкие, с отливом серебра,  
Но горчил печалью полускрытой  
Терпкий привкус  
Листьев и коры.  
«Ну, а где же то,  
За что мы сыты!  
Где работа!» — думали бобры.  
Как рабочих к лени приневолишь!  
Им бы строить,  
Строить да крепить,  
А у них для этого всего лишь  
Пополам расколотый кирпич.  
Подошли бобры к нему вплотную,  
Половинку подняли с трудом,  
С важностью взвалили на другую...  
Из чего же дальше строить дом!  
Что же дальше делать им!  
Не знают.  
Приутихли, сумрачно глядят.  
Сгорбились,  
О чем-то вспоминают  
И зеленых веток  
Не едят.



Сети кругом развешены,  
Хочется их потрогать.  
Руки у каждой женщины  
Обнажены по локоть.

Ходят шагами крупными,  
Перекликаясь громко.  
Водят руками круглыми,  
Розовыми, как семга.

Синяя, белая, красная  
Бьется в сетях добыча.  
И красота их разная,  
Женская и девичья,

Правильная и пряничная,  
Служит делу подспорьем.  
И вся городская прачечная  
Пахнет соленым морем.

## Открытое письмо анониму

Я к вам пишу.  
А как вас звать!  
Никак!  
Чего же боле!  
Меня презреньем наказать  
Никак  
Не в вашей воле.  
От самой древней древности  
На то и аноним,  
Что, стало быть, в презренности  
Никем не заменим.  
Стрелять в затылок не хитро.  
И стоит ли труда  
Иметь бумагу и перо  
И не иметь стыда!!  
Ты рвешься правду мне открыть!  
Но как! Путем неправды!!  
Открой лицо — и, может быть,  
Хоть в этом будешь прав ты.  
Смотри! Двенадцать тысяч слов.  
Но подпись: «Аноним» —  
И все двенадцать тысяч слов  
Зачеркнуты одним.  
Ты рвешься в бой!  
О чем же речь,  
Коль сильно разобрало!  
Но прежде чем подыметь меч,  
Изволь поднять забрало.



А то ведь я-то — вот она.  
А ты неуловим.  
Нет! Не по правилам война!  
Откройся, аноним!  
Но что за дерзкая мечта —  
Увидеть анонима!  
Неуязвима пустота.  
Ничтожество незримо.

И даже видя подлеца,  
Чья подлость не секрет,  
Мы видим маску.  
А лица —  
Увы! — под маской нет!

## Лженоваторам

*Сонет*

Реформа — стройка,  
Ломка — полреформы.  
А между тем, новаторы, — увы! —  
Сломали вы  
Постройку старой формы,  
А новых форм не выстроили вы.  
Крот роет грот,  
Косами вьются корни,  
Рождается струна из тетивы,  
Дождь месит глину,  
Луч меняет форму.  
Все гнется, льется...  
Спите только вы.  
И сон зовете новью!  
Знаю: стансы  
Сошли на нет.  
Но что взошло «на да»!  
Один на всех  
Унылый слог остался  
Да лесенка скрипучая.  
И та  
Годна не для подъема,  
А для спуска  
С подмостков задремавшего искусства.





**А часто ли видел ты близких своих!  
Всего только несколько раз,  
Когда твой досуг был просторен и тих  
И пристален взгляд твоих глаз.**



**Люди пишут, а время стирает,  
Все стирает, что может стереть.  
Но скажи: если слух умирает,  
Разве должен и звук умереть!**

**Он становится глуше и тише,  
Он смешаться готов с тишиной.  
И не слухом, а сердцем я слышу  
Этот смех, этот голос грудной.**



**Как птицы, скачут и бегут, как мыши,  
Сухие листья кленов и берез,  
С ветвей срываясь, устилают крыши,  
Пока их ветер дальше не унес.**

**Осенний сад не помнит, увядая,  
Что в огненной листве погребена  
Такая звонкая, такая молодая,  
Еще совсем недавняя весна.**

**Что эти листья — летняя прохлада,  
Струившая зеленоватый свет...  
Как хорошо, что у деревьев сада  
О прошлых днях воспоминанья нет.**



**На всех часах вы можете прочесть  
Слова простые истины глубокой:  
Теряя время, мы теряем честь.  
А совесть остается после срока.**

**Она живет в душе не по часам.  
Раскаянье всегда приходит поздно.  
А честь на час указывает нам  
Протянутой рукою — стрелкой  
грозной.**

Чтоб наша совесть не казнила нас,  
Не потеряйте краткий этот час.  
Пушай, как стрелки в полдень, будут  
вместе  
Веленья нашей совести и чести.



Сколько раз пытался я ускорить  
Время, что несло меня вперед,  
Подхлестнуть, вспугнуть его, пришпорить,  
Чтобы слышать, как оно идет.

А теперь неторопливо еду,  
Но зато я слышу каждый шаг.  
Слышу, как дубы ведут беседу,  
Как лесной ручей бежит в овраг.

Жизнь идет не медленней, не тише,  
Потому что лес вечерний тих,  
И прощальный шум ветвей я слышу  
Без тебя — один за нас двоих.



## Бабы

Я помню эти выстрелы в ночи,  
По-волчьи выли бабы на печи,  
Казалось каждой в этот страшный час,  
Что мужа расстреляли в сотый раз.

Они своих не помнили заслуг,  
По семеро впрягались бабы в плуг,  
Чтоб хлеб родили минные поля,  
Чтоб ровной стала рваная земля.

А нынче в хатах есть и хлеб и соль,  
Былую жгучесть выплакала боль,  
И слезы вдовьи сдержанно текли...  
Все сердцем бабы вытерпеть смогли.

Когда в дороге встретятся они,  
В поклоне низком голову склони.  
Залатанная бабами земля  
Вспоила море — хлебные поля.





## А к т е р

(Монолог)

Начну я новый монолог.

Душа не ждет покоя.

Одежды ветхое старье с себя

легко сорву.

Вот тело вечное мое. Оно совсем

нагое.

Я снова с человеком схож

и с вами вновь живу.

Я с вами схож.

За сотни лет я заработал право

как равный с равными

опять беседовать с людьми.

Роль коротка моя.

Понять попробовали б, право,

метаморфозу древних чувств —

печали и любви.

Я был Пьеро...

И я страдал за человеческий улей,

за сонм его несовершенств, за страх

его и грех.

А вас душил утробный смех,

да так, что гнулись стулья...

И чем печальней был мой плач, тем

громче был ваш смех.

И я нырнул на дно души, в ее

глубины глянул!

Шел по корням и по камням,

петляя и кружа,

через жестокость, через ложь...

И свет в глаза мне грянул!

Через злословье, через мрак...

Очистилась душа!





жестокость, зависть и вражду...

Ну, смейтесь — ваш черед!

Но ваши губы сводит плач. Они

бледней, чем стены.

Подкраситься бы вам, как мне...

Да краска не берет...

Да смейтесь вы!

Но если вы

смеяться разучились,

я посмеюсь над вами сам: мне

правда дорога.

Хотелось вам, чтоб это я нагим,

пред вами вылез,

а это вы передо мной раздеты

донага.

...Парад пороков!

К рампе все... А ну,

сходитесь ближе!

Я Арлекин. И я смеюсь, разглядывая

вас.

Вы плачете! У вас печаль!.. О, я

прекрасно вижу,

как слезы мутные бегут из ваших

мутных глаз...

...Ролями поменялись мы. Прекрасно!

Но занавес уже на сцену лег,

и освещение

уже погасло...

Не правда ли, смешной был монолог!..

Перевел с литовского

Б. ОКУДЖАВА

Париж.

## Поцелуй

Умирает солдат...

Погибает герой...

Рану горстью земли зажимает,

И глотает земля раскаленную кровь,  
кровь багрит ее и зажигает.

**(А земле бы не крови испить, а воды.  
А земля умоляет солдата:  
Ты засеи меня хлебом,  
взрасти мне сады,  
и воздам я за это стократы!)**

**Перед тем, как солдату совсем погибать,  
приподнялся солдат на мгновенье  
и кровавую землю прижимает к губам,  
и целует, прижимает к губам,  
и просит прощенья...  
Умирает солдат...**

**Перевел с литовского  
Борис СЛУЦКИЙ.**

**Лето 1943 года  
под Орлом.**



## Мальчик с девочкой дружил...

Мальчик с девочкой дружил,  
Мальчик дружбой дорожил.

Как товарищ, как знакомый,  
Как приятель он не раз  
Провожал ее до дома,  
До калитки в поздний час.

Очень часто с нею вместе  
Он ходил на стадион,  
И о ней как о невесте  
Никогда не думал он.

Но родители-мещане  
Говорили так про них:  
«Поглядите! К нашей Тане  
Стал захаживать жених!»

Отворяют дверь соседи,  
Улыбаются: «Привет!  
Если ты за Таней, Федя,  
То невесты дома нет!»

Даже в школе! Даже в школе  
Разговоры шли порой:  
«Что там смотрят в комсомоле!  
Эта дружба — ой-ой-ой!»

Стоит вместе появиться,  
За спиной уже: «Хи-хи!  
Иванов решил жениться!  
Записался в женихи!»

**Мальчик с девочкой дружил,  
Мальчик дружбой дорожил.**

**И не думал он влюбляться  
И не знал до этих пор,  
Что он будет называться  
Глупым словом «ухажер»!**

**Чистой, честной и открытой  
Дружба мальчика была.  
А теперь она забыта!  
Что с ней стало! Умерла!**

**Умерла от плоских шуток,  
Злых смешков и шепотков,  
От мещанских прибауток  
Дураков и пошляков.**



**Памяти  
Тициана Табидзе**

На Мцхету падает звезда,  
Крошатся огненные волосы,  
Кричу нечеловечьим голосом —  
На Мцхету падает звезда!..

Кто разрешил ее казнить,  
Кто это право дал кретину  
Совать звезду под гильотину?  
Кто разрешил ее казнить,

И смерть на август назначал,  
И округлял печатью подпись!  
Казнить звезду — какая подлость!  
Кто смерть на август назначал!

Война — тебе! Чума — тебе,  
Убийца, выведший на площадь,  
Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.  
Война — тебе! Чума — тебе!

На Мцхету падает звезда.  
Уже не больно ей разбиться.  
Но плачет Тициан Табидзе...  
На Мцхету падает звезда...

## Рождение крыла

Все тело с ночи лихорадило,  
Температура — сорок два.  
А наверху летали молнии  
И шли впритирку жернова.

Я уменьшалась, как в подсвечнике,  
Как дичь, приконченная влет.  
И кто-то мой хребет разламывал,  
Как дворники ломают лед.

Приехал лекарь в сером ватнике,  
Когда порядком рассвело.  
Откинул тряпки раскаленные,  
И все увидели крыло.

А лекарь тихо вымыл перышки,  
Росток покрепче завязал,  
Спросил чего-нибудь горячего  
И в утешение сказал:

— Как зуб, прорезалось крыло,  
Торчит, молочное, из мякоти.  
О господи, довольно плакати!  
С крылом не так уж тяжело.

## Осень в Абхазии

Земля заляпана инжиром,  
Сады приклеились к дверям.  
Рыбак, пропахший рыбьим жиром,  
Дарует юбки дочерям.

Из кожи вылезли платаны,  
Как вылезают из долгов.  
Октябрь! Из неба бьют фонтаны —  
Над нами навзничь Петергоф.

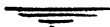
**Настоян воздух на укрепе.  
Вразбивку дождь и солнцепек.  
Как зрелище в калейдоскопе,  
Листва готова наутек.**

**Стелю у моря полотенце —  
Четыре лебеда с каймой,  
Четыре ангела с младенцем  
От ведьмы — к матери, домой.**

**И замыслов счастливых стайка  
У изголовья тут как тут,  
На каждом трусики и майка,  
Поглажу их — пускай растут!**

**А по ночам морские пены  
Поют в избытке серебра,  
И остывающие стены  
С лежанки гонят в пять утра.**

**Рассвета розовое древо  
Шумит надеждами во мне,  
И тень моя уходит влево  
С двумя крылами на спине.**



## Всадники

Трое суток нам дают на отдых.  
Что с того! Среди таких равнин  
Нас сам черт не оторвет от потных,  
Как дождем облитых, конских спин.

А живем мы здесь — с коней не слазим,  
Днюем и ночуем на конях...  
Свалит сон,— шинель не скинув, наземь,  
Пистолет с планшетом в головах.

Только солнце встанет над лощиной,  
Заново бескрайним летним днем  
Наши песни княжат над Княшиной,  
Государят над Господарем.

Атаманствуют в Заатаманье,  
Верховодят в Вышних-Верховцах,  
В Томизорьи глазоньки туманят,  
Душеньки томят во всех концах.

Привечайте всадников с Востока:  
Мы и кони — вестники побед,  
Бурной бурей мчимся к Белостоку,  
Бурной бурей через белый свет!

Так гори, вовеки не сгорая,  
Так бушуй же, силы не тая,  
Молодость, без удержу и края,  
Фронтная молодость моя!

Фронт, 1944 год.



# П о ж а р

Валит клубами черный дым  
Над раскаленной крышею...  
Мне этот дым необходим,  
Мне нужно пламя рыжее!

Пусть разгорается пожар,  
Пусть жаром пышет улица,  
Пусть ужаснется млад и стар,  
Пожарные стучаются.

Пусть сердце рвется из груди,  
Пусть все тревожней мне:  
Того гляди, того гляди  
И ты сгоришь в огне!

Девчонки в плач, мальчишки в крик,  
В обморок родители...  
Но тут явлюсь я среди них,  
Суровый и решительный.

Сверкает взгляд из-под бровей —  
Мне отступить не гоже,  
Раз все кричат: «Спаси, Сергей!»,  
«Сергей», а не «Сережа»!

По водосточной по трубе,  
По ржавому железу  
Я избавителем к тебе,  
Рискуя жизнью, лезу.

От этажа  
    к этажу,  
Ловкий,  
    как кошка...  
И по карнизу прохожу  
К заветному окошку.

Я нахожу тебя в огне,  
Со мной не страшны муки,  
И ты протягиваешь мне  
Худенькие руки.

Как храбр я! Как прекрасна ты!  
Как день сияет летний!  
И как непрочен мир мечты  
Четырнадцатилетней...

**Он разбивается в куски  
От окрика простого...  
И вновь стою я у доски,  
Я в нашем классе снова.**

**И вновь не знаю я азов,  
Попробуй к ним привыкни!..  
И гнусный Васька Образцов  
Показывает язык мне...**

**С тех пор немало лет прошло,  
И снова сердце сжало,  
И не сожгло, так обожгло  
Предчувствием пожара.**

**Опять клубится черный дым  
Над раскаленной крышею...  
Мне этот дым необходим,  
Мне нужно пламя рыжее!**

**Пусть сердце рвется из груди,  
Пусть все тревожней мне.  
Того гляди, того гляди,  
Я сам сгорю в огне,**

**В огне сжигающей любви,  
В сумятице минут,  
Где руки тонкие твои  
Одни меня спасут.**



## А остальное все приложится...

Не верю в бога и в судьбу.  
    Молюсь прекрасному и высшему  
предназначенью своему,  
    на белый свет меня явившему.  
Чванливы черти, дьявол зол,  
бездарен бог — ему не можетя...  
О, были б помыслы чисты!  
    А остальное все приложится.  
Верчусь, как белка в колесе,  
    с надеждою своею за пазухою,  
ругаюсь, как мастеровой,  
    то тороплюсь, а то запаздываю.  
Покуда дремлет бог войны,  
    печет пирожное пирожница...  
О, были б небеса чисты!  
    А остальное все приложится.  
Молюсь, чтоб не было беды.  
    И мельнице молюсь и мыльнице,  
воде простой, когда она  
    из золотого крана вырвется,  
молюсь, чтоб не было разлук,  
    разрух,  
    чтоб больше не тревожиться...  
О, руки были бы чисты!  
    А остальное все приложится.

## Стихи про маляров

Уважайте маляров,  
как ткачей и докторов.  
Нет, не тех, что по ограде  
раз мазнул — и будь здоров,  
тех, что ради солнца,  
ради  
красок из глубин дворов  
в мир выходят на заре,  
сами — в будничном наряде,  
кисти — в чистом серебре.

Маляры всегда честны,  
только им слегка тесны  
сроки жизни человеческой,  
как недолгий бег весны.  
И когда ложатся спать,  
спят тела, не спится душам:  
этим душам вездесущим  
красить хочется опять.  
Бредят кистями ладони,  
краски бодрствуют,

спешат,

кисти,

как ночные кони,  
по траве сырой шуршат...  
Синяя по окнам влага,  
бурый оползень оврага,  
пятна на боках коров —  
это штуки маляров.

Или вот вязанка дров,  
пестрая, как наважденье,  
всех цветов нагроможденье:  
дуба серая кора,  
золотое тело липы,  
красный сук сосны,

облитый

липким слоем серебра,  
или ранний свет утра...  
Или поздний свет костра...

Маляры всегда честны,  
только им слегка тесны  
сроки жизни человеческой,  
как предутренние сны.  
И когда у них в пути  
обрывается работа,

остается впереди  
недосказанное что-то,  
как неспетое — в груди...

Уважайте маляров —  
звонких красок мастеров.  
Пойте, кисти,  
лейтесь, краски,  
крась, маляр, и будь здоров!

## М а р т

На арбатском дворе и веселье и смех.  
Вот уже мостовые становятся

мокрыми...

Плачьте, дети!

Умирает мартовский снег!

Мы устроим ему развеселые похороны.

По кладовкам по темным поржавеют

коньки,

позабытые лыжи по углам

покоробятся...

Плачьте, дети!

Из-за белой реки

скоро-скоро кузнечики к вам заторопятся.

Будет много кузнечиков — хватит

на всех!

Вы не будете, дети, гулять

в одиночестве...

Плачьте, дети!

Умирает мартовский снег!..

Мы ему воздадим генеральские

почести.

Заиграют грачи над его головой,

грохнет лед на реке в лиловые

трещины...

Но останется снежная баба вдовой.

Будьте, дети, добры и внимательны

к женщине!

## В городском саду

Круглы у радости глаза и велики —  
у страха,  
и пять морщинок на челе  
от празднеств и обид...  
Но вышел тихий дирижер,  
но заиграли Баха,  
и все затихло, улеглось и обрело  
свой вид.

Все встало на свои места,  
едва сыграли Баха...  
Когда бы не было надежд,  
на черта белый свет!  
К чему вино, кино, пшено,  
квитанции Госстраха  
и вам — ботинки первый сорт,  
которым сносу нет!  
Не все ль равно, какой земли  
касаются подошвы!  
Не все ль равно, какой улов  
из волн несет рыбак!  
Не все ль равно, вернешься цел  
или в бою падешь ты,  
и руку кто подаст в беде —  
товарищ или враг!..  
О, чтобы было все не так,  
чтоб все иначе было,  
наверно, именно затем,  
наверно, потому  
играет будничным оркестр  
привычно и вполсилы,  
а мы так трудно и легко  
все тянемся к нему.

Ах, музыкант, мой музыкант!  
Играешь, да не знаешь,  
что нет печальных, и больных,  
и виноватых нет,  
когда в прокуренных руках  
так просто ты сжимаешь,  
ах музыкант, мой музыкант,  
черешневый кларнет!



## Снег

Вечерами поэты шальные  
Собираются у меня,  
Сбросив кожанки обветшалые,  
Снег, начальство, судьбу кляня.

Суечусь, грохочу посудую,  
Жарко комнату натоплю.  
Эту публику узкогрудую  
Почему-то я очень люблю.

Все чернилами перемажемся,  
Плещут руки — худы, длинные...  
Мы, должно быть, смешными кажемся  
Человеку со стороны.

За стихами, за чаем с баранками,  
За шутливыми перебранками  
Ночь в окно стукнет черной рукой.  
Встанем.  
Звякнут чашки пустые...  
Я люблю вас, ребята простые,  
Потому что и сам такой.

Только я не уверен, ваш ли я:  
Я у долгих дорог в долгу.  
Век прожить, над стихами кашляя,  
Я, наверное, не смогу.  
Поздно ночью уйдут, ссутулятся,  
Стихнет по двору скрип шагов.

Ночь морозна.  
Безлюдна улица.  
С неба сыплются хлопья стихов.

## Летучая мышь

Из-за ограды маки пахнут пряно.  
Там девочка играет по ночам.  
Я не могу играть на фортепьяно:  
Я не обучен нотам и ключам.  
Боюсь касаться я рояльных клавиш  
Тупой костяшкой пальца своего:  
Ткнешь посильней — и вмятину оставишь  
На хрупких белых косточках его.  
Но под ее рукой — рукой ребенка  
Рояль живет, и плача и звеня...

Сегодня эта глупая девчонка  
Опять пытается музыкой меня.  
И вот в тиши растет глухая смута,  
Редет мгла, и в уши бьет прибой,  
И вздрагивает грудь, и почему-то  
Я снова недоволен сам собой.  
Стою и не могу ступить ни шагу,  
И месяц вдруг расплылся в облаках.  
И я, стыдясь, размазываю влагу  
По грубому загару на щеках...

А по утрам  
Из дома с синей крышей  
Выходит девочка с лицом летучей мыши,  
Рукой отводит ветки бузины,  
Глаза ее недвижны и грустны.  
Она стоит в тени большого дуба  
И смотрит вдаль,  
В просторы желтых нив,  
Беспомощные руки уронив,  
Сутула, большерота, бледногуба.  
Потом,  
Вздохнув,  
Идет из сада прочь  
И молча ждет,  
Когда настанет ночь.



Я тоже жду...  
Я полон беспокойства,  
Я, как свиданья, жду минуты той,  
Когда мной овладеет недовольство,  
Рожденное великой красотой,  
Когда начнет трухлявая ограда  
Зеленое сиянье излучать...  
А ты красива,  
И тебе не надо  
Писать стихи  
И ноты изучать.

## Начало марта

Снова пишет вам «татарин»,  
Сам не зная, для чего.  
Вам «татарин»  
Благодарен,  
Если помните его.  
Так меня вы называли.  
Как живете, егоза!  
Только помните едва ли  
Вы раскосые глаза.  
Только помните навряд ли  
Наши встречи-пустяки...

Влагой мартовской набрякли  
Темно-рыжие пески.  
Дождь, ударив из потемок,  
Размотал дорог клубок,  
Месяц, как слепой котенок,  
Тыкается туче в бок.  
Холод спит на сонном броде,  
В саксауле — хруст и шум.  
По ночам туманы бродят  
Над пустыней Каракум.

От дождя ее массивы  
Уподобились коре,  
И теперь пройдут машины  
С Кабаклы к Ичикаре.  
На конверте сохнет марка,  
Сохнут букочки письма...  
А у вас — начало марта,  
Стало быть, еще зима.  
Я скучаю по морозу,  
Что горяч, как кипяток.  
Подарить бы вам мимозу  
Иль другой какой цветок!  
Зря я боль из сердца поднял,  
Зря с собой не совладал:  
Все равно я вас не понял  
И себя не разгадал.  
Я не вышел из потемок,  
В горле — прошлого клубок.  
Сердце, как слепой котенок,  
Тихо тыкается в бок.



## Памяти бабушки

Прощай, Варвара Федоровна!  
Я продаю буфет,  
громоздкий и ободранный  
обломок давних лет.

В дубовом этом ящике  
прах твоего мирка.  
Ты на Немецком кладбище  
давно мертвым-мертва.

А я все помню — надо же! —  
помню до сих пор  
лицо лукаво-набожное,  
твой городской фольклор...

Прощай, Варвара Федоровна!  
Я продаю буфет,  
словно иду на похороны  
спустя пятнадцать лет.

Радости заглохшие  
с горем пополам —  
все, все идет задешево  
на доски столярам!

Последнее свидетельство  
того, что ты жила,  
как гроб, несут по лестнице.  
Ноша тяжела.



## Сто сорок пятая верста

Костры на берегу Чулыма,  
В багровых отблесках карьер.  
И ты, встающая из дыма,  
Гроза чиновничьих карьер.—  
Глухая, ярая от ветра,  
Сто сорок пятая верста.  
Здесь мне геодезистка Вера  
Читала Блока у костра.

Ее здесь высилась палатка,  
Над ней чулымская звезда  
Всходила трепетно и шатко.  
Сто сорок пятая верста...

Но я-то знал:

Ей не до Блока.

— Любовь,— она смеялась,—

свист!

Большой любитель баскетбола,  
Он укатил в Новосибирск.  
Он, в сущности, хороший парень,  
Единственный у мамы сын...

Ах, девушки таежных партий,  
Летающие сквозь снег и стынь!  
В морозных ватниках дубленых,  
В полночных всполохах от ГРЭС.

Я вижу вас —  
Красивых, модных,  
Все озаряющих окрест,  
Кружащихся одних и в парах...  
И мне противен лишь один,  
Тот, в сущности, хороший парень,  
Единственный у мамы сын.  
Мне по сердцу костры Чупыма,  
В багровых отблесках карьер.  
Мужчина, если он мужчина,  
Не продает таких вот Вер!

И я ищу в порывах ветра  
Ее фигурку у костра...  
Прощай, геодезистка Вера,  
Сто сорок пятая верста!

## Работа

**О, как много нужно урана  
космодромной моей стране!  
Просыпаюсь я рано-рано,  
укрепляю рюкзак на спине,  
а на грудь надеваю ящик  
на брезентовых ремешках —  
умный ящичек,  
говорящий  
на урановых языках.  
По тропинкам солнца и ветра  
и мои маршруты легли.  
Он забрался глубоко в недра,  
самый звездный металл земли.  
В темноте,  
не сухой, не мокрой,  
коротает свои года:  
распадается втихомолку,  
попадает не всегда.  
Но как прочно б ни окопался,  
его выдаст  
его же суть...  
Стоп!  
Следок!  
Неужель попался!  
Ну, приятель, не обессудь!  
И локамест в моем приборе**

Излучение зуммерит,  
я гадаю:  
радон, иль торий,  
или с а м со мной говорит.  
Я на помощь зову науку —  
точный график, трезвый расчет:  
все равно ведь  
этого друга  
вычисленье мое подсечет.  
А потом лопатой, лопатой,  
шурфом в землю иду — вдогон.  
Извернулся!  
Ушел, проклятый!  
Дым в глаза мне пустил радон!  
Семь потов с меня снял  
и скрылся,  
все надежды мои распылил,  
глубже в землю, чудак, зарылся,  
на погоню меня распалил.  
Я ложусь переждать усталость,  
злость скрипит на зубах песком.  
Сколько там еще верст осталось!  
Отдышаться б перед броском...  
Ни воды не надо, ни хлеба,  
ни признательности какой.  
Отдышаться б...  
С овчинку небо,  
и до Марса подать рукой.

## Медвежья шкура

Сколько стоит медвежья шкура!

День дороги —  
без дымокура,  
по чащѣ, в комарне, без карт.  
Случай,  
Пуля,

**Винтовка.**

**Фарт!**

**Страх — когда он встал на дыбки.**

**Мягкость пальца,**

**твердость руки.**

**Выстрел!**

**Радость — лег: наповал!**

**Ужас — мертвый навстречу встал...**

**Жизнь пережить — передернуть затвор,**

**и десять новых — добить в упор**

**и ждать,**

**не веря ни в тишь, ни в кровь —**

**встанет,**

**и все повторится вновь:**

**десять жизней**

**и десять смертей.**

**Плюс за выделку — семь рублей.**





## Слово к слову вяжется...

Слово к слову вяжется,  
Речью дни наполнены.  
А тебе не кажется,  
Что часто мы размолвлены!

— Молчанье — золото!  
Ведь вздор — такое взять на плечи.  
Скажу тебе: я с давних лор  
Пою рожденье речи!

Пою и жду рожденья слов.  
За гранью немоты  
Они идут в венке из снов,  
Из яви и мечты.

И пахнут зноем, и зимой,  
И солнцем, и травой  
И, словно мопнии, петят  
Над самой головой!

## Я поднял дерево...

Я поднял дерево.  
Оно росло не стоя,  
Лесок его, как в битве, потерял.  
Оно не говорило со звездою,  
И соловей его не удивлял.

Оно, скажу, ползло в лесу заветном,  
Что кронами встречает синеву,  
Оно ползло,  
Униженное ветром,  
Им брошенное намертво в траву!

О нем уже не помнила округа,  
Ликуя, вешней свежестью дыша...  
Я поднял это дерево,  
Как друга.  
О, как заговорила в нем душа!

## Деревья сонные качаются...

Деревья сонные качаются.  
Ну, что с того, ну, что с того!  
А что с того, что не прощается  
Мне — по недоле — ничего!

Куда-то ветер тучи гонит,  
Куда-то в дальние края...  
А тут недоля на ладони,  
И это, друг, ладонь твоя!

По синь-дорожкам, по проталинкам  
Уйдет недопя из недолей...  
Ответь мне: как в ладони маленькой  
Лежит, горит такая боль!



## Нежность

Когда над бездной замирают кони  
И выюк, сползая, давит им на круп,  
Мой голос хрипл, мой голос непреклонен,  
Мой голос груб.

Когда в реке, в гудящем полноводье,  
Взметнутся кони надо мною вдруг,  
Я бью коней, повиснув на поводьях,  
Моя рука сильнее, чем их ислуг.

И мы идем среди громадин горных,  
Бездушным царством неба и камней.  
А на закате я на остров дерна,  
Как утопающих, тащу коней.

Я их кормлю,  
Лицо секут мне гривы,  
И я терплю, мой голос тише слез,  
Когда, рванув мешок нетерпеливо,  
Они просыплют на землю овес.

Я лишь шепчу им:  
— Мне бы с вами в поле;  
Там травы, словно реки, глубоки...  
Я мою им шершавые мозоли,  
И сахаром кормлю я их с руки.

Падет звезда из темноты кромешной,  
Шурша, потухнет дымный след ее...  
У гор своя, особенная нежность  
И проявленье нежности свое!



## Любовь моя

— Любовь моя, тревожная любовь,  
прошу тебя,  
уйди,  
не прекословь!  
Неужто я тебе других нужней!  
Ведь люди есть разумней и нежней.  
Уйди, любовь! Ты мне не по плечу.  
Ты слишком тяжела,  
а я хочу  
легко шагать,  
без груза,  
без тебя,  
не мучась, не ревнуя, не любя.  
— Я не могу уйти, не обессудь.  
Ты понимаешь!  
Суть.  
Я воздух твой,  
я твой насущный хлеб.  
Не будь меня, ты был бы глух и слеп,  
ты был бы камнем, деревом, травой,  
ты был бы всем,  
но не самим собой.  
Покинет женщина тебя —  
я остаюсь,  
друзья тебя покинут —  
остаюсь.  
Я гордая.  
И все же остаюсь.  
— Ну что ж,  
я слабый спорщик.  
Я сдаюсь.



## Назым

А у Назыма был  
                                голос протяжный.  
Руки добрые были у Назыма.  
У Назыма был характер бродяжий,  
а в глазах была  
                                веселая сила.

Что любил он!  
Он любил час, в который  
можно лишь необъяснимо проснуться  
и увидеть город.  
                                Странный.

                                Готовый  
от мальчишеского солнца задохнуться.  
Он с друзьями любил за стол усесться,  
смаковал вина грузинского терпкость.  
Говорил:  
«Пью за врачей!  
За то, что сердца —  
                                пусть обычного —  
они не могут сделать!..»  
Только разве он бы смог жить с обычными!  
Нет,  
                                конечно, не смог бы!  
Это ж ясно...  
Он любил погарцевать в тосте пышном.

Он придумывал шутки  
и смеялся,  
как ребенок,  
шоколадку нашедший,  
на два города тепло излучая...  
А еще он любил  
добрых женщин.  
(Правда, злые ему тоже встречались)...  
Называли добряком его иные.  
Называли чудачком его нервным.  
Я не буду спорить,  
но знаю поныне:  
добряком он  
не был.  
Чудачком  
не был.  
Человеком и поэтом был.  
Всего лишь.  
Человеком и поэтом.  
И только...  
Если он говорил о ком-то:  
«Сволочь!!» —  
значит, это была сволочь.  
Точно...

Говорят, что были проводы щемящи.  
Невесомые цветы легли  
на плечи.  
И звучали похоронные марши.  
И текли заупокойные речи...  
Он не слушал.  
Он лежал.  
Смотрел на солнце.  
И не щурил глаз наивных и дерзких.  
Было гулко.  
Было очень высоко.  
Так высоко, как бывает только в детстве...  
Потеряла женщина  
мужа.  
Потеряла женщина  
сына...

Я не верю в эту смерть,  
потому что  
как же может  
земля  
без Назыма!

# Стихи о хане Батые

А все-таки ошибся старикан!  
Не рассчитал всего  
впервые в жизни.

Великий хан,  
победоносный хан,  
такой мудрец и—  
надо же! —  
ошибся...

Текла, ревя и радуясь, орда.  
Ее от крови било и качало.  
Разбросанно  
горели города,  
и не хватало стрел в тугих колчанах.  
Белели трупы недругов босых,  
распахивал огонь  
любые двери.

Дразнил мороз,  
смешил чужой язык,  
и сабли от работы не ржавели.  
И пахло дымом, потом и навозом...

Все, что еще могло гореть,  
спалив,  
к тяжелым пропылившимся повозкам  
пришельцы гнали пленников своих.  
Они добычею в пути менялись  
и, сутолоку в лагерь принося,  
всех ставили к колесам.  
И смеялись:  
смерть,  
если ты был выше  
колеса!

У воина рука не задрожит.  
Великий хан  
все обусловил четко...

Везло лишь детям.  
Оставались жить  
славянские мальчишки и девчонки.  
Возвышенные,  
как на образах,  
что происходит,  
понимали слабо.  
Но ненависть  
в заплаканных глазах

уже тогда  
недетская  
пылала!..  
Они молчали.

Ветер утихал.  
Звенел над головами рыжий полдень...  
А все-таки ошибся  
мудрый хан!

Ошибся хан!  
И ничего не понял...  
Они еще построятся в полки!  
Уже грядет, уже маячит битва!..

Колеса были слишком высоки.  
А дети подрастают  
очень быстро.

## Игра в «Замри!»

*Ю. Овсянникову.*

Игра в «Замри!» —  
веселая игра...  
Ребята с пропыленного двора,  
вы помните!  
С утра и до зари  
звенело во дворе:

«Замри!»,  
«Замри!»

Порой из дому выйдешь на беду,—  
«Замри!» —  
и застываешь на бегу  
в нелепой позе  
посреди двора...

Игра в «Замри!»,  
далекая игра,—  
зачем ты снова стала мне нужна!  
Вдали от детства  
посреди земли  
попробовала женщина одна  
сказать мне позабытое:

«Замри!»



**Она сказала:**  
**«Будь неумолим.**  
**Замри и ничего не говори...**  
**Замри! —**  
        она сказала,—  
**Будь моим.**  
**Моим, и всё!**  
**А для других — замри!**  
**Замри для обжигающей зари!**  
**Замри для совести!**  
**Для смелости замри!**  
**Замри, не горячься и не скорбя.**  
**Замри!**  
**Я**  
        **буду миром для тебя...»**

**На нас глядели звездные миры,**  
**и ветер трогал**  
        **жесткую траву...**  
**А я не вспомнил правила игры.**  
**А я ушел.**  
**Не замер,**  
**Так живу.**



# Н и к о л а й Р ы л е н к о в

---



Не кори, что стою безмолвный,  
Жаждой полдня до края полный.  
Так молчит, благодарный грозам,  
Луг, притихший перед покосом.

Дышит так, горячо и жадно,  
Поле, где поспевают жатва.  
Так в тиши созревает лето.  
Слушай сердцем молчанье это!



Скирдами огороженные, рано  
Темнеют августовские поля.  
Выходим на пригорок из тумана,  
Росой по жнивью жесткому пыли.

А за рекой костер мигает поздний,  
О юности бессонной говоря,  
И свет электростанции колхозной  
Горит, как негасимая заря.



Вокруг тебя леса и воды,  
Цветенье трав, налив хлебов,  
Но выше всех щедрот природы  
Твоя забота и любовь.

И будешь, сколько б ты ни прожил,  
Считать счастливым тот из дней,  
Когда хоть чем-нибудь умножил  
Ты сам красу земли своей!



## В зоопарке

Полыхает фазан.  
И на теле тигрином, упругом,  
мгла и солнце сошлись.  
Чье-то перышко вьется над прудом,  
там, где белые лебеди,  
из побуждений арийских,  
бьют двух черных, печальных,  
двух обреченных,  
двух австралийских...

Дождь шуршит. Ярко вспыхнул фазан,  
точно птица-реклама.  
Подымают орлы воротник  
на своих на мохнатых регланах.  
И сова размышляет сквозь сон:  
мгла пройдет, мгла обманет,  
уж не прав ли  
жираф,  
когда к солнышку шею он тянет!  
Размышляет сова: в чем секрет обаянья фазана...  
Обаянье фазана! Оно — в одеянье фазана...

Волк ворчит.  
Где-то, метрах в трехстах,  
слон тихонько вздыхает.  
А фазан полыхает... Волк умолк...  
А фазан полыхает...  
Как он должен владеть собой — слон —  
в час слоновьей печали,  
чтобы вздохов его  
ни враги, ни друзья не слышали!..

Зебра каждому мило кивает  
красивой головкой,  
как стилига, еще не замученная перековкой.  
Грызуну скалят зубы,  
скрывая врожденную вредность.  
И внезапно  
доносится крик: в нем и вздорность и ревность.  
Это в птичьем вольере, соседей лугая,  
в предвечерней истерике бьется  
жена полугая...

## Веселые мокрые люди

Налево — болото.  
Направо — болото.  
Вперед — страшноватс.  
Назад — неохота.

Нас заяц осудит,  
писа нас осудит.  
Но пес им с рожденья знаком.  
Мы — люди.  
Всего только мокрые люди,  
которые ходят гуськом,

которые теплые ценят постели,  
с домашним прозеренным сном,  
но, видимо, просто еще не успели  
забыть обо всем остальном:

о птицах  
не жареных, а поющих,  
о рыбах,  
в озерах и реках спящих,  
о селах,  
которым не более года,  
о водах,  
не знающих водопровода,  
о встречах нечаянных  
в крошечных чайных,  
куда иногда  
попадаешь случайно...  
Дорожные ветры!  
Их целая рота,

и каждый с собой увлекает кого-то.  
Одни отправляются к морю, лечиться,  
и мы обнимаем их.  
Другие спешат посмотреть за границу,  
и мы понимаем их.  
И третьи помчатся куда-нибудь,  
буде  
расщедрится чуткий местком...  
А мы!  
Мы — веселые мокрые люди,  
которые ходят гуськом...

Напево — болото.  
Направо — болото.  
Вперед — страшновато.  
Назад — неохота...



Ветер сильней становится,—  
а кажется, будто люди.  
Воздух свежей становится,—  
а кажется, будто люди.  
Звезды ярче становятся,—  
а кажется, будто люди.  
А может быть, и не кажется.  
Ну, что тут странного, милая,  
что в наших натурах скажется  
любое движение мира!

Неграмотная звезда моя,  
ведь это же так понятно:  
влияние  
мироздания  
на нас, людей,— и обратно:

люди теплей становятся,—  
а кажется, будто ветер,  
люди чище становятся,—  
а кажется, будто воздух,  
люди ближе становятся,—  
а кажется, будто звезды...





Очень нужны людям слова,  
Все равно, пусть вселенная  
дышит,  
Пусть деревья растут и трава.  
Жизнь моя! Стал солидным я разве!  
У тебя как мальчишка учусь.  
Здравствуй, общества  
разнообразиие,  
Здравствуй, разнообразие  
чувств!

## В больнице

Ну, на что рассчитывать еще-то!  
Каждый день встречают, провожают...  
Кажется, меня уже почетом,  
Как селедку луком, окружают.

Неужели мы безмолвны будем,  
Как в часы ночные учрежденье!  
Может быть, уже не слышно людям  
Позвоночного столба гуденье!

Черта с два, рассветы впереди!  
Пусть мой пыл как будто остывает,  
Все же сердце у меня в груди  
Маленьким боксером проживает.

Разве мы проститься захотели,  
Разве «Аллилуйя» мы споем,  
Если все мои сосуды в теле  
Красным переполнены вином.

Все мое со мною рядом, тут,  
Мне молчать года не позволяют.  
Воины с винтовками идут,  
Матери с детишками гуляют.

И пускай рядами фонарей  
Ночь несет дежурство над больницей,  
Ну-ка, утро, наступай скорей,  
Стань, мое окно, моей бойницей!

Апрель 1964 года.

# Поиски героя

Казалось, в этой нищенской семье  
Мечтать бы о каком-нибудь пирожном,  
А у меня — другое на уме,  
А я мечтал о чем-то невозможном.

И мне всегда казалось: Гулливер  
Снял комнату плохую у соседки,  
А Лизу бедную я провожаю в сквер  
И с нею полночь провожу в беседке.

Казалось, я владетель всех высот,  
Казалось, дети, как пророки, зорки,  
Не мог я знать, что мой герой придет  
В простой, обыкновенной гимнастерке.

Доверчивый ребенок не поймет,  
Романтика подводит нас порою.  
Не сабля и не меч, а пулемет —  
Вот верный спутник моего героя.

И пусть уже прошло немало лет,  
Но понемногу, как и все, старея,  
Его прекрасный воинский билет  
Я вижу в Третьяковской галерее.

Не Суриков его нарисовал,  
{Что, может, тоже было бы неплохо}.  
Его нарисовал девятый вал,  
Меня поднявший в уровень с эпохой.

Далекий мир за гранью облаков  
Становится все менее огромным.  
Мой пулеметчик Федя Чистяков,  
Мой мальчик дорогой, тебя я помню, помню!

Я до сих пор живу не как-нибудь,  
И я не стану жертвою забвенья.  
Я голову кладу тебе на грудь,  
Мне слышится твое сердцебиенье.



# Герой найден

Мы научились точно козырять,  
Ты на войне солдат, а не посредник,  
А вот сейчас усердия не трать,  
Я не майор, я просто собеседник.

Зима. Скрипит береза на ветру,  
Мы веточку любую помнить будем.  
Нет, ты не умер! Я скорей умру.  
Мы оба не умрем! Так нужно людям!

Нет, мы не мертвые! На кой нам черт покой!  
Наш путь не достижений, а исканий.  
И пусть моей дрожащею рукой  
Твой светлый профиль будет отчеканен.

Забуть я не хочу и не могу,  
С тобой брожу по северным болотам,  
И вижу снова я, как по врагу  
Мальчишка русский водит пулеметом.

Внимание! Враг в тридцати шагах,  
Не очень уж большое расстояние.  
Все воскресает, и в моих ушах,  
Как выстрелы, трещат воспоминанья.

Как хочется немного помолчать,  
Не говорить о прошлом и о смерти,  
Но времени тяжелую печать  
Увидел я на траурном конверте.

Не исчезает прошлое из глаз.  
Пусть я не верю в вечную разлуку,  
Я все же помню, как в последний раз  
Пожал твою слабеющую руку...



## Я пристрастен!

Я пристрастен.  
И стать я другим не могу.  
Стать другим —  
это тенью лежать на холодном  
снегу,  
стать другим —  
это сердце в дрожащем зажать  
кулаке,  
стать другим —  
это рябью пройти по реке.  
Я пристрастен,  
как реки к извечным своим берегам,  
как деревья к земле,  
как вершины к мохнатым снегам.  
Я пристрастен к друзьям —  
их улыбки, что солнца во мгле,  
я пристрастен к врагам,  
им бы лучше не жить на земле!  
К добрым русским просторам —  
их сызмала знаю и чту,  
и к ракете, в которой  
летит чеповек на борту,  
и к багряным знаменам,  
наполненным ветром тугим,  
я пристрастен!  
Иначе б  
я был не собой,  
а другим!



## Баллада о солдате

Встал солдат, как штык прямой,  
На пороге...  
Он с войны принес домой  
Руки-ноги.

На подошвах у него  
Грязь да глина  
Из-под самого того  
Разберлина.

Он устал... Ему бы лечь  
В этом разе!  
Он мешок солдатский с плеч  
Скинул наземь.

На виске его седом  
Бьется жилка.  
На плече его крутом  
Бьется жинка.

Первачи вокруг стоят  
Лучших марок,  
Пьет без роздыху солдат  
Десять чарок.

И бросает, не доев,  
Бок куриный  
И ложится, охмелев,  
На перины.

Шел солдат сквозь смертный лязг —  
Было круто.

Не до бабьих было ласк  
Мужику-то!

Спал с винтовкой всю войну,  
С немцем бился...  
Целовать свою жену  
Разучился.

Говорит он: я люблю,  
Недотрога!  
Говорит он: я посплю  
Хоть немного!

Эх, закончилась война  
Мировая,  
Жизнь пойдет теперь, жена,  
Мировая!

## С а н и

По Карелии мчатся сани.  
Люди, звери, с дороги прочь!  
Мчатся сани, как в сказке, сами,  
Две оглобли пронзают ночь.

Пронесутся — и нет ответа,  
Только в волчьих глазах испуг.  
Три шальных, три студеного ветра  
Вожжи рвут из мужичьих рук.

Сосны валятся под полозья,  
Белки молниями снуют,  
И у старой тайги волосья  
Дыбом — пепельные — встают.

Нечисть прячется в темных ярах  
От волшебных, как ночь, коней.  
А у тех, у шальных да ярых,  
Звезды сыплются из ноздрей.

Образ детства, родной, тревожный,  
Вдоль лесных пролетает вех.

**На санях — стороной таежной —  
Мчусь я в сказку из века в век.**

**Песен хочется колыбельных,  
Только песен тех не слышать.  
Сосен хочется корабельных,  
Только сосен тех не видеть.**

**Серебристой покрыты мглою  
Все тропинки и все пути.  
Что-то в детстве забыто мною,  
Не вернуть его, не найти.**

**Потому-то под небесами,  
Расплескав на земле моря,  
Мчатся сани, как в сказке, сами —  
Память бешеная моя.**







## На поверке

Бывают дни без фейерверка,  
когда огромная страна  
осенним утром на поверке  
все называет имена.

Ей надо собственные силы  
ума и духа посчитать.  
Открылись двери и могилы,  
разъяслась тьма, отверзлась гладь.

Притихла рожь, умолкла злоба,  
прилежно вытянулась спесь.  
И Лермонтов встает из гроба  
и отвечает громко: «Здесь».

Он, этот Лермонтов опальный,  
сын нашей собственной земли,  
чьи строки, как удар кинжальный,  
под сердце самое вошли.

Он, этот Лермонтов могучий,  
сосредоточась, добр и зол,  
как бы светящаяся туча,  
по небу русскому прошел.



# Комсомольский вагон

Пробив привокзальную давку,  
Прощальным огнем озарен,  
Уже перед самой отправкой  
Я сел в комсомольский вагон.

И сразу же, в эту же пору,  
Качнувшись и дернув сперва,  
В зеленых кружках семафоров  
Пошла отдаляться Москва.

Шел поезд надежно и споро.  
Его от знакомой земли  
В иные края и просторы  
Далекие рельсы вели.

Туда уходила дорога,  
Где вечно — с утра до утра —  
В районе Падунских порогов  
Сурово шумит Ангара.

Где на берегах диковатых,  
На склонах нетронутых гор  
Вас всех ожидают, ребята,  
Взрывчатка, кайло и лопата,  
Бульдозер, пила и топор.

Там все вы постройте сами,  
Возьмете весь край в оборот...  
Прощаясь с родными местами,  
Притих комсомольский народ.

Тот самый народ, современный,  
Что вовсе недавно из школ,  
Как это ведется, на смену  
Отцам или братьям пришел.

И я, начиная дорогу,  
Забыв о заботах иных,  
Пытливо, взыскательно, строго,  
С надеждой и скрытой тревогой  
Гляжу на людей молодых.

Как будто в большую разведку,  
В мерцанье грядущего дня

**К ребятам шестой пятилетки  
Ячейка послала меня;**

**Как будто отважным народом,  
Что трудно и весело жил,  
Из песен тридцатого года  
Я к ним делегирован был.**

**Мне с ними привычно и просто,  
Мне радостно — что тут скрывать! —  
В теперешних этих подростках  
Тогдашних друзей узнавать.**

**Не хуже они и не краше.  
Такие же, вот они, тут!  
И песни любимые наши  
С таким же азартом поют.**

**Не то что различия нету,  
Оно не решает как раз;  
Ну разве почище одеты  
Да разве учение нас.**

**Не то чтобы разницы нету,  
Но в самом большом мы сродни.  
И главные наши приметы  
У двух поколений одни.**

**Ну нет, мы же просто знакомы,  
Я вашим товарищем стал,  
Посланцы того же райкома,  
Который и нас принимал.**

**Иное за окнами время,  
Но так же отважно живет  
Одно комсомольское племя,  
Один комсомольский народ.**

## К дискуссии об Андрее Рублеве

Нет, все не сунешь в схему,  
И как бы ни совали,  
Рублев,  
    приявший схему,  
Невером  
    был едва ли.

Он на колени падал пред  
В начале бывшим  
    Словом,  
И мужиков искать не след  
В архангелах Рублева.

А спас его — не волопас —  
Начал труда носитель,  
А просто: Спас,  
    Спас,  
    Спас  
[По-нашему спаситель].

Пожертвуем еще одним  
Безбожником возможным —  
Ведь голубь — дух  
    летал над ним,  
Смиренным,  
Бестревожным.

Нет, не носил Рублев пиджак  
Под иноческим платьем.  
[А с господом мы кое-как  
И без Рублева  
    сладим].

## Как убивали мою бабушку?

Как убивали мою бабушку!  
Мою бабушку убивали так:  
Утром к зданию горбанка  
Подошел танк.  
Сто пятьдесят евреев города,  
Легкие  
    от годовалого голода,  
Бледные  
    от предсмертной тоски  
Пришли туда, неся узелки.  
Юные немцы и полицаи  
Бодро теснили старух, стариков  
И повели, котелками бряцая,  
За город повели,  
    далеко.

А бабушка, маленькая, словно атом,  
Семидесятилетняя бабушка моя  
Крыла немцев,  
Ругала матом,  
Кричала немцам о том, где я.  
Она кричала: «Мой внук на фронте,  
Вы только посмейте,  
Только троньте!  
Слышите,  
    наша пальба слышна!»

Бабушка плакала и кричала.  
Шла. Опять начинала сначала  
Кричать.  
Из каждого окна  
Шумели Ивановны, Андреевны,  
Плакали Сидоровны, Петровны:  
«Держись, Полина Матвеевна!  
Кричи на них! Иди ровно!»  
Они шумели: «Ой, що робить  
З отым немцем, нашим ворогом!»  
И немцам  
    бабушку  
        пришлось убить  
Досрочно,  
    пока еще шли городом.  
Пуля взметнула волоса,  
Выпала седенькая коса,  
И бабушка наземь упала.  
Так она и пропала.



Ленина звали «Ильич» и «Старик» —  
Так крестьянина зовут крестьянин.  
Так рабочий с рабочим привык,  
Ленина не звали «Хозяин».  
«Старик» — называли его, пока  
Он был еще молод — в знак уваженья.  
А «Хозяин» — это словцо батрака,  
Тихое от униженья.

Весь наш большой материк  
И все другие страны земли  
Хороших людей называют «старик»  
И лучшего слова найти б не смогли.



О чем он думает, спортсмен, дыханье затая,  
Идя на запрещенный риск, приняв неравный бой!  
«Потом — ругай меня жюри, суди меня судья,  
А нынче не судьба со мной, а я шучу с судьбой».

О ком он думает, солдат, в окопе у врага,  
И не «ура», а просто «а» рыдая, как пурга,  
Россия-а — «а», отчизна — «а» и «а» — родная мать.  
О чем кричит, и как его, солдата, понимать!  
Как понимать его судьбу, его душевный рост!

Простой советский человек  
совсем не так уж прост.





Я забыл свою первую строчку.  
А была она так хороша,  
Что, как взрослый на первую дочку,  
Я смотрел на нее не дыша.  
Луч по кляксам, как по чечевицам,  
Кольхался. И млело в груди.  
Я единственным был очевидцем  
Посвященья. Тот миг позади.  
Но доньше все кровью в рассрочку  
За свое посвященье плачу.  
Я забыл свою первую строчку,  
А последней я знать не хочу!



Декабрь. А все еще в новинку  
И стекла в холоде и лед.  
И все еще следишь снежинку,  
Как испытательный полет.  
Но так уверенно по крышам  
Ложится белое, что мы  
Не скоро, видимо, услышим  
Об отступлении зимы.  
В такие дни — на переходе,  
На переломе — этот снег  
Нас ошарашивает вроде,  
Хоть изумленья-то и нет.  
Но, точно нового завязка,  
Влетает в души и дома

Природы беглая подсказка:  
Уже не осень, а зима.  
Уже летят, уже не тают,  
Уже пласты — не кутерьма.  
Цыплят по осени считают.  
Всех сосчитал! Уже зима.  
И ты, еще под летним хмелем,  
Осенний не решив вопрос,  
Уж как хозяйственник с портфелем  
Спешишь к метелям на разнос.  
Невдалеке от Мавзолея  
Плоды рябин среди ветвей  
Уже, белея и алея,  
Висят, как стаи снегорей.  
Ты возле них так четко слышишь  
Наплыв ветров, как гул годов...  
Уже привозят снег на крышах  
Вагоны дальних поездов.



Легко обремененный снегом,  
Зеленый, постоянный бор  
Возносит вровень с желтым небом  
Свой пухом веющий убор.  
На плавных вогнутых сугробах  
Мерцают иглы и сучки,  
А между елей густобровых  
Проталин черные очки.  
Иду сквозь эту колоннаду,  
Прислушиваясь на ходу  
К улегшемуся снегопаду.  
Он слушает, как я иду.  
Я здесь прямою и не трушу  
Того, как даль вступает в близь,  
Когда приструнивает душу  
Сосна, настроенная ввысь.  
Здесь, где сомнения нелепы,  
Милы мне вспески зимних птах  
И снега влажные прилепы  
На бронзовеющих стволах.













И вот в свои семнадцать лет  
Я стал в солдатский строй...  
У всех шинелей серый цвет,  
У всех — один покрой.

У всех товарищей-солдат  
И в роте и в полку  
Противогаз, да автомат,  
Да фляга на боку...

Я думал, что не устою,  
Что не перенесу,  
Что затеряюсь я в строю,  
Как дерево в лесу.

Льют бесконечные дожди,  
И вся земля — в грязи,  
А ты, солдат, вставай, иди,  
На животе ползи.

Иди в жару, иди в пургу.  
Ну что, не по плечу?  
Здесь нету слова «не могу»,  
А пуще — «не хочу».

Мети, метель, мороз, морозь,  
Дуй, ветер, как назло,—  
Солдатам холодно поврозь,  
А сообща — тепло.

И я иду, и я пою,  
И пулемет несу,  
И чувствую себя в строю,  
Как дерево в лесу...

## Голуби

Не спугните... Ради бога, тише!  
Голуби целуются на крыше.  
Вот она, сама любовь ликует —  
Голубок с голубкою воркует.  
Он глаза от счастья закрывает,  
Обо всем на свете забывает...

Мы с тобою люди, человеки,  
И притом живем в двадцатом веке.  
Я же, как дикарь, сегодня замер  
Пред твоими карими глазами.  
Волосы твои рукою глажу —  
С непокорными никак не слажу.  
Я тебя целую, дорогую...  
А давно ли целовал другую,  
Самую любимую на свете!

Голуби, пожалуйста, ответьте,  
Голуби, скажите, что такое!  
Что с моей неверною рукою,  
Что с моими грешными губами!  
Разве так меж вами, голубьями!  
Разве так случается, скажите,  
В вашем голубином общежитии!..



*Дочери моей — Руте*

С чем я только ни встречусь на свете,—  
Все понятным становится мне...  
А чему это малые дети  
Улыбаются часто во сне!

Правда, что же им может присниться,  
Два-три дня — вот и все их житье!

Развеселая птица-синица!  
Так они не видали ее!

Не видали ее — ну, откуда!  
Ничего не слышали о ней...  
Может, попросту снится им чудо,  
То, которого нету чудней!

А быть может,— подумайте сами —  
Им смешно, что над ними, в траве,  
Папа с мамой стоят вверх ногами,  
Ходит бабушка на голове!

Нет, я думаю, все же не это!..  
Только, знаете, как ни крути,  
Никакого другого ответа  
До сих пор не могу я найти.

И когда, свою дочку качая,  
В полдень или порою ночью  
Я улыбку ее замечая,  
Что-то вдруг происходит со мной.

У меня аж по самые уши  
Раздвигаются краешки рта,  
И вливается в тело и в душу  
Непонятная мне доброта.

Словно в луг окупился я в росный,  
Словно детство вернулось ко мне...  
Обнажая беззубые десны,  
Улыбается дочка во сне.



А мне теперь всего желанней  
Ночная поздняя пора.  
Я сплю в нетопленном чулане,  
В котором не хранят добра.

Здесь лишь комод с диваном старым,—  
Вот все, чем красен мой приют.  
И подо мною, как гитары,  
Пружины стонут и поют.

Тут воздух плесенью пропитан,  
Он пахнет сыростью ночной...

**Я слышу, как в ночи копытом  
Стучит корова за стеной,**

**Как писк свой поднимают мыши,  
Вгрызаясь в рукопись мою,  
Как кошки бесятся на крыше...  
И точно в полночь я встаю.**

**Коптилку-лампу зажигаю,  
Беру помятый свой блокнот.  
И всю-то ноченьку шагаю  
Вперед, назад и вновь вперед.**

**И, отступая, тают стены,  
И все меняется вокруг...  
Вот возникает им на смену  
Залитый солнцем росный луг.**

**А где же тут диван с комодом?  
Они ушли на задний план...  
Уже не плесенью, а медом  
Благоухает мой чулан.**

**И не корова над корытом  
Стучит-гремит в полночный час,  
То бьет некованым копытом  
Мой застоявшийся Пегас.**

**А что мне значит писк мышинный  
И вся их глупая возня,  
Когда поэзии вершины  
Вдали сверкают для меня!!**



## Царь

Ты — царь природы! Убедисы  
Леонид МАРТЫНОВ.

Тюлень такой — ему не сыро,  
Ему тепло и без огня.  
Глядит он весело и сыто  
На посиневшего меня.  
А что тюленю эти волны!  
Нырнул — и под волну подлез,  
И вновь косит глазком проворным,  
Небось, хихикает, подлец.  
Но я гребу сквозь невзгоды  
И, зло срывая на весле,  
«Я царь! — кричу.—  
Я царь природы!  
Я самый главный на земле!  
Я царь!..»  
А дождь меня колотит.  
«Я царь!» — кричу.  
А он идет.  
А в сапоге моем колодец.  
А зуб на зуб не попадет.  
Какой я царь! Кому я нужен!  
Дышу, простуженно сипя.  
Чтоб комару испортить ужин,  
Поганю химией себя.  
Какой я царь! Подумать тошно...  
Но мне весло скрипит во мгле:  
Держись, родной,  
Ведь это точно —  
Ты самый главный на земле.



# Т а е т !

Апрель, апрель на улице!  
А на улице февраль.  
Еще февраль на улице,  
А на улице — апрель!

И крыши все затаяли,  
И солнышко печет.  
Эх, взять бы мне за талию  
Подснежников пучок!  
Взять бы в руки вербочку,  
Чтоб запахом текла,  
Мимозную бы веточку —  
Весточку тепла!  
Весточки вы ранние,  
Вётры издалика.—  
Весенние, бескрайние,  
Искрящиеся слегка...

Апрель, апрель на улице!  
А на улице февраль.  
Еще февраль на улице,  
А на улице — апрель!

Не дома, не под крышею —  
На самом ветерке  
Стоит девчонка рыжая  
В зеленом свитерке.  
Стоит с довольной миною,  
Милою весьма.  
А может, вправду минула,  
Сгнула зима!  
А может, вправду сгнула!  
Солнышко печет!  
Той, что шубку скинула.—  
Слава и почет!

Апрель, апрель на улице!  
А на улице февраль.  
Еще февраль на улице,  
А на улице — апрель!

И я стою на улице,  
Шалый и хмельной,  
И асфальт на улице  
Ходит подо мной.

Я рот закрыл с опаскою,  
Держу едва-едва

**Вот эти шалопайские,  
Шампанские слова.  
Весточки вы ранние,  
Вётры издалека,—  
Весенние, бескрайние,  
Искрящиеся слегка...**

## **Когда человек больной**

**Когда человек здоровый,  
Ему на все наплевать.  
Когда человек здоровый,  
Он зря не ляжет в кровать.  
Зачем ложиться в кровать! —  
Он человек здоровый.**

**Когда человек больной —  
Ох, до чего ему маятно!  
Когда человек больной,  
Особенно если маленький,  
Ох, до чего ему маятно,  
Когда он лежит больной!**

**Вот он лежит, родной,  
Ни слова не говорит,—  
Где у него болит,  
Что у него болит.  
Мается и молчит.  
Мечется и кричит.**

**Когда человек здоровый,  
Ему чего горевать! —  
Может ходить по дорогам,  
А может петь-распевать.  
Только нет от этого прока,  
Если рядом кому-то плохо:  
Кто-то мечется, кто-то мается,  
Кто-то лежит больной,—  
Особенно если маленький,  
Маленький и родной.**



## Русскому брату

Эту песнь посвящаю тебе,  
русский брат, чьи волосы цвета  
пшеницы.  
Я с далеких холмов посылаю тебе  
эту песнь,  
пусть несется стремительней птицы.  
Я — горячих степей саксаул.  
Ты — раскидистый тополь,  
встречающий ветры.  
Ты в галактику пышную крону взметнул.  
Ты шумишь над планетой ветвями надежды.  
Ты раскинул широкие листья свои,  
на ветру шелестящие, словно знамена,  
на которых написано слово любви...  
Пусть летает оно над землей  
окрыленно.  
Ты меняешь земли стародавний покров,  
ты проходишь походкою старшего брата,  
и смешалась в тебе европейская кровь  
с буйной кровью  
кочевника и азиата.  
Мы идем за тобою в невиданный век,  
мы с тобою проходим землю весенней.  
Мы грядущего завтра встречаем  
рассвет,  
и зовут нас просторы  
бескрайней вселенной.

Перевел с бурятского  
Ст. КУНЯЕВ.



## Целинникам

Это всем нам знакомо,  
Мы прошли через это:  
По путевке райкома  
Въехать в знойное лето.

Въехать в марево степи,  
Въехать в знойное утро  
На гремящем прицепе,  
На усталой попутной.

Въехать звонкою стайкой  
И чернеть от загара,  
В пропылившихся майках,  
Подвернув шаровары.

Задышаться от ветра,  
Пить вприпад из речушек,  
Обмелевших заметно  
В этой дьявольской суши.

И работать, работать  
То ведром, то лопатой,  
Между грязных и потных,  
От усталости ватных.

Это всем нам знакомо  
И привычно:  
В семнадцать  
По путевке райкома  
В дальний путь собираться.





А человек не спит.  
Он не ложится спать,  
то у стола сидит,  
то у окна опять.  
Все ходит без конца  
в молчании бессонном.  
...Мерцание лица  
в стекле оконном.  
Сквозь пару жарких глаз  
и собственный висок  
он различает Марс  
и улицы кусок.  
О чем его тоска!  
О том, что тридцать лет  
и та, кого искал,—  
ее все нет и нет.  
О чем его печаль!  
О том, что тридцать лет  
и молодости жаль,  
и нету сигарет.  
Его уж чужаком  
ровесники зовут.  
Ему уже знаком  
их постоянный суд.  
Мол, говорит не то,  
что надо говорить.  
Не шьет себе пальто —  
все б в кожанке ходить...

**А человек не спит,  
в коммуну крепко верит.  
И кожанка висит  
на вешалке у двери.  
Переместился Марс,  
к рассвету ночь идет.  
Одной из многих трасс  
рокошет самолет.  
И виден под крылом  
звездой бессонной дом...  
О, знал бы человек,  
что думают о нем,  
хоть он и незнаком!  
Он строчка между строк:  
и нет ее — и есть.  
Схватив любой листок,  
ее хотят прочесть.  
Но время знает срок.**

**А человек не спит.**

**—**

## Площадь революции

Голубиные крылья ветер в небе полощет.  
Я не видел неба такого высокого...  
Всякий может прийти на эту площадь,  
а я туда не пускал бы всякого.  
Не хочу, чтобы там рандеву назначали  
те, что с пьяным весельем знакомы ночами,  
чтобы наглый пижон  
в заграничной ковбойке  
говорил девице  
смазливой и бойкой:  
«Дорогая моя, чтоб не разминуться,  
мы встретимся в девять  
на Революции...»  
Пусть приходят туда только самые чистые,  
только самые честные, самые сильные.  
Пусть приходят девчонки с глазами  
лучистыми,  
прибегают мальчишки с букетами синими.  
Пусть приходят туда после славных вахт,  
от трудов,  
от станков,  
из глубоких шахт.  
Не пускайте туда лицемеров пошленьких!  
Закажите дороги карьеристам и выжигам:  
слишком жаркою кровью название площади  
на фронтонах всех зданий  
страны моей  
выжжено.  
Вот такую бы я предложил резолюцию  
относительно площади революции...

# Родина

*Н. Старшинову*

Женщины шли — на плечах лопаты —  
Окопы рыть под городом Москвой.  
Страна смотрела на меня с плаката  
Седая,  
С непокрытой головой.  
Она звала меня глазами строгими,  
Сжав твердо губы, чтобы не кричать,  
И мне казалось, что похожа Родина  
На тетю Дашу из квартиры «пять».  
На тетю Дашу, рядом с нами жившую,  
Двух сыновей на Запад проводившую,  
Да, на нее, вдову красноармейскую,  
Усталую,  
упрямую  
и резкую.

Хотелось мне участвовать в десантах,  
Кричать в эфир: «Тюльпан, я Резеда!»  
Мне шел тогда  
едва второй десяток,  
Меня на фронт не брали поезда.  
И я смотрел с серьезностью нездетской  
В ее лицо с морщинками у губ  
И лишь на двойки отвечал немецкий,  
Чтоб выразить презрение к врагу.

Она звала меня глазами строгими,  
Сжав твердо губы, чтобы не кричать.  
И мне казалось, что похожа Родина  
На тетю Дашу из квартиры «пять».





## Г о д ы

Я остановился перед всею памятью,  
молча остановился,

как перед папертью,  
и всматриваюсь в нее, где я жил

давно,

еще отходчивый на добро,  
где я жил в дали невнятной,  
еще неизвестной, за триста земель...

Как будто попал я на карусель,  
и все раскручивается обратно!..

Моя карусель догоняет годы,  
и я увидел: идут пешеходы,  
тридцать один, один за одним.

— Обождите! — кричу я им.—

Я ведь — вы, тридцать второй!..

Но молча скрылись они за горой.

[А карусель несется по кругу  
с тиши на тишь, с вьюги на вьюгу,  
несет с валунов на валуны,  
с беды на беду, на вину от вины!]

И годы я догоняю опять:

— Куда вы идете!

— Тебя догонять!

— А что вы несете в мешках

за спиной!..

Но молча скрылись они за горой.

[А карусель летит все быстрее,  
кружит лошадок и снегирей,  
а карусель несется назад,  
мимо земли, где братья лежат,  
мимо сполохов, мимо звезд,  
мимо маминых, горлом, слез,

мимо дней и пун... И, звеня,  
кружит, кружит, кружит меня!)  
Стой, карусель, стой, память моя!..  
Но снова явственно вижу я:  
идут мои годы в пустынных песках,  
уносят сыпучий песок на плечах.  
От ночи до ночи, от дня и до дня,  
тридцать два молчаливых меня.  
— Ребята, примите меня! — я кричу.  
Вот так я за ними кружу и кружу.  
А карусель все круглей и круглей,  
и тридцать два человека на ней,  
а карусель несется сама —  
память моя и моя земля.  
[На этой земле мне не лечь и не  
сесть,  
и нет остановки круженью, чтоб  
слезть.]

И нет остановки, и все на краю;  
я вслушиваюсь в нежность свою,  
и я смотрю из тридцать второй тиши  
и осматриваю: болеешь, скажи!  
И она отвечает начистоту:  
— Это я, твоя нежность, расту  
и становлюсь все нежней и нежней...  
А память кружится, и над ней  
солнце, медленное, сырое.  
...И кружится во мне  
сердце тридцать второе.

## Возвращение

Издалика — по щучьему веленью  
или приспела горькая пора —  
вернулась Марья Павловна в деревню,  
ведя троих босых у подола.  
Мальчишки шли, подол не отпуская,  
мал мала меньше, щуплые в плечах.  
И бабы вслед смотрели: — Городская!  
И за детей корили в горячах.  
Ах, отчая земля! Ты, как присуха —  
еще никто тебя забыть не смог:  
на яблонях, обманной и припухлой,  
из почек распеленатый снежок;  
и откровенный, молодой, пшеничный

дождь обложной над крышей черепичной,  
провисший над землей, как провода,  
и ягодные в травах холода...

У дома, что стоял пять лет без дыма,  
без скрипа половицы и без тына,  
без доброго соснового тепла,  
остановилась Павловна:

— Пришла!..

И оробела перед старой тишью.

Знать, вправду, где родишься, там

сгодишься,

лишь бы здоровьем жизнь не обошла,  
лишь бы корова стельная была,  
да председатель строгий и непьющий,  
да трудодни поболее и погуще...

Лежит село, к густому дыму дым,  
лежит село среди проводов и улиц.

— Без мужика одни назад вернулись.

— Что мужикам! Им заработок один!

Ах, только б жить — не с места и на

место,

с надеждой не на случай — на себя...

От Вязьмы до Иркутска: рельсы, рельсы,  
и ни одной до твоего села;

от Вязьмы до Иркутска: шпалы, шпалы...

А помнишь ли, как пыльным большаком

Двенадцать лет назад ты уезжала  
не столько от нужды — за мужиком.

Подруги уговаривали грустно:

— Ты уж о нас не забывай, Маруся,

ты уж скажи, что много здесь невест,

ты пропиши, Маруся, все, как есть.

И вот село за поворотом скрылось.

...А может, это все тебе приснилось,

начудилось бессоннице твоей

среди опавших листьями дождей?

А тишина покалывает уши,

и годы отлетают, словно гуси,

и дверь ты открываешь не спеша,

и бабы говорят вослед:

— Пришла.

И снова все, как той порою ранней,

хоть ребятишки за тобой гуськом,

хоть кажется петух им деревянный

над крышею конфетным петушком.



## Я хочу быть таким, как Ильич!

Отчего в твоём сердце  
И стремится душа за строительным немолкнущий клич,  
И в бессонных ночах лоб задумчив <sup>планом,</sup>  
— Я хочу быть таким, как Ильич. <sup>и пламен!</sup>

Почему, если кто-то обижен и нищ,  
То и ты не сумеешь быть сыт <sup>и спокоен!</sup>  
Что за разум такой! Что за сердце <sup>такое!</sup>  
— Я хочу быть таким, как Ильич.

Что тебе за печаль до чужих <sup>пепелищ!</sup>  
Не кубинские ж звезды тебе <sup>ворожили!</sup>  
И ведь кровь не твоя проливалась <sup>в Алжире!</sup>  
— Я хочу быть таким, как Ильич.

Почему ты себе помолчать не <sup>велишь</sup>  
И коришь за корысть, негодующ <sup>и спорящ,</sup>  
Карьеристов, и хамов, и прочую <sup>сволочь!</sup>  
— Я хочу быть таким, как Ильич.

Но ведь ты и начальство порою

хулишь.

Ой, смотри, чтобы путь твой успешно

начался,

Упаси тебя боже касаться начальства!

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Хочешь гроз! Так беды на себя

не накличь.

Не устал еще разве от споров

и странствий!

Мало горя хлебнул! Не наездился

разве!

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Молодой до седин, я такой не один.

Мы добьемся, дойдем, победим,

одолеем.

Мы много житься для себя не хотим —

Мы хотим быть такими, как Ленин.



## О г у р ц ы

У нас живут на огороды.  
Наш первый праздник — первый сбор,  
Как бы на торжище природы,  
Таскают овощи во двор.

Как будто курица-несушка  
Кудахчет по двору с яйцом,  
Гремит дубовая кадушка  
С заплесневелым огурцом.

Не знатоку чесать в затылке,  
Но дело ль, числясь знатоком,  
Баклуши бить, когда в парилке  
Сшибают плесень кипятком!

И вот сосед снимает китель,  
Фуражку вешает на гвоздь,  
Он, огородник и любитель,  
Почуял страсть и даже злость.

О, как ему осточертело!  
Дежурка... Граждане... Народ...  
Вот огурцы — другое дело —  
Деревня... Детство... Огород.

Соли, соли, пока не поздно,  
Смурную душу отводи,  
Гляди не грозно, а серьезно  
И даже весело гляди,

Чтобы никто не взял на пушку  
Ни за понюшку табака,  
Соли да камень на кадушку  
Клади — тяжелый, как судьба!

## Попугай

Мой удел невелик. Полагаю,  
Мне не слышать медовых речей,  
Лучше я заведу попугая,  
Благо стоит он тридцать рублей.

Обучу его разным наукам.  
Научу его всяким словам.  
На правах человека и друга  
Из него человека создам.

Корабли от Земли улетают.  
Но вселенская бездна — мертва,  
Если здесь, на Земле, не хватает  
Дорогого для нас существа.

Друг предаст, а невеста разлюбит,  
Отойдет торжествующий враг,  
И тогда среди ночи разбудит  
Вдохновенное слово —  
«Дур-рак!»

Что ж, сердись, если можешь сердиться,  
Да грошовой едой попрекай.  
Бог ты мой, да ведь это же птица —  
Одержимая тварь — попугай.

Близоруко взгляну — и увижу:  
Это он, заведенный с утра,  
Подарил мне горячую крышу  
И четыре холодных угла.

Так кричи над разбуженным бытом,  
Постигай доброту по складам.  
Я тебя, дуралея, не выдам.  
Я тебя, дурака, не продам.

## Похвала Державину,

рожденному столь хилым,  
что должно было  
содержать его в опаре,  
дабы получил он  
сколько-нибудь живности.

Малец был в тесто запечен  
И, выйдя на дрожжах оттуда,  
Уже в летах, зело учен,  
Подумал: «Нет добра без худа».

А был он тертым калачом,  
Врал правду, но, как говорится,  
Уж коли в тесто запечен,  
Так что ему императрица!

Ну кто бы знал, какой обман —  
Наутро лечь, в обед проснуться  
И только вычистить кафтан,  
Как — бац! — на рифме поскользнуться.

Пока он дрых за семерых,  
Все хлебы время перемесит,  
И глядь — на чашах мировых  
Нас недоносок перевесит.

Первейший муж, последний жох,  
Не про тебя моя побаска:  
Я сам не плох, но — видит бог —  
Не та мука, не та закваска.

Малец, себя не проворонь —  
Ори! А нету отголоска,  
Как он — из полымя в огонь —  
Не можешь! В том-то и загвоздка!



## В отпуске

Непостоянная погода —  
То заморозки, то жара,—  
Как непосильная свобода,  
Меня преследует с утра.

И то сказать: ложусь я поздно,  
Встаю с тяжелой головой  
И грустно слушаю, как грозно  
Гремит прибой береговой,

И грустно думаю... Когда-то,  
Возможно, что еще вчера,  
Росла сосна... Теперь опять  
Растут на пне среди двора...

К чему бы эта чертовщина!  
К разладу! К осени! К зиме!  
Еще не умер — годовщина  
Со дня кончины на уме,

И на душе темно от мути,  
И смутно помнится мечта  
Вздремнуть в бревенчатом уюте  
На печке, теплой от кота.

Куда хватил! Чиновник бедный,  
В кругу своих чиновных дел  
Томимый скукой кабинетной,  
Запечных сказок захотел!

Так вот она, твоя морока,  
Твоя дорога, дуралей:  
Ищи, как говорится, бога  
В себе самом да слезы пей,

Да простодушно жди у моря  
Погоды с первым комаром,  
Да мыкай счастье или горе  
С терпением, равно и с добром.

А если дождь без передышки,  
То кто же в этом виноват:  
Едва забудешься, все шишки  
Тебе на голову летят.



## **Под ленинским стягом**

**Шла Россия усталым шагом,  
Занималась заря побед.  
Я родился под ленинским стягом.  
Он меня оградил от бед.**

**Может, я ошибался где-то,  
Но по главной дороге шел,  
Ведь меня, направляя к свету,  
Вывел в люди боец-комсомол.**

**И когда в урагано металла  
Падал я на днепровский лед,  
Силы Партия мне давала,  
И вставал я и шел вперед.**

**Мудрено ль, что, служа Отчизне,  
Я немислимый путь прошел.  
У меня три сердца,  
Три жизни:  
Ленин,  
Партия,  
Комсомол...**



## Стихи о Севере

На переднем крае пятилетки,  
В ледяном арктическом краю,  
Я вношу короткие заметки  
В записную книжечку мою...

Кончик обмороженного носа  
Солнце показало из-за льда.  
Свет по снегу веером пронесся,  
Не оставив за собой следа.

В этой кухне северной погоды  
До чего ж капризное меню!  
Не скупится повар на расходы —  
По пять блюд меняется на дню.

Безупречно выбелены стены,  
Стол белейшей скатертью накрыт,  
И луна на вертеле антенны  
Ледяным сиянием горит.

В кисее туманной хорошея,  
Эта кухня делом занята,  
Этот лед на ощупь горячее,  
Чем любая жаркая плита.

Постигая сжатия и сдвиги,  
Люди ловят флюгера сигнал,  
Как земли поваренную книгу,  
Заполняя метеожурнал.

Я пишу короткие заметки,  
Я спешу прекрасное найти  
На переднем крае пятилетки —  
На зимовке Главсевморпути.



## Умей

Умей, умеи себе приказывать,  
Муштруй себя, а не вынянчивай.  
Умей, умеи себе отказывать  
В успехах верных, но обманчивых.

Умей отказываться начисто,  
Не убоясь и одиночества,  
От неподсудного ловкачества,  
От сахарина легких почестей.

От чьей-то равнодушной помощи,  
От чьей-то выморочной сущности...  
Отказывайся — даже тонущий —  
От недруга руки тянущейся!

## Балласт

*(Ненапечатанные стихи)*

Они лежат, как в темном трюме,  
В далеком ящике стола.  
Они хотят, чтоб автор умер,—  
Чтоб чья-то их рука взяла.

Увы, за всех их, взятых вместе,  
Редактор и гроша не даст,—

От них ни радости, ни чести,  
Они бесприбыльный балласт.

В тех не сумел я добродетель  
Достойным словом увенчать,  
Те — не закончены, а этч  
За грусть не приняты в печать.

Не гладко с ними и не сладко  
Плыть средь неведомых морей —  
И глубже корабля осадка,  
И ход намного тяжелей.

И все-таки я эту ношу —  
Хоть ты меня озолоти —  
Не проклянц, за борт не сброшу  
Для облегчения пути.

Плыви, корабль мой, с грузом давним,—  
Наш порт не виден вдалеке.  
Пусть к пристаням своим недалним  
Спешат другие налегке.

Спешат, забыв про все на свете,  
К причалам славы дотемна,  
А их, как хочет, вертит ветер  
И клонит каждая волна.

## Г р е ш н и к и

В грехах мы все — как цветы в росе,  
Святых между нами нет.  
А если ты свят, ты мне не брат,  
Не друг мне и не сосед.

Я был в беде, как рыба в воде,  
Я понял закон простой:  
Там грешник приходит на помощь, где  
Отверывается святой.



## Как старуха солнце воровала

Я жил в глухом районе Минска,  
среди лая, хохота и визга,  
среди старух и стариков,  
и каждый вечер в семь часов  
скрипел засов, скрипел засов!  
Старуха ставни закрывала,  
ключами ржавыми звеня.  
Старуха солнце воровала  
у солнцелюба, у меня!  
Прекрасно и неуловимо,  
как золотой плавник налима,  
тонул закат во тьме кромешной,  
тонул закат, всплывал рассвет,  
но я не помню их, конечно,  
их просто не было и нет.  
Шестьсот рассветов и закатов,  
и каждый месяц треть зарплаты  
заплачено за тот чердак,  
за тот колодец неглубокий,  
где сочинял один дурак  
такие солнечные строки.  
А в девять ставни открывала  
старуха эта, ну и дрянь!  
Как будто солнце даровала —  
мол, полюбуйся, ну-ка, глянь...  
Все краски, отблески и звуки,  
как нищему, дарила мне.  
Желаю согнуть той старухе!  
Желаю солнца всей земле!



Упало яблоко

Под южным небом в полуденный зной  
Упало яблоко на шар земной.

И был отмечен  
Приглушенный стук,  
Стук яблока, упавшего в саду.

В тревожном мире в полуденный зной  
Упало яблоко на шар земной.

В цехе

Мой стих не чурался и нежности лилий,  
Но в цехе до этого ли, когда  
Вас лязги и скрежеты просверлили  
И от грохота не уйти никуда.  
Мы нервами всеми машину слышим,  
А надо бы так, чтоб не мы, а она,  
Работая, слышала, как мы дышим,  
Как в цехе звенит тишина.



## **За полем, за лесом**

**За полем, за лесом какой-то мотор  
Не молкнет ни ночью, ни днем — таратор.**

**Не знаю, насколько там нужно такое,  
Но люди в округе не знают покоя.**

**Я славлю наш век,  
Я воздушные трассы пою,  
И стих мой не вгонишь в тележную колею,**

**И все же нет-нет и угрюмость коснется бровей,  
И мысли нахлынут, полны опасений:  
Вдруг слышать отвыкнем,  
Как дождь шелестит по траве,  
Как падает лист осенний.**





На руках тебя носят!  
Наслаждаешься своей славой!  
А ведь могут руки  
оказаться опорой слабою.  
А ведь могут руки,  
высоко тебя так несущие,  
опустить на землю,  
и растопчут тебя идущие...  
На руках тебя носят!  
О, не верь их непрочной силе!  
Заслужи, чтобы люди  
в своем сердце тебя носили!

Перевел с армянского  
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ.



**Зазимовавшая  
ласточка**

*(Из Георгия Леонидзе).*

**В осень похолодавшую  
Жалко невыразимо  
Ласточку зазимовавшую,  
Жизнь, пролетевшую мимо.**

**Где уж мечтать об Индии!  
Не улетела птаха.  
Даже тростник заиндевел —  
Песнь замерла от страха.**

**Кончится жизни горение —  
И нет тебя на примете,  
Не одолжишь мгновения  
Ни у кого на свете.**

**Время смывает начисто  
Горе и радости буден.  
Зазимовавшая ласточка  
В небе парить не будет.**

**И никого не утешу я:  
Станет землей и дымом  
Ласточка неулетевшая,  
Жизнь, пролетевшая мимо.**



**Думалось, не прибраться —  
Сору в избе полно.  
Может, и не стараться —  
Не справиться все равно...**

**Словно завоеватели,  
Ночь провели на полу —  
Что тебе под полатями,  
Что тебе в красном углу.**

**А помахала веничком,  
Тряпкой сырой прошла —  
И оказалось, маненечко,  
Ладно, что принялась.**

**Все уместилось в горсти,  
Стоило лишь  
Подмести!**



# СОДЕРЖАНИЕ:

Б. Н. ПОЛЕВОЙ

— Несколько слов об  
этой книге . . . . . 5

## РАССКАЗЫ

АКСЕНОВ Василий	— «Дикой» . . . . .	9
АМЛИНСКИЙ Владимир	— «Мансур — бунтующая целина» . . . . .	37
АРКАНОВ Арнадий	— «Педальная машина»	49
БЕЛКИНА Мария	— «Валя» . . . . .	55
БЫКОВ Василь	— «Четвертая неудача»	70
ВОСКРЕСЕНСКАЯ Зоя	— «Поединок» . . . . .	89
ГЛАДИЛИН Анатолий	— «Идущий впереди»	115
ГОРЕНШТЕЙН Фридрих	— «Дом с башенкой»	131
ГОРИН Григорий	— «Ханжам до востребования», «Дискуссия»	157
ЕВТУШЕНКО Евгений	— «Четвертая Мещанская» . . . . .	163
ЖУРАХОВИЧ Семен	— «Трамвай шел на фронт» . . . . .	177
ИЛЮШИН Владимир	— «В небесах и на земле»	191
ИСКАНДЕР Фазиль	— «Петух» . . . . .	200
КАРПИНСКИЙ В.	— «В. И. Ленин на отдыхе» . . . . .	208
КУЗНЕЦОВ Анатолий	— «Девочки» . . . . .	215
ЛАСКИН Семен	— «Бужма» . . . . .	247
ЛИПАТОВ Виль	— «Самолетный кочегар»	261
МАЛЫХИН Владимир	— «Замоскворечье» . . . . .	279
ОСИПОВ Валерий	— «Неотправленное письмо» . . . . .	296
ОРДЖОНИКИДЗЕ Виль	— «Часы» . . . . .	319
ПЕРВОМАЙСКИЙ Леонид	— «Материнский сладкий хлеб» . . . . .	326
ПРИСТАВКИН Анатолий	— «Трудное детство»	342
ПОГОДИН Радий	— «Дубравка» . . . . .	356

РОЗОВСКИЙ Марк	— «Доля сенунды»	388
САМОЙЛОВ Василий	— «Школьное сочинение»	395
СИСНЕВ Виссарион	— «Наследственная специальность»	415
СЕМЕНОВ Юлий	— «Хорошо, что мы встретились»	430
ГОКАРЕВ Георгий	— «Мой гид»	434
ТРУНИН Вадим	— «Десять тысяч шагов»	452
ЧУКОВСКИЙ Николай	— «Последний хлеб»	493
ШАТЬКО Евгений	— «Девочка «Жизнь»	523
ЩИПАЧЕВ Степан	— «Дорога в цветущие долины»	560
	— Миниатюры	

## СТИХИ

АГЕЕВ Леонид	— «В лесу появилась новость...»	565
АЛИГЕР Маргарита	— Ромео и Джульетта	566
АСЕЕВ Николай	— Наша юность	567
АХМАДУЛИНА Белла	— Лодка. «Я думала, что ты мой враг...» Дуэль	569
АХМАТОВА Анна	— Два стихотворения из цикла «Шиповник цветет»:	
	«Как сияло там и тепло...»	572
	Эпилог	572
	Два четверостишья	573
БАРТО Агния	— Я лежу, болею	574
БЕЛЯЕВ Михаил	— Огонь... Школьный звонок	576
БЕЛКИН Владилен	— Дивногорск	578
БЕРГГОЛЬЦ Ольга	— Михаилу Светлову	579
БЕРЕСТОВ Валентин	— Черепки. Сердцевина Мир. Сназна. Жить — жить — любить!	581
БОКОВ Виктор	— «Откуда начинается Россия?..» «Почему не поют орлы?..» «В лесу и золотисто и оранжево...»	584
БОРИСОВА Майя	— Рюкзак	586
ВАНШЕНКИН Константин	— Потомку. Занат. «Гудок трикратно ухает вдали...» «Опять, опять сидишь со мною рядом...»	587
ВАСИЛЬЕВА Лариса	— Ожидание	590
ВЕГИН Петр	— Куба моя	591
ВИНОКУРОВ Евгений	— Она. Жажда. «Нет хуже ничего, чем лжепророки...» Посмейся надо мной. Благородство. Ребенок	593
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей	— Маяковский в Париже. Охота на зайца	597
ВОЛГИН Игорь	— Ночные города. Горит Ян Гус	601
ГАМЗАТОВ Расул	— «На камушках гадалка мне гадала...» Самосохранение — забота...» «Мне оправдаться нет...»	603
ГНЕУШЕВ Владимир	— Последний автобус	605
ГОЛУБКОВ Дмитрий	— Осень. Вечер	607
ГОРБОВСКИЙ Глеб	— Роцца	609

ГРИГОРЬЕВА Вера	— Ненаписанные книги	610
ГРИНИН Семен	— Гаял Огарышева. Парни с окраин . . . . .	611
ГОРДЕИЧЕВ Владимир	— Вечные люди . . . . .	613
ДЕМЕНТЬЕВ Андрей	— «Пионерский сбор...»	615
ДМИТРИЕВ Олег	— Военная игра. «Я по пояс в месяце июне...»	
	— «Вот новая картина...»	616
ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений	— Баллада об отце и сыне . . . . .	619
ДОРИЗО Николай	— Стихи о голом короле. «То куклу ты лечишь...»	
	— Любовь. Красота . . . . .	620
ДРОФЕНКО Сергей	— Путеекладчик . . . . .	626
ДРУНИНА Юлия	— Страна юность. Девчонка, что надо! . . . . .	628
ДУБРОВИН Борис	— Колодец на заставе	630
ЕВСЕЕВА Светлана	— Рыбачки. Мать. Весна. Лето. Былина . . . . .	631
ЕВТУШЕНКО Евгений	— Люди. Хотят ли русские войны? Сменялись люди за стеной. «Очарованья ранние прекрасны...» «Нет, мне ни в чем не надо половини!» . . . . .	635
	— Бессонница . . . . .	640
ЖИРМУНСКАЯ Тамара	— «Все на месте, все в порядке...» «Когда грядет канун зари...»	642
ЗАВАЛЬНЮК Леонид	— Почтальон. Черная игра. «С людьми сумел я запросто ужиться...» . . . . .	644
	— В зоопарке (цикл) . . . . .	647
ЗАУРИХ Алексей	— Баллада о зрячем. Оркестр . . . . .	649
ЗАХОДЕР Борис	— В давяльне. «Мне нужен собрат по перу...»	
ЗЛОТНИКОВ Натан	— На лежбище котиков. Германия 1933 года	651
ИСКАНДЕР Фазиль	— Песенка о парусе. «О, жажда детская—учиться!» Улыбка. «Я уезжаю. Мучает, морочит...» . . . . .	656
КАЗАКОВА Римма	— Наше поколение . . . . .	660
КАРПЕКО Владимир	— Мальчики . . . . .	662
КАРПОВ Игорь	— У костра . . . . .	663
КАРПОВ Николай	— Землякам из Кабарды. О чем говорят мужчины . . . . .	664
КАШЕЖЕВА Инна	— Задача . . . . .	666
КЕДРИН Дмитрий	— Сыну. Советники . . . . .	667
КОЗЛОВСКИЙ Яков	— «Он собирался многое свершить...» Ответственность . . . . .	669
КОРЖАВИН Наум	— Как матросы стирают рубы. Романтика. «Свое у каждого сражение...»	671
КОРЖИКОВ Виталий	— Озерная элегия. Письмо в Ленинград . . . . .	673
КОРОЛЕВА Нина	— Первый снег. Рабочая сила. Ожидание . . . . .	675
КОСТРОВ Владимир	— «Все поезда уходят без меня...» Здравствуй, занятый человек!	678
КУЗОВЛЕВА Татьяна	— Мои предки. «Кто может выгоде в угоду...» «Чужой бедою жить не все умеют...» . . . . .	680
КУЛИЕВ Кайсын		

КУНЯЕВ Станислав	— Досна почета. Морская качна.	682
КУШНЕР Александр	Шашки. «Октябрь. Среди полян...» «Любитель подледного лова...»	684
ЛИСНЯНСКАЯ Инна	— Норильск. «Я кан бы приближаюсь к омуту...»	686
ЛУГОВОЙ Владимир	— «Как бы в своей особенной стране...» «Порою, суетой оглушены...»	688
ЛЬВОВ Михаил	— Героям Октября	690
МАРТЫНОВ Леонид	— Год рождения моего. Проблема перевода	691
МАТВЕЕВА Новелла	— Бобры. «Сети кругом развешаны...» Открытое письмо анониму. Лженоваторам	694
МАРШАК Самуил	— «Сколько лет прошло с малолетства...» «Ты много ли видел на свете берез?...» «Люди пишут, а время стирает...» «Как птицы скачут и бегут, как мыши...» «На всех часах вы можете прочесть...» «Сколько раз пытался я ускорить...»	697
МЕДВЕДЕВА Надежда	— Бабы	700
МЕЛЕХИН Павел	— «Как много хорошего нами увидено...»	701
МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас	— Актер. Поцелуй	702
МИХАЛКОВ Сергей	— Мальчик с девочкой дружил	706
МОРИЦ Юнна	— Памяти Тициана Табидзе. Рождение крыла. Осень в Абхазии	708
НАРОВЧАТОВ Сергей	— Всадники. Пожар	711
ОКУДЖАВА Булат	— «А остальное все приложится...» Стихи про маляров. Март. В городском саду	714
ПАВЛИНОВ Владимир	— Снег. Летучая мышь. Начало марта	718
ПЛИСЕЦКИЙ Герман	— Памяти бабушки	722
ПОПЕРЕЧНЫЙ Анатолий	— Сто сорок пятая верста	723
ПРЕЛОВСКИЙ Анатолий	— Работа. Медвежья шкура	725
ПРОКОФЬЕВ Александр	— Слово к слову вяжется... Я поднял дерево... Деревья сонные начинают...	728
ПУЦИЛО Борис	— Нежность	730
РЕВИЧ Александр	— Любовь моя!	731
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт	— Назым. Стихи о хане Батые. Игра в «замри!»	732
РЫЛЕНКОВ Нинолай	— «Не кори, что стою безмолвный...» «Скирдами огороженные, рано...» «Вокруг тебя леса и воды...»	737
РЯШЕНЦЕВ Юрий	— В зоопарке. Веселые мокрые люди. «Ветер сильней становится...»	738



СВЕТЛОВ Михаил	— Охотничий домик. В больнице. Поиски ге- роя. Герой найден . . .	741
СЕРГЕЕВ Марк	— Я пристрастен . . .	745
СМИРНОВ Лев	— Баллада о солдате. Са- ни . . . . .	746
СМИРНОВ Сергей	— Это было на войне	749
СМЕЛЯКОВ Ярослав	— На поверке. Комсо- мольский вагон . . .	751
СЛУЦКИЙ Борис	— К дискуссии об Андрее Рублеве. Как убивали мою бабку? «Ленина звали «Ильич...». «О чем он думает, спорт- смен...» . . . . .	754
СОКОЛОВ Владимир	— «Я забыл свою первую строчку...» «Декабрь. А все еще в новинку...» «Легко обремененный снегом...» . . . . .	757
СОЛНЦЕВ Роман	— Мама. Стройка . . . . .	759
СОРИН Семен	— Могила неизвестного солдата . . . . .	761
СТАРШИНОВ Николай	— «И вот в свои семна- дцать лет...» Голуби. «С чем я только не встречусь на свете...» «А мне теперь всего желанней...» . . . . .	763
СУХАРЕВ Дмитрий	— Царь. Таеги! Когда че- ловек больной . . . . .	767
УЛЗЫТУЕВ Дондон	— Русскому брату . . . . .	770
УРУШЕВА Лидия	— Целинникам . . . . .	771
ФАЙНБЕРГ Владимир	— «А человек не спит...»	772
ХРАМОВ Евгений	— Площадь Революции. Родина . . . . .	774
ЦЫБИН Владимир	— Годы. Возвращение	776
ЧИЧИБАБИН Борис	— Я хочу быть таким, как Ильич! . . . . .	779
ЧУХОНЦЕВ Олег	— Огурцы. Попугай. По- хвала Державину. В отпуске . . . . .	781
ШАХОВСКИЙ Борис	— Под ленинским стя- гом . . . . .	785
ШЕРЕШЕВСКИЙ Лазарь	— Стихи о Севере . . . . .	786
ШЕФНЕР Вадим	— Умей. Балласт. Греш- ники . . . . .	787
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь	— Как старуха солнце во- рвала. Мое ремесло	789
ЩИПАЧЕВ Степан	— Упало яблоко. В цехе. За полем, за лесом	791
ЭМИН Геворг	— «На руках тебя но- сят...» . . . . .	793
ЯШИН Александр	— «Зазимовавшая ласточ- ка. «Думалось не при- браться...» . . . . .	794

На фронтисписи и форзаце напечатаны линогравюры и ри-  
сунки Д. АРСЕНИНА, Н. ГАЕВА, С. КРАСАУСКАСА, М. РОГОЖНЕ-  
ВА, К. ПОНДОПУЛО и И. ТАБАКОВА.

Художественный редактор Г. ФЕДОРОВ.

Технический редактор Л. ЗЯБКИНА.

---

А 10508. Подп. и печ. 14/1 1966 г.  
Тираж 180 000 экз. Зак. № 1965. Форм.  
бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Физ. печ. л. 25,0. Условн.  
печ. л. 42,0. Учетно-изд. л. 36,68.  
Цена 1 р. 55 к. в переплете № 7  
с суперобложкой.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина.  
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



